



# Франсуа Фюре

Библиотека  
Московской  
школы  
политических  
исследований

*Прошлое одной иллюзии*

*Ad* **M** *arginem*



**Библиотека  
Московской  
школы  
политических  
исследований**

Библиотека Московской школы  
политических исследований

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев  
В. А. Найшуль  
Е. М. Немировская  
А. М. Салмин  
Ю. П. Сенокосов  
А. Ю. Согомонов  
М. Ю. Урнов

*Франсуа Фюре*

Прошлое  
одной иллюзии

*Ad* **M** *arginem*

Перевод с французского языка В. И. Божович  
Редактор Е. М. Кожокин  
Художественное оформление — А. Бондаренко

Печатается с небольшими сокращениями с разрешения автора

Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы и средних специальных учебных заведений готовится и издается при содействии Института “Открытое общество” (Фонд Сороса) в рамках программы “Высшее образование”

Редакционный совет: В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Делигенский, В. Д. Шадриков

Книга издана при финансовой поддержке  
Министерства иностранных дел Французской Республики  
и при содействии Французского Культурного Центра и  
Посольства Франции в Москве

ISBN 5-88059-047-X



ISBN 5-88059-047-X

© Editions Robert Laffont, S. A., Paris, 1995. —  
François Furet. Le passe d'une illusion

© Издательство “Ad Marginem”, Москва, 1998

© Московская школа политических исследований, 1998

## Содержание

7	<i>От редакции</i>
11	<i>Предисловие</i>
17	<i>Глава первая. Революционная страсть</i>
51	<i>Глава вторая. Первая мировая война</i>
81	<i>Глава третья. Всеобщее очарование Октября</i>
121	<i>Глава четвертая. Верующие и разочарованные</i>
153	<i>Глава пятая. Социализм в одной стране</i>
185	<i>Глава шестая. Коммунизм и фашизм</i>
235	<i>Глава седьмая. Коммунизм и антифашизм</i>
295	<i>Глава восьмая. Антифашистская культура</i>
351	<i>Глава девятая. Вторая мировая война</i>
401	<i>Глава десятая. Сталинизм, высшая стадия коммунизма</i>
439	<i>Глава одиннадцатая. Коммунизм периода холодной войны</i>
487	<i>Глава двенадцатая. Начало конца</i>
532	<i>Эпилог</i>
559	<i>Примечания</i>



27 марта 1927 — 12 июля 1997

19 июня 1997 года Франсуа Фюре писал мне: “Спасибо за письмо и хорошие новости относительно издания моей книги по-русски. Я необычайно счастлив и готов приехать на ее презентацию у тебя в школе”. А в середине июля я узнала, что он скончался в госпитале в Тулузе, на юге Франции, от сердечного приступа...

Встречи и общение с ним всегда доставляли мне радость и вызывали невольное чувство восхищения.

Помню, как он приехал однажды в Москву со своим другом Клодом Лефором, и мы отправились на Красную площадь. Мы вышли из такси у храма Василия Блаженного, и, повернувшись к Лефору, Франсуа сказал: “Смотри — вот она!” Не успели мы дойти и до середины площади, а Лефор уже пробежал ее всю, вернулся к нам явно пораженный (до этого он не был в России) и разочарованно произнес: “Она такая маленькая, а так много значила в нашей жизни”. На что Франсуа тут же среагировал: “Вот так неожиданно мы расстаемся со своими иллюзиями”.

После этого он еще дважды был в Москве — на семинарах школы, — но я и не предполагала, что именно о конце этих иллюзий будет написана целая книга.

Франсуа Фюре родился и жил в Париже и был выдающимся историком, известным, к сожалению, в России лишь узкому кругу специалистов.

*Лена Немировская*

Париж слишком красив, опасно красив. Своей красотой он убаюкивает и усыпляет. Это чувствуют и понимают сами французы. Именно поэтому они взрывают его привычный шарм скандальными экспериментами. В конце XIX века “железная дама” — Эйфелева башня — разбудила город своей экстравагантностью. В 70-е годы XX века Центр Помпиду, по прозвищу “Завод”, своим вывернутым наизнанку видом ошеломил всех поклонников уютного Парижа. Подобным же образом французы поступают в отношении своей историографии, правильное осмысление и протоколирование собственного прошлого периодически взрывается дерзновенным покушением на, казалось бы, общепризнанные истины. Историк Франсуа Фюре (1927—1997) — из числа таких интеллектуальных бунтовщиков. Вместе со своим соавтором Дени Рише в 1965 году он посягнул на устоявшиеся каноны либеральной, республиканской и марксистской историографии Великой французской революции.

Французы ниспровергают свои традиции, чтобы лучше понять их истоки и тем самым еще более укрепить эти самые

“ниспровергаемые” традиции. Фюре — революционер и одновременно в душе глубокий консерватор. И этот уникальный сплав он ищет в сознании других людей. Его поиск интересен, хотя далеко не всегда беспорен.

Сам в молодости коммунист, Франсуа Фюре, будто дальний родственник российским либералам, учившим наизусть в советской школе: “Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше...”, хочет подвести черту под историей одной иллюзии, иллюзии, которая с 1949 по 1956 год была и его собственной. Интеллектуальная и психологическая история коммунизма в XX веке — таков сюжет этой книги.

Коммунизм умер. Это понимают в Париже, Москве, Ташкенте, даже в Пекине. Но отношение к факту смерти различное. Принцип: о покойнике говорят либо хорошее, либо ничего — не действует. Более того, о почившем продолжают громко говорить плохо. Все еще сохраняется страх: вдруг совершится чудо — бездыханный гигант очнется и вновь начнет свою титаническую работу по разрушению “старого мира”. Не очнется. Конечно, Россия — страна чудес, но не в такой же степени.

В книге Фюре присутствуют неотрефлексированные страхи и настойчивое желание понять причины столь большой привлекательности коммунистических идей для европейской интеллигенции. Ему особенно удалось портреты европейских интеллектуалов, служивших делу коммунизма, страдавших от этой воплощенной утопии, боровшихся против социалистического лагеря, строительству которого ранее была отдана значительная часть жизни. Георг Лукач, Борис Суварин, Пьер Паскаль — малоизвестные для нас в России герои.

Фюре разрушает легенды левой европейской мифологии. Но в отличие от труда 1965 года, в своей последней книге маститый историк часто не прокладывает новые неожиданные пути, а следует известными тропами времен “холодной войны”.

К тому же в книге ощущаются характерные для многих европейских интеллектуалов комплексы европоцентризма. Поэтому у Фюре нередко проскальзывает мнение, что происходившее в России было периферийным для мирового исторического процесса, но в силу макиавеллиевских ухищрений большевиков (например, присвоивших идею революции) периферийная страна надолго приковала к себе внимание миллионов во всем мире. Сложнейшие вопросы: является ли Россия центром особой цивилизации, либо она — лишь особый сегмент европейской цивилизации, не прекращается ли в конце XX века история России в качестве особой цивилизации и не начинается ли

ее новое существование в рамках цивилизации европейской, — Фюре едва ли не понимает. Он, походя, роняет: “Место России до октября 1917 года — на обочине европейской цивилизации”. Цивилизация — понятие, не выстраиваемое исключительно по законам логики. Возможно, именно поэтому Фюре спотыкается, вступая на чуждую ему почву. Подчас, когда история не нравится Фюре, он объявляет ее случайным стечением обстоятельств. Франсуа Фюре — священнослужитель картезианства. Историк рационализирует прошлое, чтобы его современники имели силы и желание рационализировать настоящее. Фюре — неутомимый труженик на этой ниве.

Есть в книге совершенно неожиданный парадокс. В 70 — 80-е годы многие коллеги по историческому цеху объявили Франсуа Фюре ревизионистом, посягнувшим на святость революционного наследия, а его предсмертная книга вдруг выявила, что всю свою жизнь он хранил глубокий пиетет к революции. Для него истинная и единственная настоящая революция совершилась в конце XVIII века, большевики же всего лишь узурпаторы чужого слова и чужого наследия. Но это война с тенями. Революционная традиция действительно агонизирует. Ее последние наследники: преданный соратниками палач Пол Пот; провокатор вопреки своей воле, нелепый вождь усталых стариков Виктор Анпилов; партизаны Боливии, подрабатывающие на охране плантаций наркобаронов, — дискредитируют романтику революционного действия. Но все эти персонажи уже вне осмысления автора книги.

Франсуа Фюре не успел ощутить, что со смертью коммунизма в мире образовалось интеллектуальное и политическое зияние. Долгое время коммунизм был ограничен для европейских культуры и цивилизации. Этого внебрачного ребенка европейского духа постоянно отвергали и опровергали, но вместе с тем он парадоксальным образом увеличивал динамизм цивилизации, тяготеющий к излишней комфортности. Сейчас возникает вопрос, не возникает ли угроза стагнации с исчезновением давнего раздражителя? Идеи социальной справедливости, солидарности людей разной национальности, предсказуемого будущего, антиимпериализма не утратили своей притягательности, но они оказались отодвинутыми далеко на второй план в европейской политической культуре. Часть идей из арсенала коммунистической доктрины востребовал радикальный ислам.

Так уж получилось, что книга “Прошлое одной иллюзии” оказалась прощальной книгой Франсуа Фюре. В июне 1997 года он писал директору Московской школы политических исследований, что хочет обязательно приехать на презентацию ее

русского издания. Он был прав в том, что его книга, выходящая в “Библиотеке” школы, нужна русскому читателю. Да, мы с ней будем спорить и не соглашаться, но она побуждает мыслить, побуждает вопрошать собственное прошлое, ибо книга написана настоящим профессионалом.

*Евгений Кожокин*

# Предисловие

Советский режим втихомолку покинул историческую сцену, куда некогда вступил под звуки фанфар. Не столь уж продолжительный, он до такой степени окрасил и пропитал наш век, что его бесславный конец составляет удивительный контраст его блистательной карьере. Не то чтобы болезнь истощения, от которой страдал Советский Союз, ускользнула от внимания диагностов; но его внутренний распад маскировался как международной мощью страны, так и силой идеи, служившей ему знаменем. Влияние СССР в международных делах служило гарантией его места в мировой истории. И ничто не было столь чуждо общественному мнению, как перспектива радикального кризиса социальной системы, созданной Лениным и Сталиным. Сознание необходимости реформировать эту систему распространялось постепенно, но почти повсеместно, на протяжении последней четверти века; оно питало различные формы активного ревизионизма, но при неизменном сохранении принципа превосходства социализма над капитализмом. Даже враги социализма не могли себе представить, что советский режим может в один прекрасный день исчезнуть, а результаты Октябрьской революции будут перечеркнуты. Еще труднее им было предположить, что этот перелом произойдет по инициативе партии, единолично находившейся у власти.

И все же коммунистический мир распался, причем распался сам собой. Подтверждением чему может служить такой факт последующего развития: люди этого мира, не будучи никем побеждены, сами перешли в другую систему, стали сторонниками рынка и свободных выборов, — либо переквалифицировались в националистов. Но от их предшествующего опыта не сохранилось

никакой идеи. Создается впечатление, что народы, выходящие из коммунизма, стремятся к его отрицанию, даже если они наследуют от него свои привычки и нравы. Исчезли классовая борьба, диктатура пролетариата, марксизм-ленинизм, уступив место тому, что ими отрицалось: буржуазной собственности, демократическому либеральному государству, правам человека, свободе предпринимательства.

Конец Русской революции и исчезновение Советской империи оставили после себя пустое место — в отличие от того, что произошло после Французской революции или падения Наполеоновской империи. Люди термидора приветствовали гражданское равенство и буржуазный уклад. Наполеон, действительно, на протяжении всего своего пути был ненасытным завоевателем, иллюзионистом победы, растерявшим в конечном поражении все, что ему удалось приобрести. Но, проиграв все, он оставил в Европе обширное наследие воспоминаний, идей и учреждений, с которыми даже его враги были вынуждены считаться, чтобы победить. Во Франции он основал государственный строй, сохранившийся на протяжении двух столетий. Ленин же, напротив, не оставил наследия. Октябрьская революция завершает свою траекторию, не будучи побеждена на полях сражений, но сама ликвидировав все, что было сделано ее именем. В час своего распада Советская империя раскрывает свое исключительное свойство: она являла собой сверхдержаву, не будучи воплощением какой-либо цивилизации. Она окружила себя сообщниками, клиентами, колониями, выковала военный арсенал, ее международная политика имела глобальный масштаб. Она обладала всеми атрибутами мировой державы, которые заставляли противников относиться к ней с уважением, в то время как ее идеологический мессианизм привлекал к ней восторженное поклонение ее сторонников. И тем не менее, ее стремительный распад похоронил все: принципы, кодексы, учреждения — все, вплоть до самой ее истории. Подобно тому, как это случилось немного ранее с другим великим европейским народом — немцами, русские оказались неспособными дать смысл своей истории в XX веке и остановились в замешательстве перед своим прошлым.

Вот почему мне представляется в высшей степени неточным определять термином “революция” ту серию событий, которая привела к падению коммунистического режима в СССР и в других странах Советской империи. И если этот термин все же употребляется почти повсеместно, то лишь по одной причине: в нашем политическом словаре не было другого термина, который лучше подходил бы к крушению некоей социальной системы; кроме того, этот

термин имеет еще и то преимущество, что содержит близкую западной политической традиции идею резкого разрыва с предшествующим режимом. Однако этот “старый режим” был в свое время порожден революцией 1917 года и продолжал считать себя ее наследником, так что его ликвидация могла рассматриваться и как “контр-революция”: разве не означала она возвращение буржуазного порядка, так ненавидимого Лениным и Сталиным? Но главное, и “революция”, и “контр-революция” предполагают волевые усилия, в то время как конец коммунизма наступил в силу стечения обстоятельств<sup>1</sup>. То, что за ним последовало, также не очень-то определялось целенаправленными действиями. На развалинах Советского Союза не появилось ни лидеров, готовых к возрождению, ни настоящих партий, ни нового общества, ни новой экономики. Там можно увидеть лишь население, атомизированное и унифицированное до такой степени, что оказывается более чем верным тезис об исчезновении в прошлом социальных различий: ведь даже крестьянство — в Советском Союзе, во всяком случае, — было уничтожено государством. Народы Советского Союза не сохранили достаточно сил, чтобы изгнать расколовшуюся номенклатуру или хотя бы оказать заметное воздействие на ход событий.

Таким образом, коммунизм заканчивается в какой-то пустоте. Он не открывает пути — как многие надеялись и предвидели еще со времен Хрущева — для нового, лучшего коммунизма, свободного от пороков старого и сохранившего его достоинства, такого коммунизма, воплощением которого смог стать на несколько месяцев Дубчек весной 1968 года, но уже не Гавел осенью 1989. Горбачев освобождением Сахарова возродил смутные надежды в Москве, но Ельцин развеял их на следующий день после августовского “путча” 1991 года: теперь уже в осколках коммунистических режимов не просматривалось ничего, кроме обычного либерально-демократического набора. С этого момента в глазах тех, кто был сторонником коммунизма, изменился сам смысл этого понятия. Вместо того, чтобы быть залогом будущего, советский опыт стал одним из великих проявлений антилиберальной и антидемократической реакции в европейской истории XX века; другим проявлением был, конечно, фашизм в его разнообразных формах.

Таким образом, советский опыт обнаруживает одну из своих отличительных черт: свою нерасторжимую связь с некой фундаментальной *иллюзией*, которую, как казалось, он долгое время подерживал, чтобы в конечном счете ее окончательно развеять. Проблема не сводится к тому, что проводники и сторонники этого опыта сами не знали, какую историю они творят, и что они,

как это чаще всего и бывает, достигли не тех результатов, к которым стремились. Очень важно, что коммунизм претендовал на то, чтобы выражать историческую необходимость, а потому требование “диктатуры пролетариата” приобретало для его сторонников бесспорность научной истины. Эта иллюзия была иной по своей природе, чем та, которая может возникнуть из неверного расчета целей и средств или даже из простой веры в правоту своего дела. Эта иллюзия дает человеку, затерянному в истории, не только смысл жизни, но и непоколебимую уверенность. Она не была чем-то вроде ошибочного суждения, которое можно исправить, опираясь на опыт, но имела больше общего с религиозной верой, хотя предмет ее обожествления лежал в области истории.

Иллюзия не просто “сопровождает” коммунизм, она его созидает: она не зависит от его развития, ибо предшествует опыту, и в то же время разделяет с ним риск этого опыта, так как им проверяется истинность пророчества. Ее основой является политическое воображение современного человека, однако она подвержена постоянным преобразованиям, к которым ее вынуждают меняющиеся обстоятельства и необходимость выживания. Она повседневно питается историей, интегрируя все новые и новые данные в состав своих верований. Этим и объясняется тот факт, что исчезнуть она смогла вместе с исчезновением того, что составляет ее питательный субстрат — с верой в спасение через историю. Она сдалась, лишь будучи решительно опровергнута историей, которая лишила смысла всю ее работу по постоянному латанию дыр.

Сюжет данной книги — не история коммунизма как такового и уж тем более — не история СССР, но история коммунистической иллюзии, просуществовавшей до тех пор, пока существование СССР давало ей жизненную устойчивость. Рисуя ее меняющиеся обличья на протяжении века, я не склонен рассматривать ее как этап, уже пройденный либерально-демократическим движением: я не вижу оснований подменять одну философию истории другой. Утопия нового человека существовала до советского коммунизма, и она переживет его, приобретя новые формы, — например, освобожденная от мессианизма рабочего класса. Во всяком случае, историк коммунистической идеи в нынешнем веке может быть в данный момент уверен, что имеет дело с завершающим циклом современного политического воображения, цикла, начатого Октябрьской революцией и закрытого распадом Советского Союза. Помимо того, чем он являлся, коммунистический мир всегда кичился тем, чем он хотел и намеревался стать. Вопрос разрешился с исчезновением коммунистического мира: отныне он весь заключен в своем собственном прошлом.

Но история его “идеи” шире, чем его реальная власть, даже в период его максимальной географической экспансии. Эта идея универсальна, она затронула такие народы и территории, куда даже христианство не смогло проникнуть; чтобы проследить ее историю в полном объеме, надо обладать такими знаниями, которых у меня нет. Поэтому я ограничусь ее распространением в Европе, где она родилась и обрела власть, где она стала столь популярной в конце второй мировой войны и где, в конце концов, и умерла, причем ее агония заняла тридцать лет — от Хрущева до Горбачева. Ее “изобретатели”, Маркс и Энгельс, не предполагали, чтобы она имела ближайшие перспективы за пределами Европы. Так что выдающиеся марксисты, такие, как Каутский, отказались признать Октябрьскую революцию 1917 года, сочтя ее явлением слишком экзотическим, чтобы претендовать на роль авангарда. Ленин, захватив власть, видел спасение лишь в поддержке русской революции со стороны пролетариата более развитых стран Западной Европы, прежде всего — Германии. Сталин затем в полной мере использовал значение русского опыта в развитии коммунистической идеи, опираясь на все те приобретения, которые дала ему победа над фашизмом. Короче, Европа — не только прародительница коммунизма, но и главный театр его активности. Здесь колыбель и сэрце его истории.

Кроме того, Европа дает историку возможность сравнительного исследования. Коммунистическая идея может здесь рассматриваться в двух ее политических состояниях: 1) когда она захватывает власть через посредство единственной партии и 2) когда она существует в диффузном состоянии, будучи растворена в общественном мнении демократических стран с помощью местных коммунистических партий, а также помимо них, в менее наступательных формах. Обе сферы непрерывно взаимодействуют между собой, первая — тайно и скрытно, вторая — гласно и открыто. Интересно, что коммунистическая идея лучше выживает во второй сфере, хотя именно первая сфера представляет ее наиболее внушительно. В СССР, а затем, после 1945 года, в странах так называемого “социалистического лагеря” она является идеологией и языком абсолютного господства, инструментом духовной и реальной власти, так что ее освободительные лозунги очень быстро уступают место реальности порабощения. На Западе она также, благодаря братским партиям, подчинена узким задачам международной солидарности; но, не будучи здесь инструментом государственного управления, она сохраняет частицу своего первоначального обаяния, хотя ее и захватывает тот же процесс неизбежного вырождения, который идет на другом конце Европы, в Советской империи. Благодаря постоянно меняющемуся дозиро-

ванию двух составляющих — утопической и реально исторической, — коммунистическая идея оказалась в силах продлить свою жизнь вплоть до наших дней. В умах она просуществовала гораздо дольше, чем в реальности, и на западе Европы дольше, чем на востоке континента. Путь, проделанный ею в человеческом воображении, более таинственен, чем ее реальная история: вот почему данное исследование стремится воспроизвести все извивы этого пути. Быть может, это и есть наилучший способ помочь формированию исторического сознания, общего и для западной, и для восточной частей Европы, которые так долго были разделены как реальностью, так и иллюзиями коммунизма.

Наконец, несколько слов об авторе, поскольку всякая историческая книга имеет свою собственную историю. У меня есть биографическая связь с сюжетом, которым я занимаюсь. Для того чтобы погрузиться в “прошлое одной иллюзии”, мне достаточно вернуться к моей собственной коммунистической молодости, между 1949 и 1956 годами. Вопрос, на который я ищу ответ, не отделим, таким образом, от моего существования. Я пережил изнутри власть коммунистической иллюзии в один из периодов ее наибольшего распространения. Должен ли я об этом сожалеть сейчас, когда пишу эту историю? Вряд ли... С расстояния в сорок лет я сужу свое тогдашнее ослепление без снисхождения и без горечи. Без снисхождения — потому что ссылки на благие намерения, часто приводимые в качестве оправдания, не могут, на мой взгляд, искупить невежество и самоуверенность. Без горечи — потому что неудачно сделанный выбор меня многому научил. Он натолкнул меня на ряд вопросов относительно революционной страсти и излечил от псевдорелигиозной самоотдачи в политической борьбе. Эти проблемы помогли мне в формулировании замысла книги и определили ее содержание. Надеюсь, что она будет способствовать их прояснению.

# *Глава первая*

## Революционная страсть

Чтобы понять силу политических мифологий, заполнивших собой XX столетие, надо вернуться ко времени их зарождения или хотя бы их молодости: только так мы сможем составить себе представление об их былом блеске. Прежде чем обесчестить себя преступлениями, фашизм был надеждой. Он привлекал не только миллионы простых людей, но и многих интеллектуалов. Что же касается коммунизма, то мы стоим еще совсем близко к порою его расцвета, поскольку он намного пережил и свои поражения, и свои преступления, сохранившись в качестве политического мифа и социальной идеи, особенно в тех европейских странах, которые прямо и непосредственно не испытали его господства; приказав долго жить у народов Восточной Европы уже в середине 50-х годов, коммунистическая идея и двадцать лет спустя еще продолжала цвести в интеллектуальной жизни Италии или Франции. Эта живучесть показывает, насколько глубоки были ее корни и насколько сильна сопротивляемость реальному опыту, отзываясь как бы эхом былых блистательных побед.

Мы должны сделать усилие и мысленно перенестись во времена, предшествовавшие катастрофам, которые произошли под знаком двух великих идеологий, тайну влияния которых нам предстоит понять, — во времена, когда эти идеологии олицетворяли собой надежду. Трудность такого ретроспективного взгляда связана с тем, что слишком короткий срок отделяет время катастрофы от времени надежд: после 1945 года почти невозможно представить себе, какими мечтами опьянялся национал-социализм в 20-е или 30-е годы. С коммунизмом дело обстояло несколько иначе не только потому, что победа 1945 года продлила ему жизнь, но и по-

тому, что вера в него зиждилась на связи последовательных исторических эпох: считалось, что эпоха катаклизма открывает дорогу эпохе социализма и коммунизма. Сила такого представления столь велика, что позволяет понять и заново пережить надежды, носительницей которых была идея коммунизма в начале века, но зато возникает опасность недооценки финальной катастрофы. Крах фашизма ознаменовал его конец как идеологии, коммунизм же сохранил нечто от своего первоначального очарования. Причина живучести коммунизма заключена в пресловутом смысле истории, иначе говоря — в представлении об исторической необходимости, которая заменяет религию тем, у кого нет религии, и от которой, следовательно, так трудно, так больно отказываться. Однако нужно все-таки исполнить эту печальную обязанность, чтобы понять XX век.

Идея исторической необходимости достигла в XX веке небывалого расцвета, ибо ей сообщила трагическое напряжение дуэль между фашизмом и коммунизмом: вторая мировая война вынесла приговор в борьбе двух сил — прошлого и будущего, реакции и прогресса, — каждая из которых претендовала на то, чтобы прийти на смену буржуазной демократии. Но в результате у нас на глазах оба соперника один за другим сошли со сцены. Ни фашизм, ни коммунизм не смогли стать воплощением будущего человечества. Оба остались лишь краткими эпизодами, замкнутыми внутри того, что они желали разрушить. Порожденные демократией, они демократией же и были повержены. Они не несли в себе исторической необходимости; история нашего столетия, так же, как и предыдущих, могла бы иметь иное развитие: достаточно представить себе, что в России 1917 года не оказалось бы Ленина, а в Германии времен Веймарской республики — Гитлера. Понимание нашей эпохи становится возможным, только если мы освободимся от иллюзии необходимости: XX век становится объяснимым — в той мере, в какой это вообще возможно, — лишь постольку, поскольку мы признаем его непредсказуемость, которую как раз и отрицали те, кто был ответственен за его трагедии.

В этой книге я стараюсь понять одну вещь, ограниченную и центральную в одно и то же время, а именно — роль, которую сыграли в нашем веке идеологические страсти, в особенности — коммунистическая страсть. Именно эта черта специфична для XX века. Не то чтобы предшествующие века не знали идеологий: Французская революция продемонстрировала всю силу их воздействия на народные массы, а в XIX веке многие мыслители вновь и вновь изобретали и пропагандировали исторические системы, долженствовавшие дать взамен божественного провидения глобальные объяснения судьбам людей. И все же до XX века не су-

ществовало идеологических правительств или режимов. Быть может, первый набросок таких режимов дал Робеспьер весной 1794 года, учредив праздник Высшего существа и начав Большой террор. Но это продолжалось всего несколько недель, а культ Высшего существа носил скорее религиозный характер, в то время как я здесь называю идеологиями такие системы объяснения мира, благодаря которым политическая деятельность людей приобретает провиденциальный характер в отсутствие какого-либо божественного начала. В этом смысле Гитлер, с одной стороны, и Ленин — с другой, создали ранее небывалые режимы.

Этим режимам именно идеологии придали огромную притягательную силу, привлекающую к ним в послевоенной Европе не только народные массы, но и образованные слои общества, несмотря на всю примитивность идей и аргументов, которыми эти режимы оперировали. В этом отношении национал-социализм стоит на первом месте, являя собой невероятную мешанину идей, созданную недоучками. У ленинизма была, по крайней мере, хоть какая-то философская почва. Однако даже национал-социализм, не говоря уже о муссолиниевском фашизме, насчитывает в числе тех, кто склонялся над колыбелью чудовищного младенца, выдающихся мыслителей нашего столетия, начиная с Хайдеггера. А что же сказать о марксизме-ленинизме, который, с его претензией на культурное наследие, с самого начала и до самого своего конца привлекал к себе такое количество философов, ученых, писателей! Участники этой процессии менялись, одни приходили, другие уходили, в зависимости от колебаний международной конъюнктуры и политической тактики Коминтерна. Но если составить общий список знаменитых авторов, которые в разное время были коммунистами или сочувствовали коммунизму, были фашистами или сочувствовали фашизму, то мы получим настоящий Готский альманах интеллектуальной, научной и литературной элиты. Чтобы оценить притягательную силу, которой обладали фашизм и коммунизм для интеллектуалов, французу достаточно взглянуть на свою собственную страну — литературное отечество всей Европы, где на страницах “Нувель Ревю Франсез” в период между двумя войнами задавали тон Дриё ла Рошель, Селин, Жуандо, с одной стороны, и Жид, Арагон, Мальро — с другой.

Странно не то, что интеллектуал выражает дух времени. Странно то, что он подчиняется ему, вместо того чтобы попытаться оказать на него влияние. Большинство выдающихся французских писателей XIX века, особенно в поколении романтиков, занимались политикой — часто как депутаты, иногда как министры, но они при этом стояли особняком, сохраняли свою независимость, их нель-

зя было расставить по ранжиру. Писатели XX века подчиняются политике партий, по преимуществу — экстремистских, враждебных демократии. Они играют второстепенную и временную роль статистов, которыми манипулируют, как и любыми другими членами партии, и жертвуют по воле партийного руководства. Так что невольно напрашивается вопрос об особом характере этого идеологического соблазна, одновременно универсального и таинственного. Нетрудно догадаться, почему какая-нибудь речь Гитлера захватывает солдата, уцелевшего после Верденского сражения, или антикоммунистически настроенного берлинского обывателя, — труднее понять, почему она воздействует на таких людей, как Хайдеггер или Селин. То же и в отношении коммунизма: электоральная социология может нам указать на социальные слои, восприимчивые к идеям ленинизма, но не может объяснить универсальную притягательность этих идей. И фашизм, и коммунизм обязаны значительной частью своих успехов благоприятному стечению обстоятельств, можно сказать, удаче: нетрудно представить себе, какой оборот приобрели бы события, если бы Ленин в 1917 году был задержан в Швейцарии, а Гитлер не был бы призван на пост канцлера в 1933 году. Но влияние их идеологий осуществлялось бы независимо от их прихода к власти: именно в этом и состоит небывалый феномен идеологической политики, тайна ее проникновения в умы. В теолого-политической партитуре нашего века самым загадочным является именно этот мотив: как могли такие интеллектуальные самоделки сосредоточить на себе столь сильные страсти, столь сокрушительный заряд фанатизма отдельных личностей?

Чтобы это понять, следует не столько разбирать свалку мертвых идей, сколько обратиться к тем страстям, которые придавали им силу. Из всех страстей, разрывавших вскормившую их грудь современной демократии, самая мощная — ненависть к буржуазии... Она пронизывает весь XIX век, чтобы достичь кульминации в нашу эпоху, поскольку буржуазия, под разными наименованиями, является для Ленина, как и для Гитлера, козлом отпущения за все грехи мира. Воплощая собой капитализм, она порождает, по мнению одного, империализм и фашизм, по мнению другого — коммунизм, и для обоих является источником всего самого ненавистного. Достаточно абстрактное, чтобы порождать разнообразные символы, достаточно конкретное, чтобы служить непосредственно достигаемым предметом ненависти, понятие буржуазии дает и коммунизму, и фашизму необходимую точку отталкивания, ту совокупность традиций и чувств, которая подлежит ниспровержению.

Ведь это старая история, такая же старая, как наше современное общество.

Буржуазия — это второе имя современной цивилизации. Оно обозначает класс людей, которые своей свободной активностью последовательно разрушали старое аристократическое общество, основанное на иерархии рождения. Буржуа нельзя определить в политических терминах, как античного гражданина или средневекового феодала. Первый имел исключительное право на участие в дебатах Городского собрания, второй имел как раз тот *quantum* господства и подчинения, который соответствовал его положению в иерархии власти. Но буржуазия уже не имеет постоянного места в политическом порядке, то есть в общественном устройстве. Ее место целиком определяется экономикой — такой категорией, которую она сама же и избрала, явившись в мир: речь идет о взаимоотношениях с природой, с трудом, с обогащением. Буржуазия — класс, не имеющий ни статуса, ни четких традиций, ни определенных контуров, имеет единственное и притом шаткое основание для господства — богатство. Это основание ненадежно, ибо богатство принадлежит всем: тот, кто сегодня богат, мог бы быть бедняком, и наоборот.

И действительно, буржуазия — социальный класс, определяемый экономически, — пишет на своих знаменах универсальные ценности. Труд перестает быть уделом рабов, как в античном обществе, или черни, как в обществе аристократическом, он становится уделом всего человечества, неотъемлемой принадлежностью самого элементарного индивида перед лицом природы. Он предполагает уравнивающую всех фундаментальную свободу каждого человека — свободу улучшать свое существование, увеличивая свою собственность и свое богатство. Таким образом, буржуа мыслит себя человеком, свободным от религиозных и политических традиций, индетерминированным и равным в правах со всеми другими людьми. Он определяет свое поведение по отношению к будущему, поскольку он должен сам создавать себя, равно как и сообщество, членом которого он является.

Однако социальное существование этого нового персонажа ненадежно. Мы видим его на театре мировой истории, где он провозглашает свободу, равенство, права человека, выступая против всех ранее существовавших обществ, основанных на ущемлении этих прав. Но какую же новую ассоциацию людей он предлагает? Он предлагает такое общество, которое берет на себя минимальные обязательства — гарантировать своим членам свободу личного предпринимательства и свободу пользования приобретенными благами. Что же касается всего остального, то это их частное дело: они могут исповедовать любую религию, иметь любые идеи о добре и зле, они свободны предаваться своим удовольствиям и преследовать любые цели, при условии соблюдения минимальных

ограничений, которые связывают их с другими согражданами. Буржуазное общество, таким образом, по определению отделено от идеи общего блага. Буржуа — это индивид, изолированный от себе подобных, замкнутый в кругу своих интересов и своего имущества.

Отделенный, замкнутый, он одержим одним навязчивым стремлением — увеличить дистанцию между собой и другими людьми: ведь стать богатым означает стать богаче своего соседа. В мире, где ни одно место не бронировано заранее и не приобретается навечно, беспокойная забота о будущем владеет всеми сердцами и ни в одном не находит длительного успокоения. Сознание индивида обретает себя лишь в сравнении с другими, в утверждении себя через восхищение, зависть, ревность, которые возбуждают в нем другие. Руссо<sup>1</sup> и Токвиль дали самый глубокий анализ этой демократической страсти, которая стала основным сюжетом современной литературы. Но успокоение этой страсти может быть только временным: ведь в своей зависимости от превратностей жизни она вынуждена непрерывно искать подкрепления в наращивании богатства и престижа.

Таким образом, движение частиц, составляющих общество, сотрясает его и толкает вперед. Но эта внутренняя лихорадка усугубляет присущие ему противоречия. Мало того, что это общество сформировано из членов, не очень расположенных интересоваться общим благом, — сама идея всеобщего равенства, которая провозглашается им в качестве основополагающей, в качестве первооткрытия, непрерывно подрывается наличием имущественного неравенства, контрастом богатства и бедности, порождаемым конкуренцией между его членами. Его движение противоречит его принципу, динамизм — легитимности. Оно, это общество, не перестает производить неравенство в масштабах, каких не знало ни одно из предшествующих обществ, — и в то же время провозглашает равенство как непререкаемое право человека. В предшествующих обществах неравенство имело законный статус, освященный природой, традицией или провидением. В буржуазном обществе идея неравенства протаскивается контрабандой, она находится в противоречии с представлениями людей о самих себе, но, тем не менее, присутствует повсюду, определяя и жизненные ситуации, и человеческие страсти. Не буржуазия изобрела разделение общества на классы. Но она превратила такое разделение в постоянный источник страданий, ибо облекла его в идеологию, лишившую его легитимности.

Именно отсюда проистекают трудности создания самоуправляющегося общества (*la Cité*), которое, даже будучи в этих условиях создано, оказывается хрупким и неустойчивым. В отличие от ан-

тичного гражданина, современный буржуа не является человеком, неразрывно связанным со своей малой родиной. Не имеет он и такого прочного социально-политического статуса, каким обладал представитель феодальной аристократии. Он богат, но его деньги не обеспечивают ему никакого места в человеческом сообществе; да и можно ли вообще называть сообществом эту выродившуюся среду совместного обитания, возникшую лишь как побочный продукт социального развития? Лишенное онтологического обоснования, независимого от отдельных людей, будучи вторичным по отношению к социальной сфере, буржуазное государство оказывается сомнительным образованием. Поскольку все люди равны, они и должны все вместе осуществлять самоуправление. Но как это самоуправление организовать? как включить в него миллионы людей, не прибегая к делегированию прав? зачем допускать к этому процессу безграмотных и бедняков — тех, кто не способен к свободному волеизъявлению? как организовать “представительство” от общества? какой властью наделить этих представителей? и т.д. Можно до бесконечности продолжать список вопросов, на которые, начиная с XVIII века, политическая организация буржуазного общества не может найти ответа. Моя задача состоит не в том, чтобы вновь возвращаться к истокам, но чтобы указать на последствия, которые со всей очевидностью обнаружились в XX веке.

С большим трудом буржуазное общество наладило механизм выявления своей политической воли, но его злоключения на этом не кончились. Лишенное легитимного руководящего класса, организованное на основе делегирования полномочий и разделения властей, подверженное резким и мелочным страстям, оно создает все условия для выдвижения посредственных и многочисленных вождей, для демагогических спекуляций и бесплодной агитации. Его сжатой пружиной является противоречие между разделением труда — источником его богатства — и принципом равенства людей, украшающим фронтоны официальных учреждений. Труд, будучи исторической и социальной реальностью и вытекая из отношения человека к природе, оказывается в то же время проклятием для пролетариата, за счет эксплуатации которого обогащается буржуазия. Значит, надо уничтожить это проклятие, чтобы достигнуть обещанной универсальности. Так идея равенства начинает функционировать как воображаемый горизонт буржуазного общества, горизонт, на недостижимость которого постоянно указывают критики буржуазии. Беда буржуа не только в том, что он расколот внутри себя, но и в том, что одна его половина подвергается критике со стороны другой.

Впрочем, этот буржуа, образ которого столь необходим его ненавистникам, существует ли он вообще как человек определенно-го класса, осознавшего себя в качестве демиурга современного общества? Если определять его через экономические отношения, являющиеся его преимущественной сферой, то он окажется всего лишь винтиком движущейся машины, а героев своих он берет где ни попадя и меняет семь раз на дню. Капитализм был создан не столько каким-то классом, сколько неким обществом, в самом широком смысле слова. Соединенные Штаты, подлинное отечество капитализма, не имеют буржуазии, а имеют буржуазный народ, а это — совсем другое дело. То, что в современной Франции присутствует сознательно буржуазного, объясняется прежде всего политическими и культурными воздействиями. Французская революция была не дочерью, а матерью буржуазии: в течение всего XIX века собственники страшились повторения 1793 года, призрак которого питал их ужас перед народными массами и перед республиканскими и социалистическими идеями. Эта буржуазия со страстью противопоставляла себя как верхам, так и низам общества, оправдывая, как нигде, свое наименование “среднего класса”; но она при этом не имеет никакого экономического проекта: она не любит аристократию, но подражает ей. Она не любит народ, но разделяет его крестьянскую осторожность. Американский народ был одержим духом капитализма, хотя и не имел буржуазии. Французское политическое общество создало буржуазию, которая была лишена капиталистического духа.

Таким образом, слова “буржуа” и “буржуазия” нуждаются в уточнении и ограничении, дабы сделать их употребление более ясным и удобным. Если речь идет об обозначении того, что составляет новизну и противоречивость нового общества, лучше пользоваться более общими терминами, которые не ставили бы заранее вопрос о причинности и предлагали бы не столько объяснение, сколько констатацию нового положения общественного человека в современную эпоху. На грани XVIII и XIX веков все выдающиеся умы сходились на том, что начинается новый, небывалый период истории. Они называли его по-разному: шотландцы — “коммерческое общество”, Гегель — “концом истории”, Токвиль — “демократией”. Определение Гизо, взявшего за основу понятие “буржуазии”, стало самым популярным, и не только потому, что было подхвачено Марксом. Главное, выдвинув понятия “буржуа” и “пролетарий”, Гизо, как и Маркс, предложил будущим поколениям двух главных персонажей, положительного и отрицательно-го, двух протагонистов исторической пьесы.

В самом деле, благодаря роли, отведенной буржуазии, драма европейской истории обрела не только смысл, но и действующее

лицо. Это лицо Гизо прославляет, а Маркс “критикует”, но в обоих случаях оно заполняет историческую сцену своим множественным присутствием и направляет действие своей коллективной волей. Гизо объявляет о завершении классовой борьбы от имени буржуазии, а Маркс — о ее продолжении от имени пролетариата. Таким образом, оказываются персонифицированы участники борьбы и мотивирована ее необходимость. Классовая борьба дает направление и ориентиры истории, а ее действующие лица своей волей помогают осуществлению исторических законов. Буржуазия, выступающая как *deus ex machina* современного общества, оказывается воплощением его пороков, козлом отпущения и носителем злой воли. Люди XIX века, не дожидаясь Маркса, обвинили буржуазию во всех смертных грехах: ненависть к буржуа родилась вместе с самим буржуа.

Уже во время Французской революции буржуазия подверглась критике изнутри самого буржуазного мира. Люди 1789 года, провозгласив равенство всех французов, вместе с тем лишили многих своих сограждан права избирать и быть избранными. Провозгласив свободу, они сохранили рабство в колониях во имя процветания национальной коммерции. Те, кто пришел им на смену, не преминули воспользоваться их непоследовательностью, чтобы двинуть революцию дальше, к истинному равенству, но лишь для того, чтобы обнаружить неосуществимость этого лозунга, приходящего в противоречие с самим принципом демократии. Если все люди объявлены равными, то как должен относиться бедный к богатому, рабочий к буржуа, менее бедный к более бедному? Якобинцы 1793 года были буржуа, сторонники свободного предпринимательства, но одновременно — революционерами, ненавидевшими неравенство, воспроизводимое рынком. Они напали на то, что сами называли “аристократией богатства”, используя словарь “старого” мира для обличения “нового”: если демократическое неравенство непрерывно возрождает аристократическое неравенство, то зачем было свергать “старый” режим?

Именно эта внутренняя неуверенность в себе придает французской революции ее неконтролируемый и нескончаемый характер, который отличает ее от американской революции, отличается настолько, что даже сомнительно, можно ли обозначить одним и тем же словом эти два события. Однако же оба они вдохновлялись одними идеями и сходными страстями; почти одновременно они заложили основы современной демократической цивилизации. Но одно завершилось разработкой и принятием конституции, которая продолжает действовать и поныне, став священными скрижалями американского гражданского общества. Другое же множит консти-

туции и режимы и дает миру первый пример эгалитарного деспотизма. Оно растягивает во времени идею революции, понимаемой не как переход от одного режима к другому, не как промежуточное состояние, но как политическая культура, неотъемлемая от демократии, не имеющая законного и конституционного завершения, питаемая неутолимой страстью к равенству.

Токвиль полагал, что сила этой страсти во время Французской революции была связана с тем режимом, который революция ниспровергала, и что буржуа вызывал против себя дополнительную ненависть, выступая как невольный наследник высокомерия аристократов. Американцы, которым не надо было ниспровергать “старый режим”, рассматривали равенство как исконно принадлежавшее им достояние. Французы же, приобретя равенство, боялись его потерять и преклоняются перед ним, видя в богатстве отблеск аристократизма. Этот пронизательный анализ различия двух народов и двух революций конца XVIII века не должен затмевать глубокого сходства эгалитарных страстей в обеих странах; и сейчас, в конце XX века, критика демократии во имя демократии обладает в США не меньшей силой, чем во Франции и в Европе в целом. И дело не в том, что согласительное равенство американцев захватило европейские страны — скорее, принудительное равенство французских революционеров завоевало американское общество.

Однако у американцев даже и сегодня эта исконная страсть современной демократии не переходит в ненависть к буржуазии: фигура буржуа не участвует, или почти не участвует, в их политических коллизиях, которые идут по другим каналам и используют другие символы. В европейской политике, напротив, она присутствует на каждом шагу, являясь предметом нападков для всех обездоленных современного мира, — и для тех, кто обвиняет буржуазный мир в убожестве, и для тех, кто обвиняет его в лживости. Французская литература, особенно на протяжении полувека, последовавшего за революцией, исполнена по отношению к буржуазии ненависти, которую питают и правые, и левые, и консерваторы, и демократы-социалисты, и религиозные мыслители, и сторонники исторической необходимости. Для религиозных людей буржуа — это человек, считающий себя свободным от Бога и от традиции, а на самом деле — раб своих интересов; он считает себя гражданином мира, но выступает как свирепый эгоист в своем отечестве; он печется о будущем человечества, но на самом деле озабочен лишь сиюминутными наслаждениями; он проповедует искренность, но лжив в глубине сердца. Социалист тоже присоединяется ко всем этим обвинениям. Но добавляет к ним новые, вытекающие из его приверженности к истинному универсализму и бесклассовому обществу: буржуа, говорит социалист,

изменяет своим собственным принципам, так как, отказываясь от всеобщего избирательного права, он предаст Декларацию прав человека.

Не будем делать поспешного вывода, будто социалист — более продвинутый демократ, чем либерал. Такой тип аргументации, очень распространенный сегодня и имеющий целью подлатать протекающую социалистическую лодку, основан на недоразумении или передержке. Ибо либеральный порядок и порядок демократический имеют общие философские корни; социалистическая критика это знает и видит в них общего врага. Буржуа XIX века может выступать против всеобщего избирательного права, но этим он подрывает свои собственные принципы, и в конце концов он вынужден сдаться. Что же касается социалиста, будь то Бюше или молодой Маркс, то в буржуазном укладе он критикует прежде всего саму идею прав человека, видя в ней простое прикрытие индивидуализма, составляющего опору капиталистической экономики. Драма состоит в том, что один и тот же закон лежит в основе и капитализма, и современной свободы: он обеспечивает плюрализм идей, мнений, удовольствий и интересов. И либералы, и демократы объединены приверженностью к этим ценностям. Реакционеры и социалисты их отрицают во имя утраченной целостности человека и человечества. В эту эпоху нередко писатели, начавшие как крайне правые, подобно, Ламеннэ, кончают как крайне левые; а такой философ-социалист, как Бюше, дополняет католицизмом свою мессианскую философию истории. Любые аргументы годятся для тех, кто хочет бороться против проклятия буржуазного строя, расколовшего целостность мира и человека. Получивший новую актуальность благодаря опыту недавней революции, вопрос Руссо возникает вновь и вновь, от Бональда до Луи Блана: если мы всего лишь индивиды, то какой же тип общества мы образуем?

Я стремлюсь не столько анализировать концепции, сколько оживить определенные формы восприятия и суждения. Люди XIX века были убеждены, что либеральная демократия грозит обществу распадом вследствие его атомизации, безразличия к общественному благу, ослабления авторитета, классовой ненависти. Французы были в этом особенно убеждены, больше, чем англичане, — в силу того, что были детьми абсолютного индивидуализма, установленного 4 августа 1789 года, что пережили народную революцию, положить конец которой смогли лишь ценой установления деспотизма, хотя и временного, но более абсолютного, чем прежняя монархия. Они никогда не проповедовали утилитаризм как философскую гарантию социального объединения, а потому французский и европейский буржуа, если он действительно собственник,

боится революции. Он разделяет страхи и навязчивые идеи своих противников. Он страшится возобновления беспорядков, тем более, что Европа того времени зачарована революционным опытом французов гораздо больше, чем конституционным опытом англичан, как об этом свидетельствуют вспышки 1830 и 1848 года. Таким образом, буржуа навлекает на себя всеобщее презрение; он выступает как выскочка у Бальзака, как “мошенник” у Стендаля, как “фарисей” у Маркса, он — сын великих потрясений, перед которыми продолжают трепетать их жертвы и которым продолжают поклоняться те, кто не прочь выставлять себя в качестве продолжателей революции, но боится принять на себя ее наследие. То великое, что было у буржуа в прошлом, лишь подчеркивает убожество его настоящего.

И вот буржуа становится традиционалистом из трусости: отрицая сам себя, он, тем не менее, не приобретает традиции. Он ненавидит революцию, но вынужден ее принять. Ведь кроме нее, ему остаются лишь чужие, заемные традиции — аристократические и монархические. Точно так же он перестает быть олицетворением свободы и становится авторитарным и тираническим главой семьи, маньяком комфорта, помешанным на собственности, — Шерюбеном Бейлем из стендалевского “Анри Брюлара”, против которого восстает его сын, размахивая одновременно и аристократическим, и якобинским знаменем. Короче говоря, все, что буржуа создал, оборачивается против него. Он возвысился благодаря деньгам, которые позволили ему подорвать изнутри аристократическую иерархию, но этот же инструмент равенства превратил его в аристократа нового типа, который поработен своим богатством еще более, чем аристократ — своим рождением. Он записал на свой счет права человека, но его пугает свобода, а равенство — и того пуще. Он был отцом демократии, согласно законам которой все люди равны, объединены общественным договором, подчинятся закону, выражающему их собственную волю. Но демократия обнажила хрупкость его системы управления и, одновременно, опасность, грозящую ей со стороны большинства, то есть бедняков: вот ему и приходится помалкивать о принципах 1789 года, а ведь именно они позволили ему с треском вломиться в историю.

Если существование буржуа пропитано отступничеством, то это потому, что оно изначально было основано на лжи. Он далеко не является воплощением всеобщего блага, ибо одержим своими частными интересами, символ которых — деньги. Именно из-за денег его и ненавидят более всего. Они навлекают на него неприязнь аристократов, зависть бедняков, презрение интеллектуалов, они лишают его прошлого и настоящего, закрывают перед

ним будущее. То, что составляет его реальную силу, делает его бес-  
сильным овладеть воображением людей. Короля окружает ореол,  
несравненно превосходящий его личность, престиж аристократа  
связан с прошлым его рода, социалист провозглашает борьбу за  
лучшее будущее не для себя, для всех. Но богат — это всего лишь  
богат, и точка. Деньги не являются ни залогом его добродетели,  
ни даже его трудолюбия (как это предполагают пуританские пред-  
ставления); они принесены ему удачей, а завтра их отнимет неуда-  
ча; хуже того, он приобрел их, эксплуатируя труд других, либо с  
помощью мошенничества и скряжничества. Деньги отделяют его  
от других людей, не давая ему даже того минимума уважения, ко-  
торый позволил бы ему спокойно управлять. И это именно в тот  
момент, когда согласие управляемых более всего необходимо пра-  
вителю.

Яркой иллюстрацией политического и морального бессилия  
буржуа является его эстетическое убожество: на протяжении  
XIX века буржуа становится символическим выражением антитезы  
артисту. Он мелочен, уродлив, жуликоват, ограничен, домовит, в то  
время как артист величествен, красив, великодушен, ведет богем-  
ный образ жизни. Деньги обуживают и принижают душу, в то вре-  
мя как презрение к деньгам возвеличивает и приобщает к высшим  
ценностям. Это представление разделяют не только “революцион-  
ные”, но и консервативные писатели и артисты: не только Стен-  
даль, но и Флобер, не только Гейне, но и Гельдерлин. Ламартин  
жил с этим убеждением и тогда, когда был легитимистом, и тогда,  
когда стал республиканцем. Смесь презрения и ненависти — это та  
цена, которую буржуа платит за то, чем он является, и за тот спо-  
соб, каким он вышел на политическую сцену. С одной стороны, он  
представляется тем элементарным человеком, который своей про-  
изводительной деятельностью подчиняет себе природу, заботясь  
только о своей выгоде и разрушая все прекрасное. То, что он про-  
извел революцию, сверг аристократию и монархию, могло бы го-  
ворить в его пользу. Но очень скоро обнаружилось, что он не спо-  
собен сдержат демократические обещания 1789 года и что сама  
идея революции перешла к его противникам. Стало ясно, что его  
подлинное стремление — создать рынок, а не справедливое обще-  
ство. Он символически воплощает лишь наихудшую сторону совре-  
менной цивилизации — капитализм, а не демократию.

Но такое раздвоение вовсе не является неизбежным. Свобода  
производить, продавать и покупать — составная часть свободы во-  
обще, и как таковая она утвердилась в борьбе с феодальными при-  
вилегиями. Юридическое равенство в равной мере необходимо и  
для существования рынка, и для обеспечения физической и мо-  
ральной автономии индивида. И в самой демократической разно-

видности современной цивилизации, в американской, эти две стороны не находятся в противоречии: свободное предпринимательство с одной стороны, и свобода и равенство людей — с другой, мыслятся там в единстве. Наконец, такое раздвоение не имеет ничего общего с развитием и реальными недостатками капиталистической экономики: оно получило свое классическое и крайнее выражение очень рано, в начале XIX века, в таких странах, как Франция и Германия, где производство материальных благ оставалось традиционным по сравнению с английским индустриальным капитализмом. В Германии и Франции интеллектуальная жизнь намного обгоняла экономическое развитие, а революция 1789 года оставила более глубокие следы, чем в Англии. Именно опираясь на расцвет социалистических идей во Франции и на левое гегельянство в Германии, Маркс будет разрабатывать свою радикальную критику вредоносной сущности буржуазии, задав тон для ее осуждения на последующие два века.

В истории Европы обстоятельствам было угодно (и в этой банальной формуле заключена вся тайна Французской революции), чтобы внезапное падение величайшей монархии и возникновение нового режима последовали за медленным восхождением некоего среднего класса, расположенного где-то между аристократией и народом. *Post hoc, propter hoc\**; в эпоху, склонную любое событие объяснять чьей-то целенаправленной волей, буржуазии придется нести ответственность за несбывшиеся надежды, возникшие в момент ее предполагаемого вступления во власть. Но уже во время революции она вынуждена была передать свои полномочия сначала Робеспьеру, потом Бонапарту. XIX век вернул ее к муравьиной деятельности, несоизмеренной с воспоминаниями о недавнем прошлом. Время предложило буржуазии роль, которую она менее всего была способна сыграть, — роль политического класса.

Родившаяся и процветающая в лоне демократии, ненависть к буржуа только внешне кажется ненавистью к другому. В основном и главном — это ненависть к самому себе. Мы находим ее повсюду, у писателей и художников, даже у тех, кто, как Стендаль, не принадлежит ни к аристократам, ни к социалистам. Мы встречаем ее в лоне буржуазных семей, где она заставляет сыновей бунтовать против родителей, во имя свободы и вопреки законам естества. Она возникает изнутри буржуазного уклада, как выражение его внутренних противоречий. В основе антибуржуазной страсти лежат постоянные угрызения буржуа, его нечистая совесть.

\* Вслед за этим, вследствие этого (лат.). — Прим. пер.

Да и как же ему сохранить душевное спокойствие? Он победил аристократию не только силой денег, но опираясь на мощное движение умов. И если многие молодые аристократы присоединились к борьбе против “старого режима”, то сделали они это именно потому, что идея универсального человека, освобожденного разумом от вековых предрассудков, казалась им — и интеллектуально, и морально — предпочтительнее верности традиции. И вот буржуа, став так называемым победителем в исторической борьбе, вынужден столкнуться с последствиями веры в универсальность человека. Лозунги свободы и равенства, провозглашенные революцией и продолжавшие сиять в сознании людей, оказались весьма проблематичными с точки зрения их практического осуществления в общественном устройстве. Образовался разрыв между абстрактными ожиданиями народа и тем, что общество имело реально ему предложить. Тем самым делалось невозможным общественное согласие и примирение спорящих сторон.

Буржуа вынужден существовать в открытом, переменчивом мире, сотрясаемом мощными и противоречивыми страстями. Он зажат между расчетливым эгоизмом, благодаря которому он обогащается, и сочувствием к человеческому роду или хотя бы своим согражданам; между желанием быть равным, то есть быть как все, и навязчивой идеей своей особенности, заставляющей его гоняться за любым знаком отличия; между братством, горизонтом всего человечества, и завистью, являющейся его главным психологическим стимулом. Руссо исследовал обе эти крайности, одну — в “Прогулках одинокого мечтателя”, другую — в “Общественном договоре”. Но сам-то буржуа вынужден существовать между этими полюсами, причем одна его половина ненавидит другую; чтобы быть хорошим гражданином, он должен быть плохим буржуа, или же быть плохим гражданином, если он хочет оставаться настоящим буржуа.

Самое мучительное для него — это то, что он сознает свое несчастье, анализирует и берedit его в лихорадочных поисках собственного “я”, остающегося для него центром вселенной, но центром чрезвычайно шатким, не дающим ему уверенности в том месте, которое он занимает по отношению к другим индивидам. Будучи автономным, это “я” должно само себя построить, но в какой перспективе? Он ощущает свое бесконечное раздвоение, которое дает материал для великой литературы, но не указывает пути ни к хорошему правлению, ни к примирению с самим собой. Буржуа не умеет ни организовать общественную жизнь, ни достичь внутреннего мира: классовая борьба и неустроенность собственного “я” — таковы знаки его судьбы. Провозглашая всеобщее благо как цель, он там же и опровергает то, что провозглашает. Одна его половина солидаризируется с тем, что го-

ворят его противники, поскольку они говорят от имени его же принципов.

Отсюда и проистекает уникальная, ранее не отмеченная в истории черта современной демократии: в ней непрерывно появляются люди, которые ненавидят социальный и политический режим, в котором они родились, ненавидят окружающий их воздух, хотя они этим воздухом дышат и никогда не вдыхали иного. Я не говорю здесь о тех, кто непосредственно после демократической революции сожалел о старом мире, в котором он вырос и привычки которого сохранил. Я имею в виду ту имманентную современной демократии политическую страсть, которая превращает во врагов буржуа всех понемногу, не исключая и самих буржуа. Вопреки тому, что думал Маркс, главной пружиной здесь является не недовольство рабочих, — ведь рабочий только и мечтает о том, чтобы самому стать буржуа. Борьба рабочих — всего лишь составная часть общего демократического процесса. Гораздо существеннее ненависть буржуа к себе самому. Полновластно распоряжающийся экономикой, хозяин всех вещей, он не имеет никаких законных прав распоряжаться людьми. В моральном отношении он расколот изнутри. Он, создатель небывалых богатств, становится козлом отпущения демократической политики, оставляя везде памятники своему техническому гению и своему политическому бессилию. Все это станет окончательно ясно в XX веке.

В отношении ненависти к буржуа XIX и XX век различаются так же, как и в отношении других демократических чувств и представлений. В известном смысле все они проявились достаточно рано. Но если в XIX веке они все еще оставались управляемыми, то в XX веке они выходят из-под контроля. В самом деле, элементы, составляющие антибуржуазную страсть, проявились в европейской культуре и политике уже с начала XIX века и даже еще раньше. Французские якобинцы 1793 года, которые, как считается, открыли эру господства буржуазии, являют собой первый массовый пример буржуа, ненавидевших буржуа, — за что ими так восхищались европейские левые в следующем столетии.

Вчерашний противник, аристократия, в XIX веке еще сохранял достаточно сил: именно Бисмарк объединил Германию, а Кавур — Италию. Короли и аристократы еще во многом продолжали контролировать жизнь Европы, хотя их и пугало то направление, по которому она шла. Даже во Франции, где старый режим был юридически отменен и гражданское равенство необратимо утвердилось с 4 августа 1789 года, аристократия знавала прекрасные времена после падения Наполеона. Она задавала тон в “хорошем обществе” и принимала активное участие в управлении страной

даже после 1830 года. Таким образом, *de facto* почти по всей Европе XIX века установилась в более или менее деградировавшем виде та форма правления, которую классики политической мысли называли “смешанным правлением” — при участии монархии, аристократии и демократии. При таком гибридном политическом устройстве антибуржуазная страсть не могла проявиться в полную силу.

Аристократ не любит буржуа, принесшего с собой власть денег и разрушение социальной иерархии. Но он понимает, что старый мир рухнул и что ему предстоит выживать в условиях буржуазного мира; контрреволюционный настрой помогает ему делеять свои воспоминания и вдохновляет ностальгическую литературу, но аристократ остерегается руководствоваться им в повседневной практике. Если он будет уж слишком ненавидеть буржуазию, он лишит себя возможности воздействовать на ход общественных дел, а то и хуже — может сыграть на руку республиканцам, возбудив якобинские чувства, как то случилось с Шатобрианом после 1830 года.

Таким образом, аристократы заинтересованы в том, чтобы в общественной сфере не выражать слишком явно свое презрение к буржуа. Они в достаточной степени сохранили свои манеры и стиль поведения, чтобы заставить буржуа с уважением относиться к их прошлому. Но подчинившись, как и все их современники, новому божеству исторической необходимости, аристократы согласуют свою политическую деятельность с духом времени. В общем, можно сказать, что именно потому, что она боится революции, аристократия в XIX веке не является контрреволюционной.

Однако и буржуа, по тем же причинам, проявляет умеренность в политике. Опыт 1789 года показал ему, насколько трудно управлять. Он отдает себе отчет в опасностях исторической ситуации, включая сюда и проблематичность своего господствующего положения, и угрозы, которые заключают в себе демократическое равенство. Он сторонник “золотой середины”, готовый переносить высокомерие аристократии и причуды монархии, чтобы управлять народом под их крылышком. Он не может забыть о том, сколь ненадежна власть в демократическом обществе. Потому-то буржуазия предпочитает управлять через третьих лиц, чтобы избежать превратностей демократической политики.

Хотя XIX век проходит под знаком крепнущей демократии, его еще нельзя назвать демократическим веком: народные массы играют пока еще подчиненную роль, действуя в пределах, которые предписаны им элитами. Антибуржуазная критика со стороны аристократов относится скорее к области литературы, чем к области политики, со стороны социалистов — скорее к истории идей,

чем к социальной подрывной деятельности. Поражение революции 1848 года убедительно иллюстрирует такую расстановку сил на европейской сцене.

Конечно, в конце века положение быстро меняется. Ни развитие национализма, ни взрыв “демократического” антисемитизма, ни рост массовых партий, таких как немецкая социал-демократия, не смогут быть правильно поняты, если мы не увидим в этих явлениях знаки небывалого вступления народных масс в сферу современной государственной политики. Но только после окончания войны 1914—1918 годов можно будет представить себе весь масштаб происшедших изменений.

Время мало-помалу сократило дистанцию между буржуа и аристократом, сблизив их идеи, вкусы и даже образ жизни. Культ нации, с невероятной силой проявившийся во время войны, сплотил их в проведении единой политики. Но в это же время и та же война придала новую и чудовишную актуальность идее революции. Она не только привела к власти в России большевиков, которые объявили себя продолжателями дела Коммуны и якобинцев. Но и в правом секторе политической жизни она открыла простор антибуржуазной страсти, освободив ее от опеки со стороны аристократии. В недовольной Италии, в побежденной Германии эта страсть перестает быть монополией узких групп и классов, уцелевших от прошлого. Осененная флагом национального несчастья, она становится достоянием народа, становится демократической ненавистью к демократии и выражается на общественной сцене через таких небывалых актеров, как Муссолини и Гитлер.

Новизна политической ситуации, возникшей после первой мировой войны, состоит именно в этой внезапной вспышке революционного огня, который людям XIX века удалось, как они думали, притушить. Тогда даже среди сторонников социализма, даже среди марксистов идея революции в конце концов стала выглядеть вполне благоразумно. Бланкизм почти умер во Франции, а немецкая социал-демократия, этот маяк рабочего движения и бастион марксизма, работала только для того, чтобы быстрее созрели предпосылки отмены капиталистической экономики. Ни Жорес, ни Каутский уже не ждали прихода “великого дня”. Но большевики, захватив власть в России, вдохнули новую жизнь в идею революции. Их успех, достигнутый вопреки всякой вероятности, стал ярким свидетельством их дерзости и воли. Сама неожиданность достигнутого успеха утверждала возможность его повсеместного повторения.

Но самым удивительным в послевоенной ситуации было то, что идея революции была подхвачена справа, где раньше она на-

ходила только врагов. Европейские правые в XIX веке ненавидели революцию, видя в ней прежде всего бесчестный заговор, затем — неизбежную и фатальную угрозу. Они ненавидели людей, совершивших революцию, ненавидели представление о ней как о якобы исторической неизбежности, ненавидели состояние неустойчивости, которое она оставила в наследство созданному ей новому порядку. Потому-то они, будучи по духу враждебны революции, не были контрреволюционерами в политике: ведь контрреволюция означала бы новую революцию. Эта двойственность позиции позволила старой аристократии вступить в ряды консервативных, частично даже либеральных партий, умерив их враждебность буржуазии.

В противоположность этому, мы видим, как в конце войны враждебность к буржуазии захватывает политических правых, приобретая при этом разнуданный характер, ибо ее выразителями выступают уже не осторожные аристократы прошлого века, а люди толпы, ратующие за равенство и интересы нации. Происходит демократизация антибуржуазной страсти как слева, так и справа. Она захватывает народ. Левые и правые соревнуются в своей ненависти к буржуазии, стремятся перешеголять друг друга, объединяются в этом чувстве. Идея контрреволюции освободилась от своего союза с аристократами и прекрасными дамами. Она готова отвечать за свои последствия и тоже становится революционной.

Хронология может служить отправной точкой для анализа: и большевизм, и фашизм — дети первой мировой войны. Правда, Ленин уже с начала века оттачивал свои политические концепции, а элементы, впоследствии составившие фашистскую идеологию, существовали еще до войны. И тем не менее, партия большевиков приходит к власти в 1917 году именно благодаря войне, а Муссолини и Гитлер создают свои партии сразу же после войны, как ответ на национальный кризис, вызванный мировым военным конфликтом. Этот конфликт изменил в Европе все — границы, режимы, умонастроения, даже нравы. Он глубоко перепахал европейскую цивилизацию, не оставив незатронутым ни один из ее элементов. Он обозначил начало ее заката как центра мирового господства и одновременно возвестил о начале свирепого века, исполненного самоубийственной жестокости со стороны целых народов и государств.

Как всякое великое событие, мировая война сделала явным то, что ей предшествовало, и заложила основы будущего, в данном случае — чудовищного будущего. То, что она обнажила, нам сегодня трудно себе представить. Нынешний западный молодой

человек просто не в состоянии понять те национальные страсти, которые заставляли людей в течение четырех лет истреблять друг друга. Хотя зачастую еще живы его деды, которые во всем этом участвовали, он не может понять ни их бывшего воодушевления, ни их былой пассивности, заставлявших их переносить страдания. Не лучше и положение историка, когда он пытается мысленно восстановить этот исчезнувший мир. Неужели Европа до 1914 года — это та самая Европа, которая породила войну? Ведь она выглядела такой цивилизованной и объединенной по сравнению с остальным миром, что конфликт, вызванный сараевским убийством, кажется чем-то абсурдным: чем-то вроде гражданской войны, которую ведут суверенные государства во имя национальных страстей. Первая мировая война так резко разорвала со всем, что ей предшествовало, что она кажется одним из самых загадочных событий в современной истории. Ее характер нельзя вывести из предшествующей эпохи, ее последствия — тем более. В этом ее отличие от второй мировой войны, которая почти запрограммирована событиями и режимами 30-х годов, запрограммирована также и в своих последствиях, вплоть до падения Берлинской стены. Мы, лично пережившие вторую мировую войну, можем составить почти исчерпывающую таблицу ее причин и следствий. Но первая мировая война существует для нас только в своих последствиях. Разразившаяся в силу случайности, в мире, навсегда исчезнувшем из наших воспоминаний, она принадлежит к числу тех необычайных событий, которые существуют для нас только в качестве начала. В данном случае — в качестве начала того мира, при конце которого мы в настоящее время присутствуем.

Среди двух великих событий, следовавших за войной 1914—1918 годов, первое — это пролетарская революция. Как поток, временно ушедший под землю в 1914 году, она, четыре года спустя, вновь вырывается на свободу, вобрав в себя все военные страдания и разочарования, индивидуальные и коллективные. Их было так много, даже во Франции, стране-победительнице. Что же тогда сказать о побежденных! Большевизм, ставший осенью 1917 года случайным и неуверенным повелителем царской империи, получает поддержку в Европе именно благодаря занятой им еще в 1914 году позиции решительного осуждения войны. Он выглядит так, как будто предугадал ход и значение событий, заполнивших эти ужасные четыре года, что и привело его к закономерному успеху Октябрьской революции. Жестокостям войны он предлагает объяснения и методы лечения не менее жестокие. Ленин называет виновников небывалой бойни, которые соответствуют масшта-

бам события: это империализм, капиталистические монополии, международная буржуазия. Наплевать, что довольно трудно представить себе эту международную буржуазию зачинщицей конфликта, в котором схлестнулись ее национальные ветви. Важно, что таким путем большевики утверждают себя в качестве борцов за универсальные цели: в плане объективном, поскольку война станет могилой породившего ее империализма; в плане субъективном, поскольку врагом является транснациональный класс, который должен быть побежден мировым пролетариатом. Август 1914 года знаменовал победу нации над классом. 1917 и 1918 годы означают реванш класса над нацией. Два лица, два воплощения демократической идеи столкнулись между собой в ходе войны — национальное и интернациональное, — и их столкновение, озаглавленное потоками пролитой крови, до самой сердцевины пронизало коллективный опыт Европы.

Демократический универсализм ведет за собой идею революции, необычайно живучую в континентальной Европе благодаря событиям французской истории. Правда, в XIX веке опыт 1789 года и якобинцев питал главным образом национальные движения; из противоречия между универсальным и частным, которым была отмечена Французская революция, европейские революционеры отдавали предпочтение второму аспекту, что стало очевидным во время событий 1848 года. Но именно война 1914—1918 годов показала, к какой бойне может привести национальный дух, доведенный до белого каления. В результате произошел возврат к идее универсализма. Хотя победители, Клемансо, например, имели циничный (и поверхностный) взгляд на проблему границ и соотношения сил, но и они стремились подкрепить национальные интересы юридическими гарантиями нового международного порядка, ставшего краеугольным камнем вильсонизма. Но другой стороной демократического универсализма остается идея революции, которую и воплотил Октябрь 1917. В этом — секрет его власти над умами.

Начиная с 1918 года, когда европейские народы выходят из войны, события русской революции приобретают международное значение: победа большевиков воспринимается как предвестие мировой революции. Удачный путч, осуществленный в самой отсталой европейской стране сектой коммунистов под руководством дерзкого вождя, превратился силой обстоятельств в событие-образец, долженствующее определять дальнейший ход истории, подобно тому как это сделала в свое время Французская революция. Вследствие порожденной войной всеобщей усталости и гнева народов побежденных стран, иллюзорное истолкование, которое Ленин дал своим действиям, было подхвачено миллионами. Больше-

вистский вождь полагал, что его победа не может быть длительной без поддержки революций в других странах, прежде всего в Германии. Во всей Европе революционеры, опомнившиеся от иллюзий “священного единства” и вернувшись к своим прежним идеалам, стремились следовать предложенной большевиками модели. Так произошла почти повсеместно первая большевизация части европейского левого движения, большевизация, которая оказалась не в состоянии привести своих сторонников к власти, но которая в Европе и во всем мире положила начало партиям и идейным течениям, ориентированным на большевистскую модель. Русской революции придется отступить, окружить себя стеной и существовать подобно острову в океане капитализма; но она ни на йоту не отступится от своих универсалистских амбиций, с которыми и будет связана ее главная притягательная сила. Ее русскость отступит на второй план по сравнению с ее универсальностью. Красные звезды, водруженные на башнях Кремля, станут путеводными звездами мировой революции. При всех превратностях истории, этот миф, то возрастая, то умаяясь в глазах сменяющихся поколений, не угаснет до тех пор, пока сами наследники Ленина не нанесут ему смертельный удар.

Что же касается фашизма, то он родился как реакция частного против универсального, народа — против класса, национального — против интернационального. У своих истоков он неотделим от коммунизма, цели которого он отвергает, а методы заимствует. Классический пример являет собой Италия, первая страна, где зародился фашизм. Она вышла из войны победительницей лишь наполовину, с неудовлетворенными национальными амбициями; общей почвой для фашизма и для коммунизма был здесь итальянский социализм. Муссолини, создатель “фаший” в марте 1919 года, до этого принадлежал к революционному крылу социалистического движения, затем поддержал вступление Италии в войну и оказался в резком конфликте с пробольшевистскими лидерами своей бывшей партии. Он поддержал националистическое выступление д’Аннунцио в Фиуме, но по-настоящему его военизированные отряды сформировались лишь в 1920—1921 году в боях против революционных организаций сельскохозяйственных рабочих севера Италии: это была настоящая гражданская война, которую правительство Джолитти не смогло обуздать и которая впервые в этом веке продемонстрировала слабость либерального государства перед лицом двух сил, яростно боровшихся между собой за возможность прийти ему на смену.

В Германии Немецкая рабочая партия существовала еще до Гитлера. Но эта ничтожная политическая группировка приобрела

хоть какое-то значение лишь с конца 1919 года, когда Гитлер, вступив в нее, придал ей силы своим красноречием. До этого он не принадлежал к социалистам. Но, будучи поклонником Муссолини, он придумал словосочетание, которое приведет его к успеху, — национал-социализм. В этом термине содержится парадоксальное, с точки зрения европейской политической традиции, сочетание национализма и антикапитализма, имеющее целью подчеркнуть необходимость защищать общие интересы и единство немецкого народа против эгоистических происков капиталистов и нигилистических намерений большевизма. В Германии после 1920 года, и особенно в Баварии, где доминировал рейхсвер, проповедь национализма не имела соперников, так как мюнхенская “Республика Советов” уже не существовала, а память о ней была способна лишь питать антибольшевистские настроения. Гитлер привнес новый, по сравнению с Муссолини, мотив — ненависть к евреям, которых он превратил в символ капитализма и большевизма одновременно. Иудаизм для Гитлера — это космополитическая и демоническая сила, поставившая себе целью гибель Германии и потому заслуживающая тотальной ненависти. Эта ненависть обнимает одновременно две вещи, которые в сознании большинства существуют обычно порознь и даже исключают друг друга: власть денег и коммунизм. Ненавидеть в образе еврея одновременно и буржуа, и большевика — таково изобретение Гитлера, его страсть, которую он обнаружил сначала в себе самом, чтобы превратить ее затем в страсть целой эпохи.

Так фашизм возродил, в несколько измененном виде, националистическую страсть, которая накануне 1914 года была тем злым духом, который обуревал большие европейские страны. Война должна была бы убедить народы — особенно потерпевшие поражение — в гибельности этого духа. В том, что этого не произошло, отчасти был виноват Версальский договор, не открывший перед Европой никаких общих исторических перспектив. Но надо учесть и то, что с 1917 года выход из войны по пути интернационализма был уже монополизирован большевиками. В 1918 году, после того как замолкли пушки, защита интересов собственной нации против угрозы большевистской революции казалась более насущной задачей, чем восстановление ее жизненного статуса в новом международном порядке, который еще только предстояло создать. Усиление большевизма вело к усилению антибольшевизма. Фашизм выступил как наиболее ожесточенная форма антибольшевизма именно в тех странах, где государство и руководящие классы были особенно дискредитированы в результате войны. Он без стеснения заимствовал все, что мог, у идеи революции во имя спасения нации, преданной и беззащитной пе-

ред коммунистической угрозой. Возникла новая идеология, новизна которой состояла именно в небывалом ранее смешении старых элементов.

Таким образом, большевизм и фашизм выступили почти одновременно, используя уже известные мотивы европейского идеологического репертуара. Сейчас нам даже трудно себе представить, что это — совсем недавние идеологические образования, настолько они кажутся одним из нас — устаревшими, другим — абсурдными, жалкими или преступными. Но ведь ими заполнен век, они — та материя, из которой он построен! Мошные, призрачные и вредоносные в одно и то же время, как они могли воодушевлять миллионы и миллионы людей? Эти угасшие звезды унесли с собой свою тайну. Чтобы ее разгадать, надо вернуться к тем временам, когда они сияли полным светом.

Сравнительный анализ коммунизма и фашизма необходим не только по причине их одновременного и весьма краткого, по историческим меркам, существования, но и по причине их взаимозависимости. Фашизм родился как реакция на коммунизм. Коммунизм продлил свои дни благодаря победе над фашизмом. Вторая мировая война сначала их объединила, потом столкнула в смертельной схватке. Оба режима были склонны считать несуществующим все, что находилось между ними, но и тот и другой стремились использовать это разделявшее их политическое пространство, чтобы облегчить себе абсолютное господство, являвшееся их конечной целью. В общем, это заклятые враги, поскольку оба поклялись уничтожить друг друга, но также — враги-союзники, которые, чтобы завершить свой поединок, должны сначала ликвидировать все, что их разделяет. Таким образом, даже желание уничтожить друг друга объединяет их, в том случае, если у них нет общего противника, — что и объясняет поведение Гитлера между августом 1939 и июнем 1941 года.

Но самым большим секретом сообщничества между коммунизмом и фашизмом является как раз наличие этого общего противника, относительно которого обе идеологии не устают повторять, что он обречен и находится в состоянии агонии. Речь идет о демократии, борьба с которой составляет их общую почву. Когда я говорю здесь о демократии, я имею в виду оба классических значения термина. Первый обозначает тип правления, основанный на свободном волеизъявлении граждан, периодическом соперничестве партий в борьбе за власть, на равных правах для всех; второй — отсылает скорее к философскому определению современных обществ, состоящих из равных и автономных индивидов, свободных выбирать род деятельности, веру и способ существования. По от-

ношению к обеим этим характеристикам современной демократии и фашизм, и коммунизм демонстрируют не то чтобы одинаковое неприятие (ибо их философские предпосылки различны), но неприятие одинаково радикальное.

Можно без конца цитировать тексты, как с той, так и с другой стороны разоблачающие в качестве буржуазного обмана парламентский режим и политический плюрализм. Впрочем, подобная критика так же стара, как и сам парламентаризм; на протяжении XVIII и XIX веков она приобретала множество форм, от разоблачения английских выборов до обличения олигархического перерождения демократических режимов, включая громкие споры о режимах “старых” и “новых”. В начале XX века в устах Ленина и Муссолини, не говоря уже о Гитлере, эта проблема потеряла свою философскую глубину, превратившись в тему для пропаганды. Она трактуется теперь в плане разоблачения капитализма и всесилья денег, безраздельно определяющих политику. В свое время Маркс, особенно в работах, посвященных Франции, подробно проанализировал парадокс современной истории, состоящей в том, что буржуазия, будучи экономическим классом, лишь с большим трудом и очень неуверенно может осуществлять свое политическое господство. Ленин совершенно пренебрегает этим анализом и не видит в столкновении буржуазных партий ничего, кроме системы притворства и обмана, которую сметет подготовленная его партией пролетарская революция.

Антикапитализм, революция, партия, диктатура партии — все эти темы мы находим также в фашистской пропаганде. Разница лишь в том, что оба направления имеют различные интеллектуальные истоки. Ленин, будучи последователем Маркса, видит в грядущей революции осуществление демократических чаяний, путь к освобождению трудящихся от эксплуатации. Проповедник упрощенного марксизма, он убежден, что диктатура революционного пролетариата и беднейшего крестьянства (такова русская формула завоевания власти) будет, как он пишет, “в тысячу раз демократичнее”, чем самая демократическая из парламентских республик. Разве может быть иначе, коль скоро капитализм будет упразднен? А стоит лишь отменить эксплуатацию работника и его отчуждение от результатов труда, как будет сделан решающий шаг к действительной свободе людей.

Превосходство ленинской мысли над фашистскими теориями состоит, таким образом, в том, что она через критику буржуазной демократии возвращается к основам либеральной философии: автономия индивида, являющаяся сердцевинной либерализма, остается

ся путеводным маяком на горизонте коммунизма. Это важное преимущество позволяет борцам за коммунизм рассматривать свою борьбу в аспекте исторической преемственности, считать себя наследниками и продолжателями прогресса, в то время как фашисты вынуждены считать, что их задача и назначение — разбить фатальное движение современной истории в направлении к демократии.

Из того, что фашизм направлен против движения истории, не следует делать вывод, что он реакционен в том же смысле, как, например, Бональд. Ибо фашистская идея, как и идея демократическая, потеряла религиозную опору и не может претендовать на восстановление человеческого сообщества, которое отвечало бы естественному порядку или воле провидения. Она не может отрицать современный индивидуализм как противоречащий божественному порядку, поскольку для нее он как раз и является плодом христианства. И если фашизм стремится искоренить индивидуализм, то делает это во имя таких понятий, как нация или раса. В этом смысле отрицание фашизмом принципов 1789 года не мешает ему быть революционным, стремящимся ниспровергнуть правительствa и весь буржуазный строй во имя будущего.

Превосходство теории марксизма-ленинизма над фашизмом связано с двумя вещами. Во-первых, она берет на вооружение самую сильную и синтетическую философию истории, созданную в XIX веке. В раскрытии законов истории Маркс не знает себе равных. Он привлекает и ученых, и малообразованных читателей, в зависимости от того, обращаются ли они к “Капиталу” или “Манифесту”. Он предлагает раскрыть для всех секрет, как поставить человека на место Бога: для этого надо включиться в историческую деятельность, будучи уверенным, что своими революционными действиями ты осуществляешь законы истории. Соединение свободы с научным обоснованием этой свободы — что может быть более опьяняющим для современного человека, лишенного Бога! Разве может с этим сравниться гитлеровский постдарвинизм или даже возвеличивание национальной идеи?

Во-вторых, решающее превосходство марксизма-ленинизма состоит в его универсализме, который сближает его с кругом демократических идей, для которых главным стимулом служит чувство равенства людей. Фашист в борьбе с буржуазным индивидуализмом апеллирует к отдельным частям человечества — к нации или расе, исключая всех, кто не принадлежит к данной нации или расе, или даже рассматривая их как врагов. Им он предоставляет выбор только между безнадежной борьбой и бесславным подчинением. Революционер-большевик, напротив, будучи верен демо-

кратической направленности марксизма, считает своей целью освобождение всего человеческого рода. В числе вдохновляющих его исторических примеров Французская революция занимает почетное место. Она рассматривается как первая отважная и героическая попытка поднять против монархической Европы знамя всеобщего освобождения, но не сумевшая выйти за исторические рамки “буржуазности”. Чувствуя себя якобинцами пролетарской революции, Ленин и его соратники уверены, что им удастся осуществить программу своих предшественников. Ибо, в отличие от них, они приходят вовремя.

Вовремя? Скоро выяснится, что это не так: большевистский универсализм очень скоро придет в противоречие с конкретными условиями, первоначально обеспечившими ему победу. Большевики оказались у власти в самой отсталой европейской стране, то есть в стране, где их успех был наименее вероятен. У них нет никаких шансов поставить бедную и некультурную Россию во главе прогресса человечества. Меньшевики им об этом говорили, как и Каутский, самый главный авторитет марксизма. Леон Блюм заявил в своей речи на конгрессе в Туре: пытаюсь насыловать ход истории, большевики подменяют бланкистским путчем то, что Маркс называл диктатурой пролетариата. На все возражения западной социал-демократии у Ленина есть два ответа — один теоретический, другой тактический. Первый, изложенный как раз в его отповеди Каутскому, делает упор на демократическую природу большевистской диктатуры, направленной на ликвидацию капитализма, то есть диктатуры денег. Другой ответ подчеркивает значение особых обстоятельств, которые способствовали победе пролетарской революции в России, оказавшейся самым слабым звеном империализма в Европе; русская революция, подчеркивает Ленин, — это лишь первая в череде пролетарских революций, которые подтвердят всеобщее значение происходящего переворота. Весной 1919 года Зиновьев, председатель Коминтерна, заявил, что у Коммунистического Интернационала есть в настоящее время три опоры: советские республики в России, Венгрии и Баварии. Но никто не удивится, продолжает Зиновьев, если в самое ближайшее время их станет шесть или даже больше, так как “старая Европа бешеным аллюром мчится к пролетарской революции”.

Однако эти иллюзии просуществовали недолго. И Ленин, прежде чем уйти с политической сцены, должен будет признать чисто русский характер первой пролетарской революции. Сталин заменит революционные надежды послевоенных лет идеей построения социализма в одной, отдельно взятой стране, и хотя он будет всячески провозглашать общемировое значение победы Ок-

тября, эта победа будет оставаться шаткой вследствие своей территориальной ограниченности. Французская революция не переставала разрываться между своими универсальными амбициями и своей национальной ограниченностью. Русская революция поначалу пыталась избежать этого тупика благодаря своему пролетарскому характеру и европейскому резонансу. Но, вынужденная замкнуться в границах старой царской империи, она оказалась во власти противоречия еще более явного, чем ее предшественники в конце XVIII века.

Октябрьская революция пожелала быть более универсальной, действительно универсальной в силу своего пролетарского характера, в силу того, что ее целью было освобождение класса, которому нечего терять, кроме своих цепей, и который, освобождая себя, освобождал и весь мир; она полагала себя свободной от исторической ограниченности буржуазной революции. Но пролетариат, от имени которого она претендовала действовать, обладал столь сомнительным существованием, что для осуществления его воли потребовался целый ряд подмен: рабочий класс представляет партия большевиков, которую, в свою очередь, направляет узкий кружок руководителей, где первую скрипку всегда играет главный вождь. Эта концепция, выработанная Лениным в ходе внутрипартийных сражений еще до первой мировой войны, утвердилась после Октября в качестве непререкаемой догмы. Разгон Учредительного собрания, запрещение всех партий, кроме большевистской, затем запрещение фракций внутри этой единственной партии — все это привело к тому, что власть законов была заменена абсолютной властью Политбюро и его генерального секретаря.

То, что Ленин незадолго до смерти осознал опасность такого режима, уже не имело большого значения: ведь он сам заложил его основы и установил правила. Авторитет науки, уверенность в непреложности законов истории являлись тем цементом, который, в конечном счете, скреплял систему, порожденную революцией. Французские якобинцы хотели, чтобы принципы 1789 года превратили Францию в отечество для всего человечества. Русские большевики хотели того же, исходя из своей уверенности, что ими познаны законы истории. Однако страна, где они одержали победу, то наследие, которое они получили, характер общества, которое они взялись преобразовывать, политические концепции, которые они выдвигали, — все это делало их положение и их самооценку еще более шаткими и не адекватными реальности, чем амбиции французских революционеров. Эти творцы истории столкнулись с реальной историей, едва начав действовать. Попытка Ленина практически применить в России положение о постро-

ении бесклассового общества сильно подорвала престиж этого предсказания Маркса.

Удивительно не то, что большевистский универсализм сразу же породил такое количество столь непримиримых врагов. Удивительно то, что он приобрел такое количество столь преданных друзей. Его успеха и созданного им мифа оказалось достаточно, чтобы Октябрь был признан европейскими левыми в качестве переломной даты, началом освобождения трудящихся во всем мире; этому не помешал даже откат революционной волны в Европе после 1920 года.

Идеологический успех, изначально сопутствовавший большевизму в Европе, окружен такой же тайной, как и бурное развитие фашистских идей в эти же годы. Взаимосвязь и взаимодействие этих двух направлений позволяет, быть может, высказать такую гипотезу: эффективность обеих идеологий связана с тем, что и та и другая основаны на упрощениях и преувеличениях. И та и другая гиперболизируют и доводят до карикатуры коллективные представления, служащие им знаменем: одна является патологией универсального, другая — патологией национального. А вместе им предстоит пронизать историю XX столетия, черпая силу в событиях, которые они же и вызвали к жизни. Разжигая фанатизм своих сторонников, они не только не смягчились, придя к власти, но пустились в новые преступления и злодеяния. Сталин истребит миллионы своих соотечественников во имя борьбы против буржуазии, Гитлер — миллионы евреев во имя чистоты арийской расы. В динамике политических идей XX века проявляется некая мистерия зла.

Загадочное сочетание крайней грубости идеологий XX века и их трагической власти над умами выступает особенно отчетливо по сравнению с предшествующим столетием. Французская революция и зарождающаяся демократия передали XIX веку огромное наследие идей. Это была исключительная эпоха по богатству политическими дискуссиями, интеллектуальными концепциями, доктринами и идеологиями, ставившими задачу создать либеральное, демократическое и социалистическое общества. Старый мир, предшествовавший революции, еще был жив интеллектуально и участвовал в общем движении умов своими идеями и ностальгическими воспоминаниями. Но чем дальше вперед катился век, тем больше сознанием европейцев завладела идея смерти Бога. История представлялась им теперь как производное человеческой воли, направленной на то, чтобы обеспечить наконец всеобщую свободу и всеобщее равенство. Идет тщательная теоретическая разработка разнообразных моделей общественного устройства, ко-

торые помогли бы достижению этих целей. Стремясь подчинить себе будущее, люди XIX века пытались осознать судьбы современного человека, его величие и грозящие ему небывалые опасности. Понимая, сколь сложно осуществить требования современной демократии, они выдвинули целую плеяду первоклассных политических деятелей: парламентские дебаты и полемика в прессе шли на таком интеллектуальном уровне, который несравним с тем, что мы наблюдаем в наши дни. Даже революции, хотя и являвшиеся отголосками французских событий, не ограничивались повторением якобинской фразеологии или убогого языка той или иной партии, того или иного вождя.

Что же касается национальной идеи, то люди XIX века относились к ней с огромным энтузиазмом, они сделали ее основным пунктом в осмыслении истории, видя в ней главную пружину политических событий. Гордость своей национальной принадлежностью пронизывала всю интеллектуальную и социальную жизнь народов Европы. Французская революция проложила себе путь, вооружившись национальной идеей, вызывая у других наций и восхищение, и страх. И каждый народ, в зависимости от своих национальных особенностей, стремился либо подхватить, либо отвергнуть то всеобщее, что было заключено в принципах Французской революции. Ни одна из войн XIX века — впрочем, немногочисленных — не напоминала чудовищные войны XX столетия. Даже в Германии, где национальная идея выступает в наиболее слепых и опасных формах, она пока еще сдерживалась рамками культуры. Она еще не выступала как высшая и самодостаточная ценность, еще не утверждала исключительность Германии и превосходство немцев над всеми другими людьми, а лишь подчеркивала вклад Германии в развитие морали, искусства, науки и культуры.

Хотя в XIX веке уже были с необычайной глубиной продуманы все элементы, составляющие философию демократического общества и условия его существования, так что нам теперь, в сущности, нечего к этому добавить, их потенциальные политические последствия еще не были открыты. Токвиль, этот беспокойный, устремленный в будущее исследователь, проницательно проанализировал связь между современным индивидуализмом и неограниченным ростом государственной администрации, но он не мог предвидеть фашизма, особенно в его нацистской форме. Ницше, объявивший о смерти Бога, предсказавший моральное и интеллектуальное убожество демократического индивида, не мог вообразить тоталитарные режимы грядущего века, а уж тем более, что эти режимы порою будут пытаться утвердить свою власть ссылками на него. Именно в XIX веке законы истории заменили Божественный

промысел, но лишь в XX столетии дало о себе знать политическое безумие, появившееся на свет в результате такой подмены.

Очень удобно рассматривать войну 1914 года как водораздел: она открыла эру европейских катастроф. Но она же сделала явными подготовившие ее дурные страсти, которые принялись бурлить уже с конца прошлого века в Санкт-Петербурге, Берлине, Вене и Париже. Однако масштабы войны были несоизмеримы с ее причинами. Она повлекла такое количество смертей, так перевернула жизнь, так сначала сплотила, а затем растерзала каждую нацию, что стало ясно: началась новая эпоха.

Заглавие сборника Ортеги-и-Гассета “Восстание масс”<sup>2</sup> точно передает состояние умов и сердец на следующий день после завершения сражений. Война породила у людей готовность чувствовать и действовать единообразно, сделала их восприимчивыми к бурным коллективным эмоциям более, нежели к изучению программ или идей. Она по-своему демократизировала старую Европу, которая и так постепенно подчинялась общественному мнению. Новое слово, сказанное Ортегой, состояло в том, что “человек массы” — это не обязательно безграмотный недоучка. Муссолиниевской пропаганде поддался прежде всего север Италии — самая просвещенная часть страны. Германия, где Гитлер одержал свои первые победы, была самой культурной страной Европы. Таким образом, фашизм находит себе самую благоприятную среду не в отсталых, а в передовых странах, именно в тех, где традиционные политические и социальные структуры утратили значительную часть своей легитимности. Война оставила эти страны в состоянии эгалитарной атомизации, чем и объясняется, по мнению Ханны Арендт, победа Гитлера<sup>3</sup>.

Образование и богатство не обязательно влекут за собой более рациональное политическое поведение. Подготовленное развитие демократии, вступление масс в политику происходит не путем вхождения в либеральные партии, а путем участия в революционном движении. В этом отношении русский Октябрь сыграл важную роль; хотя он и произошел в обществе, отличном от европейского, он оживил идею революции и вернул ей актуальность, которая была ею потеряна во второй половине XIX века. Оказывая мощное воздействие на сознание масс, помимо всяких программ и платформ, она дает коллективному воображению ощущение участия в исторических свершениях.

Революция знаменует собой разрыв в течении повседневной жизни и несет обещание всеобщего счастья, достижимого в пределах и посредством истории. При этом она делает упор на роль волевого начала в политике, заставляя людей верить, что они могут порвать со своим прошлым, чтобы построить новое общество по

своему проекту. Революция — это противоположность необходимости. Эта эфемерная в своем радикализме идея выживает напекор фактам, ибо питается либеральной и демократической верой в автономию индивида. Она утверждает, что судьба человечества отныне разыгрывается исключительно на арене истории, где проявляет себя и осуществляется коллективная свобода. Те надежды и чаяния, которые раньше возлагались на религию, теперь связываются с политикой, а революция рассматривается как своего рода путь к спасению. Она выглядит как противовес стремлению индивидов замкнуться в эгоистических удовольствиях и способ воссоздать античную гражданственность в условиях современной свободы. Она выражает, наконец, открыто то, что было скрыто в недрах демократической политики: невозможность осуществить обещанное абсолютное торжество свободы и равенства людей.

Революционная страсть требует, чтобы все стало политикой; она утверждает, что история несет в себе решение всех вопросов, в том числе и вопросов человеческого существования: для этого надо только построить хорошее общество. В современном обществе наблюдается явный перевес частного существования над политикой, личного интереса над общественным благом; стремление к собственному благополучию разъединяет членов общественного договора. Желая упразднить это противоречие, революционная идея стремится к невозможному.

Французская революция — и в этом ее исключительное значение — не только положила начало демократии в Европе, но и вызвала к жизни противоречивые страсти, порожденные новым положением человека в обществе. Событие это было столь мощным и содержательным, что европейская политика жила им почти целое столетие, а воображение народов еще дольше. Ибо Французская революция создала нечто большее, чем новое общество, основанное на гражданском равенстве и представительном правительстве, — она создала особый модус перемен, где главную роль играла идея человеческой воли, мессианская концепция политики. Таким образом, необходимо отличать то, что составляло силу революционной идеи после войны 1914 года, от тех исторических перемен, которые могли осуществить французы в конце XVIII века. Большевики хотели разрушить буржуазное общество, фашисты — уничтожить принципы 1789 года. Но и те и другие оставались зилотами\* революционной культуры: они обожествляли политику, чтобы не быть вынужденными ее презирать.

\* Зилоты — греческое название религиозной секты в древней Иудее (I век до н. э.), отличавшейся особой непримиримостью в борьбе с римским господством. — *Прим. пер.*

Таким образом, не следует отлучать фашизм от чести и проклятия принадлежать к революционной традиции под тем предлогом, что он сражается под знаменем нации и расы. Напротив, оригинальность фашистских доктрин как раз и состоит в том, что они присвоили себе революционный дух, поставив его на службу антиуниверсалистским целям. И в этом был, по-видимому, один из секретов его успеха. В самом деле, слабость прежних философских и политических концепций, враждебных принципам 1789 года, состояла в том, что они отрицали исторический процесс, будучи не способны в него вписаться. Цепляясь за идею Провидения, они отрицали идею свободы, которая была воспринята народом из собственного опыта. Тоскуя о прошлом, они не могли воспринять ценности, порожденные революцией. Но разве можно было восстановить восхваляемый ими прежний режим, коль скоро именно он породил людей и идеи 1789 года? Как отменить революцию, не совершая новой революции? Фашизм находит выход из этих тупиков контрреволюционной мысли — он переносит военные действия на территорию противника; он также обходится без Бога и даже выступает против христианской религии; он тоже заменяет Божественную волю исторической эволюцией; он тоже попирает законы во имя политической активности масс; он также не перестает бороться против настоящего под знаменем грядущего искупления.

Кажется, будто это было давным-давно, но в действительности это было вчера. Народы Европы, вступившие в XX век после ужасающей бойни, вознамерились пересоздать политическую реальность на основе двух великих идей демократической культуры: универсального и национального. Под знаменем этих взаимовраждебных и взаимодополняющих идей они ринутся к катастрофе.

# *Глава вторая*

## Первая мировая война

Чем более серьезные последствия влечет за собой какое-либо событие, тем труднее бывает осмыслить его причины. Война 1914 года не является исключением из правила. Никому не удалось доказать, что она с неизбежностью вытекала из экономического соперничества крупнейших мировых держав. Точно так же, никто не может утверждать, будто она вызвала взрыв энтузиазма у народов-участников, что позволило бы объявить ее плодом националистических чувств. Ее начало не может объяснить ни одна из причинно-следственных цепочек, за исключением политической и дипломатической интриги европейских дворов, последовавшей за сараевским убийством. Тогда, в первых числах августа 1914 года, большинство правительств приняли решение в пользу начала войны, которая тем самым стала неизбежной. Споры историков о степени ответственности различных сторон не могут помешать нам признать действия каждой из них исключительно легкомысленными, принимая во внимание последствия: не только беспрецедентную по масштабам бойню, но и крах всех структур, небывалый в истории Европы.

Совершенно иначе обстоит дело с началом второй мировой войны. Ее предпосылки начали складываться уже с приходом Гитлера к власти в 1933 году. Правда, можно возразить, что в этот момент будущее поведение Гитлера еще не определилось: ведь весь давний политический опыт свидетельствует, что власть делает человека более разумным, — а в случае с Гитлером произошло противоположное. Получив от запуганного парламента всю полноту власти и учинив вскоре за тем “ночь длинных ножей”, он уже тогда показал, что остался верным тому, что писал в “Майн Кампф”. Ну а в 1938 году, после аншлюса, его намерения стали предельно

ясными. Вторую мировую войну, в отличие от первой, никак нельзя рассматривать как маловероятное следствие малоубедительных причин, таких как соперничество наций, которые не удалось вовремя образумить. Вторая мировая война была задумана Гитлером и готовилась им, начиная с 1936—1938 годов, причем Европа видела ее приближение, но была не способна ей помешать, поскольку все действия сводились к умиротворению агрессора. Эта война была гораздо более идеологической: ведь Гитлер поклялся уничтожить демократию во имя господства одной расы. И хотя война 1914 года не чуждалась идеологических лозунгов, а война 1939 — националистических страстей, пропорции этих двух составляющих в том и в другом случае были различны. Только вторая мировая война несла в себе неизбежное столкновение двух представлений о человеке и обществе: нацистского и демократического. Смысл этого столкновения обнаружился, едва только автор книги “Майн Кампф” пришел к власти и на деле подтвердил верность своим прежним воззрениям.

Не только начало, но и ход второй мировой войны подчинялся идеологическим императивам. Сначала Гитлер заключил с СССР пакт о ненападении, представлявший из себя чуть ли не союзнический договор: в конце концов, коммунисты, которых так боялись на Западе, были, как и нацисты, врагами буржуазной демократии. Сталин был настолько уверен в своем союзнике, что германское вторжение 22 июня 1941 года застало его врасплох. Он повторил ошибку, которую совершил Чемберлен тремя годами ранее, сочтя, что Гитлер отказался от своих планов. Но операция “Барбаросса” была лишь осуществлением силой оружия того, что было написано в “Майн Кампф”. Впрочем, эта же верность Гитлера своим планам и спасет Сталина. Не будь Гитлер так “защиплен” на своих идеях, он мог бы проводить в молниеносно захваченной им Белоруссии и на Украине совсем иную политику, чем политика уничтожения. Вместо того чтобы объединить против Германии все народы Советского Союза, он мог бы разделить их путем задабривания. Но он так не поступил, и я не вижу для этого иной причины, кроме идеологии. Таким образом он вернул в руки Сталину знамя антифашизма, которым тот размахивал ранее, в 1934 и 1939 годах. И вскоре под этим знаменем сформируется коалиция, состоящая из таких разнородных частей, как англосаксонские демократии, с одной стороны, и Советский Союз — с другой. В результате вторая мировая война приобрела еще более отчетливый идеологический характер. Массовое истребление немецкими армиями евреев в 1942—1944 годах было следствием не только националистических страстей, но прежде всего — сознательно разработанной “теории” расового превосходства.

*A contrario\**, причины и сущность первой мировой войны связаны исключительно с соперничеством европейских наций и патриотическими чувствами их граждан<sup>1</sup>. И в Париже, и в Берлине, и в Лондоне, и в Санкт-Петербурге она началась с отказа членов II Интернационала поставить социалистический универсализм над патриотическим долгом. Вчерашние политические противники объединяются против общего врага, каждый под своим знаменем. Вынеся за скобки разногласия, они устремляются на защиту своих отечеств в конфликте, которого никто не предвидел и не желал, но на который все немедленно согласилось. Правда, отправляясь на войну, все предполагали, что она будет непродолжительной, по образцу войн недавнего прошлого. Они не догадывались, что вступают в небывалую, ужасную, нескончаемую войну. Но даже убедившись в ее затажном характере, они будут на протяжении долгих месяцев и лет сносить связанные с ней страдания. Странно не то, что во французской армии в 1917 году начались бунты, а то, что они не начались раньше и в больших масштабах.

Это была другая эпоха. Народы, вступившие в войну 1914 года, не были еще теми демократическими народами, какими их заранее описали Бенжамен Констан и Огюст Конт и какими сейчас, в конце XX века, они предстают перед нашими глазами: процветающими, ценящими человеческую жизнь превыше всего, предпочитающими военным испытаниям радости благоденствия, а бесполезному величию — приобретение богатств. Солдатам первой мировой войны не очень нравилось сражаться друг против друга. Но они принимали войну как неизбежность, а также как арену для проявления смелости, патриотизма и других высших гражданских добродетелей.

Кроме того, их жизнь в мирное время не была столь комфортабельной, чтобы они могли заранее отвергнуть тяготы войны как невыносимые. И крестьяне, и ремесленники, и рабочие, и буржуа — все они были воспитаны в патриотическом духе. Они принадлежали к старой цивилизации, сохранившей внутри демократии многие черты аристократической морали. На службе нации военный героизм получал новое оправдание.

Этот вчерашний мир не так уж далек от нас. Мы связаны с ним жизнью родителей и воспоминаниями детства. И тем не менее, он перестал существовать настолько, что стал почти недоступен пониманию современного молодого человека, наблюдающего, как рождается совсем другая Европа, устремленная к благосостоянию, а не к национальному величию, к соблюдению прав человека, а не

\* В противоположность этому. — Прим. пер.

к воинской славе. Таков путь переоценки нравственных ценностей, начало которому было положено первой мировой войной, о чем не ведали ее инициаторы, как не подозревали они и о той ужасной цене, которую им предстояло заплатить. Война была для них несчастьем, но несчастьем знакомым, измеримым, в котором можно подсчитать приобретения и потери. Они рассчитывали, и не без основания, на патриотизм своих сограждан — главную гражданскую добродетель европейских национальных государств. Исходя из того, что было им хорошо известно, они, как это обычно и бывает, вступили в неведомую им область истории. Необычность положения состояла лишь в том, что целая пропасть отделяла привычные представления, на основании которых принимались решения, от результатов этих решений. Ибо не была учтена совершенно новая, революционная природа начинавшейся войны. Каждый из ее инициаторов полагал, что действует во имя своих национальных интересов. А в действительности все вместе они подписали смертный приговор эпохе и положили начало первому акту всеевропейской трагедии.

Могло показаться, что война, означавшая победу нации над классом, окончательно похоронила революционную идею. Социалистические партии, отказавшиеся от утвержденной II Интернационалом линии на всеобщую забастовку, отложили социальные сражения до окончания военных действий. Повсюду наступило время национального единения, которое не только не было лишено демократического воодушевления, но, наоборот, использовало это воодушевление и ставило его на службу отечеству. Французский рабочий шел сражаться с немецким империализмом во имя республики; немецкий рабочий — с русским царизмом во имя цивилизации.

Но нет ничего ошибочнее, чем рассматривать август 1914 года под углом зрения партийной политики — как победу правых над левыми или контрреволюции над революцией. Война, действительно, усыпила рабочий интернационализм, но не убила его, вопервых, потому что идея осталась как надежда на будущее, а вторых, потому что временно оттеснившая ее национальная страсть была в сознании многих неотделима от универалистского понимания человека и истории. Ведь начиная с Французской революции демократия в Европе не переставала развиваться под двойным стягом — революции и нации. Война 1914 года не отвергла это диалектическое противоречие, но довела его до крайнего напряжения, наложив на повседневную жизнь каждого человека печать неуверенности, лишений и страданий. Всеобщее испытание, каким оказалась война 1914 года, в конце концов поставило под вопрос идею нации, которая вначале послужила для войны

первотолчком и оправданием в глазах народов. Продолжаясь в течение месяцев и лет, пожирая все новые и новые жизни, военный конфликт глубоко перепахал европейскую политику. Он свел мысли каждого из сражающихся к самым простым и элементарным представлениям о мире. Война потребовала, чтобы из плодотворного противоречия, на котором базировалась современная демократия, был сделан немедленный и однозначный выбор: либо нация — либо революция, либо частное — либо универсальное.

Война 1914 года была первой в истории *демократической* войны. Прилагательное имеет в виду не цели ее участников и не обуравшие их страсти: ведь по крайней мере начиная с Французской революции национальные и патриотические чувства владели всеми народами, вступавшими в любой военный конфликт. Демократизм войны 1914 года в том, что она затронула каждого гражданина каждой воюющей страны, иначе говоря — население всей Европы.

Казалось бы, первая мировая война втянула в свою орбиту не больше стран, чем наполеоновские войны, и вызвала идейные столкновения не более острые, чем между французской республикой и европейскими монархиями во времена Французской революции. Но она подвергла неслыханным испытаниям миллионы людей на протяжении четырех лет кряду, без каких-либо перерывов, имевших место во всех предшествующих войнах классического типа: по сравнению с Людендорфом или Фошем Наполеон был полководцем времен Юлия Цезаря. Война 1914 года была индустриальной и демократической. Она ударила по всему населению, так что в Германии или во Франции почти не осталось семей, где не погиб бы отец или сын. А тем, кто выжил, она оставила неизгладимые воспоминания, которые будут преследовать их в мирной жизни на протяжении многих лет.

Современный человек не может морально одобрить войну так, как одобряли ее граждане античности или средневековый рыцарь. Стремление к благосостоянию, свободе и счастью настолько характерны для членов современного общества, что лучшие европейские умы уже в XIX веке сделали вывод о том, что эра войн оканчивается. «Единственная цель современных наций, — писал, например, Бенжамен Констан, — это отдых и благосостояние, а также промышленность как источник благосостояния. Война с каждым днем становится все более неэффективным средством достижения этих целей. И для отдельных индивидов, и для целых наций выгоды, которые может сулить война, несравнимы с выгодами, которые сулят мирный труд и налаженные торговые связи. Война, таким образом, утратила и очарование, и полезность. Ни выгода, ни чувство не побуждают более человека участвовать в

ней”<sup>2</sup>. Так же думали и сен-симонисты, и Огюст Конт, и многие другие, как либералы, так и социалисты. Ситуация, которую они описывали и о которой мечтали, весьма похожа на ту, которая и в самом деле существует ныне в Западной Европе, занятой мирным трудом и заботами о процветании, экономическом росте, занятости, обогащении, стремящейся к созданию общего рынка и общих политических институтов. Богатые страны современного мира до такой степени чужды милитаристскому духу, что, если возникает необходимость вмешаться в вооруженный конфликт (как это случилось во время войны в Персидском заливе), они требуют гарантий, что с их стороны это не повлечет за собой человеческих жертв.

История подтвердила (надолго ли?) пророчество Константа лишь полтора столетия спустя, а за это время разразились две гигантские войны, небывалые по материальным опустошениям и человеческим жертвам. Современный читатель поражен точностью наблюдений Константа и ошибочностью его выводов. В самом деле, жители Европы вот уже два столетия движимы трудолюбием, стремлением к обогащению и процветанию. Но это не помешало им вступить в войну 4 августа 1914 года.

Эту загадку, казалось бы, не так уж трудно разгадать. Существует мнение, что капиталистический строй не только не ведет к укреплению мира, но “несет в себе войну, как туча грозу”, по выражению Жореса. Эту идею, общую для всей социалистической традиции, Ленин положил в основу своей теории “империализма как высшей стадии капитализма”<sup>3</sup>. Согласно его теории, европейский капитализм, подчиненный все более крупным монополиям, в погоне за наиболее прибыльными рынками закончил к началу XX века колонизацию и раздел мира, и теперь крупнейшие капиталистические державы вынуждены вступить между собой в борьбу за рынки и территориальный передел мира, что неизбежно ведет к мировой войне.

Эта теория устарела вместе с веком. Если она худо-бедно могла объяснить некоторые истоки первой мировой войны, такие как колониальное соперничество и англо-германский антагонизм, то для понимания конфликта 1939 года она оказалась совершенно бесполезной: стремление Гитлера к мировому господству вытекает, скорее, из “Майн Кампф”, чем из планов немецкого капитализма. Империалистическая авантюра, в которую ринулся Третий Рейх, больше смахивает на политическое безумие, чем на экономическую необходимость. Впрочем, мы теперь научились делать различие между фирмами и государством, на территории которого эти фирмы находятся; мы знаем, что международный капитализм в очень большой степени независим от государственных

форм территориальной колонизации. Наконец, мы на опыте убедились в существовании двойного феномена, не объяснимого с точки зрения ленинской теории: с одной стороны, произошло небывалое в истории Запада развитие капитализма, а с другой — жители западных стран как никогда сблизились между собой. Так что, наблюдая историю послевоенной Европы, мы испытываем соблазн перевернуть формулу Жореса и сказать, что капитализм несет в себе не бурю войны, а стремление к миру между народами.

Но в действительности обе формулы неверны. Характер экономики и ее развитие — это лишь одна из составляющих международных отношений; необходимо также принимать во внимание нравы, чувства и настроения. “Хомо экономикус” действительно играет центральную роль на международной арене. Но это не значит, что нет других действующих лиц или что у него самого не может быть иных побуждений, кроме погони за прибылью. Капитал несет свою долю ответственности за несчастья XX века. Но не надо делать из него козла отпущения.

Если война 1914 года имела в качестве одной из основных причин борьбу великих держав за рынки сбыта и колонии, то для того, чтобы народы, включая все классы, согласились вступить в нее, нужны были иные, связанные с давними традициями, мотивировки национального или даже националистического порядка. Всех, кто отправлялся на фронт, объединяла идея патриотического служения, принимавшая, в зависимости от обстоятельств, различные формы и конкретную направленность. У французов это было стремление вернуть Эльзас и Лотарингию; у англичан — память о былом величии и привычка к мировому господству; у немцев — национальный динамизм и желание обрести новое значение в мире; у малых наций, зачастую лишенных собственной государственности, — надежда на коллективное освобождение. Это был как бы стихийный плебисцит, в ходе которого народы уверенно высказались в пользу идеи нации. При этом французский рабочий-социалист в августе 1914 года совсем не считал, будто он предает свой класс, отвечая на призыв нации, даже если четыре года спустя события представлялись ему в ином свете. В момент, когда начиналась война, чувство солидарности со своей нацией было преобладающим у европейских народов; оно не обязательно было сопряжено с милитаристским духом, но в любом случае обуславливало приятие войны как вещи, имеющей понятный всем смысл.

И произошло это прежде всего потому, что нации в Европе существовали до “коммерческого общества”, до демократии. Они складывались на протяжении веков под эгидой монархий. Столетиями формировались язык, нравы, привычки общежития. Авто-

ритет королевской власти способствовал оформлению рождающихся наций. Народ сплачивался вокруг короля, который особенно обождал его от сеньориальной зависимости. Аристократы мало-помалу признали королевскую власть, постепенно включившую вассальную иерархию в государственную структуру. Таким образом, аристократические общества средневековой Западной Европы превратились в национальные монархии, заплатив за это отказом от феодальных пережитков: верность королю ставилась отныне выше всех остальных обязательств. Эти “прежние режимы”, образцами которых были монархии Англии и Франции, унаследовали от былых времен любовь к войне как к высшему рыцарскому испытанию. Они много воевали, но то были войны старого образца — между государями, а теперь — между государствами. Рыцарская доблесть стала доблестью военной.

Однако на примере Франции легко убедиться, что страсть к воинским почестям намного пережила вскормившее ее общество и превратилась в принадлежность демократии, причем именно в тот момент, когда демократия считала, что порывает все связи с аристократией. Воинская доблесть стала движущей пружиной революционных, а затем наполеоновских войн. Буржуазная Франция сохранила воинственность: героизм на поле боя оставался залогом социального успеха. На протяжении XIX века разгром при Ватерлоо был источником чувства национального унижения, владевшего всеми слоями общества при всех сменяющихся правительствах. Национализм, выполнявший функцию психологической компенсации, был свойствен в первой половине столетия преимущественно левым кругам, а после Второй Империи — правым. Историк должен отдавать себе отчет в продолжительности, силе и универсальности чувств, охвативших французов в результате поражения Наполеона и проявившихся как у Стендаля, так и у Шатобриана, как у Клемансо, так и у Барреса. В период Реставрации “ультра” начали войну в Испании, чтобы загладить поражение императора; Луи-Филипп дискредитировал себя в общественном мнении, потому что выступил за мир в Европе; племянник Бонапарта привел к краху Вторую Империю, пытаясь возродить славу французского оружия; Третья Республика обрела уверенность в себе лишь после того, как выиграла во имя отечества войну 1914 года.

Не следует забывать, что у большинства французов культ воинской славы и ностальгия по прошлому питались не только национальным чувством, но и демократическими идеями. Люди, совершавшие Французскую революцию, видели в своей нации авангард человечества, а бесконечные войны с монархической Европой рассматривали как осуществление своей освободительной миссии.

Однако такое совмещение частного и универсального не надолго убедило европейские народы, подтверждением чему может служить конец наполеоновских войн. Идеи 1789 года, понятые как универсальное средство коллективного возрождения, могли истолковываться любым народом в собственных интересах, а при случае — и против Франции. Предоставив широким народным массам гражданские права и приобшив их таким образом к государству, революция, вместе с тем, завещала своим наследникам нацию как высшую ценность, более высокую, чем демократия. Любовь к нации — более общая, более древняя и более непосредственная; ее могут разделить все — и друзья демократии, и ее враги. Даже французы-республиканцы конца XIX века, считавшие свою страну отечеством для всех людей, были на свой лад националистами.

Таким образом, общество в своем большинстве разделяет идею особого предназначения нации. Поэтому в душе граждан по-прежнему находит отклик призыв к оружию, столько раз уже звучавший и во имя короля, и во имя республики. Словосочетание “общественное спасение” воодушевляет и поклонников Робеспьера, и тех, кто ностальгически вспоминает времена Людовика XIV; оно будит как гордость аристократов, так и достоинство демократов. Не следует думать, будто французы все как один отправились на войну, воткнув цветок в дуло ружья. Но при этом никто и не уклонился от исполнения патриотического долга, даже те, кто клялся никогда не воевать против своих братьев, немецких пролетариев. В решающий момент верность нации заставила забыть о классовой принадлежности. Война 1914 года вызвала к жизни страсти, таившиеся под пластами минувших времен.

Что же тогда говорить о противоположном лагере, о тех, кто стоял по ту сторону Рейна? Немецкий Первый Рейх — это то же “коммерческое общество”, переживающее расцвет капитализма. Но Германия меньше, чем любая другая страна, следует логике, согласно которой страсть к оружию должна отступить перед развитием торговых связей. Меркантилизм и милитаризм здесь процветают рядом, питая друг друга. Германия не похожа ни на Англию, которая уверена в своем могуществе в силу давних привычек к господству и островного положения, ни на Францию, старое государство, сформированное монархическим строем, с незабываемыми границами, которые даже революционная буря не смогла поколебать. Германская нация, наоборот, шире границ своего государства, которое с запозданием обрело единство благодаря военным победам Пруссии. Немцы живут и к востоку, и к югу от границ Германии. Они верят в превосходство своей нации

и своей армии больше, чем в европейское равновесие или в универсальные достоинства демократии. Военно-индустриальная монархия, слишком поздно ставшая мировой державой, Германия повсюду наталкивается на английские интересы и английский флаг. Поэтому в начале XX века она являет собой национальное государство, не имеющее четкого представления ни о своих границах, ни о своей природе; ее граждане осознали свою коллективную силу и подвержены соблазну этой силой злоупотреблять. Европейское отечество философов и музыкантов, Германия обрела чудовищную экономическую мощь и солдатскую аристократию. Все эти разнородные элементы цементируются идеей национального превосходства и убеждением, что наступили наконец новые исторические сроки. Самая сильная держава Европы оказалась, таким образом, и наиболее предрасположенной к национальной патологии.

Литературное и философское прославление немецкого превосходства достигло в начале XX века своего апогея. Необычайный расцвет немецкого искусства и мысли, наступивший начиная с эпохи романтизма, воспринимался как подтверждение высокого предназначения народа, устремленного на поиски подлинно моральной жизни — в противоположность иллюзорной независимости демократического индивида. “Немецкий дух” противопоставит Западу как глубина — поверхностности, долг — распушенности, единство — общественной раздробленности, органическое — критическому, государство, пекущееся об общем благе, — государству либеральному, “культура” — “цивилизации”. На востоке у него нет противников, ибо Россия, в лучшие моменты своей истории, всего лишь подражала Пруссии, прежде чем заразиться демократическими идеями. Германия находится в историческом конфликте именно с Западом. Во времена, когда она была раздроблена, запугана, унижена, она находила в таком противостоянии аристократическую компенсацию своей слабости. Став единой, мощной, честолюбивой, она черпала из того же источника уверенность в своей силе и способности найти иной исторический путь, свободный от пороков западной демократии. Именно такой букет идей преподнес Томас Манн в качестве утешения сражающимся соотечественникам: его “Размышления аполитичного”<sup>4</sup> противопоставляют “идеи 1914 года” идеям 1789 года. Оказывается, в августе 1914 года произошло чудо воскрешения германского духа в апофеозе жертвенности и единства перед лицом старого противника — “цивилизации” на французский лад: “Различие между духом и политикой предполагает различие между духом и цивилизацией, душой — и обществом, свободой — и избирательным правом, искусством — и литературой; германский дух — это культура, ду-

ша, свобода, искусство, но никак не цивилизация, не избирательное право, не литература”<sup>5</sup>.

Национализм на протяжении нынешнего века был оплачен таким количеством человеческих жизней и всевозможных несчастий, что мы, помня о его злодеяниях, забыли о его соблазнах. Между тем, суть своей привлекательности он достаточно очевидно продемонстрировал не только в Германии, но и по всей Европе, от Парижа до Вены: он претендовал на то, чтобы соединить преимущества современности с надежностью традиций. Ставя свою нацию-государство выше всех других, он предлагает ее гражданам в качестве воплощения мощи, процветания и культуры. Жертвуя ради этого идеала коллективности всем, вплоть до собственной жизни, гражданин испытывает эмоции, заставляющие его забыть об одиночестве частного существования. Культ национального, компенсирующий недостаток гражданственности в демократии, достигается своей кульминации, когда современное государство оказывается перед необходимостью привлечь к себе широкие массы посредством всеобщего голосования, социальной солидарности и образования для всех. Тем самым национальная идеология, хотя она и утверждает примат частного над универсальным, местного интереса над абстракцией законов, оказывается, несмотря ни на что, дочерью демократии — ее порождением и отрицанием одновременно. Она сплачивает распыленных индивидов современных обществ гораздо прочнее, чем это могут сделать их представительные органы.

В силу своих политических и культурных склонностей, Германия рубежа веков оказалась наиболее благоприятной почвой для развития указанных процессов, которые определили ее судьбу, а тем самым и будущее Европы. Во всех слоях немецкого населения быстро укоренился комплекс идей, получивший название “пангерманизма”: это почти племенная, хотя и осовремененная, версия национализма, превращающая принадлежность к немецкой нации в фанатичное стремление к господству над другими народами. Германский Рейх мыслится не только в рамках законного суверенитета над определенной территорией, но, скорее, как объединение всех немцев с последующей германизацией Европы и всего мира. Прежде европейские монархи получали власть от Бога и не чувствовали ответственности перед историей. Но на тех из них, кто пережил демократическую революцию, как, например, последний Гогенцоллерн в Берлине, легла вместе с короной задача руководить избранной нацией в современном мире, задача столь непосильная, что рассудок Вильгельма II не выдержал ее тяжести. Оказалось, что управлять от имени суверенного народа труднее, чем по Божественному соизволению. Суд истории выдержать труднее, чем Божий суд.

Пангерманизм абсолютизировал частное. Он порвал с демократическим универсализмом, на почве которого вырос. Дарвиновское учение о естественном отборе он использовал для обоснования расистских идей. Наука в XX веке выступила как наиболее эффективный заменитель религии, поэтому опора на нее давала расизму силу, которой идея национального превосходства не обладала сама по себе: коль скоро народы разделены расовыми различиями, а германская раса призвана к мировому господству, то остальным народам остается только признать себя побежденными. Государства, в том числе и немецкое государство, — не более чем юридические фикции, которые будут сметены в ходе борьбы между народами-расами.

Пример евреев служит тому подтверждением. С точки зрения антисемитизма, они являются образцовым народом без государства, вечными странниками среди других народов, сохраняющими, однако, свою самобытность благодаря необычайной этнической сплоченности. Лживые и коварные, они прикрывают абстрактной универсальностью денег и прав человека свою непреклонную волю к расовому господству. Чтобы помешать жертвам проникнуть в секрет их силы, они прячут ее под маской демократии. Таким образом, помимо собственной воли, они служат подтверждением силы расовой идеи и необходимости для противостояния им опереться на ту же идею.

Таким образом, современный антисемитизм подхватывает многовековую традицию христианской Европы, обернувшей против евреев иудаистскую идею избранничества: из народа, избранного Богом, католическая церковь превратила евреев в народ, проклятый Богом. В народе-скитальце, который получил свободу благодаря демократии, современные нации видят затаившегося и потому особенно опасного врага их идентичности. В мире, где законы истории заменили Божественное провидение, над евреями продолжает тяготеть проклятие обособленности. Их обреченность на несчастья отнюдь не уменьшилась с приходом гражданского равенства и оттеснением религии в сферу частной жизни. Напротив, традиционная ненависть к ним вспыхнула с новой силой.

Специфика современного антисемитизма состоит в том, что он входит как составная часть в новые страсти, порожденные демократией. Современный гражданский порядок, лишившийся Божественной санкции, держится только на волеизъявлении своих членов. У него нет иной легитимности, кроме общественного согласия. А потому общество не перестает задаваться вопросом: чего же оно хочет и как превратить в общую волю сумятицу частных воль? Граждане, верящие только в историческое действие, лишены в то же время возможности действовать согласованно, как один че-

ловек. Идея нации компенсирует эту неуверенность, указывая путь к единству. Она концентрирует позитивные устремления патриотов, а затем и всего народа, как того требует демократическое credo. Но концентрирует она и негативные, чуждые, вредоносные тенденции, — здесь-то и возникает тема еврейского заговора.

Почему заговор? Потому что, коль скоро политическая активность мыслится как сознательная и целенаправленная, действие, направленное против единства нации, должно быть тайным по определению: иначе не удалось бы даже временно ввести в заблуждение большую часть общественного мнения. Только скрытый, подпольный характер такого действия может обеспечить ему успех. Французская революция ввела в употребление понятие заговора как деятельности, враждебной воле народа, и доказала его огромное воздействие на воображение демократических масс. Современный антисемитизм использует тот же прием, заменяя “аристократов” евреями. Почему именно евреями? Потому что являются воплощением всего того, что противостоит националистической страсти: это блуждающий, рассеянный народ без государства, оставшийся, тем не менее, верным своей религии и своим традициям, сохранивший везде, хотя и в разной мере, единство и потому как нельзя лучше подходящий для кристаллизации в умах идеи всемирного заговора. Будучи сначала воплощением врага христианского Бога, еврей становится в демократическую эпоху образом-противовесом иного рода: он превращается во врага народа.

Для этого не надо даже углубляться в религиозные различия, загнавшие евреев в гетто; достаточно указать на то, что и в условиях гражданского равенства они остаются чуждыми нациям, среди которых живут. Впрочем, даже и в случае интеграции евреи, становясь менее заметными, остаются не менее подозрительными; их особость, очевидная в христианские времена, теперь скрыта от глаз. Единственное, что связывает еврея с окружающим миром, — это деньги и другие столь же абстрактные человеческие эквиваленты, служащие ему знаменем и прикрытием. В нем видят буржуа в чистом виде, оторвавшегося от родной почвы, сведенного к своей сущности — жажде обогащения. Отвергнутый сначала христианскими нациями за свою особость, он ненавидим теперь как существо, явившееся ниоткуда. Оба обвинения по сути сводятся к одному: евреи живут вне окружающего их коллективного единства. Причем второе обвинение, при всем демократическом плюрализме мнений, оказывается не менее глобальным, чем первое: ведь буржуа ненавидят все, и левые, и правые.

Вот почему нет ничего удивительного в том, что антисемитизм стал в конце XIX века одной из самых сильных общественных

страстей. Это было время бурного развития капитализма и участия народов в демократической политике благодаря всеобщему гологованию. Борьба за власть теряет то, что в ней еще оставалось от аристократических традиций. В качестве арбитра теперь выступает широкая публика. И тут-то еврей, как идеальное воплощение буржуа, превращается в козла отпущения и для убежденных националистов, и для озлобленных бедняков. Против него направлен весь спектр негативных демократических страстей, от ностальгии по утраченному национальному единству до мечтаний о новом обществе, национальном или социалистическом, а то и национал-социалистическом.

Так произошло распространение антисемитизма в политической жизни европейских стран накануне 1914 года. Специфика его берлинской или венской разновидности состоит в том, что там он опирается на расистскую теорию германского превосходства. Но и во Франции он существует, несмотря на победу дрейфусаров, как глубинное чувство, не зависящее от смены обстоятельств. Однако во Французской республике патриотизм сохраняет связь с демократическими устремлениями, унаследованными от 1789 года. В Австро-Венгрии структура двойной монархии способствовала расцвету националистических страстей при отсутствии их государственного оформления, что объясняет распространение пангерманизма среди широких масс. В германском Рейхе существовали иные, но не менее благоприятные условия для расцвета пангерманизма: смесь былой отсталости и нынешнего могущества опьяняла всех до такой степени, что даже многие евреи почувствовали опьянение. В 1914 году немецкие солдаты отправлялись на фронт с не меньшим энтузиазмом, чем французские, и сражались не менее храбро. Противников вдохновляли схожие чувства, хотя их политические традиции были во многом различны. И в Берлине, и в Париже пробил час священного единства, когда соединяются не только разные классы, но и разные эпохи. Интеллектуалы были охвачены теми же чувствами, что и простой народ, и так же мало представляли себе возможные последствия этой войны. Мы видим в числе воинствующих патриотов с французской стороны Барреса и Пеги, Бергсона и Дюркгейма, а с немецкой — Томаса Манна и Стефана Георге, Фрейда и Макса Вебера.

Итак, первая демократическая особенность войны 1914 года состояла в том, что летом, перед ее началом, все видели ее приближение, но никто — ни правительства, ни общественное мнение — не попытался ей помешать. В июле месяце, который отделяет сараявское покушение от объявления всеобщей мобилизации, можно было в любой момент остановить механизм, запущенный Ав-

стро-Венгрией, и тем изменить судьбы Европы. Никто не захотел это сделать, — ни Германия, ни Россия, ни Франция, ни Англия. Как бы мы ни оценивали меру ответственности центральных империй, с одной стороны, и англо-франко-русской коалиции, с другой, приходится признать, что ни одно из значительных государств Европы не предприняло серьезных попыток избежать войны, которая была всего лишь возможной после австрийского ультиматума Сербии. Но если конфликт разразился, выражаясь техническим языком, вследствие дефицита дипломатической активности, подлинная причина состоит в том, что народы были готовы с ним согласиться. Это согласие, на которое и рассчитывали правительства, само по себе не могло бы развязать войну. Но оно привело к тому, что общественное мнение соответствующих стран оказалось солидарным со своими правительствами, когда те стали разыгрывать друг перед другом оскорбленное достоинство. Спровоцированная покушением националиста, война 1914 года началась как война между нациями и довела до белого каления страсти, вызревавшие на протяжении предыдущего века. Для народов-участников она была не только доказательством их мощи и славы, но и их места в истории. Свидетельство чему — внезапный закат социалистического интернационализма.

По самой своей природе, война — это нечто вроде пари, исход и последствия которого невозможно предусмотреть. Каждый из участников надеется изменить баланс сил в свою пользу, но никто не может быть уверен ни в том, что это ему удастся, ни в том, чем для него обернется победа. Война 1914 года может служить идеальным подтверждением этому правилу. Она переменила чувства народов и опровергла все расчеты военных и политиков, как в одном лагере, так и в другом. Ни одна война в прошлом не протекала и не завершилась столь непредвиденным образом.

О ее технической новизне говорят некоторые цифры. И французы, и немцы рассчитывали, что накопленный ими запас вооружений и боеприпасов позволит им одержать решающую победу. Однако этот запас истощился уже за первые два месяца войны, что свидетельствует о чрезвычайной мощи огня со стороны обеих армий<sup>6</sup>. Европе пришлось таким образом расплачиваться за прогресс в производстве оружия, произошедший после Франко-прусской войны 1871 года. Это привело к увеличению количества жертв войны, но отнюдь не к уменьшению ее продолжительности, даже если одна из сторон временно добивалась преимущества. После сражения на Марне обе стороны зарылись в землю и начали молотить друг друга с помощью артиллерии. Тем и закончилась недолгая фаза, когда военная стратегия и хитроумные маневры имели хоть какое-то значение. Наступило время бесконечных

фронтов, протянувшихся от Соммы до Вогезов, и рутинного взаимострелбления в ходе бесполезных вылазок из одной траншеи в другую. Теряли тридцать тысяч убитыми, чтобы продвинуться на двести метров. Никогда раньше война не заставляла миллионы вооруженных до зубов людей — наиболее активную часть населения каждой страны — годами сидеть в траншеях, стараясь убить всевозможными способами как можно больше противников, без перерывов на зимнее время и без реальной надежды на решающий успех и окончательную победу. В этом отношении не было никакой разницы между двумя воюющими сторонами: французская республика так же не жалела крови своих сыновей, как и германская империя. Военное и промышленное равновесие сил в сочетании с огромным количеством сражающихся привело к бесконечной чудовищной бойне, символом которой остается сражение под Верденом. Артиллерийские снаряды не только убивают солдат, но и уничтожают их останки. Убитые превращаются в “пропавших без вести”. Под Триумфальной аркой будет похоронен и станет предметом поклонения “неизвестный солдат”; масштаб убийств в сочетании с демократическим равенством перед лицом смерти создадут этот символ анонимного культа героев.

Демократизм войны 1914 года проявился и в том, что она подвергла гражданское население таким же испытаниям, как и профессиональных военных. Примерно на столетие раньше, сражения времен революции и империи открыли эпоху демократических войн. Но никогда раньше не ставилось под ружье все мужское население и не привлекались все материальные ресурсы страны, даже со стороны Франции, которая воевала со всей Европой; а многие французы в те времена шли на войну добровольно, рассматривая ее как свою профессию и возможность достижения почестей и знаков отличия. Наполеоновские гвардейцы были профессиональными солдатами, а “палю” 1914—1918 годов оставались крестьянами, ремесленниками, торговцами, буржуа (реже — рабочими, поскольку рабочие были заняты на военном производстве). Теперь войну ведет масса штатских, мобилизованных, вынужденных сменить гражданскую независимость на беспрекословное повиновение и брошенных неизвестно на какое время в огненный ад, где речь для них идет только о том, чтобы “продержаться”, а не о том, чтобы что-то рассчитать, совершить и победить. Никогда еще тяготы военной жизни не казались менее благородными, чем в глазах этих миллионов людей, внезапно вырванных из своего гражданского состояния.

Замечательным подтверждением вышесказанному могут служить письма Алена, написанные им своему другу Эли Алеви в период

между августом 1914 и началом 1917 года. Гуманистический философ и моралист демократической направленности, Ален не любит войну и сопровождающие ее аристократические ценности. Если он и пошел на войну добровольцем в свои сорок шесть лет, то лишь для того, чтобы не оставаться в стороне от хода истории. Как сам он скажет впоследствии: “Я всегда испытывал потребность, чтобы быть счастливым, разделять несчастья других”<sup>7</sup>. В его глазах война вообще, а война 1914 года в особенности, — состояние, наиболее чуждое гражданину. Оно определяется страстями, не имеющими отношения ни к реальным интересам, ни к разуму людей. Если речь идет о защите чести, то с обеих сторон честь была защищена уже за несколько недель с начала войны, в ходе сражения на Марне. Все последующее сводилось к растлению умов и нравов, к обращению демократических ценностей в их противоположность: рабство людей, отданных в абсолютную власть начальников<sup>8</sup>; всеобщий страх, который превращает военные действия в нечто механическое; смерть лучших, как при естественном отборе, только наоборот. В воюющей армии создается свой общественный порядок, при котором индивид не существует, а сама человеческая природа порождает такую инерцию, которую почти невозможно преодолеть.

В тылу положение не лучше. Отсюда война выглядит как эффектный спектакль, который сопровождают воинственными криками укрывшиеся вдали от фронта “профессиональные патриоты”. Ален ненавидит организованный конформизм общественного мнения, шовинизм, цензуру. Он не жалеет резких слов, говоря о спекулирующих на войне интеллектуалах, журналистах, политиках. Он не верит в то, что война может быть справедливой. Уже с конца 1914 года он положительно относится к идее компромиссного мира, которая едва-едва начинает брезжить на переговорах в Женеве, о чем он узнает благодаря “Трибюн де Женев”, которую ему пересылают супруги Алеви. Но он не строит себе иллюзий: именно потому, что война столь ужасна, кровава, слепа, всеобъемлюща, ее очень трудно прекратить. Она не принадлежит (уже не принадлежит) к числу тех вооруженных конфликтов, которые некогда могли быть остановлены по приказу циничного князя, подсчитавшего, что затраты уже превосшли возможные выгоды и что игра не стоит свеч. Теперь войной руководят патриоты, “честные люди”, избранные народом, которые с каждым днем все глубже увязают в трясине решений, принятых в июле 1914 года<sup>9</sup>. Страдания были столь велики, принесенные жертвы — столь многочисленны, что никто не осмеливался действовать так, как будто все это было напрасно, боясь, что его объявят предателем. Чем дольше длится война, тем дольше она будет длиться.

При этом она убивает демократию, которая способствует ее продолжению.

Выслушав Алена, предоставим теперь слово Алеви. Его ответы на письма Алена были утрачены, но его взгляды на войну нам известны благодаря письмам другим друзьям, в особенности философу Ксавье Леону<sup>10</sup>.

В отличие от Алена, Алеви гораздо меньше связан со специфически французской традицией республиканского радикализма. Родившийся в богатой буржуазной семье с еврейскими и протестантскими корнями, он отличался космополитической направленностью ума. Его привязанность к республике дополняется преклонением перед английской политической системой, которой он посвятил свою деятельность историка<sup>11</sup>. Демократ и либерал, он не был, подобно Алену, пацифистом. Не то чтобы он испытывал какие-либо симпатии к войне, но он не видел способа избежать ее при существующей настроенности наций и общественного мнения. Как и его друг, он не жалеет резких слов по адресу крикливых тыловых патриотов и истерии культурного антигерманизма во Франции; и тем не менее, война, в его глазах, обоснована соперничеством держав и национальными страстями. Она является результатом не столько политических интриг, сколько столкновения в центре Европы между пангерманизмом и панславизмом; общественное мнение только довело дело до конца. Алеви обладал более политизированным складом ума, нежели Ален. Привыкший к превратностям судьбы, он, как всякий выдающийся французский либерал, обладал достоинствами активного пессимиста. Он давно уже предвидел войну, и вот она началась. Нужно отнестись к ней со всей возможной трезвостью.

По возрасту он не подлежал мобилизации, но добровольно записался фельдшером в полевой госпиталь. Одним из первых он понял, что после Марны война вступила в небывалую и безнадежную фазу. “Я считаю — и в этом источник моего уныния, — что в условиях современной военной стратегии наступательные действия стали невозможны как с той, так и с другой стороны... Я не вижу, как на протяжении многих месяцев можно было бы выйти из такого положения, и не вижу возможности остановиться. Это расовая война, достаточно гнусная, без вдохновляющей идеи, без гениального плана”<sup>12</sup>. Таким образом, война продолжается не ради каких-то объективных целей, а в силу характера, который она приобрела, и ситуации, которую она создала. Принцип ее действия — это принцип мышеловки. Окончание войны стало невозможно предвидеть с того момента, как она потеряла популярность среди сражающихся. Охваченные мрачным состоянием безнадеж-

ности, солдаты воюют машинально, не требуя мира и не надеясь на него. Алеви сходится с Аленом в опасениях, что такое бесчеловечное и, вместе с тем, безвыходное положение уничтожит независимость гражданина. В одном из писем к Ксавье Леону он делает такое пророческое замечание: «Влияние войны на будущее социализма заслуживает изучения. Видимо, сказываясь неблагоприятно на развитии *либеральных* форм социализма (синдикализм и т.д.), она, напротив, усиливает государственный социализм»<sup>13</sup>.

Для Алеви большой загадкой текущей войны является возможность мира, поскольку его условия не просматриваются на горизонте<sup>14</sup>. Он совершенно не верит в упрощенные требования немедленного установления мира, с которыми выступают крайне левые революционеры и интеллектуалы. Он не верит в возникающие время от времени слухи о компромиссе между воюющими сторонами. По его мнению, единственно возможный путь к миру лежит через военный разгром Германии, и путь этот будет очень долгим в силу неясности военной ситуации и мощи Германии, в которой он видит одновременно и угрозу европейскому равновесию, и одно из ярчайших проявлений европейского гения. Оба эти аспекта питают его пессимизм: установление прочного мира возможно только через военный разгром Германии, который, в свою очередь, будет означать поражение Европы после бесконечного конфликта.

«Будущее? Оно представляется мне в виде сражения, бесконечного в пространстве и времени, где время будет работать на нас...»<sup>15</sup> А месяц спустя, в письме к тому же Ксавье Леону, он предсказывает, что «перед нами 10 или 15, а то и 30 лет войны. Таким образом, вторая и последняя часть нашего существования будет совсем не похожа на первую»<sup>16</sup>.

Он не хочет этим сказать, что война будет длиться десять, пятнадцать или тридцать лет. Он утверждает, что она открывает новую эпоху нестабильности в Европе в отношении равновесия сил, устойчивости национальных границ и политических режимов и что рождение XX века сопровождается дурными предзнаменованиями. Я должен привести длинную цитату из письма от 27 октября 1915 года к Ксавье Леону<sup>17</sup>:

«Я утверждаю:

1. что эту войну можно будет считать оконченной только после разгрома центральных империй. Я не могу сказать, в чем именно будет состоять этот разгром. Я не думаю, чтобы могло произойти расчленение Германии; скорее, я вижу расчленение Австрии, но с включением ее западной части в единый блок с империей Вильгельма II. Но это неважно, не буду объяснять почему;

2. что время, необходимое для достижения этого результата, должно измеряться не неделями или месяцами, но годами. Когда я говорю о 25 годах, я не так уж ошибаюсь;

3. когда я говорил о войне такой продолжительности, я имел в виду, что она будет прерываться перемириями, хрупкими периодами мнимого мира;

4. что в ходе таких перерывов, до того как произойдет разгром Германии, ситуация будет складываться в ее пользу, то есть Германия будет временно достигать победоносного мира”.

В заключение Алеви пишет, что пророк должен окутывать свои предсказания “покровом туманности”: эта улыбка над собой ничуть не умаляет той силы предвидения, которую проявил Алеви, рисуя перед читателем драму, которую предстояло пережить Европе в результате войны 1914 года. Точный сценарий событий не совпадает с его предсказанием, но не их общая направленность. Историк, описавший наиболее счастливый период в истории английского народа, не мог не почувствовать, что на его глазах исчезает, разрушаемая ее собственными детьми, либеральная цивилизация Европы<sup>18</sup>.

В конечном счете, и Ален, и Алеви смотрят на будущее пессимистически: в первой мировой войне они видят величайшую историческую катастрофу, после которой все будет по-другому. В воюющих великих державах происходит неожиданное для новейшего времени возвращение к деспотизму. Для удовлетворения потребностей фронта экономика ставится под все более жесткий контроль государства, которое тем самым получает чрезвычайную власть также и над гражданами, подавая пример потенциальным диктаторам. Всевластие над умами национальной идеи, шовинизм социальных элит, конформизм толпы и, наконец, цензура — все это приводит к затуханию демократической жизни<sup>19</sup>. Мирное население живет только в ожидании весточки от тех, кто остался в живых, или извещения о погибших, а также сообщений генерального штаба, которые лгут под предлогом необходимости поддерживать моральный дух. Казалось бы, солдат обладает большей свободой, чем тот, кто находится в тылу, — ведь он является активным участником разыгрывающейся трагедии. Но подавленный этим безмерным насилием и необходимостью повиноваться приказам, он не может ничего понять, и война превращается для него в непостижимый хаос. Остается только — как в битве под Верденом — животное желание выжить под шквальным огнем вражеской артиллерии. Какое чрезвычайное ожесточение необходимо бойцам, чтобы продержаться? Еще до солдатских бунтов весной 1917 года Ален понял всю ненадежность этого принудитель-

ного героизма. “За все придется платить, поверьте мне: каждый найдет своего настоящего врага”, — пишет он 13 ноября 1915 года<sup>20</sup>.

Именно в таком духе он определяет и смысл Февральской революции в России вскоре после того, как она произошла, в письме от 3 августа 1917 года: “Не знаю, каких солдат ты видел; может быть они ослабели от потери крови; что же касается меня, то я видел только таких, которые охвачены бунтарским духом: они думают только о том, как окончить бойню, и, не зная, как это сделать, вынашивают планы мщения. Не думайте, что это пустяки. Русская революция — это кое-что”<sup>21</sup>. Для него мировое значение русских событий состоит не столько в падении царизма, сколько в восстании солдат и народа против войны. Кому какое дело до Николая II? Зато несчастья войны владеют сознанием всей Европы. Военный опыт философа-фронтовика помогает ему ощутить чувства большинства сражающихся. В то же время, Алеви высказывает совсем другую точку зрения на Февральскую революцию<sup>22</sup>. Его, как и французское правительство, заботит прежде всего, какое влияние окажут события в Санкт-Петербурге на ход войны, и он во имя интересов союзников выражает пожелание, чтобы Милюков как можно скорее покончил с русским хаосом. Эту надежду он сопровождает более незаинтересованным и меланхолическим замечанием, подсказанным ему его либеральными воззрениями: “При всем том, разве не является большим облегчением для всякого достойного этого имени представителя Запада сознание того, что мы больше не несем ответственности за царя и его придворных? Это чувство разделяет каждый, от Англии до Италии, каким бы консерватором он ни был. Неужели Франция будет всегда являть собой загадку для политического наблюдателя? Неужели никогда нельзя будет сказать, является ли она либеральной до анархизма или реакционной до безумия?”<sup>23</sup>

Таким образом, Ален и Алеви сильно расходятся в оценке событий, происходивших весной 1917 года на другом конце Европы. Одному нравится идея советов рабочих и крестьянских депутатов как выражение бунта против войны. Другой радуется падению царского режима, одновременно выражая надежду, что русская революция не пойдет на заключение сепаратного мира с Германией. Однако по отношению к будущему их объединяет одна и та же тревога: после начала войны прошло уже почти три года, а ее последствия для Европы темны, как никогда ранее. Ясно только одно: в ходе войны люди окончательно потеряли контроль над историей. Полагая, будто действуют сознательно, они ввязались в авантюру, ни ход, ни характер которой они не в силах были предусмотреть. Не контролируя событий, они не могли положить им

конец. События февраля 1917 года в России, за которыми последовали бунты в Шмен-де-Дам, продемонстрировали всем, кто хотел видеть, какую цену придется заплатить за неспособность руководящих классов и правительств найти разумный выход из европейской войны: а речь-то шла о революции, старой богине-прародительнице европейской демократии.

На протяжении целого столетия, с 1714 по 1914 год, ни одна сколько-нибудь продолжительная война не будоражила Европу; ни одна не ставила под вопрос экономический и социальный строй воюющих стран. Хотя, действительно, Вторая империя во Франции пала после поражения под Седаном, где Наполеон III был взят в плен. Но это событие не имело глубинных последствий для внутреннего положения Франции. И хотя основание Германской империи изменило взаимоотношения европейских государств, сохранился тонкий, с точностью часового механизма отлаженный политический порядок, установленный победителями Наполеона I; равновесие сил между Австрией, Россией, Пруссией и Францией, за которым ревниво следила Англия, противясь любой попытке установления чьей-либо гегемонии в Европе. Революции 1848 года угрожали этому порядку, но равновесие было восстановлено несколько лет спустя: создание Австро-Венгрии и объединение Германии при Вильгельме II изменили границы государств, но не дух европейской политики. Войны, которые происходили внутри этой системы, были ограничены и своими задачами, и вовлеченными ресурсами, и размерами армий. Воевали солдаты, добровольцы или профессионалы, а не целые народы. Войны были непродолжительны. Еще не было изобретено сочетание индустрии и демократии под эгидой милитаристского наследия прошлого.

Первая мировая война, столкнув между собой уже не только армии, но и народы, превратилась в испытание *трудовых* способностей наций. Вся производственная активность, равно как и гражданский порядок, были подчинены военным императивам. Сначала это происходило в Германии Гинденбурга — Людендорфа и во Франции Клемансо, затем при военном коммунизме Ленина и пятилетних планах Сталина и, наконец, при Гитлере... На смену частичным войнам аристократов и королей пришла “тотальная мобилизация” стран и народов — последнее слово технического прогресса человечества. Отсюда проистекает уникальная рациональность и безжалостность первой войны XX века. Отсюда же и ее исход, поскольку многие европейские народы оказались недостаточно “цивилизованными”, чтобы победить. К их числу относятся, конечно, Россия и Италия с их отсталостью, но также Ав-

стрия и Германия, две последние по причинам интеллектуального и морального порядка, так как в них перемешались абсолютистские традиции и все время подавляемый “либеральный” дух.

Тотальная война длилась бесконечно, что было обусловлено равенством сил и мощью оружия, заставлявшей бойцов зарываться в землю и оплачивать огромной кровью любое незначительное продвижение. Отупение и безнадежность охватывают солдат. С наступлением мира эти чувства превратились в гнев. Оставшиеся в живых оглядываются назад, на кошмарные годы, чтобы понять их смысл и ответственность правительств. Политика вновь вступает в свои права.

Непосредственным поводом для войны был вопрос о малых национальностях на Балканах. Но у великих держав, вступивших в конфликт, были иные, более важные цели. В центральной и восточной Европе две германские империи столкнулись с Россией. Австро-Венгрия боролась за выживание, Россия — за влияние среди славянских народов, Франция — за Эльзас-Лотарингию, Германия — за колонии, Англия — за сохранение векового главенства. Экзальтированные национальные чувства, вспыхнувшие в августе 1914 года, смешали все карты. Жестокость войны не только заставила бойцов ненавидеть друг друга, но в еще большей степени добавила воинственного пыла тыловикам. Цели конфликта расширились и расплылись, — как и поля сражений, они стали безграничными.

Потому-то все попытки переговоров и компромиссов остались безрезультатными, неспособными переломить фатальный ход событий. В конце 1916 года, когда обе стороны уже понесли тяжелейшие потери, не добившись при этом решающих успехов, идея мира без аннексий и контрибуций, родившаяся в недрах немецкого парламента, даже не стала предметом серьезных переговоров во время тайных контактов между сторонами<sup>24</sup>.

В 1917 году война, за неимением определенных целей, получает солидное идеологическое обоснование. Февральская революция освободила союзников от необходимости поддерживать царский режим, на сотрудничество с которым центральные державы указывали как на свидетельство лицемерия англичан и французов. В апреле президент Вильсон обосновывает вступление Америки в войну солидарностью демократических народов. Он приветствует русскую революцию и обличает германский и австрийский режимы: “Прусский автократизм никогда не сможет стать нашим другом... Мы счастливы сражаться за освобождение народов”. Эффектное вступление Соединенных Штатов в войну обставляется на американский манер — как крестовый поход за демократию. Американская и французская демократии объединяются во имя

общего дела, но их единство сохранится не долее, чем союз их революций в конце XVIII века. Однако вильсоновский морализм, помноженный на якобинство Клемансо, придает войне более обшее значение, чем борьба за Эльзас и Лотарингию или за сокращение тоннажа немецкого флота; цель отныне становится столь широкой и не подлежащей обсуждению, что мир может быть достигнут только ценой капитуляции противника. Таким образом, цели конфликта задним числом поднимаются до уровня принесенных жертв. Однако они сформулированы таким образом, что окончание войны должно автоматически повлечь за собой крушение империй и тронов, образование новых республик и появление наций, униженных поражением.

Германия заплатила самую высокую цену за поражение. Со времен Бисмарка она стала самой мощной европейской державой, и она останется таковой, реально или виртуально, на протяжении всего XX века: дважды разрушенная, усмиренная, оккупированная и даже разделенная, она найдет в себе силы вернуть себе ту роль, которая принадлежит ей в силу ее географического положения и трудовых способностей ее народа. Версальский договор возвестил ей час первого унижения. Империя вынуждена была капитулировать без всяких условий. Она потеряла земли на западе и на востоке от своих границ и вынуждена была оставить часть немецкого населения в других странах. Она должна была выплатить огромные репарации деньгами и натурой. Объявленная единственной виновницей конфликта, она вынуждена нести на себе его последствия. Она одна должна отвечать за все преступления, что выводит из себя побежденных и не способствует уверенности и единству победителей.

В этом смысле прав был Раймон Арон, когда писал: «Версальский договор, в еще большей степени, чем думают его критики, был логическим следствием войны, отражающим как ее причины, так и идеологический смысл, который она приобрела в ходе военных действий»<sup>25</sup>. Находясь во власти национальных распри и воспоминаний 1848 года, отдавая дань полузабытым страстям, участники конгресса создали кучу славянских государств на развалинах побежденного пангерманизма, породив от Варшавы до Праги и от Бухареста до Белграда нежизнеспособные парламентские республики; при этом французские радикальные буржуа думали, что они прививают там свои традиции, а на самом деле только экспортировали свой политический строй. Договоры 1919—1920 годов вели не столько к европейскому миру, сколько к европейской революции. Они стерли историю второй половины XIX века ради воссоздания маленьких полиэтнических государств, повторяющих в миниатюре недостатки Австро-Венгерской империи. Оставаясь

разделенными внутри своих новых границ, они продолжают питать по отношению друг к другу ту же враждебность, что и при германо-венгерском господстве. Действуя во имя национального освобождения, союзники закрепили национальную ненависть.

Из этих импровизированных государств, нищих и разделенных, где к тому же сохранялись обширные районы немецкого населения, англо-французские союзники хотели образовать зону своего влияния на востоке Европы. Потому что Октябрьская революция 1917 года ликвидировала значение России как элемента европейского равновесия; вместо того, чтобы играть роль жандарма в семье славянских народов и великой восточной державы, она стала центром коммунистической революции. Новорожденные государства центральной и восточной Европы оказались обремененными непосильной для них исторической миссией: служить барьером на востоке против советской экспансии, а на западе — против Германии, побежденной, разоруженной, но по-прежнему опасной и, как никогда, занимающей центральное место в европейском раскладе.

Наконец — и это последний элемент картины, — три державы-победительницы имеют разные концепции относительно международного порядка, который они взялись поддерживать. Ничего общего с позицией Венского конгресса, которому удалось в прошлом веке создать устойчивое равновесие в постнаполеоновской Европе, руководствуясь консервативной философией и принципами реальной политики<sup>26</sup>. В Версале союзники установили “карфагенский мир”, не договорившись ни о целях, ни о средствах их достижения. Вступление в войну Соединенных Штатов было решающим, но цели Вильсона были настолько абстрактными, что их было почти невозможно перевести на язык политики и использовать для решения территориальных споров, даже если бы его партнеры на это согласились. Французы только и думают, что об Эльзас-Лотарингии и расчленении Германии, в то время как англичане не для того воевали четыре года, чтобы заменить немецкую гегемонию в Европе французской.

Жак Бенвиль<sup>27</sup> уже в то время выступил пронципальным критиком участников версальских переговоров; об их психологии можно получить представление на основании забавных описаний Кейнса<sup>28</sup>. Что касается Клемансо, то культ, которым французы окружили его имя, кажется мне ярким примером ошибки коллективной памяти. Мало людей были до такой степени не способны подняться до обобщенного взгляда на проблемы мира, как этот легендарный победитель в войне. В Версале этот старый якобинец из Вандеи показал себя невежественным узколобым шовинистом, попавшим в рабство к собственному имиджу “отца-победителя”. Став участником мирных переговоров, он не может отказаться от

ожесточения военного времени. Саркастический и нетерпеливый старик, выведенный из себя политической теологией Вильсона, он мечется между цинизмом и наивностью. Что понимает он в разоренном войной и революцией европейском пейзаже? Да почти ничего. Что он хочет сделать с этой Европой? У него нет никакого общего плана. Прикованный взглядом к Страсбургу, он ценит в победе лишь то, что она привела к падению враждебных монархий, бегству Вильгельма II и концу Австро-Венгрии. Он одинаково ликует и по поводу обретения независимости освобожденными нациями, и по поводу унижения Германии. Дипломатическому договору, призванному заложить основы мира в Европе, он придает характер приговора немецкому народу.

Таким образом, благодаря усилиям победителей, устройство мирной Европы оказалось еще более безумным, чем породившая его война. Из четырех держав, которые в XIX веке делили между собой все пространство к востоку от Рейна, — Османская империя, Россия, Австро-Венгрия и Германия, — осталась только Германия, побежденная, лишенная прежнего достоинства, но в перспективе — усиленная исчезновением прежних соперников и слабостью новых соседей. Франция, ставшая главной военной державой на континенте, только по видимости обладает средствами закрепить за собой это временное превосходство. Впрочем, англичане его вообще не признают. Американцы ушли к себе домой. Никто не собирается поддерживать шаткий европейский мир, даже нации-победительницы. Что же тогда говорить об остальных!

Осознание масштабов понесенных потерь, их несоизмеримость с достигнутыми результатами постепенно расшатывали общества и режимы. Призвав под знамена все дееспособное население, уничтожив и искалечив десятки миллионов, война 1914 года дала право каждому выжившему подвергнуть сомнению условия общественного договора; она сыграла роль своеобразного демократического теста, элементарного и универсального.

Первым рухнул самый слабый режим, менее других способный выдержать материальную и моральную тяжесть тотальной войны, — русское самодержавие, последняя абсолютная монархия в Европе, чьи основы были подорваны еще в 1905 году. Русско-японская война 1904—1906 годов положила начало кризису царизма, а война 1914 года добила его. Николай II пытался превратить самодержавие в оружие борьбы с буржуазией и рабочими и возродить харизматическую крестьянскую монархию. Но назначив себя главнокомандующим армией, очень быстро потерпевшей поражение, он ускорил падение своего авторитета. Военные неудачи усилили его изоляцию и привели его к падению в начале 1917, ужас-

ного, года, когда война начинает выдыхаться, перед тем как вспыхнуть с новой силой. Характерные черты русской революции связаны с национальным и социальным крахом, который, в свою очередь, является следствием распада вооруженных сил. С февраля по октябрь ни одному человеку, ни одной партии не удастся обуздать анархию: кризисы следуют один за другим, и власть скатывается все дальше влево, пока осенью большевики не подбирают ее на улицах Санкт-Петербурга. Но и им удастся по-настоящему укрепиться у власти лишь к лету 1918 года путем введения террора, военного коммунизма, создания Красной Армии и началом формирования партии-государства.

Случилось так, что универсальное значение русской революции (включая сюда и Февральскую, и Октябрьскую) было обусловлено не столько ее собственным характером или амбициями, впрочем, довольно неясными, сколько тем фактом, что она выступила против войны. Обещание отдать землю крестьянам не могло воодушевить сидевших в окопах западных крестьян: они-то владели землей уже несколько веков. То, что самодержавие пало и его заменило Временное правительство, куда входят представители различных партий, тоже для Запада — уже пройденный исторический этап. Но вот то, что русский народ потребовал мира, открывало путь к выходу из трагического тупика, куда правительства западных стран завели свои народы. На протяжении нескольких месяцев Лондон и Париж, делая ставку на Миллюкова, затем на Керенского, пытаются игнорировать главную страсть Февральской революции; но уже в апреле разгром русских армий становится необратимым и все громче раздается несущийся с востока на запад призыв к миру.

Надо признать, что если буржуазные правительства недооценили воздействие русского примера на Европу, то пришедшие к власти большевики переоценили его. Прежде чем согласиться с реализмом Ленина, Троцкий и солидарное с ним большинство сделали ставку на восстание воюющих армий, германских в первую очередь. Эти утопические надежды привели к Брест-Литовску и уступке Германии одной трети европейской территории России. На западном фронте моральный кризис, начавшийся во французской армии в 1917 году, удалось остановить. Сформированное в конце года правительство Клемансо стало осуществлять план тотальной войны. Лозунг “революционного пораженчества”, выдвинутый Лениным еще в 1914 году, по-прежнему не имел успеха. Он не будет принят и позже, даже в побежденной Германии. Воздействие русского примера состояло в другом, но не менее важном. 1917 год дал революционной идее не столько новое учение, сколь-

ко новое назначение, связав ее с завоеванием и поддержанием мира. Русские события показали, как можно стряхнуть наваждение и найти решимость вырваться из бесконечной бойни.

Год спустя война закончилась, но не благодаря переговорам или восстанию народов, а вследствие капитуляции центральных империй перед лицом неизбежного разгрома. До самого конца войны решающее слово принадлежало грубой силе. Но если революционное пораженчество и не смогло положить конец войне, оно сыграло свою роль после установления мира, вдохнув новую жизнь в революционную идею, за год до того низвергшую царскую империю. Республика Советов выглядела как достойный ответ гибельному верховодству генералов. Прежде чем утвердиться в качестве политической доктрины и революционного образца, большевизм привлек к себе симпатии, показав, как можно выйти из вооруженного конфликта. В побежденной Германии Курт Эйснер захватил власть в Мюнхене; Либкнехт собирался сыграть роль Ленина в Берлине. В распадающейся Австро-Венгрии Бела Кун пришел к власти в Будапеште<sup>29</sup>.

Наступивший мир поставил революцию на повестку дня.



# *Глава третья*

## Всеобщее очарование Октября

Итак, первая мировая война вернула революционную идею в центр европейской политики. Это было именно возвращение: ведь Французская революция была колыбелью демократии в Европе. В течение XIX века политикам удалось кое-как утихомирить ее разрушительные волны. Тем не менее, в начале XX века она еще далеко не реализовала все свои возможности, поскольку почти повсюду сохранялись остатки прежних учреждений, а революционные идеи уживались со старыми идеями. Таким образом, европейские страны, до того как в 1914 году вступили в схватку между собой, все вместе принадлежали к смешанной политической цивилизации, разнородные составляющие которой присутствовали внутри каждой нации. Однако такая ситуация не побуждала людей к революции. Даже рабочие партии, начертавшие на своем знамени лозунги классовой борьбы и победы пролетариата, вступили, например во Франции и Германии, на дорогу буржуазного парламентаризма.

Правда, было одно исключение из правила: царская Россия, где в 1905 году шаткое равновесие было нарушено. И именно оттуда, из самой отдаленной точки, во время войны революция вернулась в европейскую историю. Это эксцентрическое событие поначалу не выглядело столь уж невероятным: в падении Николая II, Временном правительстве, созыве Учредительного собрания французы узнавали приметы собственной истории. И они следили за ними с тем большим вниманием, что Россия, при всей своей удаленности, была союзником для одних, противником для других и потому интересовала всех. Неожиданностью оказался не Февраль, а Октябрь 1917 года.

В октябре, с захватом власти большевиками, революция приобретает небывалый характер. Теперь она разворачивается уже не под знаменем буржуазии, а под знаменем рабочего класса и учения Маркса о низвержении буржуазии и капитализма. Положение осложняется тем, что в России этот капитализм едва-едва родился и пролетарская революция разразилась в самой отсталой европейской стране. Этот парадокс стал предметом долгих предварительных споров среди русских социалистов, и даже взятие Зимнего дворца сторонниками Ленина не положило конец разногласиям. Октябрь мог бы оказаться путчем, произошедшим в силу случайных обстоятельств и потому не имеющим “исторического” значения. Именно на такой точке зрения, вслед за русскими меньшевиками, стоял главный жрец марксизма Карл Каутский. Действительно, нелегко было поверить тому, как сама себя аттестовала большевистская революция. Ее притязания на то, чтобы открыть новую эпоху в истории человечества, приведя к власти рабочих, создателей всех материальных благ, не представлялись убедительными, особенно если принять во внимание историю России и события, определившие соскальзывание от Февраля к Октябрю.

Однако воздействие Октября на умы определялось тем, что с интервалом в столетие он возродил самую сильную политическую идею современной демократии: идею революции. Уже в начале века большевики присвоили эту идею, объявив себя наследниками якобинцев. Вплоть до начала мировой войны Ленин и его сторонники оставались маленькой группой экстремистов внутри социалистического Интернационала. Осенью 1917 года они привлекают к себе всеобщее внимание не только потому, что они победители, но главным образом потому, что европейские левые узнают в них своих предков, а правые — своих врагов. Такое отношение сохранится на протяжении всего XX века, что позволит признавать даже самые отсталые, отдаленные и экзотические страны участниками мировой революции.

Что же так зачаровывает в революции? Это утверждение волевого начала в истории и образа человека как деятельной и автономной демократической личности. После веков угнетения французы в конце XVIII столетия выступили в качестве борцов за воссоздание человека; в большевиках увидели продолжателей их дела. Благодаря этой странной преемственности нация, до сих пор находившаяся на обочине европейской цивилизации, обрела новое достоинство. Сыграло свою роль и то, что революцию в самой некапиталистической стране Ленин произвел под знаменем учения Маркса. Противоречивое сочетание веры во всемогущество действия и неколебимость законов истории, возможно, как раз и

определяет силу воздействия Октября на умы. Якобинский культ воли, пропущенный через фильтр русского популизма, Ленин соединил с научной уверенностью, почерпнутой из “Капитала”. Революция получила в свое распоряжение некую замену религии, которой ей так не хватало в конце XVIII века во Франции. Этот эликсир, смешанный из двух разнородных частей наперекор логике, но в соответствии с современными запросами, будет опьянять не одно поколение активистов.

Итак, русская революция не заняла бы такого места в умах людей своего времени, если бы она не выглядела как продолжение — поверх временного разрыва — революции французской, как борьба человеческой воли за осуществление исторических предначертаний. Как если бы, странным образом, идея тотального разрушения и начинания с нуля получала поддержку в идее исторического возобновления и повтора. Поэтому, прежде чем говорить о самом факте русской революции, необходимо бросить взгляд на эту, обладающую столь сильным эмоциональным воздействием, аналогию с прошлым.

Рассмотрим для начала, как выглядела Французская революция в трактовке большевиков. Их главная задача состояла в том, чтобы выделить такие фазы революции 1789 года, которые можно было бы объявить предвестием Октября, не переставая при этом критиковать универсалистские устремления как “буржуазную ограниченность”. Особое предпочтение они отдают “якобинскому” периоду, подразумевая под ним диктатуру Комитета общественного спасения в 1793—1794 годах. Это самый волюнтаристский, а также наименее либеральный момент революции. Его уникальность, вплоть до 1917 года, состояла в том, что революционные цели рассматривались как самодостаточные: с середины 1793 года Конвент отказался ввести в действие только что принятую конституцию. Отныне у революции нет иных целей, кроме нее самой; как таковая, она заполняет всю политическую сферу. Однако члены Конвента согласились на такую не ограниченную законом власть только временно, вплоть до установления мира, тогда как большевики возвели чрезвычайное правление в принцип и сделали незаконную власть законом. Как бы то ни было, прецедент имелся, включая даже некое хронологическое совпадение: события II года перечеркнули 1789, подобно тому как Октябрь перечеркнул Февраль.

Эта на скорую руку состряпанная генеалогия получила, тем не менее, признание, ибо соответствовала определенной культурной традиции. Во Франции, например, Лига прав человека организовала с 28 ноября 1918 по 15 марта 1919 года серию общественных слушаний о положении в России<sup>1</sup>. Лига имела безупречную репу-

тацию в глазах левой общественности еще с тех пор, когда участвовала в деле Дрейфуса. Вокруг нее группировалась буржуазная интеллигенция республиканского и социалистического толка, включая такие университетские светила, как Поль Ланжевен, Шарль Жид, Люсьен Леви-Брюль, Виктор Баш, Селестен Бугле, Альфонс Олар, Шарль Сеньбос. Именно левая интеллигенция жадно ловит новости из новой России; правые не нуждаются в информации, чтобы ненавидеть Ленина за его пораженчество в войне в сочетании с проповедью террора в наихудшей французской национальной традиции. Левые же, напротив, преклоняются перед революционной идеей, неотделимой от их культурного наследия. Правда, надо признать, что в конце XIX века, озабоченные укреплением Третьей Республики, они предпочитали не вспоминать о Первой. И все же в 1917 году прошло не так уж много времени с тех пор как Клемансо, выступая перед народными избранниками, заявил, что Французская революция — это “единое целое”...<sup>2</sup> Ведь революция — это не только воспоминание, она обращена не только в прошлое, но и в будущее. В сознании народа, проделавшего этот памятный опыт, она продолжает жить как своего рода апелляционный суд, куда можно обращаться с жалобами на творящиеся несправедливости. До большевиков многие члены французской социалистической семьи апеллировали к якобинскому прецеденту: Буонароти, Бланки, Бюше, Луи Блан, Жюль Гед, если называть только самых известных.

Возрождение этих воспоминаний и надежд происходило тем более бурно, что перед 1914 годом они пребывали в состоянии спячки. Для Жореса, например, революция была горизонтом истории, обещанием эмансипации рабочего класса, за которой должна была последовать эмансипация всего общества. Но то была лишь общая перспектива, не более. Она не мешала ни открытой работе по объединению левых сил, ни заключению негласных союзов. Республиканская и социалистическая идеи не совпадают между собой, но их сторонники могут идти одним и тем же путем, считая, что общая работа важнее, чем конечная цель. Ленин после октябрьской победы утверждает на противоположной позиции, ставя революцию выше того, что делает ее полезной, и яростно, с ненавистью отвергая любой реформизм. Прославляя волю якобинцев, он уличает французских республиканцев и социалистов в измене революционным традициям, и несчастные наследники еще долго будут испытывать на себе силу такого шантажа.

Вернемся в осень 1918 года, когда жрецы французской левой интеллигенции под руководством Лиги защиты прав человека склонялись над колыбелью советской революции. Они получали

информацию из первых рук, от свидетелей, которые находились в России во время решающих событий. Речь идет о некоем Патуйе, последнем директоре Французского института в Петрограде; о близком к эсерам экономисте Эжене Пети, жившем в России с сентября 1916 по апрель 1918 года; о журналисте Шарле Дюма, бывшем начальнике кабинета Жюля Гедэ, социалисте, жившем в России с декабря 1917 по март 1918 года; о Гренаре<sup>3</sup>, бывшем генеральном консуле Франции в Москве в 1917 и 1918 годах. Присутствовало также несколько русских: Сухомлин и Слоним, экс-депутаты мертворожденного Учредительного собрания, Делевский и Авксентьев, члены Русской республиканской лиги, Савинков, бывший товарищем военного министра в кабинете Керенского. Эти свидетели пространно описывают перед ареопагом Лиги то, что они видели “собственными глазами”. Все они левые, здесь нет ни одного человека правых взглядов. Французы, за исключением, может быть, Гренара, демократы и республиканцы; русские — это деятели Февральской революции, многие из них — эсеры, шедшие вместе с большевиками вплоть до роспуска Учредительного собрания. Однако они разоблачают антидемократические установки большевиков во главе с Лениным и Троцким, абсолютную диктатуру партийного меньшинства, лживость “власти Советов” и рабочих комитетов, первые шаги террора. Опасаясь, что власть может попасть в руки “белых генералов”, таких как Колчак, русские выступают за интервенцию войск союзников и за проведение новых выборов, за то только что выдвинутую Вильсоном идею Лиги Наций. Только один человек звучит не в унисон, это голос Бориса Суварина, который приехал с определенным “заданием”: ссылаясь на тяжелое наследие царизма и зловещую роль контрреволюции, он выступает в защиту классовой борьбы, “реальной” демократии советов, против буржуазной диктатуры, доказывает необходимость террора. “Русская пролетарская революция оказалась в 1918 году в таком же положении, как французская буржуазная революция в 1793. Против нее действуют извне — мировая коалиция, а внутри страны — силы контрреволюции (заговоры, саботаж, расхищение, восстания) плюс несколько Вандей. Те же причины приводят к тем же последствиям. За террор несут ответственность враги революции”<sup>4</sup>.

Так, через год после Октября, Суварин оправдывает большевиков не столько тем, что они сделали, сколько тем, что они собираются сделать; он говорит не столько о том, способны ли они создать новую демократию, сколько о необходимости дать отпор внешним и внутренним врагам революции. Как и в 1793 году, революция замыкается внутри революционной идеи. Она игнорирует и даже обесценивает то, ради чего, как принято считать, она со-

вершается: в первом случае — приход к власти буржуазии, во втором случае — пролетариата. Французских интеллектуалов, впервые столкнувшихся со свидетельствами “антисоветчиков”, контраргументация Суварина заставляет призадуматься, тем более что его доводы существовали в их сознании еще до того, как были высказаны вслух. Ведь Суварин не только ссылался на известное событие их национальной истории, но и осмысливал его так, как сами они привыкли это делать на лекциях. Они сами имели обыкновение перекладывать ответственность за террор 1793—1794 годов и за антипарламентский переворот 31 мая — 2 июня<sup>1</sup> на исторические обстоятельства, внутреннюю контрреволюцию, войну вовне и Вандею. Почему же на тех же основаниях не отпустить вину большевикам, настойчиво ссылающимся именно на данный прецедент?

Среди присутствовавших членов Лиги прав человека был самый знаменитый специалист по истории Французской революции Альфонс Олар, занимавший с 1886 года университетскую кафедру в Сорбонне. Республиканец, радикал-социалист, франкмасон, Олар был как раз тем историком, который особенно охотно прибегал к ссылкам на “обстоятельства”. В своих работах он перекладывал ответственность за террор с якобинцев на контрреволюцию, а в якобинской диктатуре, провозгласившей равенство, видел предвестие социализма. Как республиканцу ему не нравится дух фанатизма, который он чувствует у большевиков. Но как историк Французской революции он опасается слишком легкого осуждения “русских якобинцев”, которое могло бы зачислить его в “реакционеры”.

Слушания начались в конце ноября 1918 года. 28 марта 1919 года, на седьмом и последнем заседании под председательством Фердинанда Бюиссона выступил в качестве свидетеля Авксентьев, бывший эсеровский министр во Временном правительстве. Он подвел итог ситуации конца 1918 года: власть большевиков, возникшая в результате путча, — это антидемократическая диктатура, но сплотившиеся против нее вокруг адмирала Колчака правые силы грозят одержать верх. Единственный выход, по мнению выступающего, — создание Лиги Наций, которая оказала бы на большевиков политическое, а в случае необходимости и военное давление, чтобы заставить их принять Учредительное собрание. Идея интервенции, даже в столь туманной форме, встретила более чем прохладное отношение со стороны французских слушателей. Олар, молчавший до этого момента, выступил и лучше всех описал терзавшие его сомнения. Его стоит послушать:

“...Мое сердце, как я уже сказал, не на стороне большевиков, но я стараюсь рассуждать. Нам говорят, что большевики не демократы, потому что они не вводят всеобщего избирательного права.

Действительно ли количество неграмотных достигает в России 85%? Я этого не знаю, и вы не знаете, и никто не знает. С уверенностью можно сказать только то, что неграмотных у вас очень много. Что же говорят большевики? Они говорят (во всяком случае, нам говорят, что они так говорят): нельзя отдавать судьбу страны в руки массы, которая находится в таком состоянии, это было бы равносильно предательству. Мне кажется, в таком суждении есть резон. Французская революция тоже была совершена меньшинством, установившим диктатуру. Ее совершила не какая-то Дума в Версале, а развивалась она в начале, да и потом, в формах, очень напоминающих Советы. Муниципальные комитеты 89 года, потом революционные комитеты — у нас, как и у них, — действовали таким образом, что и в Европе, и в мире стали тогда называть французов бандитами. Так мы тогда добились успеха. Всякая революция — дело меньшинства. Когда мне говорят, что в России меньшинство терроризирует большинство, для меня это означает только одно: в России революция.

Я не знаю, что у вас происходит, но я поражен совпадениями: в нашей Французской революции, как и у вас, тоже была вооруженная интервенция и тоже были эмигранты. Не потому ли наша революция приобрела такой жестокий характер? Если бы в свое время Европа не прибегла к интервенции, то не было бы и террора, и нам, быть может, не пришлось бы лить кровь, во всяком случае, в таком количестве. Именно потому, что Французской революции пытались помешать, она принялась все крушить. И я вынужден констатировать, что чем сильнее становится военное вмешательство, тем сильнее становится большевизм. Я знаю людей, которые задаются вопросом: а что если оставить большевизм в покое, дать ему развиваться, — не произойдет ли тогда его размывание? Не станет ли он менее опасным? И вообще, что такое большевизм?..”

Увлечись, Олар зашел слишком далеко. Сидевшие против него участники февральской демократической революции, вынужденные бежать от большевиков, были недовольны тем, что их поставили на одну доску с эмигрантами. Профессор Сорбонны делает шаг назад, выражает им свою симпатию, но что сказано, то сказано. Впрочем, высказанные им мысли разделяют, по-видимому, многие из его коллег, причем из самых авторитетных, такие как Фердинанд Бюиссон или Виктор Баш. Им не так-то просто сделать выбор между бежавшими деятелями февральской революции и их октябрьскими победителями, причем именно по тем причинам, о которых говорил Олар. Они чувствуют себя наследниками Французской революции, она владеет их умами, но ее уроки дают двусмысленный ответ на вопрос о свободе.

Они не испытывают симпатий к большевизму. Правда, знают они о нем пока немного. Не будучи социалистами, они не принадлежали к кругам II Интернационала и не знали о той свирепой полемике, которую Ленин развернул среди русских социал-демократов. В годы войны они занимали патриотические позиции, выступая против немецкого милитаризма, поэтому к ленинскому “революционному пораженчеству” они относятся без всякого снисхождения; они сожалеют об официально закрепленном в Брест-Литовске отказе России от своих союзнических обязательств. В общем и целом, ничто не понуждает этих респектабельных представителей французских левых кругов делать уступки экстремизму или марксистскому доктринерству. Эти испытанные борцы за права человека, в прошлом ратовавшие за светскую школу и оправдание Дрейфуса, не имеют ничего общего с политиками-оппортунистами левого центра. Во Франции того времени их называли “республиканцами”; это были поздние наследники Просвещения, провозглашавшие гражданские добродетели, веру в прогресс благодаря светскому школьному обучению и парламентскому строю; твердо уверенные в своей левизне, они не любили иметь противников слева. Но одновременно они “преуспели”, заняли важные посты — профессоров, адвокатов, чиновников, приобрели буржуазный статус, при всей своей нелюбви к буржуазии и деньгам. Они не могли сочувствовать чуждой им большевистской идеологии, и тем более не могли бы сочувствовать, если бы знали ее лучше. Они любили Французскую революцию, но знали также цену времени. Они знали, сколько времени потребовалось республиканскому строю, чтобы укорениться во Франции, и сколько у него еще оставалось врагов.

Фактически, их концепция человеческого прогресса не исключала идеи социализма, а лишь откладывала ее осуществление. Откроем главный труд Олара, посвященный как раз “политической истории Французской революции”<sup>6</sup>. По мнению историка, революция 1789 года знаменовала пришествие политической демократии, фундамент которой был заложен в двух основополагающих текстах: “Декларации прав человека” и монтаньярской “Конституции” 1793 года. Связав два “момента” революции, которые у его предшественников были разведены, Олар провозгласил единство этого великого исторического события. Обе хартии, взятые вместе, определяют направление будущего развития, ход которого будет зависеть от обстоятельств. Деятели 1789 года создали знаменитую “Декларацию”, но при этом сохранили монархию и цензовое избирательное право. Деятели 1793 года установили республику и всеобщее избирательное право, но основали свою власть на диктатуре и терроре. Потребовалось целое столетие, чтобы французы

смогли наконец создать демократическую республику, черты которой были намечены их предками. Идея социализма тоже, по мнению Олара, входит в число принципов 1789 года, выражаясь в требовании равенства. Это идея не политическая, а социальная, и те, кто ее опасается, до такой степени “затемнили” ее смысл, что “в наше время лишь меньшинство французов сумели его уразуметь”. Следовательно, “является ошибкой противопоставлять социализм принципам 1789 года. Столь же ошибочно смешивать “Декларацию прав человека” 1789 года с принятой в том же году монархической и буржуазной “Конституцией”. Да, социализм находится в резком противоречии с социальной системой, установленной в 1789 году, но он является пусть крайним, пусть опасным (если угодно), но логическим следствием принципов 1789 года, на которые справедливо ссылался Бабёф, теоретик равенства”<sup>8</sup>.

Олар, таким образом, не марксист. Он против отказа от формальных принципов 1789 года во имя реального равенства индивидов. Он видит в правах человека отложенное обещание социального освобождения, которое должно последовать за освобождением политическим и осуществиться путем уравнивания собственности. Он явно не склонен торопить события, и слова “если угодно”, поставленные в скобки, достаточно ясно выражают его сомнения относительно последствий предполагаемой эгалитарной революции. Не связывая социализм ни с диалектикой, ни с классовой борьбой, он понимает его как расширение эгалитарной демократии. Дальше этого его философия истории не идет; располагая и оценивая общества в зависимости от того, насколько близко они подошли к осуществлению эгалитарной демократии, он повторяет мотив, общий для всей левой интеллигенции. Олар был умеренным социалистом, подобно тому как Жорес был умеренным республиканцем. Но различие в оттенках не мешало, а помогало единству людей, считавших себя сторонниками прогресса.

Однако Ленин утвердился как политик в безжалостной борьбе с таким экуменизмом. Под его руководством партия большевиков захватила власть в России, провозгласив радикальный разрыв со всеми левыми, в том числе и особенно с социалистами, меньшевиками и социал-демократами. Социализм постучался в двери европейской истории в таком виде, который в наибольшей степени был способен скандализовать французских “республиканцев”, — в виде самой экстремистской фракции бывшего II Интернационала. Их не могли не возмутить акции правительства, возникшего в результате октябрьского переворота, — и прежде всего роспуск Учредительного собрания и его разгон красногвардейцами. Такие действия должны были ассоциироваться в сознании левых французов скорее с переворотом 18 брюмера, чем с созывом

Генеральных штатов, скорее с концом революции, чем с ее началом. Впрочем, и русские, которые присутствуют на слушаниях, это люди Февраля, то есть начального этапа революции. И они не устают повторять, что их следует рассматривать не как жирондистов, побежденных более решительными республиканцами, более преданными делу общественного спасения, но как демократов и социалистов, преследуемых новой автократической властью. Профессорам из Лиги прав человека, чтобы знать, что Ленин и Троцкий являются в данный момент худшими врагами демократии, даже не нужно было читать их нападки на “парламентский кретинизм”, — им было достаточно послушать рассказы беглецов о том, с каким ожесточением большевики изничтожали все остатки революционной демократии.

Почему же они проявили такую половинчатость, такую неуверенность в суждениях? Выступление Олара помогает ответить на этот вопрос: потому что они относятся к большевикам скорее как к деятелям 31 мая — 2 июня, чем как к участникам 18 брюмера, что Ленин в их глазах — действующее лицо революционной эпопеи. Даже чтение “Полного собрания сочинений” вряд ли смогло бы их убедить, и они продолжали бы видеть в Ленине одного из лидеров Горы, а не нового Бонапарта. Если он разогнал Учредительное собрание, то сделал это потому, что находится на крайне левом фланге революции и вынужден вести гражданскую войну, которую усугубила иностранная интервенция. Аналогия с 1789 годом обретает тем большее значение, что Олар рассматривает французскую революцию как постоянно раздираемую между провозглашенными ею принципами и конкретными историческими обстоятельствами. Этим *разрывом* и определяется, по его мнению, ход революционных событий, все время натякающихся на инертность исторического материала, тормозящего их даже в большей степени, чем сопротивление врагов.

Таким образом получается, что революция, вся целиком, хороша в своих устремлениях, а все, что в ней есть плохого, привносится извне; таков любимый “республиканцами” способ оправдания диктатуры и террора ссылками на “обстоятельства”, способ, который легко было распространить и на Октябрьскую революцию, со ссылками на инерцию русского прошлого (безграмотность), гражданскую войну и иностранную интервенцию. Такой подход тем более удобен Олару, что он пока не знает, что думать о большевиках, об их идеях и намерениях. Поэтому, резервируя свое мнение о них, он, тем не менее, защищает их, опираясь на аналогии с Французской революцией, как если бы намерения большевиков были менее важны, чем грозящие им препятствия и смертельные опасности.

Странный поворот мысли у историка, который славил Французскую революцию как колыбель политической демократии, а теперь выступает чуть ли не как союзник другой революции, эту демократию упразднившей, — и все это во имя предполагаемых аналогий между этими двумя событиями! В русских республиканцах, деятелях Февраля, он узрел французских эмигрантов, призывающих на помощь реакционную Европу. И вот уже в его сознании заработала диалектика двух лагерей, революционного и контрреволюционного, требующая признания необходимости революционной диктатуры меньшинства. В его рассуждениях Французская революция выступает в качестве образца, если и не по совокупности принципов, то как способ исторического действия. Член Лиги прав человека говорит противоположное тому, что писал историк Французской революции: “обстоятельства” оказались для него важнее идей. Сопоставляя две революции, французскую и советскую, он основывается не на их философской схожести, а просто на том, что и там, и здесь имеет место революция. И сразу далекая Россия оказывается в его глазах не местом, где ставится опасный опыт, принципиально враждебный республиканской демократии французского толка, а новым отечеством, где продолжается то, что было в свое время начато французами, и где Октябрь выглядит как почти естественное продолжение Февраля.

Если так рассуждает историк-республиканец, то что же говорить о его сопернике-социалисте! Олар и Матьес ненавидят друг друга с 1908 года, как это могут делать люди близких “левых” взглядов, занятые изучением одного и того же предмета, но один ваяет статую Дантона, другой преклоняется перед Робеспьером.

Однако после начала войны 1914 года их политические позиции оказываются не столь далекими, как они думают. Матьес оказывается таким же страстным защитником Французского отечества, как и его старший коллега. Он пишет патриотические и даже националистические статьи, вдохновляясь великим историческим примером якобинцев. Он не устает призывать парламент к большей решительности, а республику — к большей верности якобинским традициям. Февральская революция в России вызывает у него такой же энтузиазм, как и у Олара. Университетская психодрама продолжает разыгрываться под покровом всемирной истории. В то время как Олар поддерживает Санкт-Петербургскую Думу ссылками на Мирабо и Дантона, Матьес с возмущением отвергает этих деятелей, “опозоривших Французскую революцию”, и контратакует при поддержке своих собственных избранников — Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. Он становится горячим сторонником Октября с того момента, как его деятели

провозглашают передачу земли крестьянам: теперь, по его мнению, русская революция перешла из умеренной фазы в фазу подлинно социальную под руководством большевиков-якобинцев, выступивших против “жирондиста” Керенского. Однако подписание договора в Брест-Литовске и выход России из войны кладет решительный конец его энтузиазму; как и Олар, он не может одобрить измену России общему делу борьбы против германизма, — и это доказывает, что он является хорошим социалистом-якобинцем, а никак не ленинцем.

И тем не менее, три года спустя, в конце 1920, он вступает во Французскую коммунистическую партию, созданную в Туре. Он снова подтверждает свое политическое расхождение с Оларом, вступив в III Интернационал. Он согласился предать забвению Брестский мир, который спас большевистскую социальную революцию и вместе с тем не помешал поражению Германии. Ему ненавистны нахрапистые правые в послевоенной Франции и “небесно-голубая” палата, избранная в ноябре 1919 года. В гражданской войне и начавшейся иностранной интервенции в России он видит черты, напоминающие ему эпопею монтаньяров. В отличие от Олара, он разделяет революционные установки Октября на насильственное свержение буржуазии. Он никогда не был и не станет марксистом, но его ненависть к Дантону и буржуазии заменяет ему “пролетарское сознание”. Он забыл о пораженчестве Ленина в 1914 году и теперь видит в нем Робеспьера. Для поддержки советской революции он не находит более веских аргументов, чем... ее сравнение с Французской революцией<sup>101</sup>! Он обсуждает не только модальность обоих событий, он считает их сравнимыми между собой, поскольку оба они принадлежат к сфере всеобщего. Он считает, что Октябрьская революция, как и французская, стремилась к освобождению всего человечества. Это замечание проливает свет на природу завораживающего воздействия, которым обладал Октябрь в отличие от Февраля. Ибо свержение царизма и самодержавия было еще чисто русским событием, выдвигавшим старую Россию на европейский уровень, в то время как Октябрьская революция ставила себе целью свержение буржуазии и освобождение пролетариата. Ленин, сменивший Керенского, означал не только, что Гора сменила Жиронду, а Робеспьер — Бриссо. Это событие означало, что русская революция приобрела универсальный характер, такой же, как Французская революция 1789 года.

Есть что-то необычайное и даже таинственное в том, с какой легкостью привилась идея об универсализме советской революции. Совершив Февральскую революцию, Россия только наверстывала свое отставание; в октябре она заявила о себе как о передовом от-

ряде человечества, и самое интересное, что часть европейского общественного мнения тут же поверила ей на слово. Статья Матьеса помогает понять, как это происходило. Аналогия с Французской революцией утвердилась в умах не только европейских интеллектуалов, но и европейских народов. Русская революция потеряла в их глазах свою эксцентричность, будучи объявлена продолжательницей и наследницей универсальности Французской революции.

“Универсальность”, что в сущности означает это слово? Какое родство связывает русскую и французскую революции? Матьес не был настоящим марксистом, в его арсенале не было гегелевского понятия “отрицания отрицания”, чтобы охарактеризовать отношение 1917 года к году 1789. Да и к Робеспьеру он относился со слишком большим восхищением, чтобы видеть в нем всего лишь бессознательного героя буржуазной революции; он не может поставить ничего выше демократического идеала, выводимого им из речей Неподкупного. Таким образом, универсализм русской революции он понимает как универсализм монтаньяров, повторением и осуществлением которого она является столетие спустя: это демократический универсализм века Просвещения, закрепленный в “Общественном договоре”. “Передавая советам все функции государства, — пишет Матьес в статье 1920 года, — Ленин надеется избежать издержек бюрократизма и парламентаризма и по мере возможности осуществить самоуправление народа, являющееся для него, как и для Жан-Жака и Робеспьера, выражением подлинной демократии”<sup>11</sup>.

Руссо, Робеспьер, Ленин — вдвойне странная линия преемственности, где перепутаны как философские предпосылки, так и разнородные идеи и события; однако она показывает, каким образом большевизм укоренился на почве демократической традиции. Даже самые диктаторские действия — разгон Учредительного собрания, систематические беззакония, террор как инструмент власти — могут быть переосмыслены как свидетельства демократических намерений, поскольку они имеют прецеденты в истории Французской революции. Большевики ликвидируют свой “старый режим” так же беспощадно и теми же методами, что и якобинцы, только на столетие позже. Этот исторический повтор и позволяет объявить большевиков наследниками якобинского универсализма.

Матьес опирается на высказывания Ленина, который никогда не упускал возможности сослаться на пример революционеров II года. Легко убедиться, что и в сознании других деятелей большевистской революции постоянно присутствовал французский образец, особенно с лета 1918 года, когда после разрыва с эсерами бы-

ла на полные обороты запущена машина красного террора<sup>12</sup>. Однако сравнение упускает из вида одну не имеющую прецедентов черту русской революции: вмешательство в ход событий партии, которая производит узурпацию власти во имя принципов, противоположных тем, ради которых была начата революция. Матъес проводит свои аналогии так, как если бы Клуб якобинцев был идентичен партии большевиков, а регламентация экономики государством во имя общественного блага могла быть поставлена на одну доску с отменой частной собственности на средства производства; как если бы социальную программу Конвента можно было сравнить с экспроприацией буржуазии в пользу рабочего класса... Список таких “если бы” можно было бы продолжать до бесконечности.

Все это говорит о двух вещах. Во-первых, фиксированность французского историка на собственной национальной революционной традиции заставляет его распространять ее на всю историю вообще. Во-вторых, и это главное, он совершенно не понимает ленинизма как целостной доктрины, которая, ссылаясь на якобинцев как на своих предшественников, опираясь на их пример бескомпромиссности и жестокости, не перестает, тем не менее, разоблачать демократический универсализм, даже в его революционной форме. Ленин на протяжении многих лет, путем изгнания инакомыслящих, создал маленький боевой авангард, который объявил носителем законов истории, осуществляющим, под его руководством, диктатуру пролетариата, находящегося в зародышевом состоянии. Он придумал идеологизированную партию с военной дисциплиной, основанную, с одной стороны, на идее научного знания исторических законов, а с другой — на вере во всемогущество волевого действия; своим сторонникам он обещал безграничную власть ценой слепой преданности партии. Поэтому в тот момент, когда, в силу случайного стечения обстоятельств, власть оказывается в его руках, произошел перелом в развитии русской революции и европейской истории. Октябрь 1917 года — это никакое не повторение, а чистая новация. Черты сходства с якобинской диктатурой (факт возникновения в лоне предшествующей революции, установление власти маленькой воинствующей олигархии над терроризированным народом, наконец, применение к врагам неограниченного законом насилия) маскируют принципиальное различие двух революционных властей.

Будущее даст тому подтверждение: партия большевиков удержит власть над бывшей царской Россией в течение семидесяти четырех лет, тогда как господство Робеспьера и его друзей над революционной Францией удержалось всего на протяжении четырех месяцев (от казни дантонистов 3 апреля до падения Робеспьера

27 июля 1794 года). Сравнение с Французской революцией будет становиться все более неубедительным по мере того, как будет бесконечно длиться диктатура, установленная партией Ленина. Оно, тем не менее, будет использоваться и впредь, несмотря на свою абсурдность, для оправдания действий советской власти. Нэп будут сравнивать с Термидором, с которым он не имел ничего общего: нэп не затронул природы существовавшей диктатуры, тогда как Термидор положил конец власти Робеспьера и террору<sup>1</sup>. Чистки, осуществленные Сталиным в 30-х годах якобы для борьбы с контрреволюционными заговорами, будут сравнивать с ликвидацией дантонистов и эбертистов, как будто бы от этого “заговоры” становились более достоверными. Тот же аргумент будут использовать в 50-е годы во время процессов в странах “народной демократии”. В общем, пример Французской революции, точнее, ее якобинского периода, служил для оправдания террора и произвола, которые свирепствовали на протяжении всей советской истории, то ослабевая, то усиливаясь.

Такое использование прошлого для оправдания настоящего сопровождалось все более явным соскальзыванием влево в истолковании самой Французской революции, которую все больше прибирали к рукам специалисты коммунистической и прокоммунистической ориентации; они объявляли самым важным во Французской революции именно то, что, по их мнению, предвосхищало выход этого события за свои исторические пределы, то есть переносили акцент с 1789 на 1793 год, с провозглашения прав человека и Конституции — на борьбу за изменение социального и политического положения трудящихся классов и установление диктатуры “общественного спасения”. Матьес указал в этом отношении путь, но не пошел по нему до конца. Он еще старался удерживать равновесие между универсализмом якобинцев и универсализмом большевиков. По его мнению, Французская революция еще была ограничена своими буржуазными рамками. Она была предвестием освобождения людей, но осуществить это освобождение еще не могла. Его осуществляет Октябрьская революция, поскольку побежденная, наконец, буржуазия уже не может противиться победе народа. Так проявляет себя ход исторического процесса. Продолжая Французскую революцию, осуществляя ее предначертания, русская революция превосходит ее. У якобинцев, таким образом, появляются последователи, а у большевиков — предшественники. Созданный Лениным Советский Союз оказывается во главе человеческого прогресса, на том самом месте, которое с конца XVIII века занимала Франция, родина революции.

Не думаю, чтобы в другие века были примеры, когда в воображении людей отсталая страна превращалась бы столь внезапно в светоч прогресса. В нашем веке, напротив, таких примеров предостаточно. Когда после разоблачений Хрущева померкнет лучезарный образ Советского Союза, его место займет Китай Мао, не говоря уже о Кубе Кастро. Эта смена моделей выражает не только сужение революционной надежды, происходившее на протяжении века. Ее постоянное возрождение наперекор опыту говорит о ее силе и глубине. Лишенное Бога, наше время обожествовало историю как путь к освобождению человека. История стала если и не заменой спасению, то способом примирить человека с самим собой, Октябрьская революция выступила образцовым воплощением этого мифа.

Достаточно посмотреть, как легко миф Октября затмил Февраль и как медленно он отступал под натиском фактов. Первоначально октябрьские события воспринимаются как продолжение линии, начатой свержением царизма. Однако вскоре февральская революция утрачивает значение по сравнению со взятием власти большевиками; зажатая где-то между Николаем II и Лениным, она теряет самостоятельное место в истории. Зато уже после разоблачений Хрущева, в 50-е годы, большевистская революция продолжает сиять в воображении западных левых, вопреки той ненависти, которую она возбуждает у народов, переживших на собственном опыте ее последствия. Оказывается, достаточно отделить Ленина от Сталина, чтобы очистить и возродить миф Октября. Этот прием настолько соблазнителен, что нельзя поручиться, что завтра он не послужит снова посмертной реанимации советской мифологии.

Ибо эта мифология с самого начала сумела опереться на определенный прецедент и тем соединить преимущества абсолютной новизны с привычными, традиционными представлениями. Без ссылок на французский пример Октябрьская революция во многом осталась бы экзотическим феноменом. Конечно, она использовала также настроения бывших участников войны, задумавшихся над причинами перенесенных ими страданий. Ленинское поражение, не встретившее понимания в августе 1914 года, в 1918 стало пользоваться сочувствием многих европейских левых. К тому же партия большевиков рассматривает себя как авангард мировой революции, не больше и не меньше. Ленин и Троцкий в то время не предполагали, что их революция сможет долго продержаться без помощи европейского рабочего класса; их глаза были обращены к Германии. Однако ни заострение вопросов, связанных с недавней войной, ни призыв к мировой революции сами по себе не смогли бы обеспечить большевизму поддержку широких кругов западного общественного мнения.

Россия удалена от Европы. Октябрьская революция эксцентрична вдвойне — географически и хронологически. Она последовала за падением царизма, который был последней абсолютной монархией и воплотил собой этот разрыв. Как было поверить, что на месте символа отсталости возникло событие, предвешавшее будущее Европы и всего человечества? Каутский был первым, кто выступил против подобной идеи, расходившейся с его пониманием истории. Объявлять старую Россию, едва освободившуюся от самодержавия, отечеством мирового пролетариата значит, по его мнению, ставить все с ног на голову.

Однако все меняется, если посмотреть на Октябрь в свете Французской революции: российская история укладывается в европейскую парадигму, и такие понятия, как “революция”, “контр-революция”, “партии”, “диктатура”, “террор”, начинают функционировать как абстрактные знаки в уравнении.

Идея *tabula rasa*, начала с нуля, входит как составляющая часть в идею революции и тоже помогает придать ей универсальность. Она выражает спонтанный “конструктивизм” сознания в демократическую эпоху, тенденцию мыслить социальное как результат волевого построения; происходит отказ от традиции, фиксация на настоящем, нетерпеливое устремление к будущему. Все, что Ленин говорит, хочет и может, переполнено этой страстью. Потому-то его взор прикован к великому событию, Французской революции, положившему начало новой исторической эпохе и владевшей воображением Европы на протяжении всего XIX века.

Неважно, что большевистский вождь провозглашал диктатуру одной партии, ненавидел всеобщее голосование и представительный строй, верил в коммунизм как в научно обоснованное общество будущего; тем более неважно, что он был более народником, чем марксистом, и больше был обязан Чернышевскому, чем Марксу. Так как революция, провозгласившая, что все начинается заново, освободила также и его от зависимости от российского прошлого. Для европейских левых в русской революции 1917 года важно не то, что она русская, а то, что она революция, и такое восприятие придало ей универсальность в гораздо большей степени, чем ее связь с марксизмом.

С одной стороны, Ленин завершил революцию, за несколько месяцев приравнял власть к рукам; с другой — он начал новую революцию против буржуазии во имя торжества большевизма. В этом месте произошел решающий разрыв в развитии событий, скрытый от глаз Олара и Матьеса сравнением с Французской революцией. Для этих двух выдающихся французских историков Ленин не столько создатель небывалого социального режима, сколько самый левый из деятелей демократической революции,

начавшейся восемь или девять месяцев ранее. Он не столько осуществляет некую новую доктрину, сколько сохраняет преемственность по отношению к текущей революции, то есть является ее воплощением.

Отсюда универсальность, общезначимость его образа, подобно тому, как универсальны были Дантон и Робеспьер. Как и они, он воплощает то особое умонастроение, которое существовало во Франции и вновь родилось в России и которое, за неимением лучшего слова, называют *революцией*. Трудно, почти невозможно дать ему точное определение, ибо часто оно не имеет ясной цели и направленности (так было в американской истории), а проявляется, скорее, как неуловимый прилив событий. Французская революция складывается из череды дней и сражений, скрепленной одной единственной идеей — передачи власти народу; этой идеей последовательно завладевали различные деятели и группы, но никому не удалось закрепить ее в устойчиво существующих учреждениях. Так что, наконец, в 1793 году, во время диктатуры монтьяров, было объявлено, что правительство революции является “революционным”. Такая тавтология как нельзя лучше передает природу этого правительства без правил, но более законного, чем если бы оно было избранным. И такой же гипнотической властью обладало большевистское правительство сто лет спустя.

Революция утверждает себя не только как наилучший способ исторических преобразований, как самый короткий путь к будущему, но и как такое социальное состояние и умонастроение, когда юридические абстракции, служащие прикрытием для власти имущих, опровергаются реальной диктатурой народа, стоящего выше закона, ибо он сам закон. Потому-то враги революции так многочисленны и сильны, и она только и делает, что борется с ними. Время законности так и не наступает, а если наступает, то в виде “реакции”, в виде Термидора. Большевики в 1920 году все еще чувствуют себя якобинцами; они утверждают революцию как непрерывный процесс, выступают как носители ее духа против врагов внешних и внутренних. Революционеры 1793 года тоже хотели соблюдать принципы демократического равенства, перейти от политики к социальным преобразованиям, установить такое общество, в котором индивид, ограниченный личными интересами и эгоистическими страстями, уступил бы место возрожденному гражданину, достойному участнику общественного договора. Эти намерения и были их единственным мандатом на власть, но каким мандатом — неоспоримым, самодостаточным, превосходящим любую конституцию! И вот Ленин как бы получил его по наследству, вместе с теми же врагами. Он оказался в позиции революционера *par excellence*, целиком захваченного страстью бесконечного

освобождения людей и готового бороться со всеми, кто грозит этому помешать.

Итак, Ленин утверждал, что коммунистическая революция имеет поистине универсальное значение и что, в отличие от буржуазной, она ведет к действительному освобождению людей. Позднее марксистско-ленинские историки во всем мире будут повторять, что пролетарская революция на деле “осуществила обещания” революции буржуазной. Но в 1920 году для Олара достаточно утверждения, что большевистская революция “похожа” на французскую, а для Матьеса — что Ленин есть современное воплощение Робеспьера. Оба историка не были коммунистами; хотя Матьес и вступил в молодую коммунистическую партию, он быстро из нее вышел, испытывая аллергию на диктаторские замашки III Интернационала. Теперь он полагает, что советская революция не получила завершения так же, как до нее французская. Однако и та, и другая являются величайшими событиями уже потому, что они — революции.

Стало быть, можно любить Октябрь, не будучи коммунистом и даже перестав быть коммунистом. Парадоксальным образом, именно в тот момент, когда Ленин разогнал Учредительное собрание, ликвидировал оппозицию, обругал своих социал-демократических критиков, отказался от политического плюрализма и установил террор, именно в этот момент он утвердился в сознании европейских левых как продолжатель демократических традиций 1793 года. Правда, ранее такой же парадокс произошел с Робеспьером.

Наследие Французской революции было богатым, многообразным, расплывчатым, как и сама демократия, — поэтому у нее могли быть столь разнообразные наследники. Октябрьская революция требует от своих верных последователей большей узости, что составляет ее оригинальность, но также ставит под вопрос ее универсальность. Хотя буржуа могут ее признать, марксисты могут ее оспорить.

Едва утвердившись у власти, большевизм стал выпирать за рамки событий, обусловивших его победу в бывшей царской империи. Вчера еще никому не ведомый, он стал претендовать на всеобщее значение. Если влияние Французской революции было ограничено пределами Европы, то коммунизм, и в этом была его оригинальность, очень быстро эти пределы переступил и на протяжении столетия распространился по всему миру. До 1914 года ленинизм был эзотерическим учением, но очень быстро превратился в систему верований, будивших необычайно сильные эмоции не только у своих адептов, но и у своих противников, захватывая во всем

мире такие страны и народы, куда ни христианство, ни демократия не могли проникнуть.

Столь небывалый исторический успех был в значительной степени обусловлен исключительной конъюнктурой, сложившейся в 1917—1918 годах. Октябрь завершил год, озаглавленный первыми массовыми выступлениями солдат против войны: пробил час восстания народа против роковой бойни; и большевики сумели сделать то, на что не решились деятели Февраля: следуя желанием не столько даже “рабочего класса”, сколько одетых в солдатские шинели крестьян, они объявили войну войне. Так октябрьские события обрели свое историческое значение, опираясь на масштаб событий, которые им предшествовали. Самая отсталая страна Европы показала путь самым цивилизованным европейским странам. Выступив как носитель революционной идеи, неотделимой с 1789 года от демократического идеала, победоносный большевизм обретает дополнительный престиж как борец за мир и братство между народами.

Французская революция тоже обращалась к человечеству и провозглашала всеобщий мир. Но она воевала, и ее армия переступила границы страны во главе с полководцем-завоевателем, самым славным из ее солдат. В XIX веке наследники Французской революции в Европе и Латинской Америке ценили ее национальные лозунги не меньше, чем призывы к свободе. А в 1914 году гром пушек окончательно похоронил свободу ради торжества нации. Большевики предсказывали, что так будет, и не поддались общему настрою. Кроме того, они дали свое объяснение конфликту, назвав в качестве его причин противоречия капитализма, истинного виновника, спрятавшегося за двойной личиной демократии и нации. Их интернационализм выглядел не просто декларацией, сделанной задним числом, но реальной стратегией, увенчавшейся победой. Октябрь сплел воедино революцию и мир.

Пожать плоды такой стратегии удалось не сразу. В феврале 1917 года общественное мнение реагировало примерно так же, как и правительства. Союзники испытали удовлетворение от падения самодержавия и страх перед возможным выходом России из войны. Германия, напротив, была заинтересована в максимальном усилении анархии и внесла свой вклад в поддержку “революционного пораженчества” Ленина. В октябре захват большевиками власти усилил эти опасения и расчеты. Россия вступила в полосу непредсказуемости и вскоре подписала с Германией мир на невероятно тяжелых условиях. Но зато маленькая ленинская секта опередила широкое движение общественного сознания против войны, особенно усилившееся после бунтов во французской армии. Окончание войны усилило у оставшихся в

живых ретроспективное переживание перенесенных страданий и бессмысленности жертв. Радикальная стратегия Ленина, имевшая столь малый успех в августе 1914 года, получила теперь широкое признание благодаря пацифизму, к которому демократические страны склонны гораздо более, чем к воинственному энтузиазму. Поэтому Брестский мир, подписанный в марте 1918 года, очень скоро стал рассматриваться не как измена союзническим обязательствам, а как первое предвестие окончания конфликта. Коммунистическая Россия стала одним из полюсов притяжения для европейского сознания.

Сама же Россия более, чем когда-либо, чувствовала свою связь с европейской историей. Она не мыслила своего будущего без расширения советов рабочих и солдатских депутатов за пределы своих границ, прежде всего в побежденной Германии. Огромное отличие от Французской революции: люди Октября не мыслят своей победы без поддержки со стороны, в первую очередь со стороны самой крупной европейской страны, являющейся к тому же родиной Карла Маркса. Это для них не надежда, не пожелание, а твердая уверенность и единственный шанс на выживание. Пролетарская революция в России обречена, если она не захватит другие страны. Ленин в этот период считал абсурдным строить социализм "в одной отдельно взятой стране".

Державы-победительницы, со своей стороны, способствовали приданию русским событиям транснационального значения: с конца 1918 года они начали оказывать помощь контрреволюционным армиям, сформированным на территории бывшей царской империи. Военная интервенция была слишком неразумной и непоследовательной, чтобы привести к победе, но зато способствовала утверждению идеи биполярности Европы: революция и контрреволюция, как и сто лет назад, столкнулись не в пределах одной страны, а в масштабах Европы. Однако в 1918 году народы ненавидят войну, из которой они едва-едва вырвались; французы, в отличие от своих предков 1792 года, не намерены отправляться ни в какие крестовые походы. Союзническая интервенция в России с самого начала была крайне непопулярна, она считалась позорной и велась исподтишка, в тайне от общественного мнения. Зная мира, под которым совершилась Октябрьская революция, продолжало осенять Красную Армию в ее сражениях против врагов, ополчившихся на нее как внутри страны, так и извне. Иностранная интервенция дала еще одно подтверждение теории Ленина, согласно которой империализм неизбежно ведет к войне.

Итак, первые послевоенные годы, с 1918 по 1921, прошли под знаком большевистского лозунга: от войны к революции. Этот

призыв получил широкий отклик, ибо соответствовал настроением миллионов солдат, уцелевших после войны. В побежденной Германии это проявилось с особенной силой: здесь, как и в николаевской России, *mutatis mutandis*, последствия военного разгрома приводят осенью 1918 года к восстанию матросов и солдат, за которым последовал распад армии и императорского Рейха. Ноябрьская капитуляция погрузила страну в анархию. Кажется, что Германия готова повторить судьбу России и совершить революцию под руководством наиболее экстремистских левосоциалистических элементов и под лозунгом советов рабочих и солдат. Однако события приобрели иное направление, так как радикализация произошла также в противоположном лагере, объединившем руководство генерального штаба и социал-демократической партии. Тем не менее, на первом этапе германская революция подтвердила свою верность российскому образцу. Да и по всей Европе, то там, то здесь, возникали центры мятежа, как в Венгрии под руководством Белы Куна или в Италии в виде заводских советов; даже в победившей Франции произошла активизация крайне левых синдикалистских и политических групп. Протест против минувшей войны, помноженный на опыт российского Октября, дал мощный толчок антикапиталистической революции в разных странах, как побежденных, так и победивших. Осознав, что мировая военная катастрофа не могла бы совершиться без их согласия, народы, словно поняв свою ответственность, заявляли: "Больше никогда!" И Октябрьская революция находила для себя питательную почву в этой смеси надежды и раскаяния. Бесконечная война подготовила умы к революции благодаря возникшей привычке к всеобъемлющему насилию и к подчинению военной дисциплине, но также и благодаря тайным угрызениям совести миллионов солдат, вернувшихся к мирной жизни: они не могли себе простить, что в августе 1914 года поддались коллективному обману.

Последнее в особенности относилось к тем, кто поддерживал социалистов, заявивших на конгрессе Интернационала непосредственно перед августом 1914 года о своей решимости помешать войне с помощью международной солидарности трудящихся. Однако начавшаяся война сопровождалась в каждой стране не всеобщей забастовкой, а, напротив, созданием Священного союза. Эту измену принципам со стороны II Интернационала не могли загладить ни Циммервальдская (1915), ни Кинтальская (1916) конференции. Обе они собрали лишь горсточку активистов, сохранивших верность заветам прошлого, но неспособных сплотить вокруг себя сколько-нибудь значительные силы. И только Октябрь 1917 решительно порвал с практикой национальных "священных

союзов”, соединив пролетарскую революцию с борьбой против войны и преподав социалистическим деятелям урок, с которым тем трудно было не согласиться.

Но в этом уроке была заключена и некая подмена: из того, что царизм не выдержал испытаний войны и рухнул, вовсе не вытекало, будто то, что за этим последовало, представляло из себя “пролетарскую” революцию. Достоверность такому утверждению, помимо слов Ленина, придавала определенная последовательность событий: смена Февраля Октябрем была похожа на переход власти от буржуазии к пролетариату, что подтверждалось разрывом с буржуазными союзниками и заключением сепаратного мира. То, что русская революция в ускоренном темпе прошла “двухэтапную” эволюцию, соответствовало доктринам западных левых. То, что она покончила с войной, отвечало торжественным заявлениям II Интернационала до 1914 года. В обоих случаях происходило обретение утраченной было традиции, возвращавшей силу и убедительность социалистическим идеям. Вопреки своим географическим и историческим странностям, русская революция неожиданно превратила большевиков в ортодоксальных выразителей революционной преемственности.

Таким образом, русская революция была избавлена от необходимости доказывать делом свои лозунги. Достаточно было того, что она произошла именно тогда, когда произошла; это подтверждало правоту старых резолюций II Интернационала. В час, когда в Европе миллионы людей вновь получили возможность свободно располагать собой и своими мыслями, они обратились к русской революции не из-за того, чем она в действительности являлась, а потому, что она восстанавливала разбитую войной связь между их традициями и их воображаемыми представлениями о будущем. Пролетарская революция была необходима, вот она и состоялась; на этом наивном утверждении зиждилась не только победа большевизма над социал-демократией, но и его власть над умами в Европе 1918 года.

С этого времени советский феномен продолжал оказывать мощное гипнотическое воздействие на воображение народов, независимо от своего реального содержания. Уже в силу своего существования и своей длительности, режим, порожденный Октябрем, приобретал мифический статус; его не наблюдают и не изучают — его любят или ненавидят. А уж в злобе, обличениях, яростных нападках на советский режим недостатка не было. Однако в ненависти реакционеров его поклонники видели только подтверждение своей правоты. Марксистско-ленинская идеология заранее исключает дискуссию со своими противниками, и на протяжении многих лет она с успехом выдвигала против них абсурд-

ный аргумент, согласно которому все доводы правых не имеют никакой силы просто потому, что исходят от правых.

Критика со стороны левых также грозит их дискредитировать, стоит ей выйти за узкие рамки, обусловленные резкой поляризацией мнений не только между левыми и правыми, но и между левыми и левыми. Но именно “семейные” распри в лагере левых оказываются гораздо более интересными и содержательными, чем старый, давно известный репертуар споров между революционерами и контрреволюционерами. Европейские левые, сторонники социализма и свободного общества, оказываются в первых рядах противников коммунизма, что и понятно: ведь они борются за свою идентичность и свое выживание. Ведь их дом — “старый дом” Леона Блюма — охвачен пожаром, и им надо ограничить размеры бедствия, проведя разделительную линию между собой и своими братьями-врагами. В отличие от правых, они не могут ограничиться проклятиями и потрясанием лозунгами собственности, порядка и религии. Им надо отстаивать то же самое учение, на котором основывается и Октябрьская революция, а значит — дискутировать, опровергать, аргументировать, отодвигая как можно дальше границы “своей” территории.

Левые, занимающие по отношению к большевизму сдержанную или критическую позицию, оказываются в трудном положении, так как в любой момент могут быть обвинены в том, что перешли на сторону врага: обвинение в измене еще долго будет использоваться для прекращения всякого спора о коммунизме внутри левого движения. Однако таким путем не удастся запугать ни Розу Люксембург, ни Карла Каутского, ни Леона Блюма. Их опыт показывает, что именно лидеры европейского левого движения, которым удастся преодолеть политический и моральный шантаж, способны подвергнуть коммунизм наиболее рациональной критике. Не то чтобы они обладали более широкой информацией, чем другие. Но они знают историю социализма и способны определить в ней генеалогию Ленина, равно как и свою собственную. Эмоциональному тяготению к революции они способны противопоставить тексты и традиции демократического социализма.

Роза Люксембург выступила как первый критик Октября с позиций революционного марксизма. Свои опасения она успела высказать до того, как пала от рук контрреволюционеров. А еще раньше, во времена II Интернационала, она успела зарекомендовать себя своей неукротимой независимостью и сочетанием марксистской теории с неутомимой защитой свободы. Вся ее жизнь, а тем более — смерть, свидетельствует о ее верности революционной идее. Но Октябрь внушил ей ужас. Она страшится этого на-

рождающегося чудовища, которое лишит смысла все ее существование.

Молодая польская еврейка, она выросла в Варшаве. Потом провела несколько лет в Цюрихском университете, изучая историю, политэкономия и штудирова «Капитал». С 1898 года она избирает местом жительства Берлин как центр европейского рабочего движения, где социализм, не столь раздираемый фракционной борьбой, как в ее родной Польше, казалось, был призван сыграть одну из руководящих ролей в истории. Она резко выступает против национальных страстей, видя в них ловушку, расставленную буржуазией рабочему движению, и заявляет о своей преданности не партиям, а революции.

В Берлине она прошла школу политической борьбы, отвергнув «ревизионизм» Бернштейна, чем заслужила уважение Бебеля и Каутского. Будучи одним из самых ярких ораторов и самых серьезных умов немецкой социал-демократии, она выделялась среди окружающих слишком «левацким» темпераментом. Женщина в окружении мужчин, полька на немецкой земле, поклонница свободы внутри большой дисциплинированной организации, она все время выламывалась за рамки немецкого социализма, так что вскоре испортила отношения с «профессором» Каутским, но так и не пыталась создать собственную партию или фракцию.

Уже в 1905 году она поняла, что в царской России происходят события исторического значения: нечто вроде перемещения центра европейского революционного движения с запада на восток. Признав этот факт, она была склонна поддержать Ленина в его борьбе против меньшевиков. Однако не до конца. Она, как и он, готова была пожертвовать для революции всем, но не марксизмом, полученным ею от Маркса и Каутского. В ленинских идеях она очень рано распознала дух сектантства и стремление подменить движение масс диктатурой партии.

Молодая активистка, она не побоялась уже в 1904 году выразить на страницах «Искры» свое несогласие с концепциями Ленина, развитыми в «Шаг вперед, два шага назад», сочтя их слишком авторитарными, слишком централистскими, сближающими большевистского вождя не столько с Марксом, сколько с Бланки. Слишком большая централизация партии рискует отдать пролетариат во власть олигархии интеллектуалов<sup>4</sup>. У Розы Люксембург будут и другие расхождения с Лениным, особенно по национальному вопросу. Но спор по организационным вопросам имел особое значение, и то, о чем пророчески предупреждала уже тогда Роза Люксембург, всплыло пятнадцать лет спустя в момент революции. Брошенная в тюрьму немецким правительством в 1917 году за вступления против войны, она, как могла, следила за событиями в

России по рассказам посетителей и по клочкам газет. Но она знает достаточно, чтобы беспокоиться за судьбу свободы и писать об этом<sup>15</sup>. Выйдя из тюрьмы 10 ноября 1918 года, на протяжении короткого времени, остававшегося до ее убийства в середине января, в разгар немецкой революции, она не разделяла ни одной из большевистских иллюзий относительно этой революции. Она не склонна была считать ее решающим поворотом, способным изменить соотношение сил в Европе в пользу пролетариата, но видела в ней хаос, из которого может выйти все, что угодно, в том числе победа контрреволюции. Она не могла согласиться с преувеличенным оптимизмом большевиков и их склонностью захватывать власть в любых условиях, даже с риском оказаться в изоляции и поставить под удар авангард пролетариата. Она призывала спартаковцев сначала организовать и завоевать рабочий класс, а уже затем приступить к свержению социал-демократического правительства Эберта.

В ее опасениях относительно того поворота, который совершала русская революция, и в ее предостережениях, адресованных немецким товарищам, проявилось неприятие ленинских концепций революции, согласно которым власть надо брать и сохранять любыми средствами, когда исторические условия предоставляют такую возможность пусть совсем маленькому, но хорошо организованному авангарду, уверенному, что он представляет интересы широких масс. В это время, в конце 1918, прошел уже почти год, как большевики разогнали Учредительное собрание, где были в меньшинстве. За этим быстро последовало, на протяжении года, введение цензуры, установление диктатуры одной партии, массовый террор и даже создание концентрационных лагерей. Все это, в глазах Розы Люксембург, свидетельствовало о том, что русская революция приобретает олигархический характер. Ее маленькая книжка, написанная в тюрьме на основании случайной информации, показывает, что настоящая пропасть разделяла ее и Ленина уже несколько месяцев спустя после его прихода к власти. Смерть от руки контрреволюционных боевиков помешала ей выполнить до конца взятую на себя миссию — быть свидетелем и критиком русской революции во имя свободы народа. Она была бы неотразима в этой роли, избавленная своей преданностью свободе и своим прошлым от каких бы то ни было комплексов и сомнений. Однако я склонен думать, что даже ее мощный голос не смог бы победить общее направление мыслей: ведь даже ее смерть, подтвердившая правильность ее анализов и предупреждений, не помешала ее длительному забвению. Со времен Ленина большевизм, одержавший победу, умел заставить молчать своих критиков, особенно мертвых, и тех, кто вместе с ним участвовал в сражениях.

Второй пример — Каутский. После героини — профессор, “папа” II Интернационала, друг Энгельса и наследник его учения, самый знаменитый теоретик марксизма накануне войны. Главный защитник ортодоксии против “ревизионизма” Бернштейна, он несколько позже выступил против ультрареволюционной фракции II Интернационала. Против первого он защищал необходимость революции, отрицая, будто Маркс когда-либо допускал возможность того, что капитализм рухнет сам собой<sup>16</sup>. У вторых — и прежде всего у Розы Люксембург — он критиковал волюнтаристские иллюзии, будто с помощью массовых стачек, наподобие тех, что имели место в России в 1905 году, можно добиться революционного перехода власти к пролетарскому государству<sup>17</sup>. В годы, предшествовавшие мировой войне, он все больше настаивал на учете объективных факторов социальной жизни вообще и революций в особенности. Пролетариат свергнет буржуазию, таков неумолимый ход истории; но такой переход должен быть тщательно подготовлен, ему должна предшествовать организация пролетариата в политические партии и завоевание власти демократическим путем, так что власть должна упасть сама, как созревший плод, в руки партии, или партий, рабочего класса. Пролетарская революция, согласно Каутскому, будет иметь мало общего с грандиозным взрывом, каким была в конце XVIII века Французская революция, когда ход событий разносил в щепы замыслы организаторов и приводил к беспорядочным и свирепым насилиям. Самое большее, к чему может привести такая революция, — в России 1905 года, например, — это как раз установление буржуазного демократического строя вместо свергнутого деспотизма. Пролетарская же революция, напротив, обязана своей силой ясному пониманию законов истории, и предпосылки для нее, по мнению Каутского, существуют только в Западной Европе, прежде всего в Германии.

Но вот наступает Октябрь 1917 года. Революция приходит оттуда, откуда Каутский ее совсем не ожидал, одетая в новые одежды ленинской теории “империализма”. Вызванная к жизни мировым конфликтом, она явилась не в цивилизованном облике Запада, а как порождение одичавшей Европы, небывалой бойни и противоречий позднего капитализма. Вместо того, чтобы родиться, как предполагал Каутский в 1909 году<sup>18</sup>, в наиболее демократических странах с самым многочисленным и организованным пролетариатом, она разразилась в России, самой отсталой европейской стране, разорвав систему империализма в самом слабом звене. Однако Каутский в 1918 году не верит в мировую революцию хотя бы потому, что, живя в Германии, имеет возможность оценить силу ее буржуазии и ее армии; что же тогда говорить о Франции и Анг-

лии! В принятии народами мировой бойни он увидел откат социалистического движения и не надеялся, что по ходу войны это поражение может превратиться в победу. Для него, как и для меньшевиков, Октябрь 1917 — это осуществление задач революции 1905 года и завершение Февраля: так долго ожидавшийся демократический переворот в деспотической стране. Он не может поверить, что маленькая партия большевиков, самая радикальная во II Интернационале, способна стать во главе такого переворота и изменить его характер.

Каутский пишет два больших очерка, посвященных русской революции: “Диктатура пролетариата” в августе 1918 и “Терроризм и коммунизм”<sup>19</sup> в следующем году. Главные его усилия направлены, как всегда, на то, чтобы сделать Маркса своим союзником: как и Плеханов, он никогда не упускает возможности сослаться на основополагающие тексты. В данном случае речь идет об обрывке фразы в марксовской “Критике Готской программы”<sup>20</sup>, обрывке достаточно неясном, чтобы породить противоречивые толкования. Каутский понимает эту фразу как определение очень широкой социальной гегемонии пролетариата во время переходного периода от капитализма к социализму, а вовсе не как рекомендацию к установлению диктаторского правления, основанного на политической монополии одной партии. Однако в России Ленин ввел именно такое правление, прикрыв его прозрачной маской советской власти: большевики разогнали Учредительное собрание, запретили партии меньшевиков и эсеров и с середины 1918 года установили царство террора. Чем больше они отрываются от широких масс населения, чем больше третируют в качестве врагов своих бывших союзников, чем в большей изоляции оказываются, тем больше они склоняются к террористической диктатуре: последствия этой адской диалектики рискуют стать еще более тяжелыми, когда крестьяне, убедившись, что им обеспечена частная собственность на землю, неизбежно перейдут в оппозицию к социализму.

В известном смысле, Каутский повторяет критику своей старой противницы слева Розы Люксембург: как и она, он отвергает претензии большевиков на то, чтобы представлять весь рабочий класс. Но она, по крайней мере, разделяла идею Ленина о пролетарской революции, разворачивающейся в России. Каутский так не думает. То, что происходит в России, он считает не первой пролетарской революцией, а последней буржуазной. Попытка Ленина и Троцкого заставить страну перепрыгнуть через целую историческую эпоху может привести только к деспотизму одной партии, поставившей себя над народом; а закончится все это, как и во времена якобинской диктатуры 1793 года, полным крахом.

В этом отношении критика большевиков Каутским сближается с тем, что писал о якобинском терроре Бенжамен Констан в конце XVIII века<sup>21</sup>. В период Директории молодой швейцарский писатель предложил свое объяснение тому, каким образом в самой цивилизованной европейской стране могла появиться гильотина: в то время как смысл Французской революции состоял в том, чтобы установить представительный строй, соответствующий современному индивиду, Робеспьер и его друзья верили, что создают прямую демократию античного типа, основанную на гражданских добродетелях. Из такого анахронизма и вытекало их ожесточенное стремление переломить ход истории, приведшее в конце концов к террору. Ленин, по Каутскому, устремлен не в прошлое, а в будущее, но с такой же одержимостью, которая не позволяет ему увидеть реальные результаты своей деятельности. Он совершает прыжок не назад, а вперед, что еще хуже, так как отрицательные последствия оказываются более длительными: от иллюзий возврата к прошлому избавиться легче, чем от уверенности, что путь к будущему предначертан законами истории. И в основе якобинского террора, и в основе террора большевистского лежит заблуждение воли, но второе заблуждение опаснее, так как в большей степени независимо от опыта и по определению побуждает людей к “бегству вперед”.

И анализ Каутского, и анализ Констана предполагают определенное представление об этапах истории, без которого понятие анахронизма лишилось бы опоры. Если история имеет смысл и подчиняется неким законам, то революция, нарушающая ход истории и, тем более, противостоящая ему, становится логически невыносимой. Логика такого рассуждения равно близка и организатору Октябрьской революции, и ее критику, поскольку оба являются марксистами. Каутскому остается утверждать, что Ленин забегает вперед и стремится обогнать руководимую им революцию, а Ленину — что Каутский отстает от события, которое берется судить. Категории “буржуазной революции” и “пролетарской революции” оказались центральными для марксистской теории после Маркса. Но никогда они не выглядели столь неопределенно, как в этой полемике между Каутским и Лениным, где каждый обвинял другого в незнании предмета, о котором идет спор. Октябрьская революция — событие столь невероятное и двусмысленное, что оно разрушает все канонические основы теории. Каутский утверждает, что Ленин в своем оголтелом волюнтаризме, как некогда Робеспьер, сам не знает, какую историю творит. Но главное и самое горькое открытие, которое вынужден сделать главный профессор марксизма II Интернационала, состоит в том, что революции происходят не там, где должны, а там, где могут, и что ни их смысл, ни их развитие нельзя определить заранее.

В этом смысле Ленин был прав, когда в своем резком ответе<sup>22</sup> обвинял Кэутского в том, что он, как “мелкобуржуазный филистер” (высшее оскорбление в устах марксиста), прячется в кусты перед революционной ситуацией, которую сам же II Интернационал предсказывал и готовил. Каутский, пишет Ленин, возводит в теорию собственную трусость как раз в то время, когда в Германии происходят восстания матросов и солдат и революция, таким образом, приобретает мировой размах. Интересно, что и Ленин, в свою очередь, возводит в теорию собственное нетерпение и что одна и та же философия политического действия служит обоим оппонентам. Ленин разлагольствует о демократии Советов, в тысячу раз более демократической, по его словам, чем самая демократическая из буржуазных конституций, как раз в то время, в конце 1918 года, когда эта демократия уже удушена. Каутский продолжает ссылаться на идею революции, отвергая совершающуюся на его глазах революцию, потому что она не такая, какой должна быть. Противоречие, заключенное в самой сердцевине марксизма, обнажается в этом споре между двумя главными марксистами своего времени: один защищает революционный субъективизм, другой — законы истории.

Со временем окажется, что суждение Каутского о советском опыте было менее абсурдным и иллюзорным, чем суждение Ленина; причем Каутский на протяжении лет не уставал укреплять и оттачивать свою аргументацию, ни на йоту не отступая от первоначального диагноза. Но одновременно выясняется, что он совершенно слеп по отношению к страстям, обуревавшим его современников. Он ничего не говорит ни о войне, в развязывании которой II Интернационал сыграл свою роль, ни о ее влиянии на положение в мире. О величайшем событии, перевернувшем Европу, уничтожившем и вырвавшем с корнем миллионы человеческих судеб, он рассуждает так же абстрактно, как и в предвоенные годы, когда он утверждал, что начало войны приведет к всеобщей забастовке трудящихся. Он не чувствует, не знает коллективных страстей, которые сначала побудили народы подняться с оружием друг на друга, а затем обратить его против войны во имя революции, как не слышит и раздающегося отовсюду вопроса: ради чего были эти бесчисленные смерти? Его позиция воочию показывает, в каком тупике находились после войны и европейский социализм, и II Интернационал, и в особенности немецкая социал-демократия. В августе 1914 года они приняли войну вопреки собственным теориям и обещаниям, а затем так и не осмелились ни солидаризироваться с ней, как националисты, ни проклясть ее, как большевики. Таким образом, немецкая социал-демократия, чуждая как идее нации, так и идее революции, оказалась в поло-

жении политической невесомости, вынужденная служить тому или другому из своих противников. Ей нечего сказать выжившим после войны, не с чем обратиться к нации, которая столько пережила и столько потеряла.

У социал-демократии для подтверждения своей исторической идентичности только и остается, что ее марксистское учение, часто весьма неплохого качества, но обесцененное провалом в августе 1914 года. Рядом с этим угасшим светилем появляется новая звезда — ленинизм, выступающий как возрожденный марксизм, сильный своей победой, одержанной в “реальной” истории. Старое учение, отстающее под натиском нового, оказывается, скорее, гирей, чем стимулом для европейского социализма. Родство с молодым победителем все время ставит его перед угрозой шантажа единством рабочего движения и делает для него участие в демократических правительственных коалициях гораздо более трудным, чем для “буржуазных” партий. Социал-демократический марксизм недолго протянул бы после своего крушения в августе 1914 года, если бы, перед лицом большевистского вызова, не провозглашал без конца свою верность первоисточкам.

Мой третий пример я возьму из французской политической жизни, где разгорелся спор совсем иного характера, сопровождавший присоединение большинства социалистов к Октябрьской революции и принятие ее “условий”. Французский социализм никогда не имел марксистских теоретиков, чей авторитет мог бы хоть отдаленно сравниться с авторитетом Каутского во II Интернационале. И социально, и по своему учению французский социализм был более однородным, чем немецкий, менее пролетарским и марксистским, более мелкобуржуазным, с оттенком якобинского республиканизма. В идейной и политической борьбе, которая шла между Гедом и Жоресом до 1914 года, ни тот, ни другой не смогли одержать решающую победу. Наряду с социализмом, существовало независимое рабочее движение, революционный синдикализм с оттенком анархизма, ревниво отстаивавший свою самостоятельность; именно отсюда в 1915 году прозвучали самые первые, или, во всяком случае, самые смелые выступления против войны. Поддержав вступление Франции в войну, социалисты остались верны сделанному выбору вплоть до 1917 года, когда социальный и военный кризис заставил их в своем большинстве перейти на позиции вильсонизма в пику Клемансо с его националистическим лозунгом войны до победного конца. Но и в это время французский социализм без особого удовольствия следил за событиями в России, опасаясь, что они ослабят позиции союзников (что в конце концов и произошло в результате Брестского мира).

Все это объясняет, почему вожди Октября недолюбливали французское социалистическое движение. К тому же Франция, великая держава-победительница, была в их глазах главным оплотом империализма. Победа позволила ее пролетариату удержаться от соблазнов революционного пораженчества, который захватил, правда, лишь в последний момент, немецкий пролетариат; по мнению большевиков, французские рабочие, наряду с английскими, в наибольшей мере развращены империализмом. Политиканы, претендующие на то, чтобы защищать интересы рабочих, на самом деле очарованы прелестями буржуазного парламентаризма. Слабость, проявленная французскими социалистами в борьбе против войны, позволила большевикам выступить с обвинениями против социалистического движения в целом. Дебаты между русскими и французами по поводу принципов III Интернационала, основанного в Москве в 1919 году, показывают, насколько далеки были их исходные позиции.

Непосредственно после окончания войны Ленин может рассчитывать во французском социалистическом движении лишь на маленькую кучку активистов, связанных в основном с революционным синдикализмом. Он пользуется симпатией со стороны ВКТ (Всеобщей конфедерации труда), но она ослабевает по мере того как выясняется подчиненная роль, которую большевики отводят профсоюзам. Однако немногим более двух лет спустя социалистический конгресс в Туре подавляющим большинством голосует за вступление в III Интернационал и за принятие “условий”<sup>23</sup>, идущих вразрез со всеми традициями французского социализма. Какие бы расчеты и задние мысли ни определяли исход этого голосования, оно явилось свидетельством огромного влияния ленинской революции даже в партии, которая казалась менее всего к этому расположенной.

Я не буду углубляться в сложные интриги, в которых были задействованы многочисленные посредники между Москвой и Парижем. Об этом подробно рассказала в своей книге Анни Кригель<sup>24</sup>. Моя задача более ограничена и одновременно более обширна: понять, какое движение общественного сознания подвигло французских активистов к принятию тезисов Москвы.

Главную роль здесь играла общая для всех европейских левых идея о неизбежном конце капитализма, обреченного рухнуть под тяжестью последствий войны, вызванной его противоречиями. В предисловии к брошюре Бориса Суварина капитан Жак Садуль<sup>25</sup>, оставшийся в Москве, чтобы отсюда учить уму-разуму своих соотечественников, задавал тон сторонникам III Интернационала: “...Капиталистическое общество осуждено бесповоротно. Война и ее последствия, неспособность капитализма решить соб-

ственными средствами новые проблемы, — все это открыло путь для победоносного шествия III Интернационала...”<sup>26</sup> Следует ссылаться на “великих предшественников” Французской революции, чей огонь необходимо возжечь заново, — ссылка, ставшая общим местом всей пропагандистской литературы, которую даже сам старик Сорель благословил немного ранее. В четвертом издании своих знаменитых “Размышлений о насилии” (сентябрь 1919) он, никогда не принадлежавший к числу безоговорочных поклонников Французской революции, произнес похвалу Ленину. В одном из примечаний читаем: “Политиканы, утверждающие вслед за Клемансо, что Французская революция — это *единое целое*, вряд ли имеют право строго судить *большевиков*; *единое целое*, которым восхищается Клемансо, погубило едва ли не вдвое больше людей, чем *большевики*, обличаемые друзьями Клемансо как ужасные варвары”<sup>27</sup>.

Мы узнаем Ленина-Робеспьера, который уже встречался нам под пером Матьеса. Но у Сореля и Суварина Ленин выполняет более универсальную задачу, чем Робеспьер, ибо борется за свержение капитализма и буржуазии. К тому же вооруженная интервенция союзников делает его действия вдвойне необходимыми: победив войну один раз, Октябрьская революция теперь вынуждена побеждать ее вторично. Ленин не только идет по стопам Робеспьера, он еще и борется за мир, и французский социализм, терзаемый угрызениями совести за август 1914, не может его не поддержать, особенно теперь, в гораздо менее сложных для себя политических обстоятельствах.

Французских социалистов, как и все европейские народы, продолжал мучить вопрос: какой смысл имела война 1914 года? И хотя Франция была страной-победительницей, она продолжала спрашивать себя: насколько оправданным было “священное единство” нации? Октябрь 1917 года вновь подтвердил, что классовая борьба и революции существуют, и французские левые социалисты должны были принять это во внимание, особенно в условиях, когда правые силы присвоили себе все политические плоды победы. Решая вопрос о присоединении к III Интернационалу, французские социалисты думали не столько о природе режима, установившегося в России, сколько о своем собственном политическом прошлом, за которое их обличал Ленин. Сила большевизма была не в том, чем он реально являлся, а в том, что он демонстрировал своей победой, чем мог бы стать европейский социализм, если бы в 1914 году он не изменил своим принципам. Тогда и история могла повернуться по-иному, и не произошла бы катастрофа, которую пережили все, в том числе и народы-победители. Какими бы заго-

ворщиками и бланкистами ни выглядели люди, совершившие октябрьский переворот, они имеют право торжествовать победу и заявлять о своей верности принятым обязательствам. Они становятся воплощением верности тем целям, которые были преданы социалистами в августе 1914.

По этой причине все делегации, посылавшиеся в Россию с ознакомительными целями французскими левыми социалистами в 1920 году, больше демонстрировали свою солидарность с большевиками, чем пытались что-либо узнать. Главная делегация, в которую входили Кашен и Фроссар, имела целью подписать, при участии руководства Интернационала, соглашение между левой частью партии (Комитетом за вступление в III Интернационал) и ее центром (большинством сторонников “реконструкции” II Интернационала). Основным предметом обсуждения были состоявшие из 21 пункта “условия”: речь шла о принятии или отклонении большевистских принципов стратегии и организации международного рабочего движения. Присоединение к позициям Суварина таких старых политиканов, какими уже тогда были Кашен и Фроссар, объяснялось не их поездкой, а, наоборот, поездка мотивировалась уже принятым решением. О реальном положении дел в новой России они знали не больше рядовых членов партии, но, видя общий всплеск энтузиазма по отношению к ней, поняли что именно с ее помощью можно будет замолить старые грехи и возродить надежды.

Именно такое умонастроение стремился переломить Леон Блюм в своей знаменитой речи на Турском конгрессе. Он стремился отделить конкретный революционный опыт большевистской России от ее претензии на мировое значение. Вслед за меньшевиками и Каутским он утверждает, что революция, совершившаяся в царской империи, унаследовала ряд черт от ниспровергнутого ею строя. Поскольку в России не было развитого капитализма и настоящего буржуазного общества, взятие власти от имени пролетариата приобрело характер путча, совершенного маленькой, по-военному организованной партией профессиональных революционеров. Отсюда риск того, что установленная таким образом диктатура пролетариата превратится в диктатуру над народом, произвольно осуществляемую незначительным меньшинством. Отмечая опасность такого эксперимента, Леон Блюм не пытается противопоставить ему легалистский, электоральный или реформистский путь “буржуазной демократии”. Напротив, он защищает социалистическую традицию от брошенного ей Лениным обвинения в отказе от революции ради ревизионистского реформизма. Он знает, что, критикуя революцию, взявшую власть в Москве, он должен тем более энергично защищать священный

принцип революции, понимая под ней насильственный захват власти, установление “правительства рабочих” и ликвидацию господства буржуазии. Он заявляет, что более чем когда-либо остается сторонником “диктатуры пролетариата”, являющимся вторым основополагающим принципом, зафиксированным в резолюциях II Интернационала. Но в отличие от большевиков, делающих упор на первом слове в противовес ностальгии по буржуазному плюрализму, Блюм переносит акцент на второе слово, трактуя “диктатуру пролетариата” в духе Жореса — как результат длительного социального и просветительного процесса, когда пролетарская революция приводит к власти всю сознательную часть народа, у которой практически нет врагов, которых надо было бы подавлять. Таким образом, он стремится вернуть признанной формуле ее моральное значение, скомпрометированное авантюрой Ленина, использовавшего и возведшего в теорию случайное стечение обстоятельств.

Однако слабость его позиции состоит в том, что, признавая пролетарскую революцию и тем самым возобновляя революционную традицию, он ничего не говорит об августе 1914, когда эта традиция была сломана, ничего не говорит о войне, память о которой все еще господствует над умами. Сила сторонников III Интернационала в том, что, бросая II Интернационалу обвинение в измене принципам, они могут опереться на массовый опыт траншейного ада и на пример большевиков, нашедших выход из войны. По сравнению с этим какое значение имели теоретические дискуссии и семантические тонкости? Если подавляющее большинство делегатов Турского конгресса высказалось в поддержку тезисов коммунистов, хотя и не отдавая себе полностью отчета в значении сделанного шага, то поступили они так под воздействием огромного общественного потрясения, вызванного войной. Это был их способ заявить: “Больше никогда!”

Все же нельзя недооценивать и то длительное символическое воздействие, которое могут оказывать на рабочее движение теоретические дискуссии по поводу истолкования марксистских догм. Сила большевистского влияния была связана прежде всего с исключительным стечением обстоятельств, но также и с его умением укорениться в европейском общественном сознании, используя определенный словарь и определенную традицию. Леон Блюм с помощью своей педантичной ортодоксии начал длительные оборонительные бои с большевиками за общее наследие. Те социалисты, которые не согласились на условия III Интернационала, позаботились хотя бы частично закрепить за собой марксистскую традицию.

Чтобы загладить свое предательство в начале войны, социалисты с тем большим упорством цепляются за идею революции. От-

вергая большевистскую революцию как отклонение от правильного пути, они вместе с тем выступают за свержение буржуазии, которое порицаемая ими революция все-таки совершила. Так их частичная верность марксизму, сохраняемая из расчета или по убеждению, делает их уязвимыми для все усиливающихся нападков коммунистов. Такова обычная ситуация, в которую попадают левые перед лицом крайне левых. Однако в случае социалистов их упорные ссылки на Маркса содержат два дополнительных неудобства. Они мешают понять советский режим, совершенно невысказанный в категориях Маркса. А постоянное клятвоу в верности революции изолируют их от партий центра, не давая в то же время простора слева, где прочно обосновались коммунисты. Даже там, где социалистические партии сумели устоять перед большевистским гипнозом, им пришлось дорого заплатить за свою самостоятельность переходом на узко оборонительные позиции или негласным союзом с буржуазными партиями. Часто их члены, причем самые молодые и активные, страдают комплексом неполноценности перед лицом своих «собратьев-врагов»: зная о той угрозе, которую большевики несут свободе, они не могут не восхищаться их организованностью и духом самопожертвования.

Итак, Октябрьская революция сразу, в первые же послевоенные годы, приобрела универсальный статус. Она вписалась в линию преемственности по отношению к Французской революции как событие такого же порядка, открывающее новую эпоху в истории человечества. Можно без конца цитировать приветствия, адресованные Октябрьской революции в момент ее рождения. Ее восхваляют как перелом в истории, покончивший с капитализмом и войной, при этом опираются не на реальные факты, а на то, что говорят о себе сами большевики. Современный читатель останавливается в растерянности перед этой грудой безапелляционных заявлений, лишенных достоверного обоснования. Объяснение этому есть, и очень простое: Россия Ленина была символом, вокруг которого происходила кристаллизация не только идей, но, главное, — страстей. Она олицетворяла всеобщий ход истории. Все попытки социал-демократических теоретиков оспорить ее значение успеха не имели. Они занимали оборонительные позиции, защищали свой марксизм, но воображением людей владели те, кто одержал победу в Октябре.

Однако уже в эту эпоху русская революция была не только символом, но и историей. Можно даже сказать, что в известном смысле — только в известном смысле, конечно, — ее история закончилась зимой 1920/21 года. Интервенция прекратилась, контрнаступление

большевиков выдохлось под Варшавой в августе 1920 года, военный коммунизм разорил экономику и привел к голоду, всемогущая партия осталась в изоляции и правила уже только с помощью террора и полиции. В марте 1921 года восстание моряков в Кронштадте под лозунгами, направленными против большевиков в защиту революции (“Вся власть Советам, а не партиям”), было потоплено в крови. В том же марте Ленин положил конец военному коммунизму и провозгласил нэп, чтобы дать немного вздохнуть производству, задуренному контролем и реквизициями. Таким образом русская революция вступает в свой экономический “термидор”, одновременно официально провозглашая и усиливая аппарат диктатуры, являющийся ее единственным орудием господства над страной. Террор уже не имеет оправдания в виде гражданской войны или иностранной интервенции и становится каждодневной принадлежностью режима. Опять-таки в марте 1921 года, на X съезде Ленин разгромил “рабочую оппозицию”, протестовавшую против отождествления рабочего класса с партией, и одновременно провел резолюцию, запретившую фракции внутри партии<sup>28</sup>. Худшие предсказания Розы Люксембург осуществились. Октябрьская революция закончилась, так как рабочие и крестьяне “разошлись по домам”<sup>29</sup>, подчинившись абсолютной власти олигархии. Но с другой точки зрения, революция не закончилась, так как правящая олигархия продолжает провозглашать себя хранительницей духа Октября, видя в этом единственный способ идеологического самоутверждения и сохранения власти.

Западные интеллектуалы могли бы иметь в общих чертах представление об эволюции положения в России, несмотря на дымовую завесу, созданную Коминтерном. Это доказывает пример Бертрана Рассела, который уже в конце 1920 года опубликовал одну из лучших книг о большевизме<sup>30</sup>. Логик из Кембриджа, один из самых знаменитых умов Европы, также обратился к социальным вопросам. Оставаясь независимым, он примыкал к обширной и философски эклектической семье английских социалистов, чуждых марксизму и склонных доверять практическому разуму. Он был в ужасе от войны и заявил об этом во всеуслышание, за что подвергся тюремному заключению. Он опасался, что “разочарование и отчаяние”, оставленное ею в наследство живущим, подвигнет их к созданию новой религии, каковой, по его мнению, и оказался большевизм. Поэтому он решил поехать в Россию и убедиться во всем самостоятельно. Он пробыл там с 11 мая по 16 июня 1920 года, одновременно с делегацией английских лейбористов, но независимо от нее. Он посетил Петроград, Москву и ненадолго сельское Поволжье. Он беседовал с Каменевым, был в течение часа принят Лениным, встретился также с представителями остатков левых

партий, меньшевиками и эсерами. Короче, он добросовестно изучал ситуацию, в противоположность тому, что делала в это же время делегация Кашена — Фроссара.

Дни капитализма сочтены, в этом Рассел не сомневается. Однако пребывание в России убедило его в том, что путь, избранный большевиками, ошибочен. Он делает скидку на особые условия, в которых происходит русская революция: наследие прошлого, отставание от Запада, военная интервенция... За вычетом сказанного, он не видит в русском революционном опыте ничего нового. В области экономики обмен между городом и деревней почти разрушен, снабжение городов производится с трудом, крестьяне несчастны и запуганы, рабочие пассивны. Повседневная жизнь России в эти годы выглядит в описании Рассела как нельзя более мрачно. Его политический приговор еще более суров. Английский исследователь не дает себя обмануть советским мифом о прямой демократии трудящихся. За вывеской Советов он видит диктатуру партии; народная революция, отхлынув, уступила место всемогущему бюрократическому аппарату. Его изоляцию и непопулярность Рассел увидел за год до Кронштадского восстания. Он отмечает, что большевизм приветствуется больше за границей, чем в собственной стране. В России его ненавидят как тиранию, а за ее пределами приветствуют как надежду на освобождение. Потерпев поражение в плане реальном, большевистский режим торжествует в плане религиозных верований.

Маленькая книжка Рассела не полемична, но фактологична. Она состоит из реальных рассказов и жизненных подробностей и проникнута тем высшим здравым смыслом, который составляет очарование английских интеллектуалов. Автор не превратился в ожесточенного врага большевизма и по-прежнему уверен, что движение истории идет к концу капитализма. Он возражает прежде всего против претензии большевизма на универсальность, против его мессианства, которое грозит завести в тупик европейских трудящихся; это примитивное социалистическое учение ничему не может научить Запад. Большевизм предлагает иллюзорный выход, выступая в качестве религии для потерявших ориентиры людей послевоенного времени. Не будучи марксистом, Рассел, в отличие от Каутского или Блума, не испытывает необходимости защищать какой-то другой вариант диктатуры пролетариата и открывать перед веком какие-то другие революционные перспективы. Исторический опыт сам об этом позаботится. Насушная задача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы, с одной стороны, проанализировать русскую неудачу во избежание повторения ошибок другими народами, а с другой — бороться против распространения большевистского мессианизма, которому благоприятствует дух времени.

Рассел, которому под конец жизни будет гораздо труднее устоять перед соблазнами единого фронта с коммунизмом<sup>11</sup>, вполне успешно противился его гипнозу после первой мировой войны. На русский феномен он смотрел бесстрастно, глазами ученого, что было для того времени совершенно нетипично. Большинство западных прогрессистов, напротив, переносили на советскую Россию свою потребность в вере и свои сожаления о прошлом. Едва родившись на свет, русская революция оказалась окруженной толпой преданных поклонников. Сумеет ли она на протяжении грядущих лет отвечать этим ожиданиям, поддерживать это поклонение? Как вера ее сторонников переживет ход времени?

# *Глава четвертая*

## Верующие и разочарованные

За Французской революцией тоже тянулся длинный шлейф поклонников и подражателей, зачарованных перспективой строительства нового мира. Однако их энтузиазм несколько отличался от энтузиазма сторонников Октября.

Историческая ситуация в обеих странах различалась очень сильно. Франция конца XVIII века была самой “цивилизованной” страной Европы, наиболее культурные люди привыкли обращать к ней свои взоры, говорить на ее языке; революция не создала эти привычки, она их продолжила. Россия 1917 года, несмотря на прогресс, осуществленный ею в начале века, стояла в начале пути, который принято называть “европейской цивилизацией”. Даже “старый режим”, свергнутый революцией, возник сравнительно недавно — с освобождением крепостных, осуществленным царем Александром II только в 1861 году<sup>1</sup>. Тем не менее, Октябрьская революция претендует на то, чтобы указывать дорогу человечеству. Такая претензия сама по себе не новость в русской истории: раньше она называлась славянофильским мессианством. У Ленина она превратилась в идею мирового значения русской революции, продолжающую историю Запада и открывающую в ней новую страницу. Немецкие рабочие, привыкшие снисходительно взирать на крестьянскую и деспотическую Россию, теперь выходят на демонстрации под лозунгом “Советы повсюду!”. Прежняя Россия как бы исчезает, ее замещает ленинская Россия, обладающая достоинством универсальности по французскому примеру. Однако советы не получают распространения в других странах, приходит время выдвинуть лозунг “построения социализма в одной стране”; универсализм российского опыта вновь оказывается поставленным

под вопрос, так что большевики должны вновь и вновь напоминать о своих революционных истоках.

Французская революция, распространившая в XIX веке свое влияние на всю Европу, была историческим событием, имевшим начало и конец. Одна из особенностей русской революции в XX веке заключается в том, что она имеет начало, но не имеет конца и продолжается вечно. Менее чем кто-либо я склонен утверждать, что точка, в которой “кончается” Французская революция, может быть легко определена: неясность на этот счет сохраняется во французской внутренней политике как минимум до Третьей Республики. Но извне, со стороны Европы, конец события, начавшегося в 1789 году, обозначается падением Наполеона, когда монархи-победители и принцы-эмигранты восстановили в стране пост- и антиреволюционный социальный порядок. От революции осталось то, что в то время называлось “идеями”, и использовалось каждым народом по-своему: индивидуальная независимость, равенство перед законом, представительное правительство, право народов, демократическая диктатура, социализм.

Все эти идеи получали различные толкования, иногда несовместимые между собой. Но ни одно не оказалось связанным с магией имени, даже бонапартизм, поскольку он, по понятным причинам, существовал только во Франции. Французская революция вышла из-под воли тех, кто в разное время претендовал на руководство ею. Противоречивость и богатство этого события столь велики, что оно не поддается исключительно присвоению одним человеком или одной партией, оставаясь неисчерпаемым источником для любопытства, оптимизма или беспокойства потомков.

Октябрьская революция имеет совершенно иной характер и иную судьбу. Те, кто захватил власть во имя коммунизма, сохраняют и передают ее во имя коммунизма. Мирабо и Робеспьер в 1787 году не знали, что совершат революцию. Ленин с самого начала был одержим революционной идеей, которую он считал научной, вокруг которой сформировал партию и во имя которой захватил власть. Октябрь 1917 года не был, как события мая-июня 1789 года во Франции, свободолюбивым порывом общества, но захватом государственной власти партией, которая не делает тайны из своих намерений и тут же разгоняет Учредительное собрание.

Выше я написал, что русская революция закончилась зимой 1920—1921 года с прекращением интервенции, Кронштадским мятежом, X съездом и введением нэпа. При этом под “революцией” я подразумеваю более или менее героический период создания режима, сопровождаемый радикальными идеями (“военный коммунизм”), мобилизацией (более или менее добровольной) рабочего класса, призывами к раздуванию мирового пожара. В этом смыс-

ле, X съезд и нэп — это смена поэзии прозой. Но с другой точки зрения, советская революция продолжается, поскольку Ленин осуществил лишь тактическое отступление, не отказавшись ни от конечной цели, ни от диктатуры партии, присвоив к ней запрет на фракционную деятельность. Установленный им режим не допускает самодеятельности народа, не допускает свободы выбора. Этот режим не санкционирован народом, и проводимая им политика может меняться, но при одном неперемennom условии: решение должно приниматься все той же партией и все теми же людьми. Поэтому Октябрьская революция продолжается, — ведь власть остается в руках тех, кто ее совершил.

Становится ясной лживость утверждения, будто революционный террор является вынужденным ответом на контрреволюционное насилие, — утверждения, которым широко пользовались защитники и воспеватели французской гильотины. В 1921 году иностранная интервенция закончилась, старые враги большевиков изгнаны за границу, Кронштадский мятеж потоплен в крови, крестьянам предоставлена возможность производить и продавать произведенный продукт. Но именно в тот момент, когда, по-видимому, отпала нужда в диктатуре страха, X съезд утверждает ее с новой силой.

Участникам Французской революции стоило огромных усилий разобраться с идеей политического представительства, одной из самых трудных для современной демократии. Одно время они даже заигрывали с эссенциалистской концепцией такого представительства, выстраивая многоступенчатую пирамиду: Народ, Конвент, Комитет общественного спасения, Неподкупный. Но все же такая концепция никогда не приобретала характер доктрины. Во всяком случае, она исчезла 9 термидора, когда была возвращена идея демократической избираемой на время власти. Напротив, большевики, когда они вспоминают о термидоре в связи с нэпом, имеют в виду только экономические перемены. Невольники своей собственной философии истории, они рассуждают так, как будто только экономика имеет значение. Но их интересы идут вразрез с их же теориями. Власть находится в их руках, они ее сохраняют. Таким образом, они вписывают новую, небывалую главу в теорию революционных режимов.

Они считают, что им и только им надлежит распоряжаться судьбой и значением Октябрьской революцией через посредство партии и под водительством Ленина. Законность их власти определяется не выбором народа, а знанием законов истории, постоянно обогащаемом их “практикой”; отсюда уникальность этой власти, ее исключительность, оправдание ее монополии. Отсюда же бесконечные тавтологии ее пропаганды, противостоящей “бур-

жуазной” демократии: рабочий класс — освободитель народа, партия — авангард рабочего класса, Ленин — глава партии. Идея научного познания законов истории обосновывает необратимость Октябрьской революции и необходимость политической олигархии, охраняющей ее завоевания. Ленин в последний год жизни<sup>2</sup> начинает различать опасности бюрократической тирании, неизбежные при такой концепции власти. Но ведь он сам создал ее теорию и установил ее на практике, теперь слишком поздно волноваться о том, во что она превратится в руках его последователей. Его знаменитая “пролетарская демократия”, которую он восхвалял в пику Каутскому, теперь, после того как замолкли Советы, превратилась во власть одной партии, изолировавшей себя от страдающего народа.

Однако усилиями этой партии революция продолжается, даже в том случае (и в этом случае, особенно), если революционный дух исчез у широких народных масс. Революция, таким образом, сохраняется в России как государственная идеология, необходимая для поддержания власти партии: “стратегическое отступление” нэпа необходимо для того, чтобы вернее достичь когда-нибудь конечной цели, коммунизма, путь к которому могут проложить только большевики. Так утверждается идея ортодоксии, верности заветам, необходимая тем более, что реальная политика отклоняется от нее. Даже внутри партии пришел конец спорам и открытым разногласиям: роль стража революции несовместима с фракциями и фракционной борьбой. От марксистской идеи научного знания исторических законов, которая, казалось, была подтверждена победой 1917 года, большевики переходят, в условиях наступившего штиля, к утверждению догматического единомыслия. Это единственный способ держать под железным контролем то, что для них неразрывно связано: истолкование прошлого и власть над настоящим.

Задача осложняется тем, что русская революция с самого начала подчеркивала свое мировое призвание, свою роль авангарда человечества. Из аналогичных предпосылок французские революционеры вывели в 1792 году оправдание революционной войны против реакционной Европы. Но большевики свершили свою революцию под антивоенными лозунгами. Их концепция пролетарского интернационализма побуждает их не экспортировать революцию силой оружия, а создавать повсюду в мире коммунистические партии по своему образу и подобию. Так III Интернационал обратил против II его же оружие. Он исходил из тезиса, что идеология и организационные принципы большевистской партии могут быть использованы повсюду. Что по всему миру могут быть созданы руководимые из Москвы штабы центра-

лизированного революционного движения. Русская революция имеет, таким образом, как бы два направления: одно национальное, другое интернациональное. Впрочем, такое разделение является, скорее, формальным. Ленин и другие большевистские руководители заправляют всеми делами III Интернационала, представляя там несколько под другим углом зрения вопросы, связанные с ситуацией в России.

Короче говоря, III Интернационал — это всего лишь организационное продолжение Октябрьской революции в Европе и во всем мире. Благодаря чему она сталкивается с теми же трудностями, что и французы конца XVIII века во время революционных войн: они обнаружили локальный характер своей революции именно в тот момент, когда попытались осуществить ее универсальную миссию. Французы увлеклись войной настолько, что рисковали забыть, для чего они ее начали. Большевики, выходя на международную арену, доверились тому же рецепту, который оправдал себя в их собственной стране: смесь почти военизированного милитантизма, политического радикализма и идеологии в больших дозах. Новому Интернационалу они придали конспиративный характер, неразрывный с крайним волюнтаризмом, который, под покровом научного знания законов истории, был свойствен их революции. Повсюду в послевоенной Европе они переоценивали вероятность нового Октября, как о том свидетельствует их стратегия в Германии или Болгарии в 1923 году. И везде они использовали в качестве орудия господства над вновь созданными партиями принудительную идеологию, получившую наименование марксизма-ленинизма<sup>1</sup>.

В свой начальный период Французская революция имела за границей поддержку дружественных клубов и кружков. В своей завоевательной фазе она создала с помощью местных якобинских групп ряд братских республик, как, например, в Италии. Но ее идейный багаж, возникший в результате последовательных наплывов, никогда не составлял цельной и унифицированной идеологии и, тем более, не мог служить цементирующим составом для некоей международной централизованной организации. Напротив. Октябрьская революция едина: ее подготовили, решили и осуществили Ленин и его партия, и они же в каждый данный момент определяют ее направление и смысл. Ленин непрерывно процеживает советский опыт сквозь марксистский фильтр и вводит его результаты в состав породивших его идей. Этот опыт менее универсален, чем опыт Французской революции, зато ему легче придать видимость всеобщности. Для этого его каждодневно укладывают на прокрустово ложе идеологии, придают ему заранее предписанный смысл, после чего распространяют по всему миру через Ин-

тернационал. Таким образом катастрофическое течение русской революции приобретает вид свершений мировой истории.

Недостаток этой системы в отсутствии гибкости. Если партия большевиков призвана не только руководить революцией, но и в каждый данный момент выражать ее смысл, любое политическое разногласие внутри партии или внутри Интернационала приобретает фундаментальное значение: оно ставит под вопрос их способность руководить классовой борьбой в соответствии с законами истории. Цена ортодоксии — превращение любого разногласия в ересь. Но при этом, в данном случае, догма оказывается изменчивой, она видоизменяется применительно к обстоятельствам, и единственным критерием ортодоксии остается верность партии, то есть ее вождям. С самого момента своего возникновения мир коммунизма хрупок, он похож на огромную секту с миллионами членов, которая непрерывно сотрясается политическими кризисами, имеющими характер религиозных расколов. Ибо теперь, чтобы быть коммунистом, надо не столько быть марксистом, сколько верить, что марксистское учение воплотилось в Советском Союзе, а его выразителем является ВКП(б). Таким образом верующим обеспечивается спасение в этом мире, но в то же время они зависят от игры случая, ибо их вера является предметом эксперимента: революция, по определению вещь эфемерная, должна выступать как постоянный благодетельный источник веры.

Иллюзия универсальности, необходимая для революционной веры якобинского или ленинистского типа, развеивается ходом революции: история коммунизма подтверждает это правило. В коммунизме, с одной стороны, очень сильна идеологическая составляющая, а с другой — претензия на обеспечение всеобщего счастья, постоянно подвергающаяся трагическому разоблачению. Уже на раннем этапе, до смерти Ленина, в среде европейского левого движения насчитываются тысячи бывших коммунистов, отказавшихся от своих иллюзий или надежд. Коммунизм — это такой дом, куда из поколения в поколение в течение века, в зависимости от обстоятельств, одни входили, другие же выходили. Но вплоть до конца столетия насчитывались и тысячи таких, кто был беззаветно предан, на протяжении всей своей жизни, неразделимому в их глазах двуединству: Советскому Союзу и революции. Даже в наихудшие моменты, оказавшись в положении изгоя или несправедливо обвиненных, они не мыслили иного смысла жизни, кроме служения делу Октября, как если бы он действительно являлся воплощением нового мира.

Я постараюсь прояснить резоны и тех, и других на трех примерах. Речь пойдет о трех интеллектуалах, пришедших к революционной политике с разных сторон в результате войны и Октября, в

какой-то момент объединенных, а затем разьединенных этим опытом: их имена — Паскаль, Суварин, Лукач.

Одним из первых иностранных свидетелей русской революции был молодой французский интеллектуал, Пьер Паскаль, который вел ежедневный дневник<sup>4</sup> с 1917 по 1927 переломный год, когда был изгнан Троцкий, а Сталин одержал решающую победу. Пьер Паскаль принадлежал к тому поколению молодых французов, которые закончили Эколь Нормаль как раз перед войной (набор 1910 года). Студент-филолог, он очень рано заинтересовался Россией, куда совершил первое путешествие в 1911 году. Верующий католик, он прочел В. Соловьева, который убедил его в необходимости “объединения” церкви; он влюбился в Киев и стал жадно изучать русскую религиозную жизнь. В Санкт-Петербурге он работает над дипломом на тему “Жозеф де Местр и Россия”, а в следующем году приезжает в Москву. Этот молодой католик, близкий к Псишари, своему соученику по Эколь Нормаль, мечтает вернуть мировое призвание католицизму, облеченному в форму соборности. В современном мире он больше всего ненавидит царство денег и его спутника — буржуазный индивидуализм, от губительных последствий которого старая Россия спаслась благодаря крестьянству и православной церкви. Таким лживым вещам, как права человека или парламентский строй, он предпочитает католическую монархию или царское самодержавие. Пьер Паскаль являет собой странный феномен: французский славянофил. Он любит Россию, как Ламеннэ любил Польшу: как страну, сохранившую дух соборности, то есть христианства. Он уже задумал работу о “староверах”, которую закончит много позже<sup>5</sup>. Ему не надо было дожидаться 1917 года, чтобы обратить свои взоры на восток, как это сделали пацифисты или социалисты: он пришел издалека и с другой стороны. Но именно поэтому его свидетельство имеет огромное значение: оно помогает понять, какое завораживающее воздействие оказала Октябрьская революция на обширную семью интеллектуалов-католиков, которые первоначально не были ни марксистами, ни левыми, ни даже демократами. Пьер Паскаль — первый в этом ряду, Луи Альтюссер будет последним<sup>6</sup>.

Тяжело раненный на фронте в сентябре 1914, Паскаль сражался затем при Дарданеллах, прежде чем получить в 1916 году назначение в Россию благодаря своему знанию русского языка. Там его застанет революция и заставит задержаться надолго. Ежедневная хроника, которую он вел на протяжении десяти лет, не имеет себе равных; она не только является ценнейшим документальным источником, но одновременно помогает понять увлечение автора революцией и его последующее разочарование.

Он стал сторонником большевиков еще до октября, в феврале 1917 года. Его “большевизм” был очень своеобразным — не марксистским, но русским и христианским; в России он видел избранницу истории, страну, христианскую в высшем смысле. Однако официальная роль Паскаля, как и других членов французской военной миссии, состояла в том, чтобы бороться против ленинского пораженчества и удерживать молодую республику в рядах союзников. Он даже должен был посвятить часть своей активности тому, чтобы вести в этом направлении разъяснительную работу среди русских солдат. Однако главное для него — не эти профессиональные обязанности, а вера во всеобщее братство; в 1918 году он откажется от возвращения на родину, чтобы стать свидетелем невероятных событий истории. В большевиках, между Февралем и Октябрем, его привлекало их желание закончить войну и тем вернуть истории утраченный смысл. “Русский народ обладает острым чувством трагизма этой войны, которую он не желает вести и считает нелепой, — как должно было бы считать и все человечество, не способное из нее вылезти” (т. I, с. 127, 19 мая 1917). Русский крестьянин сражается против войны от лица всего человечества, — такое толстовское представление толкает лейтенанта Паскаля к Ленину и его соратникам, во имя эсхатологии, заимствованной у Эдгара Кинэ: “Война все больше ускользает из рук правительств. Мы идем к мировой социальной революции. Возникнет европейская конфедерация” (т. I, с. 205, 21 августа 1917).

Наступает октябрь, большевики берут власть. “Они теоретики, — комментирует Паскаль, — но русский народ, который знает социализм и большевизм только по названиям, идет за ними, ибо и он живет в будущем. Он хочет, чтобы прекратились несправедливость и горе на земле. Неумело, печально, в страданиях, он, тем не менее, создает это будущее. Русская революция, какая бы реакция за ней ни последовала, вызовет такой же огромный резонанс, как революция 1789 года, и даже больший: это не случайность, это эпохальное событие, которым Боссюэ начал бы новую главу своей *Всемирной истории*” (т. I, с. 247, 26 декабря 1917). Таким образом, “теоретический” большевизм является знаком чего-то более глубинного. Он только поверхностно направлен против христианства, ибо сам еще не знает своей природы. Русский народ принял его как знамя, но на самом деле стремится к установлению христианства на земле, и это имеет гораздо большее историческое значение, чем 1789 год. Из всех дорог, ведущих к ленинизму, Паскаль выбрал ту, на которую указывали слова писания: придет день, и последние станут первыми. Октябрь для него не имеет отношения к законам истории, — это торжество унижен-

ных, день великого раздела, когда русским народом движет десница Божия. Социализм — это справедливое, но кушее учение, ибо он не знает — еще не знает, — что на самом деле он есть орудие христианского духа в земных делах.

Итак, осенью 1918 года Пьер Паскаль делает решительный шаг: вопреки полученному приказу он остается в России. Вместе с несколькими французами, из которых самым известным является Жак Садуль, он образует коммунистическую ячейку, которая будет играть роль посредника во время переговоров между левой группировкой французского рабочего движения и большевиками о вступлении в III Интернационал. Наступают ужасные годы — гражданская война, иностранная интервенция, террор в городе и деревне, советская Россия отрезана от внешнего мира “санитарным кордоном” союзников. Подвергаясь нападкам французской прессы как дезертир, охваченный тревогой о том, что о нем думают близкие, Паскаль работает в наркомате иностранных дел над составлением информационных бюллетеней, одновременно собирая всевозможную документацию о старой и новой России. Второй том его российского дневника, с 1919 по 1921 год, озаглавлен “В коммунизме”, подобно тому, поясняет автор, как говорят — “в религии” (т. II, с. 7). Этот период заканчивается в марте 1921, когда введение нэпа совпадает с началом разочарования у Паскаля: революция закончилась, оставив после себя шлейф неудач и воспоминаний.

Дневник этих лет беднее, чем предыдущий, повседневными заметками о московской жизни, может быть потому, что у автора было меньше времени для записей; в общем ясно, что он жил в тяжелых материальных условиях, страдая от голода и холода. Прежние социальные связи были разрушены революцией, и теперь его окружение является почти исключительно политическим: это, с одной стороны, русские большевики, с которыми он мало встречается, а с другой — кучка французских большевиков, раздираемая внутренними распрями, как это обычно бывает с маленькими политическими группами в изгнании. Паскалю трудно отвести обвинение в католицизме, выдвигаемое против него Садулем<sup>7</sup>. Он подвергается многочисленным проверкам, одна из которых — непосредственно перед Лениным и его подругой Инессой Арманд. Однако ни возводимые против него обвинения, ни безграничная диктатура партии неспособны подорвать его энтузиазм. Зачем ему Учредительное собрание, — ведь во Франции он ненавидел буржуазный парламентаризм! Подобное собрание, если бы оно не было распущено, восстановило бы у власти кадетов, партию ориентированной на Запад русской буржуазии, поддержанную “трусливыми” меньшевиками и “беспомощными” эсерами.

Под пером Паскаля воскресает старый, так хорошо знакомый по Франции XIX века, спор между революцией социальной и революцией политической. Нашего католического и пробольшевистского историка интересует не столько власть и способ ее организации, создающие почву для всевозможных иллюзий и махинаций, сколько революция социальная, которая должна покончить с частной собственностью и богачами. Какое значение имеет политическая свобода, если люди обретут в равенстве новую мораль братства, проповеданную Христом и преданную миром чистогана!

Большевизм Паскаля ближе к Бюше, чем к Марксу<sup>4</sup>. Достаточно перенести с Франции на Россию идею исторического избранничества, чтобы узнать в писаниях неопита ленинского учения знакомые интонации неоякобинского и неокатолического проповедника времен Июльской монархии. Сошлемся на нижеследующий текст, в котором делается попытка описать революционную Россию в мрачном свете уравнилельного Апокалипсиса: “Неповторимое и опьяняющее зрелище — разрушение определенного общества. Ныне исполняется реченное в четвертом псалме вечерней воскресной службы и в *Magnificat*: властители будут низвергнуты с трона, а бедняки поднимутся из грязи. Домовладельцы вынуждены довольствоваться одной комнатой, а в тех, что они занимали прежде, поселено по семье. Нет больше богатых — только бедные и беднейшие. Знания не добавляют ни привилегий, ни уважения. Бывший рабочий, ставший директором, командует инженерами. Размер заработной платы почти не различается. Частная собственность ограничивается одеждой. Судья больше не обязан руководствоваться законом, если он противоречит его пролетарскому чутью. Брак — всего лишь один из видов гражданского состояния, а о разводе можно просто уведомить открыткой. Детей учат доносить на родителей. Чувство щедрости уничтожено тяжелыми временами: в семьях считают каждый кусочек хлеба и каждый грамм сахара. Нежность считается пороком. Жалость убита вездесущей смертью. Дружба сохранилась лишь в форме товарищества”<sup>5</sup>.

Паскаль уже начинает опасаться тени ЧК, ложащейся на повседневную жизнь, давления государства, воля которого является единственным законом этого незаконного общества. Но он успокаивает себя мыслью, что чекисты — это народная полиция, что “пролетарское” государство — это почти и не государство и что им, по выражению Ленина, может управлять “любая кухарка”. Доказательство этому он видит в замене слова “гражданин”, проникнутого юридическим холодом и буржуазным индивидуализмом, словом “товарищ”, выражающим непосредственное братство трудящихся и торжество реального равенства. Сам Паскаль 19197—1920 года внешностью напоминал Пеги: “Бритая голова,

большие казацьи усы, добрые, всегда улыбающиеся глаза, одетый в крестьянскую блузу, он разгуливал по городу босиком” (Виктор Серж)<sup>10</sup>. Пример Паскаля красноречиво свидетельствует о том, как большевизм в эту эпоху обращал себе на пользу эмоции и традиции, с которыми он должен был бороться, чтобы утвердиться: равенство в бедности, утопический социализм, христианский дух общности. Французский интеллигент, Паскаль облекал их в слова, которым недавно выучился у Ленина. Получилась некая смесь слов и понятий, которая по-своему помогала крепить идеологическое господство партии. Интеллектуальное и политическое приключение французского лейтенанта — это один из первых примеров того, как большевизм подчинял себе умы, пришедшие из совершенно иных сфер и захваченных, в полном смысле этого слова, потоком истории<sup>11</sup>.

Как ускользнул он из-под гипноза? Почему перестали действовать чары? Паскаль первым проторил дорогу выхода из коммунизма, по которой впоследствии пришлось пройти многим. В его случае мы наблюдаем типичную картину крушения веры: энтузиазм неопфита в один прекрасный день уступает место трезвости критического взгляда. Те же факты, которые раньше ослепляли его своим сиянием, теперь теряют привлекательность. Правда, в его случае следует говорить о кризисе новой веры и о сохранении старой: перестав быть коммунистом, он более чем когда-либо остается католиком, и это дает поддержку его экзальтированной душе, помогает пережить одиночество и изгнание. Жаль, что он перестал вести дневник в 1921 году, когда разбилась его коммунистическая вера: он замолк именно в тот момент, когда другие начинали говорить. Но то немногое, что он написал в первые месяцы 1921 года, позволяло угадать, какие события вызвали его душевный перелом: это осуждение “рабочей оппозиции”<sup>12</sup> на X съезде, запрещение фракций внутри партии, подавление Кронштадского мятежа. Русская революция потеряла для него свою чистоту, перестала быть осуществлением религиозных обетований. Ее власть направлена не на самозащиту, а на господство. Третий том “Дневника”, посвященный 1922—1926 годам, озаглавлен сдержанно: “Мое состояние души”.

Автор перестал быть коммунистом. Но он по-прежнему любит Россию и русский народ, к которым устремился задолго до своего обращения в большевизм. Ему случается размышлять о том, “какую замечательную революцию могли бы совершить верующие России, не поддайся они марксизму” (т. III, с. 40, 2 февраля 1922), извлекая таким образом славянофильскую мифологию из-под мифологии коммунистической. Большеви́стская революция умерла, оставив после себя бюрократическое государство нового капита-

лизм, но Паскаль продолжает надеяться на русский народ. Поэтому он остается членом французской секции партии большевиков и продолжает работать на советское правительство и на Коминтерн. Ему приходится по-прежнему изъясняться на языке коммунистической идеологии, правда, еще не успевшем стать окончательно “дубовым”.

Разрыв Паскаля с советской Россией был одновременно и радикальным, и поневоле незавершенным. С одной стороны, он изучил политику большевизма и даже его историю. В одном из писем Альфреду Росмеру от 24 сентября 1925 года он выводит из знаменитого II съезда (1903) характерные черты большевистской партии, такие, как свирепые интриги, византийские споры и культ грубой силы. Он ясно видит лживость спекуляций на пролетарском государстве, политическое ничтожество Советов, завесу фальши, уже тогда окутавшую весь режим. Поэтому он не принимает участия в борьбе группировок, которая началась тут же, как только Ленина разбил паралич. Он уже настолько отошел от коммунистической политики, что стал понимать, что Троцкого, бывшего руководителя Красной Армии и сторонника милитаризации профсоюзов, разделяют с Зиновьевым или Сталиным не идеи, а амбиции.

Но, с другой стороны, куда идти? Оставшись в Москве, вместо того чтобы вернуться во Францию, он сжег корабли. Если он вернется, ему придется либо лгать, либо лить воду на мельницу тех самых буржуа и политиканов, которых он ненавидит и от которых бежал. Он обнаруживает тупик, в котором оказывается каждый, кто верил в коммунизм и перестал верить: вера уходит, а то, что к ней толкало, остается. Что делать с ненавистью к буржуа тому, кто разочаровался в коммунизме? Дело не в уязвленном самолюбии, а в психологических инвестициях, которые современное сознание сделало в идею революции. Поэтому Паскаль, отвернувшись от большевистской революции, старается спасти от крушения то, что его к ней подтолкнуло: от провалившейся ленинской революции он обращается к будущей революции русского народа. Вместо того, чтобы создать новый мир, большевики восстанавливают власть денег, власть богачей, — эта констатация помогает Паскалю связать свое недавнее разочарование со старой ненавистью к буржуа. Он освобождает революцию от ответственности за случившееся, чтобы снова связать с ней свои надежды.

Ведь остался русский народ, бедный, религиозный, христианский, стремящийся к равенству, способный пробудиться вновь. Паскаль остается верен своей юношеской любви. Но он показывает и обратную сторону медали. День за днем, дополняя свидетельства прессы слухами и разговорами, он описывает политику

Коминтерна и те пертурбации, которые она вызывает в молодой Французской компартии. Он переписывается с Борисом Сувариным, исключенным из Интернационала в 1921 году. Он получает из Парижа “*Ла Революсьон пролетарьен*”, основатели которой, Пьер Монат<sup>13</sup> и Росмер, были годом раньше исключены из Французской компартии. Ему нравится их журнал, хотя он и занимается, на его взгляд, слишком “троцкистские” позиции. Он находит в нем дух свободолюбия, враждебность по отношению к партиям, близкую к анархизму синдикалистов-революционеров. Он предлагает присылать им прямые репортажи о положении в России. В развернувшейся в эти годы (1925—1927) внутривнутрипартийной борьбе он не сочувствует ни одной из сторон и занимает в своих репортажах нейтральную позицию, то есть — враждебную всем. Советская политическая жизнь стала теперь в его глазах такой же достойной презрения, как и буржуазный парламентаризм. Он не принимает в ней никакого участия, ограничиваясь переводом Ленина на французский язык в Институте Маркса — Энгельса. Эта независимость ума придает его заметкам последних лет особую свежесть. Его проза разочарованного сохраняет достоинства языка верующего: она проста, разнообразна, насыщена конкретикой, богата деталями повседневной жизни. Единоразы заметив расхождение между советским мифом и реальностью, он не перестает находить тому все новые подтверждения, рисуя и саму жизнь, и методы коммунистической мистификации. Вот, например, как он описывает приезд некоего французского товарища в “обетованную землю” коммунизма 4 сентября 1927 года: “Никогда еще ни один режим не был до такой степени лживым. Достигнутые в этом отношении результаты поистине блестящи. Один молодой француз посещает Институт; это интеллектуал-энтузиаст, который слышал о “героях” — Садуле, Гильбо, Паскале! — и смотрит на меня с восхищением. Он приехал изучать опыт социалистического строительства в Комакадемии! Он провел здесь уже два месяца и проникнут железным убеждением, что строительство социализма идет полным ходом: рабочие клубы, фабрики принадлежат государству... Он не видит ничего из того, что есть на самом деле. Какой-то коммунист из Промбанка сказал ему, что наш годовой прирост выше, чем в Соединенных Штатах, и ему этого довольно. Он уверяет, что во Франции идут жестокие гонения на коммунистов, и сам в это верит. Он сравнивает положение там со свободой, которой пользуется здесь, и сам в это верит”<sup>14</sup>.

Пьер Паскаль вернется во Францию в 1933 году, где будет вновь заниматься общественной деятельностью до 1936 года и закончит причудливый зигзаг своей биографии классической карьерой профессора русской истории в Сорбонне. Живя в буржуазном

обществе, он будет искать для себя убежище в своей любви к русской истории и русскому народу. Но почти не будет говорить о советской революции<sup>15</sup>.

Борис Суварин<sup>16</sup> принадлежит к тому же поколению, что и Пьер Паскаль, но к иному социальному и интеллектуальному миру. Он родился в Киеве в семье мелкого ювелира-еврея, который эмигрировал и поселился в Париже в конце прошлого века, когда Борису было два года. Последовали недолгие годы учебы, ремесло отца, жадное чтение самоучки, увлечение социализмом. Политической деятельностью он начал заниматься в 1917 году, писал заметки в “Попюлер”, подписывая их псевдонимом *Суварин*, как дань уважения роману “Жерминаль”. “Попюлер” не стоял ни на позициях войны до победного конца, ни на позициях революционного пораженчества. Он защищал линию меньшинства социалистической партии, сторонников компромиссного мира без победителей и побежденных. Суварин с восторгом приветствовал Октябрьскую революцию. Поддерживая стремление большевиков к заключению мира, он опасался их диктаторских замашек, но все же одобрил роспуск Учредительного собрания. Придя к убеждению, что диктатура большевиков это и есть власть рабочего класса, он стал в 1918 году одним из первых французских большевиков и активно способствовал переходу большинства социалистической партии на ленинские позиции.

Небольшого роста, активный, умный, настырный, Суварин в эти годы отдаст утверждению большевизма столько же энергии, сколько за всю остальную жизнь — его разоблачению. Он принадлежал к той категории людей, которым особенно нравится утверждать свою правоту против несогласного с ними большинства. Такую склонность легко удовлетворить, выступая как за коммунизм, так и против него. После первой мировой войны он сражается против повального антисоветизма французского общественного мнения, подобно тому как после второй мировой войны он будет выступать почти в одиночку против столь же повального просоветизма. Он был человеком иного склада, чем Паскаль, — менее романтического, менее сентиментального. Он тоже любил Россию маленьких людей, менее индивидуалистическую, чем Запад, но он любил ее не за то, что она христианская, а за то, что она родина его родителей и всего того, что окружало его детские годы. Его культура, приобретенная вне школы, была целиком демократической и рационалистической, не столь обширной, как у интеллигента-профессионала, но и не столь узкой, как у партийного активиста. Он работает изо всех сил, жадно усваивает информацию, верит только документам и фактам. Его страсть к истине очень

быстро закроет перед ним политическую карьеру, и он целиком посвятит себя предмету своего служения — большевизму. И даже порвав с ним, он не замкнется, как Пьер Паскаль, во внутренней изоляции, а будет отчаянно бороться против того, чему помогал родиться на свет.

Мы уже видели, что он был среди тех, кто настаивал на примере Французской революции, чтобы защитить диктатуру, порожденную Октябрем. Он участвовал в различных собраниях в пользу III Интернационала и против французской интервенции в России. В пылу борьбы он оказывается на крайне левом фланге социалистической партии, выступая против своих бывших товарищей, которые, по его мнению, недостаточно энергично поддерживают большевиков. Он выходит из редакции “Попюлер” в конце 1919 года, решив бороться не только против большинства социалистической партии, но и против ее левого меньшинства, вплоть до раскола. Он ведет себя как настоящий большевик, работая в контакте с эмиссарами Коммунистического Интернационала во Франции”. С марта 1920 он начинает издавать “Бюльтен коммунист”, один из тех эфемерных листков, которые он будет выпускать в большом количестве на протяжении всей своей жизни. Цель этого издания — знакомить французских социалистов с политикой и идеями большевиков с помощью информации, получаемой от группы Садуля в Москве.

Суварин до такой степени выделяется своим экстремизмом в среде левых социалистов, что в мае 1920 года, во время большой стачки железнодорожников, его арестовывают по обвинению в организации анархического заговора. Правительство пытается устроить показательный процесс, объединив организаторов стачки — Монмусо, Мидоля — и руководителей Комитета в защиту III Интернационала — Моната, Лорио и Суварина. Такое смешение лиц было столь же безосновательно, как и выдвинутое против них обвинение, но все вместе характеризует политический климат эпохи. Против нарождающейся коммунистической мифологии выступает антикоммунистическая мифология, своими действиями только способствующая укреплению коммунистов. III Интернационал претендует на то, чтобы воплощать мировую пролетарскую революцию, а буржуазные правительства тут же подтверждают эту претензию.

Итак, за приготовлениями к первым заседаниям Турского конгресса Суварин наблюдает из тюрьмы Санте. В названной маленькой книжке он рассказал, как была установлена нелегальная связь между его камерой и внешним миром, чтобы дать ему возможность участвовать в выработке документа, согласованного между группой Кашена — Фроссара и Комитетом в защиту III Интерна-

ционала и отвечавшего пожеланиям Ленина: дезавуировать прошлые ошибки социалистической партии (принятие “условий”, выдвинутых Интернационалом) и обеспечить присоединение ее основной части к позициям Москвы. Так, благодаря использованию традиции длительных переговоров между различными течениями, было достигнуто решение Турского конгресса, покончившее с самой этой традицией. Из этого основанного на обмане пакта и родилась ФКП, одним из главных, хотя и наименее известных создателей которой был Суварин.

То, что он оказался во главе партии, наряду с таким старым опытным парламентарием, как Марсель Кашен, свидетельствует о недоразумении. Ибо Суварин не имел ничего общего с парламентарием, приводящим своим красноречием в восхищение участников социалистических банкетов. Он был плохим оратором, был мало приспособлен к избирательным кампаниям, политическому манипулированию людьми и идеями. Ирония истории состояла в том, что именно Марсель Кашен, мягкотелый политикан, живое воплощение “священного союза”, в последний момент переметнувшийся на сторону Москвы, стал символом перехода французского социализма на большевистские позиции, в то время как Суварин будет забыт, предварительно подвергшись нападкам тех, кому так преданно служил. Дело в том, что его связь с III Интернационалом была, скорее, интеллектуального, чем политического порядка. Она была безраздельной, не подлежащей обсуждению и компромиссам, и в силу этого — непрочной. В революционной политике есть свои верующие и свои практики; Суварин был верующим, у которого вера не заглушила наблюдательность и способность к анализу.

Когда в марте 1921 года Суварин был оправдан и вышел из тюрьмы, он был по-прежнему человеком Интернационала: ни Кронштадт, ни нэп, ни решения X съезда партии большевиков не затронули и не охладили его энтузиазма. Он не знает русской жизни, как знал ее изнутри Пьер Паскаль, не чувствует большевистского диктата в международном движении, как почувствовала его старая свободолюбивая активистка Ангелика Балабанова, уже с лета 1920 года стремившаяся покинуть Россию<sup>18</sup>. В его поведении на III конгрессе Интернационала в Москве, по свидетельству биографа, поражала его преданность Ленину и одновременно — исследовательский дух: он ищет информацию, требует для ознакомления платформу “рабочей оппозиции”, спорит с Паскалем, желает посетить тюрьму, беспокоится по поводу анархистов, арестованных ГПУ. Точно так же, во время процесса над эсерами в 1922 году он требует, чтобы у подсудимых были защитники по их выбору, однако не возражает против незаконности самого процесса.

Независимость его позиции не мешает тому, что его избирают членом президиума Интернационала наряду с такими знаменитыми большевиками, как Зиновьев, Радек, Бухарин или Бела Кун. В свои двадцать шесть лет он оказывается на вершине: Исполнительный секретарь международного движения, курирующий текущие дела, в том числе и работу молодой Компартии Франции. Он становится навсегда главными лицами коммунистического ареопага, другом Бухарина, сотрудником Зиновьева, партийцем-“интернационалистом”, исполнителем тайных миссий, посвятившим жизнь созданию нового мира. В отношениях со своими французскими товарищами он откровенно выступает как “человек Москвы”, вернее, как один из “людей Москвы” (так как есть и другие, которых он не любит, как, например, бывшего пастора-швейцарца Жюля Юмбер-Дроза<sup>19</sup>). Своим полученным от центра авторитетом он пользуется так, как если бы был членом Ордена иезуитов, не предполагая, что подобный порядок обернется против него самого. А между тем наступательному периоду Интернационала вскоре предстояло завершиться поражением немецкой революции в 1923 году. Но Суварин об этом не знает и продолжает жить в состоянии революционного опьянения под сенью старших русских товарищей; он дорожит своей причастностью к их работе гораздо больше, чем убогими интригами в борьбе за власть над новорожденной французской компартией. Он является, скорее, агентом влияния, чем человеком власти, как и большинство других интеллектуалов, заблудившихся в политике.

Политика скажет свое слово в марте 1923 года, когда после удара, разбившего Ленина, начнется борьба за его наследие. В своем “Бюльтен коммюнист” Суварин комментирует этот кризис как эксперт, со знанием нюансов, сожалея об отдалении Троцкого от большевистского генерального штаба, работающего под совместным водительством “тройки”: Каменева, ближайшего друга Ленина, Зиновьева, председателя Коминтерна, и Сталина, избранного в прошлом году генеральным секретарем партии. С одной стороны, Суварин утверждает, что в партии царит единство, и отказывается признать, что Троцкий создал свою “фракцию”. Он призывает к единомыслию по отношению к “русским делам”, в которых, по его заверениям, нет никаких серьезных идейных или программных расхождений. С другой стороны, он призывает разделить “русские” и “французские” дела, чтобы избежать воздействия первых на вторые. Однако оба требования удивляют своей наивностью, особенно если учесть, что исходят они от такого знатока коминтерновской “кухни”. Ярость, с которой представители “тройки” и их соратники нападают на Троцкого, не предвещает никакого замирения среди наследников Ленина. А сам Суварин

еще недавно бомбардировал руководство французской компартии указаниями из Москвы, чтобы сегодня всерьез говорить о независимости этого руководства. Его надежды вскоре терпят крах, и обстоятельства складываются против него. Во Франции он проигрывает баталию против своего соперника Альбера Трена<sup>20</sup>, поддержанного посланцами Зиновьева в Париже. В интернациональном плане его объявляют скрытым сторонником Троцкого и одним из лидеров “новой правой”, действующей внутри Коминтерна. Одержав победу в Москве, “тройка” стремится воспользоваться ее плодами и очистить международное движение от противников; в новой грозной ситуации рушатся шаткие позиции Суварина.

В 1921 году “рабочая оппозиция” была изолирована и разгромлена, но ни Шляпников, ни Коллонтай не были исключены из партии. Ленин не стал придавать борьбе с ними международный масштаб, как не стал запихивать всех оппозиционеров, действительных и мнимых, в один мешок. Три года спустя, вскоре после смерти Ленина (последовавшей в январе 1924 года), споры между Троцким и членами “тройки”, во многом повторяющие споры с “рабочей оппозицией”, преследуют уже иные, гораздо более значительные цели: речь идет о власти в партии, находящейся в еще большей изоляции, чем раньше. Борьба распространяется на все эшелоны Коминтерна, где она приобретает чрезвычайно абстрактный характер: ведь нужно навешать одинаковые ярлыки в ходе самых разнообразных споров, отражающих не столько идейные расхождения, сколько борьбу за власть. Суварина объявляют “правым уклонистом”, как и Брандлера в Германии; этот ярлык может быть заменен другими, столь же магическими: “ревизионист”, “неоменьшевик”, “социал-демократ”. Достаточно сказать, что Троцкий не заслуживает таких определений, чтобы тут же получить их в свой адрес. Интернационал, то есть руководящая им “тройка”, уже обладает прерогативой определять преступление и указывать виновных.

На XIII съезде Коммунистической партии большевиков в мае 1924 года Суварину устраивают нечто вроде суда, исход которого предreshен: даже Троцкий, вынужденный уйти в оборону, не приносит ни слова в его защиту. На последовавшем в июне V конгрессе Коминтерна рассматривалось дело Суварина, и по предложению его врагов из французской делегации было решено его временно исключить, о чем тут же сообщила “Юманите”. Так завершился пятилетний коммунистический период в его жизни, о чем, правда, он еще не знал. Последующие шестьдесят лет он посвятит критическому осмыслению своего партийного опыта.

Исключение Суварина имело более официальный характер, чем отход от коммунизма Паскаля. Молодой студент затесался

почти случайно в большевистскую авантюру, движимый своей любовью к России; он не занимал руководящих постов и не стремился к ним. Политикой и даже политиканством во французской группе занимался Садуль. Паскаль был, скорее, моральным свидетелем происходящего. Суварин, напротив, с младых ногтей был партийным активистом и сыграл решающую роль в присоединении к русской революции большинства французской социалистической партии. Он входил в генеральный штаб III Интернационала и пострадал от той самой организации, составной частью которой он сам являлся.

Был ли Суварин наивен, вступая в неравный бой после своего исключения, или же, трезво оценив расстановку сил, решил работать для будущего? Одна гипотеза не исключает другую. Впрочем, такой же вопрос будет возникать на протяжении всей истории международного коммунизма по поводу исключенных или убитых лидеров, не говоря уже о казненных, которых большинство. Суварин в 1923—1924 годах уже был прекрасно осведомлен о политических нравах Коминтерна. Почему Трен в 1924 году не мог поступить с ним так же, как он сам поступил с Фроссаром в 1922? Или он думал, что правила игры к нему не применимы? Или он переоценил свое влияние и свою “необходимость” для русских? Это — то, что касается гипотезы наивности. С другой стороны, он мог оценить те перемены, которые предвещало поражение Троцкого: конец “исторических вождей” Октября, замена партии вождей партией бюрократов, окончательное замораживание революции, ложь в сочетании с полицейским режимом. Он давно знает Пьера Паскаля, еще со времен своего добольшевистского, анархосиндикалистского прошлого. Аресты ГПУ анархистов, преследования эсеров тревожили обоих французов. Это — то, что говорит в пользу гипотезы сознательного и обдуманного выбора.

Как бы ни соотносились между собой эти два объяснения, добавим к ним свойственные Суварину особенности мышления. Ремесленник-ювелир, не имеющий классического образования, он обладал историческим складом ума. Он обожал документ, точность, конкретные факты. Когда утихла его революционная страсть, дала о себе знать другая его склонность, ранее мало соответствовавшая кругу его обязанностей. В это лето 1924 года я вижу его разбитым и опечаленным, но также испытывающим чувство освобождения; он отправляется в Крым, в Ялту, где собирается маленькая свободолюбивая “коммуна”<sup>21</sup>: Пьер Паскаль и его подруга, молодой бельгийский анархист Николая Лазаревич<sup>22</sup>, еще два итальянских товарища. Все они пережили увлечение советским режимом, служили ему и теперь пришли к единому выводу: самое худшее в нем — даже не угнетение, а ложь.

Однако Суварин не сразу вырывается из советской орбиты, и в этом отношении его судьба предвещает судьбы многих и многих. Выход из коммунизма похож на процесс интеллектуальной дезинтоксикации; он включает в себя предварительный и заключительный этапы; лишь постепенно восстанавливается критичность взгляда, охватывающего все более широкий круг предметов; человеку требуется время, чтобы привыкнуть к собственной смелости. Вернувшись в Париж в 1925 году, Суварин все еще принадлежит миру, из которого только что был изгнан. Он пристально следит за аппаратной борьбой в русском политбюро; к нему даже возвращается какая-то надежда летом 1925, когда “тройка” распадается и между ее членами начинаются столкновения. В поражении, которое потерпел его преследователь Зиновьев на XIV съезде (декабрь 1925), Суварин пытается разглядеть возможность реванша для себя, даже если падение Зиновьева означает усиление Сталина, вступившего в союз с Бухариным против Троцкого, которого сам Суварин недавно защищал. Но одновременно он уже поднимается до критики советской системы в целом, осознавая, что ее вырождение началось не со смерти Ленина, а с Октября. Несмотря на то, что он исключен временно и может при благоприятных обстоятельствах рассчитывать на восстановление, он и не думает раскаиваться. Он продолжает писать и в своем “Бюллетен коммунист”, и в “Ла Революсьон пролетарьен”, издаваемой его друзьями Монатом и Росмером, сохраняет дипломатические отношения с Интернационалом и ФКП. О том, что он полностью восстановил свой критический дух и свой талант наблюдателя, свидетельствует, например, такой, предвещающий Оруэлла, анализ языка Интернационала: “Никаких фактов, идей, цитат или аргументов: только бесстыдные утверждения, составленные из десятка слов, спущенных “сверху” (ибо даже это решается “наверху”) и переставляемых в различных сочетаниях... Так, берем фразу: “За большевистское единство ленинской партии”, переставляем прилагательные и получаем: “За ленинское единство большевистской партии”; меняю порядок существительных, получаем: “За большевистскую партийность единого ленинизма”, и так далее. Разве это не чудесно!...”<sup>21</sup>

Человек, написавший эти строки, уже вышел из той системы, которая некогда замыкала его мысль. И в этом отличие его позиции от позиции Троцкого, Бухарина или Зиновьева. В его глазах партия утратила свою непогрешимость, поскольку решения принимает секретариат, распространивший свою бюрократическую власть на всю страну. Руководство Коминтерна, со своей стороны, догадывается, что в лице Суварина оно имеет решительного противника, именуемого на партийном языке “контрреволюционе-

ром”, более опасного, чем традиционные враги, мнения и воспоминания которого необходимо опорочить заранее.

Действительно, не ограничившись разрывом с советским коммунизмом, Суварин очень скоро переходит к активным действиям. Конечно, еще на протяжении нескольких лет он будет говорить на языке коммуниста-нонконформиста; превратив свой “Бюллетен коммюнист” в трибуну оппозиции политике Коминтерна, он призывает всех “честных активистов” сплотиться и бороться за наследие советской революции. Однако в действительности его мысль идет в другом направлении и, разорвав круг фракционных споров, пересматривает всю советскую историю. Об этом свидетельствуют упорные отказы на предложения о поддержке Троцкого после изгнания последнего, в 1927—1928 годах. Сувариным движет не только оскорбленное самолюбие и нежелание занимать второе место, но, в гораздо большей мере, понимание того, что они с Троцким стоят на разных позициях. Бывший руководитель Красной Армии даже в изгнании остается рабом своей веры в партию; он без конца воспроизводит логическую схему “левой” партийной оппозиции, которую пытается возродить в международном движении. Однако такая логика, являющаяся частью ленинского наследия, Суварину стала чужда. Разорвав ее круг, он стал из деятеля свидетелем и историком краха советского коммунизма.

Так, очень рано, утвердилась параллельная история коммунизма, противостоящая ему и неотделимая от него, — история тех, кто, из поколения в поколение, порывали с ним.

Этот процесс захватил коммунистов самого разного пошиба — рабочих и интеллигентов, старых большевиков и неопитов, аппаратчиков и членов низовых ячеек, попутчиков и активистов. У интеллигентов его наблюдать гораздо интереснее просто потому, что их участие в коммунистическом движении имеет характер чистого выбора, акта веры, не зависящего от их социального положения. Это акт самоотречения или самоосуществления, который сродни религиозной аскезе. Мазохистское стремление истязать себя ради служения делу получает у них наиболее полное выражение. Но и отказ от служения, возвращение себе своих отчужденных прав проявляется у них с наибольшей резкостью. И наконец, у них есть профессиональная привычка писать, что делает их свидетельства особенно ценными для историка.

Многие из тех, кто покидает III Интернационал в рассматриваемый нами период, делают это так, как будто произошло недоразумение, как если бы они случайно ошиблись дорогой. Фроссар на конгрессе в Туре был одной из ключевых фигур среди тех, кто повернул большинство французских социалистов под ленинское

знамя. Но сам он не стал большевиком. Он хотел использовать послевоенные революционные страсти для обновления партии и очищения ее от тех, кто особенно скомпрометировал себя участием в “священном союзе”. Когда в 1922 году Интернационал исключает его из своих рядов — по инициативе Суварина, кстати сказать, — то происходит, скорее, констатация изначальной несовместимости, чем подлинный разрыв. Фроссар без труда возвращается в SFIO, на прежнее место и к прежней жизни. На протяжении века тысячи и тысячи людей повторяют этот достаточно безболезненный опыт. Сближаясь с коммунизмом по воле времени и обстоятельств, они затем так же легко отходили от него, потому что относились к нему как к обычному политическому течению, более левому, чем другие, вот и все.

Но для таких людей, как Паскаль и Суварин, коммунизм был верой, — я не решаюсь сказать “религией”, потому что Паскаль был католиком, а Суварин вообще отверг бы такое слово. Оба они вложили в советскую революцию свои надежды на рождение “нового человека”, свободного от несчастья быть буржуа. И оба расплатились по высокому счету. Паскаль отказался от карьеры и покинул свою страну, Суварин побывал в тюрьме и тоже оказался в Москве. Оба нашли в сердце революции единственное место, которое соответствовало их устремлениям, — здесь-то они и оказались свидетелями смерти революции. Читая их репортажи и письма из Москвы, поражаешься, как многое они были согласны терпеть: полицейская слежка, проверки на верность ленинизму, задержка паспортов, вскрытие корреспонденции, преследование за любое свободомыслие, — короче, полный набор приемов деспотической власти, и это еще до смерти Ленина. Оба они, в конце концов, решаются стряхнуть наваждение, сначала Паскаль, затем Суварин; каждый делает это по-своему, но оба одинаково радикально; оба страдают от одиночества, замкнутости внутри себя и невозможности, ввиду недавнего горького опыта, как-то иначе реализовать свою мечту о новом человеке.

В этом отношении их можно сравнить с Троцким, к которому они испытывают или испытывали симпатию, но за которым не хотят следовать, когда тот выступает против Зиновьева, потом против Сталина. Троцкий борется со Сталиным, но заранее подчиняется партии, хранительнице заветов Октября. Он предлагает другой путь развития, но повторяет при каждом удобном случае, что изгнавшая его страна — “пролетарское государство”. Высланный из СССР, он сражается со своим победоносным соперником с такой страстью, которую тому удастся погасить только убийством. Но даже яркость его личности и судьба жертвы преследований не могут скрыть странного с его стороны ослепления относи-

тельно смысла его борьбы. Находясь у власти, он никогда не останавливался перед применением террора. Потерпев поражение, изгнанный силой, он продолжает разделять со своим торжествующим врагом идею абсолютной диктатуры партии или ликвидации кулачества как класса. Он борется против сталинского большевизма ради большевизма в изгнании: обе версии не то чтобы идентичны, но слишком схожи, чтобы одна могла победить другую. Неукротимый, неутомимый и даже неустрашимый, Троцкий борется, стоя на коленях и разделяя со своими палачами приверженность к одной и той же политической системе. Без реальных шансов на победу, он помогает выжить мифологии Советов для тех, кто разочаровался в реальной советской власти, поддерживает эфемерную идеализацию Ленина в противовес Сталину. Суварин же очень скоро освобождается от всякой мифологии. Тем самым он попадает под огонь критики всех конформистов, которые на протяжении столетия будут упрекать его за то, что он отказался от своей молодости, не желая понимать, что этим-то он и интересен.

Мой третий пример иллюстрирует случай, противоположный случаю Паскаля или Суварина. Георг Лукач родился в Венгрии, входившей тогда в состав империи Франца-Иосифа, и принадлежал к немецкой культуре. Примкнув к большевикам с самого начала, он останется верен им до последнего часа, до самой своей смерти в 1971 году. На протяжении века он мог прочувствовать и оценить драматические перипетии коммунистического движения, ибо сам был их жертвой и сам же помогал давать им диалектическое осмысление. И ничто, никогда не смогло подорвать его убеждения, которое он повторил еще раз незадолго до смерти: «Худший из коммунистических режимов лучше, чем лучший из капиталистических»<sup>24</sup>.

На протяжении полувека политическая вера Лукача оказалась сильнее его наблюдательности, сильнее жизненного опыта и критики исторического разума. Самый крупный современный философский критик капиталистического отчуждения, он сам всю жизнь оставался пленником коммунистического отчуждения. Я не знаю лучшего определения его случая, чем следующая фраза Сола Беллоу: «Богатства разума могут быть поставлены на службу невежества, если этого требует жажда иллюзии»<sup>25</sup>.

Он родился в аристократической еврейской семье в Будапеште. Его родители были богаты, мать — благодаря наследству, отец — благодаря своим талантам. Мать происходила от одной из самых древних ветвей иудаизма, обосновавшихся в Германии; отец, Йозеф Левингер, финансист-самоучка, в восемнадцать лет поступил служащим в банк, а в двадцать четыре года уже был гла-

вой венгерского отделения Англо-австрийского банка и одним из финансовых столпов империи. Получив дворянство от императора Франца-Иосифа, он принимает крещение, меняет фамилию и с 1910 года становится Йозефом фон Лукачем. Таким образом, маленький Георг оказывается по праву наследования иудеем и протестантом, евреем и дворянином, Лёвингером и фон Лукачем. Одаренный ребенок с ранним развитием, пожиратель книг, он избирает своей сферой немецкую культуру, стремясь порвать с филлистерством породившей его социальной среды. В иную эпоху он мог бы стать ученым раввином, гордостью семьи. Однако живя в свое время и в своей среде, он не находит иного выхода, кроме как разыграть классическую сцену буржуазного театра: бунт сыновей против отцов. В данном случае он ненавидит в особенности свою мать с ее конформизмом, доходящим до карикатуры. Что касается отца, делового человека и просвещенного мецената с либеральными взглядами, то он в меньшей мере является мишенью его сарказмов. В целом же, успех евреев, пошедших на ассимиляцию, останется для него на всю жизнь ненавистным примером буржуазного приспособленчества. Свидетельство тому — одна из записей времен его студенчества в Гейдельберге (1910—1913), под которой мог бы подписаться молодой Маркс: “Евреи — это карикатура на буржуа”<sup>26</sup>. Лукач вдвойне ненавидит себя — как еврея и как буржуа.

Его прибежище — это царство универсального, но не царство современной демократии, а царство философии, литературы, искусства. Лукач был чистым интеллектуалом и оставался таковым всю жизнь, даже когда его увлек поток истории. Свое презрение к буржуа он очень скоро распространил на всю сферу лживой буржуазной политики, от суверенности народа до парламентского строя. Впрочем, немецкая культура, ставшая его духовной родиной, побуждает его, скорее, спасать от стадного конформизма собственную душу, чем ратовать за спасение человечества. Он живет Кантом, Гёте, Гегелем, Кьеркегором, Ницше, организует в Будапеште философско-литературные кружки. Страстный театрал, он преклоняется перед Ибсенем и наносит ему визит. Знаток поэзии, он одно время примыкает к кружку избранных, группирующихся вокруг Стефана Георге. Продолжатель великой греко-немецкой философской традиции, он проводит несколько лет в Гейдельберге, где завязывает дружбу с Максом Вебером. Никто лучше, чем этот молодой венгерский еврей, богатый и несчастный, не воплотил в себе горячее и абстрактное беспокойство, обуревавшее интеллектуальную жизнь Австро-Венгрии в начале нынешнего столетия. В полуфеодальном, полубуржуазном обществе Будапешта он оказался в центре той аристократической богемы, которая

искала спасения от угроз современной жизни еще до того, как эта жизнь по-настоящему наступила. Разоблачение демократического и меркантильного Запада — центральная тема книг, которые ему нравятся, от Ницше до Достоевского.

Как мог произойти в 1918 году его внезапный переход к большевизму? Для него, как и для большинства, война разбила связь времен. Произошло это, однако, не сразу, так как, в отличие от своих немецких друзей, он не чувствовал себя вовлеченным в конфликт, даже на стороне центральноевропейских империй. Благодаря вмешательству отца он был освобожден от мобилизации и продолжал прежнюю жизнь. Все его чувства и помыслы были в этот момент заняты первым и неудачным браком, который он переживал почти как опыт самопожертвования. Даже Октябрьская революция не смогла поколебать его безразличия к политике. Он даже испытывает враждебность к большевизму по моральным соображениям, следуя Канту в его отказе подчинять этику политике. Однако ситуация, сложившаяся в Венгрии в конце 1918 года, толкает его к коммунизму: в декабре он одним из первых вступает в Венгерскую коммунистическую партию. Все происходит так, как если бы для него наступил момент решающего выбора, который завершил, наконец, его затянувшуюся молодость.

Большевицкая революция, разгром Германии, центральная Европа, которой надо все начинать с нуля, — таков общий фон января 1919 года, когда Макс Вебер, самый глубокий политический ум Германии, читал свои знаменитые лекции, в которых предостерегал современников от смешения абсолютных целей и истории и проповедовал этику ответственности. Немецкий патриот, он стремился в разгар национальной катастрофы сохранить холодную голову, оценивая опасную заразительность русского примера, будущее Германии и роль, которую предстояло сыграть Америке<sup>27</sup>. Но его венгерский ученик и друг, которого он тщетно пытался сделать профессором Гейдельбергского университета, поддался под влиянием обстоятельств соблазнам миллениаризма и препоручил свое спасение истории.

Таким образом, война оказала влияние на обоих этих людей, но по-разному и в разное время. В 1914 году Макс Вебер согласился с необходимостью для немцев участвовать в войне, не оценив всю степень риска, тогда как Лукач страшился исхода войны и не разделял увлечения ею. Зато по окончании войны, в 1919 году, Макс Вебер уже в полной мере оценил опустошения, произведенные ею в европейской истории, Лукач же принял закат за рассвет.

По внезапности перехода, случай Лукача напоминает обращение в новую веру. До своего обращения он не любил ни полити-

ку, ни Россию. Он не выходил за пределы собственного “я”, целиком поглощенный работой по эстетическому изживанию буржуа в себе самом. Россия была для него, как и для большинства немцев, примитивной копией прусской истории. Порожденные ею великие писатели, такие, как Достоевский, всего лишь пересказывают на свой лад общие беды современного мира. Таким образом, переход на сторону ленинского коммунизма означал для Лукача радикальный пересмотр философских категорий, служивших ему для осмысления его жизненных проблем. То, что произошло с ним, на языке богословия называется иллюминацией (озарением). Отныне спасение души заключено для него не в моральном величии и не в искусстве, а в истории и политике. Это был героический и иррациональный выбор, когда философ решился признать неизбежный трагизм существования, бессознательно вложив в этот выбор страстный мазохизм, обуревавший его с детства.

Как говорит его биограф: “Коммунизм нашел Лукача, а не наоборот”<sup>28</sup>. Он помог ему найти позитивный выход из философского и экзистенциального тупика. Страстное стремление апеллировать к истории носилось в воздухе. Другие, стремясь разорвать круг немецкого прекраснотушия, обратятся к фашизму, избрав своим искупительным символом Народ. Но наш венгерский еврей принадлежит к германизму только по культуре, и большевизм, вкупе с Марксом, дают ему более отвечающую его ожиданиям гарантию, немецкую и универсальную в одно и то же время. Он приходит к большевизму как к философии, через посредство русского Октября и венгерской революции. Политические события объясняют поспешность его обращения, но не причины, которые лежат в иной плоскости. Вручая свою судьбу истории, Лукач не присоединяется ни к русскому народу, как Паскаль, ни к ленинской революции, как Суварин, — он присоединяется к двум своим великим предшественникам, Гегелю и Марксу.

Впрочем, всю свою жизнь он будет чужд политике, оставаясь ее игрушкой. Будучи самым выдающимся философом коммунизма, пройдя сквозь всю его историю, Лукач так и не поймет его природу, поскольку она выходила за пределы его размышления. Большинство большевистских активистов являли собой противоположный случай: начиная с Ленина, они были посредственными философами, но своё идеологическое упрощенчество они сочетали с мастерством аппаратных маневров и манипулирования людьми. Что же касается Лукача, то он знает Маркса и следует за ним, как за ангелом-хранителем в окружающем мраке, приходя в отчаяние, если свет его учения искажается в перипетиях борьбы. Этот интеллектuala конца века хочет быть связующим звеном между Марксом и Лениным, задача, которую по ее неосуществимости

можно сравнить только со следующим этапом: попыткой соединить Маркса со Сталиным.

Отсюда вытекает характер его существования внутри коммунистического движения, существования, скорее, литературного, что спасло его если не от несчастий, то хотя бы от физического уничтожения. Правда, начал он с практической работы в качестве помощника народного комиссара просвещения в эфемерной Венгерской Советской республике, созданной по русскому образцу. Это было еще до того, как Лукач в свои тридцать три года выдвинется в качестве вероучителя новой большевистской церкви, до того как он прочтет Ленина. Наконец-то сын вступил в настоящую войну против отцов. Он даже пробыл шесть недель на фронте в качестве политкомиссара пятой дивизии венгерской Красной Армии во время чешско-румынской интервенции. Сохранились поразительные фотографии, на которых Лукач обращается с речью к "солдатам-пролетариям"; он одет в длинный непромокаемый плащ, застегнутый на все пуговицы, из которого выглядывает тонкое лицо еврейского интеллигента, — нечто среднее между Марксом и Троцким. Да не сочтет читатель такое сближение обидным! Оно отражает чуть-чуть ирреальный и пародийный характер этого первого и последнего контакта между Лукачем и большой большевистской политикой, в которой он действительно выступил один единственный раз и не в своей роли. Да и пьеса не соответствовала высоте его морального обращения.

Родившаяся из непрочного и вскоре распавшегося верхушечного соглашения между социал-демократами и коммунистами, Венгерская Советская республика, руководимая авантюристом Белой Куном, не имела подлинной поддержки ни в народе, ни в рабочем классе. Ее военный и политический разгром был воспринят со вздохом облегчения подавляющим большинством общественного мнения. Проявивший на протяжении этих трехсот дней сверхактивность и бесстрашие, Лукач оказался в результате побежденным, ему грозит смерть, его разыскивает полиция, вдобавок он рассорился с Белой Куном, а в Москве на него смотрят с подозрением из-за его левацких загибов.

И вот для него начинается очень долгий период изгнания, поскольку в Будапешт он вернется только в 1945 году. Он живет в Вене, в Германии и наконец, с 1930 года, в Москве. Хотя и венские годы были для него нелегкими, московские окажутся самыми плохими. И там, и здесь время было заполнено мелкими, но ожесточенными сражениями внутри коммунистической венгерской эмиграции, из рядов которой Лукач в конце концов был исключен в 1929 году. Однако в Вене, несмотря на материальные

трудности и преследования полиции, он сумел закончить большую книгу “История и классовое сознание”<sup>29</sup>, опубликованную в 1923 году. В Москве он снова столкнулся с нищетой и полицией, теперь уже своей, коммунистической, плюс невозможность публиковаться и высказываться, даже в своем кругу. Он оказывается изолированным в том самом “Институте марксизма” Рязанова, где до него работал Паскаль и куда власти помешали всех подозрительных марксистов. Несколько раз ему приходится отказываться от своей книги. Его приемный сын вскоре попадает в ГУЛаг. Его самого ненадолго арестовывают в 1941 году по обвинению в том, что он является секретным агентом венгерской разведки. Виктор Серж знал его в эти ужасные годы и преклонялся перед ним; однажды он встретил Лукача с женой на московской улице. “Он в это время работал в Институте Маркса — Энгельса, — рассказывает Серж, — его книги замалчивались, он старался не поддаваться атмосфере страха; будучи почти ортодоксом, он не решился пожать мне руку в общественном месте, зная, что я был исключен как оппозиционер”<sup>30</sup>.

Что это значит, быть “почти ортодоксом”? Виктор Серж, который очень рано поставил себя в положение нежелательного лица, вероятно, имеет в виду политический конформизм Лукача, который всегда следовал генеральной линии партии большевиков. У него не было оснований поддерживать Зиновьева, другом которого был Бела Кун. Не собирался он и следовать за Троцким, которого обвинял в антисоветизме. Одержав победу, уже в силу этого, Сталин стал воплощением разума мировой истории, из которого философ сделал для себя закон спасения. Лукач стал сталинистом не из цинизма, а потому, что так диктовала мудрость, и не житейская, а философская. В молодости он думал ускользнуть от фатальности буржуазного мира, идя путями духа. В зрелые годы он упорствует в своем гордом отказе, но находит для себя иное решение: гегелевский возврат к единству самосознания через революционную борьбу пролетариата под знаменем учения Маркса.

Книга 1923 года, от которой он вынужден был отречься в Москве, в которой исключалось всякое свободомыслие, по отношению к Марксу тем более, содержала теорию такого политического фидеизма. В “Истории и классовом сознании” автор в стиле молодого Маркса описывает несчастье капиталистического отчуждения, превращение человека в вещь благодаря силе денег. Только пролетариат, как носитель всеобщности, способен покончить с этим “овеществлением”, вернув труду человеческую ценность; поэтому классовое сознание пролетариата образует необходимое условие такого возвращения человека себе самому. В реальности это составляет то, что Гегель мыслил как соединение субъекта и объ-

екта в конце истории Разума. Опираясь на молодого Маркса, Лукач дает замаскированную критику ленинской теории познания как отражения “реальности” и энгельсовской — как диалектики природы. Одновременно он подчеркивает роль субъективного фактора человеческой эмансипации и приписывает таким образом “классовой точке зрения” почти абсолютную власть.

Марксизм Лукача слишком отдает гегельянством, чтобы не вызвать обвинений в идеализме со стороны кремлевских ревнителей идейной чистоты. И действительно, Лукач в эти годы писал своего “Молодого Гегеля”, которого ему удастся опубликовать только в 1948 году в Цюрихе. Однако его трактовка Маркса является слишком “субъективистской”, чтобы не приковать его окончательно и бесповоротно к партии большевиков, поскольку признано, что именно она воплощает пролетарское сознание и общий ход исторического развития. Поэтому на посторонний взгляд Лукач всегда будет представляться двойственной фигурой. С одной стороны, это утонченный и образованнейший интеллектуал, увидевший в марксизме возможность преодолеть современную раздвоенность, свойственную лучшим умам Европы<sup>31</sup>, а с другой — ограниченный теоретик, считавший большевистскую революцию развязкой мировой истории. Сам он не чувствовал никакого раздвоения. Он не уставал докапываться до сути марксизма, не задаваясь вопросами относительно большевизма. Стремясь дать ленинизму более правильное философское обоснование, чем сам Ленин, он был безразличен к истории Советского Союза и почти счастлив своей ролью козла отпущения<sup>32</sup>.

Формула Виктора Сержа очень удачна: “почти ортодокс”. К этому “почти” отнесем деликатные (и до 1956 года не высказываемые) упреки Сталину за то, что он слишком жестко проводил линию на единство партии, недооценивал значение союзников в революционной борьбе, слишком подчинял культуру пропаганде, — что имеет совершенно второстепенное значение по сравнению с построением социализма в СССР и необходимостью борьбы с фашизмом. С тех пор как Лукач решил перейти из разреженной атмосферы интеллектуальных кружков в сферу братского единения трудовых масс, он был обречен на поношения и одиночество. Но ничто не могло заставить его отказаться от идеи превосходства сталинского социализма над либеральной демократией и тем более — поставить под вопрос идеологические основы большевизма. Собственная жизнь не имела для него значения по сравнению с идеей коммунизма. Вплоть до самой смерти он не переставал подтверждать искренность своих самокритических заявлений, и у нас нет оснований ему не верить. Его интерпретация Маркса не имела бы в его собственных глазах никакого смысла,

если бы противоречила политике партии, ведущей к освобождению мирового пролетариата. Политическая слепота Лукача является порождением его интеллектуальной утонченности. Его литературное наследие крайне неровно. Он глубок, когда рассуждает о Гегеле или Марксе, и поверхностен, когда пытается восхвалять реальный социализм по сравнению с капиталистическим декадансом<sup>33</sup>. Трудно не согласиться с утверждением Колаковского, что Лукач критиковал сталинизм только изнутри самого сталинизма<sup>34</sup>.

В конце жизни Лукач подтвердил свою безграничную преданность Советскому Союзу, которая была сильнее всего, что он знал о его реальной истории. Он активно боролся за установление в Венгрии сталинской диктатуры, что не помешало ему чуть было не попасть в тюрьму в 1949—1950 годах; от ареста его спасла очередная серия самокритических заявлений. В это время он публикует свою самую плохую книгу — “Разрушение разума” (1954). После смерти Сталина для него наступают несколько лучшие времена: разногласия в партии создают для него возможность маневра. Открыто он определяет свою позицию только в октябре 1956 года, согласившись стать министром культуры в правительстве Надя за несколько дней до вторжения советских танков. Его карьера министра будет еще более короткой и неудачной, чем карьера комиссара просвещения в 1919 году. Несогласный с расколом в партии и выходом Венгрии из советского блока, он подает в отставку, что не мешает ему быть арестованным агентами КГБ вместе с Надем при выходе из югославского посольства, где они укрылись в момент советской интервенции. С саркастическим стоицизмом он играет в течение какого-то времени вынужденную роль участника народного восстания, которое сам же осуждал за “сползание” на буржуазные позиции. Депортированный в кафкианский замок румынской номенклатуры под Бухарестом, он отказывается давать показания против Надя, хотя позиции пришедшего к власти Кадара ему политически ближе<sup>35</sup>. За неимением более “пролетарских” добродетелей, он спасает свою честь. Пережив эту последнюю катастрофу, которая усилила на Западе его ауру ревизиониста, философ коммунистического “праксиса” проводит конец жизни на философском Олимпе, собирая по частям свою “онтологию марксизма”.

Пример Лукача показывает, что в ассортименте современных политических верований ленинизм является особо крепким напитком с высоким содержанием идеологии. Дело не только в том, что он делает человека невосприимчивым к данным опыта: в конце концов, все воинствующие учения обращают на факты минимальное внимание. Дело и не в длительности воздействия: коммунистическая вера утрачивается довольно легко, как об этом сви-

детельствует наличие миллионов бывших коммунистов. Но особую психологическую притягательность придает ей видимость соединения науки и морали, которые, принадлежа к различным сферам, сочетаются здесь чудесным образом. Воинствующий коммунист верит, что, исполняя предначертания истории, он в то же время сражается против эгоизма капиталистического мира за всеобщее счастье людей. Это позволяет ему убаюкать собственную совесть и при этом чувствовать себя образцовым гражданином; такое состояние очень близко к буржуазному филистерству, которое он так презирует: тоска существования становится ему чужда. Однако разрыв с верой вновь будит совесть и удваивает чувство одиночества. Независимо от побудительных причин и разнообразных путей, приведших их к коммунизму, все его адепты получают (или думают, что получают) в качестве аванса чувство примирения человека с самим собой. Лукач никогда не хотел отказаться от этого почти божественного состояния, со всеми вытекающими страданиями и радостями.

# *Глава пятая*

## Социализм в одной стране

Первый период советизма заканчивается в те годы, когда Интернационал исключил Суварина, а Суварин морально отошел от Интернационала. Я беру этот факт как символ первой большевистской диаспоры, за которой последуют другие. В большой трагедии русской революции он обозначает как бы начало малой трагедии, связанной с разгромом, изгнанием и ликвидацией большевиков поколения Октября 1917. Хотя первый период и не был однородным, поскольку состоял и из военного коммунизма, и из нэпа, он все же четко отделяется от того, что за ним последовало. Он с начала до конца проходил под руководством основателя режима, человека, без которого не было бы Октябрьской революции и, если уходить дальше в прошлое, не было бы и партии, которая эту революцию совершила.

Не имеет особого значения, что Ленин проводил противоречивый политический курс, гораздо важнее то, что он придал революции экзистенциальное, практическое и мифологическое единство. Он взял на себя роль, предоставленную ему современной демократией. — роль вождя, освободившего свой народ от тяжести прошлого и ведущего его к новому и образцовому будущему. Этот имидж избавлял его от необходимости что-либо доказывать — преимущество, которое затем распространилось и на всю партию: пусть будут террор или голод — во всем виновата контрреволюция. Фигура Ленина имеет существеннейшее значение для понимания того, как сформировался советский миф. Она отвечала запросам времени в еще большей степени, чем фигура Робеспьера. Все, что было в ней абстрактного, способствовало ее универсальности.

Поэтому ее исчезновение поменяло все в равновесии революционного сознания. Произошло то, что должно было произойти, — наступил конец революции.

Начало конца наметилось еще при жизни Ленина, после остановки Красной Армии перед Варшавой, а затем после Кронштадта и введения нэпа. Военное поражение представляло собой конец советского контрнаступления в Европе. Подавление Кронштадтского восстания, осуществленное Лениным и Троцким, знаменовало “кровавые сумерки Советов”<sup>1</sup>. Нэп заставил явиться призрак Термидора. Внутри большевистской партии “рабочая оппозиция” уже заявила о бюрократизации революции; разгром этой группы, сопровождавшийся запретом на фракционную деятельность, разбил последний термометр, который мог давать представление о состоянии общества и общественного мнения. Ленин, который всю жизнь отстаивал свою линию внутри маленькой партии, теперь, когда партия стала большой и могущественной, подчинил ее диктату вождя. О том, что такая эволюция соответствовала его изначальным представлениям о партии, Роза Люксембург говорила уже давно. А в 1920—1921 годах старая активистка Ангелика Балабанова, солидарная с Пьером Паскалем, покинула эту окаменевшую революцию.

Но лишь чуть позже, в 1923 году, сначала болезнь, а затем смерть Ленина потрясли до основания иллюзорную надежду на мировой Октябрь. Исчезновение вождя совпало с отливом движения, воплощением которого он являлся.

Сам Ленин не верил, что пролетарская революция сможет победить и выжить в отсталой России в течение сколько-нибудь длительного времени. Он мыслил Октябрь только как начало широкого международного движения, столь же всеобщего, как предшествовавшая ему война. За Россией должна была последовать “цивилизованная” Европа, прежде всего Германия. Это предсказание не торопилось оправдываться, так что самому Ленину пришлось биться в Центральном Комитете против своих же товарищей, чтобы заставить их подписать в марте 1918 года в Брест-Литовске капитуляцию, которая в ноябре приобрела некоторый смысл в связи с концом войны. Мятежи в немецкой армии и флоте, похожие на аналогичные события годичной давности в России, казалось, свидетельствовали о начале революции в центре Европы, в стране, которая была родиной марксизма и где пролетариат готов был действиями искупить предательство своих вождей в 1914 году. Армия была побеждена, кайзер вынужден эмигрировать, власть лишилась легитимности вследствие поражения в войне. Германия должна была подхватить эстафету русской революции.

Но германская революция срывалась раз за разом: в конце 1918, потом между январем и апрелем 1919 и, наконец, в 1923 году в центральной Германии и Гамбурге. Впрочем, выражение “срывалась” является неточным, ибо позволяет думать, будто революция была возможна. В спорадической гражданской войне, которая шла на протяжении первых лет Веймарской республики, столкнулись две стороны, причем и та, и другая действовали вне закона и имели общей целью свержение конституционного строя. Оба лагеря, и коммунисты, и националисты, поражают историка своей слабостью. Они способны устраивать путчи, но неспособны одержать победу и захватить власть надолго. Но крайне правые все-таки менее беспомощны: они используют ненависть к беспорядку, страх перед коммунизмом, милитаристские традиции и национальное несчастье. В противоположном лагере сторонникам пролетарской революции по русскому образцу удастся собрать лишь маленькие группы рабочего класса, возглавляемые вождями, которые не могут договориться между собой, даже после (может быть, именно после) рождения немецкой компартии.

И немецкое профсоюзное движение, и подавляющее большинство социал-демократии на протяжении всего этого периода остаются решительно враждебными большевикам и проводят политику, прямо противоположную той, что проводили большевики в России, — то есть стремятся совершить Февральскую революцию и избежать Октябрьской. Следуя учению Каутского, они борются за создание демократической республики в стране, где сильны пережитки военной аристократии и монархизма. Для них важно остановить распад Первого Рейха именно в тот момент, когда такой распад мог бы создать благоприятные условия для немецкого Октября. Поэтому они без колебаний опираются на остатки регулярной армии и даже иногда на правых боевиков, чтобы в зародыше подавить немецкие Советы. Но происходит и обратное: в марте 1920 попытка военного путча, организованная Каппом<sup>2</sup> и поддержанная частью рейхсвера, сорвана всеобщей забастовкой по призыву профсоюзов. Обстоятельства заставили социалистов возглавить сопротивление правому перевороту.

Немецкая социал-демократия оказывается зажатой между двумя борющимися лагерями, из которых один лишает ее национальных лозунгов, а другой — революционного ореола. Она позволила взвалить на себя ответственность за поражение и признала Версальский договор. Она вынуждена сражаться против большевиков, вместе с которыми еще недавно боролась под одним знаменем и во имя общих целей. Помалкивающая о войне, которую она не любила, но с которой и не боролась, враждебная революции, которая надвинулась не с той стороны Европы, откуда следовало, не-

мецкая социал-демократия получила от истории парадоксальную миссию: создать и защищать буржуазную республику. Это была необычная, прозаическая и оборонительная задача, она не будила никакого ответного эха ни со стороны традиционных представлений, ни со стороны современных общественных настроений, ни со стороны немецкого политического воображения.

Однако эта социал-демократия, духовно обездоленная, поработанная обуржуазившимся марксизмом, зажатая обстоятельствами, не отвечавшими ее ожиданиям, все-таки сумела добиться своего: в конце 1923 года поражение коммунистического восстания в Гамбурге и последовавший затем провал путча Людендорфа — Гитлера в Мюнхене означали, что для республики наступила осень победы. Даже оккупация французами Рура не нарушила соотношения сил во внутригерманской борьбе: об этом свидетельствует та легкость, с которой были подавлены мятежи как крайне левых, так и крайне правых. Если социал-демократы оказались столь сильными в столь неблагоприятных обстоятельствах, то произошло это не потому, что они, как утверждала коммунистическая пропаганда, “перешли на службу буржуазии”; такая интерпретация, объясняющая поражение большевиков в Германии нечестностью социал-демократов, умалчивает о главной причине этого поражения. Нельзя сказать, что субъективные факторы не имели значения: и верность социалистов республиканской конституции, и нереалистичность германской политики Коминтерна, и раскол среди руководителей КППГ, — все это сыграло свою роль. Но гораздо важнее объективные факторы, лишившие действенности идею немецкого Октября.

Ленин прекрасно отдавал себе отчет в исключительных обстоятельствах, приведших его к власти. Они, действительно, были настолько исключительными, что до его возвращения из Женевы и ошеломляющих “Апрельских тезисов” никто в большевистском руководстве не думал о возможности новой революции столь скоро вслед за Февральской. Даже за несколько дней до взятия Зимнего красногвардейцами некоторые друзья Ленина, такие как Зиновьев и Каменев, выступили против этой авантюристической затеи. И все же Ленин оказался прав благодаря своему чувству конъюнктуры, тому поразительному чутью, которое характеризовало его как гениального человека действия. Но он знал, сколь ненадежна победа, одержанная благодаря стечению обстоятельств, и это побудило его вернуться к более ортодоксальному марксизму, учитывающему законы общественного развития. На съезде Советов в апреле 1918 года он предупреждал, что русской революции суждено погибнуть, если ей не придут на помощь революционеры всех стран. Выраженные в этой фразе надежды

большевиков и Интернационала на германскую революцию, казалось, получили подтверждение в конце того же года с разгромом и распадом Рейха. Впечатление, однако, было обманчивым. Немецкий распад ноября 1918 года не сравним с русским распадом зимы 1917. В Германии он был вызван ударом извне, тогда как Российская империя рухнула, подточенная и разложившаяся изнутри. В империи Вильгельма II, проникнутой духом национального избранничества, военная капитуляция вызвала нечто вроде морального землетрясения, но не разрушила общество, не уничтожила иерархию и традиции, не отменила влияния партий на общественное мнение. Главное место на политической шахматной доске по-прежнему занимали представители большинства в социалистической партии, Католический центр и либеральные демократы; может быть, не меньшую роль играл рейхсвер, и еще большую — мобилизация крайне правых и боевых дружин, поддержанная аристократическим и милитаристским духом, усилившимся в результате национального унижения. Россия 1917 года дрейфовала в сторону большевизма, не встречая на своем пути ни социальных классов, ни партий, ни твердой воли, которые позволили бы обуздать анархию и возродить государственную власть. Но ничего подобного не происходило в Германии после ноября 1918 года. Короткая вспышка Советов, ориентировавшихся, скорее, на Розу Люксембург, чем на Ленина, была подавлена уже в середине января 1919 года. Последующая деятельность крайне левых активистов ленинской ориентации представляла собой в большей мере удобную мишень для националистов, чем подлинную революционную угрозу. Для молодой немецкой республики, которая продолжала жить легендой об “ударе ножом в спину”, главной опасностью оставалась опасность справа. И второй раунд политической борьбы между тремя силами, в 1930—1933 годах, делает это очевидным.

Тем не менее, Ленин не переставал призывать на помощь и готовить германскую революцию. Универсализм русской модели Октября проходил первую проверку в Берлине. Успех второй пролетарской революции в эпицентре культурной Европы снял бы с российских событий печать исключительности, подтвердив, что они представляют собой лишь первую волну мирового прилива. В соответствии с собственным духом, русская революция подталкивала своих сторонников в Германии вести против Веймарской республики подрывную работу, параллельную той, которую вели правые боевики. Большевики напоминали о своем опыте разгона Учредительного собрания, о том, что им удалось сократить до минимума временную дистанцию между “буржуазной” Февральской революцией и последовавшей за ней пролетарской. Наконец, они

помнили о том, что попытка контрреволюционного переворота генерала Корнилова<sup>3</sup> в сентябре открыла им путь к власти.

Независимо от этих конъюнктурных соображений, большевики следовали революционной логике, согласно которой политическая борьба всегда ведется между двумя лагерями, и только между ними: кто не с нами, тот против нас. Кто не революционер, тот контрреволюционер. Поскольку все политические баталии могут быть выведены из классовой борьбы и поскольку послевоенная ситуация поставила пролетарскую революцию на повестку дня, постольку борьба за власть в больших европейских странах приводит к столкновению между рабочим классом и буржуазией, между рабочими партиями и партиями буржуазными, причем первые являются революционными, а вторые — контрреволюционными. Что большевики именно себя считают единственными истинными представителями рабочего класса, было ими ясно продемонстрировано во время Октябрьской революции: с середины 1918 года их партия осталась единственным действующим лицом на политической сцене, разгромив даже левых эсеров, аграрную политику которых она себе предварительно присвоила<sup>4</sup>. Все остальные политические силы, от меньшевиков до белых, стали рассматриваться как силы контрреволюции. Почему бы и в Германии не объявить контрреволюционерами всех, от социал-демократов до правых босвиков? Ленинская революция стремится привести к общему знаменателю все, что она ниспровергает.

Но она также следует тактике использования в собственных целях того или иного противника, если он недостаточно организован. В этом отношении Германия предоставляла большие возможности коминтерновским стратегам, которые могли использовать различные силы в качестве рычагов: правящую партию социал-демократов; крайне правые силы, враждебные республиканскому строю; армию; общественное мнение, ставшее особенно националистическим после того, как Пуанкаре оккупировал Рур в январе 1923 года. В самом деле: социал-демократия, “буржуазное” крыло рабочего движения, занимает политическую территорию, которую можно отвоевать с помощью стратегии единого фронта. Реакционные элементы армии и другие консервативные силы могут быть использованы для ослабления одновременно и Веймарской республики, и французского империализма. В контексте 1923 года совпадение интересов и возможный союз между коммунистами и националистической Германией, жертвой Версальского договора, постоянно муссируются в выступлениях коминтерновских лидеров. Радек, бывший в это время главным “оком Москвы” в Берлине, не упускал возможности пройти по этой теме, которая не совсем соответствовала пролетарскому интернационализму. Зато

она давала возможность коммунизму не связывать свое будущее исключительно только с революцией октябрьского типа. Если рабочая революция была разгромлена на улицах Гамбурга, советское государство может попытаться вступить в союз с силами, которые одержали победу.

В 1923 году, когда большевистские вожди не могли прийти к согласию относительно стратегии в Германии и видели, как постепенно угасают их надежды на немецкую революцию, Ленин уже находился вне игры. Несколько оправившись от первого инсульта, он составляет свое знаменитое “завещание” в конце 1922 года, но в марте 1923 новый инсульт подкашивает его уже окончательно. Он умрет в январе 1924 года. Русская революция теряет своего вождя именно в тот момент, когда рассеиваются надежды на то, что немецкая революция продолжит мировую миссию Октября.

Тут же начинается и борьба за ленинское наследство, которая приведет через пять лет, в 1927 году, к переходу всей полноты власти в руки Сталина. Я сейчас не буду вдаваться в перипетии этой борьбы, одновременно фундаментальной и по-византийски скрытной, в ходе которой на ближайшие полстолетия оттачивался лживый язык, чей скрытый смысл понятен лишь кучке посвященных, вовлеченных в свирепое соперничество. Меня в данном случае интересует лишь то, каким образом победа Сталина, постепенно устранившего всех своих соперников, повлияла на отношение большевизма к универсальным задачам, сместив акцент с интернационального на национальное. Если их соотношение было более или менее ясно при Ленине, в ситуации, созданной первой мировой, то с возникновением сталинского “второго большевизма” положение изменится: война стала забываться, революционный цикл завершился, началась экономическая и политическая стабилизация капиталистического мира. Обстоятельства, способствовавшие выходу Октябрьской революции за пределы России, переменились, а Ленин, символизировавший такой выход, умер.

Понять, в каком направлении эволюционировал революционный универсализм в молодом Советском Союзе, поможет рассмотрение советской символики. После смерти Ленина его тело мумифицируют и выставляют у стен Кремля для всеобщего поклонения, несмотря на протесты его вдовы. Накануне всенародных похорон Сталин произносит на Втором съезде Советов официальную речь в форме религиозной проповеди, которую завершает торжественной клятвой верности почившему вождю: “Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, с честью выполнить этот твой завет”. И т.д. Бывший грузинский семинарист

старается быть на высоте положения и облекает ленинистские тезисы в литургическую форму, заимствованную из своей юности. Тем самым он делает их более священными и более жесткими, причем историку трудно сказать, что здесь идет от внутреннего убеждения, а что — от циничного стремления манипулировать людьми. Обращаясь к узкому кругу партийной аристократии, он говорит как посвященный с посвященными, предлагая им разделить между собой честь принадлежности к высшей касте. Прошли времена споров по поводу истолкования текстов Маркса, теоретических дискуссий об отношениях между партией и рабочим классом. Партия отныне должна быть религиозным синклитом, единой сплоченной церковью. На языке, заимствованном из прошлого, Сталин дает понять Троцкому, Зиновьеву и всем остальным, что единство партии — непреложный закон и что именно он, Сталин, является его единственным истолкователем и хранителем.

Ленин всю свою жизнь посвятил партии, но он ее не обожествлял. Он, действительно, разработал теорию, согласно которой марксистская партия является необходимым авангардом рабочего класса, без которого пролетариат никогда не сможет подняться над уровнем профсоюзной организации. Он, действительно, осуществил на X съезде в 1921 году запрет фракционной деятельности. Но всю свою жизнь он прожил в страстных теоретических и политических спорах. Ему даже случалось в некоторые решающие моменты оставаться в меньшинстве, как, например, перед заключением Брестского мира. Его непререкаемый авторитет был основан на том, что он привел партию к власти, а не на том, что он окружил себя преданными аппаратчиками. К тому же после Октября 1917 он значительную часть времени отдавал исправлению того, что считал многочисленными ошибками партии, связанными с культурной отсталостью России. Можно без конца перечислять его обличительные выступления на эту тему, особенно в последние годы жизни. Парадокс Ленина состоял в том, что он сознательно установил диктатуру партии и сам же боялся ее последствий. Этот догматический сектант, человек поспешного действия не побоялся поставить государство под контроль одной партии, не побоялся установить царство террора, но незадолго до смерти он испугался бюрократизации им же созданного режима.

Что касается Сталина, то для него бюрократия и российская отсталость были самой подходящей средой. С 1922 года он становится генеральным секретарем и постепенно превращает этот первоначально незначительный пост в средство подбора преданных ему кадров и овладения властью. Грузин, он становится более русским, чем сами русские. Он был плохо образован, мало начитан.

Ленин добавил к марксизму значительную долю русского народничества, но одной ногой он стоял в европейской культуре. Сталин знал Маркса только через Ленина, налагая на его упрощенную интерпретацию еще и собственное невежество. У него нет склонности ни к дискуссиям, ни к идеям вообще, но он знает, что они являются частью большевистской традиции: любой политический шаг, любой стратегический поворот должны быть обоснованы “теоретически”. Тот, кто хочет быть продолжателем Ленина, должен овладеть и этим искусством. Поэтому он публикует “Основы ленинизма”<sup>4</sup>, работу, представляющую собой курс лекций, прочитанных в Коммунистическом университете им. Свердлова в апреле 1924 года. Это — первый образчик его железобетонной прозы, построенной из чередования вопросов и канонических ответов, как в катехизисе, с бесконечным повторением “во-первых”, “во-вторых” и т.д. В плане учения это то же самое, что мавзоль Ленина в символическом плане. Сталин написал комментарий, долженствующий стать священным истолкованием мысли Ленина. Свой текст он часто прерывает длинными цитатами, словно для того, чтобы надежнее присвоить себе мысли отца-основателя. Время от времени возникают саркастические замечания в адрес того или иного из бывших или нынешних противников, так как текст должен читаться на двух уровнях: как изложение политической догмы и как более или менее явное сведение счетов. В результате получается воспитательный трактат, лишенный изящества, зато ясный, — упрощение ленинизма, который, в свою очередь, был упрощением марксизма. Собственным вкладом составителя этого простонародного катехизиса явилось прославление русского рабочего класса и крестьянства, которое, несомненно, вызвало бы возмущение Ленина. Вождь Октябрьской революции считал себя революционером, хотя и русским. Грузин Сталин решил, что он — русский, потому что революционер.

Незадолго до того, как Ленина сразил второй удар, между ним и Сталиным произошло столкновение, как раз по поводу Грузии. Ленин обвинил Сталина в попытке установить великорусское господство над маленькой республикой, откуда он сам был родом и где советская власть, после свержения меньшевистского правительства, держалась на штыках Красной Армии. Сталин отступил, но не сдался. Тогда рассматривался проект создания “Союза Советских Социалистических Республик” взамен “Российской Советской Федеративной Социалистической Республики” с целью обеспечить равные права союзных республик. Сталинский проект основывался на принудительной “советизации” братских республик с их последующим включением в Союз под видом добровольной ассоциации. Здесь, как и везде, единообразие диктатуры пар-

тии большевиков заранее лишало содержания всякий национальный или конституционный плюрализм. Великорусский шовинизм, так часто обличавшийся Лениным, получил неожиданное воплощение в партии Ленина, ставшей единовластным хозяином страны, опять же, в соответствии с ленинской концепцией. А не менее неожиданный вершитель этой метаморфозы был родом из Тифлиса.

Такая же эволюция происходила в это время и внутри III Интернационала, который был задуман Лениным в 1919 году как новый генеральный штаб международной революции взамен предыдущего, предавшего свою миссию в августе 1914 года. Коминтерн, таким образом, и продолжал социалистическую традицию, и порывал с ней: он ставил своей задачей универсализацию опыта Октября 1917, тогда как II Интернационал этот универсализм упорно отрицал. Коминтерн был детищем большевиков, и они в нем задавали тон. Достаточно вспомнить, какими условиями они обставляли вступление в него и какие, подчас весьма сложные, переговоры им приходилось вести с партиями-кандидатами. Вспомним также, что руководящие должности распределялись всегда так, что рычаги власти оказывались в руках московских товарищей. Ленин оставался высшим арбитром, даже не будучи облечен официальным постом; его авторитет был более политическим, чем административным.

Но с течением времени Коминтерн бюрократизировался, и этот процесс начался еще при Ленине. Начиная с 1921—1922 годов идут непрерывные разбирательства дел партий-членов, чего никогда не было во II Интернационале. Усиливается не только поток директив, но и контроль за активистами. Московское руководство рассылает повсюду своих тайных эмиссаров, иногда по несколько в одну и ту же страну; эти доверенные лица не только собирают информацию, но и дают руководящие указания. Короче, большевистский централизм переносится также и в интернациональный план.

После смерти Ленина возникает новое явление: претенденты на ленинское наследие стремятся использовать в своих интересах различные национальные “секции” движения. Ничто так ясно не показывает зависимость других партий от русского Политбюро и ничто так не усиливает эту зависимость, как распространение на них московских батальонов. Первое поражение Троцкого сопровождается чистками во всех европейских партиях. Мы видели, что во Франции Суварин потерял не только свою должность, но и свою принадлежность к Интернационалу даже не за поддержку Троцкого, а за идею разграничения русских и международных проблем. В следующем году происходит смещение Зиновьева, которого

должность председателя Коминтерна не могла оградить от поражения в Политбюро. Тут же его немецкие протеже, Маслов и Рут Фишер, не захотевшие перейти на сторону Сталина, вынуждены оставить руководство немецкой компартии<sup>6</sup>. Все названия разнообразных уклонов в большевистской партии — неоменьшевизм, троцкизм, зиновьевизм, правый и левый уклоны, социал-демократизм — немедленно распространяются на другие партии, все более непосредственно зависящие от мощи советского государства. И самое печальное в этой ситуации состоит в том, что все сменяющие друг друга оппозиции пытаются бороться со Сталиным внутри определенного им идеологического и политического поля партийной ортодоксии, чем заранее обрекают себя на поражение.

В этой основанной на подтасовках борьбе, начиная с 1924 года, появляется наконец ключевой лозунг: “построение социализма в одной стране”. Эта формула имеет несколько назначений. Во-первых, она соответствует общему ощущению после поражения немецкой революции: кончился послевоенный период и вместе с ним — заразительность советского примера. Во-вторых, в ней заключена полемика против Троцкого и его старой теории “перманентной революции” (выдвинутой в 1905 году), согласно которой русская буржуазно-демократическая революция, выполнив свои задачи, сможет перерасти свой буржуазный горизонт, если получит поддержку международной революции. Ленин в свое время оспаривал эту теорию, близкую, однако, к его собственной<sup>7</sup>, пока Октябрь 1917 не примирил обоих политиков. Однако в 1924 году, в совершенно другом контексте, Сталин вспомнил о теории “перманентной революции”, чтобы представить ее как свидетельство капитулянтства Троцкого, его неверия в возможность построения социализма в Советском Союзе из-за отсутствия необходимой международной поддержки. Таким образом Сталин поражал одним ударом две цели. Путем анахронизма и подтасовки он возрождал противопоставление между “ленинизмом” и “троцкизмом”, между тем как Ленин не уставал повторять после 1917 года, что для победы большевиков совершенно необходимо, чтобы революция произошла также и в других странах. Тем самым он обладал себя авторитетом покойного вождя и одновременно выступал как защитник революционной чести русского пролетариата и крестьянства.

Ибо конечный смысл лозунга “построения социализма в одной стране” состоит в заигрывании Сталина с русским шовинизмом. Ставя Троцкого в вдвойне невыгодную позицию национального и революционного поражения, он снова привлекает на свою сторону специфический контингент большевистской партии, к которому он уже обращался после смерти Ленина. Ибо он общается

не с народом, давно уже принужденным к молчанию, а с партией, вставшей над страной и изолировавшей себя от страны. Это уже не партия старых большевиков, хотя они еще остаются на руководящих постах, но в массе своей это партия новых членов, пришедших в нее десятками тысяч после того, как она одержала победу. Все это кадры новой администрации страны, в основном местные руководители, развращенные неограниченной властью, опьяневшие от своего могущества и большевистской пропаганды “пролетарского” насилия. Выдвинутые на руководящие посты Сталиным, после того как он стал во главе партаппарата, они всем ему обязаны, близки ему грубостью идей и нравов и готовы всячески его поддерживать и курить ему фимиам. В партии большевиков всегда практиковались принуждение и манипулирование, но начиная с 1924 года Сталин сам заранее комплекзует состав съездов, а его сторонники вместо аргументов прибегают к оскорблениям и насилию. Именно о таких партийцах думал Ленин в тот последний год, когда сохранял еще ясность мысли; он был ошеломлен их невежеством, чванством (“комчванством”), ложью (“комвранием”). Вот к этим-то людям, сервильным и всемогущим, невежественным и самодовольным, и апеллирует Сталин со своими идеологическими рецептами, по сравнению с которыми дореволюционные партийные споры кажутся учеными диспутами, хотя они-то и открыли дорогу сталинским концентратам. Каким далеким кажется Маркс! Теперь все сводится к столкновению двух систем. С одной стороны, ленинизм, научная программа действия, проверенная историей, осуществляемая партией большевиков, но встречающая сопротивление врагов внешних и внутренних; с другой — троцкизм, заклятый враг ленинизма в прошлом и в настоящем, смертельная угроза для будущего, идеология капитулянтства под маской интернационализма. Лозунг “социализм в одной стране” опирается на важнейший элемент “ленинистской” психологии: убеждение во всемогуществе воли, если она находится у власти. Сталин добавил сюда еще один ингредиент, старательно замаскировав его, чтобы избежать упрека в неверности Ленину; этот ингредиент, которым Сталин пользуется мастерски, — великорусская национальная страсть. Как французские якобинцы, большевики позднего призыва попадают в ловушку, поверив в идею избранной страны, историю которой они призваны переписать заново. Сталинская формула позволяет им вернуться к традиционному шовинизму господствующей нации, имеющему теперь вид верности тоталитарной партии.

Возглавляемое ими государство еще не настолько мощно, чтобы мечтать о распространении за пределы Советского Союза. Но внутри своих границ оно уже запретило всякую национальную ав-

тономию и сделало это гораздо эффективнее, чем царское самодержавие: под предлогом приобщения всех наций к строительству социализма сталинисты подчинили всех единообразию своей власти и своей лжи. Что касается международного коммунистического движения, то с откатом европейской революции под контролем большевиков остались лишь маленькие островки некогда обширного пространства. Руководители “братских” партий превратились в послушные пешки, которые Сталин по своей воле переставляет на шахматной доске; вся международная аристократия коммунизма должна волей-неволей включиться в политическую систему Москвы. Сами эти партии теперь являются анклавами русской политики в собственных странах. Они тоже, на свой лад, стали государственными партиями с той, однако, разницей, что свой авторитет они получают не от своего государства, а от “социалистической” России, которая и есть последняя инстанция, решающая их судьбу. В этих партиях говорят на таком же эзотерическом языке, что и в Москве, и живут в постоянном страхе перед ней. Для этой мании подражания на языке посвященных нашлось специальное слово: “большевизация”. Это — чтобы не говорить: “русификация”. “Большевизация” еще содержит в себе нечто от универсального призвания Советов, хотя на самом деле речь идет о подчинении государственной партии диктату из Москвы.

Для характеристики этой системы я, вслед за многими другими, употребляю слово “тоталитаризм”, потому что оно наиболее точно передает то новое в современной политике, что не укладывается в понятие монолитности какой-либо партии или группы. Оно указывает на стремление партии быть для себя высшей целью и заставить своих членов служить себе *perinde ac cadaver\**. Такое стремление сблизжает ее с религиозной сектой, забирающей в свое распоряжение общественную и частную жизнь, тело и душу своих членов, но цель ее отнюдь не религиозная, а чисто политическая — захват и удержание власти. Безоговорочное подчинение членов достигается с помощью общей идеологии, которую вождь партии истолковывает и обогащает применительно к обстоятельствам. Фиктивный язык идеологии облекает политическую деятельность в сакральные формы и отделяет друзей от врагов каждый раз, когда возникает такая необходимость. Большевики выступают в качестве священников некой идеократии, а Сталин — в качестве главы церкви, которому все верят на слово.

Этот анализ позволяет подойти к знаменитому вопросу о том, что объединяет и что разъединяет Ленина и Сталина. Для друзей русской революции (которые были, есть и будут) естественно

\* До последнего издыхания (лат.). — Прим. пер.

стремление отделить Ленина от Сталина; они отказываются от Сталина, чтобы таким путем спасти идею и создателя советского режима. У противников проявляется противоположная тенденция: засунуть и зачинателя, и продолжателя в один мешок. Но реально их следует рассматривать и в связях, и в различиях. Ленин отождествлял диктатуру партии с диктатурой пролетариата, за что и подвергся критике со стороны Розы Люксембург. От него же пошло возвеличение террора, презрение к законам, смещение партии и государства, сектантская страсть к идеологическим дебатам, идея партийной аристократии, лежащая в самом основании большевизма. Наконец, Ленин создал, поддерживал и продвигал Сталина вплоть до последнего года своей жизни, когда половинчато и запоздало попытался отработать назад. Однако при Ленине в партии велись дискуссии. Тоталитарная партия, соединившая идеологию с террористическим государством, яростно истребляющая свои старые кадры, — это уже Сталин.

Рут Фишер<sup>8</sup> писала почти пятьдесят лет тому назад, что для понимания истоков гитлеризма недостаточно рассматривать историю Германии только со стороны ее противоречий с Западом. Антагонизм между нацизмом и западными демократиями дает, конечно, для этого основания, но нельзя забывать и о том вкладе, который внес сталинский тоталитаризм в формирование гитлеровского тоталитаризма. Действительно, победа Сталина вдвойне облегчила победу Гитлера. После Муссолини это был для фюрера второй пример для подражания, наперекор и вопреки всем публичным нападкам: по жестокости, цинизму и двуличию Сталин был прямым предшественником автора “Майн Кампф”. Более того: посредством вливания русского национализма в ленинизм Сталин также создал тайную связь между собой и Гитлером, а его агрессивное русификаторство в международном коммунизме усилило популярность Гитлера среди немецких правых<sup>9</sup>.

Итак, первый большевизм умер с победой Сталина. Новый вождь еще не уничтожил ветеранов, но уже поставил их на колени, а Троцкого изгнал за пределы страны. Его победа подтвердила опасения, высказанные Пьером Паскалем в 1921 году, а Сувариным — несколько лет спустя. Революция мертва, — эта безжалостная констатация содержится в литературном триптихе, принадлежащем перу румынского франкоязычного писателя Панаита Истрати и двух его друзей, Виктора Сержа и Бориса Суварина<sup>10</sup>.

Часть, написанная самим Панаитом Истрати, не самая лучшая: это слезливый отчет о постигшем его разочаровании. Романист, приглашенный в качестве симпатизирующего на празднование де-

сятой годовщины Октябрьской революции, рассказывает о долгом, длившемся шестнадцать месяцев путешествии через всю страну, между 1927 и 1929 годами. Интерес рассказа состоит в том, что он рисует не только присутствие партийной диктатуры в каждом уголке страны, но и психологический процесс драматического разрыва автора с коммунизмом. Второй автор смотрит на вещи под более политическим углом зрения, что и понятно, поскольку это — Виктор Серж<sup>11</sup>, ветеран революционной борьбы, шурин Пьера Паскаля, как и он, давно обеспокоенный ходом событий и слишком преданный заветам анархизма, чтобы примириться с постреволюционным оледенением. Он приходит к радикальным выводам: советская демократия — это ложь, подлинная реальность состоит в диктатуре разложившейся партии, состоящей из циничных карьеристов, пришедших на смену борцам Октября. О методах, которыми была ликвидирована троцкистская оппозиция, Виктор Серж пишет строки, достойные Кюстина: «Невозможно передать, в какой атмосфере разворачивается это сражение. Все окутано тайной, мраком, смутными слухами, тревожным ожиданием, противоречивыми утверждениями, опровержениями, неожиданностями, тоской. Люди таинственно исчезают, выйдя из дома или по дороге на работу...»<sup>12</sup>

Последняя глава этой маленькой книги, трогательной в своей печальной трезвости, посвящена Горькому, годом раньше вернувшемуся на родину из Сорренто. Знаменитый русский писатель враждебно встретил Октябрьский переворот. Во время гражданской войны он наполовину примирился с большевистским режимом, сохраняя за собой свободу публичной критики, — с чем, впрочем, и был связан его отъезд в Италию в 1921 году. Его возвращение, последовавшее после долгих переговоров<sup>13</sup>, было тщательно подготовлено партией: от самой границы шествия, делегации, красные знамена приветствуют его готовность склониться перед ложью новых времен. Он, обличавший ленинский Октябрь, благословляет сталинский большевизм. Этой капитуляции Виктор Серж дает психологическое объяснение: политическая наивность старого писателя, ставшего жертвой своей тоски по родине и собственного тщеславия. Он называет это «трагедией Горького».

Суварин своей книгой начал долгую карьеру хроникера советской катастрофы. Он написал третью часть этой странной, на две трети анонимной трилогии, опираясь на тщательный анализ советской прессы, в первую очередь «Правды», и на статистические данные; это — его ответ на расцветающий жанр прекраснородушных рассказов о путешествиях в страну Советов. Как всегда, в прозе Суварина нет никаких литературных эффектов, повествование строится в форме почти школьного изложения, от экономики к

политике. Из накопления большого количества данных и фактов возникает картина страны, одинаково нищей и в городе и в деревне, все еще не поднявшейся до уровня 1913 года. Беда была бы не так велика, если бы речь шла только о тяжелом наследии прошлого и неблагоприятном стечении обстоятельств. Но Суварин показывает, что речь идет о другом, — о своего рода инволюции общества, угнетаемого бюрократическим авторитаризмом, коррупцией, идеологическим обскурантизмом, диктатурой партии, слившейся с государственной полицией.

Книга “Голая Россия” уже рисует то, что несколько позже назовут Россией “тоталитарной”. Привычки прежнего мышления побуждают Суварина видеть в этом плоды контрреволюции и государственного капитализма, доводящего до конца тенденции капитализма вообще: по-своему продолжая Каутского и Леона Блюма, с которыми он раньше боролся, Суварин пытается дать марксистский анализ краха марксистской революции. Однако главное для него — это констатация краха как такового.

Эти три очерка, дающие в совокупности бескомпромиссную и трезвую оценку происходящего в России, имели в то время ограниченную аудиторию. Читатели левых взглядов, к которым они обращались, не могли разделить столь полного осуждения. Они считали его преувеличением, порожденным разочарованием авторов в предмете их любви: это классическое подозрение долго еще будет работать на пользу советскому коммунизму, поскольку его история будет писаться в основном бывшими коммунистами. Но если нельзя верить ни писателям правых взглядов, из-за их предвзятости, ни социал-демократам, из-за их враждебности, ни бывшим коммунистам, из-за их разочарованности, то оказывается, что Советский Союз неуязвим для критики: остается принимать за чистую монету то, что он сам говорит о себе, с некоторой поправкой на “пропаганду”. Но почти никто не догадывается, что все, что он говорит о себе, — чистая ложь. В этом — главный, тщательно охраняемый секрет этой страны, секрет слишком печальный, чтобы в него углубляться. Кроме того, книги, особенно книга Истрати, появились слишком рано, Советский Союз недавно потерял Ленина, его продолжателю надо дать немного времени, прежде чем выносить окончательное суждение.

Но вот Сталин, сломив сопротивление “левой оппозиции” с помощью Бухарина, с 1928 года начинает атаку на Бухарина и “правых”. Бухарин — последний и самый молодой из старого большевистского генерального штаба, бывший в свое время любимцем Ленина. Впрочем, теперь все это уже не имеет значения: слишком широкомасштабные акции готовит Сталин, а его власть над партией уже безгранична. В это время под прикрытием услов-

ных ленинских терминов “правой” и “левой” оппозиции речь идет о судьбе крестьянства, о том, какую позицию по отношению к нему должна занять диктатура пролетариата. Эта проблема почти так же стара, как сама партия, и Ленин никогда не упускал ее из вида. Если строго следовать учению, то интересы двух классов, пролетариата и крестьянства, противоположны, так как крестьянин является мелким производителем, порождающим капиталистические отношения. Но введения в ленинскую схоластику такой категории, как “бедное крестьянство”, в противоположность “кулакам”, позволяло избежать тупика, обрекавшего пролетариат на то, чтобы ограничиться буржуазной революцией: сплотив вокруг себя бедное крестьянство, рабочие обретали союзника в классовой борьбе за переход к социализму...

В 1917 году все эти абстракции разбились о русскую реальность. Взяв власть, большевики ограничились тем, что повторили лозунг эсеров: земля — крестьянам. В годы гражданской войны и так называемого “военного коммунизма” они проводили примитивную политику насильственной реквизиции сельскохозяйственной продукции в пользу города. Эта террористическая политика, проводившаяся под прикрытием борьбы с “кулацким” саботажем, оттолкнула от большевиков деревню и разрушила сельское хозяйство: уже первый голод, разразившийся в 1921 году, унес пять миллионов человек. Ленин отступил, ввел нэп, который разблокировал каналы экономики и вернул немного жизни в деревню, хотя до расцвета было еще далеко. Однако нэп, при всей его необходимости, оставался в партии под подозрением. Его рассматривают как вынужденную меру, как тактическое отступление. Он так и не получил идеологического освящения, несмотря на усилия Бухарина. Троцкий не упустил возможности совершить очередную ошибку и обрушился с критикой на “защитников кулаков”, вскоре поддержанный в этом Зиновьевым. Внутри страны поддержка таких “буржуазных” деятелей, как Устрялов<sup>4</sup>, компрометирует новую политику. За рубежом меньшевики видят в ней как бы реванш своей точки зрения: подтверждение исторической неизбежности буржуазной и крестьянской России.

В этих условиях Сталин, победив вождя оппозиции, берет на вооружение, начиная с 1928 года, их “антикулацкую” программу. Победа над Бухариным — всего лишь побочная задача по сравнению с более широкой исторической перспективой. Ибо недостаточно провозгласить лозунг “построения социализма в одной стране”, надо облечь в плоть эту “генеральную линию”, — иначе такой лозунг будет попахивать отречением. Парадоксальным образом, отказ, хотя бы и временный, от мировой революции диктовал Сталину радикализацию большевистского режима внутри

страны: только таким образом он мог удержать идеологическое равновесие в борьбе на два фронта. Нэп был уступкой реальным потребностям общества, но эта уступка ставила под угрозу одновременно власть идеологии и личную власть Сталина. И наоборот: “построение социализма в одной стране” должно было укрепить и то, и другое.

Эта формула служила для Сталина связующим звеном с революционной традицией вообще и с большевизмом в особенности. Идея “построения” нового общества на развалинах старого была частью наследия Французской революции. В ней-то и состояла новизна этой революции, так возмущившая Бёрка. Деятели 1789 года, провозгласив противостояние революции и “старого режима”, как день противостоит ночи, положили начало идее социального строительства, характерной для современного общества. Согласно этой концепции, общество есть продукт согласия составляющих его членов и, следовательно, производное от коллективной воли. Такое понимание не исключает диктатуры со стороны революционного государства, надо только, чтобы государство выступало как представитель воли граждан, поднявшихся против сил прошлого.

Однако большевистская версия революционного субъективизма еще более радикальна, чем якобинская, и по двум причинам. Во-первых, потому что Ленин, как бы он от этого ни отрешивался, через идею партии как авангарда класса фактически разработал теорию всемогущества политической воли. Подтверждением чему может служить тот факт, что он не отступил перед такой нелепой, особенно для марксиста, идеей, как идея превращения отсталой России в колыбель мировой пролетарской революции.

Во-вторых, у Ленина, как и у всякого марксиста, воля получает неожиданную поддержку со стороны науки, правда ценой философской апории. Партия, являющаяся олигархией ученых и организаторов, изменяет мир по своей воле, одновременно повинуюсь законам истории. В ходе борьбы за наследие Сталин присвоил себе эту двойную миссию, которая становилась все более сомнительной, все более воображаемой. Лозунг “построения социализма” содержал в себе дополнительный революционный импульс.

На протяжении первых двенадцати лет существования советского режима происходило как бы постепенное нарастание абсурда. Ленин установил диктатуру пролетариата в самой крестьянской стране Европы и придумал комбинацию ГПУ с нэпом. Сталин получил в наследство терроризированную страну, упавшую ниже экономического уровня 1914 года, — и он заявляет о построении в ней “социализма”! По сравнению с такими амбициями полити-

ка основателя большевизма выглядит почти реалистической. В действительности обе эти политики обусловлены идеологией. Но вторая представляет собой усугубление первой: она окончательно отрывается от всякой экономической и социальной реальности. Верить в нее позволяет еще сохранившаяся связь с революционными надеждами: революция мертва во Франции или в Китае, но в Советском Союзе она возобновит свое торжествующее шествие. Призрак русского Термидора, возникший вместе с нэпом, будет окончательно изгнан.

Операция состоит из двух половин: агрокультура и промышленность, коллективизация и пятилетний план. Она преследует одновременно две цели: получить за счет труда крестьян первоначальный капитал, необходимый для индустриализации, и одновременно уничтожить само крестьянство как класс независимых производителей. В мою задачу не входит описание кошмарного характера этого мероприятия, особенно в деревне. Впрочем, его историю еще предстоит написать, настолько оно искажено и мало изучено<sup>15</sup>. В Советском Союзе начался массовый террор, который не с чем сравнить (кроме, может быть, резни армян турками, но там природа геноцида была другой). Пробил час тоталитарного государства, законченного, оруэлловского. Поразительно, что западные интеллектуалы и мировое общественное мнение не заметили экстраординарности и жестокости происходящего, сочтя это обычным или единичным случаем.

Уничтожение крестьянства как независимого класса путем убийства и депортации нескольких миллионов, — объявленный таким образом, проект не смог бы найти сторонников. Мрачную привлекательность ему придает то, что он окутан такими абстракциями, как “революция” и “социализм”, и выступает как невиданное в истории проявление воли, направленное на создание столь же невиданного общества. Чтобы революция была признана необходимой, ей должен противостоять страшный враг. Революционерам необходим предмет ненависти. Сталинский “Великий перелом” в 1929 году только подтверждает правило. Он сопровождался навязчивой пропагандой, в которой темы вражеских происков, страха перед вредителями приобретали маниакальный характер. За неимением дворян и буржуев их место теперь, двенадцать лет спустя после Октября, заняли новые враги революции — кулаки, ставшие таким же предметом ненависти, как раньше — фабриканты и помещики. Ленин в 1921 году ввел нэп. Тех, кто нэпом воспользовался, Сталин в 1929 году превратил в козлов отпущения.

Признаки кулачества никогда не были ясно определены. Какое это имело значение! Кулак — классовый враг, и это самое главное.

Признаки варьировались в зависимости от уровня уравнилельских стремлений: нанимает двоих батраков, имеет большой дом, имеет двух коров и т.д. И даже если крестьянин так же беден, как и остальные, достаточно объявить его “подкулачником”, чтобы сделать его жертвой репрессий. Борьба с кулачеством — это маска, за которой скрывается война против крестьянства: одних убивают или депортируют, других превращают в крепостных на больших государственных фермах, именуемых колхозами или совхозами. Никогда раньше ни один режим не отваживался на столь чудовишное, гигантское по масштабам и непредсказуемое по последствиям действие: уничтожение миллионов крестьян и разрушение до самых корней уклада сельской жизни. Когда историк сопоставляет характер этого события с тем безразличием, а часто и одобрением, с которыми оно было встречено на Западе, он оказывается перед двумя возможными объяснениями, которые не обязательно исключают друг друга: или люди не знали о том, что происходит в Советском Союзе, потому что от них это систематически скрывали, или идея “коллективизации деревни” воспринималась многими как осуществление позитивной утопии и борьба с контрреволюцией. Способность мифологизировать собственную историю — одно из величайших достижений советского режима. Но он вряд ли достиг бы в этом таких высот, если бы ему не помогла готовность поверить, заложенная в европейской культуре революционно-демократической традицией.

В области индустриальной политики Сталину также нужно, для осуществления своих ошеломляющих планов, бороться против саботажников, врагов, империалистов и их агентов. Саботажник — это кулак в промышленности: если возникают задержки в выполнении планов, то виноваты в этом враги, затаившиеся внутри системы. Большевицкий волюнтаризм не желает считаться с сопротивлением вещей. В результате с начала 30-х годов разворачиваются судебные процессы над экономическими саботажниками, во время которых, по указанию Вышинского<sup>16</sup>, признание подсудимых рассматривается как достаточное доказательство виновности. Тщательно подготовленные с помощью моральных и физических пыток подсудимых, эти показательные спектакли иллюстрировали сталинское идеологическое представление о мире как о столкновении воли: с одной стороны — “большевики”, с другой — заговорщики, и даже материальный мир экономики подчиняется этой дихотомии. Процесс, сопровождающийся обязательным “признанием” обвиняемых, призван придать как можно более широкий резонанс злой и “тайной” деятельности врагов социализма. Как хорошо показал Оруэлл, тоталитаризм неотделим от постоянного воспитания подозрительности и ненависти

ти. Экономика — лишь одна из сфер применения этой политической фантастики.

При ретроспективном взгляде на события поражает то, что оппозиция внутри партии как будто ничего не замечала. Она продолжала свою аппаратную возню и плела интриги в расчете на поражение политики Сталина<sup>17</sup>. Но она не проронила ни слова о той трагедии, которую переживала страна. Троцкий из изгнания шлет протест за протестом по поводу преследования своих сторонников в партии, но не говорит ни слова об ужасном голоде на Украине, вызванном многообразными формами террора против крестьян. Бухарин, симпатичный Бухарин, наиболее восприимчивый к воздействиям извне, в частном разговоре характеризует происходящее как “массовое истребление беззащитных людей, включая женщин и детей”<sup>18</sup>. Но и он вовлечен в дьявольскую диалектику внутрипартийной борьбы, хотя она и ведет его к гибели. Сталин так определил фон, на котором шла политическая дискуссия: усиление борьбы классов в международном масштабе и внутри страны. Оппозиция критикует то, что она продолжает называть “партийной линией”, в терминах схоластического марксизма, не осмеливаясь или не имея возможности аргументировать от реальности.

Но есть вещь еще более удивительная: атрофия способности к суждению захватывает умы и за пределами Советского Союза. И нельзя сказать, что ужасные факты были полностью не известны на Западе. История геноцида на Украине, унесшего, по данным Конквеста, шесть миллионов жизней, это идеологическое безумие не без примеси национальной ненависти, до сих пор не известна в подробностях, за недостатком документальной информации. Но скрыть ее полностью все-таки не удалось. О геноциде писали газеты эмигрантов, меньшевиков и эсеров, писал Суварин<sup>19</sup>. Одна из хороших книг по этому вопросу была опубликована Каутским в 1930 году<sup>20</sup>: он снова разоблачал террор, предсказывал голод и распространение принудительного труда под властью примитивной диктатуры. Его анализ интересно перечитать сегодня, ибо он предсказал крах режима за пятьдесят с лишним лет до того, как он произошел. Как хороший марксист, Каутский не верил в долговременность столь реакционной диктатуры, возстановившей и усугубившей феодальный гнет...

Итак, кто хотел знать, тот знал. Беда в том, что мало кто хотел. Второй большевизм (национал-большевизм, сталинский большевизм — называйте как хотите) воспрянул после поражения первого, ничего не потеряв от его мифотворческой способности, несмотря на свое отступление в сторону национализма. Напротив, его образ возвеличился в глазах современников именно в момент его

наихудших преступлений, так что тайна этого гипноза не только не рассеялась, но стала еще более непроницаемой.

К этому времени Советский Союз уже вышел из международной изоляции, в которой находился сначала. Россия вернула себе место крупной европейской страны и расширила свое влияние как центр международного коммунистического движения. Она умело играла на этих двух клавиатурах, делая вид, будто ее государственная внешняя политика не имеет никакого отношения к ее деятельности в качестве центра революции, тогда как в реальности партии III Интернационала обслуживали ее государственные интересы. Советская дипломатия, как и все прочие, готова к сближению с государствами любого типа, если этого требуют обстоятельства сегодняшнего дня. Особенность международной политики Советского Союза состоит в том, что, ведя переговоры или заключая соглашения с теми или иными государствами, он рассматривает их как равно враждебные и не перестает разоблачать их буржуазную сущность, для себя же требует признания своей легитимности в качестве предварительного условия любого сближения<sup>21</sup>. Советское государство поддерживает своей мощью авторитет своего режима. Пропагандистскую ложь, распространяемую через своих агентов и союзников по вере, оно подкрепляет еще одним аргументом — грубой силой.

В разгар украинской трагедии, в 1932 году, Эррио, старый вождь французских радикалов, вернувшийся на шесть месяцев в политику, возобновляет курс на сближение с Советским Союзом, сторонником которого он был с начала 20-х годов. Этот курс не представляет собой ничего принципиально нового, так как продолжает еще довоенную традицию французского министерства иностранных дел. Однако поменялся режим в стране-партнере. Если французские республиканцы в конце XIX века не обязаны были благословлять царское самодержавие, чтобы вступить в союз с Николаем II, то Эррио увязывает дипломатическое сближение с идеологическим признанием советского режима. И это при том, что его политическое мировоззрение полностью противостоит происходящему в Советском Союзе под эгидой абсолютной власти коммунистов. Ему не нужно считаться, как это будет позже, с позицией ФКП, влияние которой пока еще ничтожно. Он мог подписать пакт о ненападении с Советским Союзом (в декабре 1932 года), не обращая внимания на то, что происходило в этой стране. Но в следующем году, уже не будучи председателем Совета министров, старый классик французского парламентаризма совершает частное путешествие на Украину в сопровождении Женевиэвы Табуи, известной в то время журналистки. И вот что он

заявляет по возвращении: “Я проехал всю Украину. Так вот, я подтверждаю вам то, что видел собственными глазами: она похожа на сад, полный спелых плодов. Вы говорите, что эта страна в данный момент переживает печальные времена? Я не могу говорить о том, чего не видел. Но я побывал в местах, подвергшихся испытаниям. И я увидел там только процветание...”<sup>22</sup>

Несомненно, эта декларация преследовала определенную политическую цель: опровергнуть утверждение, будто “эта страна”, то есть Украина, переживает “печальные времена”. Но нельзя сказать, что Эррио просто лжет, руководясь сиюминутными обстоятельствами. Вне всякого сомнения, он был введен в заблуждение; им манипулировали, и тому есть подтверждение<sup>23</sup>. Русские, на протяжении столетий известные как мастера устраивать “потемкинские деревни”, несомненно показали ему такой уголок Украины, какой им было надо. Эррио — французский левый буржуа, воспитанный на республиканской традиции. Возможно, его приверженность альянсу с Россией оказала влияние на его суждение о Советском Союзе; впоследствии и другие западные союзники Сталина, такие, как Рузвельт, будут заявлять о демократичности его режима. Однако то, что мы наблюдаем у Эррио в этот период, сближает его с позицией Олара, которую мы анализировали выше: у обоих, как у радикалов начала века, присутствует мысль, что русская революция принадлежит к типу революций, известных нам по истории Франции. Вопреки левацким действиям и заявлениям французских коммунистов по указке Интернационала, вопреки их лозунгу “класс против класса”, старый радикальный политикан, типичный представитель буржуазно-демократической традиции, никак не может отделить советскую реальность от первоначальных деклараций русской революции. В то время как Каутский разоблачает Сталина как националистического и контрреволюционного диктатора, Эррио видит в этом человеке, проводящем коллективизацию, просвещенного продолжателя Ленина.

У этого ослепления есть, впрочем, и более глубокие причины, помимо простой привязанности к традиции: неспособность составить суждение о том, что не имеет прецедентов. Режим, возникший в Советском Союзе при Сталине в начале 30-х годов, не имел исторических прецедентов. Он не похож ни на что, ранее бывшее. Никогда ни одно государство в мире не задавалось целью убивать, депортировать и поработать своих крестьян. Никогда ни одна партия полностью не подменяла собой государство и не контролировала всю социальную жизнь страны и каждого гражданина в отдельности. Никогда ни одна современная политическая идеология не играла столь большой роли в установлении столь безграничной диктатуры, которую вынуждены приветствовать те, кому она вну-

шает только страх. Никогда ни один диктатор не обладал столь огромной властью, подчиняющей себе умы посредством столь всеобъемлющей лжи. Ни одна из этих характерных черт сталинского большевизма не могла быть понята по аналогии с прошлым, внутри привычного концептуального поля.

То же явление повторится в связи с Гитлером и нацизмом. Люди, жившие между двумя войнами, никак не могли осознать беспрецедентно чудовишный характер, которым, каждый на свой лад, обладали оба режима, созданные Сталиным и Гитлером. Не имея подобных примеров в истории европейских народов, они обманывали себя ложными аналогиями с тем, что было им известно. Сколько времени им потребуется, чтобы понять, что Гитлер — не просто националистический политик, немного более “авторитарный”, чем обычные немецкие правые, но что он политик совершенно иной природы? Чемберлен в Мюнхене в сентябре 1938 года этого еще не понимал. В случае со Сталиным разобраться было еще труднее. Снова и снова он путал следы, выступая как наследник и последователь Ленина, продолжатель дела Октябрьской революции, которая, в свою очередь, воспринималась как порождение марксизма и продолжение европейской демократии... Таким образом грузинский диктатор, этот шекспировский персонаж, защитил себя многослойным непробиваемым панцирем. Именно в тот момент, когда он бросал бывшую царскую Россию по пути нового национального мессианизма, развязывая репрессии невероятной жестокости, Эррио, левый парламентарий и мелкий собственник, выпускник Эколь Нормаль и специалист по мадам Рекамье, был способен воображать, будто они принадлежат к одной семье...

В этот период иллюзии относительно советского строя получают со стороны политической экономии еще большую поддержку, чем со стороны революционно-демократической традиции французского образца. Великая депрессия погрузила демократические страны в состояние тоски и тревоги. И в это же самое время коллективизация сельского хозяйства и первый пятилетний план выглядят как образцы коммунистической воли и организованности — в противоположность капиталистической производственной анархии и неуправляемости. Вероятно, не было в современной истории Запада другой такой эпохи, когда экономический либерализм подвергался бы столь единогласному осуждению. Сейчас, когда идея свободного рынка завоевала даже страны бывшего Советского Союза, трудно себе представить, какую всеобщую неприязнь она вызывала немногим более пятидесяти лет тому назад.

Мы можем наблюдать это явление во Франции, где критика экономического либерализма имеет глубокие корни. Великая де-

прессия явилась как бы подтверждением свойственного французам пессимизма в отношении способности рынка сформировать общественные устои. Отовсюду раздаются обличения порождаемых им индивидуалистического эгоизма и анархии, и экономический кризис дает этому как бы материальное подтверждение. Ссылки на экономические успехи Советского Союза становятся любимыми аргументами всех социальных реформаторов. Их позиции заметно укрепляются в 1934 году с избранием Рузвельта президентом Соединенных Штатов и с объявлением им “Нового курса”; и у всех сторонников этого курса поддержка его сопровождается определенным восхищением муссолиниевским фашизмом и его успехами, так как они предполагают политическую волю и реформирование государства. Таков общий фон общественных настроений в Париже этих лет, настроений, охватывающих разные интеллектуальные круги: и левых католиков, которые основывают в 1932 году журнал “Эспри”<sup>24</sup> во главе с Эмманюэлем Мунье; и социалистов-диссидентов, которые в 1933 году образуют новую партию, возглавляемую Марселем Деа<sup>25</sup>; и маленькую группку вокруг Робера Арона и Арно Дандье<sup>26</sup>, которая именует себя “Новый порядок” и в 1933 году публикует свою библию — “Необходимая революция”.

Существует в эту же эпоху литература, гораздо более прямо связанная с советским опытом индустриализации: она принадлежит той части предпринимателей, которая пришла в восторг от свершений, провозглашенных пятилетним планом. Пример тому — Эрнест Мерсье<sup>27</sup>, в то время один из главных столпов французской промышленности, приверженец классических правых взглядов и даже чуть правее, ставший приверженцем советских методов управления хозяйством после своего путешествия в Москву в конце 1935 года. Конечно, в Советском Союзе его восхитило — как и немецких правых на пять или шесть лет ранее — не освобождение пролетариата, но политическая энергия, с одной стороны, и техническое мастерство, с другой<sup>28</sup>.

Самое удивительное, что вкус к советскому планированию, ни функционирование, ни реальные достижения которого всерьез не изучались, захватил даже англосаксонское общественное мнение, традиционно мало склонное к экономическому этатизму. В Соединенных Штатах, тяжело пострадавших от кризиса, советский пятилетний план привлекает внимание “либеральных” кругов. Это прилагательное еще и сегодня указывает на приверженность демократической традиции и социальному равенству. Американцы не пытались, подобно европейцам, найти ему замену для обозначения прогрессивного лагеря, потому что у них критика капитализма никогда не привлекала к себе значительную часть общества. Но

ничто не мешало им, в период кризиса, вписать в программу либерализма кое-что из того, что обеспечило успех Советскому Союзу. Об этом много писали и в Соединенных Штатах, и в Европе, анализируя рузвельтовский “Новый курс”, предусматривавший вмешательство государства в экономику. Самые либеральные из либералов — то есть левая часть демократической партии — все чаще начинают прислушиваться к чудодейственным доводам крошечной коммунистической партии: вот, дескать, богатая Америка стала бедной, так как была не в силах справиться со своей экономикой, в то время как бедная страна, Советский Союз, добивается развития производства благодаря усилиям воли и разума.

Легко понять, насколько такое восприятие советского опыта как планомерного покорения природы посредством техники было близко американскому национальному характеру. Но, с другой стороны, коллективистский характер такого покорения и отмена индивидуальных свобод, его сопровождавшая, мешают “экономическому” просоветизму глубоко проникнуть в либеральное сознание: дело ограничивается осторожным сочувствием целям режима, но с оговорками относительно применяемых им средств<sup>29</sup>. Новый курс и антифашизм расширят эту симпатию, не изменив ее характера. Американские левые круги примут определенную дозу социализма, что будет способствовать гибкости их традиции. Нью-йоркские интеллектуалы спорят о революции, о Ленине, Троцком и Сталине, но свое мнение продолжают выражать голосом Рузвельта, который связывает их с традицией Джефферсона и Линкольна.

В Европе гораздо охотнее верят, что мир идет к социалистической экономике по дороге, которую указывает Советский Союз; здесь эта идея находит поддержку и в реальной борьбе классов, и в давних течениях мысли, выходящих далеко за пределы коммунистического влияния. Об этом говорит пример английских левых, чуждых революционной традиции французского типа, настроенных к марксизму скорее отрицательно, приверженных защите прав человека и, как следствие, менее восприимчивых, чем французы, к большевистской политике и идеологии. Однако и они поддались соблазнам пятилетнего плана, увидев в нем успешное соединение экспериментального разума и свободы.

Г. Уэллс — достаточно яркий представитель этой шаткой точки зрения. Ветеран Фабианского общества еще с довоенных времен, член маленького клуба, созданного супругами Вебб под названием “Ко-Эффициент”, он соединял идею человеческого прогресса с социальным реформизмом, надеясь, что такую идею можно будет осуществить с помощью Британской империи, при условии, что последняя будет преобразована. Путь к социализму

у Уэллса никогда не пролегал через борьбу классов и революцию; отдалившись от фабианцев<sup>10</sup>, писатель стал придерживаться философии эволюционизма, возлагая надежды на воспитание. После войны его литературная звезда потускнела, зато место писателя занял пророк мирового государства, выразитель чаяний человечества, предлагающий ему единственно возможный путь спасения.

Отсюда его страстное увлечение советским опытом. В 1934 году он совершает повторное паломничество в советскую Россию, в ходе которого встречается со Сталиным. До этого он уже встречался с Лениным, в 1920 году. Этот писатель, жаждущий универсальных решений не меньше, чем какой-нибудь француз, не чужд снобизма, который толкает некоторых литераторов к государственным вождям: ну, хотя бы для того, чтобы фотография подтвердила их высокое положение. А кроме того, Уэллс любит давать советы. Во время своего первого путешествия он нашел Россию в бедственном состоянии, но вину за это возложил исключительно на наследие капитализма; большевики ему, скорее, понравились, особенно те, кого он в своей книжечке<sup>11</sup> характеризует как “либералов”, — Ленина, Троцкого, Луначарского. Советская Россия ему тоже понравилась, как опровержение предсказаний Маркса; он, как и Паскаль, но на английский манер, выступает в качестве антимарксистского поклонника Ленина, которого он прославляет как создателя утопии<sup>12</sup>.

В 1934 году он возвращается в страну, где создается будущее, сразу после своего посещения рузвельтовской Америки. В его голове уже готовится сопоставление “Нового курса” и пятилетнего плана. Сближение между СССР и США, по его мнению, диктуется не только международной конъюнктурой — приходом Гитлера и японской угрозой, — но и более глубокой эволюцией: мировым кризисом капитализма и необходимостью реорганизовать общество на разумных началах. Именно эту идею он и развивает перед Сталиным, удостоившим его продолжительной беседы. “Мне кажется, что я немного левее вас, господин Сталин; я полагаю, что старая система ближе к своему концу, чем вы думаете”<sup>13</sup>. Кремлевский диктатор готов с этим согласиться, но как этого достичь? Что делать с буржуа и капиталистами? Как быть с пролетарской революцией? Уэллс отвечает, что Королевская Академия, самая лучшая из академий, тоже высказалась за научное планирование экономики и что классовая борьба, делающая акцент на восстании, принадлежит прошлому. Социализм стоит в повестке дня для всех образованных людей, — *educated*, поскольку английское слово лучше, чем соответствующее французское, передает роль воспитания в преобразовании человека и общества. Сидя против Уэллса,

Сталин, должно быть, внутренне потешался над этими рассуждениями. Не моргнув глазом, он повторяет старые прописи из ленинского букваря, объясняет центральное значение политической власти, классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией, необходимость революционного насилия. Он даже предлагает свой краткий курс английской истории. Во время революции Кромвель разве соблюдал законы? Разве он не отрубил голову Карлу I во имя Конституции? Разговор завершился любезностями писателя в адрес тирана, которого он объявил, наряду с американским президентом, творцом социального счастья человечества.

А ведь Уэллсу было известно, что в СССР не существовало никакой свободы слова. Одной из целей его поездки было установление отношений между Пенклубом и советскими писателями, и он мог оценить меру их рабской зависимости от власти<sup>14</sup>. Однако этот недостаток является в его глазах временным и второстепенным по сравнению с целью, которую, по его мнению, поставил себе Сталин: построить разумное общество. Автор, который терпеть не мог Маркса, странным образом переносил на большевиков идею научного руководства развитием общества. Ради того, чтобы покончить с капитализмом, он готов был закрыть глаза на политический статус советского общества.

Публикация беседы Уэллс — Сталин вызвала едкие комментарии другого светила английской литературы и тоже большого поклонника вождя, хотя и по другим мотивам, — что показывает разнообразие “фабианских” течений. В отличие от своего великого соотечественника Бёрка, ирландца, как и он сам, Бернард Шоу был постоянным противником английского парламентаризма. Его нонконформизм отнюдь не ставил его в положение отверженного, которое так любят современные писатели: ведь его драматургия пользовалась огромным успехом у публики. Но он упорно продолжал ненавидеть викторианское лицемерие и английскую политическую систему, в которой видел цивилизованную форму подавления. Они были в числе излюбленных мишеней его знаменитого “остроумия”, которое служило основанием его фабианского социализма в такой же мере, как и собственно теоретические соображения. Уэллса он знал с незапамятных времен, восхищался его литературным даром и посмеивался над его тщеславным стремлением реформировать человечество. У него, в отличие от Уэллса, не было предубеждения против насилия, — ведь он кичился своим реализмом. Он стал сторонником сталинского Советского Союза в 1931 году по той же причине, по какой поддержал Муссолини, а завтра поддержит Гитлера: он одобрял действия энергичного правительства на службе нации. Сталин, по его мнению, правильно сделал, что порвал с нелепым интернационализмом Ленина и раз-

громил Троцкого, приверженца мировой революции. Теперь, развернув пятилетний план и аграрную реформу, он приступил к неспешному “фабианскому” построению социалистической экономики и социалистического общества.

Бернард Шоу стал национал-коммунистом самого невероятно-го свойства — с примесью реформизма. “Сталин — хороший фабианец, — говаривал он в эту эпоху, — а это лучшее, что можно сказать о любом человеке”<sup>35</sup>. Ленин (вместе с Троцким) воплощает собой тупик революции. Сталин же последовательно строит социалистическую Россию, соединяя просвещенную диктатуру с обществом производителей-потребителей. Он осуществляет то, что английские лейбористы оказались не в состоянии произвести<sup>36</sup> и необходимость чего подтвердил кризис капитализма.

Шоу не упустил ни одного комического момента в разговоре между таким великим практиком, каким был Сталин, и таким утопистом, как Уэллс. А поскольку он сам нанес визит Сталину в 1931 году<sup>37</sup> и составил собственное мнение об этом человеке, он легко мог себе представить, как потешался Сталин над разглагольствованиями Уэллса о бесполезности классовой борьбы и вообще политики: “Я редко встречал человека, который умел бы так хорошо говорить, как Сталин, и который так мало торопился бы это делать. Уэллс любит поговорить, но совершенно не способен слушать. И это к лучшему, потому что его воззрения столь широки и самодостаточны, что любое возражение вызывает у него слепую ярость, сопровождаемую бурным словоизвержением. К такого рода припадкам Сталин мог бы оказаться менее терпимым, чем английские друзья Г. У.”<sup>38</sup>. Обрисовав таким образом позиции участников этого комического диалога, Шоу посвящает остальную часть своего комментария демонстрации реализма Сталина и утопизма Уэллса: “Очевидно, что Сталин — человек, который умеет доводить вещи до конца, даже если нужно отстранить от текущих дел Троцкого с его мировой революцией. Уэллс же, с его идеей создания мирового государства без революции, оказался за пределами сегодняшней реальности”<sup>39</sup>.

Достойна восхищения пластичность советского мифа. Уэллс и Шоу любят сталинский Советский Союз как страну нового, антикапиталистического экономического порядка, кладущего конец анархической погоне за прибылями. Но при этом первый хвалит царящий там социальный мир, а второй — суровость диктатуры. Первый подчеркивает “постепенность” преобразований, второй не замечает ничего подобного. Шоу высмеивает благостную аполитичность Уэллса, но его собственный цинизм выглядит не менее наивно: ведь он приветствует как торжество разума ссылку, убийство и голод миллионов “кулаков”.

Пришлось Кейнсу, одному из самых блестящих умов эпохи, настоящему реформатору капитализма, разнимать двух литераторов, — “двух наших великих учителей, Шоу и Уэллса, из которых первый учил нас всю жизнь теологии, а второй — естественным наукам. Мне остается только пожелать, чтобы появился третий, столь же великий, который научил бы нас гуманизму”. А вот его вывод: “Коммунизм, выдаваемый за способ улучшить экономическое положение, — это оскорбление для нашего разума. Он может только ухудшить положение, в чем и заключается секрет его почти неотразимого очарования”<sup>40</sup>. Почему? Да потому, что он предлагает некий идеал в мире, где все помешались на экономике. “Когда начинающие студенты Кембриджа отправляются в обязательное путешествие в святую землю большевизма, разве они испытывают разочарование, увидев царящую там нищету? Вовсе нет! Ведь они за этим туда и поехали”<sup>41</sup>. Если советская политэкономия вызывает такой восторг, то не только потому, что она представляет разительный контраст с терпящим крах капитализмом. Она предлагает нравственный идеал возрожденного человека, избавленного от проклятия погони за прибылью.

Может быть, самое интересное в английском примере заключено в том, с какой непринужденностью местная традиция реформистского социализма придает советскому опыту благопристойное научное и моральное обличье под видом утверждения нового человека. Шоу обратил внимание на несовместимость научных и моральных аргументов: чтобы поддержать сталинский опыт, надо во имя необходимости принять моральный нигилизм марксизма-ленинизма. Цель оправдывает средства. Уэллс же, напротив, объясняет Сталину подлинную природу его действий, чтобы вернуть его на прямую дорогу свободы индивидов, ведущую к моральному воссоединению человечества. Год спустя два патриарха фабианского социализма, супруги Вебб<sup>42</sup>, самолично дадут высочайшее благословение построению “социализма в одной стране”, как если бы ликвидация “кулаков” и пятилетний план были именно теми научными основаниями коллективной жизни, которых не хватало экономическим индивидам современного общества.

Супруги Вебб уже приближались к своему восьмидесятилетию. Но и они тронулись в путь. Профессиональные оптимисты, они увенчали свой жизненный путь, посвященный общественному благу, обширным компилятивным трудом об СССР, состоящим из газетных вырезок, выдержек из академических, в основном американских, работ, путевых впечатлений и официальных документов. Они, кажется, даже не подозревали, что все это могло быть подтасовано, — и Конституция, и юридический аппарат, и политические организации, и коллективизация сельского хозяйства, и пя-

тилетний план. Они пишут так, как будто жизнь государства могла быть описана и проанализирована на основании того, что оно само говорит о себе, — чем и положили начало вечно живой традиции университетских исследований. Они не цитируют ни Рассела, ни Суварина, ни Виктора Сержа, вообще ни одного критического текста. Результатом такого прекраснотушия и доверчивости оказалась самая экстравагантная книга в ряду достаточно многочисленных произведений этого жанра. Чего здесь только нет, в том числе и оправдание однопартийной системы во имя демократии, поскольку эта партия действует только убеждением, используя целую пирамиду органов, через которые население выражает свою волю, в то время как Сталин “не обладает такой широкой властью, какой Сенат Соединенных Штатов временно наделил Рузвельта; Сталин — всего лишь генеральный секретарь партии”<sup>41</sup>. СССР — это демократия ассоциированных производителей, свободных от собственников и капиталистов и строящих совместными усилиями, на основе научных данных, небывалую цивилизацию и нового человека.

Эти два тома, ныне ставшие совершенно неудобочитаемыми, могут служить самой яркой иллюстрацией гипнотического воздействия сталинского коммунизма на наименее революционную ветвь европейского социализма. Как и Шоу, и во многом под его влиянием, супруги Вебб начинают интересоваться советским опытом только с 1931 года: они слишком чужды якобинской традиции, чтобы проявлять интерес к большевизму и к Октябрю. Но в Сталине и в его деятельности эти теоретики и энтузиасты муниципального, “постепенного” социализма видят победу “специалистов” над революционными маркссистами. Разочаровавшись в английском социализме, они тешат себя иллюзией, будто их надежды осуществляются в России. Их утилитарный оптимизм доходит до того, что в Советском Союзе они умудрились увидеть начало отмирания государства!

Итак, на стадии “построения социализма в одной стране” советская идея ничуть не потеряла свои мифотворческие потенции. Наоборот, они возросли именно в сталинскую эпоху, когда происходило истребление крестьянства, абсолютное подчинение всех воле одного и революционное размахивание руками партий Коминтерна против “социал-фашистов”. Благодаря Великой депрессии, Советский Союз со своим пятилетним планом все еще может кружить головы адептам утопического гуманизма.

# *Глава шестая*

## КОММУНИЗМ и фашизм

В обоих своих аспектах — как движения и как режимы — коммунизм и фашизм существовали бок о бок в одну и ту же эпоху, нашу эпоху. До нынешнего века не существовало государств подобного типа. Но после первой мировой войны они заполнили своим присутствием всю европейскую политику. Провозглашая великие цели, одновременно схожие и антагонистические, они объявляют пришествие нового человека, но исходят при этом из противоположных идей. Требуя от своих адептов полного самопожертвования, они завязывают между собой чудовищное сражение, причем каждый режим претендует на то, чтобы единолично заменить собой буржуазную эпоху. И это усиливает их противостояние.

Отсюда вытекают большие сложности в понимании истории XX века. Небывалые режимы, описания которых мы не найдем ни у Аристотеля, ни у Монтескьё, ни у Макса Вебера, придают нашему веку его уникальный характер; у историка возникает соблазн свести неизвестное к известному и посмотреть на XX век сквозь призму века XIX: как на возобновление борьбы за и против демократии в форме фашизм/антифашизм. Эта тенденция окрасила собой политические страсти нашей эпохи и приобрела почти сакральный характер после второй мировой войны. Она останется классическим примером того, какое сковывающее воздействие на понимание недавней истории оказывают сиюминутные события и общественное мнение.

Это воздействие оказалось особенно сильным во Франции и Италии, где постулат о тождестве коммунизма с антифашизмом надолго блокировал анализ коммунизма. С изучением истории фашизма дело обстояло не лучше. Само понятие фашизма потеряло

реальное значение, как деньги, которые печатают все кому не лень. Под этой общей вывеской были свалены в кучу сначала муссолиниевский режим и нацизм, а затем все авторитарные и диктаторские режимы: надо было, чтобы “фашизм” пережил свой разгром и свое уничтожение, чтобы антифашизм смог сохранить свое место в текущей истории на протяжении второй половины XX века! Никогда еще опозоривший себя режим не продолжал жить столь активной посмертной жизнью в воображении своих победителей, никогда еще эти последние не придумывали ему столько подражателей и продолжателей...

Когда-нибудь будет написана история того, как медленно распались эти представления и какую роль сыграли в этом процессе и политические обстоятельства, и оригинальный вклад некоторых выдающихся умов. Я сказал “медленно”, потому что еще и сейчас мы живем среди развалин старых представлений: в политической жизни Европы периодически возникает призрак фашизма, помогающий объединить антифашистов, за отсутствием менее абстрактных задач. Но то, что еще может пригодиться политикам, потеряло значение в интеллектуальном плане. Конец коммунизма превратил фашизм (или нацизм) в чисто исторический предмет, подлежащий аналитическому вскрытию. Кончилось время взаимных переодеваний, которыми пользовались два чудовища, чтобы бороться друг с другом и обманывать окружающих. Наступивший сейчас момент истины был подготовлен несколькими проницательными людьми и их книгами, на которые мы будем опираться в ходе дальнейшего анализа.

Огромное значение имело введение понятия “тоталитаризм” для обозначения новой реальности: общества, полностью (или почти полностью) поработанного партией-государством, удерживающим власть посредством идеологии и террора. Слово было вызвано к жизни самим явлением, которое не укладывалось в понятия “деспотизма” или “тирании”, и было бы захватывающе интересно прочесть когда-нибудь историю его возникновения и употребления<sup>1</sup>. Недостаточность термина “деспотизм” для характеристики бесконтрольной власти, ее беспрецедентного распространения в современных обществах была осознана не сегодня и не вчера. Уже Токвиль, взявший этот термин у Монтескье и других классиков, затруднялся выразить с его помощью то новое, что появилось в социальной практике демократического государства<sup>2</sup>. Прилагательное “тоталитарный” получает распространение в 20-е годы применительно к итальянскому фашизму: Муссолини с 1925 года в выступлениях перед соратниками прославляет “нашу яростную тоталитарную волю”<sup>3</sup>. Слово еще не приобрело идеально обобщающего смысла, но в нем уже присутствует двойное зна-

чение, которого не было во всех старых терминах. С одной стороны, оно уже выражает приоритет политической воли по отношению к социальной жизни, а внутри политического движения — ключевое значение диктаторских решений. С другой стороны, оно указывает на ту крайнюю точку, до которой фашизм довел выработавшуюся на протяжении четырех веков в европейской политической мысли идею государства: благодаря всесилию “тоталитарной воли”, речь теперь идет не просто об абсолютной власти деспота, стоящего над законом, но о государстве, контролирующем всю социальную жизнь посредством включения всех индивидов в сферу своего действия.

Едва появившись, прилагательное получает права гражданства почти повсюду в Европе. Особенно охотно его употребляют в Италии поклонники фашизма. Оно существует в Германии применительно к национал-социализму, хотя Гитлер его и не употребляет, может быть, чтобы не подумали, будто он подражает итальянскому образцу. Но Геббельс употребляет. В научном плане Эрнст Юнгер употребляет в 1930 году слова “total” и “totalité” для характеристики мобилизации народов в войне 1914—1918 годов: скрестив дух войны с духом технического прогресса, гигантский конфликт предвещал небывалые формы политического господства<sup>4</sup>. Карл Шмит в книге 1931 года<sup>5</sup> спорит с Юнгером и критикует понятие “тоталитарного государства”. По его мнению, предлагаемое различие между “тоталитарным государством” и государством “не тоталитарным” не обоснованно, поскольку любое государство осуществляет насилие на законном основании, а фашистское государство оставляет и даже ясно определяет независимую от себя сферу — сферу частной собственности. Политический подход, внутри которого развивает свою мысль Карл Шмит, нацелен не столько на раскрытие новой природы нацистского государства, сколько на его оправдание. Однако определение “тоталитарный” и производное от него существительное были подхвачены немецкими антифашистами-эмигрантами для того, чтобы анализировать и одновременно разоблачать гитлеровский режим: именно через посредство Франца Неймана и Ханны Арендт они вошли сразу же после войны в словарь американской политологии. К этому вопросу мы еще вернемся.

В период между двумя войнами слово “тоталитарный” и понятие “тоталитаризм” употребляются также при сравнении фашизма и коммунизма, точнее, гитлеровской Германии и сталинского Советского Союза. Прилагательное появляется, например, в статье “Государство” в *Encyclopedia of the Social Sciences* издания 1934 года для характеристики однопартийных государств, включая и СССР. Сравнение коммунизма и фашизма становится очень рас-

пространенным независимо от употребления неологизма. В своем знаменитом сообщении “Эра тираний” на заседании Французского общества философии 28 ноября 1936 года Эли Алеви не употребляет слово “тоталитарный” (однако оно появляется в ходе дискуссии<sup>6</sup>). Но вся его аргументация основана на сравнении между советской, фашистской и национал-социалистической диктатурами — тремя “тираниями”, порожденными в результате злополучного сочетания социалистической идеи и войны 1914 года. Достаточно прочесть последующую дискуссию, чтобы убедиться, что проблема сравнимости трех феноменов — коммунизма, фашизма и национал-социализма — стоит в центре внимания уже в первой трети XX века, хотя еще и не найдено понятие для ее формулирования.

Впрочем, эта идея присутствует и в левой политической литературе, и даже у марксистских авторов. Уже в 1927 году Пьер Паскаль, описывая свою встречу с Таской в Москве, замечает, что рассказ его гостя об отвратительных сторонах итальянской общественной жизни при Муссолини в точности совпадает, хотя рассказчик об этом и не подозревает, с тем, что происходит при советском режиме. В текстах 30-х годов, о которых я уже упоминал, Каутский без всяких комплексов сравнивает сталинский коммунизм и национал-социализм. Он даже отрицает за первым из них преимущество добрых намерений и освободительных целей: “Главная цель Сталина во всех странах — это не уничтожение капитализма, но уничтожение демократии и разрушение политических и экономических организаций трудящихся”<sup>7</sup>. Теперь можно было не только сравнивать советский коммунизм и национал-социализм, но и отождествлять их. Даже человек более левых взглядов, Отто Бауэр, смотрящий на СССР более снисходительно, и тот пишет в 1936 году, что “диктатура пролетариата приняла там специфическую форму тоталитарной монополистической диктатуры Коммунистической партии”<sup>8</sup>. Таким образом, основатель “Интернационала 2,5”<sup>9</sup> использует в своем определении термины, обычно применявшиеся для характеристики фашизма, сближая тем самым диктатуру Сталина с диктатурой Гитлера и Муссолини.

Мы видим, что понятие тоталитаризма не является поздним изобретением времен холодной войны, придуманным для того, чтобы обесчестить Советский Союз, поставив его на одну доску с нацистской Германией, осужденной судом в Нюрнберге. Прилагательное “тоталитарный” вошло в употребление между двумя войнами, хотя аналитически точный смысл оно приобретет после второй мировой войны в трудах Ханны Арендт и последовавших за ней американских политологов.

Если идея общности этих двух феноменов казалась после 1945 года идеологической выдумкой, то происходило это потому, что

она шла вразрез с господствовавшими на Западе представлениями о смысле второй мировой войны и одержанной в ней победы. Подвергшиеся военному разгрому со стороны коалиции демократических стран, в которую в конце концов был включен и Советский Союз, немецкий нацизм, а заодно и итальянский фашизм вынуждены были в одиночестве играть роль врагов свободы. Если Сталин оказался в числе победителей, значит он тоже защитник свободы: паралогизм, отвечавший изначальной лживости его диктатуры, но, казалось, получивший подтверждение в опыте народов, проливших море крови ради разгрома гитлеровской Германии. Чисто негативная идея “антифашизма” помогала сделать невозможное: найти нечто, что объединяло бы либеральные демократии и сталинский коммунизм. Она была достаточно смутной, чтобы позволить Сталину душить демократию повсюду, куда могли дотянуться его вооруженные силы, и одновременно — достаточно определенной, чтобы объявить святотатственным всякое сравнение между его режимом и режимом Гитлера. Отважная Ханна Арендт, верная продолжательница традиций немецкой антинацистской литературы, решилась переступить запрет. Но почти повсюду в Европе альтернатива фашизм/антифашизм оказывала запугивающее воздействие; в такой стране, как Италия, где идеология антифашизма пользовалась особым влиянием, понятие тоталитаризма так и не получило права гражданства. Слово игнорировалось, оно было почти под запретом именно там, откуда оно пошло.

Сказанное не означает, что сравнение нацизма и коммунизма не могло использоваться в годы холодной войны также для пропагандистских целей, чтобы мобилизовать силы демократии против советской угрозы. Но сама идея родилась раньше и ее воздействие было более длительным. После войны она продолжала существовать в умах, и даже память о победе 1945 года была бессильна отменить историю и опыт, который народам еще предстояло пережить. Ее сила была не в проповеди идеологического крестового похода, а в том, что советский режим вновь показал свою истинную природу, подавляя демократию везде, где только мог.

Осознание реальности шло медленно, с трудом преодолевая психологическое наследие войны: именно в первые послевоенные годы сталинский коммунизм, победивший фашистских диктаторов, достиг пика своего влияния. Но мы сейчас должны вернуться к годам между первой и второй мировыми войнами, когда коммунизм и народившийся фашизм находились в сложных взаимоотношениях и на идеологическом, и на государственном уровнях: это были отношения близости и отталкивания, подражания и соперничества, взаимного влечения и неистребимой нена-

висти, молчаливого сообщничества и публичной воинственности, которыми были пронизаны самые мрачные четверть века современной европейской истории. Для понимания этого исторического отрезка, во многом еще остающегося загадочным, такое понятие, как тоталитаризм, может быть полезно, если пользоваться им осмотрительно. Оно может служить для характеристики определенного состояния, достигнутого указанными режимами (не обязательно всеми) в различные моменты их эволюции. Но оно не говорит ничего ни о соотношении между их природой и условиями их развития, ни об их скрытом взаимоотношении и взаимооплодотворении.

Война 1914 года сыграла по отношению к истории XX века такую же роль матрицы, как Французская революция — по отношению к истории века XIX. Именно она породила события и движения, приведшие к возникновению трех “тираний”, о которых говорил Эли Алевй.

Таким образом, перед историком открывается новый путь для сопоставления диктаторских режимов. Речь идет о том, чтобы рассматривать их не в концептуальном плане, в тот момент, когда каждый из них достигает пика развития, а в процессе их зарождения и формирования, чтобы понять как специфичность каждого из них, так и то, что всех их объединяет. Их взаимная враждебность не исключала подражаний: Муссолини подражал Ленину, но лишь для того, чтобы победить и запретить ленинизм в своей стране. Гитлер и Сталин дают много примеров сообщничества, прикрытого маской враждебности.

Такой подход позволяет возможно пристальнее следить за событиями по мере их развития. Но при этом есть риск упрощенного толкования, исходя из линейной причинности, когда то, что было позже, выводится из того, что было раньше. Так, муссолиниевский фашизм 1919 года может рассматриваться как “реакция” на угрозу итальянского большевизма, также порожденного войной и более или менее ориентированного на русский пример. Слово “реакция” употребляется здесь в самом широком смысле, так как, придя, как и Ленин, из ультрареволюционного социализма, Муссолини, именно в силу этого, не испытывал затруднений ни в подражании ему, ни в борьбе с ним. Из победы русского большевизма в октябре 1917 года можно таким образом сделать отправную точку целой цепи “реакций”, включая итальянский фашизм и немецкий нацизм, которые в этом случае будут выглядеть как ответ на угрозу коммунизма, ответ, выдержанный в таком же революционном и диктаторском духе. Такая интерпретация может повести если не к полному, то к частичному оправданию нацизма, как по-

казала недавняя дискуссия между немецкими историками по этому вопросу: даже Эрнсту Нольте, одному из самых глубоких специалистов по фашистским движениям, не всегда удавалось противостоять соблазну<sup>10</sup>. Кроме того, подобный подход имеет тот недостаток, что он сглаживает особенности каждого из фашистских режимов, приводя их к общему знаменателю, только теперь не в виде общего определения, а в виде общего врага.

Если фашистские движения являются всего лишь реакциями против большевизма, то получается, что они запрограммированы по одной модели, а это не позволяет как следует понять ни их особенности, ни их автономию, ни те истоки и страсти, которые объединяют их с их врагами. Мне кажется более плодотворным рассмотреть каждый фашистский режим в отдельности, обращая внимание на их особенности и различия. Впрочем, по такому пути идет большинство исторических работ по данному вопросу.

Если коммунизм необходим для понимания фашизма (и наоборот), то по причинам более общего свойства, чем простая хронологическая зависимость по принципу действие-противодействие. Большевизм и фашизм следуют друг за другом, питают друг друга, имитируют и поражают друг друга, но сначала они рождаются из одного и того же чрева — из чрева войны. Большевизм, первым вышедший на общественную сцену, мог радикализировать политические страсти. Но страх, который он внушал правым кругам, и не только им, не может объяснить такой феномен, как возникновение итальянских «фашистских» в марте 1919 года. В конце концов, социальные элиты и средние классы Европы задолго до войны 1914 года жили в страхе перед социализмом; они топили в крови все, что напоминало рабочее восстание, как это произошло с Парижской коммуной в 1871 году. Но ничего подобного фашизму не появилось в XIX веке. Реакции отталкивания или даже паники могут объяснить готовность населения примириться с тем или иным режимом. Они помогают понять, почему режимы, возникшие в атмосфере страха, имеют антилиберальную направленность. Но и только. Они не могут объяснить ни природу этих режимов, ни тем более — их новизну.

Порожденные войной, большевизм и фашизм унаследовали от нее свою элементарность. Они переносят в политику то, чему научились в траншеях: привычку к насилию, силу примитивных страстей, подчинение индивида коллективу и, наконец, горечь бесполезных жертв и совершенного по отношению к ним предательства. Именно в странах, побежденных на поле боя или обделенных при заключении мира, подобные чувства находят наиболее благоприятную почву. В политике заявляет о себе сила множеств, которой так боялись либералы XIX века во всеобщем голосовании,

но угроза пришла оттуда, откуда ее не ждали: от миллионов граждан, объединенных не индивидуальным актом голосования, но общим несчастьем военной повинности. Как писали многие авторы, годы, последовавшие за первой мировой войной, открыли собой эру масс. Но эта новая эпоха наступила не в виде постепенного и якобы естественного развития демократии. Она ворвалась в историю через ворота войны, которые считались запертыми: ведь светлым умам XVIII и XIX веков современное общество представлялось как целиком отдавшееся производству богатств и мирным трудам.

В известном смысле, “эра масс”, открывшая собой нынешний век, действительно является знаком прогресса демократии: она делает скромных граждан, из которых состоит огромное большинство населения, активными фигурами национальной жизни. Но она приобщает их к политике не посредством воспитания, как надеялись оптимисты, а посредством опыта войны, масштабов которой никто (или почти никто) не мог ни предвидеть, ни желать, ни контролировать, — не говоря уже о ее последствиях! Массы пришли в движение не как совокупность просвещенных индивидов, постепенно обучившихся современной политике. Они были внезапно переброшены от войны к мирной жизни, и на ее развалинах ими продолжали владеть примитивные военные страсти. Им более внятен язык окопного братства, чем язык гражданской борьбы за власть. Справа такое умонастроение приветствуется как дань традиции, слева — как залог будущего. И недолго придется ждать, чтобы увидеть, как слово “социализм”, принятое на вооружение правыми силами, начнет новую жизнь в качестве лозунга на фашистских знаменах.

Значительная часть европейского социализма в XIX веке презирала демократию и прославляла нацию. Вспомним Бюше, Ласкаля<sup>11</sup>. И наоборот, в период, предшествовавший первой мировой войне, общая критика либерализма приблизила к социалистической идее наиболее радикальные, то есть националистические, правые круги: ведь теоретически вполне можно было себе представить экономику, свободную от анархии частных интересов и поставленную на службу национальному благу, иначе говоря, — совместить антикапиталистическую и национальную страсть. Например, во Франции по этому пути двигалась “Аксьон франсез” в свои “революционные” годы. Моррас очень рано заметил, что “чистая социалистическая система должна была бы освободиться от всякого демократического элемента”<sup>12</sup>. По его мнению, подобная система предполагает органическое общество, свободное от индивидуализма, основанное на единстве интересов и воли; она не противоречит национальной идее, а дополняет ее. Конечно,

марксистский интернационализм остается главным врагом националистов. “Но социализм, освобожденный от демократических и космополитических элементов, так же подходит национализму, как хорошая перчатка — красивой руке”<sup>11</sup>.

Таким образом, уже в 1918 или 1920 году идея национального социализма была не нова. Новизна состояла в другом: сбросив ученое обличье, она явилась в популистском наряде, чтобы продемонстрировать свою способность гальванизировать массы. До войны смесь из социализма и национализма была изысканным коктейлем для интеллектуалов. Теперь она стала алкогольным напитком для массового потребления. И произошло это в основном не потому, что русская революция взбудоражила чувства любви и ненависти, и не для того, чтобы включить социализм в программу борьбы с большевизмом. Хотя я не исключаю, что некоторые идеологи думали об этом. Идея национал-социализма (или фашизма) сформировалась не так просто. На самом деле источник ее силы находится там же, где и источник силы большевизма, — в войне. Как и большевизм, война позволяет мобилизовать современные революционные страсти: братство бойцов, ненависть к буржуазии и деньгам, равенство людей, стремление к новому миру. Но она предлагает иной путь: не диктатуру пролетариата, а диктатуру государства, осуществляющего национальное единство. Оно воплощает другой великий миф нашего века. Его власть нельзя сводить к инструментальной функции борьбы против большевизма, хотя и эту функцию он выполняет. Он так прочно укоренится в сознании людей, что европейские элиты окажутся бессильны ограничить его разрушительные последствия.

Для воплощения и большевизма, и фашизма в качестве массовых коллективных страстей нашлись и персонажи, тоже, к сожалению, исключительные; и здесь перед нами открывается другая сторона истории XX века, в которой случайные обстоятельства шли рука об руку с революционными устремлениями. Ибо и в этом тоже проявилась общая черта трех великих диктатур эпохи: судьба каждой из них зависела от воли одного-единственного человека. Одержимая абстрактной идеей классовой борьбы, наша эпоха сделала все, чтобы затемнить эту элементарную истину. Ведь так хотелось увидеть за Лениным рабочий класс, а в фашистских диктаторах — марионеток капитала! Бесчисленное количество авторов по наивности или по хитрому умыслу пользовались тем, что англичане называют “двойным стандартом”: они более или менее соглашались с тем, как большевики сами себя представляли, о фашистах же судили вне всякой связи с тем, что они сами о себе говорили. Такой научный подход позволял ревнителям “антифашизма” отделить пшеницу от плевел с помощью сита классовой

борьбы и найти таким образом путеводную нить необходимости в темном лабиринте событий. Да вот беда: никак не удастся объяснить поразительную роль нескольких персонажей во всей этой трагической истории. Уберем из истории Ленина — и не будет Октября 1917 года. Уберем Муссолини — и послевоенная история Италии пойдет по другому пути. Что касается Гитлера, то он, как, впрочем, и Муссолини, во многом обязан своей победой молчаливому согласию правых, но этим отнюдь не умаляется его собственная ужасная роль: ведь это он осуществил программу “Майн Кампф”, которую сам же и придумал.

Действительно, все три деятеля захватили власть, свергнув слабые режимы благодаря предельному напряжению воли, неуклонно направленной к одной-единственной цели. И то же самое можно сказать о четвертом, Сталине: без него не было бы никакого “социализма в одной стране”. И никакого “сталинизма”! Я думаю, не было в истории прецедента такой чудовищной концентрации политической воли на протяжении столь небольшого отрезка времени. Каждый из названных персонажей побеждал благодаря особому стечению обстоятельств, но все они одержали победу над морально сломленными противниками, наполовину уже признавшими свое поражение. Ленин не столько захватил власть, сколько подобрал ее; Муссолини со своими чернорубашечниками захватил Рим, который и не думал сопротивляться; Гитлер был призван к власти Гинденбургом; Сталин имел дело с противниками, заранее признавшими правила игры, которые обрекали их на разгром.

Все они, оказавшись у власти, довольно быстро переходят к авторитарным методам управления. Только Ленин захватил власть в соответствии с классической революционной схемой. Зато все они использовали власть для осуществления своей концепции нового человека, родившейся не под воздействием конкретных обстоятельств, а под воздействием их собственных безумных идей. Их воля к власти растет вместе с опьянением властью, по мере того, как они одерживают все новые победы. Так что нет особого смысла в том, чтобы пытаться соотносить их действия с интересами каких-либо социальных слоев или классов. После Кронштадта ленинская “диктатура пролетариата” не имела ничего общего с рабочим классом, не говоря уже о последующих событиях. Геноцид евреев не значился в программе немецкого крупного капитала.

Ничто так плохо не поддается марксистскому истолкованию (которое в некоторых иных случаях может давать положительные результаты), как диктатуры XX века. Их загадка не может быть объяснена зависимостью от социальных интересов, потому дело обстоит как раз наоборот: эти режимы ужасно независимы от чьих бы то ни было интересов, будь то интересы буржуазии или проле-

тариата. По иронии истории исторический материализм получил наибольшее распространение именно в нашем веке, когда его способность что-либо объяснить оказалась минимальной.

Наименее плохой путь, чтобы подступиться к такой сложной проблеме, как взаимоотношения между коммунизмом и фашизмом, это классический подход историка, состоящий в изучении идей, намерений и обстоятельств. Проблему можно разделить на две части, составляющие две последовательные эпохи: Ленин и Муссолини, с одной стороны, Сталин и Гитлер — с другой.

Ленин и Муссолини происходят из одной политической семьи<sup>14</sup>: из революционного социализма. Муссолини был вождем революции прежде, чем стать вождем фашизма: в первый раз его называли “дуче” в 1912 году, когда он вышел, вместе с Пьетро Ненни, из тюрьмы, куда был заключен за сопротивление войне в Триполитании<sup>15</sup>. Вся первая половина его жизни, та, что предшествовала первой мировой войне, была заряжена революционной идеей в самом радикальном выражении. Он был похож на Ленина своим взрывным напором, склонностью к насилию, навязчивым стремлением к власти, которое он ставил выше всех моральных соображений, и даже страстью к расколам: в период своего наибольшего влияния в итальянской социалистической партии, между 1912 и 1914 годом, он добился исключения из нее умеренных элементов. Истоки его политического экстремизма, иные, чем у большевиков, связанных с русским народничеством, лежали где-то неподалеку от республиканского Рисорджименто<sup>16</sup> и революционного синдикализма<sup>17</sup>. Но в Европе в годы, предшествовавшие войне 1914 года, Муссолини воплощал необланкистскую разновидность марксизма, не очень далекую от большевизма.

Даже знаменитый поворот Муссолини в октябре 1914 года от антивоенной позиции к “активному и действенному нейтралитету”<sup>18</sup> в пользу союзников, не означал отказа от революции. В итальянских условиях он имел другой смысл, чем присоединение французских или немецких социалистов к военной политике своих правительств. Ведь вся итальянская политика, начиная с объединения страны, вдохновлялась идеей, что Австро-Венгрии, великому северному соседу, принадлежит решающая роль в установлении европейского равновесия и в распространении католицизма на Балканах. Остаточные территориальные разногласия между Римом и Веной имели по сравнению с этим второстепенное значение. Именно консервативные устремления привели Италию в Тройственный союз, вместе с центральноевропейскими державами. А Муссолини подхватил знамя Мадзини<sup>19</sup> — против знамени графа Бальбо<sup>20</sup>: Италия должна вернуться к своей револю-

ционной традиции, преданной трусливой буржуазией, и смело отвоевать у Австрии итальянские земли. “Смело” — это значит: отбросив пассивность, позорную робость, недостойную итальянской истории. Таким образом, особенность муссолиниевского национализма в том, что он присваивает самую революционную часть наследия Рисорджименто, обещая выполнить наконец его заветы.

Обладая бурным деятельным темпераментом, Муссолини не может примириться с бездействием Италии в момент, когда вся Европа охвачена пламенем. Но в своей воинственности, за которую он был изгнан из социалистической партии, он следит за тем, чтобы революционная идея не отрывалась от требования национального возрождения. Войну надо использовать для обновления страны, но не путем отказа от войны, как предлагал Ленин, а путем участия в ней. Оба деятеля едины в отказе от пацифизма, в презрении к буржуазии, в уверенности, что война поможет осуществлению их целей. Но если Ленин дает революции марксистские мотивировки, Муссолини устраивает взрывчатую смесь социализма с национальной идеей, утверждая, что буржуазный мир будет разрушен не пролетариатом, а нацией. В эту эпоху интеллектуальная Италия так же, как и он, ненавидит своих слишком осторожных политиков, эту узкую олигархию, воплощением которой является Джолитти, несравненный мастер парламентских манипуляций. Во вступлении в войну она видит способ покончить одновременно с Австрией и Джолитти и вернуть революционным путем Трент и Триест<sup>21</sup>, равнозначные в сознании итальянских патриотов Эльзасу и Лотарингии. Воинственность входит, таким образом, в итальянскую культуру под знаком отважных деяний Рисорджименто и 1848 года. И вступление Италии в войну в марте 1915 года было настоящей революцией, направленной против Джолитти и знаменовавшей приобщение широких народных масс к национальной политике. Пример Италии особенно ясно показывает историку, до какой степени первая мировая война связывалась в сознании народов с надеждой на демократическое и национальное обновление.

Предполагалось, что война будет короткой, — она была длинной. Ожидалось, что она будет победоносной, но победа оказалась кучей и не могла изгладить из памяти разгром под Капоретто в 1916 году. Она так и не удовлетворила все итальянские территориальные требования; она не смогла полностью отстранить от власти Джолитти и его присных. Но она глубоко перепахала национальную жизнь и во многом сохранила нетронутыми неопределенные надежды “интервенционистов”<sup>\*</sup> 1914—1915 го-

<sup>\*</sup> Странники вступления Италии в первую мировую войну. — *Прим. пер.*

дов. Государство было более слабым, чем когда-либо: д'Аннунцио со своими солдатами в сентябре 1919 года захватил Фиуме и отказывался его покинуть. Центристская олигархия, царившая на итальянской политической сцене, потеряла устойчивость: из-под ее контроля ушли обе крупнейшие массовые партии, социалистическая и новосозданная "Народная партия" дона Стурцо, вернувшая католиков в итальянскую политику. При этом первая из них сама не может справиться со стихийными революционными забастовками, которые в 1920 году, по советскому примеру, сопровождаются занятием заводов. Немного позже, зимой 1920—1921, богатая долина По становится театром жестоких столкновений между батраками и землевладельцами. И последний штрих в картине: экономическая и финансовая ситуация достигает критической точки, поскольку Италия должна расплачиваться по высокому счету за слишком дорогостоящую войну. В этих-то условиях Муссолини и провозглашает необходимость итальянской революции в качестве ответа на все вопросы. Рассмотрев его требования, мы получим не самое плохое определение фашизма.

Итальянский фашизм является прямым порождением войны в гораздо большей степени, чем любой другой диктаторский режим этих лет. Большевистский режим тоже был связан с войной, но Ленин захватил власть, борясь с войной, а не опираясь на нее. Гитлер и национал-социализм были детьми поражения, в том числе и от Веймарской республики, которая разгромила его путч, чтобы десять лет спустя отдать ему власть. Муссолини пришел из крайне левого крыла социалистической партии и начал свой путь к власти, толкнув Италию в войну, которой она могла избежать. Все его методы политической борьбы были связаны с войной и были им сохранены и после того, как война окончилась. Прежде чем стать доктриной, фашизм был воензированной партией, имеющей свою военную организацию. Отборные формирования итальянской армии, так называемые "ардити", носители военно-аристократического духа, стали основой создания первых "фашистских" батальонов весной 1919 года. А что еще оставалось делать этим любителям отчаянного риска, эстетам героической смерти, которым к тому же грозила демобилизация? Их первым "гражданским подвигом" стал разгром помещения социалистической газеты "Аванти" в Милане 15 апреля 1919 года. Фашистская политика проста, как военные действия. Понятие "враг" она распространяет на своих соотечественников.

В этом проявляется характер тех страстей, которые фашизм ставит себе на службу, и особенности создаваемой им идеологической системы. Дело не ограничивается национализмом, — в этом случае он не отличался бы от д'Аннунцио (минус его литература)

и его фиумских легионеров. Итальянский фашизм является более широким движением и выражает более глубокое возмущение, — возмущение буржуа и мелких буржуа: со времени национального объединения они были вытеснены с политической сцены и теперь требуют своего места<sup>22</sup>. Эти люди были интегрированы в национальную жизнь войной. Захваченные после войны социальным кризисом, они не любят социализм и боятся заразительности советского примера. Но точно так же они ненавидят собственную парламентскую олигархию, которая так долго стояла у власти и не сумела ни войти решительно в европейский конфликт, ни добиться для Италии такого мира, который был бы достоин принесенных жертв. Кичась военной доблестью, они переносят в политику военные методы и ценят превыше всего воинское братство и жестокость.

Братство: одной из главных тем “интервенционизма” 1914—1915 годов было открытие народа. Фашисты, смешавшись в траншеях с рабочей и крестьянской Италией, хотят привлечь широкие массы к своей борьбе за власть. Жестокость: разоблачение буржуазной законности было общим местом социализма и революционного синдикализма, прежде чем стать лейтмотивом муссолиниевского фашизма. Сила выше права. Муссолини достаточно было сохранять верность своему прошлому, чтобы почувствовать себя уверенно в новой роли. В социалистическом движении предвоенных лет Ленин и Муссолини были носителями одной и той же ненависти к реформистам, этим стыдливим пособникам буржуазии. Оба решительным образом отделяли задачи пролетариата от буржуазной демократии. Но с 1914 года их пути разошлись: Ленин призвал превратить мировую войну в войну классов; Муссолини решил свергнуть Италию во внешний конфликт, чтобы пожать его плоды внутри страны. Тактическая линия этих двух деятелей в 1914 году была различна, что не помешало обоим извлечь пользу из войны в двух отношениях. В техническом отношении они строили свою политику в соответствии с новой эпохой, открытой мировой войной. Они обращались к вчерашним фронтовикам, привыкшим в военные годы к незатейливой и массивной пропаганде. К черту ухищрения парламентского красноречия и ученые аргументы! В мирных условиях сплотить общество разрозненных индивидов единой волей, едиными эмоциями — таков секрет новой демократической политики. Муссолини вдохновляется Лебоном<sup>21</sup>, которого он читал и перечитывал, и подражает Ленину, которым восхищается, хотя и борется с ним.

Однако за такую алхимию приходится платить интеллектуальную и моральную цену. Политическая речь утрачивает всякие критерии, кроме ближайшего результата. Она становится целиком и

полностью демагогической, то есть имеет целью пользу (того, кто говорит) и утрачивает всякую связь с элементарной моралью и верностью общеизвестным фактам. Выступая перед народом на площади, современный диктатор не только упрощает проблемы и не просто топит их в потоках лжи — он сам разделяет чувства и идеи, к которым взывает. От макиавеллиевского правителя он сохранил страстное желание захватить и сохранить власть всеми возможными политическими средствами. Но само политическое искусство выродилось, оно свелось к умению манипулировать массами, обращаясь к ним с речами и действиями в соответствии с владеющими ими страстями. Поскольку роль вождя предполагает самоотожествление с речью, он привносит в политическую борьбу такое аффективное неистовство, такую беспардонность и грубость приемов, которые не имеют прецедентов в истории.

Вторжение масс на политическую сцену Европы произошло в таких формах, о которых спорили многие мыслители прошлого века: они предвидели пришествие новой политической цивилизации, в которой хрупкие конституционные режимы будут сметены прямым народным вмешательством, а парламентское представительство будет заменено идентификацией с вождем.

Впоследствии фашизм будет самоутверждаться в борьбе с коммунизмом, но первоначально он является производным от тех же самых политических страстей, которые породили и коммунизм: и прежде всего — это ненависть к буржуазному парламентаризму.

Сегодня даже трудно себе представить, какую ненависть вызывала в то время фигура депутата, в которой видели концентрированное выражение всей фальши буржуазной политики: он и символ олигархии, прячущейся под маской демократии; и символ подавления под маской закона; и символ коррупции под маской республиканской добродетели. Он являет собой противоположность того, чем должен был бы быть: он не представитель народа, а человек, с помощью которого деньги, этот универсальный властитель мира, подчиняют себе волю народа. Он помогает плутократии скрывать свое истинное лицо. Рисуя такой образ, люди как правых, так и левых убеждений, уже в XIX веке, доводили до крайней точки критику идеи “представительной власти”, неотделимую от современной демократии. После первой мировой войны критика получила дополнительный импульс ненависти миллионов вчерашних солдат, которых парламентарии бросили в кровавую мясорубку, а сами остались сидеть дома. В январе 1918 года Ленин, ничтоже сумняшеся, разогнал избранное народом Учредительное собрание, опирающееся на исторический прецедент Французской революции: диктатура пролетариата, выражающая поступательный ход истории под руководством Коммунистической партии, не обя-

зана была считаться со случайностями голосования и превратностями парламентской борьбы. Муссолини достаточно будет продемонстрировать свою приверженность воинской доблести, а его сторонникам — свою готовность прибегнуть к насилию, чтобы депутаты подчинились их воле.

Но в обоих случаях вместе с политической абстракцией народного представительства и юридической абстракцией закона была уничтожена и идея конституционного государства. Власть партии и ее вождя заменила власть избранных гражданами представителей, а это означало конец демократической легитимности и права. С одной стороны, власть отныне осуществляется на постоянной основе, от имени национальной общности или избранного историей класса, она имеет онтологическое обоснование, по сравнению с которым теряет всякий смысл политическое соперничество посредством выборов и голосований. С другой стороны, партия и человек, стоящие у власти, не встречают ограничений в виде закона. Для них не существует конституционного договора, регулирующего отношения между государством и гражданами: речь может идти только о раскладе сил между классами и между народами. Революция для них — постоянный и естественный образ действий.

Презрение к закону как к формальному прикрытию господства буржуазии, апология силы как повивальной бабки истории — обе эти темы зародились в политической мысли Запада задолго до XX века и достигли особой силы воздействия в десятилетия, предшествовавшие войне 1914 года, причем как среди левых, так и среди правых. В этом отношении одним из самых интересных авторов эпохи остается Жорж Сорель с его яростной критикой смехотворной трусости буржуазного парламентаризма и его верой в насилие как скрытый двигатель современного мира. На него обычно смотрят как на яркого, но подозрительного автора: он дрейфует где-то между революционным синдикализмом и “Акс-он франсез”, он антисемит и поклонник одновременно Ленина и Муссолини<sup>24</sup>. Однако именно этот конгломерат взглядов должен был бы привлечь к нему особое внимание. Меня сейчас интересует даже не то, насколько его сочинения сыграли роль предвестия. Они лишней раз свидетельствуют о расхождении между теорией и практикой, а также — между интеллектуалами и реальной историей.

Насилие, по Сорелю, неотделимо от творческой активности. Оно призвано разорвать плену лжи, покрывающую общество, и вернуть индивидам, вместе со смыслом коллективного существования, моральное достоинство. Как и Ницше, он полагает, что насилие поможет восстановлению человеческого величия вопреки

всеобщему измелчанию демократического времени. Жизнь буржуа проникнута лицемерием; классовая борьба позволяет пролетариату вернуть гражданскую доблесть на политическую сцену. Таким образом насилие получает этическую цель и превращает революционера в героя. Поклонник идеи всеобщей стачки, Сорель восхищался Лениным и Муссолини как двумя гениями воли, которые взяли на себя ответственность перед своими народами и повели их к созданию нового человека. Бедный Жорж Сорель! Он, анархо-индивидуалист, сын Прудона, выступает с прославлением создателей режимов, по сравнению с которыми ненавидимые им буржуазные государства кажутся несбыточной мечтой борцов за свободу! Он видит в них только то, что соответствует его страстям и идеям. Ленин для него — наследник великих царей, такой же революционер, как Петр I, такой же русский, как Николай I<sup>25</sup>. Муссолини восстанавливает преданную республиканскую традицию Рисорджименто. Соединяя национальное возрождение с социалистической идеей, вновь обретшей революционную направленность, эти два “вождя народов”<sup>26</sup> силой разрушают буржуазный строй во имя более высокой идеи сообщества.

На самом деле и красный террор, с помощью которого Ленин удерживал власть, и фашистский террор, с помощью которого Муссолини власть завоевывал, имели мало общего с философской идеей насилия, которую развивал наш теоретик всеобщей стачки. Оба диктатора возникли не столько из идей, сколько из общего события: войны. Здесь сыграли решающую роль не те или иные убеждения, а общие тенденции возврата к революционным методам управления посредством страха.

Война повсюду распространила привычку к страху и пассивности. Мобилизовав себе на службу всех до единого, она дала гражданам наихудшее из всех возможных политическое воспитание. Русская революция, даже на своей февральской стадии, только подтверждает общее правило: являясь смесью военного разгрома, правительственной некомпетентности и революционной пассивности, она не выдвинула никакой силы, способной установить конституционный порядок. Она первая показала, что послевоенный период продолжает жить военными страстями и уловками. Ленин берет власть в октябре не благодаря своим философским взглядам, а вопреки им: его негибкая воля позволяет ему воспользоваться случаем в самых невероятных для марксиста обстоятельствах. Муссолини побеждает в 1922 году не потому, что он следует доктрине, а потому, что его противники слабы или трусливы, или то и другое одновременно. Оба деятеля были первопроходцами, разгадавшими политическую конъюнктуру послевоенного мира: она не соответствовала сорелевским представлениям о

насилии. Это был мир политического гангстеризма, готового воспользоваться любым благоприятным случаем.

Политическая борьба перестала подчиняться некоей совокупности правил, закреплённых в общественных нравах и институтах, как то было принято в Европе XIX века. Политические страсти никогда не были столь мощными и всеобщими, как в тот момент, когда они оказались освобождёнными от всяких ограничений цивилизации. Ненависть к деньгам, эгалитарные устремления, чувства национального унижения разгораются с тем большей силой, что вожди не упускают возможности подлить масла в огонь. Хотя они и рассчитывают свои тактические ходы, они, в то же время, настроены в унисон к страстям военного времени, которыми они манипулируют и которые разделяют. В период, когда политика приобретает все более доктринальный характер (потому, что и большевизм, и фашизм — это “учения”), она также становится все более элементарной. Происходит это, во-первых, потому, что идеи она превращает в верования, а во-вторых — потому, что она допускает любые средства, включая ложь и убийство, возведенные в ранг гражданских добродетелей. Здесь сограждан убивают, как врагов на войне. Достаточно принадлежать к другому классу или к противной партии. Разоблачение “формальной” лжи законности приводит к фактическому торжеству произвола и террора. Тот, кто получил власть, присваивает себе и право указывать противника, подлежащего уничтожению.

В лице русского большевизма и итальянского фашизма мы видим воплощение некоей политической системы, функционирующей на двух уровнях: на теоретическом уровне они состоят из благородных идей и намерений, а на практически-политическом — из поспешных насильственных действий. Эти два уровня соотносятся между собой как возвышенная поэзия и низменная проза. Фашизм потерял свою поэзию во второй мировой войне, тогда как большевизм получил благодаря ей возможность загладить свою прозу. Но историк, который стремится понять Европу тех лет, не должен забывать, что муссолиниевский фашизм был для миллионов людей и учением, и надеждой. У него не было великого интеллектуального прародителя, но он тоже хотел покончить с буржуа во имя нового человека, и ему удалось собрать под свои знамена значительную часть интеллектуального авангарда: футуристов, тех, кто тосковал по героическому порыву Рисорджименто, Маринетти, Унгаретти, Джентиле, даже Кроче, хотя и ненадолго<sup>27</sup>.

Страсти, разжигаемые фашистским активистом, иные, чем те, к которым обращается партиец-большевик, но природа у них одна. Вместо правового общества выдвигается культ родины как уто-

пического всеединства, как вновь обретенного источника великих коллективных эмоций. Что же касается средств, которыми пользуется фашистское движение, то они уже были взяты на вооружение большевиками: все средства хороши, если они служат желанной цели.

Итак, фашизм — это не просто реакция на большевизм. Его нельзя сводить к функциональной роли орудия в руках буржуазии. На вопросы, задаваемые коммунистами: как покончить с индивидуализмом современного общества? как создать подлинное человеческое единство? как растворить частного человека в человеке общественном? — фашизм дает иной ответ, сфабрикованный из разнородных культурных элементов на фоне итальянского отчаяния. Его доктрина не обладает симфонической красотой марксизма, но, поскольку она адресована массам, это не имеет существенного значения. Необходимо, чтобы она позволяла говорить поочередно несовместимые вещи. “Ленинизм” открыл путь в этом направлении: чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить маленькую книжечку “Государство и революция”, написанную Лениным накануне Октября, с реальной практикой большевиков несколькими месяцами позже. Фашизм Муссолини поступает с такой же легкостью. Доктрина сама по себе, пропаганда и действие — сами по себе; лучший способ утвердить свои идеи — захватить власть силой, чтобы открыть новую страницу в истории человечества.

Подлинная новизна итальянского фашизма заключается не в том, что он мобилизовал массы под лозунгами антикоммунизма: до него это удавалось сделать социал-демократам в Германии и христианским демократам в Италии. Его новизна в том, что он изобрел революцию справа. Ибо, как показал Ренцо де Феличе<sup>28</sup>, фашизм этой поры по своим устремлениям, идеологии и практике может с полным правом считаться революционным движением. И даже впоследствии, когда Муссолини придет к власти ценой компромисса со старыми итальянскими элитами и установит режим, предающий цели его же движения, он останется диктатором, стоящим вне контроля правящих классов и закона. Ибо фашистский режим всегда будет сохранять идеологическую связь с фашистским движением<sup>29</sup>. Впрочем, роковой для себя союз с нацистской Германией в 1938 году Муссолини и его единомышленники заключили вопреки “буржуазной” осторожности и без каких-либо консультаций с традиционными итальянскими элитами.

В фашизме, как и в коммунизме, присутствует идея будущего, основанная на критике буржуазного настоящего. Эта эклектическая критика имеет многочисленных предшественников, видевших в

буржуазии воплощение дьявола. Фашистская доктрина претендует на восстановление единства народа и нации, наперекор раздробленности, которую несут с собой деньги. Разрозненные элементы антибуржуазной критики были сплавлены коллективными эмоциями первой мировой войны. Почувствовав это, Муссолини, деятель итальянского революционного социализма, придумал новую музыку. Фашизм родился не только для того, чтобы победить большевизм, но чтобы навсегда уничтожить раздробленность буржуазного мира. Оба движения — и фашизм, и коммунизм — объединены общими устремлениями и общим ощущением неблагополучия жизни. Они ищут различные и даже взаимоисключающие опоры: в одном случае — класс, в другом — нацию. Но они хотят снять с общества одно и то же проклятие и сделать это одними и теми же средствами.

Фашизм — это не только состояние духа и не только доктрина; это стратегия, и даже больше, чем стратегия, — это воля к власти. Завладеть государством, чтобы с его помощью создать новый народ, — Муссолини, вслед за Лениным, был одержим этой навязчивой идеей. Якобинская традиция таким путем распространила свое влияние на страну, где государство было чрезвычайно слабым, почти беспомощным как по своим административным возможностям, так и по тому, как относился к его авторитету народ. И это — одно из ярких свидетельств того, как усилилось в послевоенной Европе влияние революционной политики “французского типа”.

Своеобразие итальянской политической сцены состояло в том, что на ней впервые вступили в борьбу сразу три политические силы: революционная левая, совокупность “буржуазных” партий и революционная правая. В этом контексте фашизм можно рассматривать как “реакцию” на коммунизм, в соответствии с тезисом Эрнста Нольте. Однако нельзя сказать, что движение “дуче” сыграло значительную роль в разгроме того, что можно было бы назвать первым итальянским большевизмом 1919—1920 годов; оно едва тлело в период больших рабочих волнений и осталось в стороне и от забастовок с занятием фабрик, и от бесславного конца социалистического “максимализма”<sup>30</sup>. Движение Муссолини не приняло никакого участия в подавлении “рабочей” революции, однако ее поражение открыло перед ним путь к революции “национальной”. Начиная с осени 1920 года Муссолини проводит двойную стратегию, которая проложит ему путь к власти: он терроризирует левые силы, чтобы рикошетом заставить капитулировать монархию и буржуазию. С одной стороны, его вооруженные банды ликвидируют бунты сельскохозяйственных рабочих в долине По и жгут биржи труда по всей стране. С другой стороны, “ду-

че” плетет сеть парламентских интриг, используя репутацию умеренного, созданную ему экстремистами, играя на слабости либералов, зажатых между двумя неопределенными силами — социалистами и “пополяри”.

В победу фашистов молодая итальянская Коммунистическая партия внесла существенный вклад, с одной стороны, оживляя своими лозунгами призрак большевизма, а с другой — нанося удары по ненавистной социалистической партии. Итальянская коммунистическая партия претендует на то, чтобы быть в первых рядах борьбы против Муссолини. В то же самое время, верная инструкциям Коминтерна, она включает в лагерь фашизма всех, кроме себя, так что получается, что главный приоритет антифашистской борьбы — это ликвидация социалистической партии! Своими словесными излишествами коммунисты только развязывают руки Муссолини. Их постановка вопроса “фашизм или коммунизм”, при всем кажущемся радикализме такой альтернативы, заключает в себе фактическое согласие на временную победу фашизма.

Может показаться, что “марш на Рим” в октябре 1922 подтвердил тезис Коминтерна, поскольку этот военный фарс привел к капитуляции короля и либеральных партий перед бандами “скаудристов”, как если бы обе стороны тайно договорились об этом. По видимости, Муссолини привели к власти буржуазные партии. Однако в действительности дело обстояло совершенно иначе. Успех диктатора был подготовлен в годы, которые предшествовали зрелищному походу на Рим, и был обусловлен не столько сообщничеством, сколько неосведомленностью и бездарностью противоположной стороны.

Ибо фашизм владел властью еще до того, как официально получил ее. Если осенью 1922 года Муссолини был в силе, то лишь потому, что вот уже много месяцев его отряды контролировали огромные районы страны. Если его приход к власти кажется неизбежным авгурам итальянской политики, то во многом потому, что в общественном мнении он является тем человеком, которого считают способным обновить государство. Правда, его военизированные банды одерживают верх благодаря силе, а не идеям. Но он сумел дистанцироваться от них и представить себя политической фигурой; ведь террор может помочь удержать власть, но его недостаточно для захвата власти. Сила Муссолини лишь во вторую очередь связана с его вооруженными бандами. С другой стороны, и его политические таланты тоже играют лишь второстепенную роль. Главный источник его чудовищной силы — в его способности использовать настроения наполовину выигранной (то есть, наполовину проигранной) войны для создания такого национально-

го движения, которое сумело оседлать революционный подъем 1919—1920 года, изменив его направление.

В этом смысле итальянский фашизм действительно выходит из коммунизма. Националистической фрустрации было бы недостаточно, чтобы создать Муссолини. Нужен был такой дополнительный фактор, как антикоммунизм, который позволил использовать встречную силу, направив ее к другой цели, и вывел фашизм за пределы простого консерватизма. Фашизм смог предложить правым кругам новые выходы к народу с обновленными лозунгами, он воспользовался пропагандистскими секретами большевизма и его революционными призывами, но к другой революции — национальной. Энергия, которую он получил от войны, оказалась удвоенной за счет энергии, оставшейся после разгрома левого максимализма, остатки которого послужили фашизму питательной средой.

Впоследствии, когда Муссолини будет разбит и, более того, обеспечен своей дружбой с Гитлером, победители-коммунисты ретроспективно утвердят свою интерпретацию событий прошлого, и никто уже не сможет вспомнить, что фашизм был не просто террористической формой господства буржуазии, а чем-то иным: народной надеждой на лучшее будущее. Восторжествует мнение, что быть антикоммунистом значит быть игрушкой в руках крупного капитала, как будто антикоммунистические чувства могут питаться только меркантильными интересами или обманом и приводить только к диктатуре. Или как если бы буржуазный эгоизм не мог, по определению, совмещаться с более бескорыстными целями, такими, как демократия. Коммунистическая интерпретация фашизма, господствовавшая на протяжении последнего полувека, затемнила суть феномена, его независимость как в отношениях с буржуазным миром, так и в конфликтном взаимодействии с большевизмом.

Однако итальянский пример — первый по времени — ставит все на свои места. В октябре 1922 года у итальянского истеблишмента было две причины, чтобы прибегнуть к “эксперименту” Муссолини. Первая: фашизм уже пользовался поддержкой общественного мнения и представлял собой реальную силу. Вторая: “дуче” в своих речах стал склоняться вправо, поддерживая надежды тех, кто считал его способным вписаться в существующую систему. Старый мудрец итальянской политики, непоколебимый Джолитти, создававший растущую слабость итальянского либерального государства, рассчитывал использовать Муссолини, чтобы загнать в угол социалистов и “пополяри” и продолжать управлять “как раньше”. Этот эпизод напоминает то, что будет происходить с Гитлером десять лет спустя. В результате Джолитти, а не Муссолини, ос-

тался в дураках. Потому что фашистский главарь, прорвавшийся к власти с помощью напора и хитрости, стремился не укрепить существующий строй, а уничтожить его. Он не собирался подчиняться парламентским партиям, а сам подчинил их своим интересам: насилие фашистских отрядов по отношению к коммунистам и левым социалистам приобрели легальный характер. Вооружившись специально разработанным избирательным законом, предоставлявшим победившей партии две трети мест в палате депутатов, фашисты с апреля 1924 года становятся там полновластными хозяевами. Кризис, вызванный убийством Маттеотти, лишь ненадолго задержал процесс фашизации, увенчавшийся в 1928 году заменой парламента фашистским Большим Советом.

Так парламентский приход Муссолини обманул ожидания Джолитти и всех либеральных и демохристианских политиков<sup>11</sup>. Они-то думали приручить революционера, который, казалось, был готов к этому. Но он, едва оказавшись у власти, тут же принимается осуществлять свою революционную идею (если только это прилагательное применимо к установлению абсолютного господства государства, охватывающего общество целиком). Джолитти и либеральные демократы не поняли этого замысла, как не поняли его и марксисты: и тем и другим он был недоступен, так как не походил ни на что, имевшее место в прошлом. И либералы и марксисты основывали свои анализы на политической экономии, которую считали главным фактором современной общественной жизни. Первые не могли себе представить, что политик-антикоммунист, каким бы демагогом он ни был, не пойдет в конце концов на компромисс с представительной системой и не вернет господствующим классам их руководящую роль. Вторые слепо верили в роль надстройки: если Муссолини пришел к власти с помощью буржуазных политиков, значит, его задача — бороться против революции, а он сам — марионетка капитала. Никто не принимал всерьез фашистскую критику политэкономии и культ политической воли, но именно его стал проводить в жизнь Муссолини после 1922 года.

Ибо тайна утверждения у власти итальянского фашизма, как это хорошо показал де Феличе, состояла не в том, что денежные воротилы и либеральные политики проложили ему дорогу. В конце концов, трусость буржуазии была очевидна. Но она не объясняет двух очень важных вещей в фашистской диктатуре. Во-первых, силу воздействия ее идеологической проповеди на массы, что и позволило ей претендовать на управление страной. Во-вторых, и это еще важнее, ее политическую автономию: странно не то, что она пошла на компромисс с буржуазией, а то, что она сохранила при этом свою независимость. Муссолини остается верен своему

намерению ликвидировать буржуазные партии и обеспечить себе полную власть над всемогущим государством, чтобы таким образом осуществить свой проект преобразования нации и общества. Он добьется лишь частичного успеха, и муссолиниевское государство никогда не будет таким “тоталитарным”, как государство Гитлера или Сталина, несмотря на то, что само слово было придумано в Италии<sup>22</sup>. Однако из того, что гражданское общество смогло сохранить там частичную независимость, не следует, будто власть хоть в малейшей степени могла быть поделена. Муссолини стал единственным и полновластным (а также и популярным) хозяином, начиная с 1925—1928 годов; в политическом плане буржуазия, король и вообще все традиционное обрамление власти были лишены возможности принимать решения.

Антикоммунизм мало что объясняет в механизме прихода Муссолини к власти, потому что в момент, когда он становится главой государства, “коммунистическая опасность” уже миновала. Не объясняет он и того, почему в считанные годы руководящие классы оказались отстраненными от власти, а все их надежды на компромисс с Муссолини обманутыми. Чтобы все это понять, необходимо перестать перекладывать всю ответственность за фашизм на плечи буржуазии и рассмотреть его в ином измерении — как политическую революцию. Если большевизм представляет собой общий фон возникновения фашизма, то не потому, что он способствует сближению между фашистскими и буржуазными политиками, — это обстоятельство не объясняет ни продолжительности фашизма, ни его популярности. Большевизм принес с собой нечто другое, относящееся к сфере манипулирования и политического инструментария: он открыл для политики новые возможности, новые сферы коллективного воображения, позволил революционной страсти пустить более глубокие корни. Фашизм вписался в это новое пространство как симметричная большевизму и противоположная ему реальность. Но если бы он был лишь средством сдерживать и уничтожить большевизм, он не оставил бы в нашем столетии столь яркого и мрачного следа. Как Ленин вернул революцию в центр европейского левого движения, так и Муссолини проделал аналогичную операцию с правым движением, указав ему путь сближения с народом. Отсюда между двумя течениями возникает чудовищный антагонизм, тем более непримиримый, что оба они основаны на вере в изменение мира посредством насильственных действий. Оба делят всех людей только на своих сторонников и противников, на праведников и негодяев. Одно движение ненавидит другое не только за то, что их разделяет, но и за то, что их сближает.

Я не знаю на этот счет более убедительного и более грустного примера, чем свидетельство Пьера Паскаля, на которое я уже ссылался выше. Речь идет о приезде в Москву Анджело Таска, бывшего социалиста, ставшего членом III Интернационала и еще переживавшего период полной веры в советскую систему: «Это был один из тех пламенных итальянцев, — пишет Паскаль, — которые симпатичны своей искренностью, но совершенно лишены критического духа. Он делится с нами некоторыми воспоминаниями о Муссолини, чьим сподвижником и даже помощником во время выборов он был до войны... О нынешнем итальянском режиме он наивно рассказывает такие подробности, которые вызывают у меня желание расхохотаться, настолько они напоминают московскую жизнь: газеты систематически лгут, население забыло, что такое правда, правительством стало верить своей собственной лжи. В тюрьмах все газеты запрещены, кроме «Пополо д'Италия»<sup>33</sup>. В армии дают фашистское воспитание. Муссолини в недавней речи разделил все население на три группы: фашисты, сочувствующие фашизму и «не-фашисты» («беспартийные»)»<sup>34</sup>.

Таким образом, революция в обеих странах делалась во имя разных целей, но режимы, как выяснилось несколько лет спустя, возникли почти идентичные... Одни расстреливали буржуев, другие проламывали головы рабочим, но и те и другие ввели власть одной партии и ложь о единстве народа. Описывая итальянский фашизм, Таска не подозревает, что описывает московскую реальность, вплоть до политического словаря. Паскаль, напротив, все понимает, но не решает ничего сказать собеседнику, поскольку знает меру его самоослепления и собственного риска. Эта московская встреча 1927 года уже содержит в себе нераскрытую тайну века.

Но победа Муссолини была только предисловием. Десять лет спустя после «похода на Рим» драма разыгралась на более обширной сцене и с более тяжелыми последствиями. В тот момент, когда Сталин окончательно укрепляется у власти, Гитлер накладывает руку на Германию. Два величайших чудовища века вписывают в историю взаимоотношений между коммунизмом и фашизмом новую главу.

Для начала будем исходить из ставшей классической констатации: сталинский большевизм и национал-социализм создали образцовые тоталитарные режимы XX века. Прилагательное, введенное в употребление Ханной Арендт, лучше любого другого операционного понятия определяет эти общества, состоящие из атомизированных индивидов, лишенных политических связей между собой и целиком подчиненных «тотальной» власти одной

партии и ее вождя. Из этого типологического сходства двух режимов не следует, будто они идентичны и во всех других отношениях или что их сходство оставалось неизменным на протяжении всей их истории. Гитлеровская Германия и сталинская Россия — это два разных мира. И нацистская Германия в 1937 году была менее тоталитарной, чем в 1942, в то время как сталинский террор не ослабевал ни до, ни после, ни во время войны. Но тем не менее, оба режима вместе, и только они одни, дали законченный пример разрушения гражданского порядка и полного подчинения индивида идеологии и террору партии-государства. В обоих случаях, и только в них, мифология единого народа под водительством партии-государства и ее вождя привела к миллионным жертвам и полному слову в истории обоих народов. Гитлер и Сталин достигли таких высот злодеяния, что их действия не укладываются в доступный историку скромный масштаб причинности. Любая конфигурация причин и следствий оказывается недостаточной, чтобы описать катастрофы таких размеров. Мы можем попытаться очертить хотя бы то, что доступно разуму.

Близость двух режимов, рассмотренных под углом зрения “тоталитарности”, опровергает их кажущийся таким простым идеологический контраст. Нацистская Германия принадлежит к семье фашистских режимов, в то время как сталинская Россия следует большевистской традиции. Гитлер подражал Муссолини, а Сталин следовал за Лениным. Такая классификация основывается на истории идей или намерений: она различает два революционных устремления, одно из которых делает упор на частное, то есть на нацию или расу, а другое — на универсальное, утверждая, что освобождение пролетариата послужит прологом к освобождению всего человечества. Таково классическое сопоставление по пунктам двух идеологических систем, которое не мешает каждой из них иметь собственную замкнутую концепцию истории, причем обе концепции предполагают некий путь спасения от несчастий, порожденных буржуазным эгоизмом. Если родство коммунизма и фашизма было секретом их тайного сообщничества, то их антагонизм проявлялся в открытых столкновениях. Вторая мировая война сначала продемонстрировала их сообщничество, а затем стала театром их столкновения, которое в конечном счете и определило ее смысл.

Однако “антифашизм” — не более чем полемический прием истолкования истории последнего столетия. Он не дает возможности сравнить коммунистические и фашистские режимы с точки зрения их отношения к либеральной демократии. Он мешает провести сравнение между Гитлером и Сталиным, а также отметить различия между Гитлером и Муссолини. Ибо, с одной стороны,

гитлеровский и сталинский режимы — это единственно полностью “оруэлловские” режимы нашего века, а с другой — итальянский фашизм в этом смысле принадлежит к другой категории, чем нацизм: он не обладал такой тоталитарной способностью; он не разрушил государство, а направлял его; наконец, он не привел страну к национальной катастрофе такого масштаба<sup>15</sup>. Впрочем, можно поставить вопрос, не относится ли различие между ними также к сфере идей и намерений: ведь Гитлер сделал слово “раса” главным пунктом своего политического кредо, в то время как Муссолини по сути дела не был расистом<sup>16</sup>. Даже после того как он поздно и вынужденно присоединился к гитлеровскому расизму, преследования евреев в Италии не шли ни в какое сравнение с преступлениями Гитлера.

И наоборот, даже в сфере идей, противоположность между фашизмом и коммунизмом не так очевидна, как часто думают; чтобы в этом убедиться, достаточно более внимательно присмотреться к формулированию этих идей обоими режимами. Ленин и Муссолини оба ведут происхождение от традиции революционного социализма; противоречие между ними, основанное на противопоставлении класс — нация и восходящее к политическим спорам конца прошлого века, не столь разительно, поскольку Муссолини так до конца и не отказался от претензий итальянского фашизма на универсальность<sup>17</sup>. Один Гитлер цинично провозглашал культ частного во имя высшей расы. Что касается большевизма, то победа сторонников “социализма в одной стране” дала движению национальную, чтобы не сказать националистическую, ориентацию, воплощением которой стал Сталин. Эта усиливавшаяся с годами тенденция исходила из того, что предварительным условием освобождения мирового пролетариата должна стать победа России. Советский Союз не собирался расставаться со своими мировыми амбициями, однако средства, отделенные от конечной цели, приобретали самодовлеющее значение. Примерно то же происходило и с теми, кто был склонен идеализировать итальянский фашизм.

История взаимоотношений между сталинским коммунизмом и немецким национал-социализмом заслуживает особого рассмотрения также и потому, что включает в себя целый комплекс проблем, связанных с их окружением, размерами, соотношением сил. Так, нельзя не учитывать особое место, которое всегда занимал германский вопрос в сознании большевиков, равно как и подчеркнутое презрение, которое автор “Майн Кампф” усиленно демонстрировал по отношению к России и славянским народам вообще. Расположившись в противоположных точках европейского идеологического пейзажа, Сталин и Гитлер объединены сходными чу-

довышними страстями и одним и тем же противником. Я не буду пытаться нарисовать здесь их портреты в полный рост, поскольку это уже сделано выдающимся английским историком<sup>38</sup>, зачарованным, подобно Плутарху, величием зла: в этих двух параллельных жизнеописаниях заключен в концентрированном виде весь ужас нашего века.

Эта история имела свою предысторию: как мы видели, в Германии большевики не переставали искать продолжателей, но встречали одни поражения. Они надеялись получить там гарантии продолжения пролетарской революции в Европе, но получали только опровержения своим идеологическим и практическим расчетам. Большевики пришли к власти в результате провозглашенного Лениным “революционного пораженчества” и разложения армии. Но в Германии этот рецепт не сработал. Военное поражение здесь тоже перевернуло весь политический строй, но отнюдь не подвигло народ на совершение коммунистической революции: наоборот, большевистский прецедент мобилизовал против нее остатки армии и большую часть рабочего класса, оставшуюся верной знамени социал-демократии. Эти заклятые враги, имевшие совершенно разные представления о национальном будущем, сплотились перед лицом угрозы большевистской революции.

Россия скорее распалась, чем была разбита. Германия, напротив, была разбита в военном отношении, но не распалась. После проигранной войны национальные чувства не ослабели, а, наоборот, усилились: это и есть секрет поражения большевиков в Германии. После 1919 года Ленин и Коминтерн учли этот момент в своей стратегии и попытались перенести акцент на оскорбленные национальные чувства немцев, чтобы использовать их против победившего французского империализма. Но вместо того, чтобы большевизировать немецкий национализм, эта стратегия помогла утвердиться идее национального социализма, враждебного одновременно и Москве, и Парижу. Когда специальный посланец Коминтерна в Германии, Радек, приветствовал героизм молодого нациста Шлягетера, расстрелянного в 1923 году французами за “саботаж”<sup>39</sup>, то этим он не столько помогал делу пролетарской революции, сколько оказывал дополнительную поддержку идее национализма.

Послевоенная Германия походила на послевоенную Италию, но ситуация в ней была более радикальной и трагичной. Поражение на поле брани означало конец конституционной государственности и полубуржуазной, полуаристократической монархии. Если бы Германская империя одержала победу, перед ней встала бы задача обеспечить уцелевшим солдатам мирную жизнь, достойную принесенных ими жертв. Перестав существовать в результате военно-

го поражения, она уже не могла ни объяснить одетому в шинели народу смысл отгремевших сражений, ни выполнить своих обязательств. Социал-демократическое правительство, пришедшее на смену кайзеру в сумятице разгрома, представляло тех, кто участвовал в войне, не испытывая к ней ни любви, ни ненависти: такая промежуточная позиция соответствовала бессознательным или сознательным настроениям многих бойцов, но в условиях поражения она не давала ответов на болезненные вопросы. Социал-демократы не могли прибегнуть к вильсоновской аргументации о защите демократии, так как это была аргументация победителей. Став правительством в побежденной стране, они оставались социалистами, а социализм имел в Германии более глубокие корни, чем демократия.

Однако «социалистический» ответ на вопрос о смысле войны пришел с другой стороны — в виде Октябрьской революции. Чтобы преградить путь революции и спасти Германию от большевистского тупика, социал-демократам было недостаточно опираться на остатки традиционной армии. Им в этом помогла противоположная, но также революционная сила, находившаяся справа и состоявшая из военных или военизированных формирований, образовавшихся после национального несчастья и необходимых новой республике. Дух этих формирований был совершенно иным, чем дух традиционной армии: он зародился в траншейном братстве и окопных боях, он был эгалитарным, а не иерархическим, коллективистским, а не кастовым, основанным на независимости, а не на повиновении. Здесь царило презрение к закону, если он исходит от парламента, к политике, если она дело рук представительной власти; эти чувства могли бы сблизить их носителей с большевиками, но их разделяла кровь, пролитая на войне.

Фактически они, как и большевики, верили в силу революционных решений. Но они готовы были прибегнуть к таким решениям ради национальной идеи, а не для ниспровержения социального строя. Поэтому они испытывали к большевикам самую большую ненависть: ведь большевики, в отличие от социалистов, со всей присущей им революционной энергией навязывали такую интерпретацию войны, которая прямо вела к отрицанию Германии. Именно против большевиков члены военизированных отрядов и многочисленных националистических организаций выкрикивали свои обвинения в том, что Германия проиграла войну в результате предательства, но что она раздавит внутренних врагов и в конце концов одержит победу. В момент, когда революционная идея пришла на помощь немецкому консерватизму, сообщив ему новый заряд страстей, легенда об ударе ножом в спину помогала создать образ врага.

В сущности, война, несмотря на поражение, радикализовала идею об особой миссии Германии. Национальные несчастья и угроза большевизма еще увеличили ее притягательность. В новом споре между “Культурой” и “Цивилизацией” социалистам почти нечего сказать, их духовная и политическая слабость — одна из главных драм эпохи. В качестве демократов и главной опоры Веймарской республики они, вместе с Католическим центром, олицетворяют западный путь Германии, ведущий в сторону “Цивилизации”; но этот путь, постоянно ставившийся под вопрос в национальной традиции, в данной конкретной ситуации означал еще и присоединение к победителям. В качестве социалистов они принадлежат к той же семье, что и русские большевики, и хотя подвергаются с их стороны яростным нападкам и ударам, сами отвечают на их ненависть неохотно, преодолевая угрызения совести. Они слишком марксисты, чтобы играть роль буржуа, и слишком буржуазны, чтобы оставаться марксистами: их ненавидят и презирают как коммунисты, так и революционеры справа. Так что даже их победа в 1919—1923 годах и над большевизмом, и над национализмом несколько не прибавит легитимности их республике.

Именно в таком контексте становится понятна совокупность идей, пушенных в оборот Гитлером. На протяжении всех послевоенных лет он мариновался в насыщенном растворе из националистических и революционных организаций, выступая в качестве представителя, а затем вождя маленькой Рабочей национал-социалистической партии. У него не было, в отличие от Муссолини, политического прошлого. Он не был, в отличие от Сталина, наследником партии или системы. В его предыдущей жизни не было ничего, что отличало бы его от всех: он был сформирован предвоенной и военной эпохой и мог бы служить идеальным воплощением анонимности. И после войны этот человек толпы отличался от других разве что повышенным накалом коллективных страстей. Никто так, как он, не ненавидел “ноябрьских предателей” и всех, кто подписал Версальский договор.

Гитлер олицетворял не столько интересы капитализма, сколько страсти, владевшие немцами после поражения. Его, начавшего свою политическую карьеру с самого низа, привела к креслу канцлера именно его способность быть выражением мыслей и страхов, общих для миллионов людей. Он проклинал демократию на языке демократических масс. И он уничтожил ее от имени народа. Его программа установления диктатуры была ясна с самого начала, она была им подробно изложена в письменной и устной форме. “Майн Кампф” далеко не худший способ раскрыть тайну его триумфа. Чтобы понять, каким образом создался Гитлер, надо

анализировать не столько интересы, сколько способы его гипнотического воздействия на страсти и идеи.

Впрочем, он сам сказал об этом, указав на “популярность” как на главную опору власти<sup>40</sup>. Он инстинктивно понял самый большой секрет политики: что наихудшая тирания нуждается в согласии, а если возможно, и в энтузиазме тех, кого она подавляет. Этот секрет стар как мир, но в демократические времена он приобретает особую силу, поскольку все теперь обусловлено общественным мнением: идеология позволяет объединить частные чувства разрозненных граждан на фигуре вождя, который умеет соединить идеологические императивы с коллективными страстями. В этом отношении Гитлер является чистым идеологом (и потому чистым нигилистом): в своих речах он стремится только к манипулированию и к власти, но при этом он весь, целиком вкладывается в то, что говорит, он разделяет со своими сторонниками веру в свои пророчества. Он провозгласил заранее все, что он сделает, даже самое худшее, и это добавляет в его успех некий элемент таинственности. Что касается большевиков, то они взяли власть в России под чужими лозунгами, такими, как “земля крестьянам”, с тем чтобы уже потом, оказавшись у власти, начать проводить в жизнь различные пункты собственной идеологии. Гитлер же с самого начала ничего не скрывал. Мало найдется примеров исторической деятельности, которая была бы до такой степени идеологически запрограммирована<sup>41</sup> с начала до конца.

Как и все идеологии нашего века, идеология Гитлера частично опиралась на научные идеи. Так было и с ленинизмом, и в его первоначальной форме, и в форме сталинизма. Но большевики имели единый источник учения; Ленин, как и Сталин, всегда мог укрыться в тени Маркса, неисчерпаемого кладеза экономических, исторических и философских ссылок. Ничего подобного не было у Гитлера. Этот персонаж не имел крупного философского предшественника, да и не нуждался в нем. Он был самодостаточен. Он сам присвоил себе роль, которую романтические писатели прошлого века отводили себе: служить посредствующим звеном между идеями и народом<sup>42</sup>.

Тем самым, он девальвировал все идеи, которыми пользовался, уже только потому, что он ими пользовался. Человек толпы, обращающийся к толпе, он примитивно использует себе на потребу богатства прошлого, отрывая их от культурных корней и как бы изобретая заново. Он человек действия, которого проигранная война разлучила с традицией: для него Германия начинается с нуля. Ибо немцы в порыве азарта решили поставить всю свою историю на карту войны. Поражение как бы отрезало их от их прошлого, но не предложило им никакого будущего, с которым они могли

бы себя отождествить. Все, что было им предоставлено, — это возможность вернуться к “идеям 1789 года”, воспринимавшимся как глубоко чуждые национальному духу. Еще более чужд им был большевизм, родившийся на русской почве примитивный отпрыск все той же Французской революции, хотя, казалось бы, немцы и русские могли бы объединиться в общей ненависти к победившему французскому империализму. Что же касается “идей 1914 года”, то они, сохранившись наперекор урокам истории, но превратившись в собственную карикатуру, продолжали тлеть в военизированных отрядах, как зародыши гражданской войны. Немецкое общество стало демократическим именно в тот момент, когда им был утрачен центр национального тяготения. Именно эта ситуация образует фундамент гитлеровской идеологии, в гораздо большей степени, чем Вагнер или Ницше.

Поэтому я не буду перечислять авторов или идеи, которые были использованы внутри этой идеологии; сам Гитлер, впрочем, никогда ни на кого не ссыался, настолько он был уверен в абсолютной оригинальности своего пророчества. Для меня имеет значение другое: понять, каким образом беспорядочный набор исходных материалов может создать иллюзию нового обоснования политической системы. Один из приемов был найден Муссолини еще в 1915 году: сочетать нацию и рабочий класс, вырвав первую у буржуазии, а второй — у марксизма. Так возник национальный социализм в том же смысле, в каком Шпенглер говорил о прусском социализме<sup>1)</sup>: способ присвоить себе сразу и антикапиталистическую страсть, и революционное пророчество, поставив их на службу идее исторического избранничества Германии, преданной веймарскими политиками. Речь шла о том, чтобы взять на себя роль, которую социал-демократы, столь сильные в Германии до 1914 года, не смогли исполнить во время войны: быть одновременно партией революции и партией нации. После войны социал-демократы отказались и от того и от другого; перейдя на службу Веймарской республике, они стали буржуа. Гитлер инстинктивно почувствовал оставшееся незанятым пространство, которое коммунисты, руководимые Интернационалом из Москвы, не могли захватить.

Если бы он этим ограничился, то ничем не отличался бы от Муссолини, кроме, разве что, особо сильного чувства немецкой национальной фрустрации. Итальянский фашизм отличался такой же ненавистью к буржуазному либерализму, таким же навязчивым стремлением к объединению народа посредством государства, тем же акцентом на необходимость социальной перестройки, таким же копированием большевистских методов, и т.д. Но у Гитлера было и еще кое-что, помимо немецкого национализма, даже в его пан-

германистской форме. Он был не просто врагом демократии, даже с фашистским размахом. Он был пророком “нигилизма”, если воспользоваться выражением Раушнинга<sup>44</sup>. В отличие от Муссолини, он боролся против христианства во имя принципа естественного отбора. Он хотел разрушить всю европейскую традицию, чтобы установить господство сильных над слабыми. Он хотел разрушить демократию, но не во имя класса, а во имя нации. Тем самым, нацистская идея выходила за пределы национализма, даже такого крайнего, какой провозглашали итальянские фашисты. Она была не столько патологическим отростком на ветви национализма (соками которого она, конечно, питалась), сколько воплощением социодарвинистской абстракции, превратившимся в программу мирового господства.

Ибо, если проповедь Гитлера и пересекалась с некоторыми общими местами модного в начале века пангерманизма (такими, как завоевание славянских земель или неизбежный упадок Франции), главным ее центром была транснациональная (можно сказать, не национальная) идея расы. Не то чтобы эта идея отличалась новизной: она была разработана во второй половине XIX века<sup>45</sup>. Но примененная систематическим образом, поставленная в центр политической программы, заместившая идею нации в качестве силы, одновременно более элементарной и более универсальной, — она изменила природу националистической идеологии.

То же самое можно сказать и о гитлеровском антисемитизме. Бог свидетель, насколько стара в истории Европы ненависть к евреям! В разнообразных формах она неотделима и от христианского средневековья, и от времени абсолютных монархий, и даже от эпохи так называемой “эмансипации”. В конце XIX века она пережила почти повсюду нечто вроде возрождения, и особенно в Вене, где прошла молодость Гитлера. Воплощение плутократии, не имеющий за душой ничего, кроме богатства, чуждый гражданскому обществу, паразитирующий на коллективном труде, козел отпущения и для правых, и для левых, — таким был расхожий образ Еврея, так что автору “Майн Кампф” достаточно было порыться в собственной памяти, чтобы описать все его злодеяния. От себя он добавил только одно: еврей — агент большевизма. Еврей до 1914 года был буржуем или социалистом, после войны он стал еще и коммунистом. Образ Еврея предоставляет уникальную возможность отождествлять его одновременно с капитализмом и коммунизмом, с либерализмом — и с отрицанием либерализма. Силой денег он разлагает общества и нации. В обличье большевика он угрожает самому их существованию. В нем воплощаются два врага национал-социализма: буржуа и большевик<sup>46</sup>, они же — два лица “цивилизации”, две версии “хомо экономикус”, две формы совре-

менного материализма. Гитлер не пропустил ни одного пункта обвинения из обширного репертуара современного антисемитизма<sup>47</sup>. Еврей служил ему для всех надобностей, во всех ролях, предписанных ему правой и левой пропагандой начала века.

Но еще больше, чем своей способностью совмещать противоположности, гитлеровский антисемитизм отличается своим абсолютным радикализмом. Он является центром нацистских политических пророчеств, которые иначе потеряли бы всякий смысл. Действительно, в националистических идеологиях конца века Еврей фигурирует в качестве козла отпущения за все беды, от которых страдает национальное сообщество; достаточно поставить барьер еврейскому влиянию, и жизнь нации будет ограждена от растления. Речь идет о том, чтобы поддержать и укрепить целостность, а значит, и силу своей родины в международном соперничестве, становящемся все более жестоким. Главной целью остается расширение нации, а не уничтожение евреев. Правда, наличествует отличающаяся особой страстностью немецкая разновидность антисемитизма, о которой уже существует обширная историческая литература<sup>48</sup>. В большей степени и раньше, чем другие большие европейские страны, Германия придала понятию нации этническую специфику, которая способна возбуждать особую агрессивность и заносчивость по отношению к внешнему миру. В немецкой политике уже с конца XIX века появились понятия расового превосходства, пангерманизма, “мирового призвания” и “жизненного пространства”, создавшие благоприятную почву для антисемитизма. Но этот взгляд на истоки не должен затемнять зловещую новизну ненависти к Еврею у Гитлера.

В гитлеровском учении расистская идеология становится основной мирозозидающей системы. Арийская раса, призванная, в силу своего превосходства, господствовать над миром, встречается на своем пути Еврея, своего главного антагониста, разрушителя естественного миропорядка. Еврей — это та фигура, благодаря которой судьба “арийца” приобретает вселенские масштабы. Ибо Еврей властвует над Западом благодаря силе денег, а над славянскими народами — через посредство большевиков, и повсюду стремится разрушить исконную нацию. Будучи чистой расой и тщательно оберегая свою расовую чистоту, паразитируя на других нациях, обладая двойной гениальностью в подражании и в обмане, замаскировавшись фальшивым универсализмом буржуазного либерализма и рабочего движения, евреи стремятся — как и арийцы, но не имея на то никаких оснований, — господствовать над миром. Отсюда неизбежность мирового столкновения, пророком и орудием которого Гитлер объявляет себя. Евреям удалось уничтожить Германию в ноябре 1918 года. Гитлер — вождь контрастступления и победы<sup>49</sup>.

Должен признаться, что никогда не понимал предмета ожесточенной дискуссии, разразившейся между историками нацизма, о причинах геноцида евреев: одни ее участники, “интенционалисты”, делали упор на намерениях Гитлера, другие, “функционалисты”, — на функционировании бюрократической системы. Я не вижу, почему эти два объяснения должны противопоставляться друг другу. Ясно, что истребление евреев нацистской Германией имеет своим первоисточком патологическую ненависть Гитлера к евреям, ненависть, ставшую основой его мировоззрения. Эта констатация нисколько не мешает оценить роль, которую сыграла в осуществлении геноцида свойственная немецким нравам исполнительность и безоговорочное повиновение указаниям начальства, — то, что Ханна Арендт в своей знаменитой книге называет “банальностью зла”<sup>50</sup>. Если второе объяснение было использовано для того, чтобы обесценить первое, то произошло это, быть может, потому, что подход, обращенный к социальной и моральной основе страны, казался более “глубоким” в эпоху, когда особый упор делался на “структуру” в ущерб “событию”, когда историки стремились преуменьшить роль личностей и идей в истории; эта тенденция, по моему мнению, исказила определенную часть трудов по истории гитлеровской Германии, не говоря уже о работах, посвященных сталинской России, где подобный подход был настоящим бедствием.

Одна из необычайных особенностей двух великих тоталитарных диктаторов XX века состоит в их постоянной зависимости от идеологии, которая служит основанием их власти. Даже Сталин, который заявлял о своей приверженности марксизму, то есть научной философии демократического направления, превратил это наследие в орудие абсолютной власти над умами. В его руках “просвещенное” учение выродилось в инструмент террора. Ну а для Гитлера идеи никогда и не были чем-либо другим. Даже политический волюнтаризм, столь ярко проявляющийся у обоих диктаторов, оказывается подчиненным идеологии: политическое действие должно осуществлять то, что заложено в ней. Дав им веру в конечную цель, идеологии одновременно освободили их от всех колебаний в выборе средств. Правда, к тому времени, как они появились на исторической сцене, прошло уже несколько веков, как искусство политики отделилось от морали и государственная необходимость стала считаться высшим законом. Но соперничество и даже конфликты между нациями сдерживались фактом их принадлежности к одной и той же европейской цивилизации, а борьба между людьми за власть внутри каждого государства также подчинялась некоторым общепринятым правилам. С появлением Гитлера и Сталина заявляет о себе новое явление, которое Майне-

ке, в ужасе от морального нигилизма Гитлера, назвал “массовым макиавеллизмом”<sup>51</sup>.

Действительно, большевизм и национал-социализм открыто, перед всем миром, провозглашают настоящую религию власти. Чтобы захватить и сохранить власть, все средства дозволены, и не только против врагов, но и против друзей<sup>52</sup>. Все, вплоть до убийств, ставших повседневной практикой для обеих партий, обоих режимов, обоих диктаторов. Однако и власть должна служить высшей цели, которая, сквозь всю сумятицу конфликтов, предопределена историей и сформулирована идеологией. Поэтому террор уже не является ответом на реальные или воображаемые угрозы врагов; он становится повседневным способом управления и поддержания всеобщего страха ради будущих свершений, пути к которым ведомы верховному вождю и его партии.

В неофициальных разговорах Гитлера можно собрать целый букет высказываний, в которых фюрер выражает свое восхищение сталинским коммунизмом и его вождем. “Не Германия станет большевистской, а большевизм превратится в нечто вроде национал-социализма, — заявил Гитлер в одном из разговоров с Раушнингом весной 1934 года. — Вообще, то, что нас связывает с большевизмом, гораздо больше того, что разделяет. Повсюду в России живо настоящее революционное чувство, исключение составляют только еврей-марксисты. Я это всегда принимал во внимание и высказывал пожелание, чтобы бывших коммунистов принимали в партию незамедлительно. *Мелкобуржуазный* социалист или профсоюзный руководитель никогда не станут настоящими национал-социалистами, а коммунистический активист станет”<sup>53</sup>.

Как показывает продолжение текста, подобная констатация никак не ослабляла намерения Гитлера напасть на Россию и завоевать плодородные славянские земли: идея создания арийской Германской империи неизбежно вела к столкновению со Сталиным, тем более что и тому было не чуждо стремление к мировому господству. Однако их общая воля сокрушить либеральные демократии позволяла Гитлеру рассматривать возможность временного союза со сталинской Россией, хотя бы на то время, которое необходимо, чтобы разбить Францию. Предвестие такого плана мы находим уже в этом разговоре 1934 года.

Прежде чем оформиться в виде некоего союза в августе 1939 года, негласное родство коммунизма и национал-социализма проявлялось как конфликтное сообщничество на протяжении всех послевоенных лет. Правда, во многом это было связано с общей политической ситуацией: и Германия и Россия оказались в числе побежденных и потому выступали против Версальского договора.

Коминтерн надеялся воспользоваться немецкой враждебностью к французскому империализму, а известная часть немецких крайне правых, желавших пойти дальше по пути, открывшемуся в Рапалло<sup>54</sup>, благосклонно взирала на молодой Советский Союз. Это сочувствие могло быть чисто конъюнктурным, но порой в нем звучали и более глубокие ноты, связанные со старой германо-русской близостью перед лицом Запада.

Написанный в том же году, когда был заключен Рапалльский договор, “Третий Рейх” Мёллера ван ден Брюка провозглашает, подобно Шпенглеру, социализм “прусского образца”, антииндивидуалистический, корпоративный, иерархический, короче — “органический”. Настроенный более оптимистически, чем Шпенглер, профессор-националист видит в таком социализме возрождение “Культуры” в противовес “Цивилизации”. Как и все немецкие правые, он объединяет в своей ненависти либерализм и марксизм, выказывает враждебность к классовой борьбе, “еврействующему” интернационализму и диктатуре пролетариата. Но одновременно он занимает прорусские позиции, превозносит до небес Достоевского как пророка ненависти к Западу. Он терпеть не может Маркса, но временами позволяет себе проявлять слабость к большевизму: достаточно рассматривать основанный Лениным режим как социализм русского образца, соответствующий духу этого примитивного народа, чтобы включить его в понятие “Volkgeist” (“народность”). Как и социал-демократы, но с противоположными целями, немецкие консерваторы-революционеры разделяют марксизм и большевизм, осуждая первый и превознося второй<sup>55</sup>. Мы видели, что и большевикам случалось отвечать им взаимностью. В 1923 году, во время оккупации Рура французами, коммунисты и национал-социалисты вместе чествовали Шлягетера как национального героя<sup>56</sup>. Однако и те и другие страстно боролись за общественное сознание лишь для того, чтобы захватить власть и затем расправиться с противной стороной. Но они переоценили свои силы и недооценили своего общего противника, имевшего поддержку армии: коммунистическое восстание в Гамбурге было раздавлено так же легко, как и попытка Гитлера устроить путч в Мюнхене.

Трехсторонний конфликт вновь обострился в начале 30-х годов, когда экономический кризис вернул Коминтерну надежду на антикапиталистическую революцию, а Гитлеру — шанс прорваться к власти. Правда, отношения между большевизмом и нацизмом к тому времени упростились. В Советском Союзе Сталин одержал окончательную победу и очистил от своих противников Коминтерн и руководство “братских партий”. Коммунистическая партия Германии, бывшая яблоком раздора во время борьбы за власть в

СССР, между 1923 и 1925 годами, теперь приведена к покорности под ферулой Тельмана<sup>57</sup>. Отныне иностранная политика Советского государства имеет приоритет над всем остальным. С другой стороны, националистическое и антидемократическое возбуждение, царившее в Германии в послевоенные годы, получает выход благодаря партии Гитлера, которая неоспоримо господствует в правом движении и привлекает к нему свежую кровь.

Начался ключевой период, длившийся немного более двух лет, когда Гитлер захватывал государство, применяя стратегию, похожую на ту, которой пользовался Муссолини десятью годами ранее: он сочетал насилие военизированных отрядов СА<sup>58</sup>, пропаганду и вербовку невиданных масштабов, парламентские интриги и манипулирование господствующими классами. Как и Муссолини, Гитлер был призван к власти законными правителями Германии, в частности Гинденбургом, и сформировал коалиционный кабинет из консерваторов и представителей армии, которые рассчитывали превратить его в своего заложника. Произошло, однако, обратное, и гораздо быстрее, чем в Италии. “Мы достигли цели. Немецкая революция начинается”, — писал Геббельс<sup>59</sup> в своей газете 30 января 1933 года. Программа была ему известна заранее: в ближайших месяцах предстояло завершить установление тоталитарной диктатуры. Поэтому, хотя и очевидно, что определенные консервативные круги — Папен, Шляйхер с Гинденбургом во главе — помогли Гитлеру сесть в седло, было бы нелепо делать из этого вывод, будто новый канцлер был “орудием буржуазии”<sup>60</sup>. То, что он получил в марте в результате голосования “чрезвычайные полномочия”, не было ему передано кем-либо, пусть даже в косвенной форме, но было взято самостоятельно. Иными словами, тайна триумфа Гитлера не во всемогуществе какого-то класса, а в согласии нации.

Это слишком обширный сюжет, выходящий за рамки данного исследования. Поэтому я ограничусь только одним аспектом: взаимоотношениями между немецкой Коммунистической партией и Национал-социалистической партией в период, предшествующий 1933 году. Общим фоном является экономический кризис, поставивший под вопрос возможность дальнейшего существования капитализма. Что же тогда говорить о Германии, где критика либерально-капиталистического уклада занимает столь большое место в национальной политической культуре! Здесь общественная ситуация дает массу подтверждений старым убеждениям, распространенным как среди правых, так и среди левых, но особенно среди коммунистов и национал-социалистов, — убеждений, основанных на ненависти к буржуа. Марксисты, особенно ленинской школы, с радостью встречают кризис капитализма, который они давно

ожидали, рассчитывая, что он приведет к политическому перевороту. Что же касается правых, то достаточно процитировать книгу Шпенглера, написанную на переломе от 1932 к 1933 году: “Мы переживаем одну из величайших эпох в истории человечества, но никто этого не видит и не понимает. Мы присутствуем при беспримерном вулканическом взрыве. Ночь пришла, земля дрожит, потоки лавы обрушиваются на целые народы, — а мы зовем на помощь пожарных!”<sup>61</sup> Для немецкого историка крах капитализма есть всего лишь завершение начавшейся в XVIII веке эпохи либеральной демократии с ее последним порождением — большевизмом. Так же думают и нацисты.

Вопрос о власти поставлен, таким образом, на двух противоположных краях политической сцены, и немецкий электорат своим голосованием, начиная с 1930 года, только усиливает противостояние. На выборах в сентябре 1930 года нацисты завоевали двести мандатов и стали второй партией в рейхстаге после социал-демократов, которые несмотря на потерю голосов по сравнению с 1928 годом сохранили первое место, в то время как коммунисты увеличили свое представительство на треть. Экономический кризис усилил неприязнь, которой с самого начала была окружена Веймарская республика. Он привел к тому, что общественное мнение стало тяготеть к двум революционным полюсам. Однако со стороны коммунистов не было принято никаких эффективных мер, чтобы помешать продвижению Гитлера к власти. Наоборот: “антифашистские” лозунги прикрывали политику, которая больше походила на поддержку, чем на борьбу.

И во многих случаях чем воинственнее были заявления, тем реальнее поддержка. Это один из самых тщательно охраняемых секретов коммунистической политики в XX веке. Возьмем в качестве примера немецкую Коммунистическую партию этого периода. Подчиненная Москве в момент наибольшего сектантства в политике Коминтерна, она следует единственному стратегическому направлению — на пролетарскую революцию. Верная этой линии, по примеру молодой итальянской компартии, она не делает никакого различия между либеральной демократией и фашизмом, или в данном случае — нацизмом: ведь речь идет всего лишь о частных различиях двух форм буржуазной диктатуры, одной — скрытой, другой — открытой; но обе они одинаковы ненавистны и обречены. Возможно даже, что вторая служит прологом к неизбежной “пролетарской” революции. В конце концов оказывается, что главный враг — это не нацисты и не демократы, а социал-демократы, которые на языке коммунистов того времени именуется “социал-фашистами”. Не имеет значения, что социалисты борются, как могут, против нацистов. Идеология дает на это свой ответ:

преступление социалистов состоит в том, что они “раскалывают рабочий класс”, то есть во имя политической демократии занимают враждебную позицию по отношению к ленинской вульгаризации марксизма. От Ленина большевики усвоили, что первым условием их победы является разгром меньшевиков. Следовательно, необходимо ликвидировать немецких социалистов, виновных в том, что в ноябре 1918 года, благодаря соглашению с рейхсвером, они защитили республику от попытки коммунистического переворота.

Но нападая на социал-демократов как на “главную социальную опору фашизма”, немецкая компартия не столько укрепляла свои позиции, сколько ослабляла антифашистскую коалицию. И это еще слабо сказано. В действительности, навязываемая народу альтернатива коммунизм/нацизм предполагала победу Гитлера по двум причинам. Прежде всего, такая альтернатива толкала в объятия нацизма, помимо социалистов, все так называемые “буржуазные” партии: речь идет о Католическом центре, о демократической партии, служившей опорой республике, о двух правых партиях, которые первоначально не были расположены к Гитлеру. Затем, и это главное, она представляла коммунизм единственным центром и гарантом антифашистской борьбы. Это означало играть на руку Геббельсу, который размахивал жупелом большевистской революции, в то время как коммунисты устраивали уличные шествия с красными флагами. У Геббельса было больше политического пространства, чем у Тельмана: он мог усиливать свои позиции за счет “национального” сознания в республике, родившейся из поражения и не успевшей пустить глубокие корни. Тельман, напротив, не олицетворял ничего, кроме революции, уже дважды разгромленной, в 1919 и 1923 годах, и столь же мало привлекательной при Сталине, как и при Ленине. Да и социал-демократы не переставали бить тревогу и выступать против коммунистов еще более резко, чем прежде.

Коммунисты были обязаны своим влиянием не столько себе, сколько своему противнику — Гитлеру. Но и с противоположной стороны положение было аналогичным. Гитлер в это время был для общественного мнения *каким-то* фашистом, но его авторитет усиливался благодаря противнику, с которым он боролся, — Сталину. Оба лагеря способствовали усилению друг друга, отрицая все, что находилось между ними. В своей воинственности они дополняли друг друга, объявляя себя единственными бойцами на арене, единственными, кто обладает решениями для выхода из кризиса. Но в этой игре, из которой демократия исключалась заранее, один лишь Гитлер смог обналичить свой отрицательный политический капитал: коммунистам это не удалось именно пото-

му, что они боролись не столько против Гитлера, сколько за большевистскую революцию, тем самым лишая себя возможности сплотить широкий антинацистский фронт. Все, что им удалось, — это дать в руки Гитлеру мощное оружие: возможность стать воплощением “национального” антикоммунизма. Чем громче они кричали о неизбежности немецкого Октября против буржуазии, тем вернее они открывали нацистам путь к власти.

У этой истории есть и другая сторона, не противоречащая первой, а дополняющая ее в плане чистого макиавеллизма. Чтобы увидеть ее, нам достаточно посмотреть на происходящее с позиций Сталина.

В эти решающие годы, между 1930 и 1933, когда Гитлер рвался к власти, Сталин уже был полновластным хозяином большевистской партии, а следовательно, и Коммунистического интернационала и всей советской политики.

Коминтерн стал одним из рычагов сталинской внешней политики. С самого начала коммунистическая революция, интернациональная по определению и по доктрине, колебалась между задачей утвердиться в стране своего рождения и стремлением распространиться на другие страны. Уже в эпоху Ленина русские большевики держали в своих руках весь аппарат Коминтерна и контролировали с его помощью “братские” компартии. Цель состояла в том, чтобы вызвать новые революции, прежде всего в Германии: тогда считалось, что это — необходимое условие выживания режима, порожденного Октябрем 1917 года. Сталин унаследовал неограниченную власть русских большевиков над Интернационалом, но был вынужден отступить на позиции построения социализма в одном только Советском Союзе. Братские партии должны сплотить ряды вокруг осажденной крепости социализма. Так что победа одной из них представляется нежелательной, ибо это ослабило бы абсолютную власть генерального секретаря, которому пришлось бы делиться авторитетом с другой победившей революционной партией. Как же ему было не бояться появления коммунистической Германии? Как найти общий язык с победоносной немецкой компартией, если бы ей удалось захватить власть в центре Европы, в той самой Германии, которая так часто служила примером для русских царей и надеждой для Ленина? Но Сталину-то германская революция была вовсе не нужна.

Зато им более, чем когда-либо, владела ненависть к социал-демократии. Такая страсть и такая политика были с самого начала отличительными чертами большевизма. Но в начале 30-х годов, с поворотом налево и стратегией “класс против класса”, они достигли кульминации. Идеологи Коминтерна не перестают вдалб-

ливать: парламентская демократия и фашизм — это две, в равной мере ненавистные, формы диктатуры капитала. Вторая, открытая, форма даже предпочтительнее: она оказывает на народ педагогическое воздействие, обнажая подлинное лицо буржуазного господства. Настоящая борьба идет не между фашизмом и буржуазной демократией, а между пролетариатом, стремящимся осуществить революцию, и Веймарской республикой с ее главным оплотом — социал-демократией. Гитлер стремился уничтожить социал-демократию как партию “Ноябрьской революции” 1918 года; Сталин атаковал ее же с другого фланга — как оплот контрреволюции в 1918 году, как опору буржуазной республики и как пособницу фашизма. Нацисты ненавидели социал-демократов как марксистов, а коммунисты видели в них социал-фашистов. В действительности, и те и другие ненавидели в социал-демократии одно и то же: независимую и популярную политическую силу, ориентированную на Запад.

Ибо именно социал-демократы были основателями и спасителями Ноябрьской республики, давшими ей первого президента, Фридриха Эберта, и сообщившими ей дух компромисса между социальными классами, профсоюзами и политическими партиями. Вплоть до 1930 года они участвовали во всех правительствах республики, являясь ее главной опорой благодаря той поддержке, которой они пользовались со стороны трудящихся. Вместе с социальным компромиссом и многопартийной демократией они воплощали собой политику, ориентированную на Запад, в сторону англо-саксонского капитализма, помощь которого они считали необходимой для восстановления национальной экономики. Эти марксисты были непреклонными сторонниками политического плюрализма. Будучи не только политиками или профсоюзными руководителями, но и людьми, верными своей доктрине, они видели в социализме высшее выражение демократии; их старый учитель, Карл Каутский, начиная с 1917 года, был самым последовательным и пронизательным критиком большевистского эксперимента. Ирония истории проявилась в том, что в период Веймарской республики западная либеральная традиция (равно ненавидимая нацистами и коммунистами, первыми под именем “цивилизации”, вторыми под именем “капитализма”) оказалась представлена социалистами, вдохновителем которых был душеприказчик Энгельса; эта ситуация затем неоднократно повторялась на протяжении века и часто отвлекала демократических социалистов от ими же провозглашенной цели ради необходимости защищать “буржуазные” свободы. Случай с немецкими социал-демократами являет собой образцовую модель, так как в период между 1930 и 1933 годами они были главной мишенью нападок

как для крайне правых, так и для крайне левых. Для Гитлера они воплощали собой одновременно “марксизм” и буржуазную республику: борясь с ними, он одним ударом убивал двух зайцев. Для Сталина они были предателями марксизма, следовательно, идеальным орудием капитала и Гитлера: ведь помимо ленинизма существует только Гитлер, что и требовалось доказать. С обеих сторон мы видим стремление уничтожить социал-демократию и с ней вместе всю западную традицию.

Идеологическое сообщничество между Сталиным и нацистами на почве совместной ненависти к социал-демократам имело и вполне практические мотивировки, связанные с взаимными национальными интересами: уже не первый год молодой Советский Союз осуществлял с Германией тесное, хотя и тщательно засекреченное, сотрудничество в экономической и военной областях. С момента заключения Рапалльского договора это сотрудничество не переставало развиваться<sup>62</sup>: СССР получал от немецкой промышленности оборудование, а рейхсвер тайно перевооружался, пользуясь материалами, которые поставляли работавшие в России немецкие фирмы. Красная Армия, со своей стороны, возобновив давнюю традицию, использовала для своего обучения немецких инструкторов. Такое сотрудничество встречало благоприятный прием в немецких правящих кругах, среди военных, промышленников, дипломатов, традиционно враждебных по отношению к Западу: в рейхстаге немецкие консерваторы голосовали вместе с коммунистами против Локарнского договора и плана Дауэса. Они презирали русских, но боялись их меньше, чем раньше, используя власть большевиков в своих интересах и являясь опорой для русской внешней политики. В Сталине они очень быстро разглядели не революционного вождя, а национального диктатора.

В самом деле, приход Сталина усилил чувство симпатии, которые “консервативно-революционные” правые в Германии питали, начиная с 1919 года и в различной степени, по отношению к советской России<sup>63</sup>. Сталин, несмотря на свое грузинское происхождение, представлялся им деятелем, придавшим советской революции истинно русский характер, вернувшем ее в национальное русло. Он прогнал евреев от кормила власти, начиная с самого одиозного — Троцкого. Он провозгласил пятилетний план и коллективизацию деревни, бросив тем самым настоящий вызов западному капитализму. Став новым царем, он железной рукой осуществляет самодержавную власть для блага и во имя русского народа. Образ большевика изменился, и образовавшееся в Германии довольно странное “национал-большевистское” правое течение узнавало в нем свои собственные страсти и устремления, перенесенные в условия примитивной России, подчинившейся воле одного

человека. Ненависть к Западу, всемогущество политического решения, гонения на христианство, аристократический характер господствующей партии, органическая природа нарождающегося общества, — все это делало в их глазах сталинскую Россию примитивным прообразом некоего неопрусского уклада, социализма, организованного наподобие военного лагеря. Получалось, что и русская революция — всего лишь очередная страница в истории российского подражания прусским образцам!

Мы находим такую свалку идей, например, у Эрнста Никича, бывшего активиста крайне левого движения, бывшего председателя баварских Советов, занявшего этот пост в феврале 1919 года после убийства Эйснера; позже он стал националистом в порядке протеста против прозападной внешней политики Веймарской республики, но сохранил при этом веру в историческую миссию рабочего класса. Однако в соответствии с его новыми идеями трудящиеся должны выступить не как освободители всего человечества, а как воплощение нации и символ государственных интересов<sup>64</sup>. Октябрь 1917 года использовал марксистское прикрытие только для того, чтобы лучше защитить свою русскую природу от покушений западного капитализма. “Ленинизм — это то, что остается от марксизма после того, как гениальный человек использовал его в целях национальной политики”. Сталин — истинный и единственный наследник Ленина: “глубоко связанный с сутью русской жизни”, он обладает самым драгоценным, по мнению Никича, качеством политика — “фанатизмом Государственных Интересов”<sup>65</sup>. Понятно, что наш автор вернулся в 1932 году из путешествия в СССР охваченный восторгом по поводу пятилетнего плана, в котором он увидел чудо политической воли, мобилизовавшей весь народ на борьбу с технической отсталостью страны<sup>66</sup>. В конце концов, энтузиазм Никича не столь уж безумен, поскольку он ненавидит либеральную демократию, — в отличие от энтузиазма Эррио или Пьера Кота, которые любят либеральную демократию и намерены ее защищать. Однако историку остается только изумляться способности советского опыта порождать столь противоречивые иллюзии.

Национал-большевизм был присущ не только писателям или интеллектуалам. Он встречал благоприятный прием в многочисленных молодежных организациях и даже среди нацистов левой ориентации: так, Геббельс всегда занимал, скорее, прорусскую и даже просоветскую позицию, по причине своей ненависти к Западу, а Отто Штрассер — в силу своего революционного радикализма. Многие группы шли на сотрудничество с КПГ, рассчитывая, что, даже если коммунисты временно победят, их победа только откроет путь “народному” социализму. Коммунисты питали аналогичные надежды, полагая, что рабочие и мелкие буржуа, введен-

ные в заблуждение нацистами, являются на самом деле резервом коммунистического движения и что нацизм, даже в случае своей временной победы, объективно будет способствовать конечному торжеству коммунизма. Именно в таком духе была составлена “Декларация-Программа за национальное и социальное освобождение немецкого народа”, опубликованная КПГ 25 августа 1930 года: это был документ, выдержанный в резкой антиверсальской и “шлягетеровской” тональности и ставивший задачу отколоть нацистский электорат от нацистского руководства и направить его в сторону коммунистической революции. Казалось, что произошедший вскоре выход Отто Штрассера из нацистской партии подтверждал такую возможность. Эта иллюзия продержалась вплоть до разгрома немецкой компартии.

За политикой КПГ, несомненно, стоял Сталин, действовавший через свою креатуру Тельмана, который с 1932 года стал единоличным хозяином немецкой компартии<sup>67</sup>. Независимо от того, ориентировались правые на национал-большевизм или нет, он все равно отдавал им предпочтение перед буржуазными либералами, не говоря уже о социал-демократах. Он поддерживал с ними отношения достаточно давно, чтобы знать, что их общие интересы и расчеты важнее идей. Имея лишь смутное представление о марксизме, Тельман, тем не менее, понимал, что в лице промышленников, крупных собственников, офицеров он имел дело с настоящими обладателями власти и что только с ними и следовало считаться. Как же он мог не разделять их убеждения, что в нужный момент они смогут взять под контроль нацистское движение? Впрочем, в его глазах, все, что располагалось правее социал-демократов, было буржуазным, без всяких различий; так что, если уж иметь дело с кем-нибудь, то лучше выбирать тех, кто настроен в пользу России. Потрясать знаменем коммунистической революции, бороться против социал-демократов и сотрудничать с правыми — это были три звена одной политики. Таков был вклад Сталина в победу Гитлера.

Сегодня историк испытывает соблазн пойти еще дальше в анализе расчетов советского диктатора. Гитлера в те годы можно было считать — и в качестве друга, и в качестве врага — бесценным союзником сталинского коммунизма: Сталин мог рассчитывать, сначала сотрудничая с Гитлером, а потом разгромив его, продвигаться с его помощью в самое сердце Европы. В конце концов, так и случилось. А кроме того, нацизм в течение полувека будет служить мишенью для пропаганды Коминтерна, а затем Коминформа. Конечно, мы слишком переоценили бы политическую проницательность Сталина, если бы приписали ему такое макиавеллиевское предвидение. Однако с уверенностью можно сказать, что он сразу оценил возможности маневра, возникающие для со-

ветской политики в случае, если единство “буржуазного” мира будет разорвано появлением сильной Германии с крайне правым правительством, исполненной решимости разрушить международный порядок, установленный Версальским договором. Россия в этом случае получала не чаемое ею пространство для маневра между Германией и державами-победительницами, и она им не замедлила воспользоваться. Вот почему длительное сообщничество Сталина с немецкими правыми и та изоляция, на которую он в решающие часы обрек КПП, могут рассматриваться как прелюдия к пакту 1939 года.

В политической жизни 30-х годов гитлеровский режим был как бы третьим этапом в подготовке второй мировой войны. Послевоенная Европа видела, как рождался и рос советский тоталитаризм, не осознавая значения этого факта. Она скорее благосклонно наблюдала за победой Муссолини в Италии. И вот, в 1933 году, — последнее политическое новшество: гитлеровская Германия. Это было повторение итальянского сценария, но в ускоренном ритме. Нацистская революция была произведена изнутри существующего режима, после того как Гитлер стал канцлером. Но в отличие от Италии, где революция растянулась на несколько лет, на Германию она обрушилась как смерч, но смерч, бывший результатом продуманной стратегии и имевший целью ликвидацию уже разбитых и разобщенных противников. В феврале, менее месяца спустя после прихода Гитлера в правительство, произошел поджог рейхстага; в результате тысячи коммунистов были арестованы, а конституционные гарантии гражданских свобод отменены. 5 марта парламентские выборы, проведенные в условиях массовой пропаганды и открытого насилия, принесли более половины голосов коалиции националистов, из них 44% достались нацистам. Это была прелюдия к ликвидации институтов Веймарской республики. До конца месяца рейхстаг уступил запугиванию и предоставил Гитлеру чрезвычайные полномочия. Последовали: усмирение Ляндера, сдавшегося на милость центрального правительства, запрещение профсоюзов и политических партий, переход всей власти в руки одной партии нацистов. В промежутке между концом января и началом июля 1933 года первая волна революции смела все преграды. Вторая волна, в следующем году, будет направлена на чистку самой революционной партии. По приказу Гитлера 30 июня 1934 года будут убиты сотни его сторонников во главе с начальником СА Эрнстом Рэмом, старым соратником фюрера.

Свирепость этих убийств лучше, чем что-либо иное, характеризует природу устанавливающегося режима. Их цель состоит не столько в устранении инакомыслящих, сколько в уничтожении

тех, кто мог бы проявить независимость по отношению к вождю. Гитлер приказал убить Рэма не потому, что тот занимал более левые позиции: подобные определения, взятые из другой политической жизни, здесь вообще лишаются смысла. Убивая одного из своих самых старых соратников, Гитлер устранял потенциального соперника, сильного преданностью подчиненных ему формировавшихся. По сравнению с “ночью длинных ножей”, разыгранной как сведение счетов между двумя бандами гангстеров, убийство Маттеотти выглядит как частный эпизод: никто не посмел взять на себя ответственность за убийство итальянского депутата-социалиста, которое вызвало широкое общественное возмущение. Гитлер же сам руководил действиями своих подручных, и армия его одобрила, общественное мнение поддержало.<sup>168</sup>

Кажется, даже Сталин испытал чувство восхищения. Хотя Генеральный секретарь сам был знатоком в таких делах, ему все-таки пришлось выступить в роли подражателя. В то время он еще не убивал старых большевиков, удовлетворяясь их изгнанием или подчинением своей воле. Однако “ночь длинных ножей” подала ему такой пример, которому он не замедлил последовать. Менее чем через десять месяцев после ликвидации Рэма и его ближайшего окружения происходит убийство Кирова, второго человека в партии, руководителя ленинградской организации. Но Сталин не стал просто повторять Гитлера. Убийство Кирова послужило ему предлогом для операции гораздо более масштабной и продолжительной, чем гитлеровская экспедиция 30 июня: началась гигантская и бесконечная кампания репрессий, главными объектами которой были члены партии большевиков.

Таким образом, оба режима продемонстрировали две характерные особенности, отделяющие их от цивилизованного человечества: господство одной партии над государством и безоговорочное подчинение этой партии одному человеку. Это политическая система без твердых законов, где тайная полиция может арестовать и ликвидировать кого угодно, за исключением одного-единственного. Всеохватный террор, долгое время бывший одной из опор советского режима, имел как теоретическое обоснование, так и конкретные мотивировки: война, контрреволюция, классовая борьба, “кулачество”. Новизна массовых и слепых репрессий, наступивших после убийства Кирова, семнадцать лет спустя после революции, состояла в том, что дававшиеся им объяснения и мотивировки становились все более невероятными: ведь “диктатура пролетариата” существовала уже на протяжении жизни почти целого поколения и теперь направляла свои удары не против предполагаемого врага, а против самых старых своих сторонников. Теперь террор Сталина, как и террор Гитлера, питался самим собой.

Он нарастал за счет собственной инерции, ожесточался от собственных ударов, наполнял ужасом всех, в том числе и тех, кто его осуществлял, всех, за исключением “Большого брата”. Он уже не имел ничего общего ни с диктатурой класса, о которой говорил Ленин, ни с “тотальным государством”, приход которого предсказывали многие немецкие профессора<sup>69</sup> Веймарской республики. В эти годы на арене европейской политики появились два ранее никогда не виданных чудовища.

Итак, я возвращаюсь к исходной точке этой главы. Сходство двух режимов не укрылось от взгляда проницательных наблюдателей того времени, даже если они и не употребляли еще слова “тоталитаризм”<sup>70</sup>.

Томас Манн, которого пожар рейхстага застал за границей, не вернулся в Мюнхен. Ведь нацисты не останавливались перед угрозами в адрес даже самых крупных светил отечественной культуры. Человек, который предостерегал своих соотечественников против “идей 1789 года” во имя “идей 1914 года”, может быть сколь угодно пламенным патриотом и одним из самых знаменитых писателей Германии и Европы, но он сохраняет позицию независимого наблюдателя, и этого достаточно, чтобы попасть под подозрение. Он записывает в своем “Дневнике” 27 марта 1933 года: “Немцам было суждено осуществить революцию ранее не виданного рода: без идеи и вопреки идее, против всего самого возвышенного, против лучшего и уместного, против свободы, истины, права. Ничего подобного еще не происходило в человеческой истории. В то же время — невероятное ликование масс, думающих, будто они этого действительно хотели, а на самом деле обманутых с безумным коварством...”<sup>71</sup> “Невиданным” у нацистов является их ненависть к благородным идеям и даже к идеям вообще: как если бы немецкая культура ополчилась сама на себя. Тем не менее, нацистский режим имел два прецедента, — “антидемократические перевороты в России и в Италии”<sup>72</sup>, тоже порожденные войной: эти народы были “демократизированы” разгромом и унижением и не смогли справиться с их разрушительными последствиями. Нацизм — это немецкий большевизм<sup>73</sup>. Печальная оригинальность гитлеровского режима состоит в том, что он достиг максимальной точки культурного и морального падения, как если бы Германия именно таким образом должна была расплатиться за идею исторического избранничества. В глазах человека, который оплакивает “идеи 1914 года”, война, которую готовят нацисты, — это безумный бред авантюристов, который будет стоить жизни целой нации.

Несколько лет спустя, в мрачные часы пакта Гитлер — Сталин, Томас Манн примется оплакивать судьбу Германии, “отпавшей от Запада и, быть может, навсегда перешедшей на сторону Востока”,

что означает ее конец. “В Германии произошла революция с далеко идущими последствиями; прикидываясь “национальной”, она на самом деле *денационализовала* страну, если иметь в виду все традиционные черты немецкого характера. Нацистский большевизм не имеет *ничего общего* с немецким характером. Новое варварство вполне естественно нашло контакт с казалась бы враждебным российским режимом”<sup>74</sup>. И автор выражает надежду, что “цивилизация”, сохранившая еще достаточно сил, сумеет покончить с двумя чудовищами, вступившими в союз между собой; при этом он по-прежнему испытывает недоверие к слишком “цивилизованному” Западу, но все-таки вынужден звать к нему, против победоносного нацизма, представляющего теперь сторону “культуры”...

Трезвому и безнадежному взгляду нескольких великих немцев, поставивших под сомнение саму возможность выживания их нации, лучшим ответом с западной стороны может служить пронизательность некоторых выдающихся умов, среди которых, как мы уже видели, в первых рядах находился Эли Алеви. Разрабатывая ту же жилу, что и Манн, профессор с улицы Сен-Гийом в своей знаменитой лекции назвал нынешнюю эпоху “эрой тираний”. Слово “тирания” он выбрал как более соответствующее ситуации, чем слово “диктатура”, чтобы подчеркнуть длительный характер русского, итальянского и немецкого режимов. Диктатура означает временную стадию политического развития, идущего к свободе, в то время как тирания лишена этого вектора развития. Тирания самодостаточна и не имеет иной цели, кроме себя самой. Она родилась из кризиса демократии и социализма и стремится заменить собой и то и другое. Война 1914 года была ее колыбелью. Что касается формы, то Муссолини подражал Ленину, прежде чем стать образцом для Гитлера. Что же касается сути, то современные государства не перестают предоставлять тоталитарным партиям безграничные возможности абсолютного господства над обществом. Наконец, история трех тираний века постепенно уменьшала идеологическое расхождение между ними: коммунизм становится все более национальным, а фашизм — все более социальным. Таким образом, анализ Эли Алеви приводит его к выводу, что различия между тремя тираниями несущественны по сравнению с тем, что их объединяет. Марсель Мосс говорит об этом в одной фразе: “Коммунистическая партия стоит, как военный лагерь, посреди России, и точно так же расположились фашистская и нацистская партии: они не применяют ни артиллерии, ни флота, но зато в их распоряжении весь полицейский аппарат”<sup>75</sup>.

И однако, как раз в эту эпоху, коммунизм пытается заново самоопределиться именно в борьбе с фашизмом.

# *Глава седьмая*

## КОММУНИЗМ и антифашизм

Пятнадцать лет спустя после своего рождения советский коммунизм уже сменил много личин. Он воплощал мир, международную революцию, возврат якобинства, отечество трудящихся, общество, свободное от буржуев, неотчужденного человека, победу над капиталистической анархией, экономику в руках производителей. Все эти определения растут от одного корня, но не перекрывают друг друга полностью. Их интенсивность и сила убеждения менялись в зависимости от того, как менялась внешняя и внутренняя политика государства, ставшего в 1922 году именоваться СССР. Ибо революционная идея распустилась на почве определенного народа и, так же как в конце XVIII века, не могла остаться независимой от условий своего воплощения. В 30-е годы она поизносилась под воздействием времени и событий. Сталин наследовал Ленину, Троцкий изгнан, разочарованные начинают подавать голос, иностранные коммунистические партии прозябают либо разгромлены: и вот “социализм в одной стране” приходит на смену революционному большевизму. Поддержку он получает со стороны экономики, а не со стороны политики: западный мир, охваченный самым универсальным кризисом, какой когда-либо поражал капитализм, создает желанный фон для пропаганды первого пятилетнего плана. Однако этот контраст, если он и помогает скрыть ужасы “раскулачивания”, означает в то же время, что отныне главным источником авторитета коммунистической революции становится не она сама, а несчастья капитализма, с которыми она покончила в своей стране.

Нечто подобное удастся осуществить и в политической области. Используя в полной мере все, что можно было извлечь из

кризиса капитализма, сталинский коммунизм обретет новое политическое пространство для маневра в виде антифашизма.

Антифашистским Коммунистический Интернационал был всегда, еще до воцарения Сталина, еще с первых шагов Муссолини. Однако в коммунистической стратегии имелось как бы два антифашизма. Для Коммунистической партии Германии, например, фашизм был всего лишь разновидностью капиталистической диктатуры: настоящую антифашистскую борьбу способны вести только коммунисты, поскольку только они исполнены решимости искоренить капитализм и буржуазию. Все остальное — лишь видимость борьбы, направленная на то, чтобы отвлечь трудящиеся массы от пролетарской революции. Социал-демократия выступает как главное орудие такого маневра в силу своего влияния на рабочий класс, а потому именно она является главным противником и главным препятствием на пути к диктатуре пролетариата. Такая стратегическая линия ясно показывает, какой силой ленинский волюнтаризм наделяет своего врага: большевики подпитывают свою ненависть к буржуазии чувством ее огромной мощи. Буржуа, будь он демократом или фашистом, осуществляет свое господство, дергая за ниточки покорных ему социалистических марионеток.

В общем и целом, может быть, буржуазию будет даже легче разбить в ее фашистском облики. Коммунисты склонны находить рациональное обоснование для всего, чего нельзя избежать. Поэтому победа фашизма объявляется очередной “высшей стадией” господства буржуазии: “высшая” означает более жесткая, чем когда-либо раньше, но одновременно — и более хрупкая, последняя в истории, ведущая, помимо своей воли, к пролетарской революции. Уже Маркс видел “крайнюю” форму диктатуры буржуазии во Второй Империи; большевики, в свою очередь, видят ее в фашизме. Поскольку к власти их привела война 1914 года, трагическая диалектика несчастий стала для них привычным условием их побед<sup>1</sup>. К этим теоретическим соображениям, положившим начало признанию фашизма под маской непримиримой борьбы с ним, Сталин, как мы видели, добавил практические обоснования, связанные с международной политикой Советского Союза, делавшей ставку на сотрудничество с немецкими правыми. Но, как бы то ни было, приход Гитлера к власти означал красный свет для надежд, которые большевизм питал с колыбели, — надежд на пролетарскую революцию в Германии.

С этого момента в арсенале коммунистов появляется второй вид антифашизма, который был призван не то чтобы окончательно заменить первый, но чередоваться с ним в обслуживании сталинских стратегических планов. Этот антифашизм избегает засовывать в один буржуазный мешок всех, кто не является комму-

нистом. Он соглашается провести различие между либеральной демократией и фашизмом, соглашаясь защищать первую, хотя бы временно, бок о бок с буржуазными партиями и социал-демократией. Речь не идет об отказе от своих идей или, тем более, от своей природы. Речь идет о перемене тактики, которая не затрагивает учения и оставляет возможность возврата к более жесткой линии, если обстоятельства этого потребуют. Великолепное свойство ленинско-сталинской идеологии состоит именно в этой способности соединять противоположные стратегические подходы по желанию Великого Истолкователя.

Поворот, о котором идет речь, был мотивирован двумя рядами событий. Первый был связан с международным положением СССР, второй — с политической Коммунистического Интернационала. Оба ряда имели неравное значение, поскольку в период построения социализма “в одной стране” главные сражения разыгрывались внутри Советского Союза; они перевешивали значение международной борьбы пролетариата, не делая ее менее необходимой. В дела Коминтерна Сталин никогда открыто не вмешивался. Он держался на расстоянии от этого космополитического форума, долго оставляя его в руках своих соперников — Зиновьева, потом Бухарина, — прежде чем назначить туда своих людей — Молотова, Мануильского: с этого момента судьба Интернационала решена. Внутренние проблемы партии большевиков и братских партий завязаны в один узел, как мы это уже видели на примере Суварина в 1924—1925 годах. Но в то время речь еще шла о том, чтобы определить повсюду революционную стратегию пролетариата. Затем, когда приоритет отошел к построению социализма в СССР, братским партиям была оставлена только роль защитников главного бастиона. Обслуживание внешней политики Советского Союза стало высшей целью мирового пролетариата. Закрепленная в механизме управления Коминтерна, эта эволюция превратит коммунистических вождей во всем мире в послушных функционеров, руководимых из Кремля. В период, который мы сейчас рассматриваем, эта эволюция в общих чертах завершена: Сталин вскоре станет манипулировать иностранными коммунистами так же, как Гитлер — немцами, живущими за пределами Германии<sup>2</sup>.

Однако приход Гитлера к власти в Берлине рискует изменить европейскую ситуацию: человек, написавший “Майн Кампф”, требовавший расширения немецкого жизненного пространства за счет славянских земель, произнесший столько поджигательских речей против Версальского договора, не был ни для кого удобным партнером, как на Западе, так и на Востоке. Однако Сталин, как и европейские политики-“реалисты”, должно быть, думал, что Гитлер, придя к власти, изменит свои идеи и намерения. Факт ос-

тается фактом: весь 1933 год Сталин хранит молчание, даже после поджога рейхстага и разгрома немецкой компартии, даже после весны, когда становится ясно, что новый рейхсканцлер остался сторонником национал-социалистической революции. Правда, Гитлер позаботился, уже 23 марта, в своей речи перед рейхстагом подчеркнуть, что внешние связи Германии не подчиняются той же логике, что ее внутренняя политика, и что он готов сохранить дружеские отношения с восточным соседом<sup>3</sup> при условии, что вопрос о коммунизме останется внутренним делом Советского Союза. Сталин сразу понимает, о чем идет речь, так как сам привык говорить на таком же языке. Каждый знает, что речь идет о “прекрасной устойчивости” старых отношений между СССР и немецкими правыми, и каждый выжидает.

Первая публичная реакция Сталина происходит в январе 1934 года на XVII съезде партии большевиков, в чрезвычайно торжественной обстановке. То, о чем он умалчивает, так же важно, как и то, что он говорит: ни слова о поджоге рейхстага, ни слова о лейпцигском процессе над Димитровым, по поводу которого Коминтерн развернул шумную пропагандистскую кампанию<sup>4</sup>, но несколько шагов в сторону Лиги Наций, которую гитлеровская Германия покинула в октябре 1933 и куда Советский Союз вернется в сентябре 1934 года. Эту предосторожность не следует понимать как присоединение к Версальскому порядку в Европе или как враждебный жест по отношению к кому-либо: Сталин понял, что Гитлер угрожает, и, быть может, неотвратимо, миру во всем мире, но счел необходимым указать ему границы действий. Свидетельство тому — следующая цитата, выражающая суть его мыслей: “В наше время со слабыми не принято считаться, — считаются только с сильными... У нас не было ориентации на Германию так же, как у нас нет ориентации на Польшу или Францию. Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся в настоящем на СССР и только на СССР”<sup>5</sup>.

Имеющий уши да слышит! В международных отношениях Советский Союз будет считаться только со своими интересами и рассчитывать только на собственные силы. Сталин молчит, наблюдает и склоняется к политическому сближению с Францией. Приближаются красные денечки франко-русского альянса: геополитические интересы обретают прежнее значение по мере того, как Германия обретает свою прежнюю силу. 2 мая 1935 года Сталин и Пьер Лаваль (странная парочка!) подписывают в Москве франко-советский договор о взаимопомощи. В нем предусматривается, что две страны приходят друг другу на помощь “в случае не спровоцированного нападения какого-либо европейского государства”. Но соглашение не столь ясно, как кажется. Франция,

чтобы успокоить Англию, обеспокоенную принятием слишком жестких обязательств, вносит оговорку: нападение, о котором идет речь, должно быть установлено советом Лиги Наций, которая уже клонится к закату и скоро окончательно испустит дух, сраженная войной в Абиссинии<sup>6</sup>. Советский Союз не защищен в случае японской агрессии; на западе проход советских войск через польскую территорию, необходимый, чтобы прийти на помощь Франции, не предусмотрен, поскольку это затрагивает польский суверенитет. В действительности, ни с той, ни с другой стороны не были сделаны попытки обозначить реальные гарантии, в отличие от франко-русских соглашений 1891—1892 года. Лаваль стремится немного оживить французскую дипломатию: к Москве он обратился после того, как возобновил контакты с Италией; он старается удовлетворить радикальную партию и поставить в трудное положение французских коммунистов. С советской стороны гипотеза военного решения тоже не рассматривалась всерьез. Здесь заинтересованы в том, чтобы помешать франко-германскому сближению и не позволить Франции дать зеленый свет в случае нацистской агрессии против СССР<sup>7</sup>. Недаром условия военного сотрудничества будут обсуждаться в течение четырех последующих лет, но ни одна из сторон не предпримет действенных шагов, чтобы преодолеть польский отказ.

Но хотя договор и не предполагал военных акций, он имел политические последствия: прежде чем вернуться в Париж, Пьер Лаваль сумел вырвать у “господина Сталина” знаменитое коммюнике, в котором генеральный секретарь признал обоснованными расходы Франции на национальную оборону. Эта декларация шла вразрез не только с антимиитаризмом рабочего движения, но и с теми традициями, из которых родилась ФКП. И здесь нам предстоит рассмотреть роль Сталина уже не в качестве главы советского правительства, а в качестве вождя мирового коммунизма. В этой второй роли он не так заметен, но, скрытый за фасадом Коминтерна, он ведет себя столь же самодержавно. И в этом также проявляется особенность режима: он постоянно имеет в своем распоряжении две партитуры, якобы различные, но исполняемые одним оркестром под управлением одного дирижера<sup>8</sup>.

В Коминтерне Димитров и Мануильский — такие же исполнители воли Сталина, как Литвинов — в наркомате иностранных дел. В эту эпоху иностранные компартии соблюдают строгую субординацию по отношению к Интернационалу. За каждой из них устанавливается тщательный контроль со стороны московских эмиссаров, которые посылают в “центр” частые и обстоятельные доклады<sup>9</sup>. Эти партии являются в полном смысле слова “секциями” единого централизованного движения<sup>10</sup>. Тем более интересно

посмотреть, как в эту переломную эпоху проявляет себя советская политика в этом втором своем выражении.

Начать следует с движения “против фашизма и войны”; под таким лозунгом открылся Международный конгресс в Амстердаме 27 августа 1932 года, еще до прихода Гитлера к власти. Коминтерн играл на конгрессе главную роль, в особенности благодаря Вилли Мюнценбергу, большому мастеру закулисного манипулирования. Этот персонаж заслуживает того, чтобы остановиться на нем чуть подробнее: это поможет понять, как закулисная деятельность чиновников Коминтерна приобретала порой трагико-романтические черты. Не то чтобы в нем можно было увидеть героя-антисталиниста, порвавшего со своим лагерем по идейным соображениям: ему грозил расстрел в подвалах Лубянки, и выбора у него не было. До 1937 года он был обычным верным исполнителем приказов начальства, как любой другой работник обширного московского карательно-бюрократического аппарата. Но история предоставила ему выдающуюся роль: в эпоху антифашистского поворота он был чем-то вроде тайного министра пропаганды Коминтерна во всем мире, но особенно в Западной Европе. Эта деятельность как нельзя лучше соответствовала его таланту политической рекламы и манипулирования образами и словами. Среди многочисленных писателей, артистов и интеллектуалов, которыми он пользовался как своими орудиями, впоследствии не нашлось ни одного, который вспомнил бы о нем с ненавистью. Ему повезло иметь в свое время среди подчиненных двух выдающихся писателей, впоследствии разочаровавшихся в коммунизме, но не в своем бывшем шефе: Артур Кёстлер и Манес Спербер, каждый со своей стороны, нарисовали его портрет<sup>11</sup>. Ибо этот сын содержателя кафе из Тюрингии (который, со своей стороны, был незаконным сыном барона), внес в свою жизнь активиста рабочего движения нечто от аристократических манер.

Уже подростком он выделялся в революционной среде своими обширными и самостоятельно приобретенными знаниями и возглавлял организацию “Молодость”, примыкавшую к немецкой Социалистической партии. Непримиримый антимилитарист, он провел годы войны в Цюрихе, где познакомился с Лениным. Изгнанный из Швейцарии в 1917 году, он вернулся в Германию и примкнул к спартаковскому движению, прежде чем стать в 1919 году одним из основателей Коммунистической партии Германии. Однако Ленин призвал его в Москву: это не лучшее место для его талантов, но единственное, которое соответствует его идеям. Пламенный большевик, одержимый революционной верой, он занимался не столько теорией, сколько агитпропом. Не имея склон-

ности к теоретическим дебатам или платформам признанных лидеров партии, равно как и к аппаратным интригам, он, в отличие от прочих, был целиком обращен к пропаганде и вербовке новых сторонников. Если бы он был американцем, он сделал бы карьеру Херста. Будучи немцем, пролетарием и революционным активистом, он служил делу большевиков с таким талантом, который сделал бы его богатым и влиятельным членом буржуазного общества.

Он сразу же проявил свою оригинальность. Ленин поручил ему в 1921 году возглавить обширную операцию помощи голодающим Поволжья. Мюнценберг также создал общество “Международной взаимопомощи рабочих”. В обоих случаях цель состояла в том, чтобы мобилизовать энергию, чувства и материальные средства людей для блага Октябрьской революции. “Вилли”, как все его называли, был деятелем международного размаха, но особого типа: очень быстро он оказался во главе целой сети разнообразных обществ, имевших целью пропаганду советского опыта. Он действовал по разным каналам: через прессу, кино, театр, обеды для бедных, гуманитарные организации, кружки интеллектуалов, петиции солидарности... Огромный “трест Мюнценберга” раскинул свои шупальца от Западной Европы до Японии, вербуя сочувствующих, которых Вилли из года в год кормил своей пропагандой, представляясь при этом независимым от Коминтерна. Он был дирижером огромного оркестра “попутчиков”, персонажей, весьма типичных для коммунистического мира, как, впрочем, и мира фашистского: речь идет о людях, не являющихся членами коммунистической партии, но чья борьба против антикоммунизма именно поэтому внушает особое доверие окружающим. Усилия Мюнценберга были направлены на интеллектуалов, одновременно наиболее влиятельных и наиболее тщеславных. Как писал Манес Спербер, “он побуждал писателей, философов, артистов подписывать разные воззвания, демонстрируя тем самым, что они идут в первых рядах самых радикальных борцов... В его распоряжении всегда был обширный запас интеллектуалов, готовых по первому его знаку построиться в колонну и следовать в указанном направлении”.

Привыкнув существовать на периферии коммунистического движения и очаровывать своим агитпропом тех, кто находится за его пределами, Мюнценберг и сам не оставался равнодушным перед поклонением окружавших его эмигрантов; он все больше уверялся в своем необыкновенном таланте и в необыкновенной трудности своей миссионерской деятельности *in partibus infidelium*\*. Вызывавший смутную подозрительность московских аппаратчиков, особенно ненавидимый немецкой группой (состоявшей из

\* Среди неверных (лат.). — Прим. пер.

будущих вождей Восточной Германии), он прожил всего несколько удачных лет в Париже, во время Народного фронта, между 1934 и 1936 годами. Вызванный в Москву в 1937 году, в мрачный период большого террора, он заколебался, заболел и, в конце концов, остался во Франции, послав вместо себя письмо Сталину<sup>12</sup>. В 1939 году у него уже нет отечества: и в Германии, и в Советском Союзе на него точат зубы. Французы интернировали его как немца. В 1940 году он бежал из лагеря интернированных, чтобы не попасть в лапы Гитлеру; есть основания предполагать (хотя и нет прямых доказательств), что его убил агент ГПУ<sup>13</sup>.

Но вернемся к началу счастливого периода в его жизни — к временам конгресса Амстердам-Плейель, когда он блистательно доказал свой талант, и свою веру. Конгресс, состоявшийся во многом благодаря его усилиям, ни на йоту не уклонился от линии Коминтерна. А ведь он не был похож на антифашистский митинг, какие во множестве устраивались года два спустя, после прихода Гитлера к власти. Речь шла еще и о “борьбе за мир”, занимавшей почетное место в советской внешней политике, начиная с 1929 года, а “фашизм” понимался в самом широком и расплывчатом смысле, как нечто связанное с милитаризацией капиталистических стран, среди которых самой опасной считалась Англия, а вслед за ней — Франция, поскольку они были победившими в войне империалистическими державами. Чем более миролюбивыми они прикидывались, тем больше их следовало опасаться. Одной из главных тем в Амстердаме было разоблачение “женевского пацифизма”, то есть — Лиги Наций. В общем, под флагом защиты мира велась защита Советского Союза как единственной миролюбивой державы, поскольку только в ней был свергнут капитализм. Эта защита выглядела тем более срочной, что антисоветская война была объявлена на конгрессе “неизбежной”. С начала 1932 года о “неизбежности” нападения на СССР с редким единодушием трубили все издания Коминтерна, мотивируя свои прогнозы концом периода стабилизации капитализма и ссылаясь на произошедшую годом раньше японскую агрессию против Китая.

Тот факт, что в том же году Советский Союз подписал пакт о ненападении с Финляндией, Литвой, Эстонией, Польшей и, наконец, с Францией (в ноябре), ничуть не умерил пыл коминтерновского бреда относительно подготовки на Западе антисоветской войны: лишнее доказательство того, что коммунистическая политика разворачивается на двух разных уровнях, но и там и здесь направлена к одной цели — мировой революции. Внешняя политика СССР имеет задачей защитить от любой агрессии главный бастион международного пролетариата. Коммунистический Интернационал определяет цели и революционные лозунги местных

секций. Борьба против Версальского договора, против буржуазного пацифизма и против империализма прекрасно сочетается со стратегией “класс против класса”. 14 января 1933 года, стоя рядом с Тельманом, Торез так обратился к берлинским коммунистам: “Мы, французские коммунисты, боремся за аннулирование Версальского договора, за свободу выбора для народа Эльзаса-Лотарингии, включая отделение от Франции, за право на свободное объединение всех народов, говорящих по-немецки...”<sup>14</sup>

Пятнадцать дней спустя Гитлер стал канцлером Рейха. В стратегии Коминтерна 1933 год знаменует поворотный момент: приход Гитлера к власти поменял расположение фигур на международной шахматной доске. Произошло это не сразу, не в один день: надо было подождать и посмотреть, как будет эволюционировать тандем Гитлер — Гугенберг. Коммунисты верили, что Гитлер и немецкие правые — это одно и то же, и одновременно что нацизм — явление временное. События быстро рассеяли их иллюзии, однако Сталин, как мы видели, продолжал сохранять осторожность; возможно, только “ночь длинных ножей” убедила его, что власть Гитлера над Германией безгранична. Но через посредство Коминтерна он отреагировал более быстро. Поджог рейхстага и последовавший за ним террор создали почву для широкой антифашистской кампании в новом духе. Теперь уже речь идет не о том, чтобы атаковать Версальский договор, или Лигу Наций, или французский империализм, или социал-демократию — привычные цели московской пропаганды. Появилась новая цель: Гитлер, марионетка немецкого империализма, враг свободы и новая угроза для мира.

Новые возможности пропаганды, возникшие с поджогом рейхстага<sup>15</sup>, были в полной мере использованы таким выдающимся коминтерновцем, как Мюнценберг, направивший на это все свои силы. Гений пропаганды, он наголову разбил Геббельса, который тоже был неплохим специалистом в этой области. Мюнценберг придумал сталинизму новое лицо — лицо антифашистского коммунизма. В этой связи я предоставляю слово Кёстлеру, который только что приехал в Париж после длительного пребывания в СССР, порядком разочарованный в коммунизме, но благодаря лейпцигскому процессу снова воспрянувший духом:

“Я прибыл в Париж в тот момент, когда процесс, связанный с поджогом рейхстага, возбудил всю Европу. На следующий день после приезда я познакомился с Вилли Мюнценбергом, главой коминтерновской пропаганды на Западе. В тот же день я начал работать в его генеральном штабе, где стал чем-то вроде унтер-офицера в решающем пропагандистском сражении между Берлином и Москвой. Она закончилась полным разгромом нацистов; это было первое поражение, которое они потерпели за семь последних лет.

Задача обоих противников заключалась в том, чтобы доказать, что именно вражеская сторона подожгла немецкий парламент. Мир с захватывающим интересом следил за спектаклем, понимая в нем не больше, чем малый ребенок, который смотрит фильм со сложной интригой. Ибо мир еще не успел привыкнуть к грандиозным постановкам, к чудовищной лжи, к кошмарным эффектам тоталитарной пропаганды. А в данном случае действовал не один режиссер, как впоследствии, во время московских процессов, а два, пускавшие в ход свои приемы, как два черных колдуна перед собравшимся племенем<sup>16</sup>.

Нацистский колдун на виду, он сам громогласно исполняет свою роль: это доктор Геббельс. Другой манипулирует общественным мнением, укрывшись за фасадом “Международного комитета помощи жертвам гитлеровского фашизма”, украшенного фигурами международных знаменитостей и непрерывно выпускающего брошюры и листовки<sup>17</sup>. Первый утверждал, что ван дер Люббе — коммунистический агент, второй — что он нацистский провокатор. Слово Кёстлеру: “Мир думал, что присутствует на классическом поединке между истиной и ложью, виновным и невинным. В действительности, обе стороны были виновны, но не в том преступлении, в котором они друг друга обвиняли. Обе стороны лгали и старались угадать, знает ли противник больше, чем показывает. Таким образом, это сражение на самом деле было игрой в жмурки между двумя великанами. Если бы мир в то время узнал об этом блефе, о тех обманных маневрах, которые пускались в ход, он мог бы избавить себя от многих страданий. Но ни тогда, ни позже Запад так и не понял тоталитарную психологию”<sup>18</sup>.

Оглядываясь на прошлое и с отрешенной трезвостью оценивая собственную роль в этой пропагандистской кампании, писатель, быть может, склонен несколько переоценивать роль “человека из Коминтерна”. Констатируя “полный разгром” Геббельса, он не учитывает, что этот разгром был связан с более важными обстоятельствами, чем талант Мюнценберга; хотя последний и воспользовался ими с большой ловкостью, созданы они были не им. Нацизм гораздо легче, чем коммунизм, поддается определению в качестве врага демократии, поскольку сам заявляет об этом во всеуслышание. Западное общественное мнение констатирует, что поджог рейхстага стал сигналом к безраздельному захвату власти нацистской партией: *is fecit cui prodest*\*. И сразу коммунисты, арестованные вместе с несчастным ван дер Люббе, начинают выглядеть как герои-демократы, борющиеся против диктатуры. В сентябре, на процессе в Лейпциге, болгарский активист Димитров

\* Сделал тот, кому выгодно (лат.). — Прим. пер.

блестяще выступает в своей роли против Геринга, готовый защищать любую позицию, если только она одобрена Москвой. Возможно, впрочем, он знает, что его судьба решается или будет решаться путем прямых переговоров между Гитлером и Сталиным<sup>19</sup>. Процесс обернулся триумфом Коминтерна, потому что оба его героя, Димитров и Мюнценберг, воспользовались костюмами, которые Гитлер невольно предоставил в их распоряжение, — костюмами защитников демократии. Перед лицом нацистской революции, которая за несколько месяцев разгромила все партии, “Международный комитет” Мюнценберга взывал к возмущению и помощи всех, кому дорога свобода.

“Демократическая” героизация Димитрова, несомненно, была делом рук Мюнценберга, но из этого не следует делать вывод, будто речь шла о его личной политической инициативе или что ему уже тогда было поручено выступить проводником нового политического курса. Сталин позаботился о Димитрове: он позаботился о том, чтобы в феврале 1934 года, несколько недель спустя после его оправдания, вывезти его в Москву, о чем, вероятно, состоялась секретная договоренность с Гитлером. Но, как мы видели, он не пожелал присоединить свой голос к мировой кампании, которую вел Мюнценберг. Коминтерн также соблюдал осторожность в публичных высказываниях. В течение 1933 и части 1934 года все в Москве чувствуют, что прекрасная уравновешенность между СССР и немецкими правыми поставлена под вопрос. Сохранятся ли связи, установившиеся после Рапалло, к удовольствию обеих сторон? Этот вопрос, переведенный на язык Советского государства и международного коммунистического движения, может звучать двояко: можно ли рассматривать такую возможность, что Советский Союз, будучи атакован одним империалистическим государством, например, гитлеровской Германией, воспользуется поддержкой другого империалистического государства, например, Франции? и сможет ли в таком случае ФКП оказать поддержку “своей” буржуазии во имя высших интересов пролетарской революции?

Такой вопрос покажется византийски изощренным лишь тому, кто находится за пределами мира марксизма-ленинизма. На самом деле, он действительно вставал перед западными компартиями, которые, осуждая предательство 1914 года, были сосредоточены на борьбе со своей собственной буржуазией, своим собственным империализмом, своей собственной армией. Ибо бороться против войны, неразлучной с капитализмом, означало для них сражаться за революцию, которая положит конец этому проклятию; означало, что они сохраняют верность классовому бою и, сражаясь внутри своей страны, оказывают интернациональную поддержку

СССР. В течение многих лет Коминтерн использовал в своей борьбе определение фашизма как почти что нормального продукта буржуазной демократии, опирающейся на социал-демократию. Однако такое определение не позволяло проводить дифференцированную политику по отношению к империалистическим государствам и допускать возможность чего-то, похожего на войну демократии против фашизма. Теперь же возникла необходимость выделить Германию как главного противника, невзирая на то, что она была главной жертвой Версальского договора. Амстердамское движение держало Версаль в прорези прицела. И собрание в зале Плейель, в Париже в июне 1933 года, не изменило наводки. Борьба “против войны и фашизма” мыслилась прежде всего как борьба против буржуазного пацифизма и шовинистического антифашизма процветающих держав. Поэтому движению Амстердам-Плейель не удалось объединить сколько-нибудь значительные силы вокруг замаскированного коммунистического ядра.

В конце 1933 года, в момент, когда заканчивался процесс над Димитровым, тринадцатая сессия исполкома Интернационала не провозгласила ничего сенсационного<sup>21</sup>. Старый большевик Куусинен в своем докладе представил мировой кризис капитализма как свидетельство новой эпохи, чреватой фашизмом, войнами, революциями. Это были традиционные для ленинизма апокалиптические мотивы, сопровождаемые предсказаниями пролетарской революции как неизбежного финала капитализма. К числу таких предвестий относится и гитлеровский национал-социализм: как и в первые годы существования III Интернационала, в нем видят пролог к пролетарской революции в Германии! На повестке дня, более чем когда-либо, стоит борьба с буржуазией и “социал-фашизмом”<sup>22</sup>.

Только в начале 1934 года московские “интернационалисты” наметили нечто вроде новой политической линии. В этот момент Сталин обдумывает некий шаг навстречу Западу, и в сентябре произойдет вступление СССР в Лигу Наций, так долго подвергавшуюся нападкам. Через год после своего прибытия в Москву Димитров был сделан генеральным секретарем Исполкома Коминтерна — знак того, что Верховный вождь, хоть и хранил молчание по поводу лейпцигского процесса, не преминул воспользоваться его политическими результатами. И в самом деле, в проекте доклада на VII конгрессе Коминтерна, в июле, Димитров предложил отказаться от определения “социал-фашизм” и изменить стратегию и тактику: от лозунга “класс против класса” перейти к ориентации на Народный фронт. Итак, “поворот” начался.

Он был облегчен событиями в Германии, где 30 июня “ночь длинных ножей” не оставила ни малейших сомнений (если они

еще у кого-нибудь были), что Гитлер решил стать полновластным хозяином страны. Во Франции немного ранее, между 6 и 12 февраля, Коммунистическая партия была вынуждена пойти на сближение с Социалистической партией<sup>22</sup>; теперь на Францию переосмыслили внимание и главные усилия Коминтерна. Во второй половине 1934 года решительный поворот завершился: 24 октября Торез, опекаемый Фридом, его непосредственным патроном из Коминтерна, предложил партии радикалов, собравшейся на конгрессе в Нанте, создать антифашистский Народный фронт, который мог бы включить в себя и социалистическую партию. Кажется, Фрид придумал формулу, которой было суждено большое будущее<sup>23</sup>. Правда, Черетти рассказал в своих мемуарах, что утром 24 октября Торез принял у себя в Иври делегацию Коминтерна, состоявшую из Тольятти, Готвальда и его самого. Фрид тоже присутствовал, но не сказал ни слова. Тольятти якобы пытался отговорить генерального секретаря ФКП ехать в Нант и выступать там со своей инициативой. Поэтому, возможно, в этот период две линии еще продолжали сосуществовать. И только 9—10 декабря новая политика была объявлена официально Исполкомом Интернационала: Торез был туда приглашен с докладом о показательном эксперименте ФКП.

Наконец, ярким свидетельством произошедшей перемены стало подписание франко-советского пакта 2 мая 1935 года; значение имел не столько сам пакт, обычный инструмент дипломатии, сколько сопровождавшее его коммюнике, вырванное Лавалем у Сталина и представлявшее собой, по сути, инструкцию для международного коммунистического движения. Коммунистические партии — и в первую очередь ФКП — должны были создать антигитлеровский фронт; в этом теперь была их главная задача, и ради этого они могли пойти даже на временное сотрудничество с собственной буржуазией. Поворот был тем более резким, что надо было переориентировать международную борьбу не только против версальских победителей, но одновременно — и против побежденных, дав новое определение гитлеровскому национал-социализму. Этот вопрос был рассмотрен со всех точек зрения в докладе Димитрова на VII международном конгрессе Коминтерна 2 августа 1935 года.

Перед новым генеральным секретарем Коминтерна стояла задача, создать некую новую марксистскую теорию фашизма, которая не только позволила бы выделить “фашизм” внутри более широкого вида “буржуазное господство”, но также выделить немецкий национал-социализм внутри вида “фашизм”. Выведение типологии политических режимов — классическая головоломка для марксистской мысли: можно посмотреть, как решал ее сам

Маркс применительно к бонапартизму. Любая власть буржуазной эпохи, не укладывавшаяся в классическую, иначе говоря, английскую, модель представительного правления, с трудом поддавалась определению в терминах классового господства. В отношении первого и второго французского бонапартизма Маркс колебался между несколькими диагнозами: государство, примиряющее различные враждебные фракции внутри буржуазии; государство сельских масс, действующее в обход политических элит; гипостазированное государство, ставшее независимым от общества.

Что касается Димитрова, то он налагает на тиранический характер фашистского режима идею классового господства: пришедший к власти фашизм — это “открытая террористическая дикатура самых реакционных, самых шовинистических, самых империалистических элементов финансового капитала”. Это определение по прямой линии восходит к “Империализму как высшей стадии капитализма”, библии ленинизма. Оно даже позволяет различить внутри всей этой сферы особо империалистические элементы, настоящих заправил режима. Затем следует определение национал-социализма как особой разновидности фашизма, отличающейся особой свирепостью в международных отношениях и внутри страны. Его отличительные особенности не столько анализируются, сколько декларируются на основании негласного сопоставления с итальянским прецедентом; но по отношению к прежней политике Коминтерна значение имеют именно декларации. После доклада Димитрова “фашизм” перестал быть, в понимании коммунистов, политической тенденцией, почти повсеместно распространенной в буржуазных демократиях и социал-демократических партиях; теперь он воплотился в виде определенного политического диктаторского режима в нескольких европейских странах — муссолиниевской Италии, нацистской Германии, Польше Пилсудского. И именно Гитлер выступает как типичный пример, как если бы национал-социализм становился наконец центральным объектом для политики Интернационала.

Так, во всяком случае, получается косвенно. Ибо прямой задачей остается защита Советского Союза, бастиона мирового пролетариата. Гитлер же, в качестве главного врага Советского Союза и всеобщего мира, занял место стран-победительниц по Версальскому договору. Он являет собой авангард контрреволюции; Димитров указывает на него одновременно и как на главного врага коммунистов в каждой стране, и как на свирепого агрессора, стремящегося разгромить Советское государство.

Коммунизм и фашизм оказались, таким образом, лицом к лицу, в отношении революция/контрреволюция, привычном для европей-

ской политической культуры; нацизм довел противостояние до максимального напряжения. Два антагонистических режима тесно связаны между собой, во-первых, тем, что фашизм во многом был ответом на угрозу пролетарской революции, а во-вторых, их противостояние пронизывало все другие конфликты века: в этом смысле антифашизм — не что иное, как лагерь революции. Однако, с другой точки зрения, он включает в себя, по крайней мере на первой стадии, вместе с коммунистами и сторонников плюралистической демократии: не только рабочих, социалистов, анархистов, католиков и неорганизованных, но и преданные свободе буржуазные и крестьянские партии. Вокруг единого фронта рабочего класса, стового хребта всей коалиции, складывается антифашистский Народный фронт, где коммунисты временно становятся защитниками демократического наследия буржуазии: такова новая тактика, выдвинутая VII конгрессом. Конечной целью остается диктатура пролетариата, свержение буржуазии повсюду. Но путь к цели теперь выглядит иначе. Французский опыт 1934—1935 годов, которому Димитров отдает должное, служит теперь примером для Интернационала. Народный фронт заменил собой тактику “класс против класса”.

Сила новой диспозиции состоит в ее необычайной гибкости. С одной стороны, курс международного рабочего движения, более, чем когда либо, направлен на пролетарскую революцию, которая теперь перестала быть далеким горизонтом коммунистической активности и представляется естественным продолжением и завершением антифашистской борьбы. Ибо, если финансовый капитал — последний оплот фашизма, то разгром фашизма будет означать конец капитализма в его “высшей”, то есть завершающей стадии. Димитров опирается на классическое марксистское использование диалектики: чем больше буржуазия нуждается в диктатуре, тем ближе ее конец... Таким образом, только коммунисты знают заранее истинный смысл антифашистской борьбы. И если они идут в первых рядах, то уж конечно не для того, чтобы реставрировать буржуазные свободы.

Но, с другой стороны, их борьба поменяла название. Коммунистические активисты выступают теперь не под знаменем Республики Советов, а под знаменем демократического антифашизма. Из этого не следует, будто они отделились от первоначального мифа. Совсем напротив: Советский Союз более чем когда-либо остается для них отечеством трудящихся, где бы они ни находились. И защита его территории — самый главный императив их деятельности. Однако слепая солидарность с СССР несколько меняет свою природу, будучи переведена на язык антифашистской борьбы. Она становится чуть менее чуждой и резкой. Она укреп-

ляет свою мотивацию и политическую мораль. Активист “третьего периода” верил в Сталина из ненависти к буржуазии и страстного желания, чтобы поскорее наступил великий закат. Коммунист-антифашист присоединяется к армии бойцов пролетарской революции прежде всего для того, чтобы защищать свободу от Гитлера. В обоих случаях его борьба осенена философским величием, поскольку в конечном счете должна привести к освобождению всего человечества от эксплуатации человека человеком. Однако приоритет, отданный сражению против Гитлера, придает конкретность этой абстрактной задаче и смягчает грубую прямолинейность классовой борьбы по принципу “класс против класса”.

Действительно, гитлеровский расизм самим фактом своего существования как бы подтверждает патент марксизма на демократический универсализм, от которого большевики не отказывались ни при Ленине, ни при Сталине. Это и есть подтверждение того, что Сталин — противник Гитлера, подтверждение более весомое и ошутимое, чем любые философские декларации. Споры о природе советского режима отходят на второй план, отчасти потому, что антифашистская политика СССР и Коминтерна сама по себе кажется доказательством демократичности советского режима, отчасти потому, что борьба против Гитлера устанавливает в умах определенную систему предпочтений и заставляет умолкнуть разговоры о соблюдении свобод в Советском Союзе. Доведенная до своего крайнего выражения, эта аргументация возлагала на нацизм ответственность за все известные тогда проявления сталинского террора, в первую очередь за политические процессы: ведь как и якобинцы, большевики уничтожают только врагов, то есть агентов Гитлера в СССР.

Наконец, антифашизм освобождает коммунистическое движение от слишком узкого, сектантского понимания классовой борьбы, характерного для периода 1929—1934 годов. Теперь перед “рабочим классом” открылись поистине общенациональные перспективы. Он обратил себе на пользу традиции и доблести патриотизма. Он завербовал себе много сторонников справа, не имеющих ничего общего с социалистами. Во всех европейских странах, за исключением фашистских, коммунистические партии завоевали много новых сторонников и депутатов. Франция, родина Народного фронта, показывает в этом отношении пример. Но повсюду воля преградить путь Гитлеру помогла коммунизму достичь высшей точки своего влияния, а его сторонникам — высшей точки благородного самообольщения.

При всем том, место, которое начал занимать антифашизм в коммунистической культуре, придавал движению известную хрупкость. Достаточно было произойти новому повороту советской

внешней политики, и те, кто вчера выступал ее провозвестниками, сразу лишались точки опоры: так и случится осенью 1939 года, когда в буре, разразившейся после подписания германо-советского пакта, сохранятся только аппаратные структуры компартий. Ибо произошедшая в середине 30-х годов мобилизация коммунистических сил на борьбу с фашизмом ни в косяк мере не отменила строгого подчинения Сталину всей системы международного коммунизма. Слабость международного движения, оборотная сторона его силы, состоит в том, что оно привязано к территории и истории определенной страны, что беспрерывно угрожает его универсальному характеру. Действительно, в этом самом 1935 году государственный террор небывалого размаха обрушился на народ Советского Союза. Сталин, воспользовавшись убийством Кирова<sup>24</sup> в декабре 1934 года, развернул невиданные репрессии против “врагов народа”, которых миллионами арестовывали, убивали, ссылали<sup>25</sup>. В области массового террора Гитлер в это время был еще учеником чародея! По сравнению с ликвидацией партии большевиков в период между 1935 и 1938 годами “ночь длинных ножей” кажется мелким происшествием!

Но антифашизм отвлек внимание от СССР и обратил взоры всех на нацистскую Германию, где происходило много такого, что не могло не возмущать друзей свободы. В этом возмущении, однако, опора на факты играла меньшую роль, чем идеологическая традиция: Гитлер заявляет о своем намерении разрушить демократию — и тем самым вкладывает ее как знамя в руки своих врагов. А Сталин не упускает возможности этим знаменем завладеть. Антифашизм, в силу своей негативной абстрактности и отсутствия позитивного содержания, позволял объединиться демократам и коммунистам. Под видом равноправного сотрудничества коммунизм стремится подчинить себе то, что Ленин ненавидел и стремился запретить после Октября 1917 года. Гитлер разглагольствует против принципов 1789 года, а Сталин с шумом и треском вводит в действие новую советскую Конституцию 1936 года. В час Большого Террора большевизм вновь выступает в роли борца за свободу. Он черпает силы в том, что сам же ненавидит, и одновременно запугивает противников, давая понять, что антисоветизм — прямая дорога к фашизму. Гитлер помогает не только вернуть здравые идеи демократического коммунизма, но и дискредитировать демократический антисоветизм. Таким образом большой коминтерновский поворот 1934—1935 года по-своему оркеструет переориентацию внешней политики Советского Союза.

За двенадцать или восемнадцать месяцев Сталин оценил Гитлера как специалист. В отличие от английских руководителей, он не стал терять время на разгадывание вопроса, чего же Гитлер хо-

чет “на самом деле”. Он понял то, чего никто на Западе не пожелал понять: что “Майн Кампф” — это правительственная программа. Стало быть, над СССР нависла угроза, и надо не допустить, чтобы он остался в одиночестве перед лицом Германии или стал первым, на кого обрушится ее натиск. Отсюда — вступление в Лигу Наций, заигрывание с Западом, особенно с Францией. Коминтерн, со своей стороны, играет тот же мотив на своих инструментах, придавая размах и идеологическое звучание задачам “реальной политики”. Если говорить в общих чертах, то антифашистский коммунизм пришел на смену коммунизму антибуржуазному, Народный фронт — тактике “класс против класса”, атаки на Гитлера — наскокам на Бриана. Русская революция получила, благодаря нацизму, возможность усилить свои претензии на универсальность как раз в то время, когда она стала более “азиатской”, чем когда-либо. Сталин играет одновременно на двух инструментах: через Димитрова он подхлестывает пропаганду демократического коммунизма, а через Литвинова прощупывает волю и возможности главных европейских держав.

Нет оснований полагать, будто Сталин уважал только “большую” международную политику и с пренебрежением относился к “лавочке” Коминтерна<sup>26</sup>. Конечно, лично он туда не ходит, но Мануильский царит там от его имени. Если теперь мы уже хорошо представляем себе работу этой огромной международной бюрократической машины, то еще плохо знаем, как функционировал ее высший эшелон, на уровне Мануильский — Сталин, и вообще, как принимались решения на вершине власти. Ясно одно: ни Мануильский, ни Литвинов не имели даже относительной автономии по отношению ко всемогущему генеральному секретарю, культ которого начинает устанавливаться в Советском Союзе и в братских партиях.

“Поворот” 1934—1935 года свидетельствует, что активность Коминтерна не только не угасала, но наоборот: весь его аппарат работал с полной нагрузкой, чтобы придать кровавой диктатуре Кремля видимость унитарного антифашизма и привлечь сердца демократов. Не следует думать, будто Сталин был готов подчинить свою политику борьбе против фашизма: в 1939 году станет ясно, что это не так. Но в 1934 году начался период, который позволил ему использовать популярный лозунг и свободное политическое пространство, чтобы насадить по всей Европе разветвленную и полностью покорную ему сеть революционных подрывных организаций. И в 1939—1940 годах, когда Сталин будет сторонником Гитлера, он не бросит коминтерновцев, бывших его союзниками в период антифашистской борьбы<sup>27</sup>. Многие из них окажутся в Москве во время первого и второго периода войны (то есть, до

22 июня 1941 года и после него), а после 1945 раскроют секреты сталинского антифашизма, став в странах Восточной Европы услужливыми и могущественными заместителями советского тоталитаризма.

Однако не будем забегать вперед. Вернемся в Париж середины 30-х годов и постараемся понять, исходя из условий того времени, причины огромного воздействия тогдашнего антифашизма на общественное сознание.

Париж в эти годы был во всех отношениях наилучшим местом наблюдения для историка антифашистского коммунизма.

С 1917 года Германия была великой надеждой советского коммунизма. После 1923 года она оставалась для большевиков излюбленным полигоном для маневров и одновременно — самым ценным союзником. После 1925 года, при президентстве Гинденбурга, Веймарская республика не ослабляла связи с Россией, завязанные в Рапалло. Но под ударами экономического кризиса она снова стала страной с непредсказуемым будущим, где опять возникла опасность революции, десять или двенадцать лет спустя после провала предшествовавших попыток. Гитлер резко переломил ситуацию в 1933 году: Берлин перестал быть второй после Москвы мировой столицей коммунизма.

Немецкие коммунисты нашли убежище в Париже, где встретились со своими итальянскими товарищами. Там же оказались активисты, изгнанные диктаторскими режимами из центрально-европейских и придунайских стран. Франция в это время была страной, открытой для жертв политических репрессий, и именно в Париж Коминтерн перенес центр своей европейской деятельности. Мы видели, как уже с лета 1933 года Мюнценберг возбуждал среди парижского пролетариата сочувствие к несчастьям немецких коммунистов. С началом движения Амстердам-Плейель работа закипела с новой силой и затраты на нее увеличились, поскольку фронт борьбы переменялся.

В Париже правами “хозяина дома” пользовалась ФКП, переживавшая ключевой период своей истории. После своего торжественного рождения в Туре, в декабре 1920 года, французская секция Коминтерна долгие годы прозябала. С самого начала, в послевоенном запале, она включила в себя столько разнородных элементов, чуждых духу ленинизма, что вскоре сократилась до нескольких десятков тысяч членов; из Москвы она все время получала преследования против оппортунизма французских социалистов, а изнутри ее раздирали склоки по поводу пролетарского характера партии и “верности” ее революционного курса. Электоральная база движения оставалась узко локализованной и в целом ограни-

ченной; в 1932 году она еще более сузилась по сравнению с 1928 годом. Однако ФКП была уже близка к своим историческим свершениям.

Во-первых, во внутривнутриполитическом плане. Я не собираюсь углубляться в аппаратные интриги между Парижем и Москвой, приведшие к устранению “группы Барбе — Селора” и укреплению на долгое время в партийном руководстве таких людей, как Торез, Дюкло, Марти, Фрашон<sup>28</sup>. Вся операция по смене руководства была организована Мануильским и его штабом. Впрочем, Торез уже с 1931 года шел к руководству при протекции Эугена Фрида (см. выше), через которого осуществлялся прямой и полный контроль Интернационала над ФКП, — то, что Робриё называет ее “замораживанием”.

Однако это внутреннее “замораживание”, происходившее в 1931—1932 годах, как раз предшествовало внешнему повороту к Народному фронту и началу политики, общей для всего коммунистического движения, но особенно ярко проявившейся во Франции, где она была опробована и привела к успеху.

Хронология показывает, что французская ситуация оказала определенное воздействие на поворот в политике Коминтерна, произошедший в 1934 году. Этот поворот произошел не в начале года, как то пытается утверждать торезовская версия, стремящаяся подчеркнуть автономию ФКП. События, развернувшиеся 6 февраля и в последующие дни, показывают обратное: французские коммунисты действительно участвовали в демонстрациях 6-го числа против правых лиг, но отнюдь не в защиту республики и демократии<sup>29</sup>; то же самое и 9-го, когда сохраняются лозунги “Советы повсюду!” и “За рабоче-крестьянское правительство!”. Наконец, если 12 февраля ФКП и присоединилась к всеобщей антифашистской забастовке, объявленной ВКТ, это не помешало ей на протяжении последующих месяцев продолжать свои атаки против “социал-фашизма”. Политика единства с социал-демократами против фашизма, которую защищали в это время Дорио и Барбе, осуждалась Торезом как “оппортунистическая” во многих статьях, опубликованных в “Юманите” в течение марта-апреля 1934. В конце мая Дорио был исключен из партии — после того, как отказался явиться в Москву для разбирательства в Коминтерне, где, в его отсутствие, Торез получил возможность расправиться с соперником. Верный тактике “класс против класса”, он сделал шаг в сторону политики, предложенной Дорио, только в конце июня, на национальной конференции ФКП, получив письменные указания из Москвы<sup>30</sup>.

С этого момента события развивались стремительно. 15 июля состоялся большой объединенный митинг, созданный руководст-

вом парижской организации ФКП и двумя федерациями Социалистической партии департаментов Сены и Сены-и-Уазы. Собравшаяся толпа не смогла вместиться в зал Бюлье, и митинг пришлось продублировать в гимназии Юйгенс. 27 июля между двумя партиями был подписан пакт о единстве действий, в соответствии с которым обе партии объединяли усилия для борьбы с фашизмом и обязались воздерживаться от взаимной критики на время “совместных действий”, а также создавали координационный комитет на паритетной основе. В начале октября начались переговоры об объединении ВКТ и ОКТ\*. 9 числа того же месяца в зале Бюлье Торез провозгласил лозунг “Народного фронта во имя труда, свободы и мира”. Он повторит этот призыв в Нанте 24-го числа, распространив его на партию радикалов, что вполне естественно, поскольку эта партия уже давно способствовала франко-советскому сближению. Много сделал для этого сближения, как мы видели, Эррио, проявивший большую проницательность и столь же большую слепоту. Такие члены радикальной партии, как Анатоль де Монзи и Пьер Кот, занимавшие более левые позиции и выступавшие адвокатами советского режима, участвовали в движениях Амстердам-Плейель и RUP (“Рассамблеман юниверсель пур ла пэ”), управляемых из Москвы<sup>31</sup>.

Все происходило так, как если бы французский коммунизм, оставаясь в полном подчинении Коминтерну, служил для него любимой точкой приложения стратегических схем. После того как Германия оказалась под властью Гитлера, Франция приобрела для Сталина еще большее значение, чем во времена, когда она воплощала империализм, одержавший победу в войне. Французская компартия, которую с момента ее создания Москва держала под жестким контролем, обрела наконец постоянное руководство сталинской закалки, способное выполнить генеральную задачу: возглавить антифашистский поворот коммунистической политики. Полностью подчиняясь диктату Коминтерна, ФКП играла свою роль с готовностью и блеском. В течение всего 1934 года во Францию ехали эмиссары — сам Мануильский, Анна Паукер, Готвальд, Тольятти, не говоря уже о Фриде, который был как бы у себя дома. Их усилия не пропали даром: они без конца дискутировали, консультировали, аргументировали, так как в коммунистическом мире вкус к “теоретическим” разглагольствованиям подкрепляется готовностью к рабскому подчинению. Но на этот раз, в отличие от того, что произошло в Германии, семена оказались доброкачественными и упали на благоприятную почву. Германия их отторгла, во Франции они дали ростки.

\* Всеобщая конфедерация труда и Объединенная конфедерация труда. — *Прим. пер.*

С 1918 года Франция жила памятью о войне. В каждом доме, в каждой семье на стене висел портрет погибшего — отца, брата или мужа. В каждой деревне на центральной площади высился памятник-обелиск с выгравированным списком погибших, столь длинным, что это и сейчас не перестает удивлять и даже волновать. Эта чудовищная военная победа, относительно которой никто еще не знал, что она будет одновременно первой и последней в этом веке, продолжала влечь за собой длинный шлейф воспоминаний. Война обезглавила молодые поколения. Она разорила страну-победительницу в такой же степени, как и страну, потерпевшую поражение, с которой обошлись крайне сурово. Все французы, как правых, так и левых взглядов, не хотели больше никогда идти на бойню, а потому были склонны либо преувеличивать силу, которой у них уже не было, либо объявлять войну войне, включая и войну против собственного правительства.

В этот момент французы представляли собой народ, которому победа стоила так дорого, что парализовала их волю. Ретроспективный страх перед тем, что им пришлось перенести, вел их прямым путем к своего рода коллективному отречению. В результате наш период “между двумя войнами” был окрашен в мрачные цвета и привел к бесславному концу.

Однако в 20-е годы ненависть к войне в левых кругах принимала бурные формы. Это была настоящая страсть, причем неотделимая от революционного духа. Достаточно перечитать знаменитые декларации II Интернационала, которым он изменил в 1914 году. В них виновные были названы заранее: стремящиеся к наживе капиталисты, империалистическая система, национальные буржуазии. Четыре года спустя, в глазах солдат, уцелевших после бойни, их вина была тем более велика. Поэтому разоблачение империалистической войны стало любимой темой революционного экстремизма во главе с молодой ФКП, рядом с которой существовали и другие очаги: остатки революционного синдикализма, радикалы пацифисты и антимилитаристы, интеллектуалы из “Кларте”<sup>32</sup>...

Но у пацифизма, с того же самого времени, было и умеренное обличье. Со стороны победителей идеей поддержать мир силой оружия оправдывалась оккупация Рура французской армией в 1923 году. Однако эта идея, продолжавшая носить маску войны в мирных условиях, умерла от собственных противоречий. Во французском общественном мнении господствует стремление сохранить столь дорого купленный мир с помощью международной системы оборонительных договоров, обязательств и санкций. Мирного решения конфликтов между государствами можно достичь не посредством революции, но с помощью общепринятых в

демократических обществах юридических процедур. Лига Наций и была задумана как высший арбитражный суд. Этот тип пацифизма подвергался критике как порождение Версальского договора, пацифизм победителей, замаскированный империализм. Но, демократический и национальный, он соответствовал двойственным чувствам наибольшего числа граждан. Французы хотели бы быть нотариусами своей победы.

Между описанными выше двумя типами пацифизма существует принципиальное противоречие. Достаточно посмотреть на деятельность такого бастиона левых сил, как Лига прав человека<sup>33</sup>, чтобы убедиться, до какого накала может доходить спор между сторонами, исходящими из одних и тех же чувств и предпосылок. В начале 1927 года, например, разгорелась дискуссия по поводу закона Поля — Бонкура “Об общей организации нации во время войны”; документ предусматривал строго оборонительную схему военных мероприятий в случае угрозы со стороны Германии и в то же время — целый ряд правительственных мер по мобилизации страны. Большинство членов Лиги одобрило демократический дух закона. Но само допущение возможности возникновения войны возмутило радикальных пацифистов. Мишель Александр метал громы и молнии: “После 1914 года мы знаем, как можно обернуть закон и представить любую военную авантюру в качестве оборонительной войны”<sup>34</sup>. Александр был философом, учеником Алена, которому он регулярно предоставлял страницы своего проникнутого бунтарским духом ежемесячного журнала “Свободная речь”. Он принадлежал к небольшой группе молодых интеллигентов, публично возмущившихся против войны в 1916 году и потом сделавших это возмущение смыслом своего существования. Бичуя ложь военной пропаганды, Версальский договор, французский империализм и Лигу Наций, высмеивая патриотизм и армию, они не питали никаких иллюзий и по отношению к социалистической партии, антимилитаризм которой превратился в пустые слова.

Логика полемики толкала их в сторону коммунизма, о котором они не знали почти ничего, кроме того, что он против капитализма, а значит, против торговцев пушками. Советский Союз, жертва военной интервенции 1918—1920 годов, предмет ненависти империализма, много приобрел в общественном мнении благодаря их страстным усилиям. Но есть и другая сторона, которая не устраивает этих индивидуалистов и почитателей свободы: это — казарменный коммунизм. Коммунистическая партия, в свою очередь, не доверяет интеллигентам и помнит, как ругал Ленин мелкобуржуазный пацифизм, даже самый последовательный. Более того: в широкой палитре политических страстей, порождаемых стремлением к миру, наиболее радикальные представляются ей са-

мыми подозрительными. Даже если эти субъекты заявляют себя сторонниками революции, это не внушает доверия: а вдруг они имеют в виду какую-то другую революцию, опасную тем, что она может ослабить государство, вместо того чтобы укрепить его и возвысить? А если они враждебны всякой войне, независимо от того, кто и при каких обстоятельствах ее ведет, то не станут ли они в один прекрасный день пособниками классового врага? Будущее покажет, что эти опасения не были лишены оснований.

Ибо “борьба за мир”, занимающая в коммунистической стратегии одно из первых мест, направлена на дискредитацию капитализма и приобретает различные модификации в зависимости от соотношения сил между Советским Союзом и капиталистическим миром. Отсюда и постоянное нагнетание воображаемой опасности антисоветской войны, которая всегда служила Сталину для поддержания революционной бдительности, единства большевистской партии и дисциплины всего движения в целом. Мировой экономический кризис и приход к власти национал-социализма привели к возникновению нового мотива: к “усилению противоречий” между СССР и империалистическим окружением теперь добавляется увеличивающаяся вероятность возникновения войны внутри империалистического лагеря<sup>35</sup>, — гипотеза, вполне соответствующая ленинизму и открывающая перед Советским Союзом пространство для дипломатического лавирования между капиталистическими державами. Эта идея ведет одновременно и к разрыву движения Амстердам-Плейель (и к его эволюции от Амстердама к Плейель, между 1932 и 1933 годами), и к сближению с Францией, становящемуся постепенно одной из целей советской внешней политики.

Завершенный и официально провозглашенный в 1935 году антифашистский поворот сопровождался декларацией Сталина при подписании франко-советского пакта. Сталин в свойственном ему лаконичном стиле высказался в поддержку проводимой Францией политики “поддержания своих вооруженных сил в целях национальной безопасности”. Эта маленькая фраза означала с советской стороны такую переориентацию “борьбы за мир”, которая вызвала настоящий переполох во французской общественной жизни и особенно — во взаимоотношениях между ФКП и левыми силами. Не обошлось и без анекдотов и театральных квипрокво: так, “Юманите” поменяла заголовок соответствующей рубрики с “Банды мерзавцев” на “Республиканскую армию”. Но при всем том произошла коренная перемена образа коммунизма в глазах французского общественного мнения.

Перемена курса состояла из двух частей: разрыв с “жестким” пацифизмом и упор, в целях борьбы с фашизмом, на пацифизм

унитарный, даже национальный. С 15 мая 1935 по 1939 год ФКП находилась в явном противостоянии с борцами против милитаризма, за мир любой ценой, в том числе и ценой уступок Гитлеру. К тем, кто продолжал ратовать против Версальского договора, собственной буржуазии и собственной армии, ФКП стала относиться холодно и даже враждебно. Каким бы расплывчатым ни был заключенный со Сталиным пакт, его противники видели в нем возрождение франко-русского альянса, предшествовавшего войне 1914 года, и возврат к “священному единству”.

Противники войны против Гитлера ни на шаг не отступят от своих позиций и после того, как станут очевидными его амбиции и вероятность начала войны. Уверенные в том, что немецкого канцлера можно “умиротворить”, уже хотя бы потому, что он, как и они, борется против последствий Версальского договора, они выражали широкое течение общественного мнения, особенно среди школьных учителей, в профсоюзе которых они занимали господствующее положение. Впрочем, — и эта печальная черта характеризует эпоху — те, кто проявлял проникательность в отношении Сталина, были преисполнены иллюзий в отношении Гитлера. Пацифисты, о которых идет речь, из друзей советского коммунизма стали его обличителями. Они отказывались признавать неизбежность войны с Гитлером. Теперь они стали догадываться, что такая война входит в расчеты Сталина, который хотел бы направить нацистскую угрозу на Запад. В таких центрах антимилитаризма, как профсоюз школьных учителей, среди последних приверженцев революционного синдикализма, таких, как ученики Алена, тщательно взвешенные слова Сталина при встрече с Лавалем расценили как подталкивание к войне. Пацифисты этого направления стояли на антигитлеровских позициях, но мир им был дороже, чем крестовый поход против фашизма.

Однако коммунисты перед лицом такой критики теперь защищают свою новую политическую линию тоже во имя мира. Они отказываются отделять антифашистскую борьбу от борьбы за мир. Так было заявлено уже во время создания движения Амстердам-Плейель. Но в тот момент фашизм еще не был специфически немецким явлением; он рассматривался как тенденция, общая для империализма, и прежде всего — в странах-победительницах. В 1935 году фашизм обрел отечество — Германию и вождя — Гитлера. Как же могло французское общественное мнение, каким бы усталым оно ни было, остаться равнодушным к этой явной германизации фашизма? Официально признав курс на перевооружение вермахта, увеличив риск нового военного конфликта, Гитлер, сосредоточивший в своих руках абсолютную власть, сделал особо актуальной борьбу за сохранение мира. Когда в 1932 году Коммуни-

стический Интернационал говорил о надвигающейся империалистической войне против СССР<sup>36</sup>, ему верили только те, кто был с ним согласен заранее. Не то чтобы положение было безоблачным, но ни один француз тогда не верил в то, что завтра начнется война против Советского Союза. В 1935 году, напротив, нацистская Германия своими приготовлениями оживила воспоминания о еще недавней войне. И французы почувствовали, как в них пробуждается решимость противостоять угрозе, в реальность которой они поверили, несмотря на все заверения Гитлера в обратном<sup>37</sup>. В новой ситуации борьба за мир стала выглядеть как реальная необходимость, чего не было, когда в качестве источника военной опасности назывался французский империализм. Перейдя, так же как и СССР, к поддержке Лиги Наций, ФКП, преисполнившись нового уважения к подписанным Францией международным договорам, теперь разыгрывает свои пацифистские гаммы в более буржуазном регистре.

Ее новые противники, к которым присоединится после своего исключения Дорио<sup>38</sup>, обвиняют ее в том, что она, поддержав франко-советский пакт, заранее дала согласие на войну. Обвинение не столь уж нелепое: оно точно улавливает сталинский расчет и смысл произошедшего в коммунистической политике поворота. Но с другой стороны, Советский Союз вернулся в Лигу Наций; у него появилась некая линия поведения в международных делах, и он, как представляется, присоединился к дипломатии “коллективной безопасности”, за которую ратовали и Эррио и Леон Блюм. Фашизм, долгое время скрывавшийся за кулисами капитализма, обрел, наконец, свое зримое воплощение в лице наследственного врага Франции — Германии, побежденной в 1918 году, но теперь вернувшей себе прежнюю силу. Поэтому обращенная против фашизма борьба за мир приобретает во Франции национальный характер; из прилагательного, долгое время находившегося под запретом и до сих пор остающегося под подозрением у крайне левых, коммунисты выковали себе новое оружие. Они приладили его к древку классовой борьбы, так что никто не мог бы их упрекнуть в том, что у них не стало внутренних врагов: наоборот, их враги тут же превратились, вопреки очевидности, но в неопровержимом соответствии с идеологической риторикой, — во “французских гитлеровцев”.

Изобретенный коммунистами “французский гитлеризм” практически было невозможно обнаружить во французской политической жизни вплоть до 1939 года; ближе всего к такому определению была PPF Дорио в 1938—1939 годах, когда ее покинули такие известные фигуры, как Дриё, Пюшё, Жувенель. Само существование настоящего французского фашизма в этот период ставится

под сомнение историками. Зато не вызывает сомнения существование во французской политике своего рода “магнитного поля”<sup>39</sup> фашистской идеологии, особенно в муссолиниевской форме: мы можем проследить такого рода явления на правом фланге в виде “Огненных крестов” полковника де Ла Рока, а на левом — в виде неосоциалистов Деа, “фронтистов” Бержери или таких перебежчиков от коммунистов, как Дорио. Интеллектуальная жизнь тоже дает немало примеров, хотя и в другом плане. В области политики восхищение национал-социализмом и попытки подражания ему наталкиваются на препятствия внутреннего и внешнего характера: французы, одержавшие победу в последнем конфликте, но чувствующие ее непрочность, не очень склонны к националистической воинственности; а Гитлер для них — это потенциальный враг, разжигающий в Германии реваншистские страсти. Поэтому национал-социализм не может служить вдохновляющим примером даже для тех французов, которые ненавидят либерализм, парламентаризм и коммунизм вместе взятые. Идея пойти с Гитлером на мировую привлекает большее количество сторонников и сочувствующих, но она не может дать толчок формированию фашистского движения, так как в ней не хватает националистических дрожжей.

Зато коммунисты обрядились в национальный костюм. При этом им надо было быть крайне аккуратными в отношении демократии, — непростая задача для партии, являющейся секцией Коминтерна. Большие московские процессы 1936 года выставили террор на всеобщее обозрение. Широкую карательную операцию, жертвами которой стали известные персоны, скрыть было труднее, чем ликвидацию украинских “кулаков” за несколько лет до того.

Первая линия контраргументации состояла в том, чтобы ссылаться на обострение борьбы: нацизм ведь не церемонился со своими противниками! Гитлер одним махом ликвидировал и немецкую компартию, и Веймарскую республику. И коммунистов, и демократов, и вообще все партии он засунул в один мешок. Но коммунистам он предоставил честь отправиться в концлагеря первыми. Тем самым он дал Коминтерну стратегические и идеологические козыри: возможность упростить картину борьбы и свести ее к столкновению фашизма и антифашизма. Отождествление либеральной демократии и марксизма, столь привычное для немецкого сознания, столь фундаментальное для нацистской идеологии, получило в результате событий 1933 года подтверждение, убедительное даже для тех, кто изначально считал такое отождествление абсурдным. Гитлер сумел навязать его своим врагам, объединив их против себя насильно. Если марксисты и либеральные демократы вместе становятся жертвами преследований, разве это не доказы-

вает, что их объединяет нечто, имеющее большее значение, чем их разногласия? Разве это не знак того, что им следует объединиться перед лицом общего врага? Не слишком задумываясь над первым вопросом, демократы спешат дать положительный ответ на второй: неотложные требования момента заставляют забыть о принципиальных расхождениях. А коммунисты — слишком изощренные мастера политического маневра, чтобы затягивать дискуссию о конституционном строе или демократическом плюрализме. Вот почему объединение тех и других происходит на негативной основе — как противостояние Гитлеру и его предполагаемым пособникам во Франции: под флагом антифашизма объединяются люди с противоположными идеями относительно демократии.

И тем не менее, отрицание фашизма — это первый шаг к реинтеграции коммунизма в демократический строй, поскольку за коммунизмом признается такое право: для этого достаточно, в соответствии с традицией, идущей от Французской революции, разделить либерализм и демократию. Поэтому антифашизм, в своей более разработанной форме, не сводящейся к чисто оборонительной реакции, выводит на философский вопрос о современной демократии. Сводя расстановку всех политических сил к двум лагерям, он исподволь подталкивает к выводу, что один из этих лагерей, тот, который противостоял Гитлеру, объединяет не случайных союзников, но представителей двух этапов единого освободительного процесса: буржуазной демократии и демократии пролетарской. Идея двух последовательных этапов принадлежит к наследию социалистических учений. Правда, во время Турского конгресса Леон Блюм и его сторонники отказались признать большевиков продолжателями демократического процесса, предпочтя свободу единству. Однако спор об отношении советского режима к демократии они не считали законченным. Даже в эпоху, когда французские коммунисты, жестко проводя линию Коминтерна, вовсю сражались против буржуазных левых, социалистов и радикалов, среди членов этих партий находилось немало таких, которые продолжали относиться к коммунистам как к братьям, хотя и заблуждающимся, но не погибшим.

Бросим ретроспективный взгляд на состоявшийся в 1927 году Национальный конгресс Лиги прав человека, этого святилища сторонников республики. Повестка дня предусматривала дебаты на тему “принципы демократии”, что означало возобновление извечного французского спора об отношениях между свободой и равенством, правами формальными и реальными, а также между демократией и революцией. Может ли республиканская законность “уйти в отпуск” ради успехов равенства или социализма? — вопро-

шал один из делегатов, от секции Курбеуа. Этот вопрос вызвал призрак “диктатуры пролетариата”, к которой большинство республиканцев относилось отрицательно во имя защиты свободы и прав человека. Но президент Лиги, старый дрейфусар Виктор Баш, не может решиться на столь легалистское заявление и, завершая дискуссию, оставляет за республикой — даже за республикой — революционное будущее:

“Я говорю, исходя не из политических принципов — на эту почву мы никогда не дадим себя увлечь, — а из наших принципов свободы и равенства, являющихся основополагающими принципами 1789 года, и я утверждаю, что восстание может стать для нас священнейшим из прав и необходимейшей из обязанностей.

Не будем бояться слова “революция”, товарищи! И отдадим себе отчет, что любая революция означает временное отсутствие законности. (Аплодисменты.)

Мы дети Революции, наша Республика порождена Революцией. Неужели вы думаете, что эра революций миновала навсегда?... Неужели только потому, что определенный класс, благодаря революции, занял то место, на которое он имел право претендовать, другие классы, которые не смогли ею воспользоваться, должны вечно соглашаться с тем униженным положением, которое им уготовано при нынешнем социальном строе? Нет, вы не можете так думать!...”<sup>40</sup>

Революция. Вероятно, это и есть то ключевое слово, которое связывало демократов из Лиги прав человека с советским опытом, несмотря на смутное представление о нем и критику его деспотического характера. У них с русскими большевиками общая историческая память о революционном происхождении французской демократии. Несмотря на давность лет, эта память возрождается вновь и вновь, вызываемая из прошлого современными событиями, дающими новую жизнь старой легенде. Русский большевизм, как мы видели, не преминул воспользоваться французским примером, а французские левые в годы, последовавшие за первой мировой войной, охотно представляли себе Октябрьскую революцию сквозь призму 1793 года.

Сколько бы между 1927 и 1932 годами Москва ни твердила о “неизбежности” антисоветской войны, ей не удалось воссоздать ситуацию, которая требовала бы мер “общественного спасения”.

И здесь подоспела помощь в лице Гитлера: угроза, которую представлял для СССР его приход к власти, была бесценным подарком Сталину. Не то чтобы Гитлер сразу стал заявлять о своих агрессивных намерениях, — скорее, наоборот. Но лейпцигский процесс выставил его перед всем миром в качестве главного бор-

ца против международного коммунизма. Сталин принял во внимание то, что английские и французские политики так долго отказывались видеть: что в лице Гитлера надвинулась реальная опасность войны, в которой будет решаться судьба Советского Союза. Отсюда естественным образом вновь возникает весь словарь ситуации “общественного спасения”, на который, уловив привычные обороты, откликаются противники Гитлера на Западе, особенно во Франции. Разве могли они остаться в стороне от столкновения между Гитлером и Сталиным, коль скоро оно выглядело как новое столкновение революции и контрреволюции?

Сталин говорит о нарастании внешней угрозы, об обострении классовой борьбы, о необходимости искоренить предателей, о всеобщей мобилизации на защиту социалистической родины: эти “якобинские” темы служат прикрытием для развязанного по его приказу, начиная с 1935 года, массового террора, не имеющего ничего общего с защитой страны перед лицом нацистской Германии. Но разве могли не подействовать эти доводы на французских левых, привыкших оправдывать якобинский террор необходимостью борьбы против контрреволюционного заговора? Вступив в один из самых жестких своих периодов, сталинский тоталитаризм получает одобрение и поддержку благодаря этой исторической “аналогии”. С 1918 года ссылки на обстоятельства помогали идеализировать русскую революцию. В середине 30-х годов удается разыграть ту же пьесу с помощью нацистской угрозы. Демонизируя коммунизм, указывая на него как на главного врага, Гитлер тем самым рекомендует его в друзья демократам. Ненависть Гитлера служит как бы гарантией демократичности коммунизма. Подобно тому как во Франции существовали пацифисты, сочувствующие фашизму, так появились и демократы, сочувствующие коммунизму.

Глубокий смысл антифашистской идеологии, разработанной людьми Коминтерна, состоял в том, что они приняли предложенную нацизмом картину биполярного мира, превратив ее в решающее орудие борьбы против нацизма. Гитлер толкает Советский Союз в лагерь свободы. Тем самым, силой обстоятельств, СССР становится естественным союзником демократии. Более того: по логике идеологии, его объявляют демократической страной, не такой, как Франция, где коммунизм еще не победил, но еще более демократической, поскольку в ней упразднен капитализм. Французским левым не надо долго копаться в своих традициях, чтобы подобрать название для страны, народ которой хочет создать новый социальный строй и защитить его от реакционных держав: это — революционная демократия. Именно по этой причине советские люди не могут позволить себе роскошь пользоваться всеми благами свободы. В революцию, давно впавшую в столбняк

под бюрократическим террором, Гитлер вдохнул немного прежней жизни.

Даже начавшиеся немного позже большие московские процессы<sup>41</sup> получают от этой ситуации дополнительную подсветку, славившую их небывалую и таинственную экстравагантность. Ибо и они имели прецеденты во Французской революции. До Сталина Робеспьер занимался тем, что разоблачал врагов революции внутри самой революции. Откроем, например, брошюру, опубликованную в 1937 году историком-коммунистом Жаном Брюа и озаглавленную “Наказание шпионов и предателей во время Французской революции”. Она открывается описанием военной опасности, грозящей Советскому Союзу со стороны капиталистического окружения, и цитатами самого Сталина, сравнивающего антисоветский заговор с иностранными происками против революционной Франции. В обоих случаях наблюдается один и тот же феномен: “иностранцы заговорщики” подкупают революционных деятелей, чтобы тем вернее покончить с революцией. Процесс над Дантоном, устроенный Робеспьером, только что был заново рассмотрен Матьесом, не увидевшим в нем ничего, кроме революционного правосудия над взяточником и предателем. Покровитель изменника Дюмурье выступает как предшественник Зиновьевых и Каменевых, а Сен-Жюст — как борец за правду наподобие Вышинского. Выдавая ход своих задних мыслей, Брюа перечисляет далее всех генералов Французской революции, казненных за “измену”: отсюда всего один шаг до Тухачевского, перешедшего в услужение к нацистам, — и автор этот шаг делает! “Почему то, что было правдой в 1793 году, становится клеветой в 1937? Или вы думаете, что фашистские державы не испытывают к первой рабочей республике такой же жгучей ненависти, как та, которая толкала феодальные государства против Французской революции?”<sup>42</sup>

Таким образом, антифашизм действует как бы в двух регистрах. С одной стороны, он должен сплотить против Гитлера (а заодно и против Муссолини) не только коммунистов и социалистов, но также демократов и даже патриотов, короче, все то туманное скопление, которое на языке Коминтерна именуется “народными массами”. С другой стороны, его ядром должен быть рабочий класс, а руководителями — коммунистические партии. Ведь фашизм — это поздняя форма капитализма: его уничтожение положит конец господству капитала. Тактика объединения антифашистских сил является определенным этапом революционной стратегии: это станет ясно в первые годы после второй мировой войны, когда с помощью подобной стратегии многие страны восточной Европы превратятся в “народные демократии”. Однако на первом этапе эта стратегия имеет оборонительный характер: ее задача — разбить

фашизм с помощью всех демократических сил, включающих в себя широкий спектр участников, от защитников республики, свобод и прав человека до борцов за советскую модель, для которых демократические свободы теряют значение вместе с исчезновением классов. Во время массовых манифестаций лозунги сопротивления фашизму заменяют старый лозунг парижских пролетариев “Советы повсюду!”. Но это не значит, будто конечная цель потеряна из вида. Идея “революционной демократии”, эксгумированная французскими коммунистами из истории 1793 года, подходит как нельзя лучше для того, чтобы скрыть противоречия антифашизма, одновременно либерального и антилиберального, оборонительного и наступательного, республиканского и коммунистического.

В задачу данной книги не входит написание истории Народного фронта во Франции. Наша цель иная: понять ситуацию, стратегию, совокупность политических идей, сделавших возможным столь широкое движение левых сил в период между двумя войнами. На этом примере историк может яснее всего представить себе, как происходил в 1934—1935 годах поворот в политике Коминтерна и какое сложное явление представлял собой антифашизм, являвшийся одновременно идеологическим подспорьем коммунизма и цементом вновь обретенного единства левых сил.

В эти годы победа национал-социализма в Германии наложилась на последствия экономического кризиса, который разразился во Франции позже, чем в Америке или в Германии, но из которого страна никак не могла вылезти. Вяло текущий, сопровождающийся бесконечной болтовней политический кризис получил открытое выражение в событиях февраля 1934 года; его наиболее явным симптомом был антипарламентаризм, распространившийся как среди правых, так и среди левых. Однако политический недуг имел, быть может, более глубокие, общенациональные причины. Боясь утратить непрочные плоды победы, защищать которую у нее не хватает решимости, Франция выглядит страной, лишенной воли, перед лицом охваченной волевым порывом Германии. Этот контраст во многом объясняет то завораживающее воздействие, которое оказывал на французскую политику фашизм, и соответственно — антифашизм.

Фашистские идеи — такие, как презрение к парламентскому режиму, или критика буржуазного индивидуализма, или прославление национального единства, — носятся в воздухе. Они перекрещиваются со старыми темами французских левых и французских правых. Среди членов правых лиг они накладываются на антинемецкие чувства, среди левых — на приверженность к республике. Но и справа и слева они расшатывают устойчивые идеологические

представления. К примеру, даже воинствующий антифашизм Бержери в 1933—1934 годах не смог избежать бессознательного подражания методам фашистской пропаганды. Начав с поддержки движения Амстердам-Плейель, этот политик-радикал постепенно дрейфовал от Народного фронта к поддержке итальянского фашизма и защите мира любой ценой<sup>41</sup>. Кристиан Желан был талантливым хроникером противоречий предвоенного французского пацифизма, колебавшегося между крайне левыми и крайне правыми позициями<sup>42</sup>. Социалистическая партия Леона Блюма металась между верностью принципам своего учения и участием в буржуазных правительствах: она чувствует необходимость оставаться марксистской, чтобы не уступать слишком большой территории своим соперникам-коммунистам, и в то же время не хочет участвовать в правительстве с радикальной партией, чем подрывает силы левых после выборов 1924 и 1932 годов<sup>43</sup>. В 1933 году в Социалистической партии происходит раскол между “новыми” социалистами, сторонниками национального объединения, и сторонниками традиционной опоры на рабочий класс. Если в 1936 году она возглавляет Францию Народного фронта, то не ей принадлежит решающий аргумент для того, чтобы взять, наконец, на себя руководство правительством, или, как он предпочитает выражаться, “функции управления”<sup>44</sup>. Однако испанская война приведет к его разрыву с коммунистами. Оставаясь на позициях пацифизма, его партия без особых душевных терзаний поддержит мюнхенские соглашения.

Зато Коммунистическая партия целиком и полностью сделала ставку на антифашизм, считая его неразрывно связанным с революцией. То, что он предполагает преданность Советскому Союзу, ничуть не смущает активистов, скорее наоборот: для них антифашизм — это всего лишь другая, международная, сторона их верности отечеству трудящихся. Тем самым коммунисты оказываются защищенными от соблазнов фашизма и от любой слабости по отношению к нему. То положительное, что содержится в фашистской критике продажных парламентариев или эксплуататоров-капиталистов, они уже получили через ленинизм. Им не грозит заразная болезнь стремления к “общности”, свирепствующая в Германии и грозящая перекинуться во Францию: ведь именно себя они считают монополистами в данной области. Фашисты являются их злейшими врагами именно потому, что вторглись на их территорию, и вместе с тем — последними врагами, потому что победа над ними откроет путь к окончательному торжеству революции. “Ты хорошо роешь, старый крот!” — говаривал Маркс в других обстоятельствах. В XX веке старый крот тоже неплохо по-

работал. Сталинскому коммунизму он предоставил знамя антифашизма. Наследники Ленина не преминули им воспользоваться и в результате добились во Франции впечатляющих успехов.

С тех пор как он существует, Коминтерн проигрывал почти все свои сражения, как на Западе, так и на Востоке<sup>47</sup>. Французская весна 1936 года переломила эту закономерность. Выборы дали подавляющее большинство трем партиям, объединившимся в Народный фронт. Особенно большой прирост голосов по сравнению с 1932 годом был у коммунистов<sup>48</sup>, что было по-своему справедливо, поскольку Народный фронт был их детищем. Пятнадцать лет спустя после раскола в Туре, после такого количества внутренних чисток и революционных фраз французские коммунисты встретились наконец с народом: их лозунги совпали со стремлениями "масс".

Однако победа на выборах, с точки зрения ленинской теории, слишком отдает буржуазностью, чтобы считаться настоящим успехом. В гораздо большей степени сила партии измеряется авторитетом у рабочего класса и дисциплиной кадрового состава. Что касается второго пункта, то здесь беспокоиться не о чем: партийный аппарат сформирован, проверен, подконтролен и послушен. Вопрос о влиянии на рабочий класс тоже будет решен в том же 1936 году, но не во время апрельско-майских выборов, а в ходе июньских забастовок.

Сами по себе события начали развиваться не по инициативе коммунистов. Первые случаи прекращения работы с одновременным занятием заводов произошли в первой половине мая в металлургической отрасли, в Тулузе и Париже: предпринятые в знак солидарности с рабочими, уволенными за то, что они не явились на работу 1 мая, эти стачки быстро увенчались успехом. Движение расширилось в последующие недели, особенно с понедельника 25 мая, на следующий день после многолюдной манифестации у Стены коммунаров. Это традиционное мероприятие привлекло сотни тысяч парижских рабочих благодаря исключительному воодушевлению после победы Народного фронта на выборах 3 мая. Французские левые переживают состояние благодати, сплотившись вокруг рабочего класса: две его партии, коммунисты и социалисты, возглавляют объединительное движение. Впервые в нашей истории пролетариат занял почетное место во главе нации: не как трагический герой эфемерных восстаний июня 1848 или весны 1871 года, но как ядро коалиции, призванной всеобщим голосованием к управлению республикой. Это мощное всепроникающее ощущение своей силы во многом объясняет стремительное распространение забастовочного движения в конце мая — начале июня 1936 года, как раз когда Леон Блюм формировал свое прави-

тельство. Рабочий класс, о котором уже перестали думать при Третьей Республике, совершил эффектное вступление в историю Франции, и в воздухе снова повеяло Февралем 1848 года.

В этом отношении нет более глубокого комментатора рассматриваемой эпохи, чем одна молодая женщина-философ, решившая узнать “жизнь рабочих” изнутри<sup>49</sup>. Окончившая Эколь Нормаль, магистр философии, Симона Вейль с юности была одержима двумя страстями: любовью к философии и состраданием к людям. Совсем молодой она познакомилась с “Пролетарской революцией” Моната и последними представителями революционного синдикализма. Она была другом Суварина. Будучи преподавателем в лицее Пюи, она сблизилась с местными синдикалистами и поступила работницей на сборочный завод, где работала в течение 1934—1935 годов. Ее “Заводской дневник”, записи в который она делала ежедневно, является наилучшим свидетельством того, в какой материальной и моральной нищете жили французские рабочие в эти годы: затравленный мастером, отупевший от конвейера пролетарий становится жертвой отчуждения. Жертва дробления производства на отдельные операции, он даже не видит того, что делает. Симона Вейль показывает, что в XX веке рабочий все еще находится в условиях производства прошлого столетия, усугубленных тейлоровской системой. Пользуясь словами Руссо, она определяет это как отрицание человеческой природы человека: “Ничто так не парализует мысль, как чувство неполноценности, навязываемое ежедневными условиями бедности, подчинения, зависимости. Первое, что необходимо сделать для них [рабочих современных заводов], это помочь им сохранить или же обрести вновь чувство собственного достоинства”<sup>50</sup>.

Не то чтобы Симона Вейль была революционеркой: она была слишком религиозна, чтобы возлагать на посястороннюю жизнь непомерные надежды. Сострадание никогда не затмевало ясности ее ума и логичности аргументации. Она не ждет ничего хорошего от коммунизма, истинную природу которого она поняла. Однако классовое сознание представляется ей средством прогресса, потому что оно избавляет рабочего от вынужденного подчинения и возвращает ему свободу. Симона Вейль страстно желала приносить пользу. В течение шести первых месяцев 1936 года она поддерживала насыщенную переписку с одним директором завода, обладавшим социальным чутьем; она стремилась убедить своего собеседника доверить ей воспитание примерно восьмисот рабочих его завода, наняв ее на сколь угодно низкую должность. Несколько дней спустя после заключения Матиньонских соглашений<sup>51</sup> она пишет своему адресату, чтобы выразить свою радость по поводу успешного завершения стачек, хотя и не ожидает сколько-нибудь

положительных политических результатов: “Что касается будущего, то никто не знает, что оно нам принесет: станет ли нынешняя победа рабочих шагом к коммунистическому тоталитарному режиму, или к фашистскому тоталитарному режиму, или (на что я надеюсь, но во что, увы, не очень верю) — к режиму не тоталитарному”<sup>52</sup>. Но этот трезвый пессимизм сопровождается настоящим моральным ликованием по поводу произошедшей перемены в отношении сил:

“...Если забастовочное движение вызвало во мне чистую радость (которая, впрочем, довольно быстро уступила место мучительному беспокойству, не покидающему меня с тех пор, как я поняла, к каким катастрофам мы движемся), то радовалась я не только за рабочих, но и за хозяев. Я сейчас думаю не о материальных выгодах, но о выгоде моральной, о спасении души. Я думаю, что для угнетенных хорошо в течение нескольких дней почувствовать, что они существуют, поднять голову, заставить с собой считаться, добиться уступок не за счет снисходительной щедрости, а за счет чего-то другого. Я думаю, что и для хозяев — для спасения их души — тоже хорошо раз в жизни уступить силе и испытать унижение. Я счастлива за них”<sup>53</sup>.

Замечательная Симона Вейль, несомненно, самый оригинальный свидетель той эпохи, точно подметила самую сильную коллективную эмоцию, сопровождавшую победу Народного фронта: торжество по поводу вступления рабочих в национальную политику. Она объяснила христианские и демократические предпосылки своих переживаний: возмущившись, рабочие вернули себе человеческое достоинство. Большинство современников, если только они не поддавались классовой панике, испытывали и выражали сходные чувства, пусть и не в столь законченном виде, но столь же искренне, сопровождая их историческими или идеологическими мотивировками.

Третья Республика обходилась с рабочими не очень-то ласково. В отличие от Второй Республики, она родилась не из порыва к социальному братству, но, напротив, из консервативного расчета, на следующий день после ужасающей расправы, учиненной на улицах Парижа во имя буржуазного порядка. Республику основали расстрельщики Коммуны. Ее вожди не уделяли внимания рабочему вопросу, считая, что главное для французов — гражданское равенство и всеобщий патриотизм. Несмотря на усилия Жореса, рабочее движение во Франции развивалось не столько в союзе с республиканской левой, сколько в классовых формах социализма или профсоюзной организации, то есть как гедизм, либо анархосиндикализм. Радикал Клемансо был к нему расположен не больше, чем оппортунист Жюль Ферри: в памяти рабочих именно Кле-

мансо несет ответственность за расстрелы в Дравейле и Вильнёв-Сен-Жорж<sup>44</sup>. Наконец, в 1914 году Священный союз, заключенный над свежей могилой Жореса, представлял собой насильственное присоединение рабочего движения к воинствующему республиканизму. На протяжении последующих страшных лет французский социализм склонялся к поискам компромиссного мира, в то время как воплощением противоположного стремления, к победе любой ценой, стал самый радикальный из республиканцев\*.

Республика выиграла войну, но победа не отменила изоляцию рабочего класса внутри нации. Напротив: со времени Турского конгресса эта изоляция получила своего глашатая в лице Французской коммунистической партии. Родившаяся в качестве реакции на Священный союз, одержимая идеей борьбы с “правым уклоном”, исполненная недоверия к интеллигентам, ревниво блюдущая свою пролетарскую чистоту, компартия не устает подчеркивать то, что коренным образом отличает ее от буржуазных партий и их пособников-социалистов. В такой обладающей давней демократической культурой стране, как Франция, компартия утверждает приоритетное значение рабочей революции, совершенно не зависящей от буржуазной демократии и целиком находящейся в ведении коммунистов. В этом смысле, ленинское учение, вдалбливаемое Коминтерном, накладывается на более давнюю традицию увриеризма. Большевицкий марксизм стал для французского увриеризма чем-то большим, чем примером и учением: он стал культурой и партией, благодаря которым рабочий мессианизм приобрел обличье научного знания, открывающего путь к будущему. Социалисты тоже хотят быть пролетарской партией и не желают уступать эту монополию своим братьям-врагам. Но все их депутаты являются буржуа, революция, как они ее себе представляют, выглядит сомнительной и не имеет прецедентов в прошлом; да и сами они никогда не появляются на заводах.

Все это становится очевидным в июне 1936 года. Дело не в том, что коммунисты были застрельщиками движения, — оно было слишком обширным, чтобы одна партия могла быть его инициатором. Но они были единственными, кто сумел пойти ему навстречу, организовать и возглавить его, как если бы история согласилась наконец прислушаться к их заклинаниям. Выборы в апреле-мае превратили их в большую, влиятельную партию. Но еще важнее для них было то, что забастовки подтвердили их роль единственных руководителей рабочего класса, на которую они не переставали претендовать начиная с Турского конгресса. Таким

\* Имеется в виду Клемансо. — *Прим. пер.*

образом, именно коммунисты извлекли наиболее очевидную пользу из двух главных событий периода Народного фронта. С одной стороны, они стали участниками национальной политической жизни в качестве активного крыла победоносной антифашистской коалиции, даже при том, что отказались войти в правительство Блюма. С другой, — они выступили руководителями сотен тысяч забастовщиков, которые занимали заводы с радостным ощущением обретенной силы, хотя и не во имя диктатуры пролетариата.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что сталинский коммунизм укоренился во Франции благодаря событиям, чуждым его программным установкам: благодаря демократическим выборам и забастовкам, направленным на улучшение условий труда. В момент, когда антифашистская позиция обеспечила коммунистам, в ходе двух туров голосования, поддержку социалистического и даже буржуазного электората, июньские стачки позволили им расширить свое влияние на рабочий класс. Таким образом, они выиграли обе ставки — и как “демократическая” партия, и как партия ленинская. Они никогда не скупались на революционные заявления, но события 1936 года, отнюдь не подорвав их революционной репутации, сгладили ее конспиративные излишества. Уверенно присвоив себе шлейф воспоминаний, чувств и страстей, неотделимых от побед 1936 года, они придали новое историческое содержание рабочему мессианизму, хранителями которого они чувствовали себя более, чем когда-либо прежде.

Не так уж важно, что Народный фронт во Франции, вероятно, не был в реальных действиях на высоте того авторитета, которым он пользовался в общественном мнении: ни в экономической, ни в военной, ни во внешней политике он не смог соответствовать требованиям момента, и все его наиболее памятные акции связаны с социальной сферой. Но в конце концов, победа объединенной левой коалиции в 1936 году и первое в нашей истории правительство во главе с социалистом сами по себе составляли контраст обычному убожеству французской политической жизни; не меньшее значение имело и то, что изменилось моральное и материальное положение рабочего класса внутри нации. В этом смысле 1936 год стал вехой в духовной истории французского левого движения и в истории ФКП внутри этого движения. Все, что было связано со счастливыми воспоминаниями о единстве рабочего класса, ставшего центром сплочения народных сил, стало для коммунистов бесценным политическим капиталом, которым они не переставали пользоваться на протяжении последующих двадцати пяти лет. Победы, одержанные коммунизмом во Франции, позволяли забыть об ужасах, которые он же творил в СССР. Более того: эти

ужасы просто невозможно было себе представить. Отказавшись от лозунга революции во Франции ради сорокачасовой рабочей недели и оплаченных отпусков, ФКП вернула привлекательность советской революции. Одна и та же рабочая мифология охватывала социальный прогресс — и диктатуру пролетариата, аккордеоны Народного фронта — и убийства в подвалах НКВД.

В то же самое время, что и французский Народный фронт, события в Испании станут вторым важным тестом для новой политической линии Коминтерна. Гражданская война в Испании, вызванная военным восстанием в июле 1936 года, приведет к первым явным разногласиям внутри французского Народного фронта, но одновременно придаст коммунистическому антифашизму новый международный резонанс.

Испанская ситуация отразила международный кризис, придав ему, как могло показаться, кристально ясное идеологическое выражение через столкновение двух главных сторон на испанской сцене. Испанская левая выиграла выборы в феврале 1936 года, причем небольшой перевес голосов позволил ей получить подавляющее большинство в парламенте. Хотя левые силы были раздроблены и объединились (за исключением анархо-синдикалистов) только в результате выборов, их победа означала первый успех политики Народного фронта в Европе. Отсюда, в порядке защитной реакции, — мобилизация всех правых сил во главе с фалангистами и военными, с опорой на реакционные силы, завершившаяся 17 июля 1936 года франкистским *pronunciamiento*\*. В этой упрощенной, но достаточно верной картине событий, есть все, что нужно, для большого коминтерновского спектакля с участием фашизма и антифашизма.

Впрочем, Гитлер и Муссолини не замедлят внести свою лепту, публично поддержав генерала Франко и почти сразу же, в августе, оказав ему военную помощь людьми и техникой. Таким образом, успехи Франко с самого начала оказались успехами Гитлера, а его поражения станут расцениваться как победы объединенных сил демократии и коммунизма под общим знаменем антифашизма. Сталин занял политическую позицию в соответствии с той идеологической линией, которой он следовал, начиная с 1934 года: он заявил о поддержке Советским Союзом Испанской Республики, но вплоть до осени 1936 года медлил с посылкой военно-политических советников и материальной помощи, а Коминтерн тем временем взял на себя инициативу организации “интернациональных бригад”. Но Англия и Франция, напротив, решают придерживаться

\* Восстание (исп.). — Прим. пер.

ся политики невмешательства в сочетании с международным эмбарго на доставку оружия в Испанию.

Это расхождение в позициях, занятых СССР и западными демократиями, дает СССР моральное преимущество. Создается впечатление, что у Советского Союза слова не расходятся с делом. Его действия соответствуют ожиданиям международной демократической солидарности и заслуживают высокую оценку со стороны европейских левых кругов: Советский Союз давно уже разоблачал в качестве империалистического обмана политику “коллективной безопасности”, и вот теперь “отечество трудящихся” подтверждает на деле верность своим обязательствам! И напротив, несчастный Леон Блюм, глава правительства Народного фронта, выглядит предателем собственных идей, в то время как на самом деле он сохраняет верность пацифизму французского общественного мнения и союзническим отношениям с Англией. Следуя так называемой политике “невмешательства”, он соглашается бесславно покинуть в беде Испанскую Республику и тщательно скрывать то небольшое, что он делает в ее поддержку. А ФКП, заняв позиции слева, дает ему уроки международной демократической солидарности! Нелепость всей этой ситуации, помимо того, что она обрекала на моральные терзания лидера французских левых, свидетельствовала о том, до какой степени идея антифашизма в своей обманчивой простоте действовала как политическая западня.

Ибо ни международная политика, ни испанская ситуация не укладывались целиком в схему противостояния между фашизмом и антифашизмом. Все более или менее понимали, что через испанские события угроза второй мировой войны надвигалась Европу. Но в ней участвовали не два, как казалось, а три действующих лица: Гитлер, Сталин и демократические страны. Английские руководители, решения которых доминировали и над французской внешней политикой, имели свои основания отказывать в поддержке Испанской Республике: как консерваторам, им не нравился революционный трезвон, доносившийся из Испании; кроме того, они не желали преждевременно втягиваться в конфликт с Гитлером. Своей помощью Испании Сталин подавал им пример, побуждая действовать так же (путем, хотя бы, отмены эмбарго), что привело бы на международной сцене к отступлению Германии. Но английские консерваторы, наоборот, совершенно не торопились выступить против Гитлера заодно со Сталиным, тем более, что в любом случае у них не было надежды увидеть в Мадриде установление либеральной республики.

С их точки зрения, разгром франкистов в Испании означал бы еще один шаг в продвижении коммунизма в Европе. Правительст-

во консерваторов имело все основания не принимать альтернативу фашизм/антифашизм; оно питало опасные иллюзии в отношении германского режима, но на коммунизм смотрело трезво-отрицательно. Английская политика невмешательства возникла на скрещении этих двух воззрений как осознанная невозможность сделать выбор в условиях, когда нет ясного решения, которое однозначно соответствовало бы национальным интересам. Однако, будучи распространена на Францию, она наталкивается здесь на идеи и обязательства, легшие в основу правительства Народного фронта. Всего несколько месяцев спустя после победы Леон Блюм своим присоединением к политике невмешательства расколол, по мнению коммунистов, антифашистское единство, приведшее его к власти. И очень скоро они заставят его это почувствовать.

С этого момента коммунисты будут без конца противопоставлять безупречную, с их точки зрения, позицию СССР и Коминтерна по отношению к Испании — трусливой и предательской, опять же с их точки зрения, политике западных демократий, обеспечивших, с помощью фиктивного эмбарго, победу Гитлера и Муссолини через посредство франкизма. С помощью такой интерпретации война в Испании стала знаковым событием 30-х годов: первым столкновением сил международного фашизма и сил борцов за свободу. Западные демократии не пожелали принять участие в этом поединке, и только Советский Союз выступил с открытым забралом, во всеоружии и под звуки труб. Из этого материала коммунистический антифашизм будет ковать свою историю и свою легенду.

Отдадим должное тому, что в этой мифологии является правдой. Невмешательство могло бы быть не только разумной, но и эффективной политикой, если бы ей следовали все. Но поскольку этого не было, невмешательство оказалось всего лишь прикрытием слабости или соглашательства по отношению к Франко и его иностранным покровителям. И здесь мы снова возвращаемся к истокам английской политики, которую питала ненависть к коммунизму, более сильная, чем недоверие к немецкому нацизму. Не то чтобы английские консерваторы были неправы в своем абсолютном неприятии коммунизма, но самое печальное в их позиции заключается в том, что они отвергали Сталина из мелочных соображений, в то время как другие поклонялись ему в порыве благородного ослепления. Ошибка консерваторов по отношению к Гитлеру состояла в том, что они позволили антикоммунизму определять их внешнюю политику. Диаметрально противоположную ошибку совершали западные демократы, которые становились на прокоммунистические позиции потому, что были антифашистами. Консер-

ваторы же склонялись (больше или меньше) в сторону фашистских держав потому, что были антикоммунистами. Поскольку они не были склонны к идеологическим спорам, то точнее будет сказать, что в своей политике они стремились показать Сталину, что не собираются ввязываться в конфликт с Гитлером, а Гитлеру — что его враг на Востоке. Они не могли решить, кто для них опаснее, и надеялись, что оба врага взаимно уничтожат друг друга. Такая позиция не была чужда и правым кругам в Париже, но Леон Блюм ее не разделял: равняясь на Лондон в политике невмешательства, глава правительства Народного фронта опирался — без радости, но и без особых колебаний — на пацифизм левых кругов. Как бы там ни было, несомненно одно: в течение трех долгих лет эта политика, одновременно лицемерная и опасная, была символом моральной слабости демократий перед лицом фашизма, чем в значительной мере и была обусловлена их политическая и военная капитуляция.

Однако этой печальной констатацией неблагоприятных причин политики невмешательства проблема не исчерпывается. Для этой политики были и другие, заслуживающие большего уважения причины, связанные одновременно и с природой испанской войны, и с двусмысленностью коммунистического антифашизма.

К тому времени, о котором идет речь, Испания уже на протяжении нескольких веков находилась на политической периферии Европы. Замкнутая в своем прошлом, эксцентрическая, склонная к насилию, она оставалась католической, аристократической и бедной страной, где накалялись революционные страсти против сохранившего силу “старого режима”. Монархия там была дискредитирована чередой плохих королей, армия внушала страх как орудие диктатуры, а представительная демократия не имела сильной поддержки. Само национальное единство находилось под вопросом: на многообразии национальных партий накладывался каталонский и баскский сепаратизм. Выборы в феврале 1936 года придали этой архаической и пестрой картине обманчивую видимость простоты, разделив всех, по образцу того, что происходило во Франции, на сторонников и противников Френте популар\*. Начиная с июля, гражданская война скрепит этот раскол жертвами бойцов и потоками пролитой крови, как если бы старая Испания, после столь долгого отсутствия, вернулась в центр европейской истории только для того, чтобы стать символом и ареной сражения между двумя идеологиями XX века. Вмешательство фашистских диктатур на стороне Франко закрепит это странное перенесение европейских страстей XX века в Испанию, страну, принадлежащую XIX веку<sup>55</sup>.

\* Народный фронт (исп.). — Прим. пер.

Ибо Испания 1936 года — это одна из тех европейских стран, которые труднее всего понять с помощью схемы фашизм/антифашизм. Июльское восстание — это был бунт армии, поддержанной католической церковью, монархистами, крупными землевладельцами и всеми сторонниками традиций. То, что в нем было собственно “фашистского”, было связано с остатками Фаланги Примо де Риверы и с его социальной программой<sup>56</sup>; однако это “левое” крыло франкизма будет быстро лишено влияния, так же, впрочем, как и легитимистское правое. Новая Фаланга, возникшая после успеха восстания, будет скорее спутником победы, чем ее ударной силой. Что касается Франко, то можно ли было представить себе менее харизматического вождя, менее способного тягаться с дуче или фюрером, чем этот генерал, ничуть не более известный, чем прочие его коллеги, хитрый олигарх, Людовик XI контрреволюции, совершенно не приспособленный к тому, чтобы увлечь за собой толпу? Гитлер и Муссолини не считали его своим, они просто воспользовались случаем распространить свое влияние на юг Европы и одновременно через Испанию прощупать решимость англо-французского союза. Франко останется вне мировой войны, что говорит об относительности его связей с фашизмом и неоднозначном влиянии его победы на международную ситуацию.

Теперь бросим взгляд на противоположный лагерь: сколько разнородных идей и сил было там под знаменем антифашизма! Во-первых, широкое движение испанских анархистов, представленное ФИА (Федерация иберийских анархистов), весьма влиятельной внутри НКТ (Национальная федерация труда); ФИА отвергала, как слишком консервативную, программу Народного фронта, хотя и предоставляла своим избирателям свободу поддерживать его своими голосами. По этой причине правительство, возникшее после выборов и руководимое правыми республиканцами и центристами, не имело влияния на социальное движение, развернувшееся, как и во Франции, сразу вслед за выборами. В еще большей степени, чем во Франции, простые рабочие и крестьяне стремились к социальному реваншу. Еще свежа была память об ужасных репрессиях при подавлении рабочего восстания в Астурии. Но, в отличие от Франции, правительство оказалось не в состоянии положить конец забастовкам рабочих и захвату земель крестьянами; начиналась социально-освободительная революция со смутным милленаристским оттенком, соответствовавшая духу испанского анархизма и подталкиваемая ВОТ (Всеобщее объединение трудящихся) — мощной профсоюзной организацией, возглавляемой левыми социалистами, которые не желали делить руководство рабочим движением с либеральными демократами. Маленькая коммунистическая партия, только что вышедшая из

сектантского периода “класс против класса”, старалась изо всех сил маневрировать между революцией и правительством Народно-го фронта, но не могла оказать влияния на развитие событий.

Тем не менее, военное восстание в июле, в соответствии с общей тенденцией европейских правых, обосновывалось необходимостью спасти Испанию от коммунизма, при том что в испанских условиях несуществующая коммунистическая угроза была лишь предлогом для контрреволюции классического типа. Однако военный мятеж только подстегнул подлинно народную революцию. В Испании разыгрывался конфликт, более давний, чем конфликт фашизма и антифашизма: это была борьба революции и контрреволюции.

В этих условиях новому республиканскому правительству, при всей его умеренности, для борьбы с военным мятежом не оставалось ничего другого, как опереться на народные силы — профсоюзы и партии. Других средств у него просто не было: ему не подчинялись ни армия, ни большая часть полиции, ни значительная часть администрации, — все они перешли на сторону мятежников. Волей-неволей ему пришлось предоставить свободу действий временному персоналу, исполненному решимости бороться с Франко и его приспешниками, но не отличавшемуся ни компетентностью, ни дисциплиной. Вооруженная милиция анархистов и революционных синдикалистов наводила порядок на улицах городов, сохранивших верность правительству, в то время как бесчисленные народные комитеты пытались наладить крестьянское самоуправление на землях, захваченных у крупных латифундистов. Аристократическая и буржуазная Испания старалась затаиться, но сердцем она была на стороне мятежников. Католической церкви почти повсюду приходится расплачиваться за свое сотрудничество со “старым режимом”. Власть правительства, возглавляемого профессором Хосе Хиралем, становилась чисто номинальной. Комитеты и милиция НКТ и ВОТ взяли в свои руки спасение республики именем революции.

Однако эта революция, доведенная военным мятежом до белого каления, была многолика. Анархисты, последователи Бакунина и революционного синдикализма, особенно влиятельные в Каталонии и Андалусии, стремились к обществу мелких, автономных и самоуправляющихся общин, которые затем могли бы вступить в федерацию на региональном и общенациональном уровне, чтобы обмениваться своим продуктом. Церкви следует закрыть, как символы обскурантизма. Вместо них будет введено всеобщее образование, залог возрождения людей в духе свободы и братства. Эта утопия, всплывшая из XIX века, никак не могла устроить ни социалистов, ни, тем более, коммунистов. Социалисты, как и по-

всюду, раздираемы противоречиями между правым крылом, тяготеющим к республиканскому центру, и левыми, посматривающими в сторону большевиков: старый реформист Ларго Кабальеро вообразил себя испанским Лениным, а социалистический Союз молодежи позволил втянуть себя в процесс слияния с коммунистическим Союзом молодежи. Испанская коммунистическая партия, еще слабая и малочисленная, действует по указаниям Москвы, как и другие секции Коммунистического Интернационала; она принадлежала к инициаторам Френте популар, разделила с ним победу в феврале 1934 и пылко выступает в защиту республики. К этой пестроте центробежных политических сил добавим еще статус автономий, предоставленный старым католическим и реакционным провинциям, таким, как Страна басков или Наварра, и непредсказуемость поведения Каталонии: здесь средняя и мелкая буржуазия, как в городе, так и в деревне, чувствует себя ущемленной между анархическим разгулом и централизмом мадридской администрации.

Если рассмотреть возможное развитие событий после первых недель июля 1936 года, то приходишь к выводу, что, в случае победы республиканских сил, за первой гражданской войной неизбежно последовала бы вторая, которой надлежало бы решить, кто же будет окончательным победителем: анархисты, троцкисты, социалисты, коммунисты, или же автономисты различных мастей? В момент, когда военный мятеж привел к открытому расколу республиканского лагеря, национальный кризис обнаружил существование нескольких Испаний, возникших в результате противоречий, копившихся из поколения в поколение. При кажущейся простоте деления на два лагеря (сабля и кадило с одной стороны, рабочий и крестьянин — с другой), повсюду идет дробление структур, возникают временные центры власти, держащиеся силой оружия и сопровождаемые чередой насилий и убийств. Всей этой пестрой картине мелких революционных и контрреволюционных республик ссылки на фашизм и антифашизм придадут хотя бы видимость единства.

Испанской контрреволюции знамя “фашизма” дает ощущение современности и надежду на победу. Испанской революции знамя антифашизма дает, насколько это возможно, чувство единства. Тем не менее, первая опирается прежде всего на армию и католическую церковь, а вторая включает в себя множество разнородных элементов, объединяемых, а скорее — разъединяемых революционными амбициями. Летом 1936 года, благодаря вмешательству Гитлера и Муссолини, с одной стороны, и интербригад, мобилизованных Коминтерном, — с другой, гражданская война в Испании начинает говорить на языке двух тоталитарных идеологий.

Здесь разыгрывается главная политическая ставка Советского Союза и Коминтерна в соответствии с новой стратегией антифашистской борьбы.

Чего хочет Сталин? Его главная забота — избежать изоляции, сделать так, чтобы Советскому Союзу не пришлось в одиночку встречать агрессию гитлеровской Германии. Договор, заключенный с Францией годом раньше, не может служить гарантией, так как в нем нет военных статей. С французской стороны он вызван соображениями внутренней политики, с советской же — служит не столько обязательством по отношению к Франции, сколько предупреждением для Гитлера. Сталин тем легче разгадал игру английских консерваторов и определенной части французских правых, что сам он питал аналогичные замыслы, хотя и с противоположным знаком: он хотел направить гитлеровский удар на запад. Война в Испании предоставляет для этого удобный случай: если придать ей международный характер, то можно будет заставить фашистские государства увязнуть на крайнем западе Европы, с хорошими шансами вовлечь в конфликт Францию, где у власти находятся левые силы. Но для этого нужно, чтобы война затянулась и Республика получала бы дополнительную помощь в своей борьбе. Если Франко победит, то образуется новый очаг противостояния между фашизмом и антифашизмом, достаточно удаленный от СССР и не представляющий для него особой опасности. Если Франко проиграет, то оставит после себя обескровленную Испанскую республику, которая станет сателлитом СССР и при случае — разменной монетой. В обоих вариантах Испании можно использовать, при небольших затратах, как витрину антифашистской борьбы и как зашифрованное послание Гитлеру.

С одной стороны, Сталин присоединяется в августе к пакту о невмешательстве, чтобы не отрываться от международного сообщества и в особенности от стран Запада. Но с другой стороны, он соблюдает этот пакт не больше, чем Германия или Италия, которые уже с начала августа приступили к поставкам оружия и самолетов, что имело решающее значение для первоначальных успехов мятежников. Сталин, прежде чем посылать оружие, стал посылать людей — политиков больше, чем военных. Как раз в тот момент, когда в Москве проходит первый процесс старых большевиков, на котором приговариваются к смерти Каменев и Зиновьев, многочисленная советская миссия прибывает в Испанскую Республику, в Барселону и Мадрид.

Советская интервенция в Испании преследовала двойную цель, военную и политическую. В военном отношении речь шла о том, чтобы остановить продвижение мятежной армии, уже захватившей северо-запад страны и Андалусию. Советский Союз поставил —

точнее, продал в обмен на испанский золотой запас — оружие, самолеты, танки, вступившие в бой в октябре. Коминтерн сформировал интернациональные бригады. В ноябре колонны франкистов были остановлены под Мадридом. Развернувшиеся зимой 1936—1937 года ожесточенные бои вокруг Мадрида свидетельствуют о равенстве сил и обещают долгую войну.

И тут становится ясно, какую плату требует Сталин за свою помощь республике: его люди должны получить преимущественное право на руководство страной. Эта сторона испанских событий долгое время была табу, во многом она таковой и остается до настоящего времени. Многочисленные свидетельства и исследования на эту тему<sup>57</sup> замалчиваются: ведь они рискуют подмочить репутацию коммунистического антифашизма. В действительности помощь Испании со стороны Сталина и Коминтерна сопровождалась возрастающим контролем за политикой республиканского правительства. С октября 1936 года советский и коминтерновский персонал обосновался повсюду, явно и тайно, под видом различных учреждений: посольства, НКВД, военных и гражданских советников, добровольцев, исполнявших секретные поручения. Интернациональные бригады находились под командованием проверенных коминтерновцев. Испанская коммунистическая партия из совсем маленькой стала значительной, благодаря поддержке, оказанной республике со стороны Москвы. При таких обстоятельствах слабый Хираль, которого волны революции бросали то туда, то сюда, уступил свое место главы правительства старому социалисту Ларго Кабальеро, ораторское искусство которого нравилось испанской публике. Кабальеро удалось восстановить минимальное согласие внутри правительства, но коммунисты были недовольны его недостаточной покорностью, в особенности его сопротивлением слиянию социалистической и коммунистической партий. Такое слияние в дальнейшем станет излюбленным приемом Коминтерна, но первая попытка закончилась неудачей. С этого момента судьба Кабальеро была решена.

Коммунистическая стратегия складывается из двух моментов, по видимости противоречивых, в действительности взаимодополняющих. Она состоит из призывов к самому широкому единству всех республиканцев, от революционных рабочих до либеральных буржуа. Отсюда вытекает требование сильного центрального правительства, проводящего сильную военную и умеренную социальную политику в интересах классового единства: здесь мы видим, какая дистанция отделяет коммунистов от анархистов всех оттенков, и прежде всего — от непримиримых ревнителей рабочего и крестьянского самоуправления, от сторонников передачи земельных владений объединениям местных жителей, не говоря уже о

поджигателях церквей. Но еще больше испанская коммунистическая партия ненавидела революционные крайности бывших товарищей по партии, разочаровавшихся в коммунизме, но сохранивших бунтарский дух. Речь идет о членах ПОУМ (Пролетарская партия марксистского единства), которая возникла в сентябре 1935 года от слияния двух отколовшихся от коммунизма групп, среди которых были даже бывшие последователи Троцкого<sup>58</sup>. Нелегкая встреча для посланцев Сталина в момент первого московского процесса!

Осуждение левацких загибов им было еще нетрудно мотивировать необходимостью единства всех республиканцев: это было требование момента. Но в их позиции была и еще одна, скрытая, сторона: установление контроля над республикой, которую они приехали защищать. Две книги Б. Боллотен дают детальное представление о том, как происходило проникновение коммунистов и представителей СССР в правительственный аппарат испанской республики начиная с осени 1936 года. В Испании существовало советское правительство в миниатюре во главе с работником НКВД Орловым<sup>59</sup>, который получал инструкции непосредственно от Сталина и Ежова и имел в своем распоряжении широкую сеть подсобных учреждений, сотрудников и добровольных пособников; франко-английское невмешательство сделало Сталина монополистом и предоставило ему возможность шантажировать республиканское правительство предоставляемой военной помощью, под прикрытием которой происходило постепенное превращение Испании в советского сателлита.

Все в этой операции носило печать сталинского стиля: грубость и осторожность одновременно. Он не идет на риск открытого вмешательства, как это сделал Муссолини. Советское оружие в Испанию доставляют секретные службы в обмен на золото. Формирование интернациональных бригад — дело Коминтерна. Многие русские советники отправляются в Испанию, но в окопах их не видно: свои задания они выполняют тайно. Окружив испанских руководителей своими людьми, подчинив их себе, Сталин диктует им свою волю. В ноябре встает вопрос о назначении главнокомандующего республиканской армией. Им станет генерал Берзин, один из руководителей советской военной миссии, прикрывающийся фигурой генерала Хосе Мьяха, слабого, тщеславного, не очень левого и тем легче поддающегося манипулированию. Надо создать ополчение для защиты Мадрида, когда бои идут уже в университетском городке? Этим будет заниматься Кольцов, корреспондент “Правды”, опираясь на организации социалистической и коммунистической молодежи. В мае 1937 года замена премьер-министра Кабальеро на Хуана Негрина в очень большой степени —

результат советской интриги: русские предпочли видеть на этом посту не старого и не всегда послушного лидера социалистической левой, а блестящего университетского профессора, принадлежащего к правым социалистам, более покладистого и менее антикоммунистически настроенного, чем лидер его группы, Индалесьо Прието, который по логике вещей и должен был бы занять пост премьера.

Самый характерный пример советского хозяйничанья в Испании — развязанные по приказу Москвы репрессии против революционных левых некоммунистической ориентации; эти события произошли в Каталонии весной 1937 года, незадолго до вступления Негрина в должность премьер-министра. О “майских днях” в Барселоне рассказал Оруэлл в своей книге “Привет Каталонии”<sup>61</sup>: развязанные при попытке коммунистов отбить у анархистов центральную телефонную станцию, эти события стали могилой для испанской революции. Начиная с 3 мая рабочая часть города покрылась баррикадами, в то время как каталонское правительство при поддержке левых республиканцев и коммунистов кое-как удерживало буржуазные кварталы. Начавшееся восстание выходит из-под контроля НКТ и ФИА, пытавшихся найти политическое решение, главенствующую роль начинают играть молодежные анархические группы, ПОУМ, троцкисты и “Друзья Дуррути”<sup>62</sup>, которые призывают к роспуску законных властей и к созыву каталонского Конституционного собрания на базе представительства от местных комитетов. Острота кризиса смягчается 5 мая благодаря сформированию нового каталонского правительства, из которого устранился прежний министр внутренних дел, поддержавший атаку на телефонный узел, а на его место назначается другой, такой же ориентации. 6 и 7 мая войска, прибывшие в Барселону из Валенсии, кладут конец столкновениям: победа остается за республиканской буржуазией и каталонскими коммунистами, что ведет также к отступлению местного автономизма.

Вопрос, остававшийся открытым со времени победы Народно-го фронта в феврале 1936 года, был решен весной 1937: Маркс одержал верх над Бакуниным, “социализм”, в самом широком смысле, — над анархизмом. Однако за время, прошедшее между февралем 1936 и маем 1937, этот “социализм” принял отчетливо коммунистический оттенок. Его растущее влияние на умеренное общественное мнение было связано с тем, что он выступал за подчинение всех задач главной цели — победе над Франко, в то время как анархисты, ставя во главу угла свержение существующих властей, делали проблематичным само существование государства и ведение им военных действий. Однако ссылки на общественные интересы, к которым охотно прибегал коммуно-социализм, были

всего лишь официальным прикрытием для иных побудительных мотивов. Испанские коммунисты, усилившиеся за счет советской помощи республике, сами были проводниками советского влияния, помогая советским назначенцам занимать ключевые посты управления. Русская помощь соизмерялась с тем, насколько беспрекословно испанские руководители следовали “советам” московских ставленников.

Самый поразительный факт — создание репрессивного аппарата, непосредственно управлявшегося советскими службами, обладавшего собственными процедурами, агентами, тюрьмами и совершенно независимого от испанского правительства. Методы, которыми проводилась ликвидация ПОУМ после майских дней в Барселоне, носили фирменную печать: обвинения в “гитлеротроцкизме”, особо свирепая ненависть к крайне левым, фабрикация фальшивок, выбивание признаний с помощью пыток, убийства. В то время как в Москве шел процесс над Тухачевским, Орлов, обладавший в Испании собственными тюрьмами, действовал в точности как Ежов. Пример тому — убийство Андреса Нина, бывшего большевика, затем секретаря Троцкого, затем основателя испанской “Коммунистической левой”, наконец одного из лидеров ПОУМ: такой послужной список не мог не привлечь к нему внимания сталинских убийц и заплечных дел мастеров. Среди жестокостей испанской гражданской войны, их злодейства отличались стремлением построить свои жертвы в одну колонну с подсудимыми московских процессов: ПОУМ именовалась организацией троцкистов, а значит — гитлеровцев, а значит — франкистов.

Во многих отношениях испанский эксперимент имел для Сталина больше политическое, чем военное значение. Много писали о том, что война в Испании была лабораторией грядущей мировой войны: и с той и с другой стороны там испытывали оружие, танки, самолеты. Все так. Однако решающее военное изобретение Гитлера, блицкриг посредством броски танковых армий, было испытано только в сентябре 1939 года на польской равнине. Зато с советской стороны была опробована политическая техника установления “народной демократии, которая затем проявит себя во всем блеске в странах центральной и восточной Европы после 1945 года. Даже теория уже была готова: мол, демократическая Испанская Республика, защиту которой от фашизма коммунисты провозгласили своим священным долгом, — это республика “нового типа”, обладающая небывалым социальным содержанием; правда, она еще не пролетарская, но корни буржуазного господства в ней уже подорваны, и скоро оно исчезнет совсем<sup>62</sup>. Эта по-византийски хитроумная теория утверждает сразу две взаимоисключающие вещи: что коммунистический антифашизм защищает буржуазную демокра-

тию и одновременно стремится ее упразднить. Однако коммунистический язык, как это нередко с ним бывает, выдает то, что хотел бы скрыть: что “последовательный” антифашизм должен привести к политическому доминированию коммунистов. Вот почему я не согласен с Хьюгом Томасом<sup>63</sup>, когда он утверждает, что, начиная с разгрома анархистов в мае 1937 года и образованием правительства Негрина, в Испании оказались лицом к лицу “две контрреволюции”: с одной стороны, Франко, с другой — испанская компартия, поддержанная новым премьер-министром. Компартия действительно разгромила революцию в Барселоне, но лишь для того, чтобы вместо нее осуществить собственную.

У них не было такой решающей поддержки, какой будут обладать их румынские, польские, венгерские коллеги в послевоенные годы, — нет присутствия Красной Армии. И это — еще один мотив для того, чтобы проникать в полицию, военную разведку, захватывать командные посты в военном министерстве и военное руководство на местах. Они действительно были на острие “антифашистской” борьбы. Но своим участием в ней они ее ослабляли и раскалывали, ибо стремились к своим, особым целям, постоянно политически шельмуя и физически уничтожая в собственном лагере тех, кто был с ними не согласен. Весной 1938 года, когда коммунисты были на вершине своего влияния при втором кабинете Негрина, военная ситуация была неплохой: республиканские армии успешно защищали Валенсию и перешли в наступление на Эбре. Но коммунистический диктат, быть может и эффективный в организации армии, в конце концов сломал политическую пружину испанского антифашизма. В тот момент, когда коммунистам удалось наконец изгнать из военного министерства их старого противника Прието, обнаружилось, что политическая сцена, на которой они добились господства, заполнена призраками: они убили народную революцию, уничтожили ПОУМ, сломили каталонскую автономию, отстранили левое и правое крыло социалистической партии, возглавлявшиеся Кабальеро и Прието, подчинили своему диктату Азанья<sup>64</sup> и Негрина; испанская Республика в результате утратила свой запал. Форма правления, которую она создала для борьбы с Франко, была не столько республиканской, сколько предтоталитарной. “Я уже давно повторяю, — писал дочери социалистический лидер Луис Аракистайн, — что в случае поражения, как и в случае победы республики, независимые социалисты будут вынуждены покинуть страну. В первом случае нас будет убивать Франко, во втором — коммунисты”<sup>65</sup>.

Эта констатация не снимает с Англии и Франции вину за политику “невмешательства”, отражавшую их полную пассивность. Напротив: закрывая глаза на итальянское и немецкое вмешатель-

ство, оставляя республиканскую Испанию в полной зависимости от Сталина в поставках оружия, западные демократииотяжелили положение Кабальеро и Негрина перед лицом советского шантажа. Я целиком присоединяюсь к суровому осуждению пассивности Англии и Франции по отношению к Гитлеру, даже если эта пассивность во многом определялась настроением общественного мнения. “Невмешательство” Лондона и Парижа в испанские события непосредственно следовало за трусливым отступлением 7 марта 1936 года и предвещало мюнхенский сговор.

Однако из этого осуждения не следует, будто Лондон и Париж были неправы, отказываясь подчиниться той логике антифашистской борьбы, которую им навязывала Москва. Но одно дело — соизмерить масштабы угрозы с той и с другой стороны, а совсем другое — поддаться наваждению идеологии. Вина правительств Лондона и Парижа была не в том, что они не доверяли Сталину, а в том, что затеяли опасную игру с Гитлером, пытаясь натравить его на Сталина; но хитрый грузин вел такую же двойную игру. Можно спорить до бесконечности, что ему было более ненавистно: национал-социализм или западные демократии. Несомненно одно: на удочку пацифистской болтовни его было не поймать. Он понимал все более ясно, что война приближается, и его преследовала мысль о том, как избежать изоляции СССР. Однако возможность войны между империалистическими державами по-прежнему оставалась для коммунистов азбучной истиной.

Из Москвы тоже посматривают в сторону Берлина. Советский разведчик Кривицкий, бывший резидентом в Голландии и курировавший всю западную Европу, остался на Западе в 1937 году; в своих мемуарах<sup>66</sup> он утверждает, что Сталин, уже с 1934 года, в действительности искал соглашения с Гитлером: его сближение с Францией, потом с государствами восточной Европы были лишь обходным маневром для достижения этой цели. Действительно, в феврале 1937 года некий советский эмиссар пытался прощупать почву в Берлине, но вернулся с пустыми руками<sup>67</sup>. В общем, самое меньшее, что можно сказать, это что Сталин делал ставку сразу на две карты; впрочем, он и сам этого не скрывал, начиная с 1934 года, а после Мюнхена стал говорить об этом открыто. Он прекрасно знал, что политическая жизнь Европы включала в себя три полюса, а не два, как предполагала логика антифашизма. Сложность состояла в том, что три полюса, взятые попарно, образуют три антагонистические пары, и потому никакой настоящий союз становится невозможен.

Война в Испании это подтвердила. Англия, поддержанная Францией, не захотела даже мизинцем пошевелить для разрешения этого революционного кризиса, не говоря уже о том, чтобы

идти на риск войны с Гитлером. Но и Сталин, со своей стороны, принял все необходимые меры, чтобы не вступить в крупный конфликт с немецким диктатором. Если верить Кривицкому, Сталин хотел дать понять Гитлеру, что он — партнер, с которым следует считаться. По другой гипотезе, он хотел втянуть Англию и Францию в длительный военный конфликт, который, разворачиваясь вдали от советских границ, но под советским контролем, оттянул бы на себя взрывоопасные элементы европейской ситуации. Хьюг Томас пишет: "...Он [Сталин] не позволил бы Республике потерпеть поражение, хотя помощь, которую он ей оказывал, не обязательно должна была привести к ее победе. Развертывание войны позволяло ему действовать как в одном, так и в другом направлении. Не исключен был и такой вариант, при котором Франция, Великобритания, Германия и Италия оказались бы втянуты в общеевропейскую войну, в то время как Россия, оставшись вне конфликта, играла бы роль арбитра"<sup>68</sup>. Так, при любом сценарии, политический контроль над Испанией становился козырем в советской игре.

Однако история пошла иначе; она отодвинула гражданскую войну в Испании на второй план международных событий. В 1938 году европейский кризис переместился от Испании к Австрии, потом к Судетам. Гитлер затеял более значительные маневры, чем военная помощь Франко; он подумывает о том, чтобы вернуть на родину легион "Кондор" (чего, в конечном счете, он не сделает). Англичане ведут переговоры с итальянцами. Французы тоже, поскольку союз с итальянцами, ставший весьма затруднительным после интервенции Муссолини в Испании, — это старая идея Кэ д'Орсэ. Сталин следит за угрозами Гитлера в центральной Европе и собирается ограничить свое участие в испанских событиях. В самой Испании Негрин делает Франко авансы — впрочем, безответные — в надежде заключить компромиссный мир, после чего республиканская армия начинает ожесточенное сражение на Эбре, достигающее своей кульминации как раз в момент Судетского кризиса, в сентябре 1938 года. Франко-английская капитуляция в Мюнхене подталкивает Сталина к соглашению с Гитлером, — возможность, которую он никогда для себя не исключал, и это — еще одна причина для того, чтобы уменьшить советское присутствие в Испании, символом чего становится вывод оттуда интернациональных бригад осенью.

С этого момента испанская трагедия отходит на второй план по сравнению с другими европейскими делами; вскоре ей предстоит прийти к своему завершению. Лишившись революционного стимула и собственного языка, опустошенная зверствами с той и с другой стороны, республика, возглавляемая Азаньей и Негрином,

сохраняет теперь единственную надежду: что начавшаяся мировая война поможет ей, наконец, обрести союзников в лице Англии и Франции. Дождаться этого момента ей было не суждено<sup>69</sup>. Но эта разгромленная республика стала легендой.

Память о ней остается последним достоянием для тех, кто потерял все, кроме чести, — чести участия в справедливой борьбе: ведь начиная с июля 1936 года Испанская Республика воплощала ценности демократии, в то время как Франко так ничего и не смог ей противопоставить в плане символики. В республиканском лагере, как мы видели, присутствовал, сменяясь во времени, весь спектр европейского революционного романтизма: Бакунин, Маркс, Сорель, Ленин, кое-кто из социальных мечтаний 1848 года плюс риторика испанских левых. Этой яркой, но раздробленной картине мятеж генерала Франко придал видимость единства: республиканский лагерь стал символом демократии, которой грозит военная диктатура.

В генерале-националисте не было ничего, что составляло в то время обаяние фашизма: он представлял олигархический и обращенный в прошлое вариант диктатуры. Хосе Примо де Ривера был харизматическим вождем, а первая Фаланга — идеологической милицией. Франко — традиционный военный, а его вторая Фаланга — партия порядка. Диктатура, вышедшая победительницей из гражданской войны, более походила на реакционную автократию, опирающуюся на церковь и помещиков, чем на тоталитарную власть, опирающуюся на народные массы под знаменем социального национализма. Поэтому, будучи столь же преддемократической, сколь и антидемократической, она оказалась очень уязвимой для своих противников.

Ее лозунги слишком хорошо знакомы, чтобы кого-либо ввести в заблуждение и заставить поверить, будто ее единственный враг — коммунизм. Дав возможность воспрянуть контрреволюции справа, франкистская диктатура, антисовременная по духу, воспринималась как угроза для всех либералов; при этом она не обладала способностью, подобно фашистским движениям, привлечь к себе всех, кто был разочарован в демократии или в социализме. Особая жестокость франкизма была связана с тем, что он стремился не столько осуществить общественные чаяния, сколько навести моральный порядок. Конечно, в противоположном лагере — и среди анархистов, и среди коммунистов — тоже не проявляли милосердия и лили кровь почем зря. Но франкистские войска бомбили и убивали именем Бога и Вечной Испании, в защиту религии и собственности. В XX веке они сочетали католическое средневековье с социальной паникой буржуа XIX века. А раз так, то их зверства пробуждали ответную враждебность, гораздо

более древнюю, чем антифашизм: общественное мнение таких стран протестантской традиции, как Англия или США, видели во франкизме призрак инквизиции. Во Франции часть католической интеллигенции, олицетворяемая фигурами Мориака и Бернаноса, с ужасом наблюдала, как ее вера идет в услужение к франкизму.

Остается определить место Коминтерна в идеологическом оркестре, сопровождавшем испанскую гражданскую войну: это место было чрезвычайно значительным, особенно если учесть, что Мюнценберг был в эту эпоху на вершине своего мастерства<sup>70</sup>, а события предоставляют ему почти невероятные возможности. Где, как не в Испании, можно доказать тождество между антифашизмом и демократией? Муссолини и Гитлер кинулись помогать Франко, чтобы заменить республику диктатурой: тем самым советское вмешательство почти автоматически получало свидетельство о благородстве намерений. Маленький городок Герника, с незапамятных времен служивший центром баскского свободолюбия, был разрушен немецкой бомбардировкой 26 апреля 1937 года: это событие приобретает символическое значение. Первое в современной истории уничтожение с воздуха целого города становится символом варварства международного фашизма, а следовательно, — подтверждением необходимости международной антифашистской солидарности. Через войну в Испании Советский Союз, казалось, наполнил интернационализм универсальным содержанием.

Легенда об испанской войне, в том виде, как она перешла к грядущим поколениям, состоит наполовину из правды и наполовину из лжи. Антифашизм был знаменем испанской революции и в июле 1936 года, но год спустя стал ее саваном. Из букета демократических и свободолюбивых страстей он превратился в скопление сухих догм и полицейских репрессий. Под предлогом организации он удушил республиканскую энергию и погубил республику, которую взялся защищать. Но все это делалось под покровом тайны; виновные так и не были названы, якобы для того, чтобы не подрывать единства рядов. Оруэлл, сражавшийся в боевых отрядах ПОУМ, заявил, сразу по возвращении в Англию, что испанская война “дала самый обильный урожай лжи после Большой войны 1914—1918 годов”<sup>71</sup>. Оруэлл знал, что говорил. В нашем веке он был одним из немногих ангажированных интеллигентов, способных видеть и отдавать реальности предпочтении перед абстракциями<sup>72</sup>. Он присоединился к ополченцам ПОУМ, следуя рекомендациям маленькой свободолюбивой партии, членом которой он был в Англии, — Независимой лейбористской партии. Он мог бы с таким же успехом, а в то время, возможно, и с большим желанием, завербоваться в коммунистическую бригаду. До того как получить ранение на Арагонском фронте, ему довелось стать свидетелем

коммунистического террора против анархистов и поумовцев в Барселоне, весной 1937 года, — и это открыло ему глаза. По выходе из госпиталя он сам вынужден был скрываться, пока ему не удалось перебраться во Францию. Единственный из иностранных участников войны, среди всеобщего молчания левой прессы, он решился рассказать о том, что видел. Шесть месяцев спустя после своей июльской статьи 1937 года он уточняет: “Большое количество людей заявило мне более или менее откровенно, что не следовало говорить правду о том, что происходило в Испании и какую роль сыграла там партия коммунистов; что это могло бы настроить общественное мнение против испанского правительства и тем сыграть на руку Франко”<sup>73</sup>.

С этого момента и на протяжении всего века завеса лжи окутывала историю войны в Испании.

Из сказанного не следует, будто антифашизм, даже в своей коммунистической форме, не мог включать в себя, в том числе у коммунистов и работников аппарата, стремления к свободе. Дело обстояло как раз наоборот: интернациональные бригады сражались под лозунгом свободы и в сознании бойцов не было двуличия. Кто хочет убедиться, какой энтузиазм вызывали испанские события везде, вплоть до аппарата Коминтерна, могут почитать воспоминания участников, написанные уже после того, как они освободились от коммунизма<sup>74</sup>. Например, немецкий писатель Густав Реглер, бежавший в интернациональные бригады из Москвы, где свирепствовала Лубянка и шел процесс Каменева, заявил: “Пока будут на свете фашисты, мы все останемся испанцами”<sup>75</sup>.

Испанская война и энтузиазм ее участников несколько не изменили реальную политику коммунистов. Зато они создали новую благодатную почву для иллюзий относительно международной солидарности в борьбе с фашизмом. Даже тем, кто разочаровался в коммунизме, останется слава участия в справедливом сражении против Франко. Так что многие из них, веря, что их дело было правым хотя бы наполовину, сочтут возможным закрыть глаза на вторую половину. Так запрет на правду об испанской войне, сознательно удерживаемый сталинской историографией, смог найти поддержку в воспоминаниях участников. Что касается тех, кто решится нарушить молчание — будь то анархисты, старые большевики-диссиденты, жертвы репрессий 1937—1938 годов или коминтерновцы, прозревшие в Испании, — им всем, чтобы сказать правду о действиях Москвы, придется не только бросить тень на собственную историю, но и подтвердить тезисы врага. Коммунистический антифашизм подчиняется логике войны: его единство замешано не только на классовой борьбе, но и на пролитой крови.

Мальро, как всегда, выразил и правду, и мифологию испанских событий, не пытаясь отделить одно от другого. Он сразу же понял, какой груз истории ляжет на этот локальный конфликт, завязавшийся на периферии европейского мира. Почти двадцать лет спустя после русских Советов, зародившихся на восточной оконечности Европы, испанское рабочее движение вновь зажгло огонь революции на западном краю континента. Но большевикам было достаточно перепрыгнуть из войны в коммунистическую диктатуру, чтобы изгладить из воображения народов память о русской отсталости, а Испанской Республике было не так-то просто стать новым воплощением революции, поскольку эта революция не соответствовала советской модели. Вот тут-то и подоспел мятеж реакционного генерала Франко, поддержанный агрессией Гитлера и Муссолини: имея против себя таких врагов, как фашизм и контрреволюция, дело защиты Испанской Республики приобрело универсальное значение.

Таким образом Испания оказалась — на какое-то время, во всяком случае, — в центре мировых событий. Война, начавшаяся в июле 1936 года, сконцентрировала и упростила политические страсти века. Она героизировала их ратными делами и укрупнила посредством антифашизма до общеевропейских масштабов. Она, наконец, свела их сложность к двум лагерям: к фашистам и антифашистам. Мальро догадывался об искусственности такой дихотомии, работавшей на советские интересы, но он поддерживал ее во имя военной целесообразности. Во время начала испанской войны, в которой он участвовал в качестве командира эскадрильи летчиков-добровольцев, Мальро все еще переживал период увлечения коммунизмом; но глубинный порыв темперамента побуждал его славить человеческую волю, восставшую против трагизма истории. Из этого временного равновесия возникнет одна из самых характерных книг эпохи — “Надежда”, антифашистский роман, написанный в пессимистическом ключе.

Очарование книги состоит в том, что она соединяет рабство военной службы со свободой демократии. Действие происходит в начале войны, между 19 июля и победоносной защитой Мадрида в конце того же 1936 года. Это было самое легендарное время, наполненное революционным воодушевлением в ответ на военный мятеж, героической сумятицей первых шагов, формированием гражданского ополчения, время, осененной кратким благословением эфемерной победы. Французская революция просуществовала три года, прежде чем вступить в войну против монархической Европы. Испанская революция родилась почти одновременно с войной: период между победой на выборах в феврале и франкистским мятежом в июле можно рассматривать как краткое предисло-

вие. Революция будет жить по законам армии, в то время как по духу своему она враждебна всякой власти. Вот в таком разорванном виде она станет главным персонажем “Надежды”, воплотившись в бойцов международной эскадрильи и наспех сколоченных батальонов, сражающихся между Толедо и Мадридом.

Главным достоинством испанской революции, привлечшим к ней солидарность народов, была не ее революционность, а множественность составлявших ее идей и устремлений. Мальро позволил высказаться этому многообразию идей, усилив их живостью своего ума и мощью таланта: благодаря ему век политического мессианства обрел своих героев. Однако единственная мудрость, которую автор может извлечь из их диалогов, не нова: это утверждение практической необходимости действовать. “Коммунисты, — говорит Гарсиа Эрнандесу перед осажденным Алькасаром, — хотят что-то сделать. Вы, анархисты, по другим причинам, хотите чем-то быть... В этом драма такой революции. Мы живем противоречивыми мифами: пацифизм и необходимость защищаться, организация и христианские мифы, эффективность и справедливость, и так далее. Мы должны привести их в порядок, превратить наш Апокалипсис в армию — или подохнуть. Вот и все”<sup>76</sup>. Или еще, чуть дальше: “Действие можно мыслить только в терминах действия”.

Однако Мальро хорошо знает, что в XX веке этот макиавеллиевский рецепт мало чего стоит, если он не поддержан авторитетом яркой идеи или эмоциональной вспышкой великой цели. Может ли антифашизм, простое отрицание, стать такой идеей и такой целью? Этот вопрос прядает роману пессимистическое вибрато, не являющееся простым литературным приемом. Мальро не дает какого-либо философского или политического ответа. Ему достаточно того, что война за республику содержит в себе принуждение к братству сражающихся. Достаточно, что она заставляет их подняться над собой в порыве благородных страстей и бескорыстной отваги. Мальро придумывает героев, которые разговаривают в несколько “взвинченном” тоне, но его “психологические репортажи” убеждают: на страницах его романа мы встречаем такое количество простых людей, испанцев и иностранных добровольцев, которым гражданская война позволила обрести давно забытые либо обесценившиеся чувства. Европейским левым, глубоко травмированным воспоминаниями 1914—1918 годов, “Надежда” доказывает, что в республиканской Испании существовала моральная война и демократический героизм.

Антифашизм Мальро — это не революционная философия. Это — знамя, под которым происходит примирение народов с войной, божеством нынешнего века. Среди интернациональных

бригад, которые он обессмертил своей кистью художника-баталиста, он отдает предпочтение коммунистическим формированиям; он прославляет авангард братской армии, помогая изгладить из памяти братоубийственную бойню 1914 года:

“Маньин подошел к окну: еще в гражданской одежде, но уже обутые в военные сапоги, с упрямыми лицами коммунистов или длинными волосами интеллигентов, старые поляки с усами, как у Ницше, и молодые с физиономиями, как у героев советских фильмов, немцы с бритыми головами, алжирцы, итальянцы, похожие на испанцев, затесавшихся в ряды иностранцев, англичане, самые живописные из всех, французы, похожие на Мориса Тореза или на Мориса Шевалье, все подтянутые, но не так, как старательные мадридские подростки, а как люди, помнящие армию и войну, которую они вели друг против друга, эти члены интербригад печатали шаг по узкой улице, звучной, как коридор. Они приблизились к казармам и запели: впервые в мире люди всех наций, соединившиеся в боевой отряд, пели *Интернационал*”<sup>77</sup>.

Антифашизм Мальро образца 1936 года будет разбит германо-советским пактом, но писатель скует себе новый, менее хрупкий щит в виде позднего голлизма. Оруэлл, печальный хранитель истины даже ценой отказа от действия, останется одиноким обличителем лживости войны, присыпанной на этот раз цветами победы.

# *Глава восьмая*

## Антифашистская культура

Приход Гитлера к власти и антифашистский поворот в политике Коминтерна глубоко изменили соотношение политических сил в Европе. Жестокости нацистов и принятая Москвой стратегия Народного фронта поляризовали левые и правые силы относительно двух полюсов: фашизма и коммунизма. Это был важнейший период в современной политической истории, ибо он надолго откристаллизовал чувства и идеи. Удобнее всего это наблюдать во Франции благодаря как ее традициям, так и ее слабостям. В XIX веке она была лабораторией, в которой вырабатывалась демократическая политика; такую же роль она продолжала играть и в XX веке. Находясь во власти своих воспоминаний, которым большевики придали дополнительную актуальность, Франция не упускает возможность вернуться к своему историческому прошлому и корпусу идей 1789—1793 годов. Но она уже не является самой сильной европейской державой, хотя она и питала такую иллюзию в 1918 году благодаря победе своих армий. Однако ее народ устал, буржуазия напугана, политическая жизнь убога, а дипломатия несамостоятельна. Несомненно, именно поэтому во Франции особенно ясно проявилась тенденция (вообще характерная для этого времени) к интернационализации внутренней политики. Конечно, она не пала настолько низко, чтобы превратиться в поле для конфронтации коммунистов и фашистов: левая в своем большинстве здесь не является коммунистической, а правая включает лишь небольшое число настоящих фашистов. Но левые объединились, наконец, в Народный фронт, возникший по инициативе коммунистов, а правые сплотились на основе общей симпатии если не к фашизму, то, во всяком случае, — к антикоммунизму фа-

шистских режимов. Борьба демократических партий за власть приблизилась, таким образом, к двум антидемократическим центрам, которые усиливали друг друга своим противостоянием.

Такой оборот французской ситуации сопровождался, по моему мнению, еще одним явлением: в политических спорах начинают преобладать интеллектуальные аспекты. Я не собираюсь в этой книге уделять особое внимание влиянию коммунизма на тех, чья профессия состоит в том, чтобы размышлять и писать<sup>1</sup>. Моя цель более обширна: она состоит в том, чтобы обрисовать сложившуюся в общественном мнении мифологию Советского Союза и коммунизма. Однако в тот момент истории, которого мы сейчас достигли, — когда большевизм обрел вторую молодость и добился первых успехов на внешнеполитическом поприще, — имеет смысл обратить особое внимание на интеллектуалов. Это позволит нам детально проанализировать ту путаницу идей и представлений, на которую опиралась новая расстановка политических сил. Дело не в том, будто интеллектуалы как особая социальная группа менее слепы в отношении будущего, чем другие; история XX века, скорее, доказывает обратное: их готовность с энтузиазмом и в массовом порядке кидаться на защиту неправого дела. Но они, по крайней мере, вменяют себе в обязанность объяснять свои мотивы, раскрывая тем самым их истоки и механизм формирования, их логику, противоречия и непоследовательность.

В эпохи, предшествовавшие современной демократии, такое преимущество не имело значения. Политика тогда находилась в руках небольшого количества людей и не требовала такого страстного отношения к себе, как религия. В нашем веке, напротив, даже если народ поработен одной всемогущей партией, его продолжают пичкать лозунгами, с помощью которых “Большой Брат” непрерывно напоминает каждому гражданину о своем праве на абсолютное господство. Если же народ сохранил за собой возможность выбирать своих руководителей и находится под защитой закона от злоупотреблений властей, то в этом случае ему необходимо позаботиться о сохранении такой свободы и об определении ее пределов, — для чего политики и партии предлагают ему свои идеи и рецепты. Этот захват политики идеологией достигает своего первого пика в середине 30-х годов. Потому-то, взглянув на происходящее сквозь призму сознания интеллигентов, мы сможем получить представление о взаимосвязи и взаимодействии идей, ожиданий и страстей.

Итак, я приглашаю читателя проследить вместе со мной, как беспрестанно переплетались и перекрещивались пути французской политики и французских интеллигентов; ведь начиная с XVIII века Франция — это страна, где писатели, философы, арти-

сты играли выдающуюся политическую роль. А в период между двумя войнами такое положение стало более явным, чем когда-либо раньше, в силу ряда дополнительных причин, наложившихся на традицию. Появление коммунизма и фашизма, их совместный натиск на парламентскую демократию, их театральные столкновения между собой с последующим дележом добычи — все это дает новый материал для наблюдений таким специалистам по глобальным вопросам, какими являются французские интеллектуалы. Они чувствуют себя зрителями в громадном театре, где разыгрывается пьеса, имеющая универсальное значение: речь идет, не больше и не меньше, о том, чтобы изменить условия человеческого существования. Сто двадцать восемь лет спустя после Французской революции большевики подхватили ее освободительную программу с тем, чтобы двинуть ее вперед; не стесненные буржуазной ограниченностью, в отличие от деятелей 1789 года, они объявили своей целью освобождение пролетариата, а значит — всего человечества.

Противоречивая линия преемственности, соединяющая оба события, оказала на французских левых особенно мощное магическое воздействие. Они рассматривают Октябрьскую революцию как следующий за 1789 годом этап исторического прогресса, на котором упрощенная версия марксизма начинает играть такую же роль, как некогда философия Просвещения. Они считают, что Советский Союз продолжает путь, начатый Францией, и признают его второй нацией, которая столетие спустя заняла место в авангарде человечества; многим французам достаточно перенести на отечество трудящихся собственную гордость за свое революционное прошлое, чтобы почувствовать солидарность с новыми первопроходцами, принявшими у них эстафету исторического прогресса. И получить тем самым компенсацию за свое жалкое настоящее.

На французской политико-интеллектуальной сцене удобнее всего наблюдать, как функционирует в головах механизм коммунистического антифашизма. Нация, обладающая революционной традицией, то есть традицией демократической и антилиберальной, в отличие от Германии, не являющейся ни демократической, ни либеральной, и от Англии, скорее либеральной, чем демократической, — Франция находится, или думает, что находится (что для меня в данном случае одно и то же) в особо близких отношениях с режимом, родившимся в октябре 1917 года.

Специфические особенности французской политико-интеллектуальной ситуации не должны заслонять важнейшей общей характеристики коммунизма этого периода, а именно: необычайной универсальности его влияния, которое можно наблюдать повсюду, в том числе и в Англии, где нет революционно-демократического наследия французского типа. Правда, здесь это влияние не так

глубоко, оно не затрагивает народные классы, несмотря на все усилия маленькой английской компартии действовать по примеру своих французских собратьев. Однако интеллектуалы, пусть и не столь охотно подчиняющиеся закону солидарности, но зато более склонные возмущаться действиями своего правительства, более чувствительные к исходящей от нацизма угрозе культуре и более восприимчивые к соблазнам универсального, весьма благосклонно восприняли коммунистический антифашизм. Мы видели, что еще до поворота 1934—1935 годов советский опыт пользовался симпатиями многих выдающихся деятелей английской литературы. Хотя такого автора, как Бернард Шоу, нельзя считать сторонником советского “антифашизма”, поскольку он восхищался Муссолини и Гитлером в то же самое время, что и Сталиным, движимый, с одной стороны, своей марксистской, а затем фабианской антикапиталистической закваской, а с другой — своей склонностью “эпатировать буржуа”. Зато следующее поколение, не прошедшее школу борьбы левого социализма, заняло резко враждебную позицию по отношению к торжествующему нацизму, на который “тори” взирали достаточно снисходительно<sup>2</sup>.

Многие из этих молодых интеллектуалов-антифашистов были выходцами из состоятельных семей и прошли школу формирования в разреженной атмосфере “Блумсбери Групп”, в кружке Вирджинии Вульф. Лучшим свидетельством тому могут служить мемуары, написанные Стивеном Спендером<sup>3</sup>, молодым, интеллигентным и восприимчивым поэтом, не склонным разделять политические страсти века, но лишь до того момента, пока дело не дошло до Гитлера. Его интеллектуальная траектория напоминает путь развития Лукача, за десять лет до того: он тоже перешел от позиции эстета, замкнувшегося в башне из слоновой кости, к пылкому увлечению коммунизмом, в котором он увидел новую зарю истории. Из глубины безнадежности, характеризующей наше время, возник Гитлер, ее конкретное воплощение, но одновременно с ним — и проблеск надежды: коммунизм, как и фашизм, но с противоположным знаком, вырастает из ощущения “пустого места” (*tabula rasa*), исчерпанности буржуазного мира. Но в случае Спендера обращение в коммунистическую веру опирается также на преемственность традиции: “Я коммунист, потому что я либерал”<sup>4</sup>, — пишет он в период своего коммунистического служения, ссылаясь на то, что можно назвать линией английского “радикализма”, от Томаса Пейна до позднего Милля, включая Годвина и Бентама.

Слово “либерал” здесь надо понимать в том значении, которое оно приобрело в английском языке: либерал значит “страстный поклонник свободы”, максимальной свободы для каждого индивида, как в гражданском, так и в политическом смысле. Комму-

низм обладает способностью привлекать к себе, пусть на какое-то время, одновременно и либералов и антилибералов, противников государства и его поклонников. Это — чудо его двойной природы; он выглядит по-разному в зависимости от того, как на него посмотреть: если как на историческую реальность — получаем советский режим, если как на философское пророчество — получаем неотчужденного, гармонического человека. Ибо коммунизм, став государством, позаботился о том, чтобы остаться утопией. Поэтому он вынужден скрывать свою реальность, чтобы сохраниться как “идея”; поэтому так велика роль идеологии в его функционировании и его пропаганде. Гитлер извне помогает укреплению и достоверности его легенды, обрушиваясь с проклятиями одновременно на демократию и на коммунизм. Спендеру остается подхватить то, что говорил нацистский диктатор; он только меняет минус на плюс, восхваляя как нечто нераздельное то, что Гитлер объединил общим проклятием, и создает таким образом “либеральный” имидж СССР’.

Западные просоветские увлечения получили наивысшее выражение в Англии в создании знаменитой “Кембриджской группы”<sup>6</sup>. Ее члены — Филби, Берджес, Маклин, Блант’ и, быть может, еще кто-то, чьи имена мы пока не знаем, — были не просто поклонниками Советского Союза и отнюдь не членами английской компартии. Они завербовались в советские разведывательные органы, совершив тем самым, в совсем еще молодом возрасте, наиболее решительный и необратимый шаг. Их поступок иллюстрирует одновременно и конспиративную природу международного коммунизма, и ту преданность, на которую он способен вдохновлять своих сторонников. На первом из этих моментов я не буду останавливаться, поскольку он выходит за рамки моего сюжета, являясь составной частью истории коммунизма. Второй момент, напротив, должен стать предметом нашего рассмотрения, поскольку он дает наиболее яркий пример коммунистической страсти, охватившей западных интеллектуалов.

В Англии русская революция имела больший успех в университетах, чем на заводах. История “Кембриджской группы” наглядно показывает, в какой социальной изоляции находились эти молодые революционно настроенные студенты в начале 30-х годов и насколько абстрактный характер носило их увлечение коммунизмом. Со всеми теми, кто в эту же эпоху стремился стать в первые ряды борцов с фашизмом, их объединяло убеждение, что только коммунистическое движение, являющееся “авангардом” рабочего класса, способно дать стратегию и средства для такой борьбы. Для того, чтобы соединить свою жизнь с пролетариатом, они выбрали необычайно простой и в то же время аристократический путь:

прямо и непосредственно служить отечеству трудящихся. В системе абстракций, на которых построена коммунистическая вера, они сознательно избрали самую общую точку зрения: постулат о тождестве между Советским государством и международной революцией рабочих. Встав на путь борьбы, они перепрыгнули промежуточные этапы и сразу вступили в сферу мировой истории.

Их мотивы не имели, таким образом, ничего общего с обычными условиями вербовки шпионов для иностранной разведки: подкуп, шантаж, деньги... К тому же ни один из этих молодых людей в момент своей вербовки не мог сообщить ничего интересного советским службам. Для НКВД речь шла о расчетах на будущее, о том, чтобы использовать политические страсти в качестве приманки. Что же касается самих молодых людей, то их случай интересен тем, что в своем ослеплении они сознательно пошли на самое крайнее решение.

По их индивидуальным портретам мы можем составить представление о сформировавшей их среде. Это были юноши хорошего происхождения, выросшие в не всегда богатых, но всегда уважаемых семьях, окончившие элитные школы, чтобы затем оказаться в Кембридже, в почтенных стенах Тринити Колледжа, в эпоху, когда на Англию обрушилась великая депрессия. Здесь они изучали историю и экономику под руководством любимого учителя Мориса Добба, который посвятил их в тайны “Капитала”. В отличие от сегодняшнего дня, тогдашняя студенческая жизнь в Кембридже способствовала образованию маленьких аристократических кружков. Тот, к которому принадлежали наши герои, отличался коммунистическими убеждениями в сочетании с эксцентрическим стилем поведения, характерным для английских высших классов. Внешне эти “блудные дети” имперской Англии ничем не походили на деятелей Коминтерна: им были чужды упорядоченные нравы и демократическое стремление к анонимности. Они верили в коммунистические идеи, но они пришли из иных сфер, неся с собой привычки того мира, который хотели уничтожить. И это, конечно, была одна из причин, по которой они не пожелали вступать в скромную английскую компартию, а предпочли установить контакты на самом верху — непосредственно с Советским Союзом: это был аристократический способ служения пролетариату, а отсюда уже — и богемный образ жизни, и снобизм, и гомосексуализм, и виски, и ощущение жизненного трагизма, и внесение в конспиративную деятельность рыцарского духа. Разве не была одной из любимых максим Берджеса, что лучше предать свою страну, чем своих друзей?\*

Эти молодые англичане чувствуют себя сиротами исчезающей у них на глазах страны — той старой Англии, которую любили и

которой служили их отцы. Впервые за несколько столетий они составляют поколение, которое так остро ощущает конец традиции. Война 1914 года заставила Европу оборвать причальные канаты. Как некогда интеллектуалы из Веймара, но на сто лет позже, эти кембриджские студенты потеряли следы своей истории. Великая депрессия разорила британскую экономику, еще недавно господствовавшую над миром. В Берлине власть захватил Гитлер. В Лондоне лейбористская партия бесславно потонула в 1931 году, а пришедшие к власти “тори” вскоре начали строить глазки новому хозяину Германии. Сталинский Советский Союз, потерпев неудачу со своими немецкими проектами, обратил свои усилия на Париж и Лондон; здесь ему удалось завоевать такое влияние на интеллектуалов, какого не было у Ленина. Пятилетний план составил разительный контраст с разрушающимся капиталистическим миром. Своей антифашистской политикой СССР посрамил английских консерваторов, проявивших слабость перед Гитлером. Заняв в воображении своих поклонников то место, которое в прошлом веке принадлежало великой Англии, Советский Союз, как им кажется, открывает новую эру в истории человечества. Пролетарский Рим идет на смену Сити.

Эта идея исторической преемственности помогает молодым студентам компенсировать то отвращение, которое им внушает собственный класс; они утверждают в уверенности, что капитализм переживает свою агонию. Их презрение к буржуа — общая черта европейских интеллектуалов в данную эпоху. Но в отличие от своих французских коллег, не говоря уже о немецких, молодые англичане не испытали соблазна фашизма. Если либеральная английская традиция не смогла их защитить от сталинистских иллюзий, то от национал-социалистической мифологии она их уберегла. К мировой революции они относились не как к восстановлению некоей общности, но как к высшему этапу освобождения индивидов; такое понимание как нельзя лучше соответствовало принятой в эти годы коммунистической версии антифашизма.

Что касается особого характера их служения, вынудившего их с молодых лет вести двойную жизнь, то он не являлся таким уж исключительным, будучи связан с интернациональной природой движения, централизованного и направляемого из Москвы, начиная с 1917 года. Здесь всегда существовал, наряду с открытой поддержкой пролетарской революции, также способ служить ей тайно. Молодые люди из Кембриджа были завербованы как активисты в возрасте, когда они еще не располагали никакими государственными секретами; то, что сделало их знаменитыми в истории шпионажа, во многом было связано со случайными обстоятельствами, например непрофессионализм английской разведки

в решающие военные и послевоенные годы. Если бы им не удалось продержаться так долго, то о них меньше говорили бы как о шпионах и больше — как об активистах. Ибо их завербованность, при всем окружающем ее ореоле удачливых шпионов, по сути своих идей и страстей мало чем отличалась от завербованности очень многих европейских интеллектуалов, вынужденных ограничиваться прозаической партийной работой или ролью попутчиков. Филби, Маклин, Берджес или Блант тоже верили в неизбежность победы Советского Союза и коммунизма. И ожидали своей части этой победы. Усиленная войной, их уверенность переживет разгром Гитлера. После падения Гитлера она будет питаться также их ненавистью к Америке. Тот факт, что один из знаменитых университетов Европы, где созрело столько замечательных идей, дал Советскому Союзу несколько самых преданных и эффективных агентов, является как бы символическим выражением того места, которое заняла в нашем веке коммунистическая идея.

Еще одним подтверждением тому могут служить Соединенные Штаты, где коммунистические идеи приобретают в это же время большое распространение, при том что свободы и права индивида почитаются здесь почти как святыня, а демократические ценности явились исходной почвой для формирования нации. При отсутствии в рабочем классе доминирующей социалистической традиции здесь существует маленькая бюрократизированная коммунистическая партия, имеющая, как и все филиалы Коминтерна, бурную историю. В 20-е годы из нее исключались правая оппозиция и левая оппозиция, причем последняя, благодаря обвинениям в троцкизме, приобрела интеллектуальный ореол, какого у нее не было в Европе. Радикальная линия “класс против класса”, проводившаяся по указанию Москвы, не позволила компартии обратить в свою пользу чрезвычайно острое недовольство наемных рабочих в период экономического кризиса; все, чего ей удалось добиться, это некоторого успеха в своей ожесточенной антикапиталистической пропаганде и частичного проникновения в профсоюзы. Зато стратегия Народного фронта, начиная с 1935 года, позволяет ей занять позицию, более соответствующую американскому общественному сознанию. Прошли времена, когда не только президент Рузвельт, но и социалистический кандидат в президенты Норман Томас получали ярлык “социал-фашистов”. Отныне коммунисты поддерживают слева рузвельтский “Новый курс”, что позволяет им вплоть до 1939 года увеличивать число своих сторонников.

В эти счастливые для американского коммунизма времена особенно ярко, как и во Франции (а может быть, и ярче, чем во Франции, поскольку его электоральная база здесь намного ограниченнее), проявляется его влияние в некоторых университетах

(например в нью-йоркском) и среди пишущей интеллигенции. История этого влияния слишком обширна, чтобы я сейчас мог входить в ее рассмотрение; впрочем, она уже изложена как в свидетельствах знаменитых современников, так и в более поздних трудах историков<sup>1</sup>. Для меня, в рамках моего исследования, важно лишь раз подчеркнуть, насколько прочно в сознании людей, ненавидевших фашизм, связывались между собой коммунизм и свобода. В Соединенных Штатах этого периода коммунистические иллюзии существовали, быть может, в самой парадоксальной форме. Перед нами самая демократическая нация на свете, которая, в отличие от Франции, окружает свои политические институты почти общенародным поклонением; она только что избрала и переизбрала на новый срок президента, провозгласившего курс прогрессивных реформ; и тем не менее, многие ее интеллектуалы, коль скоро речь заходит о защите свободы против фашизма, обращают свои надежды к СССР, как если бы антифашизм обязательно предполагал тяготение к коммунизму.

Отчасти это тайное влечение объясняется простотой пропагандистского послания и исключительными организационными способностями коммунистов. Большое количество лиг и ассоциаций, пляшущих под их дудку, позволяют им добиваться широкого влияния, не ослабляя силы своей пропаганды, почти целиком сосредоточенной на восхвалении Советского Союза. Причем содержание этой пропаганды фактически не зависит от реальной природы восхваляемого режима. Она базируется на двух, в сущности, посторонних моментах: на враждебности к фашизму и на критике капитализма. Речь ни в коей мере не идет об установлении коммунизма в Соединенных Штатах, но о защите демократии во всем мире. Именно в этом состоит главная задача американского вмешательства, срочность и моральная необходимость которого подтверждается страданиями немецких евреев, чья трагедия встретила в Нью-Йорке больший отклик, чем в Париже или Лондоне. А раз Сталин против Гитлера, то зачем и для чего бороться против его режима? Американская политическая бухгалтерия следует моральному закону выбора между добром и злом. Она не настолько сложна, чтобы допустить существование двух взаимовраждебных тираний. К тому же, Советский Союз уничтожил капитализм, который Рузвельт стремится преобразовать, и это еще одна причина не делать из коммунизма врага демократии, а рассматривать его как течение, более левое, чем “Новый курс”. Коммунисты сами подали пример своим эффективным присоединением к антифашистскому фронту. На испанском театре военных действий вскоре развернулся спектакль столкновения двух лагерей — демократии и диктатуры. Более трех тысяч американцев, коммунистов и “либералов”, в

основном молодых учителей, отправились сражаться против Франко в батальоне имени Авраама Линкольна, в составе интернациональных бригад.

Таким образом, американские левые в эти годы заняли по отношению к коммунизму такую же позицию, как и их западноевропейские коллеги. Они не захотят вникать во внутреннюю ситуацию Советского Союза или разбираться в том, насколько достоверны признания обвиняемых на больших московских процессах. У них будут свои марксисты-диссиденты, свои исключенные из компартии, свои троцкисты (может быть, более решительные и предприимчивые, чем в других местах<sup>10</sup>). Если почитать тексты того времени, например, мемуары Сидни Хука<sup>11</sup>, человека пронизательного, хотя и исполненного излишнего самодовольства от сознания собственной правоты, то можно представить себе всю галерею персонажей, действовавших на маленькой нью-йоркской интеллектуальной сцене: неутомимого и фанатичного борца; попутчика, имеющего иногда прямую связь с Москвой; марксиста, с недоверием смотрящего на Коминтерн; троцкиста, несчастного оттого, что ему приходится быть антисоветчиком; либерала, обалдевшего от радости при встрече с “рабочим классом”; пацифиста, не могущего взять в толк отношения между антифашизмом и войной, и т.д. Как не узнать эти маски, — ведь у нас, во Франции, мы встречаем такие же!

Итак, мы возвращаемся к французской ситуации, уверившись, что она отражает общее положение вещей.

Мы приступаем к рассмотрению эпохи, когда в левых кругах возникает массовая антифашистская культура, которая одновременно и независима, и неотделима от коммунизма. Именно в этой двойственности ее необычность. Новизна ситуации после 1934 года состоит в том, что коммунисты перестают обзывать фашистами социалистов, либералов и вообще всех, кроме самих себя, при условии что эти социалисты или либералы объединятся с ними в борьбе против фашистской угрозы. Они соглашаются отказаться от монополии на антифашизм, если их новые союзники откажутся от всякого антикоммунизма. Для коммунистов это выгодная сделка, поскольку они отказываются от своих совершенно безосновательных претензий, а получают весьма реальные привилегии. Отныне антифашизм несовместим с антикоммунизмом, ненависть к Гитлеру объявляется фальшивой, если она сопровождается враждебностью к Сталину.

В силу такого положения вещей Советский Союз приобретает новый статус: он уже не только отечество трудящихся, но и оплот антифашизма. Рабочий интернационал должен расшириться до

интернационала демократического. Задача не из легких, если учесть, что творится на необъятных русских просторах, где террор достигает своего апогея. И все-таки большевики с ней справились: ведь недаром они считаются мастерами в организации путешествий для знатных иностранцев<sup>12</sup>. В 1933 году они так организовали поездку Эррио по Украине, что тот признал положение там совершенно нормальным. За Эррио последовал Пьер Кот. В 1935 году наступила очередь Ромена Роллана.

Автор “Над схваткой”, в отличие от Барбюса, не принадлежал к числу безоговорочных поклонников СССР, хотя и был одним из первых, кто приветствовал Октябрьскую революцию. После первой мировой войны, в ранние годы советского режима, он был одним из лидеров левой интеллигенции в Европе, оставаясь пацифистом, интернационалистом, защитником справедливости, но более склонным к ненасилию в духе Ганди, чем к ленинизму. В советском режиме он одобряет цель, но осуждает средства. Например, в 1927 году он пишет одному из своих читателей: “Моя точка зрения на большевизм не изменилась. Защитник высоких идей (скажем лучше — высоких целей, ибо идеи никогда не были его сильной стороной), большевизм разрушил их своим узким сектантством, нелепой непримиримостью и культом насилия. Он породил фашизм, который есть не что иное, как коммунизм на выворот”<sup>13</sup>. Однако в том же году он соглашается подписать, по просьбе Барбюса, воззвание против “волны фашистского варварства”, не настаивая на своем первоначальном требовании, чтобы в воззвании были осуждены все формы террора<sup>14</sup>. В следующем году он возобновляет дружеские отношения с Горьким как раз в тот момент, когда тот соглашается вернуться в Советский Союз по настоянию Бухарина и Сталина, который использует его для своих целей. Ромен Роллан ищет информацию, читает, не упускает СССР из поля зрения. В 1929 году он не советует Панаиту Истра-ти публиковать его книгу<sup>15</sup>, чтобы не давать оружия в руки реакции: верный признак того, что им сделан решающий шаг в сторону большевизма<sup>16</sup>.

И вот он становится попутчиком, обласканным партией, издаваемым в СССР массовыми тиражами, самым знаменитым — наряду с Барбюсом, Жидом и Мальро — в отряде интеллектуалов, раскинувших свой лагерь в “Ассоциации революционных писателей и артистов”, в журнале “Коммюн”, активно участвующих в движении Амстердам-Плейель и во всех предприятиях Мюнценберга. Несмотря на свой возраст, он является довольно репрезентативной фигурой. Все эти писатели, столь различные по возрасту и направленности, — Жид, Геэнно, Жан-Ришар Блок, Вильдрак, Мальро, Арагон, Низан, — не были, в отличие от Суварина или

Силоне, активистами коммунистического движения. Кризис большевистской партии, разборки с Троцким — все это в прошлом, и у них теперь другие заботы: западный мир в упадке, Гитлер набирает силу и приходит к власти. С противоположной стороны — Советский Союз, страна пятилетнего плана, великая стройка, где рождается человек будущего. Кризис капитализма помогает принять идею построения социализма и забыть о депортации крестьян. Нацистский террор обрушился в 1933 году прежде всего на коммунистов; так как же поверить, будто первые жертвы нацизма, подобно своим немецким палачам, где-то в другом месте тоже создают режим полицейского террора? Да и вообще, нацисты принадлежат к старому миру, который пытаются спасти, а коммунисты — к новому, который они создают собственными усилиями. Контраст старого и нового позволяет по-разному оценивать волюнтаристские действия там и здесь, осуждать насилие здесь и оправдывать его там<sup>17</sup>. Так борьба против фашизма оказалась неотделимой от прославления СССР; в то время господствовала идея, что фашизм стремится поглотить весь буржуазный мир, а противостоит ему, в качестве непримиримого противника, только страна пролетарской революции.

Путешествие Ромена Роллана в Москву, долго откладывавшееся по причине нездоровья, все-таки состоялось в июле 1935 года. Этот период был благодатным для франко-советских отношений, поскольку только что был подписан пакт Лаваль — Сталин, и ужасным для советских граждан, поскольку началось уничтожение десятков тысяч старых большевиков. Прием Ромена Роллана был обставлен по-царски: на писателя обрушилась лавина почитателей, делегаций, восторженных комплиментов, льстивших его тщеславию. Кульминационным моментом визита стала двухчасовая беседа со Сталиным, который не поскупился на эффекты, приветствуя своего гостя словами: “Я счастлив беседовать с величайшим писателем мира”<sup>18</sup>. Этот разговор интересен именно тем, что в нем участвуют две лубочные фигуры антифашистского пантеона: интеллеktуал-гуманист и просвещенный диктатор.

Каждый играет свою роль. Ромен Роллан играет свою уверенно, поскольку привык к ней за целую жизнь. Он выступал в защиту Дрейфуса, затем против войны 1914 года, и теперь делает новый шаг — выступает как свидетель в пользу коммунизма перед трибуналом истории, дабы поколение спустя после октября 1917 года потребовать возобновления контракта между русской революцией и универсальным человеком. Барбюс слишком давно был другом советского режима, чтобы выступить в этом качестве. Жид до тех пор не прославился в качестве борца за правое дело. Сталин правильно выбрал себе партнера. В этом случае, как и во многих дру-

гих, историк не может не задаться вопросом: откуда у неотесанного грузина взялась такая психологическая проницательность, которая позволяла ему предугадывать реакции и чувства светила европейской литературы? Сталин получил убогое образование, он никогда не выезжал за пределы России, не знал ни одного иностранного языка, всю жизнь провел во внутрипартийных интригах, но при этом создается впечатление, что он знает Запад, его литераторов, политиков, его лицевую и оборотную сторону. Мало найдется в XX веке людей, чей политический гений — правда, в наилучшем применении — был бы столь несомненным.

Ромен Роллан позаботился о том, чтобы поднять в разговоре критические вопросы, дабы придать больше веса своей личности и продемонстрировать свою независимость: вопрос о судьбе Виктора Сержа<sup>19</sup> (о котором было много шума в Париже), о смертной казни для детей моложе двенадцати лет, введенной после убийства Кирова, об альянсе СССР с буржуазной Францией. Все эти вопросы характерны для попутчика, в отличие от партийного активиста. Сталин отвечает с тяжеловесной рассудительностью, ссылаясь на законы классовой борьбы, обостряющейся с приходом фашизма. Он даже позволяет себе роскошь выступать в роли умеренного деятеля, не желающего, несмотря на требования общественности, казнить Зиновьева и Каменева, виновных в убийстве Кирова. Оба собеседника расстаются, подтвердив свою гуманистическую веру. Писатель признал новую жизнь.

При всем том “Путешествие в Москву”, несмотря на известную монотонность, остается одним из лучших образцов данного жанра: в нем странным образом время от времени возникают проблески проницательности. Несколько тщеславный старик, с удовольствием вдыхающий советский фимиам, чувствует, тем не менее, что он попал в замкнутый мир, охваченный глубоким политическим кризисом, где все пронизано страхом и полицейской слежкой. Он не понимает, что за фильм раскручивается перед его глазами, но догадывается, что это фильм. Половину времени он провел на даче Горького и вынужден констатировать, что его друг, вернувшийся в лоно советской власти в 1928 году, не пользуется никакой независимостью и печально стареет в своей золоченой клетке; его секретарь распоряжается всеми его контактами с внешним миром<sup>20</sup>.

Если наш путешественник слишком легко сохраняет веру, несмотря на все опасные наблюдения, то происходит это потому, что он уже приобщился к культу Сталина — новому феномену в истории коммунизма. У него нет никаких сомнений относительно ошибок Троцкого, или преступлений Зиновьева, или злодеяний фашистов, или мудрости Вождя. В Сталине он видит не харизма-

тического вождя, увлекающего толпу магией коллективных эмоций, как это делают фашисты, но *primus inter pares\**, мудрого и твердого, повелевающего своими страстями, короче — образ разумного правителя, как он сложился в европейской традиции, образ двойственный по определению, поскольку он содержит в себе и культ разума, и преклонение перед властью. Эту икону отныне будут носить в своем рюкзаке все поклонники СССР. Несколько лет спустя, после осуждения и смерти своего друга Бухарина, Ромен Роллан внутренне освободится от прежних иллюзий, но уже не решится открыто выступить против грубой силы сталинского режима.

Таким образом, в 1935 году Советский Союз получил, через посредство Романа Роллана, благословение от имени демократического универсализма. Теперь отечество коммунизма перестает быть далекой страной, где неистовые революционеры вступили в жестокую и непонятную борьбу за власть. Нет, теперь это — огромная держава, под руководством просвещенного вождя подхватившая факел Французской революции во имя возрождения человека. Иначе говоря, постреволюционный порядок сохранил верность революционному проекту, осуществив то, что не удалось французам в конце XVIII века. Отсюда — большое количество сторонников из числа европейских левых, привлеченных тем, что они считают осуществлением своей традиции: демократией без капитализма.

Такое отношение к советскому режиму поддерживается по контрасту открыто провозглашаемым намерением фашизма покончить с принципами 1789 года. Муссолини, а затем Гитлер никогда не скрывали своей враждебности к Французской революции и ее претензии построить общество на правах индивидов. В правах человека они видели лишь прикрытие для буржуазного индивидуализма, против которого они использовали все критические аргументы как справа, так и слева, от Бёрка до Маркса, дабы доказать противоречие между социальной реальностью и эгалитарной абстракцией. Но если Бёрк опирался только на контрмодель старого порядка, то Маркс придумал постиндивидуалистическое общество: он вынес окончательный приговор буржуазному миру, но с точки зрения нового общества, которое должно было его сменить. Он осуждает капиталистическую формацию, но считает ее исторически закономерной в качестве радикального отрицания того, что ей предшествовало, и пролога к тому, что должно последовать. Точно так же, фашисты и коммунисты могут совместно ненавидеть буржуазию. Но эта общая страсть не мешает им совершенно по-разному понимать цели политической борьбы. Фашист-

\* Первого среди равных (лат.). — Прим. пер.

ское “единство”, опирающееся на отрицание принципов 1789 года, не может не напоминать контрреволюционную идею, как бы они сами от этого ни отрещивались. Коммунизм, напротив, выдает себя за диалектическое продолжение (знаменитое “отрицание отрицания”) “Декларации прав человека” и буржуазной демократии. Он претендует на то, чтобы быть их реальным осуществлением. Роллан и Жид, по существу, говорят то же самое, когда называют Советский Союз стройкой будущего.

Это прямолинейное представление о современной истории, которую определяет противостояние реакционных сил во главе с фашизмом и демократического лагеря во главе с СССР, опирается, впрочем, не столько на марксизм, сколько на порожденную Французской революцией веру в прогресс человечества. Марксизм как некая философия приобретет влияние, в том числе в европейских университетах, лишь после второй мировой войны<sup>21</sup>. Советская политика и следующие в ее фарватере коммунистические партии содержат лишь рудименты огрубленного марксизма, но именно в силу этой огрубленности они оказались в состоянии присвоить себе любую оптимистическую концепцию истории, то есть всю демократическую традицию. Так что даже в таких странах, как Англия или Соединенные Штаты, где зарождение и развитие демократии происходило независимо от Французской революции, влияние Советского Союза с его антифашистской политикой получило широкое распространение именно в силу исторического оптимизма: ведь тот, кто сражается против Гитлера, тем самым сражается за права, свободы и освобождение людей.

Таким образом, антифашизм лишает советский коммунизм значительной дозы антибуржуазной агрессивности, которая с самого начала характеризовала позицию Ленина и отличала ее от позиции социал-демократов. У коммунизма возникает новый фасад, менее отгаливующий для Запада. Ленин в свое время разогнал только что избранное Учредительное собрание. Сталин в 1936 году принимает Конституцию, внешне соответствующую демократическим принципам. Чем более азиатским становится его правление, тем более западную видимость он ему придает. Советский Союз уменьшает свою непохожесть на демократические страны, чтобы подчеркнуть чужеродность Гитлера и изолировать его. Свои собственные отклонения от демократии Сталин объясняет тем, что Советский Союз обогнал все другие страны на пути к свободе: именно этим объясняется особая ненависть, которую Гитлер питает к Стране Советов. Сталину удалось обернуть в свою пользу ненависть нацистов к демократии.

Сделав так, что Советский Союз оказался в первых рядах демократических стран, ведущих борьбу против фашистских держав,

Сталин получил и еще один важнейший козырь: у него теперь появился свирепый враг, начисто лишенный либеральной обходительности, которого было легко узнать и присутствие которого можно было обнаружить где угодно. Начиная с Октября, пролетарская революция имела в качестве врага мировую буржуазию — некое абстрактное чудовище, которое предлагалось ненавидеть всем трудящимся Земли. То, что противник был абстрактным, было в известном отношении даже хорошо: универсальной революции был нужен такой же, как она, универсальный враг, всегда готовый к нападению и придающий величие борьбе между прошлым и будущим.

С приходом к власти Гитлера все изменилось: у угрозы появилось лицо. Не то чтобы нацизм заключал в себе весь империализм, но он придал актуальность идее империалистической войны и позволил Сталину указать на фашизм как на главного врага. До победы Гитлера фашизм был\* одной из антилиберальных разновидностей буржуазного господства в XX веке; он присутствовал повсюду и не являлся исключительной принадлежностью какой-либо страны. Существовал Муссолини, но фашистская Италия не угрожала всеобщему миру; к тому же, Советский Союз поддерживал с ней скорее добрые отношения. Гитлер же, напротив, записал войну в свою программу, и Сталин был первым, кто это понял, и потому осуществил поворот 1934 года. Но это еще не все. Приход Гитлера к власти принес Сталину дополнительные выгоды.

Гитлер начал проводить в Германии политику террора незадолго до того, как Сталин развернул в Советском Союзе террор гораздо большего масштаба. Но гитлеровский террор позволил сосредоточить все возмущение мировой общественности на Берлине и отвлечь внимание от того, что будет происходить в Москве два года спустя. Это была одна из целей агитации в защиту Димитрова и контрпроцесса по поводу поджога рейхстага в 1933 году. Из сотрудника Коминтерна Димитров превратился в героя антифашистской борьбы. С его помощью коммунизм поменял маску. Он теперь определяется не тем, что он есть в действительности, а тем, что его противопоставляют Гитлеру и фашистам вообще<sup>22</sup>.

Потому-то в коммунистическом языке этой эпохи слово “фашизм” употребляется непрерывно и по любому поводу. Фашисты должны возникать повсюду, где у коммунистов возникает необходимость самоопределиваться. Геополитические опасения Сталина по отношению к Гитлеру превращаются в неореволюционную идеологию большевизма нового типа: пролетарская революция рассматривается теперь как авангард демократии в борьбе с фашизмом,

\* Для коммунистов. — Прим. пер.

чудовищным врагом, конкретным и скрытым в одно и то же время. Этот враг воплощен в лице Гитлера, но одновременно присутствует повсеместно, в буржуазных странах и даже в Советском Союзе, где непрерывно плетет заговоры, чтобы поставить на колени своего самого грозного противника — страну социализма. Такая биполяризация политического мира, типичная для революционного кредо, приводит к тому, что все враги Советского Союза оказываются “фашистами”, начиная с Троцкого и его сторонников, которым отводится почетная роль среди контрреволюционеров: “гитлеро-троцкисты” идут первой строкой в списке врагов народа и антисоветских преступников.

Чтобы понять смысл подобных ярлыков, надо отвлечься от их абсурдности и присмотреться к той функции, которую они выполняют в сталинском антифашизме. А означают они здесь то, что всякий противник или критик СССР обязательно встанет на сторону Гитлера. И самыми опасными среди этих противников или критиков являются те, кто борется изнутри, либо обращаются из изгнания к своим пособникам, оставшимся в стране. Самым знаменитым среди таких неукротимых врагов является Троцкий, который вдобавок ко всему сохраняет верность большевизму первого образца и размахивает знаменем Ленина в пику Сталину. В политике, а особенно в революционной политике, где идеологическая легитимность играет столь большую роль, самый ненавистный противник — это противник самый близкий; одной из целей московских процессов 1936—1938 годов было продемонстрировать всему миру, что Троцкий участвует вместе с Германией и Японией в огромном заговоре с целью уничтожить Советский Союз.

Необычайная доверчивость, с которой мировое общественное мнение восприняло эту легенду, была связана не только с публичными признаниями обвиняемых, которые, как нам теперь известно, только повторяли роли, заученные под угрозами и пытками. Была возможность поставить под сомнение их самооговоры, поскольку в них содержались такие факты и встречи, которые на самом деле не могли иметь места: именно так и поступил Троцкий во время контрпроцесса, который организовали американские левые под эгидой Джона Дьюи. Это эмпирическое опровержение, самое бесспорное из всех, открывало путь для постановки более общего вопроса. Если приводимые факты являются ложными, а следовательно, ложными являются и признания обвиняемых, то что следует думать о режиме, который подобным образом строит свою пропаганду и обоснование своих действий? Если Троцкий не виновен, то, значит, действия его обвинителей аморальны. Таким образом, мы видим, что за готовностью принять за чистую правду

весь поток признаний на московских процессах стоит не столько разумное убеждение, основанное на рассмотрении сути дела, сколько более или менее осознанное желание не подвергать сомнению советскую революцию. Скажем иначе: психологически было легче поверить признаниям обвиняемых, несмотря на их неправдоподобие, нежели поставить их под сомнение вместе со всем построенным на них спектаклем. В первом случае достаточно было закрыть глаза на “частности”, чтобы спасти архитектуру целого. Во втором, — согласившись принять во внимание недостоверность отдельных фактов, вы теряли возможность признавать правдивость построения в целом. Слабость в сочетании со страстным желанием верить толкнула многие умы к первому решению, одних — потому что они были коммунистами или сочувствующими, других (и их было, конечно, большинство) — потому что они хотели сохранить привлекательный образ Советского Союза, чтобы антифашистская борьба не утратила смысл. Были и такие, кто боялся впасть в реакционный антисоветизм, и такие, кто сохранял верность сталинскому СССР просто потому, что он стал великой державой и к тому же — союзником Франции. Факт состоит в том, что Советский Союз обладает теперь большими возможностями запугивания и пользуется ими.

Во всем этом деле драма состоит не в том, что антифашистская коалиция, основу которой повсюду в мире составляют левые силы, включает в себя также крупное тоталитарное государство. В конце концов, такую коалицию нетрудно себе представить: ее основой, ее скрепляющим цементом могли бы быть враждебность к нацистской Германии и страх перед Гитлером. Но получилось не так. Антифашизм оказался в первую очередь не геополитическим, а идеологическим объединением: на своем знамени он начертал лозунг демократии. Какой демократии? В качестве ее авангарда выступал Советский Союз, по идее представлявший власть рабочего класса: наследник буржуазной революции, он нес дальше вперед знамя свободы и равенства. Доказательством этому должно было служить то, что Сталин и свою внутреннюю политику представлял в виде демократического антифашизма: Зиновьев, Каменев, Радек или Бухарин обвинялись не просто в ослаблении политического единства народа перед лицом Гитлера, но и в тайномговоре с гестапо. А раз так, то каждый, кто сомневается в их преступлениях (в которых они же и сознались), перестает быть антифашистом и зачисляется в сторонники Гитлера. Ужасная логика войны — которая в своей патриотической форме так возмущала европейских левых в 1914—1918 годах — продолжает работать и в мирное время, теперь уже в ином идеологическом обличье и в пользу большевизма. Кто критикует Сталина — тот за Гитлера. Ге-

ниальность грузина проявилась в том, какое количество рассудительных людей он поймал в эту грубую и коварную западню.

Случаю было угодно, чтобы именно в тот момент, когда Ромен Роллан, наконец, решился совершить свое паломничество в Москву, в июне 1935 года, в Париже Суварин опубликовал свою толстую книгу “Сталин” с подзаголовком: “Исторический очерк большевизма”. Это было завершение долгого труда, начатого в 1930 году и сопряженного с многими трудностями. В свое время договор, заключенный с крупным американским издателем, был расторгнут под предлогом опоздания Суварина, которому приходилось одновременно работать над сбором материала для книги и редактированием журнала “Социальная критика”. Законченный в середине 1934 года, этот труд более чем в тысячу страниц оказался столь же уместен, как булыжник, упавший в стоячую воду. В это время как раз происходило франко-советское дипломатическое сближение, сопровождавшееся восторженными свидетельствами “друзей СССР”, особенно горячими со стороны радикалов. Внутри страны антифашистский союз обретает форму с середины года. Суварину трудно найти французского издателя. Отвергнутый Галлимаром, несмотря на поддержку Алена (которого, в свою очередь, просила Симона Вейль), Суварин умудрился в конце концов пристроить рукопись у Плона, вопреки сопротивлению Габриэля Марселя<sup>21</sup>. В результате книга появилась в июне 1935 года, когда в Париже шел “Конгресс писателей в защиту культуры” в постановке Мюнценберга, — еще одно символическое совпадение.

“Сталин” Суварина был первой историей Советского Союза, включая и Октябрьскую революцию. Долго ему было суждено оставаться также и последней. Автор, уже в 1930 году, обладал исключительно свободным взглядом на вещи. Бывший активист коммунистического движения, он обладал исключительным преимуществом знания советской действительности изнутри. Как все изгнанники или перебежчики, с болью освободившиеся от иллюзий, он обрел отстраненную ясность взгляда, необходимую для анализа. Но в отличие от большинства из них, он сделал исследовательскую работу смыслом своей жизни: все, что он делал после своего поразительного разрыва с коммунизмом, характеризовалось не только личной скромностью, но и страстным стремлением к истине, вобравшим в себя пламенное одушевление молодости. Это была радикальная перемена фронта, но питаемая той же энергией и агрессивностью, которые вчера были направлены против буржуа, а сегодня — против мистификаторов от коммунизма. Создавая этот труд, Суварин следовал своему призванию.

Читая его книгу, лучше понимаешь, что сразу же отдалило его от диссидентов-троцкистов. Хотя и примкнувший к большевизму слишком поздно, бывший начальник Красной Армии Троцкий воплощал, вместе с Лениным, победоносную силу Октября. Даже побежденный и изгнанный, он продолжал потрясать этим знаменем, являвшимся смыслом его жизни. Находясь в Турции, Норвегии или Мексике, он повсюду чувствовал себя ответственным за судьбу Советского Союза, поскольку он, и только он, в своих собственных глазах, был соратником Ленина. Куда бы его ни забросило изгнание, пролетарская революция была с ним. Отсюда — его величие, героизм, сила воздействия на воображение людей. Отсюда же и его самоослепление: яростно подчеркивая различия между Сталиным и Лениным, он решительно не желает замечать общности между ними. Не имея возможности подвергнуть критике основы советского государства, он мог противопоставить Сталину только полемику с ленинских позиций, которые разделял с ним лишь узкий круг единомышленников<sup>24</sup>.

Рядом с этим потерявшим власть пророком Суварин воплощает аналитический разум. Он выносит веку более решительный и пессимистический приговор; революционные надежды его молодости умерли, а страна, где они осуществились, теперь является в его глазах воплощением государственной лжи. Первоочередной задачей, тем самым, становится не подготовка новой революции, а осознание того, что произошло в России. В 1925—1930 годах Суварин был все еще по-своему “коммунистом”; во всяком случае, так он сам говорил, чтобы смягчить свое одиночество и сохранить связь с прошлым. Но его книга, написанная между 1930 и 1934 годом, не имеет ничего общего с политическим манифестом. Возникшая в результате терпеливых изысканий, с привлечением широкой документации, она была бы почти академическим трудом, если бы не исключительная смелость, которая требовалась, чтобы подступить к такому сюжету. Ибо Суварин не является мастером “умолчания”. Переходя от одного факта к другому, рассматривая причины и основания, мотивы и оправдания, он пишет политическую историю в довольно классическом духе, придавая достаточное значение силе обстоятельств, но также — решениям и ответственности людей. Индивидуальной печатью его таланта служат точность и смелость суждения и открытое высказывание своей моральной позиции историка. Молодой ветеран большевизма следует здесь классической традиции.

Я не хотел бы вдаваться в дискуссию по поводу этой книги, более знаменитой, чем по-настоящему читаемой, если судить по ее издательской судьбе<sup>25</sup>. Для моей аргументации достаточно отметить, что она надолго определила рамки политической истории

большевизма и поставила главные вопросы: отношение ленинского коммунизма к русской традиции, истинный характер Октября, террористическое и бюрократическое вырождение революции, начиная с Ленина, природа и причины победы Сталина в борьбе за наследство, тайны его характера и страстей, невероятная цена его победы с экономической и моральной точек зрения. Загадка публикации 1935 года связана не с содержанием книги, а с ее слабым резонансом. Будучи еще молодым человеком, Суварин, тем не менее, принадлежал отошедшей эпохе коммунизма, которую антифашистский поворот уже более или менее изгладил из памяти. Он знал Ленина и двадцать одно условие, был свидетелем рождения Коминтерна и ФКП, начала борьбы за ленинское наследство, в которой он не смог или не захотел принять деятельное участие, но все это уже были дела минувших дней: Сталин победил и повернул против Гитлера деятельность Коминтерна. Жид был старше Суварина годами, но, придя к коммунизму позже, он являл собой — пусть и ненадолго — новую фигуру на антифашистских эстрадах. Что же касается Суварина, то он остался в непокорном одиночестве, если не считать маленьких маргинальных групп, слишком слабых, чтобы служить ему опорой, и слишком заметных, чтобы не подорвать его репутацию. Став излюбленной мишенью для оскорблений ФКП, чувявшей в нем, и не без основания, непримиримого врага, он исчерпал кредит доверия со стороны общественного мнения. Правые не доверяют ему, потому что он был коммунистом, левые — потому что он перестал им быть. В час священного союза против Гитлера антикоммунизм неприемлем, и коммунисты сделали все, чтобы представить первую большую книгу по их истории как отвратительную попытку сведения счетов со стороны ренегата.

Итак, все, что связано с критикой Советского Союза, во все большей степени становится табу для демократического общественного мнения. Это, как мы видели, была старая традиция: рассматривать СССР, с одной стороны, как обладателя патента на революционность, а с другой — как жертву клеветы реакционеров. По этой двойной причине любая критика, даже дружеская, воспринималась как враждебная. Политическая ситуация 1934—1936 годов превратила такой внутренний запрет в моральное правило, за соблюдением которого зорко следили коммунисты. Тот, кто хочет представить себе тогдашнее положение вещей, может мысленно перенестись на упоминавшийся выше большой “Конгресс писателей в защиту культуры”. Дело было в конце июня 1935 года, и все сливки антифашистской интеллигенции, французской и международной, были призваны продемонстрировать, вместе с коммунистами и в пику Гитлеру, культурные ценности совет-

ского гуманизма. Присутствовали: с французской стороны — Ален, Роллан, Барбюс, Арагон, Мальро, Жид, Гийу, Вильдрак; с немецкой — Генрих Манн, Бертольт Брехт, Йоханнес Бехер; с русской — Эренбург и Алексей Толстой; с английской — Олдос Хаксли и Э. М. Форстер.

На всяком конгрессе есть сцена и есть кулуары. На сцене выступают ораторы, демонстрируются дружеские объятия, звучат громкие речи гуманистического содержания. В кулуарах, в закрытом порядке, решается одна, но весьма щекотливая проблема: как быть с Виктором Сержем. Сын русских эмигрантов, проживавших в Бельгии<sup>26</sup>, молодой Виктор Серж еще до 1914 активно участвовал в движении анархистов; замешанный в деле “банды Бонно”, он отсидел пять лет во французской тюрьме, а затем примкнул к советской революции и Коминтерну. Исключенный из партии в 1928 году за “троцкизм” и тут же арестованный, он был вскоре освобожден, но от своих идей не отказался. Став независимым писателем и отказавшись от всех иллюзий относительно сталинского режима, он поселился в Ленинграде; его перу принадлежат одна из книг в серии Панаита Истрати. Его снова арестовывают в марте 1933 года и ссылают на Урал, в Оренбург. Родственников его жены Русаковой (Виктор Серж и Пьер Паскаль были женаты на двух сестрах Русаковых) высылают из Ленинграда, а саму жену арестовывают.

Виктор Серж широко известен в узких кругах французских левых, которые дружно встают на его защиту. Росмер, Паскаль или Суварин, как никто, способны понять то, что с ним произошло. Первый призыв к его освобождению появляется в № 8 “Критик сосьяль” в апреле 1933 года, в то время как пресса, контролируемая коммунистами, молчит или пытается скомпрометировать Виктора Сержа. Молчит Барбюс в “Монд”, молчит Арагон в “Коммюн”. В смущении Ромен Роллан и Жид, которые пытаются потихоньку вмешаться на верхах, не бросая открытого вызова Советскому Союзу. Дело Сержа — один из первых ярких примеров того, как происходило манипулирование французскими интеллигентами, уступавшими шантажу из страха оказаться в числе антикоммунистов.

На конгрессе в июне 1935 года организаторы должны были заранее примириться с тем, что с трибуны будут говорить о Викторе Серже, но, распределяя роли и последовательность ораторов, они сделали все, чтобы свести такие выступления к минимуму. Однако маленькой группе, в которую входили Андре Бретон, Магдалена Пас, Шарль Плисье, Анри Пулай, удалось добиться слова для известного итальянского профессора Гаэтано Сальвемини, изгнанного Муссолини. “Я бы считал себя не вправе, — заявил профес-

сор, — выступать против гестапо и фашистской охраны и забывать при этом о существовании советской политической полиции. В Германии существуют концентрационные лагеря, в Италии — острова, превращенные в тюрьмы, а в советской России существует Сибирь... И именно там томится в заключении Виктор Серж<sup>27</sup>. Эта тема на следующий день была подхвачена другими участниками группы, но не встретила поддержки: конгресс был организован для прославления СССР, а не для его критики! В конце концов, меньше года спустя, Серж получит разрешение покинуть Советский Союз и уехать в Бельгию: это было сделано по специальному указанию Сталина в качестве жеста благодарности Ромену Роллану и другим друзьям, дабы не лишать их последних иллюзий.

Среди участников конгресса, хранивших молчание по поводу дела Виктора Сержа, самым знаменитым был Андре Жид, находившийся на вершине своей литературной славы. Он мало говорил, но он слушал. Он не был коммунистом, но с начала 30-х годов представлял собой яркую фигуру “попутчика”. Огромное значение имели и его имя, и его манера поведения на общественной сцене, — скорее эстетическая, чем философская, скорее сентиментальная, чем политическая. Жид — это воплощение буржуазного антибуржуазного писателя. Он с таким постоянством и мастерством разрабатывал эту жилу, что из своего чувства уязвленности создал поистине буржуазно-подрывную литературу. Родившийся в богатой протестантской семье, он стыдился своего привилегированного положения. Гомосексуалист, он ненавидел лицемерное соблюдение моральных норм. Философствующий путешественник, нечто вроде современного Монтеня, он обличал жестокость французской колониальной политики в Африке. Хотя он и заимствовал у Ницше свои литературные интонации, его главной духовной опорой оставалось Евангелие и христианская вера; в его сознании бунтарство и чувство виновности находились в таком неустойчивом равновесии, которое является классической предпосылкой для революционных утопий. Этому индивидуалисту, эстету, патрицию коммунизм послужит не только ручательством за его антибуржуазность, но и даст неоценимую радость приобщения к коллективу, а также (надо учитывать тщеславие, свойственное писателям, даже самым великим) расширит его славу до общечеловеческих масштабов. Если попутчик не является просто замаскированным активистом, если он настоящая попутчик, то очень часто его участие в деле является результатом недоразумения: именно поэтому союз оказывается таким непрочным. Впрочем, работники Коминтерна это прекрасно понимали и относились к попутчикам как к своим временным орудиям.

Обстоятельства были благоприятными. Как и многие современники, Жид увидел в первом пятилетнем плане антитезу буржуазному беспорядку, проявление разумного начала в истории. Исходя из этого представления, он мало помалу создал себе образ СССР как отечества прогресса, образования и культуры. Он встречается с Вайан-Кутюрье, старейшиной французских интеллектуалов-коммунистов, завязывает дружбу с Джефом Ластом и Эженом Даби, которые оба были членами партии. В 1932 году он еще отказывается от вступления в Ассоциацию революционных писателей и артистов, но в 1933 соглашается стать членом редколлегии "Коммюнь", журнала ассоциации. Приход к власти Гитлера заставляет Жида выйти на общественную арену. Он присутствует на всех митингах в защиту Димитрова, участвует во всех комитетах интеллигентов-антифашистов, а затем и выступает с трибун Народного фронта, стараясь усвоить политический язык объединенной левой, хотя слово художника то и дело пробивается сквозь проповедь вероучителя<sup>28</sup>.

Коммунисты сочли, что он привязан к их колеснице прочнее, чем это было на самом деле. Они недооценили свойственный Жиду дух независимости. Или переоценили его слабость и тщеславие. Как бы то ни было, они из кожи лезли, чтобы уговорить его посетить Советский Союз. Паломничество в Москву вошло в моду, а советские руководители почти достигли совершенства в искусстве приема именитых гостей. Летом 1934 года Мальро, Арагон, Жан-Ришар Блок приехали на Съезд советских писателей, и Мальро неоднократно выражал на нем свою солидарность с СССР<sup>29</sup>. Приезд Ромена Роллана прошел триумфально и принес богатые пропагандистские плоды. Возникла идея повторить опыт со второй великой звездой французской литературы коммунистической ориентации. Жида окружали, уговаривали, ему льстили со всех сторон, и он наконец согласился. Советское правительство объявило о выпуске трехсот тысяч почтовых открыток с его портретом<sup>30</sup>! Писатель прибыл в Москву со своим спутником Пьером Эрбаром ровно год спустя после визита Ромена Роллана, в самом конце июня 1936 года: в Ленинграде он встретился с четырьмя своими близкими друзьями, которые присоединились к нему в его путешествии: Джефом Ластом, Эженом Даби, Луи Гийю и издателем Шифрином.

Королевский прием, роскошный образ жизни, ежесекундная предупредительность — все было организовано с величайшей тщательностью в этой встрече французского эстета с суровой реальностью Советского Союза. Жид и его друзья участвуют в церемониале и играют отведенные им роли. В этот момент как раз умер Горький, и Жид произнес вполне ортодоксальную надгробную

речь (правда, отредактированную Арагоном). Однако он очень быстро почувствовал, что находится под надзором, и то, что Ромен Роллан принял как необходимость, Жида оскорбило как покушение на его свободу. Бухарин, пламенный Бухарин, с которым Роллан встречался еще год назад (хотя тот уже был лишен возможности высказываться), на этот раз уже не мог пробиться сквозь окружившую его стену тайной полиции. Из рассказа Пьера Эрбара<sup>31</sup> об этом путешествии видно, что Жид отнесся к оказанному ему приему с инстинктивным недоверием; несмотря на непрерывные празднества, заполнявшие распорядок дня, чувство подозрительности и разочарования овладело им и его спутниками.

Еще откровеннее эти чувства выражены в “Возвращении из СССР”, опубликованном в издательстве Галлимар уже в октябре того же года, как будто писатель торопился сбросить с себя груз лжи, в которой и сам принимал участие. Не то чтобы книга была написана в тоне, заведомо враждебном Советскому Союзу, или напоминала реакционные сочинения на эту тему. Напротив. За трагивая жгучие вопросы, Жид не отказывается от собственной ему деликатной манеры. В некоторых отношениях его репортаж сохраняет черты наивности: например, в описании образцово-показательных учреждений, куда его водили. Правда, он отмечает также печальную монотонность общественной жизни, уродство производимых товаров, возрождение социального неравенства, убожество искусства. Но главное его разочарование связано не с экономикой, не с общественной жизнью и не с эстетикой. Оно связано с исчезновением свободы.

Идет ли речь о восторгах стахановцев, расшаркиваниях академиков или приветствиях пионеров, Жид ощущает во всем проявление мозгов, проявления тирании и страха. Он отправился на встречу с революционным обществом, а нашел повсюду рабов, преклоняющихся перед Сталиным. При всей сдержанности стиля, при всей своей обходительности маленькая книжка Жида содержит непреклонную констатацию: СССР — не то, за что себя выдает, хотя его граждане принуждены говорить и даже верить, что это не так. “Теперь здесь требуется [от людей] согласие, конформизм..., одобрение всего, что происходит в СССР. Стараются добиться, чтобы это одобрение было не вынужденным, но искренним и даже исполненным энтузиазма. Самое удивительное, что это удается. С другой стороны, малейший протест, малейшая критика подлежат жестокому наказанию и удушению”.

Затем следует самая страшная фраза книги: “И я сомневаюсь, чтобы сегодня в какой-либо другой стране, включая гитлеровскую Германию, сознание было бы менее свободно, более подавлено, запугано, поставлено в вассальную зависимость”<sup>32</sup>.

Отправившись в Москву в качестве попутчика, Жид вернулся, вооруженный сравнением Сталин — Гитлер; его диагноз напоминает то, что напишет два года спустя Цилига<sup>33</sup>, а ближе к нашему времени — Оруэлл и Солженицын: Советский Союз — это страна всеобщей и обязательной лжи. Предполагал ли Жид, какой скандал вызовет его книга в левых кругах? Вне всякого сомнения. Слишком много людей советовали ему воздержаться от ее публикации, чтобы у него могли сохраниться какие-либо иллюзии в этом отношении. Действительно, коммунисты ополчились на него со всеми своими друзьями и пустили в ход тяжелую артиллерию. Впрочем, у них не было выбора, настолько большим успехом пользовалось “Возвращение из СССР”, тиражи<sup>34</sup> которого разлетались в мгновение ока; это было связано не столько с содержанием книги, сколько с именем ее автора и интересом, который вызвали его превращения. “Возвращение из СССР” принадлежало к типу таких политико-литературных событий, которые обожают французы и прежде всего парижане: один из самых значительных французских писателей и интеллектуалов, примкнувших к Народному фронту, взял да и выступил против коммунизма в разгар всеобщей эйфории.

Если требовалось еще одно доказательство, что отношение к Советскому Союзу — это тот оселок, на котором провернется единство левых сил, то французские коммунисты такое доказательство дали своим отношением к книге Жида, подобно тому как испанские коммунисты продемонстрируют то же самое *manu militat*\* в Барселоне несколько позже. В Испании это имело особое значение: гражданская война усугубляет вину тех, кто решается нарушить единство демократического лагеря перед лицом врага. Но и ФКП развернула атаку по всем направлениям, мобилизовав и попутчиков, и активистов. Жорж Фридман напирал на тяжелое прошлое России и упрекал Жида в легкомыслии; Фернан Гренье, патрон “Друзей Советского Союза”, заподозрил влияние троцкистов; рабочие обвиняли автора в буржуазной предвзятости, в то время как буржуа, совершившие такое же путешествие, как и Жид, пусть менее роскошное, но столь же тщательно организованное, противопоставляли ему свои свидетельства о совершенно другом СССР.

И сразу же Жид решает написать постскрипtum к своей книге, который он опубликует в июне 1937 года под названием “Добавления к моему Возвращению из СССР”. Он хочет ответить своим противникам и корреспондентам. За истекшее время он успел прочесть литературу, критикующую СССР, на которую он не об-

\* С помощью вооруженной силы (лат.). — Прим. пер.

ращал внимания в период своей веры в коммунизм, — например, хорошо документированную книгу сэра Уолтера Ситрина<sup>35</sup>. Он встретился с еретиками, привлеченными его нонконформизмом: с Виктором Сержем, разумеется, но также с рабочим Ивоном, бывшим коммунистом, который прожил в СССР одиннадцать лет, а затем опубликовал в “Революсьон пролетарьен” брошюру, крайне враждебную сталинскому “отечеству трудящихся”; с синдикалистом Легэ, который посетил СССР в составе делегации “Друзей Советского Союза” и вернулся возмущенный условиями жизни советских шахтеров<sup>36</sup>. Таким образом, “Добавления” закрепили разрыв Жида с прокоммунистическим прогрессизмом. Писатель подтвердил и зафиксировал свою позицию. А в качестве ответной меры добавил к общей картине московские процессы и тысячи ссыльных: “Эти жертвы — я их вижу, слышу, чувствую рядом с собой. Их задавленные крики разбудили меня сегодня ночью; их молчание диктует мне сейчас эти строки... За них никто не заступает. Правые газеты в лучшем случае пользуются ими, чтобы бросить вызов ненавистному им режиму; те, кто принимают близко к сердцу идею справедливости и свободы, те, кто выступили в защиту Тельмана — Барбюсы и Ромен Ролланы, — они промолчали. И все еще молчат”<sup>37</sup>. А вместе с ними молчит вся огромная ослепленная толпа пролетариев<sup>38</sup>. Несколько недель спустя, в своем “Дневнике”, в записи от августа 1937 года, Жид задается вопросом: когда и как коммунистический дух перестал отличаться от фашистского?<sup>39</sup>

Случай Жида интересен тем, что на французском примере иллюстрирует общую неустойчивость антифашистского коммунизма, несмотря на огромное влияние последнего на общественное мнение. С одной стороны, желание бороться против гитлеровского террора, в сочетании с поворотом в политике Коминтерна, замечательно осуществленным Торезом и его товарищами, привлекло к коммунизму многих демократов и либералов. С другой, — существует сталинский Советский Союз, потенциальный союзник в борьбе против Гитлера, оказывающий помощь испанским республиканцам, но представляющий собой некий замкнутый, отторгнутый от цивилизованного мира, небывалый и загадочный режим, о котором доходят взволнованные противоречивые свидетельства. Эта двойственность могла бы быть терпимой для всех противников фашизма, если бы положительное отношение к Советскому Союзу не рассматривалось в качестве необходимого предварительного условия их участия в движении. Однако именно такое требование выдвигали коммунисты. Стратегия антифашистского Народного фронта — их изобретение, и они не собираются отказываться от своей руководящей роли. Поскольку они не наме-

рены принимать на себя правительственной ответственности (во Франции они от нее отказались), постольку они не способны занять независимую позицию по отношению к Советскому Союзу: во-первых, центр их движения находится в Москве, а во-вторых, защита и прославление отечества свободных от капиталистической эксплуатации трудящихся — их главная движущая пружина, тем более что речь идет о защите этого отечества от Гитлера. Но, с другой стороны, прославляемый ими СССР обвиняется многими критиками, среди которых наиболее пронизательные являются выходцами из коммунистических рядов, в том, что он столь же тоталитарная страна, как и нацистская Германия; они утверждают, что антигитлеровская борьба лишается смысла, если она должна сопровождаться наивным преклонением перед всем советским. Таким образом, антифашистский поворот в политике Коминтерна не разрешил, а только переместил противоречие, которое с самого начала тяготело над историей коммунизма: необходимость совместить идею и конкретную территорию.

Уже в годы формирования советского режима родилось первое поколение разочарованных: Ангелика Балабанова, Паскаль, Суварин, Монат, Росмер, к которым добавились, в “третий период” или в период левого поворота, Силоне, Таска, Морен, Марион. Жид принадлежал к числу более поздних разочарованных в антифашистском коммунизме. Их разочарование было связано не столько с опытом внутренней фракционной борьбы (хотя именно таким был случай Дорио), сколько со столкновением с реальностью сталинского Советского Союза. Они являются не столько аппаратчиками, связанными со столкновениями различных тенденций, — да и тенденций-то уже нет, — сколько партийцами или попутчиками, все более и более сомневающимися в возможности бороться за демократию под одним знаменем со Сталиным. Жид открыл путь, по которому, в период между Народным фронтом и германо-советским пактом, пошли открыто либо на цыпочках Манес Спербер, Луи Фишер, Кёстлер, Мальро, Фридман, Низан и многие другие. Они показали, что выдвинутое коммунистами требование обязательного просоветизма имеет свои пределы.

Однако не следует думать, будто спор о природе советского режима был единственным пунктом, в котором сталкивались мнения противников фашизма. Был и другой вопрос, вызывавший не менее страстную полемику и тоже так или иначе связанный с Советским Союзом: вопрос о мире и войне.

Франко-советский пакт, подписанный в мае 1935 года, и последовавшее за ним публичное одобрение Сталиным французских расходов на национальную оборону произвели смущение в умах и

в расстановке левых сил во Франции. Французские коммунисты никогда не были пацифистами, но они прекрасно уживались с пацифистами, очень многочисленными и влиятельными во Франции после первой мировой войны: в конце концов, антикапитализм и антимилитаризм в равной мере воодушевляли всех противников войны. А навязчивая идея совместного нападения империалистических государств на СССР — идея, упорно муссировавшаяся советской пропагандой “третьего периода”, — возрождала в умах память о борьбе против военной интервенции 1918—1919 годов. Но вот в мае 1935 года французским коммунистам приходится, как всегда, аплодировать Сталину, который внезапно опроверг все их антимилитаристские и антипатриотические заявления. Означает ли борьба против Гитлера отказ от борьбы против войны? Надо ли продолжать сражаться за революцию и мир?

Коммунисты страстно уверяют, что их позиции в этих вопросах не изменились. Однако выясняется специфический характер их пацифизма, и возникает новый спор об антифашизме, слишком важный, чтобы не уделить ему некоторого внимания. Мой первый пример связан с историей “Комитета бдительности интеллигентов-антифашистов”<sup>40</sup>, созданного в Париже на следующий день после мятежа 6 февраля 1934 года. Это была очень французская затея: объединить, независимо ни от каких партий, этих знаменитых “интеллигентов”, которые играют в национальной истории особую роль — роль глашатаев и защитников справедливости. В данном случае речь шла о том, чтобы под знаменем антифашизма продолжить великие традиции защиты демократии, которую Гитлер уничтожил в Германии, а во Франции стремятся сделать то же самое различные антиреспубликанские лиги. Память о деле Дрейфуса ожила с тем большей силой, что немецкие евреи подвергались преследованиям, а среди французских правых был силен антисемитизм. Таким образом, этот Комитет возник как предвестие надпартийного союза на гребне той же волны, которая вскоре приведет к созданию Народного фронта.

Знамя Комитета украшали три имени, служившие символом единства науки, литературы, университетского преподавания и интеллектуальной жизни вообще: это были имена Алена, Поля Риве и Поля Ланжевена. Ален, антимилитарист, прошедший войну 1914 года в качестве артиллериста и ставший национальной гордостью благодаря своей преподавательской деятельности и своим книгам<sup>41</sup>, формировал философское сознание нескольких поколений учащихся лицея Генриха IV, будущих студентов Эколь Нормаль. От его имени в Комитете будет работать его друг и почти двойник философ Мишель Александр, тоже преподаватель лицея Генриха IV, старый еврей-пацифист крайне левой ориентации;

он был сторонником одностороннего разоружения, противником сначала войны 1914 года, а затем послевоенного международного порядка победителей и Лиги Наций; он готов был извинить некоторые территориальные притязания Гитлера несправедливостями Версальского договора.

Поль Риве был социалистом. Выдвинувшись в Музее естественной истории и этнографии, который как раз в это время удостоился вхождения в систему Университета, он предложил идею создания Музея Трокадеро, который превратится в 1936 году в Музей человека; во главе группы сотрудников, таких как Гриоль, Лейрис, Метро, он откроет область гуманитарных наук для вневропейских обществ. Менее известный, чем Ален, в силу своей более узкой специальности, он был более чувствителен к опасностям, которые несла в себе нацистская идеология. В Комитете он занимал центристскую позицию, поскольку третьим членом триумvirата был физик Поль Ланжевен, симпатизировавший коммунистам. Ланжевен был знаменит как участник послевоенных пацифистских кампаний, опиравшийся на свой научный авторитет для доказательства неконтролируемого и разрушительного характера современной войны. Через посредство «Общего фронта против фашизма» Бержери он принял участие в движении Амстердам-Плейель, затем соскочил на позиции, близкие к коммунистам. Там он и останется.

Состав Комитета соответствовал треугольнику его создателей: около тысячи интеллигентов представляли в нем полную картину расстановки левых сил. Там была небольшая, но сплоченная группа коммунистов или сочувствующих коммунизму, возглавляемая Арагоном, Низаном, Вюрмсером, за которыми следовали Ланжевен, Жолио-Кюри, Ромен Роллан, Жан-Ришар Блок. Рядом с ними располагались социалисты разных оттенков (Андре Филип, Колеетт Одри, Андре Дельма, Виктор Баш и др.), радикалы (Альбер Бэйе), независимые — профессора, писатели, артисты (Андре Бретон, Гезно, Жоно, Рамон Фернандес, Люсьен Фабр, Марсель Батайон и др.). Эти имена принадлежали к более широкой сфере, чем та, которую охватывали политические партии, а некоторые партийные деятели пользовались более широким влиянием, чем их партии. Виктор Баш был председателем Лиги прав человека, Альбер Бэйе имел непререкаемый авторитет в области общественного просвещения, в то время как Андре Дельма был генеральным секретарем могущественного Национального профсоюза преподавателей. Таким образом, все эти левые интеллигенты на несколько месяцев опередили создание антифашистского союза между партиями. Усвоив урок немецких событий 1933 года, они выступили во Франции на защиту общественных свобод сразу же

после февраля 1934 года. Тем самым они подали пример рабочим организациям, заранее предложив им общее знамя и поддержав затем их требования в 1935 году.

Однако вскоре обнаружится двойственность этого примера. Первой показав возможности объединения, левая интеллигенция первая же продемонстрировала неизбежность раскола. Роль яблока раздора сыграли не определение и не оценка фашистской опасности, а связь между антифашистской борьбой и борьбой за мир. По первому пункту разногласий не было: опираясь на пример Германии, все видели в фашизме продукт кризиса капитализма и угрозу демократии. Все боялись, что эпидемия перекинется во Францию, и даже преувеличивали эту опасность: события 6 февраля потрясли республиканское общественное мнение и заставили многих видеть за фигурой полковника де Ла Рока тень Гитлера. В эту эпоху, благодаря антифашистскому движению, термин “фашистский” приобретает все более широкое распространение.

Но оставался вопрос, как должна отразиться антифашистская борьба на борьбе против войны. Сначала все члены Комитета бдительности были согласны в том, что антифашизм не может быть ни предлогом, ни оправданием для какой бы то ни было войны. В начале 1934 года коммунисты еще сохраняли верность лозунгам “третьего периода”, направляя свои усилия и пропаганду на борьбу “против фашизма и войны”. Поскольку фашизм — зло, свойственное всем капиталистическим странам, а высшее выражение этого зла — империалистическая война, то нет принципиального различия между этими двумя бедствиями: кто избегает одного из них, избегает и другого. Антифашист — это пацифист, и наоборот. Многие из числа самых влиятельных членов Комитета бдительности принимали участие в движении Амстердам-Плейель, где имели возможность пустить в ход эти рассуждения, скрывавшие некую двусмысленность.

В самом деле, поворот в политике коммунистов, совершившийся в 1934—1935 годах, исходил из возможности, что новая война не будет ни войной империалистической коалиции против СССР, ни войной между империалистическими державами, но столкновением с нацистской Германией, в котором СССР сможет принять участие на стороне объединения демократических государств, которое тем самым уже не сможет считаться империалистическим. А следовательно, долг антифашиста уже не состоит в том, чтобы предотвращать войну, борясь против империализма своей собственной страны или ведя переговоры с возможным противником, а также, если война началась, бороться за ее прекращение. Если фашистская опасность отныне воплощается в нацизме, то в антифашизме, даже во Франции, на первое место выдвигает-

ся противодействие проискам Гитлера, что ведет к пересмотру классических требований пацифизма. В этом суть того переполоха, который начался среди французских левых после заявления Сталина от 15 мая 1935 года.

В момент, когда СССР решил присоединиться к Лиге Наций, пацифисты продолжали видеть в этой организации всего лишь орудие в руках победителей 1918 года. Когда Гитлер метал громы и молнии против версальской системы, они наполовину были согласны с ним, поскольку и сами они продолжали бороться против Версальского договора, который, по их мнению, породил Гитлера. Когда французские коммунисты стали патриотами, пацифисты упрекали их в том, что те отказались от борьбы против своей буржуазии ради возврата к старому антигерманскому шовинизму. Заранее согласиться на войну против Гитлера, говорили они, значит не только соскользнуть в старую колею франко-русского союза, но и оказать помощь фашизму под видом антифашизма, ибо война создает для фашизма наиболее благоприятные условия. Так опыт 1914—1918 годов все еще поддерживал страсти радикального пацифизма.

Первые дебаты по международным проблемам выявили в Комитете традиционное единство взглядов по вопросу о пересмотре версальских договоров и разоружении. В октябре 1935 года, в момент вторжения итальянских войск в Абиссинию, Комитет также был единодушен в требовании воздействовать на Муссолини с помощью экономических санкций. Но в конце того же года возникают разногласия между сторонниками и противниками переговоров с Гитлером о пересмотре условий Версальского договора. 5 января 1936 года Аллен пишет открытое письмо Риве и Ланжевену: "...По вопросу о войне и мире я не вижу, чтобы у свободных людей была единая позиция. Одни склоняются, не всегда отдавая себе в этом отчет, к превентивной войне, которая уничтожит военные диктатуры. Другие упорно ищут средства избежать любой войны, даже войны по праву". Философ ставит вопрос о пересмотре версальских договоров, в то время как советская дипломатия, а вслед за ней и все коммунисты, уже перестали об этом говорить. Свою позицию он подтверждает в марте, в момент занятия Рейнской области войсками Гитлера: в глазах пацифистов это только доказывает, что нужно восстановить справедливый международный порядок, чтобы лишить Гитлера выгодной роли защитника немецкого народа от нанесенных ему обид.

Сила аргументации пацифистов заключалась в том, о чем они умалчивали: в справедливости их подозрений, что истинной причиной изменения политики коммунистов была их подчиненность

целям сталинской дипломатии. Ошибка же пацифистов состояла в том, что они рассматривали Гитлера как обыкновенного диктатора-националиста типа Муссолини, не понимая истинной природы нацизма. Коммунисты же, напротив, извлекли преимущество из своей зависимости от Москвы. То, что до сих пор было их слабостью, стало их силой, поскольку Советский Союз, как кажется, ориентируется на союз с Францией, а революционный патриотизм — чувство более естественное, чем революционное поражение. Однако противоречие между двумя концепциями антифашизма было непримиримым. Полемика между ними становилась все более едкой, с той и с другой стороны раздавались обвинения в прислужничестве перед Москвой и в скрытом пособничестве фашизму. Разрыв произошел в июне 1936 года, на Конгрессе комитетов бдительности, в разгар электорального триумфа Народного фронта.

Как это часто случается, раскол произошел по процедурным вопросам, за которыми скрывались политические разногласия. Потерпев поражение, Поль Ланжевен и его друзья покинули бюро Комитета и были заменены новыми членами, более близкими к пацифизму, чем к коммунизму, такими как Марк Делези, Жюль Исаак, Магдалена Пас, Жан Геэнно, Морис Лакруа, Марсель Батаян, хотя вновь избранные и не занимали таких крайних позиций, как Ален или Александр. Большинство из них требовали прежде всего пересмотра версальских договоров, чтобы лишить почвы нацистскую пропаганду. Поль Риве, которому не удалось предотвратить раскол, подал в отставку с поста президента, но его отставка оказалась временной, так как он вернулся к своим обязанностям в январе 1937 года.

Коммунисты ушли, проблемы остались. Испанская война вновь обострила полемику между теми, кто выступал против фальшивой политики невмешательства и требовал отмены эмбарго на оружие, и радикальными пацифистами, решительными противниками любой гонки вооружений. Первые подчеркивают разницу между своим отказом от антифашистского крестового похода и конкретной ситуацией в Испании, где отсутствие помощи, в том числе и не прямой, означает предательство республики перед лицом фашизма. Но забота о сохранении единства Народного фронта работает в пользу вторых. После окончания войны мы уже успели забыть, сколь большое влияние в ту эпоху оказывал пацифизм на всю некоммунистическую часть левого спектра. Большинство социалистической партии, под водительством Поля Фора, стояло на позициях страстного отрицания войны. Эти позиции разделяла ВКТ, где задавал тон Национальный профсоюз преподавателей, оказывавший большое влияние на формирование об-

шественного мнения. К тому же политическому полюсу стал склоняться Комитет бдительности после ухода оттуда коммунистов: его непримиримость дошла до того, что, созданный для борьбы с фашизмом, он кончил тем, что стал бороться за переговоры с фашизмом. Летом 1938 года он будет одним из центров пропаганды в пользу мюнхенских соглашений. В этот момент Поль Риве покинет своих друзей, и в Комитете останутся только “подлинные пацифисты”, которые и проиграют свое последнее сражение летом 1939 года.

Для истории, которую я пытаюсь обрисовать, интересно отметить, что эти крайне левые пацифисты, имевшие превратное представление о Гитлере, прекрасно понимали, кто такой Сталин; все происходило так, как будто политическая сцена того времени была населена людьми, сознание которых было поражено односторонним параличом. Попутчики компартии были проницательны по отношению к Гитлеру и слепы по отношению к Сталину. Непримиримые защитники мира были слепы по отношению к Гитлеру и проницательны по отношению к Сталину. Нацистского диктатора они принимали за нового Вильгельма II, которого можно умиротворить, отдав ему несколько кусков его бывшей колониальной империи<sup>2</sup>. Но что касается Сталина, то его расчеты они разгадали уже в 1935 году, в момент заключения пакта с Лавалем: раз уж война неизбежна, считал советский диктатор, пусть она начнется на Западе. В Народном фронте смешались эти две группировки левых (может быть, надо сказать — “крайне левых”); они вместе вели борьбу за социальный прогресс и вместе одержали победу над силами реакции. В момент, когда произошло объединение левых сил в Народном фронте, в 1934—1935 годах, признание единства взглядов по международной политике не рассматривалось как условие такого объединения; впрочем, в то время, как показывает история Комитета бдительности, противостояние было еще только потенциальным: последствия поворота в коммунистической политике стали очевидны только после одобрения Сталиным французских военных расходов. Сама эта политика проводилась неравномерно: реакция ФКП на занятие Гитлером Рейнской области в марте 1936 года не идет ни в какое сравнение с той кампанией, которая была развернута в июле в связи с Испанской Республикой. Во втором случае в деле был замешан Советский Союз, в первом случае — нет.

Народный фронт оказался действенным инструментом эмансипации трудящихся классов страны, но он с самого начала был внутренне слишком расколот, чтобы быть в состоянии подготовить нацию к испытаниям, которые ее ожидали. Не все в этом поражении может быть отнесено на его счет: и английская дипломатия, и

состояние французского общественного мнения, и обоснованное недоверие к Сталину, — все это, как мы видели, помешало последовательной и твердой политике в отношении Гитлера. На счет Народного фронта следует отнести то, что составляет его собственную прерогативу: внутренний разброд, прикрываемый громкими словами о международном арбитраже. Это тот самый внутренний надрыв, который Леон Блюм пережил на личном опыте как фатальное следствие всего того, что принудило его к политической активности. Пацифист сердцем и разумом, социалист, верящий в Лигу Наций, сторонник англофильской традиции, противник большевизма с первого же часа, враг нацизма, не вызывающий никаких подозрений, — председатель правительства Народного фронта обладал всеми этими качествами, но каждое из них противоречило другому. Он не мог с легким сердцем согласиться ни с неизбежностью войны, ни с уклонением от нее любой ценой; ни с интервенцией в Испании, ни с политикой невмешательства; ни с форсированным вооружением, ни с Мюнхеном. Он был самым умным свидетелем того тупика, в который углублялась Франция после своей победы в 1918 году.

Таким образом, следует отказаться от примитивного представления, согласно которому в эти годы лагерь последовательных антифашистов во главе с коммунистами противостоял более или менее прогитлеровскому правому лагерю, заранее предпочитавшему национальную катастрофу успеху коммунистов и поддержанному пацифистски настроенной интеллигенцией, в дальнейшем ставшей на путь “коллорабационизма”. Реальное положение вещей было во всех отношениях более сложным. Во-первых, потому что во Франции не было сколько-нибудь влиятельной “прогитлеровской” идеологии, если не считать смутного тяготения к фашизму муссолиниевского типа. Во-вторых, потому что главным вопросом был вопрос поддержания мира, который ни в коем случае нельзя смешивать с выбором в пользу фашизма. Крайний пацифизм, действительно, мог толкнуть некоторых интеллигентов в сторону Германии: Рамон Фернандес, один из членов-основателей Комитета бдительности интеллигентов-антифашистов, во время войны кончит “коллорабационизмом”. Но это — частный случай, и произойдет он лишь позже. А вплоть до войны французский пацифизм, даже мюнхенского толка, будет в подавляющей своей части ориентирован влево.

Наконец, остается вопрос коммунизма/антикоммунизма. В нем много аспектов. Самый классический связан с той ненавистью и недоверием, которые вызывает в правых кругах и вообще у буржуазии коммунистическая политика, куда бы она ни была направлена. В глазах антикоммунистов поворот 1934—1935 года уси-

лил угрозу социальному порядку, распространив влияние ФКП на победоносное левое движение и на само правительство. Сколько бы компартия ни повторяла свои обещания защищать республику, как бы ни осуждала все разновидности гошизма, сколько бы ни протягивала руку католикам и патриотам, ее все равно подозревали в том, что она изменила свои методы, но не цели. Стремительность, с которой она, по одному слову Сталина, поменяла свою позицию в отношении национальной защиты, показала, что ни о какой независимости здесь не может быть и речи. Те же самые партийные активисты, которые еще вчера поносили родину вместе с версальскими договорами, сегодня стали требовать объединения всех французов против Гитлера. Сомнение вызывал не их дух самопожертвования, а их устойчивость, независимость их суждений, а следовательно и долговременность их новой стратегии.

Так и сила, и слабость коммунизма связывались с его высшим реальным воплощением — Советским Союзом. Силу давала большевистская революция, поддержанная огромной страной, организованной по новым принципам; своим идеологическим, политическим и военным присутствием она помогала антифашистам противостоять идеям и действиям Гитлера. Но в столь тесной зависимости от СССР заключалась и слабость коммунистического антифашизма. Готовность вести войну с нацистской Германией бок о бок с СССР содержала в себе риск захвата Красной Армией стран восточной Европы, и прежде всего Польши; рискованным представлялся и расчет на прочность союза между капиталистическими демократиями и сталинским Советским Союзом. Но как бы то ни было, антифашистская политика коммунистов мешала западным дипломатам осуществить их любимый расчет: направить Гитлера на восток, даже если при этом придется пожертвовать странами, отделяющими его от СССР.

Очень важен вопрос о природе советского режима, от решения которого, по мнению многих интеллигентов, в конечном счете зависит все остальное. Если Советский Союз можно определить как антифашистское государство, то как же радикальному антифашизму не опираться на его мощь? Но как быть, если это государство “тоталитарное”, или просто диктаторское, как и Гитлер, враждебное свободе? Французским или английским правым не нужно долго рассуждать на эту тему: их ненависть к советскому режиму предопределяет ответ. Но значительная часть общественного мнения, в центре и в левой части политического спектра, не может реагировать так просто. Если Советский Союз претендует на роль авангарда в борьбе против фашизма и если, чтобы быть антифашистом, необходимо, как того требуют коммунисты, занимать

просоветские позиции, то, следовательно, союз с СССР нельзя рассматривать просто как необходимость, продиктованную временными обстоятельствами и дипломатическими соображениями; надо, стало быть, проверить, насколько эта страна соответствует своим притязаниям на то, чтобы воплощать идею антифашизма. Такое рассмотрение станет заслугой левых сил, в то время как раньше чаще всего ограничивались анафемой.

Однако в годы, к которым мы подошли, СССР переживал один из худших периодов в своей истории, озаглавленный Большим террором. Жид увидел только его поверхность. Уже после его знаменитого “Возвращения”, в 1936—1939 годах, большие московские процессы показали масштабы происходившей чистки, а также ранее неизвестный феномен признаний-самооговоров, в которых обвиняемые подтверждали не только свою виновность, но и мудрость власти, посылавшей их на расстрел. Одно из назначений московских процессов состояло в том, чтобы наглядно продемонстрировать радикальную bipolarизацию политики, которая теперь вся сводилась к борьбе между фашизмом и антифашизмом: Троцкий выставлялся теперь не несогласным и побежденным большевиком, но пособником нацистов. Неправдоподобие того, что происходило на этих сфальсифицированных процессах, где перед трибуналом представляли сломленные люди, не отвратило верующих. Однако в праздничный трезвон по поводу рождения “нового человека” и счастливой колхозной жизни они внесли хоть и слабый, но болезненный диссонанс, который, несмотря на все усилия, уже не удалось заглушить. Большинство мировых интеллектуальных знаменитостей не пожелали его услышать. Но для тех, кто шел по пути, проложенному Паскалем, Сувариным, Росмером или Силоне, московские процессы осветили зловещим светом страну, которую они некогда любили. Виктор Серж, только что высланный из СССР, вновь кидается на амбразуру, выступая с многочисленными анализами и предупреждениями. Одним из первых он заговорил о системе советских тюрем и лагерей как об особом мире: “Ни оптимистическая статистика, ни свидетельства туристов, пересекающих Евразию в спальнях вагонов, не могут заглушить ужасный ропот, доносящийся до нас из тюрем и лачуг”<sup>43</sup>. Другой партийный активист, ускользнувший с советской каторги, хорват Анте Цилига, опубликовал в 1938 году в издательстве Галлимар обширный репортаж о мире советских концлагерей — “В стране великой лжи”. Книга не имела никакого успеха, но подготовила почву для Кравченко в послевоенные годы и великих диссидентов 60—70-х годов. Политические процессы и концентрационные лагеря дали в 1937—1939 годах толчок к новому разочарованию в коммунизме, которое завершил германо-советский пакт.

Таким образом, советская действительность, словно подавленное угрызение совести, время от времени всплывает в сознании коммунистического антифашизма, грозя разрушить его целостность: если Советский Союз под маской власти рабочего класса скрывает столь всеобъемлющую и лютую полицейскую диктатуру, то как же можно делать из него знамя борьбы против фашизма? Неистребимый, возникающий вновь и вновь, этот вопрос подрывает абстрактную схему противопоставления Сталина, как воплощения социализма, Гитлеру, как порождению капитализма. Чтобы почувствовать глубину противоречия, обратимся еще раз к Лиге прав человека, самому представительному форуму антифашистской Франции<sup>44</sup>.

Лига родилась в ходе борьбы против юридического террора во время дела Дрейфуса. В нее вошли представители буржуазной интеллигенции, профессора и адвокаты, по традиции и по профессии особенно чувствительные к нарушению прав человека в мире; 1789 год им был ближе, чем 1917, а масонская идеология — ближе, чем марксизм-ленинизм. Первый московский процесс 1936 года, когда все взоры были обращены к Испании, поразил этот артефакт антифашизма, как удар грома. Казни по приговору тайного суда во имя общественного спасения ошеломили бы этих демократов меньше, чем советское открытое судилище над соратниками Ленина на основании их неправдоподобных признаний. Президент Лиги Виктор Баш тут же предложил заявить протест<sup>45</sup>, но речь шла об СССР, и потому было решено создать комиссию по расследованию.

Первые выводы этой комиссии<sup>46</sup> были представлены уже 18 октября 1936 года ее докладчиком, госпожой Розенмарк, членом юридического совета Лиги. Докладчик коротко, лишь в качестве введения, останавливается на некорректности московского процесса с точки зрения французского права: гражданские лица судимы военным судом, нет гласности следствия, нет защитников и свидетелей, прокурор Вышинский позволяет себе оскорбительные выражения. Но почти весь доклад вращается вокруг главного вопроса — о признаниях как проблеме права. Эти признания, несмотря на их необычайность, следует считать приемлемыми и, следовательно, достоверными в силу того, ни одно из них не было взято назад в ходе процесса, а все они были повторены шестнадцатью обвиняемыми из шестнадцати присутствовавших: “Противоречит всем данным истории криминалистики предположение, будто пытками или угрозами пыток можно заставить невиновных оговорить себе в пропорции шестнадцать из шестнадцати”<sup>47</sup>. Тем не менее, в заключение доклад указывает на необходимость получить более обширную информацию в том отношении, что московский

процесс выявил существование нацистского заговора, затрагивающего ряд третьих стран; СССР оказался не единственной, хотя и главной, мишенью этого заговора, подобно тому как в другое время была мишенью заговорщиков революционная Франция: “Мы пришли бы к отрицанию Французской революции, которая является, по известному выражению, “единым целым”, если бы стали отрицать право другого народа сокрушить поджигателей гражданской войны, заговорщиков, действовавших заодно с границей”<sup>48</sup>.

Комиссия, стало быть, продолжила работу. К трем ее членам, в лице самого Виктора Баша, Миркина-Гецелевича, председателя русской Лиги прав человека, и Розенмарк, присоединились еще двое — историк радикал-социалист Альбер Бэйе и адвокат Морис Пас. Она приступила к работе как раз вовремя, чтобы рассмотреть материалы второго московского процесса, открывшегося в январе 1937 года против нового отряда старых большевиков, среди которых на первом месте фигурировали Радек и Пятаков. Широкие публичные дебаты развернулись на конгрессе Лиги в июле того же года, как раз после завершения третьего большого московского процесса, на этот раз закрытого, в ходе которого были осуждены высшие руководители Красной Армии, тоже оказавшиеся замешанными в гитлеро-троцкистский заговор.

Атаку на доклад Розенмарк повел старый пацифист Фелисьен Шаллэ, бывший коммунист и попутчик с 1920 года, в 1935 перешедший на резко враждебные СССР позиции. Он доказывал недостоверность признаний, вырванных с помощью страха, нелепость обвинений и упрёк Лигу в том, что под видом беспристрастия она стала на сторону палачей против их жертв. Печатный орган Лиги (“Кайе де друа де л’омм”) дошел до того, что отказался публиковать опровержение доклада Розенмарк, сделанное Магдаленой Пас! Со стороны литераторов Шаллэ получил поддержку Алена, Андре Бретона, Жана Жионо, Жоржа Батайя. Поддержал его во время заседания и Жорж Пьюш (Püsch), также принадлежавший к антикоммунистической левой после того, как в начале 20-х годов был одним из лидеров молодой ФКП. Он предостерег своих коллег по Лиге против мыслительных схем, которые рискуют затемнить их понимание идущих в Советском Союзе процессов: он имел в виду прежде всего аналогии с Французской революцией и шантаж антифашистским единством. Затем последовала контратака Розенмарк, которая снова пыталась доказать, опираясь на прессу, а также на французскую и английскую юриспруденцию, что признания обвиняемых носили добровольный характер и вполне заслуживают доверия!

Председательствующий должен был завершить эти дебаты, часто прерывавшиеся более или менее любезными репликами. Вик-

тор Баш<sup>49</sup> пользовался большим моральным авторитетом среди присутствующих, хотя руководить членами Лиги было нелегко, а объединить их — и того труднее: они были нетерпимы к любой дисциплине, а большинство из них — к тому же были раздираемы внутренними противоречиями, теми же самыми, что и весь антифашистский лагерь, одновременно победоносный и непрочный. Но их председатель был сформирован иным временем, не таким двойственным, как нынешние времена. Родившись в Братиславе, в семье венгерских евреев, за полвека до начала первой мировой войны, Виктор Баш стал французским гражданином, воспитанным республиканской школой и делом Дрейфуса. Филолог-германист, ставший профессором Сорбонны в 1906 году, он был скромным сподвижником Жореса в борьбе за социализм и мир; в 1907 году он стал членом центрального комитета Лиги по правам человека. Начало войны не вызвало у него особого душевного потрясения, так как он считал, что право на французской стороне, но он не стал сторонником войны до победного конца. Его настоящим моральным и политическим отечеством не переставал быть республиканский универсализм французского типа, который он, вслед за Жоресом, связывал с социалистическим будущим и мирным развитием рабочим классом идеалов Французской революции. Такое стремление к примирению идей естественным образом привело к его избранию в 1926 году президентом Лиги, а с 1933 выдвинуло его на острие антифашистской борьбы. Он, с 1918 года не перестававший проповедовать примирение с Германией, снова втянулся в историю с крестовым походом демократии против страны, литературу которой он так давно преподавал. Отныне Гитлер стал его главным врагом. Виктор Баш был в первых рядах борцов за Народный фронт и за помощь республиканской Испании. В Лиге он располагал большинством, но ему теперь оппонировали пацифисты.

Спор 1937 года затрагивал его убеждения и ставил перед дилеммой. Он не симпатизировал большевикам и не разделял их нетерпимости. Но ни в его опыте, ни в его политическом мировоззрении не было ничего, что помогло бы ему понять их; он испытывал склонность воспринимать этот далекий мир через призму идей, которые сделали бы его более знакомым, и объяснять происходящие там нарушения прав человека как преходящее следствие угрозы, нависшей над революцией. К тому же, разве те, кто сейчас наиболее пылко выступают против московских процессов, не были раньше горячими сторонниками Ленина? Сам Виктор Баш в свое время заявил себя противником террора Ленина и Троцкого, и теперь это побуждает его проявить осторожность в оценке московских процессов. Он ведет себя так, как будто приоритет в критике рож-

давшегося советского режима обязывает его к особой осмотрительности, когда речь идет о сталинском терроре. Он действует в соответствии со ставшим классическим подходом, требующим, ради явшащегося беспристрастия, отстранить от дискуссии тех противников коммунизма, которые раньше были его сторонниками.

Французские левые, столкнувшиеся между собой в связи с московскими процессами, в действительности одновременно спорили и по поводу положения антифашизма во Франции. И так будет на протяжении всего столетия и по всей Европе: везде за спорами по поводу советского режима скрывается столкновение конкретных политических сил внутри страны. Во Франции 1937 года, где одержавшая победу антифашистская коалиция уже дала трещину, вопрос о терроре в СССР грозил подорвать дух Народного фронта. Фелисьен Шаллэ, ветеран непримиримого пацифизма, ставил вопрос о терроре с тем большей резкостью, что ему был ненавистен воинственный уклон, который стремились придать антифашизму коммунисты. Виктор Баш реагировал противоположным образом: он не хотел знать о преступлениях Сталина, так как это помешало бы борьбе против Гитлера<sup>51</sup>. По рождению и по профессии он принадлежал к тем нескольким десяткам тысяч людей, которые сразу поняли замыслы Гитлера: евреи германского происхождения были в первых рядах его врагов уже с 1933 года. Приемный сын французской демократии, Виктор Баш стал одним из носителей ее нравственности; он чувствовал себя вправе говорить громко и открыто, в отличие от евреев, изгнанных из Германии и Австрии, которые вынуждены были помалкивать: ведь во Франции не любят тех, кто возвещает беду, особенно если они евреи.

Вот почему Виктор Баш упирается, не желая подрывать единство Народного фронта, которому он отдал столько сил. Хотя он не скрывает своих сомнений относительно московских процессов, он не хочет, чтобы разразившаяся дискуссия помешала совместным действиям против Гитлера. Но и помешать этому он не в силах. Доклад Розенмарк, которому он дал свое благословение, как раз и является плодом такой добровольной полуслепоты и соответствует настроением большинства членов Лиги<sup>52</sup>. Несколько месяцев спустя после этой победы он продолжает успокаивать себя с помощью любимой ссылки: «Наша революция тоже пролила кровь тысяч невинных, и тем не менее, если бы нам, демократам, задали вопрос: что вы предпочитаете — революцию с ее преступлениями или отсутствие преступлений вместе с отсутствием революции — кто из нас сделал бы выбор в пользу второго решения?»<sup>53</sup>

Тем временем лидеры меньшинства — Шаллэ, Пьош, Бержери, Мишель Александр, Магдалена Пас и другие — покинули Лигу.

Многие из них, трезво понимая суть московских процессов, закрывали глаза на воинственные намерения Гитлера<sup>31</sup>. Виктор Баш и пошедшее за ним большинство не обманывались на счет Гитлера, но не пожелали осудить сталинский режим.

Чтобы закончить нашу политико-идеологическую инвентарную опись, нам осталось рассмотреть еще одну идейную группировку, ныне почти забытую, но в свое время достаточно многочисленную среди французских интеллектуалов: речь идет о тех, кто в разной степени сочетал симпатию и к коммунизму, и к фашизму. Они не торопились примкнуть к антифашистской коалиции, хотя и не испытывали любви к консервативной буржуазии. Не правые и не левые, они лишь отчасти относятся к предмету нашего исследования, но, тем не менее, помогают его раскрытию, являя собой дополнительный аспект отношения к советскому коммунизму на Западе.

Если верить тому, что сам СССР говорит о себе, то там уже создан рай “реальной свободы”. Если же посмотреть на то, что там творится в действительности, то перед нами возникает картина общества, где индивид целиком подчинен государству. Но сама эта элементарная и относительно нейтральная констатация могла в дальнейшем развиваться как в положительном, так и в отрицательном духе; в обоих случаях происходит сближение коммунизма и фашизма — либо в общей ненависти к ним обоим, либо, напротив, чтобы увидеть в каждом из них пример одного и того же феномена: преодоления современного индивидуализма. В обоих разновидностях современных “тираний” — если воспользоваться терминологией Эли Азеви — либералы ненавидят всевластие партии, отмену свобод, смешение властей, культ вождя. Но враги либерализма могут одобрять в тех же тоталитарных режимах конец индивидуалистической анархии, восстановление сильной власти, сплочение народа ради великой общей цели: в 30-х годах эта последняя группа интеллектуалов была более многочисленной, сильной и писучей, чем первая. Хотя люди такой направленности и сейчас живут среди нас, нам трудно себе представить, каким влиянием они пользовались: после 1945 года фашизм, благодаря своим преступлениям, был поставлен вне человечества. Однако исторический подход требует, чтобы мы поняли: прежде чем быть побежденным и проклятым, фашизм был для многих европейских интеллектуалов такой же надеждой, как и коммунизм.

Двойственность фашизма связана с тем, что он родился как младший брат и одновременно — как враг коммунизма; и он многое заимствовал у своего соперника, чтобы тем вернее его нейтрализовать. Во времена Сталина коммунизм приобрел новые черты, которые усиливали аналогии с фашизмом: упор на национальный

характер, создание нового порядка, культ вождя. Мы видели, каким влиянием на немецких правых пользовался “национал-большевизм”. Но и Франция в этом отношении не осталась в долгу: недаром критика буржуазного общества была здесь так широко распространена как в левой, так и в правой части спектра интеллектуальной жизни. “Аксьон франсез” была первой лавочкой по торговле такого рода политическим товаром, и в число ее клиентов входило большинство писателей в период между двумя войнами. Один из них, Жорж Валуа, последователь Моррасса с примесью “сорелизма”, поклонник Муссолини и, вероятно, первый по времени французский фашист, так определял, уже в 1925 году, братство фашизма и коммунизма: “Кто бы из них ни выиграл и ни проиграл другого, коммунизм в России и фашизм в Италии приведут к одинаковым результатам. Не будет парламента, не будет демократии, будет диктатура и нация, которая сама себя сформирует. После того как вышвырнут буржуазию, союз между Государством и народом заставит каждого подчиниться национальной дисциплине... Фашизм взял у “Аксьон франсез” и у социализма все лучшее, что у них было. И он становится в Европе синтезом всех позитивных антидемократических движений”<sup>54</sup>.

Этот текст был первой ласточкой: в последующие годы во Франции появилось множество сочинений такого рода, проповедующих бракосочетание революции и нации. Но их сторонники так и не создали самостоятельной политической силы; тем более не могло этого быть в 1934—1936 годах, когда коммунистам удалось завладеть инициативой создания антифашистского Народного фронта. Тем не менее, их существование во французском контексте показывает, что даже в период острой борьбы между правыми и левыми по поводу фашизма оставалось еще политическое пространство для тех сторонников фашизма, в чьих глазах советский опыт также обладал привлекательностью. Пример тому — судьба Дриё ла Рошеля, колеблемого волнами, неспособного найти опору для действия, но одержимого желанием разгадать смысл происходящего и принять в нем участие.

Не столь одаренный, как Мальро, он чем-то его напоминал и был, к тому же, его другом. Он так же любил грохот истории, людей действия, смутные идеи, верность, невзирая на противоречия. Но Мальро чуял великие события века и хватал их за волосы, чтобы творить из них свой образ и свои книги. Дриё не замечал этих возможностей, упускал их и в результате погиб. Его погубили скрывавшиеся под его литературным дендизмом фашистские страсти — такие как ненависть к свреям, франкмасонам и депутатам. Он не обладал ни достаточно ярким талантом, ни достаточно сильным характером, чтобы возобладать над этими чувствами,

продиктованными временем, но остался характерным примером того состояния умов, о котором сейчас идет речь.

Возмужав в окопах первой мировой войны, он прошел через “Аксьон франсез” и увлечение сюрреализмом. Молодой фронтовик, патриот и пацифист в одно и то же время, он был другом Раймона Лефевра, одного из основателей французского коммунизма<sup>55</sup>. В своих политических статьях 20-х годов он выступал за федеративную Европу, единственно способную спасти старые нации, зажатые между СССР и Соединенными Штатами, от войны и упадка. Его писания были проникнуты враждебностью к капитализму и либеральной анархии. В начале 30-х годов он занимает скорее левые позиции, близкие к Бержери и его антифашистскому “Общему фронту”, но в то же время принадлежит к тому неустойчивому, колеблющемуся то вправо, то влево течению интеллигенции, где постоянно сменяются люди и идеи — антибуржуазные и антилиберальные, требующие планификации и национального возрождения, разрываемые между двумя полюсами притяжения: коммунизмом и фашизмом. В момент создания Народного фронта Дриё склоняется к фашизму, но во имя идеалов коммунизма: “Я пришел к убеждению, что фашизм — это необходимый этап разрушения капитализма. Ибо фашизм не помогает капитализму, вопреки тому, что думают антифашисты, вопреки тому, что думает большинство тех, кто примыкает к фашизму... Фашизм создает переходную цивилизацию, в которой капитализм, как он сложился в предшествующий период великого процветания, приходит к быстрому разрушению”<sup>56</sup>.

В том же 1934 году, со своей вечной способностью все делать невпопад, Дриё опубликовал маленькую книжку, озаглавленную “Фашистский социализм”<sup>57</sup>, своего рода новый “опыт о революции” как необходимой модальности перемен. Европа приобрела свой нынешний исторический облик только в результате первой волны “демократических и парламентских” революций, начало которым положила Англия в XVII веке. Октябрь 1917 года открыл новую серию революций, включая перевороты, совершенные Муссолини и Гитлером. И поход на Рим, и взятие власти нацистами Дриё рассматривает в связи с большевизмом, и не как противодействие ему, а как его производные. Точно так же, как Октябрь был не “пролетарским”, а авторитарным, не марксистским, а ленинским, установившим диктатуру не класса, а партии, — фашистские революции, ставшие необходимыми в силу кризиса капиталистической экономики и парламентской демократии, являются “социализирующими и авторитарными”, призванными передать власть политической аристократии, группирующейся вокруг вождя. Сталин, Муссолини и Гитлер ведут одну и ту же борьбу

бу, одновременно революционную и национальную: “Интересы нации и революции сливаются воедино в глазах русской молодежи, как и в глазах молодежи итальянской или немецкой”<sup>58</sup>.

Так Дриё по-своему выражает всевластие революционной идеи над умами. Как и левые, он считает революции необходимыми событиями, имеющими особое историческое значение. Но, следуя логике своих сопоставлений, он смещает акцент с класса на партию, новое божество эпохи. В его глазах большевизм и фашизм не разделены такими марксистскими категориями, как пролетариат и буржуазия. Напротив, они объединены общим стремлением сделать “управляемыми” современные нации. Буржуазия — это всего лишь экономический класс, по определению не способный сформировать политическую элиту. Так же обстоит дело и с рабочим классом. Нет больше ни классов руководящих, ни классов революционных. В этой пустоте революции XX века стремятся опираться на единую партию, состоящую из специально отобранных и выращенных руководителей во главе с Большим вождем. Ленивый и безвольный Дриё зачарован загадкой политической воли, которая была также навязчивой идеей его эпохи<sup>59</sup>.

Однако родство антидемократических режимов, возникших после 1917 года, не помешает им воевать между собой. Напротив, — поскольку на вчерашние распри они накладывают сегодняшние идейные амбиции, неотделимые от революций: “...Германия (гитлеровская или нет) остается для России сильным соседом, соперником над ней техническое превосходство. Затем, между полусоциализмом немецких фашистов и полу-социализмом русских коммунистов существует та же самая глухая родственная вражда, какая существовала между империализмом Романовых и империализмом Гогенцоллернов и Габсбургов. И с той и с другой стороны наличествует крепкая национальная база и вдобавок — стремление распространить свою веру на весь мир. Что и приводит к борьбе”<sup>60</sup>. Итак, в ближайшем будущем Дриё не видит ничего, кроме упадка и разрушения капиталистических демократий Запада. Им на смену придет Европа Гитлера или Сталина.

Когда Дриё писал эти строки, он еще не был фашистом, даже если мы можем угадать в них побежденного человека, который запишет десять лет спустя в своем дневнике, от 10 июня 1944 года: “Мои взгляды обращены в сторону Москвы. Среди разгрома фашизма, мои последние мысли связаны с коммунизмом”<sup>61</sup>. Однако интерес свидетельства 1934 года не в этом слишком прямом предвосхищении; впрочем, путь писателя к национал-социализму слишком необычен, чтобы быть типичным. Зато вполне типична для 1934—1936 годов эта двойная зачарованность многих интелли-

гентов фашизмом и коммунизмом, в которой проявляется неприятие буржуазного общества, в котором они живут.

Но в противоположность Дриё, большинство этих интеллигентов было тем менее склонно доводить свою приверженность к фашизму до прямой партийной вовлеченности, что в предвоенные годы и во время войны Франция была противником, а потом жертвой гитлеровской Германии. А после войны ни один из них уже не вспомнит, что некогда рассматривал национал-социализм как социальный или политический эксперимент, достойный интереса! Каждый захочет вписаться в отныне сакрализованное пролитой кровью двухполюсное пространство и, разумеется, на стороне победителей. Ведь другой полюс теперь существует только как воплощение преступления. Но раньше дело обстояло несколько иначе, и достаточно просмотреть политическую литературу того времени, как правую, так и левую, чтобы увидеть, сколь большое место занимает в ней муссолиниевская диктатура и немецкий национал-социализм. Посвященные им работы чаще всего не очень интересны, но не потому, что они слишком полемичны, а потому, что заняты больше критикой французского парламентаризма, чем вышеназванных режимов. Вместо того чтобы предоставить слово пребывающим во Францию немецким евреям-беженцам, французы дискутируют — подобно тому, как это делает Дриё, — о вреде или пользе либерализма. Споры о фашизме документированы ничуть не лучше, чем споры о коммунизме, и по той же причине: анализ фактов играет в них незначительную роль.

В этом свете, как мне кажется, следует рассматривать и бесконечную полемику, идущую во Франции уже пятнадцать или двадцать лет, о политической позиции, которую занимали в те годы левокатолические интеллигенты и их журнал “Эспри”. Это течение общественной мысли имело давнюю историю, восходящую по меньшей мере к Сийону де Марк Сенье и началу нынешнего века. Оно решительно порывало с философским и политическим антимодернизмом католической церкви, как это уже пытались сделать либеральные католики в середине XIX века. Но на этот раз сторонники перемен пошли дальше. Они попытались завязать диалог с левыми течениями марксистской ориентации, включая коммунистов.

Как показал Даниэль Линденберг<sup>2</sup>, понятие, с помощью которого левые католики пытались найти контакты с учением Маркса, — “общность”, “община”<sup>\*</sup>. Связанное с христианской тради-

<sup>\*</sup> Слово *la commune* может переводиться как “общность”, “коллектив”, “объединение”; обозначает оно также общность имущества и религиозную общину; перекликается с принятым в русской философской традиции понятием “соборности”. — *Прим. пер.*

цией, это слово отсылает к такому социальному обществу, где все индивиды трудятся во имя общего блага, в соответствии с заповедями Христа, подтвержденными его божественным самопожертвованием.

Мунье заинтересовался в марксизме его стремлением к воссозданию общности. Однако руководитель “Эспри” не был склонен, подобно Бюше, смешивать духовное и мирское. Не хотел он также, подобно Ле Плэ, переделывать общество по образцу семьи, или предприятия, или профессионального цеха. Он понимал общность не как провиденциальное порождение истории или возобновление какого-либо исчезнувшего докапиталистического порядка, но как ответ на одну из самых фундаментальных потребностей человека, творения Божьего, как путь к Богу, как стремление выйти за свои пределы. Капиталистическому обществу, механическому сцеплению изолированных индивидов, Мунье противопоставлял живую и свободную общность членов, духовно активных, устремленных в творческом соревновании к общему благу. “Персоналистская” разновидность в бесконечном ряду коллективистских антибуржуазных утопий, “град” Мунье и его сподвижников склоняется влево. Будучи несовместимо с коммунизмом в философском плане, учение Мунье разделяет с ним враждебность к капитализму и воинствующий дух: поэтому между ними возможен и диалог, и совместные действия.

Однако это еще не делает “Эспри” целиком и полностью “антифашистским”. Ибо фашизм тоже является составной частью того, что Мунье называет “огромной волной стремления к общности, захлестнувшей Европу”<sup>63</sup>. Фашизм тоже основывается на разоблачении буржуазного индивидуализма и прославлении коллективной воли. Он далек от того, чтобы желать возрождения мертвых обществ аристократической Европы, — напротив, он стремится переделать в коллективистском духе старые демократии, истощившиеся из-за господства частных интересов. Своего рода вульгаризованное нищестанство, разлитое в атмосфере эпохи, наделяет фашизм тем же достоинством, что и коммунизм: способностью с помощью воли возобладать над экономической неизбежностью.

Этот если и не благосклонный, то, во всяком случае, сочувственный взгляд, который часто в то время был обращен к итальянским и немецким фашистским экспериментам, нельзя расценивать как обращение в гитлеризм. Он был распространен почти во всех политических кругах — за исключением коммунистов, — везде, где проявлялась враждебность к экономическому либерализму и парламентской демократии. Режимы, вызывавшие к себе такой интерес, были тогда в успешной фазе развития: Муссолини достиг пика популярности в Италии и укрепил свою международную ре-

путацию; немецкая экономика при Гитлере быстро шла на подъем, в отличие от экономического застоя во Франции. Таким образом, экономическая и политическая конъюнктура придавала вес идеологическим аргументам и страстям. Итальянская и немецкая диктатуры выглядели двигателями европейской политики. Печальная особенность этого времени состояла в том, что, если антисемиты повсюду испытывали естественную слабость к Гитлеру, то совсем не обязательно было быть антисемитом, чтобы пытаться найти в фашизме рецепты успеха. Для этого достаточно было не быть ни коммунистом, ни либералом, то есть находиться в обширной зоне общественного мнения, простиравшейся и на правые, и на левые интеллектуальные круги. Для этого не обязательно было быть “антикоммунистом”: антилиберальная устремленность, отбрасывание буржуазного обмана в сочетании с широко распространенным нигилизмом позволяли очень многим объединять влечение к фашизму со слабостью к коммунизму.

Чтобы осветить этот феномен во всей его сложности, следовало бы написать параллельную историю влияния идей Маркса и Ницше на французское сознание в XX веке. Такая история позволила бы понять интеллектуальное и моральное состояние Франции глубже, чем через противопоставление фашизма и антифашизма. Но она не написана. То, что нам известно о французской интеллигенции в годы Народного фронта, достаточно убедительно показывает, что политическая антифашистская коалиция не столько выражала, сколько скрывала реальное положение вещей. Этим объясняется и ее непрочность.

Если мы хотим глубоко понять то, что в одной из недавних работ названо “растерянностью французов в 1938 году”<sup>64</sup>, мы должны обратиться скорее к литературной и философской критике, чем к политике. Именно там мы сможем наблюдать подлинный раскол республиканского позитивизма, наступивший после первой мировой войны, а также разрозненные обломки эстетического нигилизма, усеявшие культурное пространство. Самый прекрасный из этих обломков, сюрреализм, распался, подточенный изнутри своим собственным эклектизмом, а извне — конкуренцией коммунизма. Арагон принял участие в пропагандистских кампаниях Коминтерна, а Бретон в недалеком будущем превратится в пророка без пророчества, в “революционера без революции”<sup>65</sup>, в мощный голос, которому скоро будет почти нечего сказать. Знак времени: французский писатель, по складу ума наиболее подходящий для того, чтобы продолжить национальную литературную традицию нравственного наставничества, вынужден замолчать, или почти замолчать, в возрасте тридцати пяти лет. Это молчание, связанное с нежеланием лгать, делает ему честь, но также свиде-

тельствует об узости и непрочности его философии: погас огонь революции на востоке Европы — и Бретон потерял свою отвагу, ибо история обманула его. Он пытался возродить этот огонь собственными силами, но как он был слаб и одинок! Андре Бретон останется одним из самых необычайных свидетелей этого века даже в своем уходе в изоляцию, даже в добровольном согласии на раннее забвение. Эпоха осудила его на то, чтобы очень рано стоически пережить неудачу его идейного наставничества: в этом отношении он оказался большим реалистом, чем его друг Троцкий, — такой же отверженный и неукротимый, но одержимый желанием опровергнуть опровержения истории.

Сюрреалистическое движение преждевременно скончалось, так как ему уже нечего было сказать о революции, из которой оно сделало свой боевой лозунг. Оно оказалось сломленным коммунистическим шангажом. История лишила сюрреализм его волшебного талисмана и вернула его жрецам аристократическую свободу, естественную для писателей и артистов. Арагон эту свободу отверг, предпочтя ему служение, гораздо более строгое, чем служение буржуазному порядку, но там, по крайней мере, он обрел крупную политическую роль и способность работать в больших литературных жанрах. Что же касается Бретона, короля, лишившегося своего королевства, литературного Троцкого, то он стал безработным гением. То, что осталось от сюрреализма, больше ему не повинуется, да к тому же и не обладает классической значительностью стиля. Антибуржуазные проклятия стали еще более яростными, но они лишены какого-либо политического смысла, равно как и своей канонической формы. Это Ницше и Фрейд, в большей степени, чем Маркс, облаченные в броские литературные одежды.

У Батайя, как и у многих других, ненависть к буржуа является главной страстью, источником безапелляционных и кратких сочинений, разоблачающих психологическую нищету поклонников пользы и единообразия, заблудившихся в универсальном прозаизме экономических расчетов. Буржуа исключил из обмена оргиастическое, праздничное, имеющее священное значение, — как это описано Моссом в его эссе “Дар”<sup>14</sup>. Он соглашается “тратить” только на себя, а значит, втихомолку, принужденный к лицемерию в силу своего положения. Его низость обрекает его на стыд. Современное общество, в котором он господствует, стало трагически однородным, оно состоит из индивидов, поработанных денежными отношениями, исключенных из дифференциального поля, а значит — и из сферы страстей, и главной среди них — сексуальной страсти. Все это — знакомые темы, восходящие к Гегелю, истолкователем которых в то время в Париже был Кожев, придававший им новую остроту ссылками на Ницше и Фрейда. Во Франции начи-

налось время нового увлечения немецкой мыслью, пришедшего на смену распадавшемуся, но все еще величественному университетскому позитивизму. Батай использовал великих зарейнских мыслителей не самым конструктивным образом<sup>67</sup>, но он нашел у них достаточно материала, чтобы питать свой нигилизм отчаяния.

Ибо под огнем его критики оказалось не что иное, как традиция Просвещения с вытекающим из нее революционным оптимизмом XIX века, включая и Кондорсе, и Карла Маркса. “Геометрической концепции будущего” Батай хотел противопоставить динамическую силу отчаяния: “Будущее не может покоиться на мелких усилиях нескольких неисправимых ревнителей оптимизма; будущее целиком зависит от всеобщей дезориентации”<sup>68</sup>. Сегодняшняя эпоха, в его глазах, обречена несчастью: безнадежно обречены буржуазные демократии, не способные существовать, но обречены и попытки бунта против них во имя жизни и наперекор инерции: “Любая живая сила сегодня приобретает форму тоталитарного государства... Сталин, одно только имя которого бросает холодную тень на всякую революционную надежду, в сочетании со злодеяниями полиции в Германии и Италии, определяет лицо современного человечества, где призывы к бунту стали политически безрезультатными, где они выражают только страдание и горе”<sup>69</sup>. Написанные в сентябре 1933 года, после прихода Гитлера к власти, эти строки ясно говорят о том, что нет больше надежды, кроме как в абсолютном отчаянии.

Таким образом, все отделяло Батайя от антифашизма, который он рассматривал как пустую затею, лишённую исторического содержания и связанную с выхоленной философией прогресса. Антифашисты — это “колдуны, заклинающие бурю”<sup>70</sup>, в то время как буря может потрясти мертвое основание буржуазного общества. Фашизм, как и коммунизм, — это несостоявшиеся бури, поскольку в конечном счете они привели к созданию рабских обществ, против которых надо бороться во имя ненависти к государству. Но возникновение этих бурь, причины их зарождения и даже их конечная неудача — все это лишний раз свидетельствует о трагической нищете человека XX века. Коммунизм был в основе возмущения пролетариата, который один противостоит буржуазии как единственный гетерогенный по отношению к ней класс общества. Что же касается фашизма, которому Батай посвятил отдельную статью, то он воплощает — в противоположность буржуазному государству, находящемуся на службе у массового общества, — цельность власти, восстановление в ней утраченного сакрального элемента. Фашистское общество возвращает власти авторитет религиозный и авторитет политический, в их нерасторжимом единстве, как то было в “королевском обществе”, создавая

тем самым коллективную психологическую основу для единения разрозненных индивидов. Такое восстановление означает также отрицание буржуазного общества, но в ином плане, чем пролетарская революция, позволяя разобщенным классам объединиться в гомогенное общество, что и составляет народную базу фашизма. “Из этой двойственности направлений, по которым может пойти общественное возбуждение, вытекает беспрецедентная ситуация. В одном и том же обществе в одно и то же время возникают, в порядке конкуренции, две революции, враждебные друг другу и враждебные существующему порядку”<sup>71</sup>. Великие судороги современного мира вызываются двумя сходными, но противоположно направленными движениями, имеющими целью вырваться из буржуазных условий существования. Они питают и поддерживают друг друга, мобилизуя общественные страсти, которые тем самым усиливаются и одновременно взаимно нейтрализуются; они являются свидетельствами и действующими силами пронизывающего человеческую историю бесконечного подрывного процесса освобождения, никогда не приходящего к своему завершению.

До войны Батай нигде не выражал свои воззрения на великие политические проблемы лучше, чем в этих текстах 1933 года. После недолгого сближения с Бретоном в 1935 году, когда они вместе подписали призыв к мировой революции<sup>72</sup>, он принимает участие в маленьких ультралевых группах (“Ацефал”, затем “Коллеж де сосьоложи”), включавших узкий круг избранных, занятых разгадыванием секретов социального существования. Последний из этих кружков, “Коллеж де сосьоложи”, который посещали в 1938—1939 годах Бенда и Дриё, Беньямин и Адорно, ставил своей задачей “изучение социального существования в таких его проявлениях, где раскрывается активное присутствие священного”<sup>73</sup>. Как это ни странно, но Батай апеллирует к Дюркгейму, чтобы превратить свое понимание “социального” как прибежища религиозного в сферу исследования с позиций постницшеанского нигилизма.

Однако значение этих писаний состоит не в их доказательности, весьма слабой, и не в таланте автора, довольно посредственном, но в пронизывающем их жестоком, смертельном холоде и в констатации конца века Просвещения. Республиканский антифашизм поклоняется Жан-Жаку Руссо и Виктору Гюго, отцу и сыну 1789 года. Он и советский коммунизм включает в эту ободряющую генеалогию: революционная идентичность позволяет не думать о различии между демократией и тоталитаризмом. Но Батай обрушивает весь этот картонный домик. Конвульсии XX века уже невозможно осмыслить ни с позиций Просвещения, ни с позиций Французской революции.

Эту открытую трещину в демократическом наследии Франции и Европы почувствовал и проанализировал один молодой философ, сделавший это без надрывного оправдания тоталитарных режимов, которое сквозит там и сям в сочинениях Батайя и его друзей. Речь идет о Раймоне Ароне, вступившем на свой одинокий путь в среде французской интеллигенции. Молодой выпускник Эколь Нормаль, он был сначала социалистом с пацифистским оттенком<sup>74</sup>. Затем, едва вступив на профессиональное поприще, он в начале 30-х годов был командирован в Германию; из своего длительного пребывания там он привез, с одной стороны, ясное понимание замыслов Гитлера, а с другой — критику исторического разума<sup>75</sup>. Эти два приобретения, принадлежащие к разным рядам реальности, сложились в его голове в череду вопросов, отнюдь не типичных для Эколь Нормаль Сюперьер. Как бороться против Гитлера? Как интерпретировать историю и каково соотношение этой интерпретации с истиной? До какой степени второй из названных вопросов, при всей его абстрактности, не укладывается в академическую традицию, стало ясно в 1938 году в ходе защиты Аронем диссертации в Сорбонне. Кандидат не только принадлежал к другому поколению, чем его экзаменаторы; он принадлежал к другому философскому и моральному миру: воспитанный на Максе Вебере и Дильтее, разбирающий неопределенность наших знаний о прошлом в момент, когда он сам был захвачен трагедией истории, Арон раньше всех понял природу этой трагедии. В его лице члены ученого совета со страхом увидели призрак нигилистического беспокорства, возникший среди уверенности в праве и прогрессе<sup>76</sup>.

И вместе с тем, этот противоречивый человек, этот критический философ дает совершенно однозначный ответ на первый из вопросов, привезенных им из Берлина: борьба против Гитлера является абсолютно приоритетной задачей момента. Но эту борьбу он понимает иначе, чем современный ему левый “антифашизм”. Принадлежа к профессиональному окружению Бугле, являясь поклонником Эли Алевю, он не испытывает никаких иллюзий относительно Советского Союза и критикует Народный фронт<sup>77</sup>. Заключая двусмысленные союзы и преследуя двусмысленные цели, антифашизм, кроме того, пытается опереться на мертвую традицию, связанную с историческим оптимизмом Французской революции и XIX века, продолжением которой является университетский позитивизм. В этом плане наиболее интересным текстом молодого Раймона Арона является его сообщение на заседании Французского общества философии 17 июня 1939 года, в последнее мирное лето Европы<sup>78</sup>.

Сообщение называлось “Государства демократические и государства тоталитарные”, причем под последними в данном изложе-

нии автор подразумевал только гитлеровскую Германию и муссолиниевскую Италию. Однако было ясно, что СССР он никак не относил к демократическим государствам, так как один из его тезисов состоял в следующем: “Тоталитарные режимы противостоят в первую очередь демократиям, а не коммунизму”. Фашизм, во всех своих разновидностях, стремится разрушить не только политическое наследие XIX века, но и самый дух западной традиции. В этом смысле он действительно является “подлинно революционным”, и нет ничего более “странного”, чем та благосклонность, которой он пользовался у английских и французских консерваторов. Перед лицом фашизма демократии оказываются в оборонительной, консервативной позиции, рискуя при этом потерять жизненную силу, цепляясь за мертвое наследие. “Речь сегодня не идет о том, чтобы спасти буржуазные, гуманитарные или пацифистские иллюзии. Взрыв иррационализма не отменяет необходимости пересмотреть абстрактный прогрессизм и морализм идей 1789 года. Демократический консерватизм, равно как и рационализм, способны устоять, только обновившись”<sup>79</sup>. И это, по Арону, — единственный способ избежать катастрофической фашистско-коммунистической альтернативы.

Среди людей, слушавших в этот день выступление молодого философа, был и Виктор Баш. Председатель Лиги прав человека, он был ярким воплощением того, что подвергал критике Арон, — прогрессизма, пацифизма, революционной традиции во французском духе. Завязался вежливый диалог глухих. Баш возмущается тем, что оратор удостоил Гитлера и Муссолини титулов революционеров, а о демократиях говорил как о консервативных режимах; со своей точки зрения Баш рассуждает логично, поскольку, в его глазах, демократии революционны по самой своей сути. Особенно он шокирован тем, что оратор позволил себе поставить под вопрос принципы 1789 года, назвав их “абстрактными” и неспособными поддержать демократический порыв: старый борец за права человека повторяет свой республиканский символ веры, которым руководствовался на протяжении всей жизни.

Арон не думал нападать на идеи 1789 года как на идеи: он хотел подвергнуть критике способность революционного универсализма французского типа осмысливать реальность XX века и воздействовать на нее. Этот универсализм не только не позволяет понять современные революции, будь они фашистские или коммунистические, но скрывает их суть. В практическом плане он разоружает сторонников демократии, вместо того чтобы готовить их к сражению. Он побуждает их заниматься риторикой и морализированием, отвлекает от экономических и военных реальностей, мешает реформировать учреждения, ведет к пацифизму: таков

просматривающийся в выступлении Арона отрицательный итог Народного фронта и “антифашизма”. С первых же шагов своего спора с французской левой, из которой он вышел, Раймон Арон четко определил и отделяющую его дистанцию, и оригинальность своего критического подхода. В теоретическом плане он обращал особое внимание на радикальную новизну революций XX века; в понимании истории он больше опирался на Вебера, чем на демократическую вульгату французской революционности; в политическом плане он был больше демократом, чем республиканцем; правым не нравились его реформаторские наклонности, левым — его враждебность к антифашистской болтовне, тем и другим — его слишком трезвое понимание надвигающейся войны.



# *Глава девятая*

## Вторая мировая война

Вторая мировая война, подобно лабораторному опыту, сделала явной двусмысленность коммунистического антифашизма; она состояла из двух периодов, взаимно противоречивых и взаимосвязанных. С сентября 1939 по июнь 1941 года Сталин был главным союзником Гитлера. С июня 1941 по май 1945 — его самым яростным врагом. Избирательная память народов удержала из этого бесконечного конфликта преимущественно его вторую часть, подтвержденную победой. Но история обязана разобраться также и с первой частью, иначе она рискует превратиться в истолкование прошлого с позиций победителей.

Начать нужно с пакта, подписанного в Москве Риббентропом и Молотовым 23 августа 1939 года; он ознаменовал начало союза между СССР и нацистской Германией. Речь шла не просто о договоре о ненападении, как это было представлено в тот момент, в разгар польского кризиса. Открытая часть пакта сопровождалась секретным протоколом<sup>1</sup>, существование которого долго отрицалось советской стороной именно потому, что он показывал весь размах территориальных договоренностей между двумя партнерами накануне перехода немецкими войсками польской границы. Гитлер по этому протоколу получал Литву и западную Польшу, а Эстония, Латвия, часть Финляндии и Бессарабия признавались сферой советского влияния. Размеры территориальных приобретений, предоставленных СССР, показывают, насколько нацистский диктатор был заинтересован в привлечении Сталина на свою сторону: ведь он тем самым получал свободу рук не только в Польше, но главное — на Западе.

И действительно, он вступил в Польшу 1 сентября, а 3-го уже оказался в состоянии войны с Англией и Францией. В течение последующих двух недель, когда немецкие танки стремительно продвигались по польской равнине, идея продолжения антифашистской политики другими средствами еще могла поддерживаться — и поддерживалась ФКП<sup>2</sup>: германо-русское соглашение, из которого была известна только его публичная часть, рассматривалось как ответ Сталина на попытки англо-французских руководителей изолировать Советский Союз и как возможность выиграть время, оставаясь в стороне от конфликта. Даже вступление советских войск в Польшу 17 октября можно было объяснить стремлением себя обезопасить. Общественное мнение не знало, что за наступающей армией следовали работники НКВД, выполнявшие примерно ту же работу, что и части СС, шедшие за вермахтом: они ликвидировали и депортировали польские элиты и всех тех, в ком видели потенциальных противников. В восемь дней Сталин завладел западной Белоруссией и польско-украинскими землями.

28 сентября Риббентроп снова приезжает в Москву. Всякие сомнения относительно советской политики рассеиваются: для этого даже не обязательно знать тайные протоколы о разделе Польши и перераспределении населения по этническому принципу<sup>3</sup>. Немецкий министр подписал с Молотовым настоящий договор о дружбе и сотрудничестве, увенчанный знаменитым коммюнике: «Правительство Рейха и правительство Советского Союза, окончательно урегулировав данным соглашением вопросы, вытекающие из ликвидации Польского государства, и создав таким образом базу для длительного мира в восточной Европе, выражают общее мнение, что в интересах всех народов следовало бы положить конец состоянию войны между Германией, с одной стороны, и Францией и Англией, с другой. Оба правительства предпримут совместные усилия, если необходимо, совместно с другими дружественными странами, чтобы добиться этой цели как можно скорее. Если же усилия двух правительств останутся безрезультатными, придется констатировать, что Англия и Франция являются ответственными за продолжение войны»<sup>4</sup>. Теперь стало ясно, что Гитлер будет воевать на западе при благожелательном нейтралитете Советского Союза.

Впрочем, советская политика не оставляет ни малейших сомнений. Сталин одним махом, с благословения Германии, превратил в своих сателлитов три маленьких прибалтийских государства, чтобы аннексировать их в следующем году. Осенью 1939 года он захотел подчинить себе Финляндию и прибег к приему, которым будет широко пользоваться в дальнейшем: в день, когда Красная Армия без предупреждения перешла финскую границу, Москов-

ское радио объявило о создании на маленьком клочке захваченной территории “демократического правительства” Финляндии во главе с Отто Куусиненом, ветераном Коминтерна. Война против Финляндии пошла не так успешно, как война Гитлера против Польши. Но она показала со всей очевидностью намерение Сталина захватить свою долю добычи в начавшейся мировой войне, которую он так давно предвидел и в которую вступил при столь благоприятных обстоятельствах.

Эта осторожная, но намеренная активность лишает силы оправдание, которое издавна давалось германо-советскому пакту 23 августа: мол, переход Сталина на сторону Гитлера был обманным маневром и ответом на западные интриги, с помощью которых Гитлера пытались подтолкнуть в сторону Украины, чтобы он не двинулся в сторону Рейна. Нельзя сказать, что таких интриг не было вообще и что они не сказались на политике Англии и Франции. В известном смысле они даже увенчались успехом в сентябре 1938 года, при подписании мюнхенских соглашений, хотя отнюдь не только они привели к заключению этих соглашений: пацифизм западного общественного мнения не переставал работать против чехов, а в сознании английских и французских руководителей было больше ослепления, чем расчета. Но можно понять, что, оставленный в стороне от переговоров, несмотря на советские обязательства перед Чехословакией, Сталин воспринял Мюнхен как прообраз панимпериалистического заговора против СССР. С октября 1917 года идея такого заговора постоянно присутствовала в репертуаре большевиков. Как бы то ни было, речь Сталина на XVIII съезде ВКП(б) 10 марта 1939 года явилась предупреждением западным демократиям и одновременно — шагом навстречу Германии. Был ли это *первый шаг*? Мы видели, что нет. Но ясно, что политика Сталина, состоявшая с 1934 года в том, чтобы делать ставки “на две карты”, после Мюнхена стала склоняться в сторону Германии. Вскоре Молотов заменит в наркомате иностранных дел Литвинова, проводившего политику “коллективной безопасности”. Ирония ситуации состояла в том, что эти изменения стали происходить как раз в тот момент, когда английские консерваторы, по-видимому, расстались наконец со своими иллюзиями в отношении Гитлера, после того как последний захватил Чехословакию 15 марта 1939 года: неизбежность войны между Германией и демократическими государствами стала очевидной даже для них. Советские позиции в результате еще более укрепились.

Осенью 1939 года у Сталина был выбор: подтвердить антифашистскую политику коллективной безопасности или поменять союзников. Он стал зондировать обе возможности одновременно.

Продвижение по первому пути было затруднено накопившимся недоверием. Русское предложение заключить трехстороннее военное соглашение (между СССР, Англией и Францией), которое включало бы все граничащие с СССР страны, то есть прибалтийские, Польшу и Румынию, наталкивалось на решительный польский и румынский отказ пропустить в случае необходимости Красную Армию через свою территорию: соответствующие страны опасались, что, раз вступив на их территорию, Красная Армия никогда уже оттуда не уйдет. Последующая история подтвердила обоснованность таких опасений. В действительности, Сталин предпочитал продвигаться по второму пути, как показало назначение Молотова 4 мая. Здесь переговоры идут более успешно, поскольку Гитлер с полуслова понимает стремления своего партнера, идущие в том же направлении, что и его собственные. Для него не составляет никакого труда сделать так, чтобы Польша или Эстония исчезли с карты Европы, если такой ценой Германия получает возможность расшириться на восток и получить свободу рук на западе. Польский вопрос, который разделял “антифашистский” лагерь<sup>5</sup>, напротив, послужил сближению между нацистами и коммунистами.

Таким образом, хотя нет сомнения в том, что политика “умиротворения”, проводившаяся английскими консерваторами и, вслед за ними, французскими руководителями, сыграла определенную роль в дипломатическом повороте СССР к Гитлеру в 1939 году, было бы неправильно видеть в ней главное объяснение такого поворота. Во-первых, неточен сам термин “поворот”, поскольку он предполагает, что между 1934 и 1939 годами внешняя политика Советского Союза определялась идеологией антифашизма. Но это было не так. Во-вторых, польская проблема, главный камень преткновения в советско-англо-французских военных переговорах, не была придумана западными маньяками-антисоветчиками. У Польши были все основания опасаться как Сталина, так и Гитлера, а Франция, связанная с Польшей договором, была не в состоянии гарантировать ей независимость в случае, если бы советские войска расположились на ее территории. Должны ли были англо-французские руководители, чтобы защитить Польшу от Гитлера, согласиться на ее оккупацию Сталиным? Этот вопрос заслуживает того, чтобы его хотя бы поставить. Антифашистская внешняя политика коллективной безопасности столкнулась с еще большими противоречиями, чем внутренняя политика, которая, как во Франции, велась под лозунгом антифашизма: одна объединяла на поверхности партии, которые по существу были разъединены; другая принимала противников за партнеров. Сказанное не означает, что не нужно критиковать политику “умиротворения”, в которой

глупость сочеталась с трусостью. Но такая критика должна учитывать те тупики, в которых оказалась и противоположно направленная политика. Сталин был не тот человек, чтобы включать Советский Союз в единый антифашистский фронт из идеологических соображений, или из любви к свободе, или в заботе о европейском равновесии. Ему нужно было прежде всего обезопасить себя от немецкого нападения и, если возможно, загладить память о Брест-Литовском мире. Однако наступил день, когда Гитлер по обоим этим пунктам смог предложить ему больше, чем Чемберлен и Даладьё.

Раздел Польши вписывается в старую германо-русскую традицию борьбы за сферы господства в восточной Европе. В XVIII и XIX веках немецкая сфера включала в себя Пруссию с Австрией или Германскую империю с Австро-Венгрией. В XX веке Гитлер один представляет немецкую сторону перед лицом Сталина, наследника царской империи. То, что воссоздают совместными усилиями два диктатора, связано и с более близкими событиями, чем давние разделы Польши. Ведь каждый из них со своей стороны стремился разрушить Европу, созданную Версальским договором, который был задуман так, чтобы обеспечить господство французского империализма над поясом малых государств, лежавших между побежденной Германией и Россией 1917 года.

Объединившись с Гитлером, Сталин возобновил внешнюю политику большевиков до 1933 года (если только он вообще от нее отказывался): союз с немецкими крайне правыми во имя борьбы против версальской системы. Ситуация для этого была тем более благоприятной, что, идя по старым следам, Сталин давал сигнал к началу империалистической войны между Германией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, — войны, которая по всем данным обещала быть долгой и изматывающей для ее участников, а следовательно, должна была способствовать укреплению советской державы и ее территориальному расширению. А ведь это не так мало — загладить Брест-Литовск с помощью той самой Германии, которая в свое время продиктовала Ленину унижительные условия мира!

Вопрос о том, кто нравился Сталину больше, Гитлер или западные демократии, не так уж и важен в данном случае. Скорее всего, он считал оба режима ставленниками капитала; выбор, который он сделал в августе-сентябре 1939 года, был продиктован обстоятельствами, а не теорией. Ему, победившему все и всех внутри СССР, благодаря неожиданной услуге нацистского диктатора предоставлялась новая роль — роль создателя империи, вместе с частью Польши в качестве первого поощрения. В его биографии германо-советский пакт означал начало нового этапа, с устремле-

ниями куда более обширными, чем Советский Союз. И эти устремления заполнили всю его оставшуюся жизнь. Несмотря на очередную смену союзников, Сталин оставался самим собой и в 1939 году, когда захватывал восточную часть Польши, и в 1944, когда “освобождал” ее западную часть. 1944 год продолжает 1939: за разделом, осуществленным по соглашению с нацистами, следует безраздельное господство Москвы над Польшей, передвинутой вместе со своим населением дальше на запад. Осенью 1939 года общественному мнению становится ясно, что Сталин стремится к коммунистической экспансии в Европе в форме вооруженного экспорта советской системы под контролем своих агентов.

Если бы были нужны дополнительные доказательства истинного характера германо-советского пакта, то их можно было бы найти в том, как этот пакт представлялся и оправдывался в марксистско-ленинской терминологии. Для историка большая удача, что идеологическая природа коммунистического мира требует, чтобы все происходящее было объяснено на их странном универсалистском языке для подтверждения непогрешимости партии и ее вождя. Ибо, при условии обладания кодом расшифровки, мы имеем в каждый данный момент бесценный инструмент для интерпретации побудительных причин действующих лиц и групп. Источники, написанные дубовым марксистско-ленинским языком, повторяющиеся и монотонные во времена затишья, становятся необыкновенно красноречивыми в моменты политических бурь. Можно подумать, что этот язык вдруг оживает и обретает силу в решающие моменты, когда ему нужно переосмыслить внутреннее соотношение составляющих его элементов. Что и произошло осенью 1939 года, после шести лет идеологической обработки в “антифашистском” духе.

Германо-советский пакт представляется, на первый взгляд, таким политическим событием, которое труднее всего уложить в рамки объяснения с позиций ленинизма. Он не был, как Брест-Литовск, вынужден крайней опасностью; он не был, как поворот 1934—1935 годов, мотивирован неким новым событием (диктатурой Гитлера). Он был вызван обстоятельствами: Гитлеру нужно было нейтрализовать Сталина прежде, чем развязать войну, а Сталин воспользовался этим, чтобы произвести первый раздел восточной Европы. За всем этим стояли государственные интересы. Две мощные идократические диктатуры XX века в конце концов нашли общий язык вне собственных идеологий. Гитлеру не нужно было давать никаких объяснений: ему вполне хватало ссылок на национальные интересы в сочетании с цинизмом победителя. Но Сталин не мог прикрываться государственными интересами, не ставя под вопрос мировую миссию коммунизма. Он не мог оп-

равдать свое соглашение с Гитлером, не идя наперекор всему, что делалось и говорилось коммунистами, начиная с лейпцигского процесса. И тем не менее, он должен был это делать, — ведь он оставался вождем коммунистов в двойной ипостаси, национальной и универсальной. И то, как он это делал, о многом говорит историку.

Первая реакция коммунистических партий на пакт состояла в том, чтобы преуменьшить его значение: так ведет себя человек, которому сообщают дурную новость. Руководители иностранных компартий не были посвящены в тайну того, что готовилось в Москве. Они приняли и ретранслировали полученный в Париже и Лондоне сигнал в виде предупреждения, сделанного Сталиным 10 марта, но они не изменили при этом своего пропагандистского и политического антифашистского курса, считая его неприкосновенным. В последовавшие за заключением пакта дни они одобрили действия Сталина как последний маневр, позволивший избежать войны (такое утверждение уже было сверхсложным акробатическим трюком), но продолжали провозглашать свою готовность стать в первые ряды антигитлеровского сражения, если таковое начнется<sup>6</sup>. Такие декларации не могли умерить народное возмущение действиями Советского Союза, но по крайней мере они успокаивали членов партии и обеспечивали минимум преемственности в политике Коминтерна. Впрочем, реакция верховных руководителей Интернационала в Москве была именно такой: 27 августа Димитров и Мануильский пишут Сталину письмо<sup>7</sup>, прося у него инструкции относительно положения в ФКП:

“Мы думаем, что позиция партии должна оставаться прежней: сопротивление агрессии со стороны фашистской Германии. Она должна поддерживать усилия, направленные на усиление обороноспособности Франции, но требовать в обмен, чтобы ей была предоставлена возможность открыто выражать свое мнение и развертывать свою активность”\*. Немедленного ответа не последовало: в эти последние дни августа Сталин еще колебался относительно того, какое публичное истолкование дать своим последним действиям. 31 августа, на четвертой сессии Верховного Совета, Молотов еще дает пакту минималистскую оценку: вынужденный, мол, мюнхенской политикой западных держав, он не означает смены союзников; он означает всего лишь прекращение враждебности между Германией и СССР в интересах мира между двумя странами и одновременно подчеркивает решающую международную роль советского государства, особенно в том, что касается восточной Европы. Последним замечанием Молотов, несомненно,

\* Обратный перевод с франц. — *Прим. пер.*

хотел подготовить общественное мнение к тому, что черным по белому было записано в секретных протоколах.

На следующий день произошло вторжение немецких войск в Польшу, и быстрота их продвижения заставила Сталина, со своей стороны, ускорить советскую интервенцию. 7 сентября он принял Димитрова в присутствии Молотова и Жданова и тогда впервые, насколько мне известно, раскрыл перед коммунистическим движением философские и политические последствия пакта. Изложение его высказываний, содержащееся в архивах Коминтерна, так интересно, что мне придется привести пространные выдержки: “В этой беседе Сталин заявляет, что война ведется между двумя группами капиталистических стран — бедными и богатыми с точки зрения колоний, природных ресурсов и т.д. — за передел мира, за господство. Мы не имеем ничего против того, чтобы они дрались между собой и взаимно ослабляли друг друга, говорит Сталин. Совсем неплохо, если положение наиболее богатых капиталистических стран (особенно Англии) будет подорвано посредством Германии. Гитлер, сам не понимая и не желая этого, ослабляет и подрывает капиталистическую систему”.

Сталин заявляет также, что до войны различие между фашизмом и демократическими режимами было правильным. “Во время войны между империалистическими державами это уже становится неправильным. Разделение капиталистических стран на фашистские и демократические потеряло смысл”. Затем он занимает откровенно враждебную позицию по отношению к Польше, характеризуя ее как фашистское государство, которое угнетало украинцев, белорусов и т.д.

“В нынешних условиях уничтожение этого государства означало бы, что одним фашистским государством стало бы меньше. Было бы неплохо, если бы Польша потерпела поражение, а мы таким путем смогли бы включить в социалистическую систему новые территории и новое население.

...Что же касается коммунистического движения, Сталин предлагает отказаться от лозунга единого Народного фронта. Коммунисты капиталистических стран должны решительно выступить против своих правительств, против войны...”

В этих устных инструкциях почти все сказано о том, какой теперь будет новая политика коммунистов. Сталин показал себя таким же полновластным хозяином Коминтерна, как и Советского Союза. Думать иначе значило бы не понимать природы ленинизма. В тот самый момент, когда Сталин утверждал приоритет государственных интересов Советского Союза, он и не думал отказываться от своих prerogatives на то, чтобы командовать всеми остальными от имени марксизма-ленинизма. А цена его предпри-

саний была высока: речь шла, не больше и не меньше, о том, чтобы заставить всех говорить и делать противоположное тому, что они говорили и делали, начиная с 1934 года.

Начиная с 1934 года (или с 1935, в зависимости от того, какое событие брать за точку отсчета), коммунисты утверждали, что империалистическая война, ставшая неизбежной в силу соперничества капиталистических государств, будет, тем не менее, не совсем “империалистической”, какой была, по коминтерновской теории “третьего периода”, война 1914 года. Напротив, в ней столкнутся группа фашистских государств, среди которых гитлеровская Германия будет главной ударной силой, — и союз демократических государств во главе с Англией и Францией, которые, будучи капиталистическими, занимают оборонительные и, следовательно, менее агрессивные позиции. Одно из этих государств, Франция, подписала в 1935 году с СССР союзный договор: тем самым ее внешняя политика получила более высокую оценку. Такова была теоретическая основа антифашистской политики. Однако 7 сентября 1939 года Сталин уравнил обе стороны конфликта как в равной мере империалистические: теперь между ними нет никакого различия. Это не означает полного возвращения к ситуации “третьего периода”, когда империалистические державы все вместе угрожали Советскому Союзу. В сентябре 1939 года они воюют между собой, как в 1914, рискуя ослабить друг друга к выгоде СССР, — что и объясняет достаточно хорошую оценку, выставленную Гитлеру за то, что он подрывает самый богатый, английский, империализм. Таким образом, в словах, произнесенных Сталиным осенью 1939 года, вновь всплывает идея, которая всегда, пусть и в скрытом виде, присутствовала в коммунистических анализах фашистской Германии: что, в общем и целом, нацизм активно является союзником советской революции.

Этот анализ содержит логические противоречия: Сталин не объясняет, почему империалистический лагерь предпочитает ослаблять сам себя вместо того, чтобы совместно сражаться против общего смертельного врага. Но Сталин и не стремился к логической стройности. Ему было нужно сконструировать из традиционных элементов ленинской идеологии новое универсальное объяснение ситуации, сложившейся после заключения публичных и тайных соглашений 23 августа. Надо было срочно кончать со старой антифашистской стратегией, определявшей все международное коммунистическое движение и являвшейся источником его влияния: ведь коммунистические партии во всем мире продолжали руководствоваться этой стратегией, хотя и поддержали пакт. Скоро такая ситуация должна была кончиться, потому что, судя по быстроте

продвижения немцев к Варшаве, Сталин понимает, что ему вот-вот предстоит отдать Красной Армии приказ захватить другую половину Польши и двигаться к месту мирной встречи с нацистскими войсками. Как смогут французские коммунисты призвать своих соотечественников сражаться против Гитлера на Рейне, когда их старший советский брат отлично договорился с ним к востоку от Вислы? Ответом является попытка реанимировать идею “империалистической войны”, которая, в свою очередь, воскрешает лозунг борьбы против войны: вместо того, чтобы сражаться с Гитлером и фашизмом, активисты в “демократических” странах должны отныне бороться исключительно против своей собственной буржуазии, своих собственных правительств.

Возврат к ленинской стратегии 1914 года? По видимости, да, и переключка налицо. Но ленинский лозунг в свое время предусматривал превращение войны империалистической в войну гражданскую, совершение пролетарской революции. Сталин не идет и не пойдет так далеко. Ведь теперь у пролетарской революции есть отечество, и вместо того, чтобы расплывать силы в борьбе за свержение собственной буржуазии, коммунистические партии — по той же логике, которой следовал Ленин во время первой мировой войны. — должны объединить усилия для защиты общего отечества трудящихся. Поэтому речь идет не столько о “революционном пораженьстве” — эта ленинская формула не произносилась в 1939—1940 годах в контексте предпринятого политического поворота, — сколько о борьбе за немедленное заключение мира: парадоксальным образом новая коммунистическая стратегия совпадает с пацифистским лозунгом, с которым коммунисты так непримиримо сражались в предшествующие годы<sup>9</sup>. Но глубинный смысл этого лозунга в коммунистическом движении осенью 1939 года не имел ничего общего с пацифизмом. Он определялся безусловной солидарностью всех партий с Советским Союзом и выражал не возмущение, а послушание.

Последняя руководящая идея, содержащаяся в этой важнейшей беседе Димитрова со Сталиным, состоит в утверждении абсолютного приоритета интересов Советского Союза над всеми остальными задачами международного коммунизма. Идея не новая, поскольку зародилась она вместе с Коминтерном, но раньше она имела в основном форму политического господства русского коммунизма на базе концепции мировой революции. С приходом Сталина она приобрела дополнительную весомость в связи с лозунгом построения социализма в одной стране и по причине подчинения Коминтерна воле одного человека; но антифашистский поворот 1934—1935 годов маскировал своей универсальностью национали-

стический уклон сталинской диктатуры. В сентябре 1939 года Сталин сбросил маску, готовясь к захвату сначала восточной трети Польши, а затем прибалтийских государств. Отсюда и теоретическое обоснование тождества между успехами социализма и территориальным увеличением СССР.

В самом деле, Сталин не говорит о том, что восточная Польша — это территории, отторгнутые по Брестскому миру и подлежащие возврату в состав советских республик Украины и Белоруссии. Он объявляет Польское государство “фашистским” и по одному этому недостойным существования: заявление нелогичное, во-первых, потому что непосредственно перед этим он сам утверждал, что различия между “фашистскими” и “демократическими” государствами потеряли смысл, а во-вторых, потому что одновременно он договаривается с Гитлером о разделе Польши. Но это заявление интересно тем, что показывает, до какого крайнего упрощения Сталин доводит национальный вопрос: “Было бы неплохо, если бы Польша потерпела поражение и мы таким путем смогли бы включить в социалистическую систему новые территории и новое население”. Будущее “социалистической системы” отныне целиком связывается с СССР. В 1944—1945 годах Сталин приспособит эту теорию к требованиям момента, не меняя ее сути. Конечно, чрезвычайно показательным, что в 1939 году, отказываясь от “антифашизма”, Сталин продолжает ссылаться на него с единственной целью: обосновать поглощение Советским Союзом части независимого государства. В этом смысле заявление от 7 сентября 1939 года является вехой. После скрытого национализма “социализма в одной стране” оно ознаменовало полуприкрытый национализм “развития системы социализма” посредством экспансии СССР.

Так очень рано, спустя две недели после заключения пакта 23 августа и всего несколько дней после начала второй мировой войны, была обнародована новая политическая линия коммунистического движения. Это была не просто связанная с обстоятельствами поправка в тактике антифашистской борьбы, в ответ на двучленную политику капиталистических демократий, как хотели бы думать повсюду в мире активисты и даже руководители коммунистических партий. Это был полный поворот в стратегии, на значение которого указал сам Сталин; и самым поразительным здесь был отказ от антифашизма, отказ от борьбы с Гитлером как приоритетной задачи. Тем самым Сталин вернулся к некоторым элементам большевистской политики в период до 1934 года: отождествление буржуазной демократии и фашизма, разоблачение социал-демократии как социал-фашизма, яростная борьба против империалистической войны. Но необычность ситуации осени 1939 года со-

стояла в том, что империалистическая война уже не была потенциальной опасностью. Она началась и сразу же позволила советскому государству сорвать первый куш в виде ликвидации Польши по договоренности с Германией. Так что лозунг борьбы против империалистической войны, если он и направлен так же, как в третий период, преимущественно против англичан и французов, ведет не столько к революционным жеста<sup>10</sup> со стороны коммунистических партий, сколько к демонстрации их верности мировому отечеству пролетариата. Оказавшись в изоляции, или, как это было во Франции, на нелегальном положении, они вынуждены повторять вновь и вновь, что мировая пролетарская революция отныне зависит от роста Советского Союза.

Пронемецкое содержание этого идеологического сооружения станет, впрочем, очевидно уже во второй половине сентября, после того как Сталин убедится в том, насколько точно Гитлер выполнил свои обязательства. Польская проблема была разрешена с безукоризненной точностью, что позволило подписать германо-советское коммюнике от 28 сентября. Между концом сентября и серединой октября три прибалтийских государства вынуждены перейти под гегемонию новой восточноевропейской сверхдержавы, поскольку Германия, их традиционная “покровительница”, заранее дала на это свое согласие. 31 октября Молотов не без торжествующих ноток обрисовал новую ориентацию советской внешней политики, где дружба с Германией занимала большое место, наряду с необходимостью восстановить мир: “Если говорить о крупных европейских державах, то сегодня Германия находится в положении государства, которое стремится к скорейшему прекращению войны и установлению мира, в то время как Англия и Франция, которые еще вчера выступали против агрессии, теперь выступают против прекращения войны и заключения мира. Роли, как видите, переменялись...” Далее следует пассаж, несравненный по цинизму: “Каждому понятно, что не может быть и речи о восстановлении бывшей Польши. Поэтому бессмысленно продолжать эту войну под предлогом восстановления бывшего польского государства”<sup>11</sup>. Молотов, как всегда, повторяет Сталина, только более откровенно. Пакт о ненападении от 23 августа был действительно началом союза.

В истории человечества не было примеров столь необычайной дисциплины, как та, которую проявило многонациональное мировое коммунистическое движение после 7 сентября: за несколько недель слова Сталина, сказанные Димитрову, стали универсальным требником коммунизма. Есть нечто, поражающее воображение двойным чувством величия и ужаса, при виде того, как огром-

ная армия активистов меняет направление движения, следуя политике, прямо противоположной той, которая была вчера. Повсюду в мире коммунистические партии принимают к исполнению директиву Коминтерна от 9 сентября о борьбе против империалистической войны. Американские коммунисты теперь прилагают все усилия, чтобы помешать Соединенным Штатам присоединиться к западным демократиям. Сирийские и ливанские коммунисты, согласившиеся на французский мандат после победы Народного фронта, поднимаются против французского империализма. Малайские коммунисты возвращаются на антианглийские позиции. Бельгийские коммунисты вновь поддерживают нейтралитет своей страны. Английские коммунисты, бывшие неистовыми сторонниками войны в начале сентября, уже в конце того же месяца начинают предаваться самокритике, как и их американские, бельгийские, французские соотариши...

Именно в Европе это явление получило наиболее сильное выражение, ибо здесь оно столкнулось с самыми бурными страстями. За пределами Европы, в колониальных странах, Гитлер и Сталин могли восприниматься просто как два диктатора, вызывавшие такое же чувство ненависти, как и две крупные колониальные демократии Запада. Но Европа была колыбелью коммунизма и фашизма, театром их истории и их маневров, где оба режима конкурировали в борьбе за власть и влияние. На протяжении ряда лет политическая жизнь европейских демократических стран была насыщена их соперничеством, их взаимными оскорблениями, а иногда даже и кровавыми столкновениями, как это было в Испании. Антифашизм придал западный лоск коммунизму, а антикоммунизм послужил цивилизованным прикрытием нацизму. Два чудовищных режима XX столетия приручили демократическое общественное мнение благодаря своему антагонизму. Даже роли в войне были распределены заранее.

Но вот война началась, и распределение ролей было нарушено. Европейские народы смотрели в изумлении, как Советский Союз и Германия поделили между собой Польшу и стали вместе требовать от Англии и Франции, чтобы те прекратили "агрессию". Антикоммунизм не мог больше служить извинением для профашистских симпатий, которые теперь можно было оправдать только стремлением к миру на любых условиях. Но и антифашизм перестал давать коммунизму демократические гарантии. Из этих двух откатных движений второе было более сильным. Ибо и до, и после германо-советского соглашения осенью 1939 года Гитлер сохранял в своем пропагандистском арсенале возможность сохранения вооруженного мира на западе, идея, столь милая сердцу западных пацифистов. С 1933 года он был потенциальным врагом,

так что, став 3 сентября врагом реальным, но воздерживающимся от военных действий, он все еще не полностью лишил влияния сторонников нового Мюнхена.

Сталин же от роли потенциального союзника перешел к роли открытого врага, хотя он и не находится в состоянии войны ни с Англией, ни с Францией. Его измена вызывает возмущение всех политических ветвей западной демократии. Возмущены, естественно, все антикоммунисты, которым для этого достаточно следовать велениям своего сердца. Возмущены правые патриоты, поскольку Сталин помогает Гитлеру. Возмущены пацифисты, поскольку он открыл дорогу войне. Возмущены левые антифашисты, с горечью осознающие, что их облапошили, лишили идеалов единства и дорогих воспоминаний. Нет нужды выдвигать гипотезу о заговоре капиталистов, чтобы объяснить глубокую дискредитацию коммунизма как идеи и СССР как государства, произошедшую после 23 августа 1939 года, — достаточно почитать тексты Коминтерна и речь Молотова! Ничто в истории коммунистического движения не может сравниться со столь полной ликвидацией влияния. А ведь были в этой истории и другие тяжелые моменты: сектантская самоизоляция “третьего периода”, разгром немецкой компартии, московские процессы; но ничто никогда не подрывало легитимность коммунизма в глазах европейского общественно-го мнения так, как это сделало соглашение Сталина с Гитлером.

И в этом отношении тоже лучшим местом для наблюдения оказывается, скорее всего, Франция, где политические страсти в период между двумя войнами питались столкновениями между демократией, коммунизмом и фашизмом. До августа-сентября 1939 года там существовала сильная коммунистическая партия, гордая тем, что именно она “изобрела” Народный фронт, чтобы затем обрести народное признание в ходе всеобщего голосования. Парламент, избранный в 1936 году в результате победы левых сил, все еще продолжает функционировать, хотя единство левых партий распалось. Он прилагает все усилия, стремясь удержать в равновесии центристское правительство под эгидой радикалов. Убожество общественной жизни контрастирует с напряженностью идеологических страстей; это происходит потому, что последние питаются не столько внутренними, сколько внешними событиями, раздувая до непомерных масштабов домашние склоки, — как если бы национальная жизнь, лишенная внутренней энергии, вынуждена была искать подкрепление за пределами государственных границ. Благодаря антифашизму, коммунизм давал левым силам твердую точку опоры; благодаря антикоммунизму, фашизм распространял свое “магнетическое поле” на правые идеологии. В то время как поддержание мира являлось общим стремлением нации.

Тем самым, все эти предвоенные политические страсти, чрезвычайно интенсивные, как того требует французская национальная традиция, имели *заимствованный* характер. Они жили за счет международной ситуации и определявших ее двух чудовишных режимов. Вот почему германо-советский пакт лишил их смысла, пойдя наперекор им всем. Москва перестала быть центром антифашизма. Берлин перестал быть центром антикоммунизма. Сталин и Гитлер вместе развязали войну. В истоке произошедших пертурбаций лежит оборотничество Сталина. Если начавшаяся война является империалистической, подобно войне 1914 года, то вопрос “Умирать за Данциг?”, поставленный Марселем Деа<sup>12</sup>, выражает отказ мирового пролетариата участвовать в ней. Фальшь антифашистских лозунгов, обнаружившаяся в результате заявлений Коминтерна, лишила многих самых активных французов-антифашистов мотивировок для продолжения борьбы против Гитлера. Со своей стороны, французские участники мюнхенского стовора запрещают ФКП во имя ведения войны, которой они сами стремились избежать всеми средствами, вплоть до нарушения своих международных обязательств. Они ведут себя так, как будто сентябрь 1939 повторил август 1914: но они заранее отказывались от жертв, которых требовала национальная война и на которые у них не было ни материальных, ни моральных возможностей. Сама идея антифашистской войны улетучилась в тот момент, когда Сталин протянул руку Гитлеру.

На французском примере мы особенно ясно видим, до какой степени в этот период влияние коммунизма в Европе, во всех его разновидностях — от партийного активизма до попутничества, — было связано с антифашизмом. В свое время, в 1920 году, ФКП вошла во французскую политическую жизнь с обещанием, данным Ленину, покончить с “оппортунистическими” ошибками своих социалистических предшественников всех мастей: таков был смысл условий вступления в Коммунистический Интернационал для новых членов, поскольку все они были виновны в грехопадении 1914 года. Но к французам Ленин был особенно требователен: во Франции коммунисты должны были всенепременно порвать с буржуазно-демократической традицией, республиканской риторикой и парламентаризмом; часть партии должна была быть готова к работе в условиях подполья; необходимо было отстранить мелкобуржуазных вождей, адвокатов и профессоров, и заменить их рабочими, вдохновленными чувством классовой ненависти; надо было подчеркивать все, что отделяло их от всех других партий, в том числе и особенно — от социалистов. Поэтому молодая ФКП беспрерывно культивировала увриеризм и революционную фразеологию, которые достигли апогея в “третий период” Коминтерна.

Антифашизм положил конец подобной узости, сохранив ее достижения: он предоставил коммунистической пропаганде большее пространство для маневра, сохранив завоеванные позиции в рабочем движении. Гитлер хочет в одно и то же время уничтожить ценности 1789 года и поставить французов на колени. Коммунисты, после создания Народного фронта, выдвинули лозунг единого фронта французов<sup>13</sup>. Но их антифашизм не означал отказа от революционных целей “партии рабочего класса”. Наоборот, он позволил им остаться в первых рядах борьбы, где у них есть союзники, но где они намерены в одиночку воспользоваться плодами победы: ведь в их глазах ликвидация фашизма является прелюдией к главной цели — ниспровержению капитализма и победе пролетариата. Такая перспектива делает тем более значительным их стремление покончить с изоляцией рабочих внутри нации. Оказавшись на острие антифашистского движения, рабочий класс превращает свою классовую борьбу в условие сохранения свободы общества и интересов нации.

Все эти великие задачи и славные победы только оттеняют в глазах историка стремительное падение, которое претерпело в общественном мнении коммунистическое движение в результате августовского изменения советской политики и того объяснения случившегося, которое было навязано коммунистическим партиям инструкциями Коминтерна в сентябре. Фактически ФКП была вынуждена проводить антинациональную политику, что сделало ее беззащитной перед репрессивными мерами правительства<sup>14</sup>. Она полностью потеряла поддержку общественного мнения, основной состав своих членов, большинство сторонников: успехи, которых она добилась в предыдущий период благодаря антифашизму, только усиливают стремительность ее падения и ликвидации, так как никто уже не верит ее новому облику, противоположному тому, какой она имела вчера. Ситуация напоминает ситуацию августа 1914 года, только наоборот. Тогда социалистическая партия отказалась от своих пацифистских обязательств и поддержала правительство войны. Сейчас коммунистическая партия отказалась от своих патриотических лозунгов и тем поставила себя вне нации, вступившей в войну.

Причины произошедшего понимают только те, кто знает истинную природу движения, в котором международные соображения стоят выше национальных, а в интернациональной области первейшим условием является безусловная солидарность с Советским Союзом. Вот почему в то время, как общественное мнение отвергает “предательство” коммунистов, а члены компартий выходят из их рядов, партийный аппарат держится твердо, как это можно видеть во Франции и в других странах. Не то чтобы его

предупредили или хотя бы оповестили о готовящейся перемене курса. Когда такая перемена произошла, работники аппарата проявили растерянность и покорность, прекрасно понимая, какие трагические последствия это повлечет для мира и для них лично, но расценивая это как жертву во имя революции. Сначала они поддержали пакт от 23 августа; затем наступил конец антифашизма, раздел Польши, открытый союз Сталина и Гитлера, прозвучала речь Молотова и самокритика руководителей иностранных компартий за то, что они не сразу поняли значение происходивших событий!

Осенью 1939 года аппарат Коминтерна показал себя на высоте требований, которые Ленин предъявлял к революционному движению. Крах политического влияния коммунистических партий, распад многих из них, растерянность активистов — все это не сказалось на вере и дисциплине кадровых работников. На этом уровне диссиденты были немногочисленны, их быстро изолировали или ликвидировали, не дав им возможности и времени заручиться массовой поддержкой и заложить основы соперничающей организации. Сталин оказался хорошим учеником Ленина: его Коминтерн, как в Москве, так и за рубежом СССР, показал себя твердым ядром беззаветно преданных работников, от которых во имя мировой революции можно потребовать всего, в том числе и отречения от самих себя. Этот круг людей — партийная аристократия, если угодно, — оказался более многочисленным, более многонациональным и, тем не менее, более сплоченным, чем во времена Ленина. Способствовал ли этому террор, или прошедшие годы? Видимо, действовали оба фактора, придавшие второму большевизму длительность и устойчивость, свойственные революционным страстям, питающимся верой в учение и преклонением перед силой.

Еще до наступления середины века мировая война из невольной союзницы коммунизма превратилась в сознательно избранное им орудие своего распространения. Первая мировая война позволила ему захватить власть. Вторая, едва начавшись, вернула России ту цену, которая была заплачена за рождение Советского Союза: ей были возвращены земли, потерянные по Брестскому миру, и вдобавок — часть Польши. Ленин уже испробовал в 1920 году, во время наступления Красной Армии на Варшаву, концепцию военного распространения социализма. Сталин применил ее в 1939—1940 годах в своем собственном стиле, еще более элементарном. В то время как гестапо устанавливало полицейский режим в западной части Польши, Сталин также производил политическую чистку в своей зоне. Гитлер депортировал и истребил не только многочисленное еврейское население, но также десятки тысяч поляков во

имя антисемитского и антиславянского расизма; Сталин депортировал и убивал во имя социализма.

Бойня в Катыни, произошедшая как раз в это время, типична для сталинских методов. Начиная с сентября 1939 года отряды НКВД устраивали в восточной Польше ширококомасштабные облавы на всех, кто мог в данный момент или впоследствии принять участие в национальном сопротивлении; речь шла прежде всего об офицерах действующей армии и резервистах, что составило около пятнадцати тысяч человек, из которых половина носила военную форму, другая же половина состояла из учителей, профессоров, журналистов, адвокатов, врачей, священников. Все они были распределены по трем советским концлагерям — Осташков, Козельск и Старобельск. Все заключенные Козельска — немного менее пяти тысяч человек — были убиты в апреле 1940 года в Катынском лесу выстрелами в затылок<sup>15</sup>. Никто никогда ничего не узнал о десяти тысячах других несчастных, чьи останки лежат, наверное, где-то в русской или белорусской земле. В то время для поляка, принадлежавшего в той или иной мере к национальной элите, счастьем было, если его просто отправляли куда-нибудь в ГУЛаг, в Сибирь или в Среднюю Азию: их потом обнаруживали там сотнями тысяч по требованию польского правительства в Лондоне, когда Сталин был вынужден снова сменить союзников.

В период между сентябрем 1939 и 1940 годом Сталин был занят присоединением к Советскому Союзу новых земель и ликвидацией пояса прозападных государств, который был создан версальскими победителями в качестве гарантии безопасности к востоку от Германии и к западу от России и который в реальности стал зоной влияния для этих двух государств. После своего полупоражения в Финляндии зимой 1939—1940<sup>16</sup> Сталин поторопился весной с осуществлением других пунктов секретного протокола от августа 1939 года, тем более что нацисты укрепили свои силы и свой престиж оккупацией Дании и вторжением в Норвегию, но особенно — разгромом Франции в июне. В том же месяце Сталин, под предлогом борьбы с “антисоветской деятельностью” в прибалтийских странах, уже прошлой осенью попавших от него в вассальную зависимость, ввел туда войска, а в июле-августе присоединил их к СССР в виде трех новых советских республик<sup>17</sup>. Одновременно он вернул Бессарабию, которая была присвоена Румынией в 1918 году; заодно он прихватил северную Буковину, которая никогда не принадлежала Российской империи и не фигурировала в секретных протоколах с Германией, что вызвало недовольство немцев, очень внимательно следивших за всем, что происходило вблизи месторождений, снабжавших их нефтью.

До тех пор отношения между двумя тоталитарными государствами были отмечены большой внешней сердечностью, прикрывавшей свойственный обоим сторонам цинизм. Сталин дошел до того, что насильственно репатриировал в нацистскую Германию несколько сотен немецких и австрийских антифашистов, многие из которых, бывшие коммунисты, были у него под подозрением, а другие уже находились в ГУЛаге. Маргарет Бубер-Нейман, вдова бывшего руководителя немецкой компартии, рассказала после войны об этой мрачной одиссее, о ее перевозке из лагеря в лагерь, вплоть до железнодорожного моста под Брест-Литовском, где на границе сотрудник НКВД передал ее двум ээсовцам<sup>18</sup>. В области экономики и торговли дела шли прекрасно, был заключен целый ряд соглашений. Обе страны оказывали друг другу помощь в военной промышленности. В политике их интересы сближались. После разрешения польского вопроса Гитлеру была нужна свобода рук на Западе, а Сталину — возможность оставаться вне конфликта и одновременно расширять территорию “социализма в одной стране”. Два диктатора становятся соседями с общей границей большой протяженности, что не мешает им оставаться союзниками.

Однако сокрушительный разгром Франции изменил равновесие сил в Европе. Сталин, как и многие его современники, был склонен предполагать, что вторая мировая война по своей длительности превзойдет первую. Он был в этом заинтересован: чем длительнее будет война, тем предпочтительнее будет его позиция, потому что участники конфликта будут истощать друг друга, а СССР будет становиться все сильнее, чтобы в конце концов либо прямо вмешаться, либо принудить европейскую буржуазию перестать сопротивляться коммунистической революции. Слишком мощная Германия, добившаяся господства в Европе, не соответствовала его расчетам. Во всяком случае, она ограничивала своему союзнику по августовским договорам свободу маневра. Но при этом Гитлеру удалось поставить на колени только Францию, а не Англию, которая не желала сдаваться. Однако еще со времен написания “Майн Кампф” он был убежден, что надо сначала одержать полную победу на Западе, а потом уже начинать войну с Россией. Поэтому летом 1940 года он колебался. В июле он думал одновременно о высадке в Англии и о вторжении в Россию, как Наполеон в 1805 году<sup>19</sup>. Но Кейтель отговорил его пускаться в это предприятие осенью ввиду отсутствия времени, необходимого на подготовку; что касается высадки в Англии, то в середине сентября выяснилось, что осуществить ее невозможно, так как немецкой авиации не удалось завоевать господства в воздухе. Оба проекта срывались. Английский проект был вскоре оставлен из-за отсутст-

вия технических средств для его осуществления. Но вторжение в Россию было только отложено. Советские происки в Румынии, имевшие место летом, делают такое вторжение еще более вероятным. Не имея возможности сломить Англию, Гитлер решает разгромить СССР и через него нанести удар по Англии. Он хочет одним выстрелом убить двух зайцев: подчинить нацистам славянские народы и лишить Англию последнего потенциального союзника в Европе<sup>20</sup>. Знакомый с европейской историей, он совершает, тем не менее, ту же ошибку, что и Наполеон, вступая на путь, который приведет его к финальной катастрофе.

Решение напасть на СССР в 1941 году было фактически принято уже предыдущим летом, так как генеральный штаб начал разработку плана. Оно было формально закреплено 18 декабря 1940 года под названием операции “Барбаросса”, время начала военных действий было намечено на май. Это решение было логическим завершением немецкой политики на протяжении предыдущих восьми-десяти месяцев. Но если действия Гитлера нам ясны и прямо вытекают из программы “Майн Кампф” и соотношения сил в Европе после разгрома Франции, то намерения Сталина гораздо более загадочны. При всех любезностях, которые расточают друг другу два союзника, он знает, что его положение осложнилось: прошли времена, когда в обмен на свой союз с Гитлером он мог отхватывать территории в тылу немецкой армии, целиком повернутой на запад. Захватив обширные пространства в Европе, Гитлер вновь обрел свободу на востоке. Он предлагает гарантии Румынии, выступает арбитром в венгерско-румынском споре из-за Трансильвании, его тень появляется рядом с Финляндией. Сталин стеснен в своих маневрах и вынужден соблюдать соглашения 1939 года. 12 ноября он посылает в Берлин своего главного стряпчего Молотова, чтобы договориться о соблюдении соглашений, иначе говоря — зон влияния. Инициатор встречи Риббентроп хочет побудить СССР присоединиться к недавно подписанному трехстороннему пакту (между Германией, Италией и Японией), чтобы заинтересовать его в дележе английских колоний в Азии. Но, столкнувшись лицом к лицу с Гитлером, Молотов пускает в ход все свое циничное упрямство, которое в дальнейшем составит его репутацию. Шпенглеровские тирады фюрера о мировой политике не мешают советскому посланцу призывать к соблюдению регламента, то есть, в данном случае, секретных германо-советских договоров о восточной Европе. Сталин выразит, несколько дней спустя, свою заинтересованность идеей раздела мира между четырьмя державами (с признанием советских интересов в северном Иране, Ираке и восточной Турции); но разногласия относительно Финляндии и Балканского региона сохранились.

В момент, когда Гитлер окончательно принял план “Барбаросса”, у Сталина были все основания для недоверия, и поведение Молотова в Берлине подтвердило наличие такого недоверия уже в ноябре 1940 года. Перестал ли Сталин, в этих условиях, класть все яйца в одну корзину? Стал ли он, добившись ряда политических приобретений, готовиться к перемене линии? Коминтерновские тексты того времени, как всегда, проливают свет на коммунистическую политику. Директивы, поступавшие из Москвы в Париж для французской компартии, засвидетельствовали определенные изменения, начиная с лета 1940 года. В поверженной и оккупированной Франции коммунисты сначала завязали переговоры с немецкими властями, желая получить разрешение на выход своих газет, организацию массовых выступлений против правительства Виши и борьбу, под крылышком оккупантов, против своей буржуазии: такая стратегия соответствовала линии, принятой в сентябре 1939 года, но в новых условиях, после победы Германии, она рисковала оказаться слишком пронацистской. Поэтому они попросили у Коминтерна разрешение вести себя менее послушно по отношению к оккупантам. Текст, полученный из Москвы и датированный 5 августа, нельзя назвать решительно антинацистским, но он запрещал коммунистам всякое сотрудничество с оккупантами<sup>21</sup>. Он осуждал, не говоря об этом прямо, переговоры с Абетцом о разрешении на издание “Юманите” и требовал, чтобы вся деятельность партии, как легальная (такая возможность допускалась), так и нелегальная, проводилась независимо от немцев, но о том, чтобы оказывать им прямое сопротивление, речи не было. Упор делался на социальную борьбу, разоблачение буржуазной политики правительства Виши, враждебное недоверие по отношению к оккупантам. Всю зиму 1940/41 года продлится это двусмысленное состояние, которому способствовал и сам Сталин, поскольку документ от 5 августа готовился под его руководством. В сущности, тональность не изменится и в конце года, когда он скажет Димитрову после визита Молотова в Берлин: “Наши отношения с немцами внешне вежливы, но между нами существуют серьезные трения”<sup>22</sup>.

Если дело обстояло таким образом в конце 1940 года, то как объяснить, почему Сталин не опередил Гитлера в июне 1941? Почему он не поверил тем, кто предупреждал его о готовящемся нападении, так что начало войны обрушилось, как удар молнии, на неподготовленную к этому Красную Армию? А ведь предупреждений было более чем достаточно: об этом говорили и люди, и факты! Продвижение Гитлера на Балканах завершилось подчинением Болгарии, завоеванием Югославии и Греции в апреле. На германо-русской границе в 1941 году участились облеты советской тер-

ритории немецкими самолетами. Концентрация танковых соединений не укрылась от советских разведывательных служб. Из Токио в начале года агент Зорге доносил Сталину о решении Гитлера напасть на СССР; Черчилль, в отчаянных поисках союзника, передает в апреле ту же информацию через своего посла в Москве; американское правительство сделало то же самое в марте. Однако Сталин пренебрег всеми этими сигналами. Он не только не поверил предостережениям, но сделал все, чтобы не дать им ход, как будто боялся вызвать недоброжелательство немцев. С января советские поставки сырья и продовольствия в Германию возросли<sup>23</sup>, а Гитлер увеличил ответные поставки, чтобы не вызывать подозрений. Когда 13 апреля японский министр иностранных дел Мацуока, подписав договор о ненападении, отбыл из Москвы, Сталин неожиданно появился на вокзале, чтобы попрощаться с ним. Он подошел к немецкому послу, пожал ему руку и сказал: "Мы должны остаться друзьями, а вы должны сделать все для этого". Эта фраза похожа на попытку заклясть судьбу за шесть недель до начала осуществления плана "Барбаросса"! Но она вполне может быть и маскировкой... Немного позже, в начале мая, генеральный секретарь партии занял место Молотова в качестве главы советского правительства. И снова встает вопрос: как понимать такое "самопродвижение"? Если оно совершено в предвидении неких важных событий и предвещает предстоящую пробу сил с Гитлером, то опять же неясно, идет ли речь о мирной или о военной пробе сил...

Самое убедительное и, по сути дела, единственное доказательство того, что Сталин не поверил предупреждениям о грозящем нападении, состоит в факте неподготовленности Красной Армии и медлительности советского отпора агрессии; о том же говорит и странное поведение самого Сталина: с объявлением о начале войны по советскому радио в полдень 22 июня выступил Молотов, в то время как Сталин в растерянности укрылся у себя на даче в Кунцево и появился, чтобы выступить с обращением к народу, только 3 июля. Все эти факты, обнародованные Хрущевым в его знаменитом докладе на XX съезде партии в 1956 году, были тогда истолкованы так, чтобы доказать неспособность его предшественника, и его патологическую самоизоляцию. Не столь строгие в оценке качеств Сталина, историки чаще всего объясняют происшедшее его недоверием ко всему и всем: большинство из них склоняется к мысли, что генеральный секретарь решил, что принята кампания дезинформации с целью поссорить его с Гитлером, а потому и не поверил предупреждениям, сочтя их провокацией. Но такое объяснение плохо согласуется с относительным ухудшением германо-советских отношений, начиная с лета 1940

года; оно не отвечает на вопрос, почему в 1941 году Сталин верил слову Гитлера больше, чем Черчиллю.

Недавно появилась книга, написанная офицером ГРУ, перешедшим на Запад: Виктор Суворов<sup>24</sup> предложил новый ключ к этой тайне. Опираясь на советские, главным образом военные, источники, автор стремится доказать, что в момент, когда Гитлер напал на Советский Союз, Сталин как раз готовил такую же операцию против Германии<sup>25</sup>. Основанием для такого утверждения автору служат данные о советских военных приготовлениях, последовавших за оккупацией восточной Польши в сентябре 1939 года: по мнению Суворова, Сталин торопился разрушить оборонительные сооружения, возведенные в 30-х годах вдоль старой границы, и подчинить все наступательной стратегии, основанной на использовании большого количества легких танков в расчете на хорошие дороги. Пакт 23 августа 1939 года был якобы только одним из этапов такой политики, нацеленной на использование Гитлера в качестве своего рода “ледокола” мировой революции: объединенная под фашистским сапогом, Европа тем вернее должна была стать добычей Красной Армии. Нацистский диктатор, таким образом, должен был работать на диктатора советского, готовя для него почву с опережением на несколько недель или несколько месяцев; в результате Гитлер получил преимущество в виде отсутствия у Советского Союза оборонительной системы. Нельзя считать целиком абсурдной такую концепцию автора книги<sup>26</sup>, воскрешающую старую навязчивую идею коммунистов о фашизме как “высшей стадии” капитализма, то есть — как об инструменте его ликвидации. Однако трудно себе представить, что Сталин был настолько нереалистичен, чтобы думать о нападении на Гитлера в 1941 или 1942 году, когда тот находился на вершине своего могущества. Скорее можно предположить, что советский диктатор считал, что, подписав пакт 1939 года, он не только приобрел территории, но и выиграл время.

Правда, в этом случае остается без убедительного объяснения вера Сталина в длительность заключенного с Гитлером союза и его растерянность в дни, последовавшие за 22 июня 1941 года. Может быть, разгадка будет когда-нибудь найдена в советских архивах. Но одно, во всяком случае, не вызывает сомнения: 22 июня произошел перелом в характере второй мировой войны, так что в конечном счете в общественном мнении закрепилось представление, что вина за нее целиком падает на Гитлера и ни в коей мере — на Сталина. Действительно, с немецкой стороны побудительные причины столь же ясны, насколько с советской стороны они непонятны или двусмысленны. Хотя оно и являлось крупнейшей политической ошибкой, вторжение в Советский Союз было тщательно

продумано и подготовлено в соответствии с программой, изложенной еще за двадцать лет до того, в “Майн Кампф”. Захват земель от Вислы до Урала для обеспечения немецкого жизненного пространства был одним из исходных и основополагающих пунктов нацистской программы. Единственная неожиданность, связанная с нападением 22 июня, состоит в том, что оно произошло без того, чтобы Гитлеру удалось добиться предварительной капитуляции Англии; все остальное — лишь осуществление идеологической установки в сочетании с недооценкой сил противника. Таким образом, продвигаясь к Уралу под фашистскими знаменами, вермахт придал второй мировой войне ее универсальный смысл — смысл борьбы против фашизма. Тем самым в руках у коммунистов, помимо их желания, снова оказалось знамя, которое они предали. Обо всем позаботился Гитлер.

Разумеется, в известном смысле, война против фашизма началась не 22 июня 1941, а 3 сентября 1939 года, когда Англия и Франция объявили войну гитлеровской Германии, напавшей на Польшу. Уже с этого момента конфликт приобрел идеологический характер. Ненависть к западной плутократии, презрение к деградирующей Франции, требование раздела (хотя бы частичного) английской империи — таковы были главнейшие требования “Майн Кампф”, наряду с подчинением славян и завоеванием немецкого жизненного пространства на востоке. Война, таким образом, начиналась и развивалась в соответствии с нацистскими планами и по нацистскому календарю, как столкновение демократических стран с их врагом, к которому присоединится и муссолиниевская Италия.

Однако на восприятие войны наложились и много других элементов. Память о войне 1914 года еще была жива в 1939 году; она делала новое столкновение как бы продолжением старого франко-немецкого или же англо-немецкого конфликта, создавая впечатление скорее бесконечной распри между нациями, чем новой борьбы идей. К тому же западные правительства, объявившие войну Германии, возглавляли те же люди, которые годом раньше подписали мюнхенские соглашения. Для Польши они сделали то, чего не сделали для Чехословакии, однако “странная война” показывала, что они не оставили надежды на новый компромисс с Гитлером после того, как он разгромит Польшу<sup>27</sup>. Но и помимо их расчетов общественное мнение во Франции восприняло войну скорее как национальную неизбежность, чем как исполнение идеологической миссии: мы же видели, до какой степени даже антифашистская левая вплоть до 1939 года отвергала идею антифашистского крестового похода. В то время его проповедовали только коммунисты; но после поворота 23 августа 1939 года они тоже, и пуше

всех, превратились в борцов за мирный компромисс, против “империалистической войны”: термин “антифашизм” или “антинацизм” полностью исчез из их литературы<sup>38</sup>. Так что получилось, что все солдаты демократических стран, независимо от их правых или левых взглядов, отправились в сентябре в армию скорее для того, чтобы защищать родину, чем для того, чтобы сражаться с фашизмом.

Фактически победа Гитлера над Францией не имела ничего специфически фашистского ни в ходе военных действий, ни в их результатах. Военные действия, помимо своей скоротечности, отличались только широким применением танков и авиации: в остальном сражения соответствовали прежним правилам ведения войны. Что же касается целей Гитлера, то он оказался в состоянии войны с Францией из-за Польши; с “наследственным врагом” у него скорее традиционные, чем идеологические счеты: он хочет отомстить за версальское унижение, вернуть Эльзас и Лотарингию, подчинить старую и “слишком цивилизованную” страну возрожденному Рейху. К тому же желание заставить Англию “пойти в Каноссу” удерживает его от того, чтобы лишить всего побежденную Францию: ведь слишком жесткие условия перемирия могли бы побудить французов продолжать войну из Касабланки или Алжира и укрепили бы решимость англичан. Поэтому, несмотря на настояния Муссолини, Северная Африка и флот останутся в руках правительства Виши. Франция сохранилась как государство на двух пятых своей территории; на остальных трех пятых, оккупированных победителями, немецкие солдаты получили приказ вести себя прилично.

Вплоть до 1941 года только одна европейская нация стала в результате войны жертвой нацистского террора и подвергалась систематическому разрушению: речь идет о Польше, о ее западных территориях. Но об этом почти никто не знал или не хотел знать; почти никто не говорил, или не говорил достаточно громко, о диких делах, которые начинали там твориться. Впрочем, большевики действовали подобным же образом в восточных районах, что мешало определить эти действия как специфически нацистские. Зато вторжение Гитлера в Россию сразу создало условия для возобновления прежней антифашистской проповеди: сталинский режим вернулся в демократический лагерь, заняв там место рядом с Англией и, в недалеком будущем, Соединенными Штатами, а советская территория стала главным театром проявления нацистского варварства.

Директивы Гитлера вермахту о поведении в завоеванной России составляют резительный контраст с аналогичными инструкциями

относительно стран Западной Европы. Дело в том, что Гитлер не собирался превращать Францию во владение “тысячелетнего Рейха”, а с территориями к западу от Вислы он намеревался поступить именно так. Достаточно почитать его “беседы за обеденным столом”<sup>29</sup> (первые из них относятся к лету 1941 года), чтобы понять, до какой степени его воображение было занято германской сельскохозяйственной колонизацией земель, которые он называл “русской пустыней”: это была производственная утопия, вытекавшая из полного презрения к славянским народам, из расизма столь крайнего, что он узаконивал по отношению к этим “краснокожим” любое насилие, убийства, голодную смерть<sup>30</sup>. Действительно, директивы, которые он давал своим наступающим войскам — например, убивать всех захваченных политкомиссаров, — настолько выходили за пределы ранее принятого на войне, что исполнение некоторых из них он не доверял офицерам вермахта. Исполнение наиболее преступных предписаний было передано Гиммлеру и войскам СС, под личным контролем фюрера. В “специальной директиве” от 13 марта Гитлер обосновывал тотальный характер войны против СССР и необходимость поручить войскам СС исполнение некоторых “особых заданий” тем, что две политические системы непримиримо враждебны друг другу<sup>31</sup>. Ожесточению битвы Гитлер, таким образом, сам дал обоснование и идеологическое значение. 30 марта, выступая перед 250 офицерами, он провозгласил истребление противника военным, национальным и политическим долгом: “Бороться против растлевающего яда. Командиры должны осознать, сколь велик залог борьбы, которой им предстоит руководить... Комиссары и агенты ГПУ — преступники все до одного, и поступать с ними нужно соответственно... Сражения будут сильно отличаться от тех, которые мы вели на западе. На востоке жестокость сегодня будет залогом великодушия в будущем. Командиры должны быть достаточно сильными, чтобы обуздать свою шепетильность”<sup>32</sup>.

За этими призывами обратиться в рабство славян и уничтожить коммунистов просматривается и третья категория врагов Рейха, о которых Гитлер в этот период говорит не так открыто, хотя он всегда относился к ним как к наихудшим врагам: речь идет о евреях. Несомненно, это их имеет в виду Гитлер, говоря о “растлевающем яде”; несомненно, в глазах Гитлера, они составляют большинство среди политкомиссаров<sup>33</sup>, которых необходимо уничтожить. То, что, обращаясь к солдатам, фюрер проявил необычную сдержанность и не назвал евреев первыми в числе врагов, имеет, по моему мнению, несколько объяснений. У евреев нет ни национальной территории, ни армии: эти миллионы беззащитных людей, рассеянных по городам и весям на востоке, не представляют из себя та-

кой силы, которая отвечала бы традиционным военным представлениям. Их преследование, в этимологическом смысле слова, не может служить для солдата предметом воинской славы — в отличие от победы над Красной Армией или уничтожения СССР. Впрочем, такое преследование уже идет полным ходом с сентября 1939 года на территории бывшей Польши. Но осуществляют его главным образом СС и гестапо, так как регулярная армия не проявляет особой готовности участвовать в этом. Идет массовая депортация евреев на восток и принудительное восстановление гетто для еврейского населения<sup>34</sup>: таким путем евреи изгоняются не только из Германии, Австрии и Богемии, но и с польских территорий, непосредственно включенных в состав Рейха. Отсюда трагическая концентрация евреев в зоне “Главного правительства”<sup>35</sup>, где оказались также десятки тысяч поляков, изгнанных из западных земель своей бывшей родины. Главный немецкий наместник Франк все время протестовал против чрезмерного перенаселения вверенной ему территории, но сам он был лишь колесиком в административном механизме насилия, выбрасывавшем в его владения толпы еврейских и польских переселенцев вперемешку с несчастными цыганами. Но в это время — в 1940 году — нацистские главари еще рассматривали возможность изгнания евреев из Европы, например, на Мадагаскар. Создание гетто и бюрократическая регистрация евреев — уже тогда их было зарегистрировано от полутора до двух миллионов — должны были облегчить их предстоящее принудительное переселение.

Идея переселения евреев в Африку была похоронена, когда Гитлер стал обдумывать план российской кампании и готовить к ней своих офицеров, то есть зимой и в начале весны 1941 года. Он не мог не знать, что, двигаясь на восток, его армия снова столкнется с еврейской проблемой, только возросшей в три или четыре раза. На Украине, в Белоруссии и в России существовала наибольшая, наряду с Польшей, этническая концентрация евреев. И если еврейские гетто не будут выселены из Европы, они рискуют задержать продвижение немецкой армии и отвлечь ее на выполнение дополнительных задач по концентрации евреев и контролю за ними. Вот почему истребление евреев было включено в число тех “специальных задач”, которыми, по указанию Гитлера, должны были заняться специальные войска, предназначенные для очистки территории от заклятых врагов Рейха. Уже 3 марта, в ходе секретного совещания между Гитлером и генералом Йодлем, задача этой второй волны наступающей армии была определена в следующих словах: “Искоренять иудо-большевистскую интеллигенцию желательно прямо на театре военных действий”<sup>36</sup>. Абстрактная форму-

ла, предназначенная прикрыть ужас приказа и, однако, говорящая то, что хочет сказать. С идеей эмиграции покончено. Кончилось время перемещения и концентрации, началось время бойни. Образование четырех "Einsatzgruppen", вооруженных спецформирований, предназначенных для оперативного уничтожения евреев на только что захваченной территории, предвещает массовые убийства лета и осени 1941 года.

Даже если ограничиться рассмотрением одних только немецких намерений, становится ясно, что 22 июня означало перелом в характере войны, которая становится войной на истребление во имя расовой идеологии. Ее истинный смысл обнажился в инструкциях Гитлера весной 1941 года. Это уже не была война старого типа, заставлявшая народы время от времени ополчаться друг на друга, превращавшая мирных граждан в солдат, подвергая их всевозможным испытаниям, но и предоставляя им возможность прославиться и продемонстрировать свой патриотизм. Нацистская война вдохновлялась более общими идеями, чем просто идея защиты нации; она ставила целью мировое господство, вела сражение против врага более универсального, чем солдат или армия той или иной страны; чем абстрактнее были цели этой войны, тем яростнее велась борьба за их достижение. Именно такую войну пожелал вести Гитлер еще до ее начала, такой она и стала в трагической действительности. Причем немецкий народ действовал так, как будто воля фюрера была и его собственной волей. Коллективные преступления совершались в столь громадных масштабах, столь последовательно, столь тщательно, таким огромным количеством участников, что человеческое сознание до сих пор не может до конца постичь их тайну.

Советский Союз станет для Германии первым театром такой войны, ее самой очевидной целью и наиболее героическим противником. С осени 1939 года страна Сталина стала в Европе предметом почти всеобщей ненависти. Ее ненавидели и старые враги, и старые друзья: первые укрепились в своих чувствах, вторые были обмануты в своих лучших надеждах. Она запятнала себя антипольскими зверствами; во второй половине 1940 года ей уже не нужны были никакие союзники, чтобы подчинить себе прибалтийские страны с помощью массовых казней и ссылок. И вот вторжение 22 июня 1941 года мгновенно превращает палача в жертву. Советский Союз оказывается в демократическом лагере, бок о бок с Англией, а вскоре и с Соединенными Штатами. В течение нескольких месяцев масштабы немецкого вторжения, свирепость и зверства нацистов, ожесточенность русского сопротивления превратили Советский Союз в страну-мученика и в надежду на освобождение Европы.

Достаточно взглянуть на поведение Черчилля. Старый лидер, долгое время находившийся в изоляции среди английских консерваторов из-за своего недоверия к Гитлеру, был также ветераном антисоветизма. Его враждебность к коммунизму имела такой же срок давности, как и существование советской власти. Весной 1941 года он терпел одно поражение за другим: на Ближнем Востоке, в Греции, на Крите. Он находился в слишком тяжелом положении, чтобы быть разборчивым в выборе союзников, коль скоро появился хоть один. Поставленный в известность своими службами о немецких военных приготовлениях, он предупреждает Сталина, который ему не верит. Но как только начинается вторжение 22 июня, Черчилль заявляет о своей солидарности с правительством, которое он ненавидит, но которое стало противником нацистов. Его военные советники склонны предполагать, как и Гитлер, что Советский Союз будет поставлен на колени в течение нескольких недель; но политическая интуиция Черчилля подсказывает ему, что произошел поворот в ходе войны, в которой вот уже почти два года Англия сражается один на один. 12 июля, в разгар отступления Красной Армии, английское правительство подписывает в Москве союзный договор с советским правительством: обе стороны принимают на себя обязательство не подписывать с Германией сепаратного мира. 2 августа Соединенные Штаты берут на себя оказание СССР военной и экономической помощи. В октябре подписан трехсторонний англо-американо-советский договор в том же духе. Советский Союз стал союзником и другом двух ведущих либерально-демократических держав мира, причем еще до того, как наиболее мощная из них вступила в войну. Когда 6 декабря контрнаступление под Москвой ознаменует первое военное поражение нацистов, как же общественное мнение могло не забыть о том, что Сталин еще недавно был союзником Гитлера?

А ведь он был им еще вчера. Те земли, которые сейчас захватывали немецкие танковые соединения, Сталин с помощью Гитлера вырвал из тела поверженной Польши в сентябре 1939 года. Теперь его союзником стало польское правительство в эмиграции, нашедшее приют в Лондоне! Дело в том, что война вообще, а эта, величайшая в истории война больше, чем любая другая, до крайности упрощает выбор. Прошлое она подчиняет текущему моменту. Она признает существование только двух лагерей, и под их знамена должны строиться все — и солдаты, и страсти, и идеи, и даже воспоминания. Гигантские масштабы германо-советской войны 1941 года, миллионы участников, огромное количество техники, суровость климата — все это довело противостояние до последней черты. Вступление в войну Соединенных Штатов и Японии 8 де-

кабря, в решающий момент советского контрнаступления, окончательно придало битве под Москвой универсальный и символический характер.

Сталин был не последним, кто понял значение войны для советской политики вообще и для его диктатуры в частности. В момент, когда разразилась война, предупреждения о которой он не захотел поверить, Сталин был человеком, который своими, жестокими и кровавыми, средствами создал российскую мощь. Ему принадлежало учение о построении социализма в одной стране, идеи пятилетнего плана, принудительной индустриализации, модернизации вооружений. Хотя он и убил больше русских, чем любой враг России, хоть он и расстрелял, в частности, руководящие кадры Красной Армии, в 1939—1940 годах он был человеком, увеличивающим территориальные владения России, продолжающим путь царей во имя социализма. Когда 3 июля 1941 года он обратился к своим “братьям и сестрам”, чтобы предложить им первые контуры программы сопротивления врагу, его речь была пронизана призывами к патриотизму: он знал лучше, чем кто-либо, что если народ еще в силах подняться на борьбу с захватчиком, то сделает он это ради защиты родной земли, а не ради колхозов и политбюро.

Гитлер помог этому национальному порыву. Даже там, где его войска встречали с цветами, как это было во многих украинских деревнях, где жители надеялись на деколлективизацию, поведение солдат, подчинявшихся приказу свыше, быстро положило конец такому беспредметному братанию: задачей нацистской войны было разрушить власть советского государства на всей захваченной территории, но лишь для того, чтобы превратить местное население в бесплатную рабочую силу на службе Германии. Когда 30 июня 1941 года возникла украинская националистическая организация, стремившаяся создать в Львове независимое от Москвы государство, вермахт арестовал ее руководителей и сторонников<sup>17</sup>. Они не станут пытаться проводить в советских республиках политику отделения от Москвы, поскольку такая политика противоречила бы расистским замыслам, для осуществления которых и была начата война. Война в России была идеологической и платила дань идеологии.

Тем самым, время войны оказалось единственным периодом во всей истории Советского Союза, когда тоталитарная власть обрела в патриотизме народа нечто похожее на из глубины идущую, хотя и ограниченную поддержку. Хотя эта власть и несла полную ответственность за военную неразбериху и поражения, она уже раньше уничтожила все, что могло бы служить населению какой-

то иной точкой опоры для сопротивления врагу: не осталось ни прежних людей, ни учреждений, ни Церкви, ни традиций. Чем очевиднее становилась непредусмотрительность правительства, тем могущественнее становилось оно само: глубина поражения делает его сопричастным нации. Оно идет на послабления в отношении церкви, но не в отношении деятельности НКВД. Роберт Конквест<sup>34</sup> рассказывает, что во время советского отступления Сталину не хватало времени, чтобы эвакуировать всех заключенных, и тогда он приказал их расстреливать, чтобы они, оказавшись в руках немцев, не могли разоблачить его преступления.

На востоке, вдали от фронта, необходимость в производстве вооружения усиливает потребность в рабском труде. В годы войны ГУЛаг растет за счет целых народностей, подвергающихся принудительной депортации по подозрению в измене; так были сосланы немцы Поволжья, калмыки, чеченцы. Правда, Сталин выпустил из заключения некоторых нужных ему офицеров, например генерала Рокоссовского; из числа ссыльных было сформировано несколько штрафных полков. Ничто не характеризует лучше этот мрачный рабский патриотизм, как то чувство коллективного облегчения, которое сопровождало эту жестокую войну; Пастернак говорит об этом устами одного из своих героев: “И вдруг — предложение. Охотниками штрафными на фронт, и в случае выхода живыми из нескончаемых боев, каждому — воля. И затем атаки и атаки, километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали. До одного выкашивало. Как я выжил? Как я выжил? Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем по чему-то другому... Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления”<sup>35</sup>.

Западное общественное мнение не могло проникнуть в трагический смысл надежды, питавшей советских людей. У западных европейцев не было опыта жизни в СССР. Коммунистический мир им оставался еще более чуждым, чем раньше. Но совместная борьба сделала его как никогда близким; никогда раньше чувство братства по отношению к советским людям не было распространено столь широко. Это не было отвлеченное сознание идеологи-

\* Цит. по: Пастернак, Борис. Доктор Живаго. Milano, Feltrinelli editore, 1957, p. 519. — *Прим. пер.*

ческой общности, но живое чувство сопричастности, хотя народы западных стран, оккупированных или сражающихся, все же не могли себе представить, сколь по-новому ужасна была война, шедшая на востоке. Они были склонны представлять ее себе по образцу войны 1914 года, которая была для них настолько ужасна, что им трудно было вообразить нечто более жестокое. Они не замечали совершенно бесчеловечного характера, впервые приданного фашизмом войне демократической эпохи. Однако жители западных стран начали разворачивать в своих холодных квартирах большие карты СССР, чтобы отмечать на них линию фронта, ход сражений и первые успехи Красной Армии.

Они остались довольно равнодушными к истреблению евреев; в это равнодушие входили в разных дозах антисемитизм, незнание происходящего, неспособность вообразить, с какой систематичностью и одержимостью злом осуществлялся дьявольский замысел. И потом, евреи — это миллионы несчастных, но они разбросаны по пространству Европы и их судьба не оказывает заметного влияния на исход войны. А за Советским Союзом, напротив, видят единый народ, русских, которые героически сражаются против захватчика на своей территории и тем ослабляют позиции нацистской Германии в Европе. Отмечаемые флажками на карте города со странными, дотоле неизвестными названиями — Сталинград, Курск, Орел, Витебск, Минск, — становятся символами нации, сражающейся за свободу. В боях с нацистской Германией родина Октября возвращает себе место в авангарде человечества.

Эту авангардную роль относят прежде всего к народу, сражающемуся против Гитлера с оружием в руках, но и революционный универсализм получает тем самым новое подтверждение. Казалось, Советский Союз предал свое назначение, заключив пакт с Гитлером. Но война 1941 года превратила это предательство в тактический маневр; это ретроспективное переосмысление было облегчено секретным характером протоколов о разделе территории. Колоссальные потери, понесенные Красной Армией в ходе войны против Германии, вытесняют саму мысль о том, что когда-то был возможен даже кратковременный союз между нацизмом и коммунизмом. Впрочем, чтобы забыть то, что было вчера, достаточно вспомнить то, что было позавчера. Война возродила недавнюю великую эпоху, когда коммунисты были в первых рядах борьбы против Гитлера: и вот они снова взяли в руки оружие, как некогда в Испании, но в гораздо большем масштабе. Европейский антифашизм восстанавливает равновесие, наложив печать молчания на события, имевшие место между падением Мадрида и немецким вторжением в Россию. Таким путем ему удастся извлечь из сложившейся ситуации новые силы и отождествиться с патриотизмом

и борьбой против оккупантов. Произошло вытеснение из коллективной памяти некоторых событий, зато утвердился миф, согласно которому Сталин и Коминтерн обладают способностью провидеть ход истории.

На самом деле, Сталин сумел извлечь выгоду из своей самой грубой ошибки. Обманутый Гитлером, он был на волосок от гибели. Но еще до того, как его спасла привязанность народа к родной земле, он сумел заставить свою диктатуру вновь заговорить на языке антифашизма, вышедшего из употребления после 1939 года. Теперь на его знамени антифашизм сливается с патриотизмом. Все европейские компартии на этот раз с радостью встречают новый кульбит, который возвращает им молодость и возможность вести демократическую и национальную политику. Теперь уже не имеет значения, что это был вынужденный шаг, а не свободное решение Сталина: марксизм всегда умел так объяснить причины своих действий, как ему было выгодно.

Однако в этой второй разновидности антифашизма, если взглянуть на нее со стороны Москвы, были столь глубокие противоречия, что советская политика могла их замалчивать, от них открещиваться, их запрещать, но никогда не смогла их разрешить. Все они сводятся, в общем, к одному. Война превратила СССР, воевавший рядом с англосаксонскими демократиями, в оплот свободы как отдельных индивидов, так и целых наций. Но она не могла изменить природу советского режима. Наоборот, все происходит таким образом, что новая роль и новый облик СССР только способствуют укреплению старого деспотического режима.

Современная война — это игра ва-банк. Она дает абсолютную власть воюющему правительству, если только оно не потерпело поражения. Сталин был исключением из этого правила, потому что ему удалось получить абсолютную власть, не прибегая для этого к войне. Ему оказалось достаточно все время говорить о неизбежности войны, о заговоре империалистов, об интригах “гитлеро-троцкистов”. Но вот в июне 1941 года его предсказания, казалось, получили подтверждение: вдобавок история предоставила ему шанс выступить спасителем в критической ситуации, переломив ход военных действий под Москвой, а зимой следующего года одержать грандиозную победу в городе, носившем его имя. С этого момента война стала драгоценным союзником его абсолютной власти. Она гораздо больше, чем мир, соответствует государственному руководству экономикой. Она позволила СССР получить очень большую американскую экономическую помощь. Она дала законное обоснование и рациональное объяснение авторитаризму власти, бесправию народа и культуре вождя. Уже до войны Сталин был полубогом, после Сталинграда он стал божеством на все сто процентов.

Таким образом, патриотизм, проявленный солдатами Красной Армии в борьбе с врагом, не привел к их встрече со свободой. Они спасли родную землю, но для себя получили только новые цепи. Они разбили нацистского фюрера, но обожествовали московского вождя. «Из двух злейших врагов, — пишет Солженицын, — наш народ выбрал того, который говорил на одном с ним языке»<sup>39</sup>. Впрочем, захватчики подвергли русский и украинский народы такому презрению и таким жестокостям, что вряд ли оставили им возможность выбора. В Отечественной войне, которую вели советские люди, был заключен двойной смысл. Благодаря ей Сталин намеревался обеспечить себе продление тоталитарного господства: победу можно было расценить как поддержку народом коммунистического режима. Но лучшие из тех, кто сражались и гибли в этой грандиозной битве, видели в ней надежду на гражданское возрождение и обретение свободы. Они-то и оказались главными побежденными, укрепив у себя на родине тот тип власти, который они сокрушили в Берлине.

Итак, германо-советская война помогла сохраниться в Кремле тоталитарному режиму, лучше, чем когда-либо, замаскировавшемуся под антифашизм. Это подтверждает и советская внешняя политика, остававшаяся верной себе и до, и после 22 июня 1941 года. По видимости все изменилось. В 1939—1940 годах Советский Союз захватил целый ряд территорий, действуя в стиле Гитлера и пользуясь силовым превосходством над малыми странами. После 22 июня 1941 года, вступив в войну с Гитлером, СССР стал естественным защитником малых народов от насилия со стороны больших. Нацистская Германия собирается захватить и эксплуатировать славянские народы во имя превосходства арийской расы. Противостоя ей, СССР заявляет себя поборником равенства и независимости всех народов, как того и требует антифашизм. И по географическим, и по историческим причинам Советский Союз стремится заявить эту программу именно в славянских странах Европы, где Гитлер особенно откровенно попирает права наций во имя расистских идей.

Завоевание национальной независимости оказывается, таким образом, неотделимым от антифашистской войны. Этот лозунг мобилизует не только солдат, сражающихся с вермахтом, но и бойцов-подпольщиков в оккупированной Европе. Сталин провозглашает его как одну из целей войны и как руководство для международного коммунистического движения. Чтобы придать ему больше веса, он идет даже на роспуск Коминтерна (15 мая 1943 года), демонстрируя этим, что национальные коммунистические партии отныне свободны от опеки Москвы. Как всегда, он быстро делает выводы из сложившейся ситуации. Прошло время, ког-

да, как в 1939—1940 годах, можно было грубо захватывать территории. Если раньше он подражал стилю Гитлера, то теперь он говорит на языке своих новых союзников, на языке свободы.

Но у него нет ни малейшего желания на деле следовать провозглашаемым принципам. Его тактика и язык изменились, но остались неизменными методы и амбиции. Благодаря войне он более, чем когда-либо, является повелителем Советской империи, исполненным желанием продвинуть свои знамена как можно далее на запад. Но территориальные захваты, которые он планирует и которые мало-помалу вырисовываются в движении его армий, не могут быть теперь осуществлены путем простого присоединения к Советскому Союзу ранее самостоятельных наций, — этого не позволяет логика антигитлеровской войны. К тому же, нападение 22 июня 1941 года показало, как опасно иметь общую границу с Германией, — отсюда идея защитного пояса из республик-сателлитов, не включенных в состав СССР, но тем обеспечивающих ему большую безопасность. По этой причине Сталину как никогда нужны местные коммунистические партии, готовые выполнять его приказы, и роспуск Коминтерна — всего лишь хитрость, чтобы обмануть западных союзников. На территории СССР продолжали существовать как старые, так и новые руководящие центры для всех европейских компартий, и Сталин мог по мере надобности, и по собственному желанию, создавать новые компартии: румынскую, польскую, венгерскую, болгарскую, чешскую, немецкую и даже итальянскую или французскую. Вольфганг Леонард рассказал в своих мемуарах, как его печальная жизнь молодого немецкого коммуниста, нашедшего вместе с матерью убежище в СССР, резко переменилась после 22 июня 1941 года; как он был зачислен в находившуюся в Башкирии школу, где ковались кадры иностранных коммунистов, которые должны были быть готовы к “дню X”; как он оказался 30 апреля 1945 года, вместе с Гротеволем, Ульбрихтом и некоторыми другими, в первом гражданском самолете, приземлившемся в Восточной Пруссии, только что захваченной Красной Армией, чтобы сформировать там новую немецкую администрацию<sup>40</sup>.

То, что произошло в Польше, более печально-символично, поскольку речь идет о стране, с которой началась вторая мировая война и которая особенно сильно пострадала в ходе ее. Сначала она была ограблена и растерзана Германией и СССР, затем стала предметом споров между СССР и англосаксонскими союзниками и в конце концов потеряла независимость в результате войны, начатой ради того, чтобы ей такую независимость гарантировать. Ее судьба лучше всего иллюстрирует неизменность воли Сталина и

до, и после 22 июня 1941 года, несмотря на смену союзников. В 1939 и 1940 годах генеральный секретарь получил, благодаря договоренности с Гитлером, обширные территории в восточной Европе. Он хотел еще добиться, посредством переговоров Молотова в Берлине в ноябре 1940 года, некоего протектората над Румынией, Болгарией, Финляндией и Турцией, контроля над Балканами, такого же статуса мировой сверхдержавы, как и нацистская Германия. Все эти цели не изменились и после того, как Сталин перешел в демократический лагерь. Изменились только две вещи: аппетиты Сталина на западе еще больше возросли, и переговоры теперь ему приходилось вести не с Гитлером, а с Черчиллем и Рузвельтом.

Договоренность о Польше показывает, что с демократическими лидерами у Сталина возникает не больше трудностей, чем с нацистским диктатором. Хотя он и признал польское правительство в Лондоне вскоре после 22 июня 1941 года, он решительно отказывается обсуждать вопрос о польско-советской границе. Осенью 1941 года он ясно дает понять англичанам, что не собирается отдавать территории, полученные по сговору с Гитлером. Черчилль и Рузвельт стараются выиграть время, откладывая вопрос о границах до наступления мира. Но, будучи неспособны быстро открыть второй фронт, создания которого Сталин требует громко и настойчиво, они вынуждены сделать какие-то уступки в пользу своего союзника, от которого они опасаются — помня о прецеденте 1939 года — заключения сепаратного мира с Гитлером. Преждевременное согласие на советскую экспансию — это цена, которую западные демократии платят за свою неподготовленность к войне. Необходимо также учитывать наличие иллюзий: у Черчилля их нет, а у Рузвельта они есть. Относительно Советского Союза и его вождя американский президент проявляет невежество и наивность. Он создал себе о Сталине столь оптимистическое представление, которого трудно было ожидать от политика, столь блестяще проявившего себя во внутренних делах. Впрочем, время способствовало этим иллюзиям. Годы и самопожертвование Красной Армии изглаживали из памяти германо-советский пакт. Сталинград заставил забыть о том, как любезничали между собой Риббентроп и Молотов. Война заставляет принять черно-белое разделение мира, которое вскоре станет обязательным для общественного сознания.

В 1943 году обнаружение катынских захоронений еще более усложнило польскую головоломку и вызвало, с одной стороны, разрыв между СССР и польским эмигрантским правительством, а с другой, — образование в Москве другого польского руководящего центра, прообраза будущего коммунистического правительства.

Уже тогда (в конце 1943 года) советская сторона определила свою игру, провозгласив целью войны право всех наций на свободу и независимость. Одновременно "линия Керзона"<sup>41</sup> была принята Черчиллем и Рузвельтом на совещании в Тегеране как восточная граница Польши. Такая диспозиция была тесно связана с общим перемещением польской территории на запад за счет миллионов немцев, которых предстояло изгнать с их земель, что предполагало в дальнейшем тесную зависимость Польши от СССР.

Уже тогда был фактически предопределен ход последующей истории. Военное продвижение советской армии на запад делало неизбежными и такие решения, которые первоначально не были предусмотрены. Неразрешимый спор между Сталиным и Микойлайчиком<sup>42</sup> был разрешен на месте, в августе 1944 года. В ходе быстрого наступления Красная Армия достигла Праги, восточного предместья Варшавы на правом берегу Вислы. В этот момент польское правительство в Лондоне решило укрепить свои позиции и отдало приказ своим подпольным формированиям в Варшаве начать восстание. Но для того, чтобы восстание против немцев оказалось успешным, потребовалась помощь советских войск, стоявших на другом берегу реки. Помощь не пришла. Советские войска наблюдали со стороны за капитуляцией польской Армии Крайовой и за разрушением города. В декабре Комитет национального освобождения Польши, сформированный в Люблине по инициативе русских, превратился в польское временное правительство, тут же признанное Москвой. В Ялте в феврале 1945 года Черчиллю и Рузвельту удастся добиться от Сталина только включения в это правительство нескольких поляков из Лондона: мнимое "национальное единство", от которого вскоре не останется ровно ничего.

Но тогда никого не заботила эта победа силы над правом в результате войны, которая велась ради торжества права над силой. Ибо коммунистическая идея находилась тогда в апогее своего могущества: она торжествовала и в реальности, и в головах людей.

В одном из прекраснейших романов нашего века его автор, советский писатель Василий Гроссман, вывел Сталина в дни Сталинградской битвы<sup>43</sup>. В конце ноября 1942 года генеральный секретарь узнает о том, что его войска завершили окружение 6-й и 4-й немецких армий. Закрыв глаза, он наслаждается моментом. И Гроссман так передаст его мысли: "Это был час его торжества не только над живым врагом. Это был час его победы над прошлым. Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохранят спокойную немоту. Он знал лучше всех в мире: победителей не судят".

Весной 1945 года завершилось победой то, что было начато под Сталинградом. Слились воедино две силы, творящие историю: сила и идеи. Враг был повержен силой, в соответствии с договоренностью о том, что ни один из союзников не заключит сепаратный мир и не сложит оружия до безусловной капитуляции противника. Но и в идейном плане победа была не меньшей: фашизм был объявлен стоящим вне человечества и человечности. Во время первой мировой войны идея вести борьбу до полной капитуляции противника могла показаться сомнительной, да такой она и была. Но во время второй мировой войны дело обстояло иначе: компромиссный мир можно было заключить с Вильгельмом II, но не с Гитлером<sup>44</sup>.

Быть может, еще никогда в истории сила армий не казалась такой законной, как в момент победы антинацистской коалиции под знаменем свободы. И вряд ли хоть кто-нибудь мог позволить себе вспомнить о том, что триумф силы казался европейским народам гораздо менее законным четыре или пять лет тому назад, когда победы одерживало немецкое оружие. Тогда разрешение военного и идейного конфликта посредством силы казалось сомнительным, теперь оно представлялось бесспорным. Говоря языком того времени, история произнесла свой приговор. И этот приговор положил конец колебаниям.

За этот беспрецедентный триумф демократии Советский Союз заплатил самую высокую цену, хотя он и вступил в войну сравнительно поздно, в середине 1941 года, да и то не по своей воле, а в результате гитлеровской агрессии. Но как бы то ни было, а оказавшись в демократическом лагере, Советский Союз претерпел больше мучений и больше пролил крови. Он доказал свою военную мощь, социальное единство, патриотизм народа. Красная Армия первой вошла в Берлин, заняла Варшаву, Бухарест, Прагу, Будапешт. У Сталина, в результате, были несокрушимые позиции для обсуждения послевоенных проблем.

Но удача улыбнулась ему также в политической и идеологической областях: коммунизм выиграл войну и получил от истории продление своих полномочий. Нельзя сказать, что в предвоенный период ему что-либо грозило внутри СССР, где власть Сталина, благодаря Большому террору, была абсолютной. Но верность братских партий и сила их влияния были поколеблены отказом Сталина от антифашистской линии между 1939 и 1941 годами. Победа 1945 года изгладила этот эпизод из памяти народов, постарались о нем забыть и коммунисты-активисты, которым всячески помогали в этом своим авторитетом партийные руководители.

Итак, никогда образ Советского Союза не обладал большей привлекательностью, чем в эту эпоху, когда на его стороне были и

сила, и идеи. В годы, последовавшие за Октябрем 1917, идея революции, возродившаяся в России в своей первоначальной чистоте, еще не потускневшая от превратностей истории, обладала устойчивой привлекательностью только для рабочих элит и интеллектуальных кругов. Начиная с 30-х годов, несмотря на несчастья внутри страны, Советский Союз расширял свое влияние, сначала как неуязвимая экономическая система в противовес капиталистическому кризису, а затем как мощный союзник демократий в антигитлеровской войне. В результате германо-советского пакта Сталин приобрел значительные территории, но коммунизм потерял свою привлекательность. Зато победа придала ему такой блеск, которым он не обладал никогда раньше (не будет обладать и впоследствии). Красная Армия, освободив всю восточную и центральную Европу от нацистского ига, победоносно встретила на Эльбе со своими союзниками. Она не только явила миру свою мощь, но и стала воплощением борьбы за свободу.

Одним махом, благодаря такой победе над Гитлером, были заглажены преступления режима против народов и против граждан Советского Союза — при том, что война не намного смягчила произвол и жестокость власти. Если Сталин одной рукой отправлял зеков в штрафные батальоны, то другой исправно пополнял ГУЛАг посредством, например, массовой депортации малых народов или жителей аннексированных территорий. И уже недалеко то время, когда в лагеря повезут на уничтожение сотни тысяч советских военнопленных и перемещенных лиц. Как и их предки в 1812 году, советские солдаты сражались с таким патриотизмом, который не могло заглушить даже их рабское положение; с другой стороны, сражаясь с нацизмом, они обнаружили в Европе режим еще худший, чем их собственный. Так что Сталин смог воспользоваться одновременно патриотизмом повиновения и патриотизмом сопротивления. Одержав победу над нацизмом под знаменем абстрактной свободы, его армия и народ только увеличили тяжесть собственных цепей.

Знамя свободы оказало Сталину неоценимую услугу и при “освобождении” стран восточной и центральной Европы от гитлеровских войск. В известном смысле эти страны и правда были освобождены, но какой ценой и с какими намерениями? Красная Армия совершала грабежи и насилия на всем пути своего наступления, не делая особенного различия между странами, считавшимися союзными, как Польша, или вражескими, как Венгрия: по этому поводу воспоминания жителей Гданьска или Будапешта совпадают. Но эти насилия еще можно списать на счет военного ожесточения и перенесенных страданий. Но что если это только первые признаки длительной оккупации? Народы Европы — в

разной степени, но даже и в том случае, если они не были союзниками Гитлера, — имели основания опасаться, что Сталин в 1945 году продолжит ту же политику, которую он начал в 1939—1940: создание защитного пояса из поглощенных или подчиненных народов, продвинутого как можно дальше на запад на штыках Красной Армии. Разница состояла в том, что в 1939—1940 годах Сталин захватывал земли при содействии Гитлера, а в 1945, прогнав Гитлера, он, прежде чем стать оккупантом, выступил в роли освободителя; история дала его территориальным захватам демократическую легитимность. Если его армии расположились на территории Польши или Чехословакии, то исключительно ради независимости этих стран!

Гитлер, таким образом, стал невольным пособником невероятного роста военной мощи коммунизма и его власти над умами. Правда, коммунизм в Европе выдвинулся к западу гораздо дальше, чем ему позволяли его возможности, захватив столько, сколько не мог удерживать в течение длительного времени; его сила была скорее видимой, чем реальной: он был склонен к запугиванию, но не шел на столкновение, — что и показала послевоенная дипломатия. Однако Гитлер сделал для Сталина и нечто большее. Обесчестив его пактом 1939 года, втянув его в свою борьбу за господство, он же нападением 22 июня 1941 года дал ему возможность восстановить репутацию и снова придать коммунизму демократическую окраску.

Если антифашистская идея получила столь широкий резонанс в послевоенной Европе, уже после того как она потеряла свою реальную точку приложения, то произошло это потому, что такое продолжение ужасного опыта второй мировой войны позволяло дать объяснение продолжающимся несчастьям народа. Эта идея обладала силой универсального воспоминания и, быть может, коллективного раскаяния; каждый испытывал эти чувства по-разному, но были они, в большей или меньшей степени, у всех (в том числе и у тех, кто своевременно не выступил против Муссолини, Гитлера и их идей). Природная склонность человека махать кулаками после драки получила тем самым возможность проявиться в полную силу. Очень важно, что вторая мировая война, в отличие от первой, не завершилась в состоянии неопределенности в отношении ее виновников. Победив Гитлера, союзники по коалиции раскрыли такие его преступления, которые только победа помогла вывести на свет.

Нацистский режим был объявлен преступным; таким его считало общественное мнение и таким его признал международный трибунал, торжественно собравшийся в Нюрнберге для суда над его руководителями. С ноября 1945 по октябрь 1946 потребовался

почти год, чтобы рассмотреть пункт за пунктом весь страшный обвинительный акт<sup>45</sup>. Советский Союз тщательно подготовился к этому небывалому процессу с англосаксонской процедурой, где в качестве истца выступало все человечество. Он придавал тем большее значение юридическому акту, который должен был зафиксировать преступления Гитлера, что тем же актом должны были быть подтверждены демократические заслуги главной его жертвы и главного победителя. Тот факт, что советская сторона стремилась приобщить Катынь к списку нацистских злодеяний, ясно показывает, чего она ждала от приговора Нюрнбергского трибунала. Потерпев неудачу в этом пункте, она тем не менее получила в окончательном документе торжественное подтверждение демократического характера своей победы над Германией. В этом смысле суд в Нюрнберге, как об этом уже неоднократно заявляли его противники, действительно был судом победителей. Но эта формула содержит лишь часть истины: она не означает, что суд победителей был несправедлив.

Стала ясна вся чудовищность нацистских преступлений, равно как и их прямая связь с задуманной Гитлером войной. О них можно было догадываться уже до 1939 года, но тогда они ограничивались германской территорией и не достигали масштабов советских репрессий, жертвами которых в те же годы стали русский и украинский народы. Нацистские злодеяния, о которых союзники частично знали уже во время войны, открылись общественному мнению только после военного разгрома Германии и обнаружения концлагерей уничтожения, когда весной 1945 года стали появляться оставшиеся в живых свидетели. Но в это время Запад еще не осознал самого ужасного и беспрецедентного в этих преступлениях: уничтожения евреев<sup>46</sup>. Тогда уничтоженных евреев включали в общее число погибших в той стране, где они проживали. Тем, кто вернулся из концлагерей, не удавалось обратить внимание на особую трагедию своего народа, тем более что европейские государства не были склонны выделять евреев среди других жертв нацизма. Советский Союз здесь был в первых рядах; он дошел до того, что запретил всякое упоминание об истреблении русских, белорусских и украинских евреев на памятниках жертвам фашизма, находящихся на его территории. В тот самый момент, когда СССР изо всех сил старался списать на счет нацистской Германии все военные преступления, в том числе и те, которые совершил он сам, Сталин лишал себя единственного аргумента, который мог бы отделить его от Гитлера: ссылки на осуществлявшийся последним расовый геноцид. У евреев было отнято все, даже память об их несчастьях. Это означало, что черные дни не миновали.

Антифашизм образца 1945 года извлекал свою силу не столько из анализа закончившийся войны, сколько из своего отношения к ней. В конце первой мировой войны европейские народы, вовлеченные во внутренние и внешние конфликты, все еще не могли разгадать ее тайного смысла. После второй — смысл победы не оспаривается никем, даже побежденными. Германия была поставлена вне сообщества наций. Жестокости советской армии на ее территории, принудительное переселение пятнадцати миллионов немцев<sup>7</sup> на запад, смерть многих из них, — обо всем этом пресса даже не упоминала, и общественное мнение едва ли отдавало себе в этом отчет. Громогласно обличаемые и публично караемые преступления нацистов служили фоном для этого заговора молчания, получившего тем самым универсальное значение, выходящее за пределы традиционного “горе побежденным!”; в нем проявлялась не только нечистая совесть тех, кто слишком поздно вступил в борьбу против Гитлера, но также стремление придать политическому осуждению непререкаемость морального чувства, превращающего фашизм в воплощение абсолютного зла. Антифашизм стал, таким образом, не только политической позицией (хотя он был также и этим): он стал всеобщим чувством народов, уцелевших после второй мировой войны, и моральной заповедью, которую они из нее извлекли.

Таким образом, война в конце концов оправдала в очень большой степени предсказания антифашизма в его коммунистической редакции. Не то главное, что она закончилась расширением пространства демократии, поскольку Англия и Америка оказались в числе главных победителей, а значительная часть Европы — та, которая была освобождена ими от нацистов, — вновь обрела свободу и демократические институты. Ведь другая часть Европы оказалась в руках Красной Армии, и скоро там будут установлены, вплоть до Будапешта и Праги, марионеточные режимы под советским протекторатом. И это было бы еще ничего, если бы эта территориальная экспансия, сколь бы значительной она ни была, осуществлялась одной только грубой силой: идея империи с центром в Москве была понятна и европейским канцеляриям, и европейскому общественному мнению, поскольку она насчитывала не менее двух столетий. Зато совершенно новыми в 1945 году были те формы и та идеология, в которые облекались эти империалистические захваты: они происходили в виде экспорта и установления режимов советского образца под знаменем антифашизма.

Между 1945 и 1948 годами во всех странах восточной и центральной Европы коалиционные правительства постепенно уступили место коммунистическим партиям, захватившим абсолютную власть под предлогом борьбы с угрозой фашизма. Природа этого

феномена требует, чтобы мы проанализировали его с несколько иной точки зрения, обращая внимание не столько на инструменталистское использование антифашизма как оправдания для захвата власти, сколько на необыкновенное социальное воздействие, как на западе, так и на востоке Европы, идеи антифашизма на службе коммунизма.

А для этого нам нужно снова вернуться к годам войны.

Эта война не имела себе равных в истории ни по характеру конфликта, ни по силам, в него вовлеченным. Именно потому, что столкновение приняло идеологический характер, в него были вовлечены, вплоть до безоговорочной капитуляции нацистской Германии и императорской Японии, все силы великих мировых держав. Она началась в 1939 году как европейская война между Гитлером и западными демократиями, но Америка пока держалась в стороне, а германо-советский пакт о ненападении с последующим разделом Польши и фактическим обнаружением секретных договоренностей окутывал события некоей политической неопределенностью. Начиная с июня 1941 года эта неопределенность была снята нападением Германии на Советский Союз: коммунизм вновь стал антифашистским и, следовательно, демократическим. Японское нападение на Пёрл-Харбор и вступление в войну Америки дополнили картину. После чего общественное мнение забыло о том, какую роль во всем этом сыграли обстоятельства: ведь обе жертвы агрессии не предвидели близости нападения и еще менее — его неизбежности. Война, охватившая весь мир, задним числом стала выглядеть как неизбежная. То, что в начале было в ней двусмысленного, только подчеркивает закономерную работу исторического разума, который в конце концов распределил силы и роли: свобода против диктатуры, демократия против фашизма.

Таким образом, война приняла в глазах народов вид суда истории. Она закрепила в умах идеологическую мизансцену. Она сделала акцент на крайностях, и все по той же причине: потому что такова логика открытого силового конфликта. Тем самым она сделала очевидными две философии исторического насилия, столкнувшиеся между собой: нацизм и марксизм-ленинизм. Оказавшись рядом с ними в этих условиях, идея демократии не давала такой простой и прочной опоры: исключение составляли Соединенные Штаты, где вера в демократию является общенациональной чертой. Фактически по всей Европе, где идея демократии стала союзницей коммунизма, прилагательное “демократический” в момент окончания боев в очень большой степени стало ассоциироваться с ленинизмом.

Ведь в Европе демократия никогда не была предметом безоговорочного и бесстрашного культа. А уж в предвоенные годы и по-прежнему. Сделаем еще одно исключение — для Англии, которая единственная из всех европейских демократий явилась бесспорной победительницей в войне, а также единственная обладала современными обществом и правительством, которые продолжали вековые традиции неукоснительного уважения к индивиду. Сильная своей историей, Англия могла бы предложить общую связующую идею Европе, которую она спасла в 1940 году. Но в конце войны она уже была оттеснена во второй ряд победителей, к тому же она всегда стремилась скорее подчеркивать собственную самобытность, чем служить примером для других. В континентальной Европе предвоенные годы прошли под знаком борьбы фашизма и антифашизма, а конец войны означал скорее победу антифашизма, чем демократии.

Можно понять преимущества этой формулы, например, для Франции, волнуемой политическими бурями родины демократической идеи в ее революционном варианте. В довоенной Франции существовало несколько течений, враждебных демократии; они не смешивались между собой, но при случае могли объединять свои силы. Первое состоит из традиционных противников принципов 1789 года, они только ожидают подходящего случая, чтобы покончить с республикой. Их немногочисленные отряды получили некоторое подкрепление в борьбе общественных идей благодаря Моррасу. Другое течение, более широкое и современное, но и более расплывчатое, объединяет вперемешку приверженцев антипарламентаризма, национализма и революционности фашистского толка, по примеру Италии или Германии. Все они относятся к правой антидемократической культуре, поскольку не любят Французскую революцию, хотя и не ненавидят ее так, как роялисты. Но их объединяет с левыми ненависть к капитализму; подобно социалистам и коммунистам, они ненавидят буржуа и мечтают об истинной общности людей, поверх индивидуальных интересов. Ибо левые течения во Франции в период между двумя войнами более чем когда-либо пронизаны антибуржуазными идеями, раздуваемыми соперничеством между социалистической и коммунистической партиями и их спорами по поводу СССР. В частности и поэтому левым так хочется верить, даже вопреки очевидности, что противостоящий им фашизм — марионетка капитализма.

За эту ложь приходится платить. Скрывая то, что объединяет политические чувства антипарламентской правой и революционной левой, она ослабляет демократическую культуру, ее институциональные и юридические формы и способствует укреплению революционной идеи, которая расцветает тем более пышно, что ее

питают воспоминания о великих событиях национальной истории. Эта ложь, подменяя демократию антифашизмом и создавая почву для объединения всех левых и центристских сил, оказывается необыкновенно полезной также и потому, что оставляет левым возможность дальнейшего подрыва демократии после победы над фашизмом. Социалисты были втянуты в такую стратегию из слабости, потому что не решались отказаться от идеи революционного свержения буржуазной демократии. Коммунисты же придумали ее с расчетом на выгодное им продолжение.

Конец второй мировой войны открыл перед антифашизмом новое политическое пространство, навеки избавив его от врага в лице фашизма. Отныне ничто не мешает ему выступать в качестве единственного критика буржуазной демократии. Именно в этом плане конец второй мировой войны означал в большей степени победу коммунистической идеи, чем идеи демократической.

Мы должны пойти еще дальше. Важнейший политический результат победы, одержанной в 1945 году, состоял в том, что антифашизм получил монополию на выражение страсти, доминировавшей до войны на европейской политической сцене: ненависти к деньгам и капитализму. В период между двумя войнами эту страсть разделяли сторонники революции как слева, так и справа: социалисты и коммунисты — во имя равенства, фашистские движения — во имя нации; и те и другие потрясали знаменем вновь обретенного единства людей. После войны осталась только одна сторона: страсть, неотделимая в Европе от демократических условий существования и от духа времени, отныне стала полностью достоянием левых течений. Другой путь ей был заказан.

В истории после религиозных войн мало найдется политических идей, которые, сломленные силой оружия, были бы подвергнуты такому полному запрету, как фашистская идея. А ведь она зародилась и восторжествовала в двух наиболее цивилизованных европейских странах — Италии и Германии. Прежде чем подпасть под проклятие, она была надеждой для многих, в том числе и самых выдающихся, умов. Однако в конце войны она уже существует только в демонизированной форме, что обещает ей долгую посмертную жизнь для увековечения торжества победителей.

Ни разгром, ни идеологический характер войны не достаточны, чтобы объяснить такую судьбу фашистской идеи: войны обычно не разрушают идеи, против которых сражаются, а случается, даже усиливают их. Если фашизм стал идеологией, не имеющей иных толкований, кроме проклятия, то произошло это по более сложным причинам различного порядка. Некоторые причины связаны с природой учения, возвеличивающего национальное и расо-

вое, то есть частное, и идущего тем самым наперекор демократическому универсализму, который вызывает в современниках столь сильные чувства в свою поддержку. В утверждении нацистами расовой исключительности есть, безусловно, нечто такое, что противоречит общему чувству и оскорбляет убеждения подавляющего большинства людей XX века. Что же говорить о преступлениях, совершенных между 1941 и 1945 годами во имя этого учения! Они только подтвердили чудовищные подозрения, которые вызывала идея расового превосходства. Постепенно становясь достоянием гласности в годы, последовавшие за падением Третьего Рейха, они задним числом давали моральное подтверждение одержанной военной победе. Фашистская идея была обесчещена не только поражением — в этом случае она еще могла бы оправиться, — но преступлениями нацистского режима, которые отныне рассматривались как ее воплощение.

И уже не имело значения, что в Италии, например, она не послужила оправданием для подобных преступлений. Не имело значения и то, что в Германии, вплоть до 1941 года, аресты и убийства, для которых она использовалась в качестве предлога, не шли ни в какое сравнение с тем, что осуществлялось в Советском Союзе во имя пролетарской революции. Четыре последние года нацизма — это теперь и есть правда о фашизме. И она столь ужасна, что на ее осуждение ушло все возмущение цивилизованного мира, в то время как Советский Союз фигурирует в первых рядах жертв и в первом ряду победителей, и тут уже не до выяснения его природы. Германия расплачивается за всех и за все преступления века.

Но всего этого еще недостаточно для объяснения, почему коммунистическая идея извлекла все выгоды из краха нацизма: в конце концов, имелась альтернативная американская модель, и ей предстояло медленно, но верно, на протяжении следующего полувека, отвоевывать потерянное пространство. Вопрос, следовательно, заключается в том, почему американская модель оказалась в 1945 году такой интеллектуально слабой по сравнению с марксизмом-ленинизмом, такой малопривлекательной для европейской интеллигенции даже в западных странах, за исключением Германии, которая, естественно, представляет собой особый случай.

Один из вариантов ответа был уже намечен выше: в континентальной Европе, где и правая, и левая политическая культура была неотделима от критики капитализма, марксизм-ленинизм в редакции 1945 года имел важнейшее преимущество: он занимал все пространство антикапитализма в то самое время, когда стратегия антифашизма, корыстным изобретателем и непоследовательным

сторонником которой он был, принесла ему, благодаря победе, славу защитника демократии. На первый и поверхностный взгляд исход войны подтвердил марксистское определение фашизма, согласно которому окончательная победа над Гитлером и его сподвижниками может быть достигнута только путем искоренения капиталистической экономики. Абсурдность такого утверждения была понятна с самого начала и подтверждена последующими событиями. Но в то время оно оказывало очень сильное воздействие на общественное мнение — и оно еще долго сохранится, особенно в интеллигентских кругах, — по причинам двоякого рода. С одной стороны, коммунисты выступали, начиная с 1941 года, как самые решительные борцы против фашизма: они понесли самые большие жертвы и лучше всех использовали их в пропагандистском плане. После периода 1939—1941 годов они возобновили антифашистскую стратегию середины 30-х годов, что позволило им поддерживать иллюзию, будто в этой стратегии и не было никакого перерыва, и делать это так успешно, что в 1945 году им поверили даже те, кто в свое время разоблачал предательство пакта 1939 года. Советский Союз и компартии словно получают награду за антифашизм, награду тем более значительную, что раскрывшиеся преступления гитлеровцев задним числом подтверждают разоблачения довоенных лет.

С другой стороны, крах нацизма не означал конца вековых политических религий XX столетия. Напротив. Марксизм-ленинизм остался главным течением, сосредоточившим на себе свойственное гражданскому обществу обожествление политических процессов. Война не только не уменьшила такие теолого-политические тенденции, но наоборот, распространила их на все европейские народы. Она отнюдь не порвала с гражданским мессианизмом довоенных лет, но отдала в этом отношении пальму первенства марксистско-ленинской философии истории, в разнообразных, более или менее деградировавших формах. Политический пейзаж упростился, но не изменил своего характера: перспектива революционного осуществления социального назначения человека стала однонаправленной, но от этого еще более навязчивой. Либеральная демократия не может предложить ничего столь же простого и действенного для истолкования войны, как отождествление фашизма и капитализма, с одной стороны, и антифашизма и коммунизма — с другой: и то и другое стало лозунгом сначала Коминтерна, а затем Коминформа. Перед лицом только что произошедшего катаклизма, чьи размеры опровергают оптимизм огромного количества идеологов либеральной демократии, как могла она возвыситься до осмысления нашего кошмарного века? “Невидимая рука” Адама Смита уже оставила наших современников без всякой помощи в момент экономической

катастрофы 1929 года. Еще более бесполезной она оказалась на следующий день после кровавого апокалипсиса войны. Марксизм и ленинизм, напротив, используют трагедию как козырную карту, поскольку она, вместе с фигурой Гитлера, символизирует агонию капитализма. Цепь абстракций, из которых построено марксистско-ленинское объяснение истории, получила видимость истины, подтверждаемой фактами.

Коммунистический дискурс о войне обладает исключительной гибкостью и способностью нравиться любой аудитории. Демонизация врага не очень сочетается с марксизмом и с идеей законов истории, управляющих людьми. Но в данных обстоятельствах она соответствует невероятным страданиям, связанным с войной, и всеобщим возмущением преступлениями гитлеровцев. Мертвые, депортированные, подвергшиеся пыткам, просто голодные и холодные, — короче, вся разоренная Европа вопиет против виновников своих несчастий: это дискурс, соответствующий тогдашнему моральному состоянию людей, основанный на понятии зла и ответственности за зло, но облеченный в теологию истории. На другом уровне такая теология нравится интеллектуалам, она соответствует ленинским положениям о жестокостях, неотделимых от “высшей стадии” капитализма. Она предоставляет им бесконечное поле для философских спекуляций относительно диалектики исторической необходимости и свободы, когда вторая, после сложных перипетий, не имеет иного выбора, как подчиниться первой.

В этом смысле война 1939 года заканчивает то, что начала война 1914: подчинение европейского общественного мнения великим политическим религиям. Но из этих двух религий она уничтожает одну и возвеличивает другую, чем удесятерит ее силу. Одержав победу, антифашизм сохраняет ту же моральную почву, на которой он возрос. Он углубляет кризис демократической идеи, делая вид, будто разрешил ее противоречия. И это — великая иллюзия нашего времени. Мы только-только отказались от нее, по-нуждаемые к этому скорее силой вещей, чем силой собственного интеллекта.



# *Глава десятая*

## Сталинизм, высшая стадия коммунизма

Конец второй мировой войны открывает, таким образом, период — около десяти лет, — когда советский коммунизм будет оказывать максимальное воздействие на политическое воображение людей XX века. Легенда коммунизма, как мы видели, идет издавна. В ослабленном виде она переживет смерть Сталина, как эхо великих лет, когда, после войны и в последние годы жизни диктатора, она достигла беспрецедентного в истории размаха. Разоблачение Хрущевым “культа личности” в 1956 году не стало бы таким поразительным театральным эффектом, если бы этот культ был исключительной принадлежностью одного режима. Если это событие стало вехой в послевоенной истории, то произошло это не только потому, что оно переломило развитие советской диктатуры, — оно разрушило прошлое определенной универсалистской утопии.

В этом смысле авторитет СССР после 1945 года можно сравнить с авторитетом антифашистского коммунизма 1935—1939 годов, но в еще большем масштабе. Констатируя этот факт, невозможно не испытывать чувство горечи, потому что и в тот и в другой период жестокие репрессии свирепствовали внутри СССР. Если послевоенные годы были для коммунистической идеи исключительно урожайными, то произошло это потому, что на ее стороне было самое могущественное божество истории — Победа. Подобно тому как первая мировая война стала колыбелью советской революции, так вторая помогла ее знаменам достигнуть сердца Европы. Военная победа создала вокруг Советского Союза ореол, более соответствовавший его философии, чем пацифизм.

Антифашистский коммунизм в 1935 году был преимущественно оборонительным, в 1945 — победоносным.

Его победоносность была необыкновенно очевидна для всех европейских народов и даже для народов всего мира: ведь он перекроил карту Европы, изменил политическое равновесие в мире, и это было видно всем. Правда, это равновесие было вновь нарушено летом 1945 года в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, так что между победителями возникло чрезвычайно существенное силовое неравенство. Но общественное мнение тогда не осознало этого в полной мере. К тому же к моменту возникновения этого неравенства победители уже разрешили между собой основные вопросы послевоенного устройства. Даже в годы холодной войны, пока неравенство сохранялось, Америка Трумэна воздерживалась от прямого атомного шантажа. В условиях, когда державы оси капитулировали после столь ужасной войны, ведшейся во имя защиты демократических ценностей, общественное мнение не допускало мысли, что победители могли вступить между собой в конфликт; наоборот, оно было уверено, что наступила счастливая развязка и что Советский Союз, принесший наибольшие жертвы, по справедливости получил наибольший выигрыш.

Разгром Германии привел к тому, что в центре Европы образовался вакуум, который только подчеркивал чудовищное усиление русского могущества. После одержанных побед армии Сталина стояли западнее Берлина и в Праге. Но в результате войны изменилось также моральное и политическое лицо Европы. Франция, в результате поражения 1940 года, выбыла из числа мировых держав, и если она была вновь допущена в их круг, то лишь с черного хода, обретя внешние атрибуты великой державы, но не реальное влияние: во время войны генерал де Голль имел все возможности в этом убедиться. Англия по праву находится в числе победителей, но вместе с победой обнаружился и ее упадок, причем Рузвельт не сделал ничего, чтобы ее поддержать. Единственная страна, которая воевала с гитлеровской Германией с сентября 1939 года, причем с середины 1940 до середины 1941 — в одиночестве, вышла из конфликта торжествующей, но ослабленной; ей становилось все трудней сохранять главенство в Британском содружестве наций и она уже не могла играть свою традиционную роль арбитра в европейских делах. В то время, когда центр Европы находился в состоянии переформирования, ее западная часть не имела ни сил, ни моральной уверенности громко заявлять о своей позиции.

Оставался Дальний Запад — Америка. Она была самой сильной державой-победительницей наряду с СССР, а в экономическом

отношении намного его превосходила. Во время войны она организовала и провела на пляжах Нормандии одну из самых эффективных операций в военной истории. После оккупации Италии она освободила от нацистского ига Францию, Бельгию, Нидерланды и заняла Германию вплоть до Эльбы, где произошла встреча двух армий держав-победительниц. Но, дочь Европы, Америка в то же время далека от Европы и, в соответствии со своими традициями, допускает военное вмешательство в европейские дела только в случае крайней необходимости. К тому же Рузвельт чистосердечно уверен, что с разгромом Гитлера европейской трагедии положен конец. Вплоть до своей смерти весной 1945 года он поддерживал скорее хорошие отношения со Сталиным, продолжая питать иллюзии относительно демократического развития СССР после победы. Он не скрывал своей враждебности к процессу раздела Европы на зоны влияния, который шел в промежутке между совещаниями в Тегеране и в Ялте, но вынужден был примириться с ним как с неизбежностью, продолжая утешать себя оптимистическими соображениями о наличии некоего минимума общих идей у держав антифашистского альянса. Таким образом, даже Соединенные Штаты, в дальнейшем ставшие одним из самых решительных противников советского коммунизма, первоначально способствовали усилению его влияния даже в большей степени, чем того требовали обстоятельства.

Вторая мировая война завершила то, что начала первая, — закат Европы. Старый континент переживает столь глубокий кризис, что его не могут замаскировать никакие разговоры о «европейском равновесии»: дух Версальского договора исчез вместе с крушением версальской Европы. Вместо него над Европой установился хрупкий кондоминиум двух держав, одновременно очень близких и очень удаленных.

Держава, наиболее удаленная от Европы, более близка ей по духу, целиком отвечающему направленности второй мировой войны: чтобы сражаться против Гитлера, американской демократии не потребовалось иного знамени, кроме верности своему английскому происхождению и либерально-демократическим идеям века Просвещения. Преодолев свое внутреннее сопротивление идее вступления в войну, Соединенные Штаты уже не испытывали сомнений в ее необходимости. Американское общественное мнение было уверено в целях войны, равно как и в том, что, как только Гитлер будет побежден и свобода восторжествует, ее солдаты тут же вернуться на родину к мирной жизни. Россия, напротив, географически входит в состав Европы, но по своим нравам и политическим традициям настолько ей чужда, что принадлежность к Европе превратилась в одну из главных проблем ее истории. После

1917 года коммунистическая идея приглушила это тревожное чувство обособленности. Она соединила сознание особой миссии России с ощущением ее приобщенности к Европе. Что и позволило новым хозяевам страны присвоить себе деспотическое наследие ее истории и одновременно представлять свой режим в качестве самой развитой формы демократии.

В этом отношении стиль, в котором Черчилль, а еще более Рузвельт общались со Сталиным, демократические гарантии, которые они давали своему союзнику, сыграли важную роль. Так ли уж были необходимы для ведения войны эти теплые заверения в идейной общности? В техническом отношении — нет: можно представить себе тесный военный союз и даже материальную помощь Соединенных Штатов Советскому Союзу без этого потока заявлений об “общих целях” трех союзных держав, поскольку таких общих целей никогда не существовало. Уже в конце 1941 года Сталин потребовал, чтобы заранее были признаны советские границы как они существовали в июне 1941 года, то есть с включением в Советский Союз восточной Польши и прибалтийских стран, как если бы разумелось само собой, что, поменяв союзника, он сохранил все, что приобрел благодаря прежнему. Нужна ли была общественному мнению идея единства целей? Это не факт. В конце концов, французы и англичане в войне 1914 года всегда знали, что они и царская Россия сражаются ради разных целей. Что же касается второй мировой войны, которая началась со зрелишной демонстрации цинизма советской политики, общественное мнение, даже в Соединенных Штатах, возможно, и приняло бы более четкое разграничение целей и задач воюющих держав: во всяком случае, так позволяют думать опросы общественного мнения, проведенные осенью 1941 года, показавшие равную неприязнь респондентов к нацистской Германии и к советской России, вступившей в войну с июня<sup>1</sup>.

И наоборот, можно задаться вопросом: не обладало ли бы такое разграничение целей более длительным воздействием на общественные мнения, чем зрелище советских военных побед и восхищение ими? Вторая мировая война обладала идеологическим характером, беспрецедентным в истории (за исключением гражданских войн), поскольку она велась против Гитлера, который хотел уничтожить одновременно и демократию, и коммунизм; она была слишком гигантским и универсальным событием, чтобы у нее могло не быть простого и столь же универсального смысла. В этом была сила патриотического антифашизма, ставшего знаменем Сталина начиная с июня 1941 года. Но Рузвельту, чтобы побудить американцев вступить в войну против Гитлера, надо было апеллировать к демократическим ценностям; в этих условиях критика ста-

линского коммунизма была бы неуместна. Черчилль в июне 1941 принял с распростертыми объятиями нового союзника, которого послали ему обстоятельства. Оставшиеся в одиночестве после капитуляции Франции, англичане не станут скупиться на добрые слова в адрес Кремля. Американский президент, вероятно, больше, чем английский премьер, верил или хотел верить в возможную общность целей со Сталиным. Будучи гениальным политиком во внутренних делах, он обладал достаточно патрицианским складом характера, чтобы надеяться на взаимопонимание со Сталиным внутри “клуба трех” при обсуждении мировых проблем, и достаточно демократической направленностью ума, чтобы тешить себя надеждой на то, что коммунистический режим в результате победы смягчится и станет более соответствовать тому представлению, которое имели о нем либеральные сторонники “Нового курса”<sup>2</sup>.

Таким образом, удостоверение в демократии, столь часто под разными предлогами выдававшееся СССР западными властями, никогда не пользовалось таким признанием и даже поклонением, как начиная с 1941 года. И никогда оно не имело столь большого значения, как в 1944—1945 годах, когда определялось будущее европейского политического пейзажа, ибо позволяло СССР облачить свою территориальную экспансию в обноски демократической идеи. Гибкость советского идеологического оружия достойна восхищения. Сталин выиграл войну, заставив работать на свою диктатуру национальную страсть русских. И он же, устанавливая мир, возрождает, в качестве знамени для своих победоносных армий, интернациональную идю: Красная Армия объявляется теперь бескорыстной защитницей антифашизма в оккупированных странах. Мир становится продолжением войны в новых условиях. Секрет послевоенной стратегии Сталина состоял в том, чтобы использовать идеи, страсти и силы, освобожденные войной, и превратить победу в трамплин для новых завоеваний, уже не только территориальных, но и политических.

В самый трагический час своей истории, в наиболее тяжелый период войны, Европе — во второй раз на протяжении века — понадобилась помощь Америки. И Америка снова доблестно исполнила свой долг солдата демократии. Но если в час победы Европа более, чем когда-либо, нуждалась в Америке, она по старой привычке без всякого уважения относилась к общественно-политическому строю Соединенных Штатов. Будущие историки, несомненно, будут удивлены тем, что в послевоенный период появилось так мало размышлений и работ об американской демократии; дело обстояло так, как будто в момент, когда мировая мощь Соединенных Штатов достигла высшей точки, в Европе господствовало такое же безразличие к их истории, как во времена, когда американцы бы-

ли далекой нацией. Война 1914—1918 годов не изменила снисходительного отношения старой Европы к Соединенным Штатам. В 1945 году они оказались победоносной державой, обогатившей своей конституцией общее достояние свободы. И тем не менее, в час победы именно вопрос о коммунизме, а не о демократии, оказался в повестке дня.

Все это можно объяснить по-разному. В общем плане, европейцы на протяжении двух последних веков привыкли мыслить свою историю в категориях прерывистости. Они склонны рассматривать смену режимов сквозь призму великих событий, первым и самым знаменитым образцом которых выступает Французская революция. Американская демократия — это *состояние* общества, в то время как демократия в Европе — это подрывная сила, непрерывно работающая в недрах истории. Вторая мировая война, изменив жизнь всех и каждого, послужила ярким подтверждением особой историчности европейских обществ. В еще большей степени, чем первая мировая война, она укрепила веру во всемогущество воли и силы. Нации, вышедшие из войны, склонны соизмерять свои надежды с масштабами пережитой ими трагедии. Революционные программы для них более привлекательны, чем конституционные рецессы.

1945 год воспроизводит ситуацию года 1918, но в ином контексте и в большем масштабе. Фашизм (лучше сказать, нацизм) был европейской проблемой не только потому, что Германия была его колыбелью и очагом, но и потому, что он завоевал Европу и принудил ее жителей самоопределяться по отношению к его стремлению к господству. В этом смысле он был более всеобъемлющим испытанием, чем коммунизм, во всяком случае для Европы: ведь коммунизм господствовал только к востоку от Эльбы и мог дольше сохранять на западе свой имидж от разрушительного воздействия реального опыта. Судьба фашизма сложилась иначе, ему, так сказать, меньше повезло. В час его разгрома пролитая им кровь вызвала обратную волну насилия со стороны народов, ставших его жертвами, — ситуация, к использованию которой коммунизм был приспособлен гораздо более, чем демократия. Как и в 1918 году, Германия, побежденная в 1945, стала предметом реваншистских страстей, разбуженных ее национальной заносчивостью. Однако цена, которую пришлось заплатить гитлеровской Германии, оказалась гораздо выше обычной платы за поражение. Ей нужно было искупить идею своего расового превосходства, которую она пыталась осуществить с беспримерным варварством.

Ненависть и отвращение к нацизму возрастали по ходу войны. В момент поражения нацистского режима произошел взрыв ненависти к нему, и не только потому, что этот режим был побежден,

но и потому, что поражение, наконец, выставило его на всеобщее обозрение. Два элемента оказались взаимосвязанными: обнародование для широкой публики факта существования концентрационных лагерей было неотделимо от вступления союзных армий в Германию и от вновь обретенной свободы слова. И я не настолько оптимистически смотрю на человеческую природу, чтобы полагать, будто “фактор поражения” имел меньшее значение, чем “фактор знания”. Ведь информация о нацистских зверствах была доступна уже во время войны, но союзники не подумали ее использовать или хотя бы систематически публиковать. Впрочем, и в 1945 году масштабы геноцида евреев либо не осознавались, либо замалчивались.

Однако я сам помню, какой ужас, смешанный с удивлением, охватил западное общественное мнение в начале последней военной весны, когда появились первые репортажи о лагерях и первые фотографии, на которых были запечатлены толпы скелетообразных заключенных рядом со рвами, полными трупов. Именно во второй половине апреля 1945 года нацизм был осознан как преступный режим, который в следующем году будет осужден, в лице своих руководителей, Нюрнбергским трибуналом. До 1939 года фашизм был режимом, о жестокостях, но и о достоинствах которого велись жаркие споры. На Западе у него были непримиримые противники и сторонники, но были также свидетели и колеблющиеся наблюдатели, пытавшиеся вычислить риск и выгоду, ошибки и достижения. Во время войны у фашизма были возможности скрывать свои преступления. Но поражение поставило его вне человечества: он подвергся беспрецедентному в истории публичному осуждению без признания смягчающих вину обстоятельств военного времени. Война лишь дала повод проявиться его варварству.

Таким образом, европейские народы склоняются к тому, чтобы пересоздать в своем воображении недавнее прошлое в свете того, что им открылось после войны; антифашизм они теперь воспринимают как свое неотъемлемое достояние. И такая установка более, чем желание построить или восстановить демократическое государство, объединит Восток и Запад, ибо только она дает войне наиболее общий смысл и соответствует возникшим во время военных испытаний навыкам мышления. Ненависть к фашизму оказывается одновременно и самым абстрактным, и самым конкретным выражением и ужасного военного опыта, и удовлетворения от одержанной полной победы, которая положила конец испытаниям. Злодеяния нацистов, которые повсюду были сходными по своей природе, на Западе далеко не достигали тех масштабов, что на Востоке. Однако общими и там и тут были и немецкая ок-

купация, и национальное унижение, и депортация патриотов, и преследование евреев, так что возникло ощущение общего несчастья, причина и название которому — фашизм. Ценой мира стало уже не унижение Германии, как то было в Версале, а искоренение нацизма. Немцы 1918 года, осужденные как нация, и реагировали как нация. Немцы в 1945 году, осужденные как нацисты, стали предметом гораздо более решительного и длительного отвержения, с которым они сами вынуждены были согласиться: теперь для них единственная возможность обеспечить себе будущее состояла в том, чтобы стать антинацистами. Идеологическая форма, которую Гитлер придал их национальной страсти, разрушила ее основу: по окончании войны им не оставалось ничего другого, как пройти через идеологическое искупление.

В антифашизме и Советский Союз, и коммунизм располагаются, как у себя дома. Ведь еще до войны они извлекали из него большую пользу. Главная сила антифашизма заключается в отрицании; под предлогом срочной необходимости отпора он снимает вопрос о политической демократии. В 1945 году отпор давать некому, так как фашизм повержен. Но хотя обстоятельства переменились, идея необходимости отпора продолжает существовать как продолжение возбужденных войной страстей, которые после победы, казалось бы, стали беспредметными. Советский Союз отказался от антифашизма в 1939 году, когда борьба против фашизма была самой срочной задачей. Но в час победы он старается загладить память о своей измене, удваивая пропаганду и декларации и создавая впечатление, что фашизм никогда не был так опасен, как в час своего разгрома.

Лозунг антифашизма тем более ценен, что он усиливает влияние революционной идеи. Как и первая мировая война, вторая поставила революцию в повестку дня. Но первая велась во имя нации, и когда она закончилась в условиях крайней усталости бойцов, революционерам, чтобы достигнуть своей цели, пришлось идти наперекор национальным чувствам; на этом они сломали себе зубы даже в побежденной Германии. Вторая мировая война, напротив, облекла столкновение между нациями в борьбу идей; ее целью была объявлена ликвидация фашизма; отсюда до идеи революции было рукой подать.

В самом деле: если война — порождение фашизма, то сам фашизм — порождение капитализма и буржуазии. Старое убеждение социалистов, что капитализм чреват войной, получило тем самым новое подтверждение. Еще в середине 30-х годов Коминтерн определил фашизм как самую реакционную форму монополистического капитализма, подчиненного финансовому капиталу. Таким образом, в классификации режимов фашизму было отведено мес-

то крайнего антагониста и самого яростного противника советского “социализма”. В 1945 году события, казалось, подтвердили эту упрощенную схему: хотя она ничего не объясняет, она, в своей абстрактности, как будто соответствует расстановке военных и политических сил после победы, да еще к тому же саму победу превращает в пролог революции, то есть полного упразднения капитализма. Для европейской левой исторический смысл войны отныне укладывается в знаменитую фразу Хоркхаймера: “Тот, кому нечего сказать о капитализме, должен молчать о фашизме”. Марксисты Франкфуртской школы не уставали мусолить эту ложную идею, которая, тем не менее, вскормила столь значительную часть политических мыслителей в послевоенной Европе<sup>1</sup>.

Нужно, следовательно, постараться понять необыкновенную силу воздействия этой идеи, и не только на мыслителей, которые в данном случае скорее повторяют общепринятое мнение, чем проясняют его. Ее сила проистекает из соединения недавнего исторического опыта широких масс и революционной политической культуры. Что война неотделима от буржуазного господства и им порождается, — это старая идея левых социалистов. Но ведь последняя война была развязана диктатором, пришедшим к власти с помощью буржуазных политических партий Германии: в условиях 1945 года этого вполне достаточно, чтобы распространить ненависть к нацизму на всю “буржуазию”, и не только немецкую. Ибо если немецкие политики виновны в том, что создали Гитлера, то английские и французские — в том, что подписали мюнхенские соглашения. Так сложилось “марксистское” объяснение второй мировой войны, гораздо более сильное, чем объяснение первой, поскольку его убедительность опирается на существование отвратительного образа буржуа. Упрощенность здесь не помеха убедительности, — наоборот. Уже не имеет значения тот факт, что Гитлер в огромной мере разрушил традиционный уклад немецкого общества, что он был самым яростным противником Запада и одно время — союзником Сталина, коль скоро его разгром может помочь нанести удар по врагу, с которым сам он безуспешно сражался, — по буржуазной демократии.

Парадокс послевоенной ситуации состоит в том, что победоносный антифашизм питается теми же представлениями и страстями, что и его ненавистный ныне поверженный противник. С одной стороны, антифашизм насквозь демократичен, ибо сражался против Гитлера, его армий и его идей. Но с другой стороны, он враждебен буржуазии и капитализму и устремлен к демократии нового типа. Такое устремление не обязательно предполагает принятие советской модели в качестве образца, но оно отдает ей предпочтение перед Западом. И уж во всяком случае, оно помогает за-

быть о таких качествах советского режима, которые до войны позволяли сопоставлять его с нацизмом. Впрочем, коммунистическое движение одинаково виртуозно пользуется обоими регистрами. Подобно тому как СССР стал союзником Англии и Соединенных Штатов, партии Коминтерна после 1941 года возродили в каждой стране политику антифашистского единства в рамках “Национальных фронтов”. Но они никогда не забывали подчеркивать, что только они являются носителями подлинного антифашизма, то есть антифашизма антикапиталистического: эта оговорка достаточно для того, чтобы внутри антигитлеровской коалиции всегда оказывать предпочтение Советскому Союзу.

Война, таким образом, предоставила отечеству социализма исключительную демократическую привилегию: критиковать демократию во имя демократии. Англичане, американцы, отжавшись сражавшиеся против нацистов, остаются замкнутыми горизонтом капитализма. А вот коммунистический антифашизм, оставаясь союзником Америки и пользуясь ее помощью, одновременно претендует на то, чтобы открыть путь к демократии, свободной от власти денег. И этого оказывается достаточно для того, чтобы все забыли, что наиболее последовательными антифашистами в Европе были не Сталин и даже не левые политики, а два консерватора — Черчилль и де Голль.

Еще в конце первой мировой войны Советский Союз начал свою политическую карьеру в Европе в качестве воплощения революционной идеи в противовес империалистической войне. Но тогда он не обладал материальной силой, способной оказать длительное воздействие хотя бы на побежденные страны. В 1945 году он — великая победоносная держава, подкрепляющая материальной силой свой мессианизм нового человека. Первая мировая война породила его на свет, вторая — помогла выдвинуться в первый ряд истории, где он обосновался благодаря военной силе и возрождению революционной идеи. Сталинский Советский Союз, если мы будем рассматривать его как продвинутую русификацию советско-ленинской модели (которая сама была привита на ствол царского самодержавия), никогда не был столь “русским”, а в европейском масштабе — столь “славянским”, как в 1945 году. И в этот же период достигло апогея его универсальное влияние. Таков был подарок истории, преподнесенный Сталину, за который тот ухватился обеими руками.

Его удача распространилась за пределы Европы и приняла общемировые масштабы. Ибо советская идея способна мобилизовать не только демократические страсти на служение тирании, но европейские традиции — против Европы. В середине XX века дело уже давно обстояло так, что путь к универсализации мира пролегал че-

рез завоевание европейскими странами рынков и территорий. Таким образом империи, созданные Западом, распространили силой современные демократические идеи, которые подрывали их политику колониального господства: вот почему колониальные народы охотнее прислушивались к доносившимся из Европы революционным призывам, чем к либеральным обещаниям. Война предоставила им новые возможности для освобождения, потому что в какой-то степени ослабила Европу и Запад, а также вновь подтвердила в борьбе против Гитлера универсальные ценности демократии. К тому же и Рузвельт, и Сталин не скрывали своей враждебности к колониализму. Но президент Соединенных Штатов возглавлял самую мощную капиталистическую державу, вполне способную прийти на смену европейскому Западу. А Сталин выступал против капитала под знаменем марксизма-ленинизма.

Эта доктрина нравилась чрезвычайно. На ее стороне была респектабельность большой философской традиции, этикетка демократии, достоинство “научности”. Благодаря опыту Октября 1917 года она доказала свою действенность за пределами Европы: СССР подал пример исторического скачка, который обещал неевропейскому миру быстрое “наверстывание”. Марксизм-ленинизм может соблазнить и изощренные умы, которые делают ударение на первом слове, и умы простоватые, которые напирают на второе. И тем и другим он предлагает некий корпус западных идей, способный послужить к объединению антибуржуазных страстей как в Европе, так и вне ее. В различных националистических движениях колониального мира нацизм нередко встречал положительный отклик, в той мере, в какой он выступал против французской и английской империй. Но в конце войны по линии антизападных тенденций у Советского Союза больше нет конкурентов в Европе. Его пример предлагает готовое русло для жгучего недовольства региональных элит в бедных, колониальных или зависимых странах мира. Он дает сначала философию и стратегию освобождения, а затем и материальные средства. Ни одно европейское учение никогда не было так приспособлено к употреблению за пределами Европы, как в нашем веке марксизм-ленинизм, эта постгегельянская философия, переделанная в тоталитарную идеологию.

Этот невероятный успех на “толкучке” идей на самом деле связан с тем, что марксизм-ленинизм предлагает универалистское обоснование для абсолютной власти. Опираясь на советский прецедент, тиран второй половины XX подтверждает законность своей власти освободительными целями: он, мол, ведет свою страну к социализму через демократию нового типа, свободную от капиталистического господства. Эта формула достаточно широка, что-

бы включать в себя всевозможные режимы, от Вьетнама и Йемена до Польши и Чехословакии. Но в любом случае имеет место концентрация власти в руках одной партии (даже если другие партии номинально существуют), в руках направляющей ее немногочисленной олигархии, якобы знающей исторические законы, и ее генерального секретаря. Таким образом, ложь, на которой был построен советский режим, имеет тенденцию к универсализации под знаменем революции. Эта тенденция может осуществляться в виде простого территориального расширения СССР, как это было в случае с прибалтийскими странами, или же в виде создания братских республик под руководством местных коммунистических партий, получающих директивы из Москвы, как это было в восточной Европе. Однако данная политико-идеологическая система оказалась очень динамичной, подходящей не только для военного подчинения соседних стран. Она оправдала себя на больших расстояниях и почти везде, оказывая притягательное действие и в богатой Европе, и в бедных странах третьего мира. Восхищение, вызываемое ею у далеких народов, служит в Европе доказательством ее универсальности.

Ибо Европа остается и останется той частью мира, где решаются судьбы коммунизма. Дитя европейской культуры, марксистско-ленинский режим может, находясь на вершине своей удачи, распространиться на другие континенты, такие, как Африка и Азия, и даже захватить такие огромные нации, как Китай. Эти успехи свидетельствуют, с одной стороны, об универсальности его языка, а с другой — об эффективности его средств в обеспечении абсолютной власти: а также, вне всякого сомнения, — о его способности объединять оба эти момента и представлять власть одной партии как историческую необходимость. Однако именно в Европе тип режима, установленного Лениным и продолженного Сталиным под вывеской марксизма-ленинизма, будет обсуждаться и оцениваться общественным мнением: это будет происходить там, где он родился, где получил распространение и где, наконец, хоть и не добившись полного господства, привлек к себе так много избирателей и просвещенных умов. Универсальная притягательная сила внеевропейских коммунистических революций была связана с тем, что они либо подражали советскому примеру, либо “обновляли” его. Но даже и во втором случае маоизм и кастризм, в качестве запасных мифов, ненадолго пережили кризис своего образа.

В действительности, именно в первые послевоенные годы и именно в Европе, колыбели коммунизма и арене его подвигов, решалось его будущее. Момент его наибольшей силы был для него

и моментом истины, его проверкой как правительства, как державы и как идеи.

Внутренняя политика СССР после войны лишь косвенно входит в рамки этого исследования; мне достаточно констатировать, что война не изменила природу режима, скорее наоборот: победа усугубила режим, дав Сталину дополнительный престиж и ауру непогрешимости как мирового лидера и как вождя русского народа, чей авторитет был неотделим от идеи “построения социализма в одной стране”. Теперь он стал еще и маршалом, и солдатом победы. Смирившись с диктатурой, бойцы жестокой войны призвали на помощь новое оправдание для своего коллективного рабства. Необыкновенную стойкость российских солдат, их героизм и самопожертвование обычно принято объяснять их патриотическими чувствами, вспоминая при этом их предков, которые в 1812 году также одержали победу над чужеземным завоевателем, вторгшимся в их страну. Это сравнение по-своему указывает на то, что солдаты Красной Армии тоже защищали свою родину, а не свой режим. Однако если этот режим вышел победителем из битвы, то произошло это не только потому, что он использовал русский патриотизм перед лицом нацистских жестокостей, но и потому, что он сумел организовать войну и победу так, как ему было свойственно. Порабощение, в котором находились народы СССР, наложило на принуждение военной дисциплины, так что, даже будучи отечественной и “антифашистской”, эта война стала для них продолжением и усилением опыта тоталитарного подавления.

Таким образом, мир в сталинском СССР стал продолжением войны, только иными средствами. Ничто не свидетельствует об этом лучше, чем условия, в которых производилась “репатриация” советских граждан, оказавшихся за границей в результате военных действий. Речь идет совсем не о горстке людей, — их число достигало пяти или шести миллионов. Они были вырваны из своей несчастной довоенной жизни еще большими несчастьями войны; одни оказались в числе военнопленных, которых вермахт захватывал огромными массами, особенно в 1941—1942 годах, и которым была уготована в плену чрезвычайно суровая участь; другие были угнаны в Германию в качестве рабочей силы; некоторые по принуждению или добровольно сотрудничали с немцами или даже служили в армии Власова<sup>1</sup>. Наконец, были и такие, которые воспользовались обстоятельствами, чтобы бежать из СССР и укрыться на Западе.

Ялтинские соглашения предусматривали репатриацию всех советских граждан, выразивших такое желание, и насильственное возвращение всех, кто носил немецкую военную форму или сотрудничал с врагом. Но для Сталина эта проблема намного пре-

восходила задачу наказания предателей. Запрет покидать СССР был непререкаемой догмой внутренней политики с момента создания этого государства, а разрешение выезжать за рубеж относилось к числу самых больших привилегий. Полное неведение того, что происходит за границей, — чрезвычайно важное условие “построения социализма в одной стране”. И вот в результате кровавой неразберихи войны миллионы советских граждан оказались в час победы за пределами победоносного Советского Союза, — ситуация тем более нетерпимая, что многие из них могут пополнить ряды русской эмиграции на Западе и нарушить прекрасную картину антифашистской войны, рисуемую советской пропагандой. Это настолько серьезная проблема, что в глазах Сталина каждый советский гражданин, оказавшийся за рубежом, и особенно на Западе, становится подозрительным, а то и “фашистом”, даже если его угнали насильно или захватили в плен. Несчастные советские военнопленные, столько претерпевшие от немцев, по возвращении на родину оказываются в советских концлагерях: Сталин не делает особого различия между насильственным пленом, депортацией, добровольной эмиграцией и предательством. Он хочет получить обратно всех, чтобы всех и ликвидировать, включая даже белоэмигрантов первой волны, которые, по определению, никогда не были советскими подданными.

Драма состоит в том, что англичане, примеру которых последовали американцы и французы, пошли навстречу этим требованиям в нарушение ялтинских соглашений. В толпах мужчин и женщин, которые были силой отданы в руки агентов НКВД, было очень много тех, кто никогда не сотрудничал с немцами. Но даже и на тех, кто сотрудничал, по прошествии каких-нибудь пяти лет американцы станут смотреть другими глазами; и дело не в том, что они изменили свое отношение к гитлеризму, в чем их обвиняла советская пропаганда: они обнаружили смягчающие обстоятельства даже для солдат армии Власова, оказавшихся в безвыходном положении как подданные Сталина и узники Гитлера. Солженицын, который любит ходить по краю пропасти, расскажет об этом в своей тонкой и сильной манере в одной из глав “Архипелага Гулаг”<sup>6</sup>.

Николай Толстой<sup>7</sup> описал душераздирающие сцены, имевшие место в Англии во время насильственной репатриации. А Геллер и Некрич, описывая радостное возвращение демобилизованных советских солдат, добавляют: “Но были и другие составы из закрытых вагонов с зарешеченными окнами, которые тоже везли советских солдат; из этих вагонов для скота не доносилось ни музыки, ни песен. Никто их не встречал на вокзалах. Они катились днем и ночью. Корабли приставали к пустынным причалам, и советские

солдаты под бдительным конвоем вступали на родную землю: это были бывшие узники нацистских концлагерей, те, кто волей или неволей служили немцам, наконец, те, кто никогда не жил в послереволюционной России, но которых английские, американские и французские союзники сочли советскими гражданами и передали советским властям не на правосудие, а на расправу”<sup>8</sup>. Фактически эти два миллиона узников, почти всегда обвиняемые в измене, наскоро осужденные целыми группами, заполнят лагеря ГУЛага, если только не будут сразу же приговорены к смерти и расстреляны.

Это массовое уничтожение не имело ничего общего с процессами, которые велись на Западе против лиц, сотрудничавших с врагом. Ни над кем не было правого суда, ни над невинными, ни над виновными. Все это ясно показывает, что разгром гитлеризма никак не затронул могущества другого, победоносного тоталитаризма. Он был всемогущим в двойном смысле: не уменьшился, а только укрепился его жестокий произвол по отношению к собственным гражданам, а кроме того, ему удалось сделать демократические государства соучастниками своих преступлений. То, что Англия, Америка и Франция перед лицом Сталина открыто отrekliсь от традиционного предоставления права на политическое убежище, лучше, чем любое другое событие, говорит о чудовищной власти над общественным мнением, которую получил Советский Союз в дополнение к своим военным победам. Уничтожив Гитлера и Муссолини, вторая мировая война вознесла Сталина на пьедестал почета. Чтобы заполнять узниками лагеря ГУЛага, Сталин никогда не нуждался в благословении западных правительств. Но то, что на этот раз его зловещая работа получила поддержку с их стороны, давало дополнительную легитимность его победоносной диктатуре. Ибо Запад не ограничился тем, что поддержал мифологию режима, — он прямо способствовал его преступлениям.

Необыкновенную поддержку со стороны общественного мнения Советскому Союзу давала даже не сама демократическая идея, а тот смысл, который, благодаря ей, приобретала его победа над гитлеровской Германией. Тот факт, что СССР заплатил за нее самую высокую цену, сражаясь вместе с Англией и Соединенными Штатами — странами, бывшими оплотом свободы, — заставляло забыть и о московских процессах, и о тостах, которыми обменивались в 1940 году Молотов и Гитлер. Как хитроумные, так и простодушные люди могли теперь рассматривать этот мрачный эпизод в свете последующего триумфа над нацизмом; так же и казнь Тухачевского, и раздел Польши могли теперь восприниматься как неблагоприятные, но необходимые меры для победы над Гитлером.

Но и эта мифология обнаруживает истоки, которыми питалась слава СССР: оправданием ей служила “история”, а не любовь к демократии и свободе.

Как и в 30-е годы, прилагательное “антифашистский” служило для маскировки природы советского коммунизма. В 1945 году кажется, что политические упрощения, неотъемлемые от войны, сделали это прилагательное однозначным, тогда как в действительность оно никогда не теряло своей двусмысленности. Но теперь за ним тянулся шлейф пролитой во имя него крови. Тем не менее, разгром нацизма был прежде всего разгромом Германии. Той самой Германии, которая и до Гитлера зарекомендовала себя как европейская страна, более всех других склонная в XX веке к завоеваниям. Поводом для агрессии может оказаться как благорасположенность соседних народов, как в случае с Венгрией, так и их враждебность, как в случае с Польшей. Нацистская идеология не уничтожила в умах более давние представления: гитлеровское господство над Европой в 1941—1942 годах воспринималось как господство Германии. Так же и разгром нацизма в 1945 году воспринимался народами, прошедшими опыт войны, как разгром Германии. Победа Советского Союза, при том, что это была победа над фашизмом, направила страсти народов по антинемецкому руслу, и так было и на востоке, и на западе Европы.

Советская сторона это прекрасно понимала. Во всех дискуссиях с союзниками относительно послевоенного устройства, начиная с 1943 года, она настаивала на том, чтобы навсегда сломать хребет немецкой военной мощи, повторяя доводы, которыми оперировал еще Клемансо в 1918—1919 годах. Она потребовала гораздо больших территориальных уступок, чем в свое время Франция. Советский Союз не только оккупировал всю восточную часть Германии — Померанию, Пруссию, Бранденбург, Силезию, Саксонию, Тюрингию, — но настоял на существенном смещении польской границы на запад, так чтобы сохранить свои завоевания 1919 года, а Польшу вознаградить за территориальные потери немецкими землями. Его требования репараций были столь непомерными, что даже Черчилль усомнился в их разумности<sup>9</sup>. В ялтинских и потсдамских соглашениях о контроле над побежденной Германией и об одновременном ее расчленении Советский Союз неизменно играл решающую роль, на которую ему давали право его миллионы погибших и его опустошенные территории. Кроме того, он полностью использовал свое преимущество над англосаксонцами, состоявшее в том, что только он мог предложить вышедшим из войны народам систематическую интерпретацию немецких злодеяний в XX веке. Ибо разгром Гитлера побуждает общественное мнение

выдвинуть обвинения также и против того периода истории, который Гитлеру предшествовал.

Немецкий милитаризм, виновник первой мировой войны, опустил Европу четверть века спустя, одетый в нацистскую униформу. Такое утверждение, выражающее чувства народов, само по себе не является марксистским. Однако во второй его части содержится определение нацизма, которое может быть принято марксизмом и которое тем самым дает дополнительную силу советскому антинацизму. Действительно, если Гитлер был наиболее свирепым воплощением немецкого милитаризма, то, стало быть, он “представлял” те же экономические и социальные силы, которые доминировали в немецкой истории начиная с Бисмарка: союз прусских юнкеров и крупной рейнской буржуазии<sup>10</sup>. Так что, для того чтобы навсегда загасить этот очаг пожара, необходимо и достаточно навсегда сломить эти две силы, одновременно национальные и социальные: таким путем антифашизм ведет прямо к экспорту революции, осуществляемому с помощью Красной Армии.

В известном смысле советский коммунизм сохраняет—таки верность старому социалистическому осуждению войны как неизбежного порождения капитализма, как бойни, организуемой торговцами пушками. Но сейчас, в отличие от ситуации 1914—1918 года, он сам участвовал в сражении и оказался в числе победителей. И сразу же после 1941 года ответственность за вторую мировую войну перестала приписываться всем империалистическим державам и целиком была возложена на плечи гитлеровской Германии и германского капитализма. Это новое учение о борьбе с войной посредством войны имело огромное преимущество над старым. Оно давало смысл самопожертвованию солдат, в то время как революционное пораженчество заставляло их отказываться даже от своих героических воспоминаний. Оно отводило почетное место патриотическим чувствам народов, в то время как вчерашний абстрактный интернационализм вел к их дискредитации. Один из главных секретов успеха советской идеологии на Западе в 1945 году состоял в том, что она соединяла национальные страсти с революционным универсализмом, напирая на этот раз на победу над немецким милитаризмом. Со времен Бисмарка, когда Германия стала главной державой Европы, она успела стяжать недоброжелательство и ненависть, которыми воспользовался Сталин, выступив в роли мстителя.

Этот рецепт влияния использовался в разных странах в различных дозах, смотря по обстоятельствам. Он очень сильно действовал на русских, но не действовал на немцев в первое время после поражения, когда они несли невероятные тяготы оккупации и всевозможных реквизиций. Так же, хотя и с некоторыми послаблени-

ями, обстояло дело в Венгрии, которая была союзницей Гитлера. Но в большинстве стран центральной и восточной Европы Советский Союз, даже если он внушал опасения как великая держава, воспринимался как старший славянский брат, на которого можно было рассчитывать при сведении счетов с германским угнетателем; так что реваншистские настроения русских находили понимание со стороны болгар, чехов или сербов. Болгария, даже если она была давним сателлитом Германии, сохраняла глубокие русофильские склонности. Чехословакия помнила о мюнхенском предательстве Запада, а ее коммунистическая партия в момент победы над Германией добивается большого влияния благодаря тому, что естественным образом сочетает патриотизм с верностью СССР. Что же касается народов Югославии, вступивших во время войны в трагическую конфронтацию друг с другом, то Тито, получив поддержку Черчилля, сумел объединить их в партизанскую армию, которая освободила Белград, действуя рука об руку с армией советского генерала Жданова\*. Можно ли найти более яркую иллюстрацию того судьбоносного слияния, которое происходило в то время между советским режимом и освобождением поработенных наций?

В этом плане наиболее интересный пример являла собой Польша, потому что дела здесь обстояли особенно сложно. Для Польши война началась в сентябре 1939 года как трагедия и сразу же направила патриотические чувства поляков в русло ненависти к Германии и России, издавна участвовавших в разделах их страны. Раздел 1939 года разбудил старые воспоминания, а также дал пищу чувству национальной исключительности: ведь Польша была единственной страной в мире, которую терзали одновременно гестапо и НКВД, каждая организация на “своей” территории в соответствии с ранее достигнутым соглашением. Крайняя воспаленность польского патриотизма питается чувством уязвимости их родины и нередко горько лелеемой верой в особую избранность нации, хотя бы и для несчастий. Другие народы смогут забыть о 1939—1940 годах во имя 1944—1945, — другие, но не поляки, снова и надолго потерявшие свою родину. Их историческая трагедия, включающая одновременно и нацистские массовые убийства и советские депортации, владеет их сознанием гораздо больше, чем воспоминания об ошибках, совершенных их правительством до войны, и питает их ненависть к двум соседним народам. Их ненависть к нацистам понятна сама собой. Но и Россия продолжает внушать страх, даже после того, как подверглась нападению Гитлера.

\* Так у автора. В действительности Белград освобождала армия под командованием генерала Толбухина. — *Прим. ред.*

Полякам не надо было ожидать, пока немцы заговорят о катынской бойне; они и так знали, что десятки тысяч их соотечественников, в большинстве принадлежавших к национальной элите, между 1939 и 1940 годами исчезли в глубинах России. Поляки были традиционно враждебны Российской империи; советский коммунизм дал дополнительную пищу их опасениям. Даже маленькая польская коммунистическая партия, бюрократизированное детище Розы Люксембург, оставшаяся одним из редких островков еврейско-польского сотрудничества, конфликтовала с Москвой: в 1938 году она была распущена, а большинство членов ее центрального комитета, находившиеся в Москве, — расстреляны<sup>11</sup>. В любом случае они были бы исключены из национального консенсуса, установленного год спустя польским правительством в изгнании.

Ибо вторжение немцев, а затем русских не разрушило преемственности польского государства. Специфичность польской ситуации состояла в том, что страна продолжала обладать легальным правительством, сформировавшимся во Франции 30 сентября 1939 года из главных партий бывшей оппозиции, поскольку так называемый “режим полковников”<sup>12</sup> рухнул. Это правительство имело армию, которая сражалась на стороне Франции, затем Англии; оно направляло из Лондона движение Сопротивления в Польше, которое началось рано, приобрело мощный размах и бойцы которого действовали чрезвычайно смело и эффективно. В 1944 году наступающая Красная Армия обнаружила, что ей предстоит иметь дело с Польшей как с национальным и даже националистически настроенным целым. Отказ поддержать Варшавское восстание был первым уроком для непокорных.

Польский вопрос был камнем преткновения для союзников в их переговорах о послевоенном устройстве. Он словно символизировал противоречивую историю войны, равно как и невозможность длительного мира в Европе. Новая восточная граница Польши была определена германо-советским пактом в августе 1939 года и закреплена русским вторжением в середине сентября; как же польское правительство в изгнании, ратовавшее против расчленения страны, могло с этим согласиться? СССР, со своей стороны, после всех жертв, принесенных его солдатами начиная с 1941 года, не мог согласиться на отказ от территориальных приобретений 1939 года и на возрождение националистической Польши; впрочем, граница 1939 года совпадала в основных чертах с линией Керзона, что придавало ей нечто вроде исторической легитимности. Во всяком случае, военная ситуация, как мы видели, разрешила вопрос. Но поражение, которое потерпело правительство Микойлайчика, этим не ограничилось: оно оказалось не только военным, но и политическим. Сталин опирался на свою военную мощь, но

не только на нее. Общественное мнение демократических стран, отвернувшееся от советского диктатора за его измену, вернула ему свои симпатии, когда он вновь поменял союзников. С лондонскими поляками произошло прямо противоположное: герои в 1939 году, в 1944 они превратились в призраки. Они воплощали собой первый этап войны, в то время как уже завершался второй. Они были по-прежнему и антинацистами, и антисоветчиками, в то время как Советский Союз, вернув себе благосклонность западного общественного мнения, уничтожил антисоветизм посредством антинацизма.

Вот почему история польско-русских отношений не сводится к простой капитуляции эмигрантского правительства в Лондоне перед Люблинским комитетом, члены которого приехали в обозе Красной Армии. Ибо даже польский антисоветизм, не имеющий себе равных в Европе, за исключением антисоветизма прибалтийских государств, частично ослабел под воздействием духа времени и всеобщей ненависти к нацистской Германии. Население Польши подвергалось систематическому истреблению. Польша потеряла три миллиона человек, не считая евреев; она перенесла страшные испытания, сравнимые только с тем, что перенесли Украина и Россия. Она считала себя восточной оконечностью Западного мира, но для Гитлера она была лишь восточной окраиной мира славянского; и то и другое стало поводом для особо жестоких репрессий. Только евреи, воплощение мирового зла, были для нацистов предметом большей ненависти, чем поляки. Но если картина истребления евреев оказалась недостаточной, чтобы загасить традиционный антисемитизм поляков, то общие страдания с соседними славянскими народами и победоносное наступление Красной Армии привели к тому, что даже в Польше ненависть к Германии возобладали над страхом перед Россией. Когда советские войска, преследуя отступающие части вермахта, вступили во второй половине 1944 года на польскую территорию, то, конечно, они были встречены там со смешанными чувствами и с подозрительностью, которая была усилена намеренным бездействием советских дивизий в момент Варшавского восстания<sup>1</sup>. И все же именно они освободили Польшу от нацистского ига и положили конец одному из самых мрачных периодов в ее национальной истории.

Таким образом, ход и исход войны не давали возможности сохранить прежнее, равно негативное, отношение к обоим традиционным врагам польской независимости. Это стало очевидно уже в 1944 году, и еще более — в последующие годы, хотя поведение советских властей подтверждало наихудшие предсказания членов лондонского правительства и националистов, участников Сопро-

тивления. Ибо СССР добился не только признания границы по линии Керзона и правомочности своих ставленников из Люблинского комитета в ущерб полномочиям польского правительства из Лондона. С октября 1944 года, сразу же после разгрома варшавских повстанцев, он стал принимать меры, чтобы подчинить себе освобожденную и одновременно завоеванную страну. Во время торжественного приема в Москве Сталин продемонстрировал свою поддержку польскому Комитету национального освобождения, опиравшемуся на силы НКВД, который тут же начал борьбу против отрядов армии Сопротивления, сохранивших верность лондонскому правительству. Эта политика, осуществлявшаяся явочным порядком, будет доведена до конца<sup>14</sup>. Черчилль и Рузвельт думали, что, установив границу по линии Керзона, Сталин удовлетворится существованием дружественной, но свободной Польши. Они ошиблись. “Дядя Джо” сделал так, что “дружественная Польша” управлялась из Москвы.

Эта новая ликвидация польской независимости вытекала из предшествующих обстоятельств, равно как и из существовавшего соотношения сил. Международное общественное мнение, пораженное жестокостью и размерами нацистских преступлений, было склонно рассматривать советскую политику в отношении Польши под углом зрения превентивных мер против возможного возрождения немецкого милитаризма. В самой Польше такие аргументы тоже имели хождение, принимая во внимание новые границы страны. В возмещение того, что было отторгнуто от Польши в пользу СССР, ей было предоставлено на западе сто тысяч квадратных километров немецких земель, что привело к насильственному переселению миллионов немцев. Это не могло не вызвать напряженности в германо-польских отношениях, что сделало СССР, как гаранта новых границ, необходимым союзником Польши. Таким образом, польские коммунисты, весьма малочисленные по причине своей зависимости от Москвы, могут по крайней мере козырять антинемецким национализмом.

Постепенно уничтожая различные ответвления военного сопротивления их режиму — а эта партизанская война будет длиться до 1947 года, — польские коммунисты могли делать вид, будто продолжают борьбу против нацистов, хотя как раз в этой борьбе они играли весьма слабую роль; зато они преуспели в ликвидации последних отрядов антинацистского сопротивления, долгое время после разгрома Германии еще находивших укрытие в обширных польских лесах. Общественному мнению эти отряды представлялись как бандитские шайки или, того хуже, как наймиты Лондона или Вашингтона. Значительная часть общественного мнения, которая в различной степени симпатизировала борьбе против совет-

ского господства, не устояла перед мощным шантажом: в начале 1946 года Миколайчик, возглавлявший польское правительство в Лондоне, был обвинен Гомулкой в том, что тот является агентом Запада<sup>15</sup>, поскольку противится объединению с социал-коммунистами. В такой форме присвоение коммунистами национальной идеи выглядит чистой ложью и манипулированием. Однако в ней можно обнаружить и нечто реальное, коль скоро мы будем учитывать не только борьбу за власть, но и общую ситуацию того времени.

Германия разбита. Но народы переживают события истории с некоторым опозданием. Разбитую, оккупированную, обесчещенную Германию ненавидели еще больше, чем в дни ее господства. Память о злодеяниях, совершенных ее армией, еще свежа, а страх перед силой уже исчез; с капитуляцией Германии с удвоенной силой начала звучать тема немецкой опасности: это в огромной степени укрепляет имидж Советского Союза, ярким подтверждением чему стала ситуация в Польше. Ибо в тот самый момент, когда бывшая Армия Крайова повернула оружие против нового врага, польские коммунисты обратили против нее те же самые лозунги, за которые она сама недавно сражалась: ведь она тогда сражалась против нацистского владычества, а коммунисты сейчас продолжают бороться против немецкой опасности!<sup>16</sup>

Это доказывается тем фактом, что они расширили границы родины, изгнав из их очагов миллионы немцев, и включили в состав Польши даже земли Померании и Восточной Пруссии, которые как раз и были питательной почвой для юнкеров и германского милитаризма. Столь обширная территориальная экспансия несет в себе потенциальную угрозу реванша, что предоставляет Польше новую роль — передового бастиона мира. Отсюда — требования освободить родину от вчерашних дурных пастырей, от всех этих мелких дворянчиков, “крестьянских” лидеров, католиков с устаревшими взглядами, от всех тех, кто не сумел защитить страну от Германии, а сейчас мешает восстановить согласие с Россией. Несмотря на Катынь — а советская ответственность за это преступление тогда еще для многих оставалась сомнительной, — коммунистическая аргументация в 1945 году вовсе не казалась полякам беспочвенной, и мы были бы неправы, если бы сейчас, ретроспективно, признали ее неубедительной: это значило бы упускать из вида огромный авторитет, которым в то время пользовался СССР, даже у такого европейского народа, который менее всего был расположен к этой стране. Впрочем, имея в виду последующий ход истории, можно сказать, что советское господство над Польшей, хотя и более продолжительное, чем нацистское, никогда не приобретало столь жестокого характера. В отличие от нацизма, терзав-

шего европейские народы главным образом за пределами Германии, большевизм сделал своей главной жертвой вскормивший его русский народ.

За пределами Советского Союза коммунизм в час своего торжества проявил необычайную способность приспосабливаться к новым условиям советской гегемонии в центральной и восточной Европе. С одной стороны, в своем идеологическом наследии он находит массу возможностей для универсалистского истолкования такой гегемонии: ему достаточно возложить ответственность за нацизм на крупный германский капитал и его прислужников, чтобы представить любой режим, возникающий под эгидой коммунистов в одной из “освобожденных” Красной Армией стран, в качестве победы демократии и мира. Доктрина, разработанная Коминтерном уже в 30-х годах, приобрела в 1945 году законченную форму: победа демократических сил, ведущая в дальнейшем к победе социализма, достигается посредством расширения советского лагеря.

С другой стороны, военная победа позволила СССР использовать в своих целях национальную идею, которая была популярен везде, где имела место нацистская оккупация, даже в странах, бывших, как Румыния или Венгрия, союзниками Германии.

Завладев таким образом национальной идеей, коммунистическое движение объединило в собственных интересах две главные политические страсти демократии XX века — национальную и революционную. После первой мировой войны национальная страсть была использована фашизмом и обращена против революционной страсти, воплощением которой был большевизм. В конце второй мировой войны поражение нацистской Германии высвободило национальные чувства европейских народов и направило их в пользу коммунистов; в одних странах, как в Югославии, они обеспечили себе главенство в ходе вооруженного сопротивления оккупантам; в других, как, например, в Польше, выступили подневольной стороной в исторически predetermined ситуации. Между этими двумя крайними случаями был ряд промежуточных. Но везде, хотя и в различных пропорциях, военный шок, динамика победы, чувство неизбежности, дискредитация старых элит, ненависть к Германии, наконец, — все это привело к тому, что именно с Советской Россией оказались связанными национальные надежды<sup>17</sup>.

В этом, пусть эфемерном, возрождении народов после угнетения и мук немецко-нацистского господства незанятым оставалось одно место — место еврейского народа; он издавна и в довольно большом количестве проживал в этой части Европы, вкрапленный

в ее национальную мозаику. Начиная с 1941 года Германией была предпринята попытка его уничтожения, самая чудовищная в истории. Однако о его несчастье еще не было сказано вслух. Было бы предвзятостью обвинять в этом только Советский Союз, поскольку Черчилль и Рузвельт, которые уже в 1943 году могли составить себе представление о размерах трагедии, тоже молчали и не сделали ничего существенного, чтобы положить ей конец<sup>19</sup>. Тем не менее, с начала гитлеризма Сталин не проявлял ни малейшего сочувствия к евреям. В глубине души он был им даже враждебен. Перед войной он намеренно закрыл советскую территорию для жертв антисемитских преследований со стороны нацистов.

После начала войны он всегда держал под подозрением сотни тысяч польских евреев, бежавших от Гитлера в СССР, сначала осенью 1939, затем в месяцы, последовавшие за июнем 1941 года; он им вдвойне не доверял — и как евреям, и как полякам. Многие десятки тысяч этих несчастных закончат свой путь в ГУЛаге<sup>19</sup>. Немного позже, в 1944—1945 годах, Советский Союз, освободитель классов и наций, ни словом не упоминает о трагедии евреев. Когда в январе 1945 года советская армия вступила в Освенцим, на Запад не просочилось ни единого упоминания о том, что она там увидела. Потребовался сделанный в мае английский запрос, чтобы получить официальный ответ, в переданной по радио версии которого не было даже слова «еврей».

В восточноевропейских странах, освобожденных и оккупированных его армией, у Сталина была еще и дополнительная причина не упоминать о евреях в связи с победой над нацизмом: здесь часто сохранялись антисемитские предрассудки, ставшие составной частью национального самосознания и пережившие даже массовые убийства евреев<sup>20</sup>. Местный антисемитизм и так был раздражен тем, что евреи занимали слишком большое место в партийной «номенклатуре»: в порядке сверхкомпенсации местные партийные руководители всячески старались, чтобы все забыли об их происхождении, и потому были патриотами из патриотов в своих странах и самыми верными прислужниками Москвы в международном коммунистическом движении. Итак, еврейские мученики растворились среди жертв иных национальностей, возмездие за которых было лишней раз записано в актив Красной Армии. А евреи, после Освенцима и Трешлинки, продолжали расплачиваться за то, что у них нет родины.

На западе народы были освобождены от немцев американской армией. О Красной Армии они знали только из радиопередач, они следили за ее подвигами от Сталинграда до Берлина. Они ведают не ведали о насилиях, творившихся ее солдатами даже в дружест-

венных странах, и о той атмосфере страха, которая воцарялась везде с ее приходом. Они были тем более склонны прославлять ее победы, что видели в них торжество Советского Союза, с которым у них было связано столько воспоминаний и надежд.

Соединенные Штаты, эмансипировавшееся дитя Европы, во второй раз на протяжении века пришли из-за океана, чтобы оказать помощь Западу. Но в воспоминаниях европейцев для них уже давно не было места. Соединенные Штаты изобрели столь оригинальное и сильное общество, что оно являло собой самостоятельную разновидность современной демократии, по определению и намеренно отличавшуюся от всего, что существовало в Европе; и они сознательно как можно дольше оставались в стороне от политики старого континента. Американцы неизменно сохраняли верность решению, которое превратило их в нацию: они покинули берега Европы, чтобы заключить между собой новый общественный договор по другую сторону океана. Принятое миллионами людей на протяжении последних веков, это решение содержит в себе отказ от европейской революционной модели: те утопические возможности, которые предлагает американская цивилизация, предполагают выход европейцев за пределы Европы. Впрочем, американская цивилизация слишком проникнута христианской верой и одновременно — духом свободного предпринимательства, чтобы соблазнить тех, кто привык представлять себе будущее демократии вне христианства и вне капитализма, то есть — бесчисленных детей Французской революции.

Западная и восточная части Европы начиная с 1945 года находятся в разном положении. Нацизм был общеевропейской трагедией, поскольку он подчинил себе почти все европейские страны к западу и к востоку от Германии; все поработанные народы страдали от его ига, в разной степени, конечно, но все они сохранили общие воспоминания о постигшем их несчастье. Иначе обстояло дело с коммунизмом, который утвердился только в странах, освобожденных Красной Армией. Там он стал реальным жизненным опытом. А на Западе он продолжал владеть воображением людей, распалемым конъюнктурой 1945 года, совершенно независимо от исторической реальности. В центральной и восточной Европе разгром Гитлера позволил узнать правду о коммунизме, в западной — дал новую пищу иллюзии. Мнимый универсализм коммунистического движения послужил толчком к расколу европейского сознания, и последствия такого раскола не перестают проявляться.

В то время у коммунизма на Западе не было открытых противников. Тот, кто был против, скрывался или молчал. Всю политическую сцену захватил дубовый язык “антифашизма” со своей ложью, умолчаниями и недоговоренностями. Любую критику

Советского Союза он исключал по определению: всякая попытка такого рода была бы расценена как уступка фашизму или шаг к его реабилитации. И снова я должен сказать, что не знаю более правдивого свидетеля этого временного духовного остоленения, чем Джордж Оруэлл, самый непримиримый к тоталитаризму писатель нашего века. Сразу же после войны на собрании Пенклуба, посвященном трехсотлетию памфлета Мильтона “Ареопагитика”, Оруэлл выразил возмущение тем, что в наше время существует меньше интеллектуальной свободы, чем во времена Мильтона<sup>21</sup>. Почему? Причина состоит не столько в преследованиях, сколько в эволюции современных обществ: возросшая сила денег, государства, пассивность граждан, наконец, война — самый сильный инструмент кретинизации людей. Рядом с этими скрытыми врагами свободы есть и открытые враги — тоталитарные режимы, дух которых не угас, а напротив, стал сильнее, чем когда-либо, благодаря победоносному коммунизму. Писатель, который тогда еще не написал своего романа “1984”<sup>22</sup>, знает со времен гражданской войны в Испании всю лживость советской лубочной пропаганды, расцветшей с новой силой после победы над нацизмом. Несмотря на слабость малочисленной компартии, “советская мифология” проникла повсюду в английскую общественную жизнь. Став совершенно независимой от опоры на крайне левые силы, эта мифология во многом объясняет тот факт, что Англия насильственно репатриировала в СССР такое количество военнопленных и просто “перемещенных” советских граждан, — и при этом в печати никто и слова не проронил. “Туман лжи и искаженной информации, — продолжает Оруэлл, — окутывающий такие сюжеты, как голод на Украине, война в Испании, русская политика в Польше и т.д., возник не только вследствие сознательной непорядочности; но каждый писатель или журналист, симпатизирующий СССР — симпатизирующий в том смысле, который придают этому слову сами русские, — вынужден заниматься намеренной фальсификацией самых важных вопросов”<sup>23</sup>.

Эта ложь не является чем-то временным, как думают или утверждают некоторые коммунисты, считающие себя более умными, чем другие, и полагающие, что позже они вновь обретут буржуазную заботу об истине. Она связана с самим типом власти, уверенной, что “история — это нечто такое, что следует не учить, а создавать. Тоталитарное государство в действительности — теократия, и ее руководящая каста, если она хочет оставаться у власти, должна считаться непогрешимой”<sup>24</sup>. Поэтому ортодоксия, которую она распространяет, в том числе и за пределами своих границ, еще опаснее, чем власть денег и бюрократии. Она разлагает жизнь искусства и идей в самых ее первоосновах, позорит ее, объявляя

следствием опыта. Она делает невозможной литературу, заставляя человечество отказаться от свободы.

Оруэлл описывал послевоенную ситуацию, глядя из Лондона. Что же тогда говорить о Париже!

Так уж сложилась судьба французов в XX веке, что они плохо пережили и победу, и поражение. Став победительницей в 1918 году, Франция не обладала ни моральным зарядом, ни историческим видением, ни дипломатическим талантом, ни демографическим ростом, ни военной силой, которые позволили бы ей поддержать свое господствующее положение в континентальной Европе. Разгромленная в 1940 году, она не избежала ни самобичевания, ни реванша правых сил над левыми под присмотром неприятеля, ни бесславной и поспешной инициативы преследования евреев. В 1945 году она оказалась в небывалой ситуации: ни побежденная, ни победившая, или, вернее, и победившая, и побежденная одновременно. Благодаря де Голлю, армиям, которые ему удалось собрать, благодаря внутреннему движению Сопротивления, ей удалось — с большим трудом и в последнюю минуту — получить место за столом переговоров вместе с победителями. Но ее не было ни в Ялте, ни в Потсдаме. На самом деле никто не забыл, что она капитулировала в июне 1940 года и что ее вклад в конечную победу был минимальным.

Французы знают это лучше, чем кто-либо. Какой другой народ так привык к хрупкости национального величия и так болезненно на нее реагирует? Начиная с 1815 года его не слишком баловала воинская слава; Седан усугубил комплекс национальной неполноценности, но Жоффри и Фош отомстили за Седан. Разгром весной 1940 года заставил французов пережить чувство национального унижения с крайней остротой, — настолько он был стремительным и тотальным. Режим Виши закрепил это унижение, под предлогом его облегчения. Ибо существование французского правительства под более или менее замаскированным немецким протекторатом при широкой поддержке общественного мнения (во всяком случае, в начале) сильно уменьшило значение призыва 18 июня и в момент его появления, и в исторической перспективе. Де Голль хотел искупить временное поражение участием французов в конечной победе. Но разгром Франции, официально признанный Виши, был в конечном счете заглажен скорее американцами и англичанами, не говоря уже о русских, сражавшихся на другом конце Европы, чем французскими армиями. Национальное общественное мнение, бывшее в 1940 году за Виши, в 1944 перешло на сторону де Голля: признак того, что оно скорее следовало за войной, чем участвовало в ней. Разгром 1940 года не был заглажен победой 1944—1945, в отличие от того, как Седан

был заглажен битвой на Марне. Де Голль своей деятельностью позволил не думать об этом, — не то чтобы забыть, но изгнать из памяти. Однако потребность изгнать из памяти как раз и мешает забыть. Французы отпраздновали свое освобождение в августе 1944 года, однако в день Победы, 8 мая 1945 года, никто из них не выразил радости на улице<sup>28</sup>. Франция вышла из войны, как раненый, ведомый своим врачом.

Была, правда, другая точка опоры для тех, кто хоть как-то принадлежал к левым: твердое ядро коммунистической партии, окруженное спутниками. Компартия сыграла важную роль в движении Сопротивления, где сначала действовала в одиночестве, потом — в союзе с другими силами, под общим, скорее номинальным, чем реальным, руководством генерала де Голля. Многие из тех, кто отшатнулся от нее в 1939 году, вернулись к ней в 1941. Еще большее количество французов, на протяжении военных лет, восхищались ее борьбой против оккупантов и мужеством ее бойцов. Организованность, талант манипулирования — сильные стороны большевистского руководства — довершили дело: в момент освобождения Франции ФКП оказалась такой мощной и такой “национальной”, что на протяжении нескольких недель, в конце лета 1944 года, ее влияние грозило перевесить авторитет властей, назначенных де Голлем<sup>29</sup>.

На Западе коммунизм тоже вышел из войны облаченным в национальные цвета. По сравнению с восточной Европой отсутствие Красной Армии ставило его в менее выгодное положение в отношении завоевания власти, но зато помогало его пропаганде: все советское с необычайной силой действовало на воображение и никак не соотносилось с реальностью. Могучий и одновременно отсутствующий Советский Союз действовал как вдохновляющий пример освобождения, — идеальная ситуация для патриотического имиджа французского коммунизма.

Этот имидж был обманом зрения, поскольку и по стратегическим установкам, и по своей зависимости от Москвы, и по основному составу своих кадров партия в 1944—1945 годах была такой же, как в 1939—1940. Сменив курс в 1941 году, она не изменила своей природы, подобно тому как международная политика Сталина не изменила внутреннего режима СССР. Если французам не удавалось забыть разгром 1940 года, то коммунистам не удавалось забыть тот же год по иным причинам: тогда была поставлена под вопрос одновременно и антифашистская позиция компартии, и последовательность ее национальной политики в отношении Германии. В этом заключался ее самый потаенный и наиболее яростно охраняемый секрет: достаточно было только упомянуть об этом, чтобы навлечь на себя громы и молнии партии, ставшей

слишком националистической, чтобы допустить память о том, с какой покорностью четыре года тому назад она восприняла германо-советское сближение, но по-прежнему готовой предавать анафеме своих противников. В длинном списке вытесненных воспоминаний, оставшихся у французов от 1940 года, тогдашние дела компартии занимали незначительное место, сравнительно с общенациональным кризисом, вызванным развалом страны. Но в 1944 году этот скрытый эпизод приобрел особое значение ввиду того, что компартия претендовала на главное место в обеспечении национальной преемственности в противовес правительству Виши, что очевидно, но также, хотя и более тонко, в противовес де Голлю.

Пример Франции лучше, чем, возможно, любой другой, позволяет понять силу и слабость той политической линии с почти шовинистическим оттенком, которой стало придерживаться мировое коммунистическое движение. В Европе, только что освободившейся от нацистского ига, защита национальной независимости и демонстрация антинацистских и одновременно антинемецких чувств были наилучшим способом использовать плоды войны и победы на пользу Советскому Союзу и местным коммунистическим партиям. Этот рецепт действовал тем более безотказно, что, в результате ошеломляющих побед Германии в 1939—1941 годах, завоеванные ею страны лишились политических и моральных опор; оторванные от своего прошлого, не уверенные в будущем, несчастные в настоящем, они имели все основания не любить своих довоенных руководителей, а затем, после войны, ненавидеть тех из них, которые заключили соглашение с немцами. Такой вакуум открывал простор для коммунистических партий, выступивших с программой национального возрождения. Якобинская традиция позволяла им сочетать антинацистский универсализм с антинемецким шовинизмом. Но с другой стороны, их патриотические фанфары звучат фальшиво, поскольку к ним примешиваются два ряда конфликтующих между собой воспоминаний: о сопротивлении нацистским оккупантам и о предательстве в 1939—1940 годах. Более свежие и приятные воспоминания о сопротивлении вытеснили более давние и неприятные. Попытка мирного сосуществования с оккупантами, предпринятая ФКП летом 1940 года, стала предметом коллективного психологического подавления, которое табуировала все, что было связано с проклятыми годами. Запугивание довершило дело.

В такой стране, как Франция, у коммунизма, однако, были такие глубокие и разветвленные корни, что его сила зависела не только от ненадежного сочетания национальной идеи и интернациональной реальности движения. Здесь, как и в Италии, — и в

отличие от Англии — он обладал мощной социальной опорой в рабочем классе, формировавшейся из года в год систематической организационной работой во имя революционной традиции. Уже перед 1936 годом ФКП обеспечила себе, особенно в парижских предместьях, мощные рабочие бастионы, где начала создавать то, что Анни Кригель называла “противо-обществом” (“contre-société”)<sup>27</sup>. В 1936 именно активисты этих бастионов руководили широким забастовочным движением. Не участвуя в правительстве, они составляли, вместе с тем, мощную проправительственную власть, действуя и как самостоятельная сила и через посредство своих агентов влияния. В республике, которая никогда не проявляла особого внимания к своему пролетариату, ФКП завоевала для себя чрезвычайную привилегию — выражать внутри нации интересы рабочего класса: она вернула ему историческое достоинство и одновременно сделала его образом будущего. Особое место, которое занимает Франция в истории коммунизма, связано с тем, что она наделила свою коммунистическую партию своего рода революционной респектабельностью, создав целую лестницу поступательного движения к социализму: партия играет руководящую роль в рабочем классе, рабочий класс — в Народном фронте, Народный фронт — в движении к социализму. В социальной и политической конъюнктуре французские левые, в соответствии с универсалистскими наклонностями национального сознания, узрели движение истории.

Фактически, если посмотреть с достаточно общей точки зрения, ситуация 1936 года повторилась в 1945 году, только в более широком масштабе и подкрепленная общей победой: Европа покрыта коммунистическими партиями, Народными фронтами, антикапиталистическими прокламациями, революционными клятвами. Советский Союз находится в зените славы. Французские левые вернули себе достоинство. Торжествующий антифашизм более, чем когда-либо, способствует единению коммунистов с их союзниками, давая двойную выгоду — тактическую и стратегическую. Первая состоит в том, что всем, кто не состоит в этом альянсе, бросается обвинение в том, что они не (или недостаточно) антифашисты. Вторая выгода относится к целям движения: недостаточно победить фашизм — надо еще вырвать его корни, а пример Германии показывают, что корни фашизма лежат в самом капитализме.

Фашизм, таким образом, переживает сам себя и продолжает существовать в качестве скрытой угрозы вплоть до дня социалистической революции, которая одна может уничтожить условия его возникновения. Антифашистское единство 1945 года превосходит Народный фронт 1936 года тем, что открывает дорогу к антикапи-

талистической демократии, понимаемой как этап на пути к социализму. Эта идеологическая концепция, вызвавшая столько повизантийски изощренных дискуссий, как раз и направлена на их разжигание, дабы избежать конкретного анализа печальной реальности. Придавая политическому действию негативную направленность — антифашизм, антикапитализм, — она дает возможность уклониться от обсуждения вопроса о демократии и вопроса о социализме. Она представляет дело так, как будто антифашизм обязательно ведет к обобществлению средств производства, а антикапитализм обязательно демократичен. Она призвана замаскировать и революционную идею, и идею демократии.

Никогда еще навязчивая “революционность” не проявлялась во французской политике так зримо, как в момент освобождения. Она присутствует повсюду, и не так, как в 1918 году, когда она явилась реакцией на войну, а наоборот — как стремление продолжить войну в условиях гражданского общества. Войны XX века взрастили такое стремление в головах и в сердцах людей. Первая мировая война вызвала против себя революционную страсть в обоих враждующих лагерях — и среди крайне правых, и среди крайне левых. Вторая заразила революционной страстью уже всех французов, что было естественным следствием ее развития. В данном случае не так важно, что французы не столько вели войну, сколько страдали от нее. История, приобретшая для них несчастливый оборот начиная с 1940 года, только усиливала необходимость разрыва с прошлым и нового старта, который позволил бы заглядеть память о правительстве Виши.

Когда читаешь тексты того времени, поражаешься всеобщему характеру революционных заклинаний, сохранивших всю свою былую резкость выражений: мы узнаем в них словарь II года, требования “покарать предателей”, призывы к национальной энергии, вопли против эгоизма личных интересов. Вновь оказывается в повестке дня требование порвать с Третьей Республикой, только теперь его выдвигают левые силы, тогда как в 1940 году его же выдвигали правые силы и правительство Петена. В действительности, такое стремление имело более давнее происхождение: оно проявлялось почти во всех политических кругах в период между двумя войнами и особенно в 30-х годах, но поскольку никто не сумел его оформить, оно присутствовало в размытом виде, навешанное то фашизмом, то коммунизмом, а иногда ими обоими сразу. В 1940 году оно было еще более неопределенным, чем раньше, хотя за ним скрывалось реальное чувство враждебности народа к павшему режиму: но эта так называемая “национальная” революция не имела никакого волевого заряда, поскольку она была следствием победы Германии и оккупации ею двух третей француз-

ской территории. Однако даже поношения, которым подвергалась Третья Республика со стороны правительства Виши, не сделали ее более близкой движению Сопротивления, включая все его оттенки. В момент освобождения движение Сопротивления жаждет революции. Обретение независимости не может его удовлетворить, равно как и тот факт, что Франция признана соучастницей общей победы. Участники Сопротивления хотят порвать с реальностью, более давней, чем режим Виши, и воздвигнуть не только новую республику на обломках рухнувшей, но и новое общество, свободное от власти денег. Беда в том, что для достижения этой цели у них нет иных идей, кроме коммунистического и прокоммунистического антифашизма<sup>28</sup>. А потому их тянет скорее к прошлому, чем к будущему.

И действительно: едва война закончилась, как Четвертая Республика пошла по стопам Третьей. Заявили о себе силы, вышедшие из Сопротивления, и де Голль вынужден был уйти, так как не смог отстоять свою концепцию конституционных преобразований; демохристиане, новые действующие лица на правительственной сцене, быстро обуржуазились и не выполнили провозглашенных ими задач — открыть новые социальные горизонты. Что касается левых партий, то социалисты уже давно не знают, что они подразумевают под революцией, а коммунисты знают это слишком хорошо. Отсюда заключенный между теми и другими посредственный компромисс относительно органов управления. “Революционные” требования, выдвигавшиеся с такой страстью в период сопротивления как неотъемлемая часть национального освобождения, были осуществлены не больше, чем в 30-е годы, хотя на этот раз они, по-видимому, пользовались широкой поддержкой общественного мнения. В этой неудаче генерал де Голль обвинял партии, партии — генерала де Голля, коммунисты — буржуазные партии, социалисты — коммунистов, и т.д. Но все эти взаимные обвинения по-своему выражали один более общий феномен: несмотря на свою внешнюю популярность, революционная идея в результате войны не стала более содержательной. До войны она терпела ущерб от двусмысленности взаимоотношений коммунизма и фашизма. После разгрома нацизма она оказалась связанной с поздним большевизмом, и характеризовалась скорее пассивной согласием, чем волевой решимостью и воображением.

Французы того времени избавились от немцев, но не от фатальности истории. Напротив, они, как никогда, чувствовали и сознавали эту фатальность, особенно благодаря влиянию примитивного марксизма. Победа союзников над Гитлером воспринималась как неизбежность. Два лагеря яростно сражались, каждый во имя своей религии будущего. Сила победителей выглядела выражением ис-

торической необходимости. Два верования составляют силу и очарование революционной идеи: необходимость и воля; на этот раз вторая составляющая была почти полностью поглощена первой. Отсюда — нигилистический, лишенный моральной убедительности характер большинства революционных рассуждений того времени. Этот момент глубоко возмутил автора одного из последних исторических исследований, Тони Джудта, ибо он обнаружил его почти у всех французских интеллигентов того времени, вплоть до католических писателей<sup>2)</sup>. Дело в том, что причины его крылись в недавнем историческом опыте, в духе времени, которые на известный срок оказались сильнее разума и даже сильнее религии<sup>3)</sup>.

Если мы хотим не только констатировать, но и проанализировать причины и обстоятельства, породившие такое состояние умов, необходимо вернуться к истории коммунизма во Франции, более, чем когда-либо, являвшегося обладателем революционной идеи и ответственного за то, что сделало ее одновременно и такой сильной, и такой ущербной.

В самом деле, что же осталось от различных направлений французских левых в 1944 году? Война окончательно дискредитировала пацифизм, столь сильный в 1939 году, и сильно уменьшила авторитет социалистической партии, несущей свою долю вины за мюнхенские соглашения. Что касается партии радикалов, являвшейся хранительницей старых республиканских идей, то она не избежала общей дискредитации, постигшей Третью Республику после разгрома. К тому же, ни социалисты, ни радикалы не играли, в качестве партий, сколько-нибудь заметной роли в движении Сопротивления. Когда летом 1944 года территория Франции была освобождена, французское общественное мнение более чем когда-либо склонялось “влево”, а там была только одна сильная точка притяжения — Коммунистическая партия.

Ее сила была связана с победами Красной Армии и борьбой в рядах Сопротивления. Она разделяла со всем народом счастливые воспоминания 1936 года. Она не была замешана в мюнхенский сговор. На ее долю выпало, силой обстоятельств, стать объединительницей французских левых сил, сочетая в разных соотношениях демократические и революционные страсти, республиканский дух и большевистское “якобинство”, стремление к свободе и культ государства. В то же самое время традиционный антигерманизм и победоносный антифашизм позволяют придать видимость единства и максимальный авторитет всему этому набору политических чувств. Французы любят такое смешение жанров, благодаря которому они могут поклоняться одновременно и своей политической традиции, и тому, что, как будто, эту традицию подрывает: проповедь революции получает таким образом историческую опору.

Советский Союз уже не внушает подозрений, поскольку он является образцовой державой-победительницей в антинацистской войне. Недоброй памяти московские процессы теперь выглядят как доказательство дальновидной бдительности против “пятой колонны” Гитлера. К тому же, победа позволит сталинскому режиму смягчить свои методы принуждения и диктатуры, как это произошло с революционным террором в 1793 году; всем хочется в это верить, тем более, что даже Рузвельт, второй главный победитель в войне, на это надеялся. Война сделала образ Советского Союза вдвойне универсальным, а Октябрьской революции дала новое демократическое крещение. Крайняя левая получила новую возможность восхищаться победами Красной Армии, видя в них продолжение революционного насилия и залог коренного социального обновления. Но одновременно советские военные успехи могли расцениваться как победа демократии и предвестие установления более демократического социального порядка. Довоенная полемика о природе советского режима теперь стала неуместна, а уж сравнение с фашистской диктатурой — тем более: обстоятельства позволили иллюзиям заполнить широчайшее политическое пространство.

Французский коммунизм теперь расцвел в обоих своих ипостасях и вновь обрел, только в более широком масштабе, свое очарование времен Народного фронта, — одновременно правительственное и революционное, респектабельное и бунтарское, национальное и сталинистское. Это доставляет удовольствие не только интеллигентам, которые счастливы вновь обретенным тождеством между нацией, демократией и революцией. Члены партии авансом, еще до взятия власти, испытывают удовлетворение от своей борьбы, а партийные руководители чувствуют себя вознагражденными за свое скрытое рабство. Что касается остальных французов, если только они склоняются влево, то их особенно привлекает в облике коммунизма то, что, будучи революционным, он в то же время не внушает тревоги. Со времен Французской революции они привыкли сочетать свою страсть к новшествам с заботой о преемственности в государственных делах. Достаточно ознакомиться с набором конституционных идей Коммунистической партии, чтобы понять, что ее избиратели в 1945—1946 годах могли не беспокоиться за свои старые привычки: их институционный дух ориентирован на модель Третьей Республики, несколько подновленную идеями Конвента.

И все же такая буржуазно-демократическая ориентация была всего лишь декорацией. Этот театр воспоминаний был призван сыграть переходную роль. Ибо конечная цель не была потеряна из вида: одна из характерных особенностей истории коммунизма со-

стоит в том, что он в меняющихся обстоятельствах он никогда не терял своей нацеленности. Коминтерна больше не существует, национальная независимость фигурирует в качестве одного из первых пунктов в программах коммунистических партий. Но движение не потеряло ни своего сверхцентрализованного характера, ни своих революционных целей. Напротив, Сталин стал непогрешимым, не изменившись ни на йоту, и культ, которым он окружен в коммунистическом мире, ярко свидетельствует, сколь ограничена автономия партий бывшего Коминтерна. Почти все вожди партий, приступившие к работе в своих странах в 1944—1945 годах, находились во время войны в СССР и явились *missi dominici*\* верховного вождя. И Франция не была исключением.

Однако объективно революционные надежды наполнялись конкретным содержанием в той части Европы, которая освобождалась от нацистского гнета благодаря успехам Красной Армии. Не то чтобы ее приход в освобождаемые страны прямо вел к установлению диктатуры пролетариата. Но уж дружба с Советским Союзом оказывалась первейшим условием для вновь образовавшихся режимов во главе с местными коммунистами, опиравшимися на поддержку советских военных властей. В западной Европе дело обстояло иначе. Обстоятельства августа-сентября 1944 года показали французской компартии пределы ее возможностей, и не только из-за де Голля, но и потому, что Франция была освобождена американцами. Хотя самые сильные бастионы коммунизма находились во Франции и Италии (не считая Югославии), коммунистические партии в этих странах не смогли самостоятельно осуществить революционные действия. Коммунизм оказался слабым там, где он был силен, и сильным там, где он был слаб: а причина состояла в том, что “пролетарская революция” в обоих случаях ориентировалась больше на Красную Армию, чем на собственный пролетариат. Кроме того, ей противостояла сила, большая, чем буржуазия, — ей противостояла Америка.

Таковыми были парадоксальные, но логичные последствия “социализма в одной стране”. Пришел день, когда военная победа позволила этой избранной стране экспортировать в соседние страны свой “социализм” вместе с соответствующим политическими и полицейскими кадрами. Но пределы ее могущества кончались там, где она наталкивалась на другого главного победителя в войне. То, что ни французские, ни итальянские коммунисты не смогли захватить власть в странах, где буржуазное общество имело наиболее крепкие опоры, не может быть объяснено только присутствием американских войск. Но их присутствие служило хотя бы гаранти-

\* Посланцы Господа (лат.). — Прим. пер.

ей, что туда не придет Красная Армия и не приведет к власти своих клиентов, а затем оно стало последней опорой верности Запада либеральной демократии. Таким образом, идея революции потеряла прямую связь с классовыми отношениями внутри нации, равно как и с интернационализмом рабочих в его первоначальном значении. Она больше не выражала солидарности пролетариев в их борьбе. Теперь она шла рука об руку с географическим распределением и международным соотношением военной мощи. Конец судьба европейского пролетариата теперь не связана, как это было в годы после Октябрьской революции, с передачей революционной эстафеты ведущим европейским капиталистическим странам, и в первую очередь — Германии. Она теперь зависит от того факта, что Красная Армия стоит в Праге, — что может рассматриваться и как колоссальный успех, и как временное равновесие.

Таким образом, никогда еще революционная страсть на Западе не была столь неопределенной, как в момент, когда она, судя по всему, безраздельно завладела общественной сценой, — это хорошо видно во Франции и в Италии. Благодаря победе антинацизма она получает универсальное распространение, связывая коммунистические призывы с демократической преемственностью. Италия была фашистской страной, союзницей Германии; побежденная Франция породила правительство Виши. Война, даже антинацистская, была не тем опытом, который мог бы примирить оба народа с буржуазной демократией: поскольку в результате войны из двух враждебных либерализму сил сохранилась только одна, коммунистическая, общественное мнение в целом склонилось к идее новой демократии, в которой власть буржуазии и денег была бы ограничена в пользу народа.

Такая надежда сама по себе не обязательно является революционной, во всяком случае, в том, что касается средств ее осуществления. То, что придает ей силу великого начала, — это обратное воздействие войны: война была событием гигантского масштаба, так как же не поверить, что она открыла новую эру? В вагнеровском крушении Гитлера как не прочесть предвестие установления нового порядка? Но каким будет этот порядок? Неустойчивое смешение демократии с революцией, характеризовавшее антифашизм уже в 1936 году, в еще большей степени было ему свойственно в 1945; его программа была двойственной: ее ленинизм противоречил сохранившимся элементам плюрализма, которых было все-таки еще слишком много для общей ленинистской направленности. Наступает время поисков “национальных путей” к социализму<sup>11</sup>; но эта формула, носившая, к тому же, лишь временный характер, была скорее заклинанием, чем открытием.

Впрочем, новый мировой порядок, основанный на силе победоносных армий, самим фактом своего существования показывал нереальность смешения демократии и революции.

# *Глава одиннадцатая*

## Коммунизм периода ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Коммунистическая идея недолго сохраняла ауру уважения и восхищения, которая окружала ее в первый послевоенный период благодаря победам Красной Армии над гитлеровскими войсками. Ее временная респектабельность, столь чуждая ее природе, была слишком ненадежным капиталом, чтобы долго жить на проценты с него. Очень скоро ее история вступила в новую фазу.

Она оказалась вовлеченной в силовое соперничество мировых держав. Даже в Европе Сталин встречал противодействие со стороны Америки. Опираясь на универсальность антифашизма, он подчинил себе, через посредство “национальных фронтов” и коммунистических партий, все страны, где его армии принадлежало последнее слово. Повсеместный вынужденный отказ от плана Маршалла в июле 1947 года<sup>1</sup>, усмирение Польши<sup>2</sup> и чешский государственный переворот в феврале 1948 года<sup>3</sup> завершают образование империи, территория которой граничит с опустошенным Западом и американской зоной оккупации в поверженной Германии.

В данной главе меня интересует не столько история формирования этой империи, сколько то, как она воспроизводила систему двойного командования, типичную для советского строя. С одной стороны, существовал СССР, со своей армией, дипломатией, “службами”, который ничем не отличался бы от любого полицейского государства, если бы не обладал к тому же идеологической привилегией — быть воплощением социализма. С другой стороны, существовали коммунистические партии, руководители которых были выкорымышами распущенного Коминтерна, замененного в 1947 году Коминформом, в принципе более гибкой организацией, на деле — столь же безраздельно контролирувавшей “братские

партии”<sup>4</sup>. Движение продолжало быть сверхцентрализованной Церковью, сохраняя в то же время видимость автономии своих отдельных частей. Одна и та же рука направляла одновременно и советское государство, и коммунистические партии, следя за соблюдением идеологической ортодоксии. Советское государство осуществляло господство над малыми странами, где находилась его армия, а компартиям, действовавшим под знаменем национальной независимости и антифашизма, предоставлялась возможность делать вид, будто они определяют политику на местах. Вот почему не так уж важно, представляют они собой реальную силу, как в Чехословакии, или их влияние почти равно нулю, как в Румынии: повсюду источник их господства находился вне их. Знаком их избранности служил язык идеологии. Таким образом Советский Союз создал в Европе ранее невиданную империю, невиданную и по ее масштабам, и по ее природе. Никогда еще на протяжении истории Россия не продвигалась так далеко на запад. Никогда ее продвижение не облекалось в форму социальной идеи, родившейся на Западе и обращенной против Запада. Никогда еще такое количество разных наций не подвергалось столь нивелирующему господству единой тиранической идеологии. Эти нации составят единый лагерь: “лагерь мира и социализма”.

Итак, коммунистическая идея слилась с идеей имперской, ничуть при этом себе не изменив. С самого рождения обручившаяся с культом силы, затем поставленная на службу одной стране, она, естественно, особенно усилилась в послевоенных условиях. Она захватила обширные территории в Европе, где ее воцарения уже ожидали активисты, давно и заранее подготовленные к ее приходу. С весны 1947 года протяженная граница, идущая от Любека — через Прагу — до Триеста, отделила от капиталистического мира эту новую Европу с лицом интернациональной революции. Такова была реальность, всю историческую весомость которой может, конечно, оценить только тот, кто ее прочувствовал и пережил в то время.

Власть этой реальности над коллективным воображением имела и еще один источник: это — страх перед войной, проявившийся очень быстро и очень сильно. Люди той эпохи, выросшие среди воспоминаний о войне 1914 года, прошли через вторую мировую войну, разрубившую надвое их жизнь. Конец первой мировой войны по крайней мере породил в людях надежду на длительный мир, и эта надежда просуществовала одно десятилетие. Но вторая мировая война едва закончилась, как уже возникла угроза третьей, и это была не отдаленная смутная угроза, а перспектива почти неизбежного столкновения, ибо таковым оно считалось и провозглашалось в обоих лагерях<sup>5</sup>. Общая атмосфера в

Европе не располагала к оптимизму. Ничего не осталось от пацифистского идеализма, умершего и похороненного в 1939 году. Привыкшее к насилиям и трагедиям, одновременно циничное и сентиментальное, общественное сознание стало относиться к несчастью как к чему-то нормальному. В общем, Европа была скорее главным залогом борьбы, чем ее активным участником. Ее важное место в соотношении мировых сил только подчеркивало отсутствие у нее политической воли. Подчинение законам истории стало ее моралью.

Я здесь не стану вдаваться в причины холодной войны и в определение меры ответственности ее участников<sup>6</sup>, — это не входит в мою задачу. Меня интересует прежде всего та готовность, с которой все и повсюду поспешили признать этот новый конфликт, спустя столь недолгое время после окончания предыдущего. Он начал вырваться еще до падения Гитлера, — например в Ялте, где уже обнаружилось разногласия между союзниками по поводу Польши. Хотя Рузвельт надеялся и хотел избежать борьбы за раздел зон влияния в Европе, она началась уже в последние месяцы войны, что выразилось, например, в высадке английских войск в Греции или в стремлении Сталина “забетонировать” присутствием своих армий захваченные территории. В результате такой борьбы между союзниками капитуляция нацизма приобрела странный характер: закончилось время несчастья, но началось время тревоги.

В истории мало было конфликтов, которые сопровождались бы таким чувством неизбежности, как холодная война. С обеих сторон руководители не только принимают ее, но и подводят под нее философский базис. Сталину не нужно далеко ходить, чтобы обнаружить в своем идеологическом арсенале запас обвинений против Соединенных Штатов как ударной силы империализма. Трумэн создает свою “доктрину” для борьбы с коммунизмом: знак того, что даже его прагматический талант политика должен был приспособливаться к требованиям обстоятельств и духу времени. Европейские народы, прошедшие через длительную идеологическую войну, легко примирились с неизбежностью новой идеологической конфронтации, где каждая сторона объявляла себя верной продолжательницей недавней борьбы за правое дело. Сталин ссылается на угрозу нового фашизма, порожденного американским империализмом, и обращает против своего недавнего союзника весь пропагандистский арсенал, ранее задействованный против Гитлера. Трумэн, со своей стороны, разоблачает Советский Союз как страну, пришедшую на смену нацистской Германии, и призывает не повторять ошибки мюнхенской политики. Прошло время рузвельтовских иллюзий относительно эволюции коммунизма в “хорошую” сторону, — наступило время борьбы. Третья ми-

ровая война подстраивается в кильватер второй, используя противоречивый набор аналогий и недавних воспоминаний. Такова расплата за двусмысленный характер великой антигитлеровской коалиции. Таков, безусловно, один из секретов безропотности народов, уставших от свирепых идеологий, но неспособных от них освободиться под страхом утратить смысл своей истории. Антифашистская война, объединившая их вчера, разъединяет их сегодня.

Ничто не иллюстрирует эту двойственность так, как подход Советского Союза к германскому вопросу. Разгромленная, раздавленная, объявленная преступной, Германия в 1945 году не существовала как политическое целое: в отличие от ситуации в октябре-ноябре 1918 года, военный разгром не заставил хотя бы часть народа подняться против дурных пастырей. Немецкий народ стал заложником в борьбе между победителями, борьбе столь ожесточенной, что четырехсторонняя военная комиссия<sup>4</sup>, созданная, чтобы управлять Германией, смогла проработать как единое целое всего несколько месяцев. Из всех победителей Советский Союз более других был заинтересован в том, чтобы получить возмещение натурой: с 1946 по 1948 год он произвел вывоз из своей оккупационной зоны всей немецкой промышленной инфраструктуры: зданий, машин, оборудования и даже железнодорожных рельсов. Такую крайность можно объяснить тем, что советская сторона всего лишь стремилась получить компенсацию за огромные разрушения, произведенные вермахтом в России и на Украине. Однако то, как советские военные власти применяли на деле антифашистскую идею, сразу придало восточной оккупационной зоне Германии особые черты.

Дело не в том, что к “денацификации”, предусмотренной потсдамскими соглашениями, на Востоке относились менее серьезно, чем в американской, английской или французской зонах. Напротив, здесь только и было разговоров, что о денацификации. Но свелась она не столько к расследованию прошлой деятельности конкретных лиц, сколько к коллективному закланию национальной вины. Политика здесь взяла верх над правом: пришел, наконец, час немецкой компартии, которая объявила себя исключительной носительницей антифашизма и руководители которой прибыли из Москвы в обозе Красной Армии. Неважно, что она не имела отношения к разнообразным попыткам свергнуть нацистский режим изнутри. То, что именно на нее обрушились первые репрессии Гитлера в 1933 году, тоже не имело особого значения. Важно было то, что советские победители избрали ее в качестве символа сопротивления немецкого рабочего класса нацистской диктатуре, установленной буржуазией; что она была образцом ортодоксии и одновременно — инструментом власти. По словам ее

пропагандистов получалось, что в гитлеровских концлагерях почти и не было других заключенных, кроме коммунистов и рабочих! Несчастья евреев снова оказались забытыми, теперь по идеологическим причинам<sup>9</sup>.

Одновременно образцовые участники Сопротивления и главные жертвы нацизма, немецкие коммунисты оказались еще большими страдальцами, чем сопротивленцами. Они вновь появились на политической сцене своей страны не как революционеры-победители, явившиеся наконец, чтобы осуществить великие замыслы 20-х годов, но как активисты, освобожденные из заключения или привезенные Красной Армией, единственной настоящей хозяйкой в восточной зоне, где коммунистам разрешено выступать в качестве главных свидетелей от имени антифашизма. Главных, но не единственных: право выступать от имени жертв нацизма получили также другие разрешенные партии<sup>10</sup>, начиная с социалистов; важно было одно: чтобы публичные споры между ними велись в пределах единой системы интерпретаций. Впрочем, две “рабочие” партии сольются в 1946 году, с благословения советской администрации. Денацификация по-советски состояла не столько в том, чтобы наказать или изолировать виновных, сколько в том, чтобы контролировать немецкую политику и подчинять ее жесткому курсу советского руководства: между нацизмом и коммунизмом не было никаких промежуточных звеньев. Тот, кто не являлся сторонником коммунистов, уже в силу одного этого подозревался в сочувствии к нацизму и ностальгии по временам его господства. Да и не все коммунисты пользовались доверием советских властей, а в первую очередь те, кто во времена Гитлера избрал своим убежищем Москву. Им были подчинены те члены немецкой коммунистической диаспоры, которые побывали в эмиграции во Франции, Англии, Соединенных Штатах или Мексике. История этой части эмиграции замалчивалась, равно как и деятельность буржуазного или аристократического сопротивления Гитлеру, и заговор против него 20 июля 1944 года.

Единственным настоящим “антифашизмом” признавался тот, который был выпестован Сталиным: его быстро перенацелили против американского империализма и его западногерманских пособников. Республика Аденауэра разоблачалась как неонацистская именно в тот момент, когда она вводила немецкую историю в русло западного конституционализма. А государство Ульбрихта обладалось в идеологические одежды антифашизма как раз тогда, когда оно устанавливало диктатуру одной партии под советским протекторатом.

Эта диктатура создавала чрезвычайно экстравагантную ситуацию, ибо она не давала немцам никакого выбора, предлагая им

прославлять не только победителей, но и тот режим, который они привезли в своих фургонах. Даже первую часть этой задачи выполнить было нелегко, принимая во внимание зверства, которые творила Красная Армия в Восточной Пруссии и в Померании, вызывавая бегство сотен тысяч испуганных жителей. Установление новых границ в течение целого года придавало победе над нацизмом характер чудовищного исхода. Этому лишившемуся корней населению, у которого не было иной заботы, кроме выживания, победитель навязывал политический катехизис покаяния в качестве идеологической матрицы вновь устанавливаемого режима. Немецкие коммунисты, которые одни хорошо владели новым политическим языком и заранее выучили свою роль, встали, таким образом, во главе одного из фрагментов своей страны в качестве немногочисленной аристократии, не виновной в национальном преступлении, поскольку они-то и были его жертвами; однако власть их целиком зависела от поддержки Советского Союза. Наследники великой рабочей традиции, они протитуировали ее, поставив на службу иностранным интересам и пережившему свой век антифашизму, быстро превратившемуся в идеологию полицейского государства.

Революция, за которую умерли Роза Люксембург и Карл Либкнехт, теперь совершалась силами оккупационной армии среди молчания чувствующего свою вину народа. Национализация промышленности и аграрная реформа, восхвалявшиеся как победа народных масс, приобретали поэтому характер карательных и бюрократических мероприятий. Как будто дух немецкого коммунизма, сокрушенный Гитлером, был уничтожен вторично с разгромом нацизма. Чудо состоит в том, что с течением лет ему удалось все-таки породить слабенькую, но все же эндогенную марксистскую культуру внутри советского общества. Даже самый педантичный из подотчетных Москве полицейских режимов не смог дискредитировать марксизм-ленинизм в стране, где родился Маркс и умер Либкнехт.

Еще до того как превратиться в два отдельных государства, две Германии были, таким образом, разделены теорией и практикой своего отношения к антифашизму. На Западе возрождение политической жизни обнаружило массовую поддержку антикоммунистическим партиям, включая социал-демократов, сохранивших верность своим традициям. Уже в 1946—1948 годах, не говоря уже о последующих<sup>11</sup>, можно было составить себе представление о непопулярности коммунистов в общественном мнении, — что понятно ввиду печальной судьбы миллионов изгнанных со своих земель “переселенцев”. На Востоке новая Объединенная социалистическая партия, окружив себя сетью “антифашистских”

ассоциаций, вынудила две “буржуазные” партии войти вместе с собой в “Демократический блок”. Этот блок был всего лишь орудием в руках советской военной администрации, в задачу которого входило восхвалять новую польскую границу, благословлять грабеж занятых русскими территориями и одобрять аресты, производимые большей частью советскими полицейскими службами по собственному усмотрению. Он до конца останется тем, чем был с самого начала, то есть самой зависимой от Москвы партией, выполняющей во имя антифашизма роль передового бастиона победившего большевизма в окружении побежденного народа.

Берлинский кризис, первая серьезная боевая тревога холодной войны, привел к кристаллизации этих противоречий. Бывшая немецкая столица, вошедшая в советскую зону, получила особый статус и находилась под управлением четырехсторонней военной администрации. В Берлине сохранилась независимая социалистическая партия, та же самая, что и на Западе, имевшая после выборов в октябре 1946 года большинство в городском самоуправлении. В момент, когда, менее года спустя, железный занавес разделил Европу, Берлин представлял собой западный анклав внутри советизированной территории: он служил витриной западного образа жизни, постоянно своим примером побуждал восточных жителей к бегству на Запад и был дополнительным фактором изоляции немецкого коммунизма, который побил все рекорды непопулярности<sup>12</sup>. Блокада Берлина, предпринятая Советским Союзом зимой 1948—1949 года, имела целью ликвидацию этого абсцесса в качестве прелюдии к созданию в восточной зоне немецкого государства. Может быть, это была также первая попытка, в духе Сталина, прошупать решительность противника. Ответ, во всяком случае, был убедительным, он был дан на уровне высших технических достижений: американская авиация обеспечила Берлину воздушный мост. Произошло поразительное переворачивание ситуации и способов применения силы, подчеркнутое единством места. Берлинцы того времени прекрасно помнили, как еще недавно бомбила город американская авиация, которая теперь пришла им на помощь. Сам Берлин, бывший столицей тоталитарной империи, теперь стал символом свободы. Поменялась роль берлинцев, равно как и роль советской стороны. И все это было знаком того, что третья мировая война грозила начаться в том самом месте, где закончилась вторая, и как ее продолжение, поскольку бывшие союзники столкнулись между собой именно по поводу оценки ее результатов.

Этот немецкий эпизод позволяет глубже проникнуть в природу послевоенной коммунистической идеи и той эволюции, которую она проделала между 1946 и 1948 годами. В 1946 она уже опи-

ралась на чудовишно возросшую мощь Советского Союза, но еще оставалась связанной с политикой демократического антифашистского единства, подобно тому, как это имело место во время войны в международном плане. В 1948 году она снова вышла на тропу войны и революции, повсюду ужесточая свои позиции перед лицом империализма, ища не столько точки соприкосновения, сколько поводы для столкновения. В этом плане историк может наблюдать, как происходит обычное для коммунизма качание из стороны в сторону: так за военным коммунизмом последовал нэп, который, в свою очередь, был замещен сектантской политикой “третьего периода”, чтобы уступить место стратегии Народного фронта, а затем повороту к германо-советскому пакту; и вот, два года спустя после окончания войны против Гитлера во имя демократии, Советский Союз призывает сомкнуть ряды для борьбы против империализма... Закончилась туманная идиллия времен антигитлеровской войны. Закончилась эпоха “национальных путей к социализму. Коммунистический мир составляет теперь единый блок или “лагерь”.

Сигнал был дан созданием Коминформа в сентябре 1947 года. Доклад Жданова, главного соратника Сталина, дал команду всему “социалистическому лагерю” равняться налево под более, чем когда-либо, абсолютным руководством Советского Союза, которому угрожает империалистическая агрессия<sup>11</sup>. Одного участия коммунистических партий в правительствах было недостаточно, чтобы эти правительства были признаны подлинно “демократическими”. Им еще нужно было опираться на “рабочий класс”, вступивший в союз с “трудящимися массами” и осуществляющий по отношению к ним свою руководящую роль: другими словами, единственное отличие от советского режима “в чистом виде” состояло в том, что допускалось существование партий-сателлитов внутри коалиции, контроль за которой находился всецело в руках коммунистов. Чтобы все стало ясно на Западе, как и на Востоке, югославской компартии было поручено проработать французскую и итальянскую компартии за то, что они слишком долго участвовали в буржуазных правительствах и позволили себя одурачить. Самая жесткая из партий социалистического лагеря должна была преподать урок Торезу и Тольятти, погрязшим в оппортунизме. Ни тот, ни другой на встречу не явились. быть может, предчувствуя неприятный момент. В маленьком польском городке Шклярска Порба, недалеко от Врошлага, с французской стороны присутствовал Жак Дюкло, принявший югославский нагоняй, поблагодаривший за него и обещавший исправиться — в соответствии с коммунистическим ритуалом. О совещании в Шклярска Порба сохранился почти стенографический отчет Эудженио Реалья<sup>12</sup>, заслуживающий

того, чтобы занять почетное место в истории коммунизма, — настолько четко в нем видны грубость и лакейство, царившие в отношениях между братскими партиями.

Было ли это возвращением к “третьему периоду”? В известном смысле, да. Текст Жданова похож на “*déjà vu*”. В нем преобладают темы угрозы империализма и опасности неизбежной войны против Советского Союза. Не ко времени были бы теоретические рассуждения о конфликтах между империалистическими странами и о возможностях маневра, возникающих в результате этого для родины социализма. Такие тонкостигодились для обоснования стратегии Народного фронта, затем они были отброшены в сентябре 1939 года, затем вновь взяты на вооружение в июне 1941. Надобность в них снова отпала, когда почти повсюду в мире началась конфронтация между двумя самыми крупными державами, одержавшими победу в 1945 году: теперь имелся только один империализм, опирающийся на экономическую и военную мощь Америки, но теряющий с каждым днем свои позиции в Европе и за ее пределами. Отсюда — возрастание его агрессивности и стремления уничтожить СССР, авангард народов. Как и в период 1927—1932 годов, борьба за мир оказывается в повестке дня, ибо она сливается с защитой СССР. Как и в ту эпоху, фашизм не ограничен одной или несколькими особо агрессивными странами. Он обнаруживается там, где готовится антисоветская война, то есть почти повсюду в капиталистическом мире: в Соединенных Штатах прежде всего, но также и в западной Европе, главным образом в Западной Германии, где затаились недобитые нацисты... Долг партий Коминформа состоит, таким образом, в том, чтобы возглавить это сражение сил света против сил мрака, в котором верность СССР должна провозглашаться *urbi et orbi*. Социал-демократы, когда они остаются враждебными коммунистам, тут же, как и раньше, попадают под подозрение в сговоре с империализмом.

Однако такая перемена фронта в международной борьбе происходит в иных обстоятельствах, чем во времена “третьего периода”. Самая кровопролитная война в истории только что закончилась, когда Жданов начал вызывать призрак третьего мирового конфликта в сопровождении атомного гриба над уничтоженной Хиросимой. Картины грядущего ужаса превосходили наихудшие воспоминания о недавнем прошлом, фантазия обгоняла питавшую ее память. В еще большей степени, чем после бойни 1914—1918 годов, страх перед войной сплачивал общими эмоциями и гражданское население, и бывших бойцов: ведь в будущей войне участь жертв уготована всем. В ней не будет места для проявлений геро-

изма и патриотизма — все будет зависеть только от технологии. Вот почему борьба за мир не сопровождалась односторонней запальчивостью, как после Версаля, она была более терпимой, но и более универсальной. Она не затрагивала прямо ни национальные чувства, ни воинскую доблесть. Она представляла широкий спектр различных политических взглядов, от безусловной поддержки Советского Союза до полной пацифистской наивности, включая разнообразные оттенки враждебности по отношению к Соединенным Штатам. Революционный активизм она подавала в обертке из добрых чувств.

По сравнению с “третьим периодом” Советский Союз был силен, по сравнению с Америкой — слаб. Используя эту двойственность, коммунистическая идея выигрывала в убедительности. Страна, ставшая ее воплощением, была первой державой в Европе и второй в мире; она пользовалась политическим влиянием, которое давала ей сила, и моральным авторитетом, который дала ей победа над Гитлером. Но за эту победу она заплатила очень дорого — и человеческими жизнями, и материальными потерями. Она должна восстанавливать свою экономику. У нее нет атомной бомбы. Так что даже те, кто не верит в реальность военной угрозы со стороны Соединенных Штатов, допускают, что Сталин действительно верит в такую угрозу, и стремятся его успокоить, уравневав своей подписью неравенство сил, расцениваемое как опасное для мира. Коммунизм любят за его силу и одновременно за его слабость. Такое смешение образов и чувств, столь очевидно проявляющееся у элит колониальных стран, не чуждо и общественному мнению западной Европы. В политике демократов опасение и сочувствие уживаются лучше, чем многие думают.

Таким образом, условия, в которых происходил поворот 1947 года, мешали ему стать простым возвратом к коммунизму ранней сталинской поры. Речь идет скорее о возрождении духа “социализма в одной стране”, распространенного на большевизм в нескольких странах; подтверждается интернациональный и одновременно сверхцентрализованный характер движения, как никогда сплоченного вокруг советского бастиона, в тесной зависимости от которого находятся страны “народной демократии”; повторяются тезисы об обострении классовой борьбы как внутри, так и вовне, о революционной бдительности перед лицом “заговора” империализма, об особом значении борьбы за предотвращение антисоветской войны. Все эти лозунги, которые в 1930 году соответствовали представлению об СССР как об осажденной крепости, в 1947 году оказались проникнуты торжествующим оптимизмом, как если бы они утратили свой экстремистский характер и стали прямым продолжением демократической традиции. По этому признаку мы мо-

жем судить, что коммунизм достиг, если перефразировать Ленина, своей *высшей* стадии. Высшей не значит последней, поскольку предстояли еще и другие. Прилагательное означает, что советская система достигла своей “тоталитарной зрелости”: над советскими гражданами она обладала таким контролем, которому по совершенству не было прецедентов в истории человечества; географически она простиралась от европейских стран далеко на восток, где вскоре ей предстояло включить в свою орбиту Китай: ее воплощением служила фигура вождя, которому поклонялись как полководцу, как философу и как государственному деятелю; ее авторитет почти повсюду в мире мог сравниться только с религиозным культом. Таков был зловещий мир коммунизма, вызывавший, тем не менее, у многих восхищение и зависть; доклад Жданова 1947 года явился его апофеозом: здесь были собраны в один букет все главные мотивы коммунистического репертуара.

Однако то, что было в нем провозглашено, оказалось под вопросом уже в следующем году в результате югославского кризиса.

Важность югославского разрыва с СССР в 1948 году связана не столько с тем, что он изменил международное соотношение сил, сколько с его символическим значением. Сам по себе он не имел военных последствий: Югославия, представлявшая собой мозаику малых наций, не принадлежала к числу значительных государств. Но, отказавшись подчиниться сталинскому порядку, Тито впервые в истории произвел раскол в коммунизме по национальному признаку. До сих пор в коммунистическом движении было много еретиков; они появлялись вновь и вновь, из поколения в поколение: это соответствовало той роли, которую играла в нем идеология. Но в случае с Тито ересь захватила не только целую партию, но и целое государство. Если бы речь шла только о партии, то ее можно было бы привести к покорности, истребив ее руководящие кадры, как это произошло с польской компартией в 1938 году. Но чтобы привести к покорности государство, потребовалась бы война: такова цена, которую СССР пришлось бы заплатить за желание быть империей.

Сталин ошибся, недооценив способность югославской партии противостоять его давлению. Конфликт разгорелся из-за его попыток внедрить своих людей не только в партию, но и в армию, администрацию, органы безопасности. Это была старая техника, проверенная везде в странах-сателлитах и завершавшаяся воцарением на местах советских советников. Тито возражал, отказываясь уступить и пошел на риск публичного разрыва, которому была придана идеологическая форма в пространной “Резолюции” Коминформа в июне 1948 года.

Человек, который был осужден за “националистический уклон”, чтобы затем быть объявленным империалистическим агентом и фашистским преступником, являлся самым знаменитым в Европе коммунистическим вождем после Сталина. Он руководил партизанской войной против Гитлера во главе настоящей армии. Старый коминтерновец, ставший одним из выдающихся деятелей второй мировой войны, он проявил себя также как ревностный помощник Сталина в распространении советского влияния в Европе. Советский Союз поддерживал и упорно отстаивал его претензии на Каринтию и Триест. Может быть, именно эта чрезмерная популярность Тито насторожила Сталина. Возможно также, что дерзость югославского лидера имела тот же источник. Как бы то ни было, но энциклика Коминформа придала Тито дополнительный блеск на международной сцене. Уже знаменитый как коммунистический руководитель, военный, а затем гражданский вождь новой Югославии, он присоединил теперь к своим прошлым заслугам славу независимого коммунистического лидера, превратив свой разрыв с советским лагерем в дополнительный источник силы.

И здесь начинается новая фаза в истории коммунизма. Советская империя, едва успев оформиться, переживает первый раскол, весьма ограниченный географически, но чрезвычайно существенный политически, поскольку его неизбежным следствием стало идеологическое противостояние. Подвергнутый отлучению, Тито должен был опровергать выдвинутые против него обвинения и одновременно возвращать своим прокурорам обвинения в ереси. Он расширил до государственных масштабов схему разрыва, который на протяжении четверти века многие активисты коммунистического движения проделали в индивидуальном порядке: переход от беспредельной преданности ко все более категорическому неприятию господствующей Церкви, но при сохранении с ней *lingua communis*\*. Его к этому вынуждала почти истерическая резкость нападок, а также неоформленная поддержка новых поклонников, которую он чувствовал вокруг себя, не говоря уже о необходимости завоевывать новых союзников. Так, скорее ходом вещей, чем умыслом людей, сформировался новый территориальный полюс коммунизма: по идеям и языку он был достаточно близок к старому, чтобы служить ему заменой, и достаточно далек от него, чтобы привлечь всех отставших сторонников коммунистической революции.

У Тито будет много подражателей, так что антисоветские высказывания на советском языке составят отдельный жанр в репертуа-

\* Общего языка (лат.). — Прим. пер.

ре революционной страсти: Мао Цзэдун окажется самым знаменитым, но он будет не одинок; даже крохотная Албания Энвера Ходжи противопоставит себя Москве, претендуя на то, чтобы быть европейским центром марксизма-ленинизма. Так, начиная с 1948 года, коммунистическая идея перестала иметь единое отечество, локализуясь в разных местах за пределами Советского Союза. Там, куда ее забросили исторические условия, — и прежде всего в Югославии, — она разделяет судьбу мессианских идей, связавших себя с определенной страной и определенным режимом; ее существование по необходимости оказывается более эфемерным, чем существование советской мифологии, ответвлением которой она является, поскольку у нее нет ни прав старшинства, ни авторитета силы, ни достаточных пропагандистских возможностей.

Но зато в течение короткого времени она имеет преимущество свежести. За Югославией Тито не тянется шлейф драматических воспоминаний, как за историей Советского Союза до 1941 года. Югославия родилась в огне антифашистской войны, которую вела против вермахта героическая армия партизан, родилась в результате сочетания национальной идеи и идеи революции; она была идеальным символом коммунизма, возродившегося в борьбе с нацизмом, что позволяло ей опираться на традицию, не неся ответственности за ее издержки. Югославский раскол давал, таким образом, прибежище всем, чья революционная страсть была обманута сталинизмом. Ностальгирующие ленинцы, многие из бывших сторонников Троцкого, другие разочаровавшиеся в Советском Союзе обрели почву, которой им так не хватало для воплощения революционной идеи, витавшей в атмосфере эпохи. Югославия была достаточно экзотической страной, что облегчало работу воображения: после России времен Октябрьской революции многострадальные Балканы были теперь объявлены авангардом европейского общества.

Однако возможности раскола были ограничены не только слабостью его базы, но и яростным сопротивлением господствующей Церкви, которая, почувствовав угрозу, защищалась когтями и зубами. Сегодня трудно даже представить себе, с каким яростным ожесточением партии Коминформа накинудись на раскольников, стремясь их уничтожить, но лишь помогая оформлению того, что именовалось “титизмом”. Против Тито снова пошли в ход абсурдные обвинения, которые Коминтерн некогда выдвигал против Троцкого, еще до того как последний был убит по приказу Сталина в Мехико в 1940 году. Как и Тито, Троцкий в свое время бросил вызов не столько советскому режиму, сколько его вождю, затронув тем самым нечто большее, чем сам режим, — его легитимность в мировой истории в лице его единственного полномочного ин-

терпретатора. А потому он был тут же обвинен в контрреволюционности, пособничестве нацистам, вечной вражде к СССР. У Тито не было интеллектуальных талантов Троцкого, хотя он тоже пользовался славой великого военачальника. Но за ним стояло целое государство, что придавало его вызову совсем другое значение. Великий изгнанник большевизма сумел привлечь к себе лишь маленькие группки, рассеянные по миру. Хорватский маршал использовал в споре гораздо более крупные силы и пропагандистские средства.

Характерно, однако, что ему не удалось ни подорвать единство коммунистического мира и его Империи, ни нанести серьезного ущерба идеологическому авторитету Сталина. Сколько Тито ни напирал на свою верность марксизму-ленинизму-сталинизму, как ни ускорял темп коллективизации сельского хозяйства внутри страны, как ни дистанцировался от Запада<sup>15</sup>, СССР и его сателлиты все равно относились к нему как к зачумленному, так что вскоре его фигура станет центром, вокруг которого будут организованы процессы над “предателями”, проникшими в ряды восточноевропейских компартий, подобно тому как до войны такие же процессы были организованы в Москве вокруг фигуры Троцкого. Менее года спустя после осуждения Тито Коминформом процесс над Райком в Будапеште стал, как пишет Ференц Фейто, “всего лишь эрзацем несостоявшегося белградского процесса: Райк на нем был не столько подсудимым, сколько свидетелем обвинения против Тито”<sup>16</sup>. И вот уже белградский раскольник стал преступником, заклеянным в этом качестве своими “сообщниками” из соседних стран.

Остается констатировать, что Тито, если он и не может победить Сталина на почве марксизма-ленинизма, где ему приходится сражаться на территории всемогущего в ту эпоху противника, все же ставит перед Сталиным вопрос, который нельзя разрешить репрессиями и террором: вопрос о бунте национальных государств внутри советской империи. В конце войны Советский Союз выступал как друг малых наций, которые он освобождал от угнетения. И нигде этот образ не был столь отчетливым, как в Белграде, в сердце Сербии, всегда по традиции обращенной к старшему русскому брату, в ее столице, освобожденной сражавшимися плечом к плечу частями Красной Армии и партизанскими формированиями Тито. Но именно здесь, менее четырех лет спустя, разгорелась первая ссора между вчерашними союзниками; именно здесь новый вождь Югославии, старый сталинец, основатель чрезвычайно репрессивного режима, пошел на риск разрыва с Москвой во имя национальной независимости. В данном случае не так уж важно, что государство, интересы которого он защищал от русских, было

государством федеральным, включавшим в себя несколько малых наций. Главная идея, руководившая Тито в его беспрецедентных действиях, состояла не в усилении многонациональной демократии, а в утверждении автономии югославского государства как такового по отношению к Советскому Союзу.

Таким образом, вопрос, поставленный Тито в 1948 году, только одной стороной был связан с отстаиванием национальной независимости. За ним скрывалось требование политической автономии по отношению к Москве со стороны новых коммунистических государств восточной Европы, образовавшихся непосредственно после войны. То, что стремление к политической автономии сопровождалось попытками надавить на национальные чувства, было вполне естественно: несколько лет спустя эта взаимозависимость проявится в таких унитарных государствах, как Польша и Венгрия, с еще большей отчетливостью, чем в федеративной Югославии. Но ссора Тито с Москвой показала, что суть разногласий касалась не столько свободы наций, сколько свободы государственных структур внутри каждой из этих стран, то есть свободы местных компартий по отношению к старшему брату — СССР. В этом смысле югославский раскол явился подтверждением от противного интернациональной природы коммунистического движения, централизованно руководимого из Москвы. Но ничего не изменилось в природе коммунистической диктатуры в Югославии: Тито по-своему строил “социализм в одной стране”, более, чем когда-либо, верный заповедям марксизма-ленинизма. Советская империя недолго просуществовала в размерах, которые она имела в 1946—1948 годах; но и отпочковавшись от нее, ее верные порождения продолжали говорить на ее языке. Сила идеологии такова, что даже центробежные элементы продолжают звать к единству.

Отсюда — судебные процессы, призванные снять двойственность. И снова, уже в который раз, их целью было не столько обнаружить заговоры американского империализма, сколько разоблачить коммунистов, ставших его пособниками. Захватив в свою орбиту нации за пределами российского пространства, окруженная вассальными республиками, Октябрьская революция продолжала следовать закону, который управлял всем ее развитием: она продолжала пожирать своих детей. Правда, пожирала она не только их. Экспортируя свой дух и свои карательные методы в соседние страны, она начинала с истребления “классовых врагов”. Эти страны еще считались демократиями, только что освобожденными от фашизма, но в них уже шли экспроприация, запугивание, аресты сторонников старого социального и политического режима, оставшихся за рамками “Национальных фронтов”. Процесс и казнь болгарского крестьянского лидера Николы Петкова (сентябрь

1947) стали кульминационным эпизодом этих расправ. Но едва эти “народные демократии” перешли в 1947—1948 годах под явный и прямой контроль местных коммунистических партий, как сразу стали восприниматься в качестве потенциальной опасности со стороны Сталина, этого гения подозрительности: ведь югославский пример мог подвигнуть их к отстаиванию самостоятельности. Поэтому, как после убийства Кирова в 1934 году, он развязал организованный террор под лозунгом “революционной бдительности”.

По правде говоря, Сталину и не требовалось никакого предложения, чтобы продолжать держать Советский Союз в железном кулаке: по новейшим данным, которыми мы располагаем на сегодняшний день<sup>17</sup>, население ГУЛага, уменьшившееся между 1941 и 1946 годом, снова стало расти после войны, чтобы превзойти в 1952—1953 годах уровень 1939—1940 года. Но если репрессии и усилились, они уже не имели того театрального вида, который придавали им до войны московские процессы: теперь они носили ужасно буднично-характер и тщательно скрывались от посторонних глаз, окружались гробовым молчанием. Зато театр террора переместился на запад, как будто для того, чтобы поддержать пока еще слабые ростки советской системы в центре Европы: именно такую цель преследовал процесс над Райком, во всем, вплоть до реплик, следовавший московским образцам. Разница состоит в распределении ролей. Роль гестапо теперь отдана ЦРУ, роль Троцкого — Тито, роль старых большевиков — Райку и его “сообщникам”.

Разоблачая югославского руководителя, этот процесс одновременно стал ярким свидетельством советизации стран-сателлитов. Сломив “буржуазную” оппозицию, Сталин приступил к чисткам в коммунистических партиях: со времен Коминтерна такой процесс назывался “большевизацией” и имел целью полное подчинение этих партий воле московского вождя. Отныне ни один из местных вождей не мог чувствовать себя в безопасности; ни один не мог себе позволить, пусть даже в минимальной степени, пойти навстречу национальным чувствам своего народа. Осуществленный Тито раскол, родившийся из сопротивления советскому давлению, только ускорила процесс советизации “социалистического лагеря”. Сталин не стал обсуждать возникшую проблему, — он ограничился тем, что утопил ее в “большевистской” ортодоксальности.

Но тем самым он только усугубил проблему. Советский Союз, который столько хвалили за то, что он разрешил национальный вопрос, столкнулся с ним за пределами своих границ. Советскому режиму без особого труда удалось подчинить народы бывшей царской империи коммунистическому тоталитаризму. Но в центральной и восточной Европе он столкнулся с иными типами общест-

ва, гордыми своей принадлежностью к Европе и не скованными традицией подчинения московским чиновникам: ни в Варшаве, ни в Будапеште Россия не выступала в качестве носителя цивилизации. Этим народам, очень часто с несчастной исторической судьбой, освобожденным, потом снова покоренным и потому особенно сильно тоскующим о прошлому, Россия не могла предложить ничего, кроме коммунистической идеи. Эта идея, омоложенная благодаря войне и неопределенная в том, что касается будущего, еще могла сохранять в момент освобождения кое-какую привлекательность: снова, уже в который раз, ее эфемерная сила возникала из отрицания фашизма. Но прошло несколько лет, и она оказалась подчиненной мрачной логике советизации — подавлению гражданских свобод и установлению диктата Москвы.

Коммунистической идее, не способной утвердить себя в качестве защитницы свободы, оставалось только вступить в союз с национальными чувствами. Но к 1948—1950 годам кредит доверия, который она получила благодаря общей ненависти к Германии, оказался исчерпанным. Советская пропаганда на разные лады твердила о реваншистах, которые, если ей верить, кишмя кишели в Западной Германии. Однако время, когда антигерманизм помогал терпеть или даже любить присутствие советских войск на своей территории, быстро отошло в прошлое. С одной стороны, ссылки на неонацистскую Германию, подталкиваемую Пентагоном к войне с Советским Союзом, были не слишком убедительны. Но главное, стало ясно, что задача Красной Армии состояла не в том, чтобы защищать малые нации восточно европейских стран, а в том, чтобы превратить эти страны в коммунистический оплот СССР. Уже не достаточно, чтобы они были “друзьями Советского Союза” и безоговорочно подчинялись ему. Надо, чтобы в них были точно такие же режимы, такие же политические институты и такие же лозунги для маскировки их природы. “Коммунизм в одной стране” способен экспортировать за рубеж только самого себя. Водрузив свое знамя над мозаикой стран, отделяющих его от Запада, он не желал считаться с разнообразием их традиций. Он заставлял их, страну за страной<sup>18</sup>, перестраиваться по его образцу, добавляя к национальному угнетению обязанность поклоняться угнетателю. Феномен колониального порабощения повторился, только в перевернутом виде: теперь “восточная” власть с центром в Москве подчинила себе часть Европы, вплоть до земель, ранее входивших в почтенную Австро-Венгерскую империю. Такая смена полюсов показывает, сколь велика была ломка, связанная с новым разделом Европы.

Так коммунистическое движение, после многих перипетий, опять столкнулось в новой форме со своим старшим соперником

в борьбе за сознание народов — с национальным чувством. Конфликт между революционной страстью и национальными чувствами обозначился с начала века и в течение долгого времени после окончания первой мировой войны оставался сильнейшим стимулятором политических баталий в Европе. Но сталинизм и нацизм исказили суть конфликта. Первый подчинил рабочий интернационализм безоговорочной защите советского режима. Второй обесчестил национальную страсть, замешав ее на расовом превосходстве. Вторая мировая война сначала взорвалась на этих дрожжах, а затем обрела в сочетании антифашистских идей свой смысл и значение. Но едва победа была одержана, обнаружилась лживость всего этого случайного конгломерата противоречивых идей: соединение сталинизма и независимости наций не пережило возвышения Советского Союза в ранг мировой сверхдержавы. СССР стал обращаться со странами, попавшими в его орбиту, так же, как Коминтерн обращался с подчиненными ему партиями. Правда, эти последние подчинялись диктату по добровольному рабскому выбору. А Польша или Румыния не имели возможности после войны самим определить свою национальную судьбу.

На таком общем фоне разворачивались все политические и юридические “дела”<sup>19</sup>, в которых тайно или явно сталкивались правительства народных демократий с их советским “покровителем”. Эти столкновения производят грустное впечатление, потому что заранее известно, кто из противников обречен на поражение: Тито являет собой исключение, которое подтверждает правило<sup>20</sup>. Во всех остальных случаях золотое правило безоговорочной солидарности с СССР соблюдалось, как и раньше, ставшими во главе государств партийцами, большинство из которых находились во время войны в Москве. “Соблюдалось” — это еще слабо сказано. Оно было таким основополагающим, столь глубоко усвоенным, что превратилось в универсальный критерий, ссылки на который было достаточно для любой чистки, для организации любого процесса. Именно в этот период можно было оценить, до какой степени аппаратчики, сформированные в школе Коминтерна, были необходимы теперь, десять или двадцать лет спустя, для проведения политики Коминформа. Точные обстоятельства, предшествовавшие этим внутренним кризисам, еще очень мало известны, но во всяком случае ясно, что все они так или иначе были связаны с советскими государственными интересами, то есть с внешней политикой СССР. Им на службу было поставлено все, вплоть до антисемитизма — в виде обвинений в международном сионизме во время процесса Сланского в последние годы Сталина<sup>21</sup>: как будто диктатор, прежде чем умереть, готов был воспроизвести под сурдинку мотив величайшей трагедии века.

Однако ни насилия, ни взятие заложников, ни чистки, ни процессы уже не могли загладить дело Тито. Расширившись и захватив многие нации, коммунистическое движение столкнулось с им же возвращенными иллюзиями относительно своей универсальности. Оно подставило зеркало, в котором отразилась его собственная ложь. Дело не только в том, что идеология обслуживала и покрывала господство нового русского империализма; само это господство, пришедшее на смену рухнувшим старым режимам, несло с собой еще худшее рабство. Интернационализм был маской силы, "народная" демократия — маской тоталитаризма. Неустойчивость системы была связана именно с этими двумя различными и одновременно взаимосвязанными констатациями: первая влекла за собой вторую.

Выступив против Сталина, Тито вскоре был вынужден придумать свой собственный коммунизм. Ибо такова логика национального бунта, когда его поднимают старые коминтерновцы: он обязательно принимает идеологическую форму и превращается в "ревизионизм".

В момент, когда Тито разорвал покров коммунистической универсальности, противостояние двух бывших союзников привело к тому, что началось переосмысление идеологического наследия минувшей войны. Гитлер и Муссолини были уничтожены, и вот на европейской политической сцене обнаружилось существование двух лагерей. Жданов сказал об этом, но до него это сделали Черчилль и Трумэн.

Почти автоматическим следствием исчезновения фашизма стало упрощение в соотношении политических сил. Вскоре остались лишь враждующие пары: капитализм и социализм, либеральная демократия и демократия "народная", а в реальном воплощении — Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Ибо современные политические идеологии, будучи религиями имманентности, имеют и свои страны избрания. Эти страны соотношением своего могущества поддерживают столкновение идей.

Надо признать, что антифашизм пережил и смерть Гитлера, и конец нацистской Германии. СССР — а вслед за ним и Коминформ — сделали антифашизм центром своей пропаганды и как бы продолжением войны иными средствами. Но постоянное напоминание об этой уже исчезнувшей опасности не шло ни в какое сравнение с настоящей демократической охранной грамотой, каковой в свое время были жертвы и победы Красной Армии. Сам термин "антифашизм" обесценился от слишком поспешного и повсеместного употребления. Он сохранял действенность, пока был связан с недавними воспоминаниями и породившими его событиями.

ями, — оторванный от них, он терял убедительность. Демонизировать новых врагов было не так-то легко. Нацисты и коллаборанты были расстреляны или посажены в тюрьму. Коммунистическая идея, в значительной степени лишенная прежней аргументации и в свою поддержку, должна была представить настоящие доказательства своей действенности: уже не только советский режим как таковой, возвеличенный победой, но и достижения восточноевропейских стран после этой победы. Советский Союз, распространившийся на запад, окруживший себя поясом стран-сателлитов, вошел через посредство этих стран в непосредственное соприкосновение с западной Европой. Он стал более сильным, более видимым, более близким. Но благодаря этому — и более уязвимым.

Этим я не хочу сказать, что СССР стал более уязвим для силового воздействия, хотя до 1951 года у него не было атомной бомбы. Ибо я сознательно оставляю сейчас в стороне историю начала холодной войны, чтобы сосредоточить внимание на вопросе о том, как отразилась холодная война на коммунистической идее, которой СССР продолжал размахивать, как знаменем. Что в наш век, преклонявшийся перед историей, чистая и выставляемая напоказ сила являлась сильным козырем для этой идеи, — никогда не было столь очевидно, как в этот период. Но эта зависимость от силы была одновременно и слабостью коммунистической идеи: ей приходилось расплачиваться за узко инструментальное ее использование. Распространенная силой оружия, могла ли она сохранить свою универсальность именно как идея? Раскол, произведенный Тито внутри “социалистического лагеря”, показал уместность такого вопроса. Но какой ответ давали на него вовне, то есть на Западе?

Там эта идея не подвергалась проверке советизацией. Сделаем исключение для Западной Германии, ставшей после 1949 года Федеративной Республикой: туда переселились миллионы немцев, бежавших от советского наступления или изгнанных с земель, отошедших к Польше, Чехословакии или Венгрии, и там не нужно было ничего объяснять относительно жестокостей Красной армии и чрезвычайной германофобии, задававшей тон в новых государствах “народной демократии”. Разгромленная, сорванная с привычного места, чувствующая себя виноватой, немецкая нация демонстрировала свою враждебность к коммунизму в ходе периодических голосований и в молчании своей изоляции. А зрелище полицейской диктатуры, установившейся в бывшей советской зоне оккупации, день ото дня усиливало эти чувства.

Во всей остальной Европе, напротив, Красная Армия славилась только своими отдаленными победами. Коммунистический

мир стал близким географически, но оставался предметом косвенного знания, сложившегося под влиянием благожелательных чувств, вызванных победой над Гитлером. Но очень быстро и Черчилль, и де Голль, каждый на свой лад и в своих обстоятельствах, начали борьбу с такой предвзятостью западного общественного мнения. Уже осенью 1944 года Черчилль понял на примере Польши, что у него нет возможности помешать намерению Сталина оприходовать восточную Европу<sup>22</sup>; что третья война началась еще до окончания второй. В это же время во Франции де Голль должен был усмирить ФКП, чтобы восстановить демократический режим; коммунисты отыграются в январе 1946 года, вынудив его уйти в отставку, но их собственное время будет уже упущено. В последующие годы эти два самые выдающиеся антифашисты Европы станут во главе борьбы против советской угрозы в послевоенном мире.

Они обозначили начало того, что станет содержанием западноевропейской политики на протяжении почти полувека; речь шла не о каком-то случайном повороте, но о глубокой, почти органической реакции западных обществ с целью защитить свою независимость и свой образ жизни в двухмерном пространстве международной политики. Эта реакция была окрашена горечью, ибо сопровождалась констатацией зависимости от Соединенных Штатов Америки; однако ситуация облегчалась тем, что речь шла лишь об ограниченной финансовой или военной помощи. Англия вышла ослабленной из войны, в которой она была самой давней участницей; у Франции и Италии после войны не было армий, способных соперничать с армией СССР. Гарантией равновесия сил в Европе оставались американские войска в Германии.

Тем не менее, если западная Европа вошла в американскую орбиту в силу объективной ситуации, то сделала она это по собственному выбору. Даже в таких странах, как Франция или Италия, где имелись мощные компартии, выборы никогда не оставляли на этот счет ни малейших сомнений. Консервативные партии получали там поддержку социалистов, и наоборот, чтобы поддержать в качестве большинства политику "атлантизма". Эттли сменил Черчилля в Потсдаме<sup>23</sup> в качестве верного наследника его враждебности к СССР. Именно в это время Леон Блюм придумал, применительно к ФКП, формулу "иностранная националистическая партия"<sup>24</sup>. Старые западные демократии были все еще живы, хотя их существование в ту эпоху было окрашено грустью увядания. Присутствие американских войск в Европе после того, как они освободили Италию и Францию, придавало особый характер происходившим тогда идеологическим баталиям: если до войны главными мишенями коммунистической пропаганды были либо

парламентские демократии в Лондоне и Париже, либо фашистские государства, то теперь главный удар был направлен против Соединенных Штатов Америки. Буржуазная Европа потеряла главенствующее место также и в качестве противника.

Для того, кто хочет понять специфические особенности идеологической полемики в эту эпоху, лучше всего обратиться к Франции. Именно здесь, десять или пятнадцать лет тому назад, коммунизм, впервые на Западе, выступил в качестве победоносной силы — инициатора и руководителя Народного фронта. Здесь же он сумел загладить ужасные двадцать месяцев германо-советского союза своим участием во внутреннем Сопротивлении, так что во время освобождения страны в течение нескольких недель мог выступать в качестве соперника де Голля, прежде чем стать на несколько месяцев его вынужденным союзником. Короче, французская коммунистическая партия, едва ли не самая сталинистская, обладала не только солидной классовой опорой, — у нее была внешне благополучная история борца за национальную свободу. 1936 и 1945—1946 годы обозначали славные страницы ее истории и одновременно — крупнейшие электоральные победы.

Но вот в 1947 году она оказалась в новой ситуации. Изгнанная из правительства<sup>25</sup> социалистами, вынужденная несколько месяцев спустя по требованию Коминформа занять более жесткую позицию, ФКП была втянута в логику развития холодной войны: она должна была снова подчеркивать свои революционные цели в момент, когда общая ситуация заранее обрекала на неудачу всякую “революцию” в советском смысле слова. Сталин переваривал — с трудом — то, что ему удалось заглотить, а западная Европа все теснее примыкала к Америке. В конце концов, даже и во Франции ситуация была противоположной 1936 году: радикалы и социалисты, правда, менее многочисленные, чем в эпоху Народного фронта, теперь поддерживали центр, и даже правый центр, во имя внешней политики, направленной на защиту свободы. Объединившись со всеми левыми силами в единый Народный фронт, ФКП в то время сумела отвести угрозу фашизма и открыть путь к социальному прогрессу. Теперь, после 1947 года, оказавшись в изоляции на политической сцене, она сражалась против демократических правительств, состоявших в основном из бывших участников антифашистского сопротивления, обвиняя их в том, будто они вместе с де Голлем (превратившемся в “неофашиста”) помогают американцам готовить новую войну против СССР. Она не выдвигала никаких альтернативных идей, ограничиваясь тем, что блокировала своей негативной позицией нормальный процесс чередования у власти правого и левого крыла. То был возврат к коммунизму, который предшествовал периоду “антифашизма”, но с опорой на победу над

фашизмом. Это была большая бесполезная сила, которая, как могло показаться, слишком обуржуазилась для возобновления революционной жестикюляции, но которая в действительности сохраняла верность своим истокам и к тому же направлялась все теми же людьми, сформировавшимися во время “третьего периода”, демонстрируя лишний раз экстраординарный характер движения, объединявшего разные партии, ставшие столь массивными, но при этом столь гибко следовавшие международной стратегии.

Если для западных компартий, оказавшихся в окружении враждебных им сил, начинался этап оборонительных сражений, то начался он в момент, когда эти партии были на пике своего влияния. Не имея мощных политических союзников, они могли претендовать лишь на роль второстепенных персонажей и были не в состоянии изменить границы, проходившие между двумя лагерями, участвовавшими в холодной войне. Но их вес в общественном мнении был по-прежнему велик, и они делали все для удержания своего влияния. Благодаря участию интеллектуалов коммунистическая идея продолжала разгораться на западе Европы, в то время как на востоке происходило ее угасание: здесь она черпала силы даже в неудачах, там — становилась жертвой своей победы. История еще раз продемонстрировала ее полиморфную природу.

Этот феномен имел место во всей Западной Европе. Но особенно отчетливо он проявился во Франции и Италии, где наличие мощных рабочих партий давало философствующим интеллектуалам чувство, что они находятся на стороне народа. Вышеназванные партии бессовестно и безгранично злоупотребляли этим чувством, используя тщеславие и беспокойство, свойственные специалистам по духовным ценностям. Тщеславие получает удовлетворение в признании воображаемой толпы, документально подтвержденном представителями “рабочего класса” в качестве приговора истории, а беспокойство находит выход в стремлении к служению. Профессор-коммунист из Оксфорда или Кембриджа следовал тому же историческому движению, что и его французский или итальянский коллега, но, за неимением большой “революционной” партии, не чувствовал психологической поддержки. Впрочем, он, быть может, не так в ней и нуждался: он был сыном победоносной войны, ему не довелось пережить ни диктатуру Муссолини, ни разгром июня 1940 года, ни правление Виши. Итальянским и французским интеллигентам коммунистические партии, купно с левонастроенными народными массами, давали чувство реванша за трагедии вчерашнего дня.

Более того. Через посредство войны и сопротивления коммунистическая идея, в форме антифашизма, влилась торжествующей

нотой в национальную демократическую традицию. В самом деле, если представлять себе национальную историю как единоборство между сторонниками вышеназванной традиции и ее противниками, то родословная антифашизма может быть возведена к Французской революции и Рисорджименто; при этом оба эти события необходимо рассматривать в их внутренней противоречивости, поскольку в них уже проявилась трусость либеральной буржуазии, готовой тут же отказаться от смысла своей борьбы. Во Франции конца XVIII века буржуазия оказалась вынужденной пойти на союз с народными классами, но вскоре разорвала этот союз, гильотинировав Робеспьера и открыв путь сначала термидорианской коррупции, а затем наполеоновскому деспотизму. В Италии середины XIX века она отказалась от компромисса с земельной аристократией Юга и пьемонтской монархией и предпочла борьбу за освобождение народа и нации. Но, будучи классом, лишенным энергии и всегда готовым предать свободу во имя порядка, она капитулировала в XX веке перед фашизмом. Она поддержала Муссолини в Италии, Петена во Франции. Отныне только “рабочий класс” в состоянии взять в свои руки будущее нации. Такая цепь абстракций, подменяющая реальные действия субъектов истории, придает благородство и закономерность “пролетарскому” антифашизму. Она затушевывает народный и революционный характер фашизма, сводя его к тому, что было ему ненавистно, — к буржуазному миропорядку. Таким манером удается присвоить в пользу одной только “антифашистской” левой критику лживого либерализма, обличением которого на протяжении десяти или пятнадцати лет она занималась вместе со своими фашистскими противниками. История разрешила спор между претендентами на создание постиндивидуалистического социального порядка. И тут же было объявлено, что сторонниками Муссолини или Петена были исключительно буржуа, а тот, кто враждебен коммунистам, не может считаться истинным демократом и антифашистом. Когда Советский Союз был слабым, его любили за его уязвимость. Когда он стал могущественным, перед ним склонились как перед неизбежной судьбой.

С верой, на которой основывались эти рационализированные провалы памяти и стадные суждения, мы сталкивались неоднократно на протяжении этой книги: это — религия истории. В рассматриваемый период она переживала свои лучшие дни, как если бы война предоставила ей оптимальную возможность развернуться и произнести свой приговор, заранее принятый без возражений всеми воюющими сторонами. Марксизм вывел из него особую доктрину, но в той или иной форме сходные убеждения существовали почти повсюду. Одно из самых распространенных состояло в

том, что в современную эпоху мораль целиком сводится к политике, являющейся конечной инстанцией в определении добра и зла: таким образом удавалось сохранить чистую совесть и поставить мораль на службу идеологическому фанатизму. Партиец-коммунист черпает внутреннюю силу в чувстве, что, исполняя предначертания истории, он осуществляет высшую справедливость; что силу он применяет для достижения благой цели. Такая позиция вовсе не является прикрытием цинизма, но воспринимается ее сторонниками как категорический императив, направленный против “идеализма”. Она подхватывается многими интеллигентами и широкой публикой в качестве оправдания насилий и преступлений сталинского большевизма, обеляемых и даже прославляемых во имя целей, которые они якобы преследуют. Я вспоминаю, как прочел в 1947 году “Нуль и бесконечность” Кёстлера и как это чтение ни в малой степени не помешало мне чуть позже вступить в коммунистическую партию: у меня вызывало восхищение, что судья и обвиняемый соглашаются вместе служить одному делу, первый — как палач, второй — как жертва. В этой философской версии московских процессов мне нравилась поступь исторического разума, варварский культ которого Кёстлер, напротив, хотел разоблачить.

Если этот дух слепого согласия с “разумностью” всего совершившегося во многом черпал свою силу в чудовишном разгуле насилия во время войны, то питался он также и ощущением, что война не стала завершением, что она продолжается, что сила по-прежнему сохраняет свое достоинство. Холодная война не была настоящей войной, но она сохраняла ее дух, опираясь на идеологический манихейзм, в котором Москва не знала себе равных. Несомненно, именно по этой причине произошедший в 1947 году большой поворот в коммунистической политике, ставший ключевой датой в политической жизни западных демократий, не имел существенного значения для их интеллектуальной истории. Коммунистические партии уже не были вхожи в коридоры власти, но их интеллектуальное и светское воздействие не особенно изменилось. Оно оставалось очень обширным во Франции и особенно в Италии, где коммунистическая партия занимала все пространство левого спектра, во многом благодаря невольному пособничеству Пьетро Ненни, шедшего у нее на поводу. Холодная война требовала заново сформированных правительств, для которых атлантическая солидарность была законом. Но, оставив коммунистов за порогом власти, она предоставила им все привилегии оппозиции и право распоряжаться славными воспоминаниями.

Западный коммунизм перестал быть уязвимым, каким был раньше, во времена крутых поворотов Интернационала: теперь он

воплощал революцию, ставшую традицией. Вновь став движением классовой борьбы, действующим в тылу неприятеля, он в то же время не желал ничего уступать из своего демократического и национального капитала. Родившийся в огне войны 1914—1918 годов, он возрос на противостоянии ей. Вторая мировая война, напротив, служила ему опорой вплоть до момента, когда произошел раскол между победителями; ибо она была для него больше источником воспоминаний, чем указанием для будущего. “Пролетарская революция”, которая всегда была для коммунизма оправданием его существования, была отодвинута международным положением *sine die*\*, либо поставлена в зависимость от новой войны. Те революции, которые произошли на востоке Европы, убедительно подтвердили, что теперь их возможность целиком зависит от географии; все, что оставалось коммунистам на Западе, — это приукрашивать их и придумывать им почетную историческую генеалогию. Поистине, это была странная эпоха, когда пропаганда нового “антифашизма” изобретала нового Гитлера в лице Аденауэра, разоблачала американскую демократию во имя свободы и облачала советскую Империю в воспоминания революций 1848 года.

В упражнениях такого рода французские интеллектуалы прокоммунистического толка заслужили золотую пальмовую ветвь! Этому явлению посвящено слишком много книг<sup>26</sup>, чтобы их перечислять. Его основу составляла старая антилиберальная страсть, которая в разнообразных формах и в связи с весьма различными традициями проявлялась на парижской сцене в 30-е годы. Покончив с фашизмом, война оставила коммунистам монополию на этом рынке идей. Тотальная победа над фашизмом разожгла пыл правых, привлекла к ним максимальное число сочувствующих, запугала колеблющихся, а также покарала виновных. В соответствии с ролью, которую сыграл СССР, это была скорее победа антифашизма, чем демократии; так что ее можно было праздновать, не скрывая своей неприязни к либеральной демократии и сохраняя, несмотря на историческую смену лагерей, неизменный эмоциональный фон. Потому-то произошедший в 1947 году разрыв с прежними союзниками не получил особенного отражения в интеллектуальном плане: ведь для идейного конфликта, который выступил на передний план политики, не было названия в словаре антифашизма.

В эту картину французская традиция внесла специфические черты, такие, например, как привычка осмысливать политику в универсальных понятиях, видя в ней естественный путь к эманси-

\* На неопределенный срок (лат.). — Прим. пер.

пации человека. На протяжении всей своей истории российская революция не переставала ссылаться на Французскую революцию как на прецедент и подтверждение своей легитимности: таким образом доказывалась неизбежность революций вообще, поскольку даже буржуазия прибегала к ним. Причем во Французской революции выбирался лишь краткий, но показательный эпизод, служивший для Ленина моделью. Тот факт, что подобная филиация, вопреки несхожести двух событий, так долго оставалась во Франции историографической догмой, свидетельствует о крайне абстрактных представлениях французской интеллигенции о том, что же представлял из себя большевизм. 1917 год рассматривался как повторение универсализма 1789 года, и это просто чудо, что подобная идея продолжала существовать тридцать лет спустя, более сильная, чем когда-либо, как выданная авансом индальгенция для всей советской истории. С оглядкой на Французскую революцию все репрессии, совершавшиеся в советской России, списывались на необходимость защиты от врагов и, таким образом, не пятнали образ революции, благодетельной по определению. Такая концепция, столь типичная для французского революционного наследия, избавляла СССР от необходимости что-либо доказывать и во многом определяла просоветские увлечения парижан того времени.

Добавим также, что благодаря онтологической связке двух революций интеллектуалы возвращали французской нации коллективную роль, в которой ей отказывала реальная история после 1940 года. Часть из них симпатизировали правительству Виши и даже, в отдельных громких случаях, — нацистам; делали они это одни — в силу правых убеждений, другие — в силу пацифизма. Тем, кто был настроен против Гитлера (а таких становилось все больше по мере того, как определялся исход войны), голлизм часто казался подозрительным. Де Голль напоминал им образ героя, посланного судьбой, что было совершенно чуждо республиканской традиции: к генералам вообще и к данному генералу в частности они не могли отнестись как к людям демократии и социального прогресса. Даже Раймон Арон, находившийся в Лондоне с июня 1940 года, наполовину разделял это предубеждение<sup>27</sup>. А Мальро стал голлистом только после войны<sup>28</sup>. Антифашизм же, напротив, давал интеллектуалам радость встречи с национальной революционной традицией, одновременно демократической и патриотической; он позволял им чувствовать себя сидящими в первых рядах исторического театра, подобно их предкам в 1789 и 1793 годах, либо выступать в роли социальных пророков, закрепленной за ними с XVIII века. Марксизм-ленинизм, к тому же, предоставляет всем желающим теорию таких воображаемых сближений, выдавая ее за научное знание истории, доступное только ее авангарду.

Так право на совладение революционным прошлым позволяло одновременно и затушевать национальный упадок, и вернуть себе некую миссию. В этом, как мне представляется, заключена одна из главных причин притягательного воздействия Коммунистической партии на значительную часть французской интеллигенции. Это не значит, что не было других причин, более, так сказать, механических: во Франции, как и повсюду, коммунизм питался, помимо идеализма и самоослепления, присущим людям стремлением к власти, нередко сочетающимся с мазохистским преклонением перед силой. Все вышеназванное во французской культуре ярко проявилось на примере Арагона, оказавшегося одновременно и самой знаменитой жертвой, и самым законченным манипулятором. Однако сама чрезвычайная способность партии льстить и запугивать опирается на реальность иного порядка. Один и тот же фактор определял и ее силу в рассматриваемый период, и ее постепенное выхолащивание в последующие десятилетия. Партия была обладателем фирменного знака “Октябрьской революции”, что, в свою очередь, требовало универсальности революционной традиции. Сказать, что она тряслась над своим сокровищем, значит сказать слишком мало.

Пример Франции показывает, почему почти все крупные идейные дебаты послевоенного времени крутятся вокруг единственного вопроса: о природе советского режима, который коммунистическая и прогрессивная интеллигенция защищала когтями и зубами, считая его выражением сущности социалистической революции. Вопрос этот так же стар, как и СССР, новизна состояла в том, что он выдвинулся в центр спора. В годы Народного фронта и полной победы левых сил он все время присутствовал за кулисами публичной сцены, уступая главное место борьбе против Гитлера и проблеме войны и мира. После победы СССР был более антифашистским, чем когда-либо, но фашистский враг был повержен. Советский Союз был силен, как никогда, но также и более обнажен перед лицом Соединенных Штатов и Западной Европы. Даже во время антикоммунистической истерии, разжигаемой сенатором Маккарти (1950—1954), Америку Трумэна и Эйзенхауэра трудно было считать неонацистской; ее солдаты, пришедшие издалека, победили Гитлера во Франции. Что касается Западной Европы, то она восстанавливала свое богатство, без славы, но демократически, под прикрытием Соединенных Штатов и с их первоначальной помощью. В Западной Германии установился конституционный порядок. Так что, лишившись фашистского противовеса, советский режим сам оказался на передней линии и был вынужден самоутверждаться через то, что он есть, а не через то, против чего борется.

Правда, в первые годы холодной войны, до 1951—1952, когда у Советского Союза еще не было ядерного оружия, он мог маскировать свое относительное военное неравенство широкой кампанией в защиту мира, используя ее одновременно как прикрытие и как алиби: сплотившиеся вокруг “Стокгольмского воззвания” против атомной бомбы, “сторонники мира” пришли на смену “последовательным антифашистам”. Но и это новое движение, столь отличное от движения между двумя войнами, затронуло советскую проблему. После 1918 года и вплоть до 1935 пацифизм бывал просоветским только в силу случайности, потому что Советский Союз был слаб и подвергался бойкоту со стороны версальских держав. После 1945 года положение в корне изменилось: пацифизм, питавшийся критикой обширных военных программ, развернутых Америкой, казался вполне терпимым по отношению к другой сверхдержаве, политический вклад которой в международную напряженность трудно было не замечать. Ибо, даже если считать, что Сталин — не Гитлер, что в своих отношениях с капиталистическим миром он руководствуется в первую очередь недоверием и терпением, остается фактом то, что центральную и восточную Европу он посадил под замок. Нападение Северной Кореи на Южную в июне 1950 года очевидным образом опровергало даже чисто конъюнктурную приверженность советской стороны к миру.

В холодной войне — ставшей в эти годы просто войной — столкнулись две политические и социальные системы. Она довела до крайней черты идеологический характер века, разделив мир на два лагеря, заменив национальную идею, сколь бы значительной она ни оставалась, идеей империи или блока. В результате коммунистическая идея чрезвычайно распространилась, но уже не столько за счет того, против чего она сражалась, сколько сама по себе, в силу того, что создавалось во имя ее: ее мощь ощущалась во всем мире, она победила в Китае, утвердилась в Европе до Праги включительно, казалось, ей принадлежало будущее, в то время как старые европейские нации двигались к упадку. Она достигла пика своего влияния и одновременно — небывалой степени уязвимости: ее существование вступило в противоречие с ее сущностью. Французские интеллектуалы более, чем когда-либо, придавали значение сущности. Но тем самым они должны были принести присягу верности “холодной идеологии”, по выражению Костаса Папаиоанну<sup>29</sup>, признать виновными Райка и Сланского, отрицать наличие концлагерей в СССР<sup>30</sup>, клясться, что там рождается “пролетарская наука”, прославлять Сталина как гения всех времен и народов, и т.д. Наслаждение добровольным рабством находило удовлетворение во всех этих деяниях, а партия устами своих идеологов не пе-

реставала поставлять все новые возможности для подобных упражнений.

И вот между западной и восточной частями Европы возникло глубокое недоразумение, из которого мы еще не вышли до сих пор<sup>31</sup>. Коммунистическая идея находилась в зените в Риме и Париже, в то время как в Варшаве или в Будапеште она уже была всего лишь прикрытием для русского господства. Родившийся из западной философии, коммунизм воцарился в Москве. Победив в войне, он распространился до Лейпцига и Праги. На востоке Европы его идея не намного пережила его приход к власти, зато на западе она продолжала сиять за счет победы, одержанной над Гитлером и не омраченной деспотизмом, укрепившимся на Востоке от ее имени. Таким образом, железный занавес между двумя Европами, навязанный людьми и обстоятельствами, существовал также и в умах, но здесь он не соответствовал границам между коммунистическим Востоком и антикоммунистическим Западом. Ибо у народов центральной и восточной Европы кредит доверия, открытый коммунизму местными интеллигенциями, подходил к концу уже в начале 50-х годов; а в это же время на Западе подавляющее большинство интеллигентов, за которыми следовала значительная часть общественного мнения, продолжало окружать почитанием послевоенный коммунизм во имя тех идей, которые он якобы воплощал. С точки зрения Парижа, Рима или Оксфорда, универсальная действенность коммунизма не зависела от того, что происходило в Варшаве, Праге или Будапеште. К тому же, западная интеллигенция всегда тешила себя мыслью, что она находится на особом положении, поскольку принадлежит к “более универсальной” истории, чем история поляков, чехов или венгров: помимо собственного сознания она вкладывала в коммунистическую абстракцию свой старый комплекс превосходства. Хватит уже и того, что она согласилась разделить свою привилегию универсальности с эксцентрической Россией. Почему она должна давать задний ход перед поляками-националистами или венграми-реакционерами?

Оставленные на произвол Германии в 1938 году мюнхенскими соглашениями, отданные в качестве добычи СССР в 1945 по ялтинским и потсдамским соглашениям, народы центральной и восточной Европы были теперь забыты Западом до такой степени, что даже потеряли собственные имена и стали фигурировать под коллективными наименованиями, придуманными советской пропагандой: “народные демократии”, “социалистический лагерь” или же “восточноевропейские страны”. Это третье предательство не было навязано силой, как два предыдущих, но совершено под воздействием идеологического опиума. Даладье знал, что он предает

Чехословакию, а Черчилль — что предаст Польшу. Западные интеллектуалы даже не ставили перед собой такого вопроса, поскольку эти государства были для них всего лишь вехами на пути советского социализма. В своей крайней форме такое ослепление длилось недолго, но, чтобы отказаться от него окончательно, требуется длительное время.

Заняв на мировой политической сцене центральное место, холодная война мало — и уж во всяком случае, медленно — влияла на идейное наследие, которым жила европейская политика. Набравший силу в результате войны и победы, Советский Союз обрел новую притягательность, как революционное воплощение социалистического общества. Призрак Гитлера все еще служил подтверждением его демократичности. А Сталин в маршалском мундире был источником приятных воспоминаний.

В Соединенных Штатах, напротив, антисоветский поворот общественного мнения после войны был таким массовым, что он быстро привел к вспышке нетерпимости и подозрительности, которые вообще характерны для американского популизма. Рассмотрение заокеанской истории коммунистической идеи не входит в мою задачу, но поскольку эта история оказала влияние на положение в Европе, она требует некоторых комментариев.

Коммунизм никогда не пользовался влиянием в Соединенных Штатах, где население всегда было привержено свободному предпринимательству и политической свободе как его естественному дополнению. Однако в 30-е годы коммунизм и здесь дал несколько робких побегов в рамках мирозерцания добропорядочного “либерала”, или лучше сказать — “радикала”, а в европейских терминах — левого активиста. Великая депрессия сделала модной идею вмешательства государства в экономику, а приход Гитлера к власти в 1933 году снова привлек внимание к трагедиям Европы и заронил семена антифашизма. Эти две идеи лежали в основе успехов политики Рузвельта, выступившего сначала как создатель “Нового курса”, а затем — как победитель Гитлера. Но эти же идеи в какой-то мере позволили развиваться слева от “рузвельтизма” коммунистической партии численностью в несколько десятков тысяч членов, которая привлекла к себе внимание нью-йоркских интеллектуалов. Потому-то в Соединенных Штатах предвоенных лет мы находим в миниатюре сталинскую партию, монолитную, конспиративную и антифашистскую, состоящую из аппаратчиков и идеалистов, причем оба типа порой соединяются в одном лице. Влияние этой партии не выходило за пределы Нью-Йорка, узкого круга профсоюзных деятелей и представителей среднего класса — недавних эмигрантов, в основном евреев из

восточно- и средневропейских стран, — студентов, профессоров, адвокатов, профессионалов шоу-бизнеса, перенесших большевистскую мифологию в новую страну, где у нее не было собственных корней.

Заключение германо-советского пакта обрекло американскую коммунистическую партию на изоляцию тем более полную, что партия как верный солдат Коминтерна мгновенно перешла от антифашизма к обличению “империалистической войны”. Однако нападение Гитлера на СССР в июне 1941 года снова позволило ей следовать в русле рузвельтовской политики, теперь уже требуя вступления Соединенных Штатов в войну, затем еще более шумно — после того, как такое вступление произошло, — открытия “второго фронта” в Европе. Для маленькой компартии то был медовый месяц ее брака с Соединенными Штатами, ибо в этот период она извлекала силу из того, чем на самом деле не являлась: она старалась изображать левое крыло демократической партии и громче всех призывала к национальному единству. Нельзя сказать, что американское общественное мнение, даже во время войны, стало просоветским и уж тем более — прокоммунистическим. Республиканская партия, представляющая, в общем, американских правых, оставалась резко антикоммунистической: ее антикоммунизм часто помогал ей атаковать всю политику “Нового курса”, которую она представляла как союз либералов и профсоюзов с “красными”. Президентские выборы 1944 года дали повод для ожесточенных атак такого рода, направленных против Рузвельта. Однако, пока длилась война, аналогия между Гитлером и Сталиным — любимая тема американской прессы 30-х годов<sup>12</sup> — была временно отложена в сторону и заменена более оптимистическим взглядом на СССР, по крайней мере в том, что касалось будущего. Такова была логика войны, и сам Рузвельт подавал в этом отношении пример, полагая, что победа побудит Сталина либерализовать свою диктатуру. Мог ли он предположить, что вся эта кровь, пролитая в боях против гитлеровских армий, была пролита не во имя свободы?

Однако конфликт с Советским Союзом возник еще до окончания войны в связи с европейскими границами. В последние месяцы правления Рузвельта и еще более в первые месяцы президентства Трумэна высшее дипломатическое и военное руководство страны проявляло все большую обеспокоенность складывающейся ситуацией; сравнение Гитлер — Сталин возникло вновь и получило широкое распространение в последующие годы. Эта суммарная аналогия, во многом заменявшая реальное знание советского режима, которое в тот период было в Соединенных Штатах еще очень приблизительным, несла в себе определенную опасность,

так как имела тенденцию представлять Советский Союз в 1946—1947 годах таким же потенциальным агрессором, каким был Гитлер в 1938—1939: в результате раздавались призывы не повторять Мюнхен, развивался неизбежный военный психоз.

Таким образом, сразу после войны, именно в тот момент, когда американская компартия достигла своего пика — маленького пика, измеряемого сорока или пятьюдесятью тысячами членов, — почва стала уходить у нее из-под ног. Она потерпела полный провал в попытках популяризировать коммунистическую идею в американском обществе, но сыграла роль местного аккомпанемента американо-советского альянса. Резкий разрыв этого альянса подвела ее изоляции, даже со стороны левого крыла демократов. Хуже того: Сталин потребовал, чтобы американские коммунисты отреклись даже от своих недавних завоеваний. Уже весной 1945 года, устами Жака Дюкло<sup>13</sup>, он подверг критике их оппортунистическую политику по отношению к рузвельтизму и забвение принципов классовой борьбы: в списке различных уклонов появилось даже слово “браудеризм” — от имени бывшего генерального секретаря партии Эрла Браудера, исключенного в 1946 году как “социал-империалист”.

Почему Сталин выбрал маленькую американскую компартию, чтобы объявить о возобновлении “классовой борьбы” более чем за два года до создания Коминформа и полного развертывания холодной войны? Американский коммунизм не был сильным, как французский или итальянский, и не мог претендовать на власть; нечего было бояться его ослабления, поскольку он и так был слаб. Его стратегическое значение состояло в том, что он оказался в сердцевине империализма в новых исторических условиях<sup>14</sup>. Поворот “влево”, наметившийся после Ялты и превратившийся во всеобщее перестроение после 1947 года, в отношении американской компартии преследовал исключительно цели международной политики. Сама она в такой политике не участвовала ни до поворота, ни после него. Но ее главная задача состояла в том, чтобы выставить на президентских выборах 1948 года от имени управляемой ею “Прогрессивной партии” кандидатуру просоветского политика Генри Уоллеса, бывшего вице-президентом при Рузвельте в 1940—1944 годах.

Однако этот кандидат в ноябре 1948 года — в разгар Берлинского кризиса — собрал немногим более одного миллиона голосов, и новая партия в последующие годы служила всего лишь фасадом для легального прикрытия коммунистов, подвергавшихся гонениям. Ибо ей не удалось занять сколько-нибудь значительного места ни в профсоюзном движении, ни в широком демократи-

ческом общественном мнении. Несмотря на относительный успех на выборах 1948 года, ознаменовавший пик ее влияния, она оставалась “сталиноидальной” или “либерально-тоталитарной”, по определениям, которые я заимствую у одного из самых проницательных наблюдателей того времени, Дуайта Макдональда, пережившего несчастный роман с американскими крайне левыми<sup>15</sup>. Его свидетельства сохраняют интерес для историка, так как показывают, что влияние коммунизма, столь сильное в то время в Париже и Риме, действовало, хотя и в уменьшенном масштабе, также в Нью-Йорке и выражалось такими же словами. Уоллес восхищался СССР как гигантской стройкой будущего и как недавним великим союзником<sup>16</sup>. Он обвинял Трумэна в том, что тот предал этот союз и пошел по стопам нацистов, используя против коммунистов тексты и распоряжения военного времени, направленные против “пятой колонны”. Американский прогрессизм также оказался в клещах характерной для нашего века расстановки сил, упорядочившей политическое пространство между коммунизмом и фашизмом.

Но рухнет он под тяжестью другого упрощения, особенно популярного в период между 1939 и 1941 годами: согласно этому упрощенному взгляду, фашизм и коммунизм являются лишь двумя этапами единого процесса, угрожающего американской демократии и американскому народу. Гитлер побежден, но Сталин силен как никогда и особенно страшен, потому что, в отличие от Гитлера в предвоенные годы, он не встречает сопротивления своим имперским амбициям ни от кого, кроме Америки. “Красный фашизм”, если воспользоваться выражением того времени, соединяет в себе чудовишные черты побежденного фашизма со способностью проникновения, которой не обладал его предшественник. Внутри Америки у него имеется такая “пятая колонна”, действующая и публично, и подпольно, какой не было у нацизма. Слишком слабая, чтобы влиять на политическую жизнь страны, американская компартия оказалась достаточно сильна, чтобы вызвать настоящую “охоту на красных”.

Этот типично американский феномен, получивший между 1950 и 1954 годами название “маккартизма”<sup>17</sup>, от имени сенатора, выступившего в качестве великого инквизитора, имел, таким образом, свою предысторию в во время двух последних лет первого президентства Трумэна: тогда начался переход демократической партии (за нее были подавляющее большинство либерального общественного мнения, национальные меньшинства и профсоюзы) на активно антикоммунистические позиции как во внешней, так и во внутренней политике. Хотя между ними и не было явной связи,

формулирование “доктрины Трумэна” и издание декрета о “проверке лояльности” совпали по времени: оба документа появились в марте 1947 года. Второй из них положил начало процессу наступления на конституционные права американских граждан во имя защиты Конституции: все обстояло так, как будто страх перед коммунизмом вызвал в самой единодушной либеральной демократии мира идеологические страсти, похожие на те, которые воодушевляли ненавистного противника.

Маккартизм был связан в первую очередь с патологией силы. Война только что закончилась. Народы центральной и восточной Европы, с которыми многие американцы связаны своим происхождением или непосредственными воспоминаниями, оказались в советской орбите; Черчилль безуспешно пытался отстоять независимость Польши. Америка обнаружила, что в Европе и за ее пределами она одна противостоит Советскому Союзу, превратившемуся в мировую державу. Американское общественное мнение не привыкло к столь императивному вмешательству в международные дела. Его реакция на новую ситуацию была амбивалентной и чрезмерной: она состояла в страхе перед подрывной деятельностью и в вызывающей демонстрации силы.

Первое из этих чувств странным образом выражало одновременно и правильное интуитивное понимание природы врага, и превратное представление о его силе. Навязчивая идея заговора, направленного против суверенности народа, проявляется во всех кризисах современной демократии. В Америке того времени страх перед заговором не был совершенно беспочвенным, поскольку конспиративная деятельность — одна из граней коммунизма. Однако, чтобы оправдать столь бурную деятельность по общественному спасению, образ врага надо было сделать еще более устрашающим, педалируя его связи с мощным международным движением. Американские коммунисты, которых республиканцы давно уже обличали как реальных или потенциальных шпионов, после 1949 года начинают рассматриваться как враги общества, в течение многих лет тайно и явно плетущие сети антинародного заговора. В соответствии с логикой такого рода обвинений и под воздействием массового конформизма американского сознания, преследования не ограничились коммунистами, но захватили также тех, кто когда-либо, начиная с 30-х годов, примыкал к ним, слушал их или встречался с ними. Сыск и доносы охватили Америку, превратившись чуть ли не в выражение гражданской доблести.

Ибо крестовый поход против коммунизма рассматривался также как поход в защиту Добра. Соединенные Штаты Америки не похожи на другие нации, где общая история является фундаментом политического целого. Они представляют собой коллектив

эмигрантов из Европы, которые ощущают себя единой нацией благодаря идее свободы и демократии. И вот XX век превращает эту идею из древа жизни, под сенью которого до сих пор процветал американский народ, в ценность, которая поставлена под угрозу и у которой не осталось других защитников, кроме Америки. Эта страна родилась как земля, благословенная Богом. В XIX веке на нее смотрели как на рай для бедняков. Демократический мессианиззм и в религиозной, и в десакрализованной форме является составной частью ее наследия. Он придал ее походу против коммунизма судьбоносный характер. Огромная роль Америки в решении международных проблем досталась ей скорее случайно, в силу ее технических достижений, а не благодаря сознательному стремлению к господству; когда эта роль была осознана американцами, они облекли ее во второй половине века в одежды *pan americana*, расширив до мировых масштабов ценности *american way of life*\*: религию, демократию, свободное предпринимательство — перед лицом атеистического, деспотического и коллективистского коммунизма.

Маккартизм, таким образом, возобновил традицию антилиберального насилия, характерного для многих популистских движений в американской истории. Чувствуя себя носителем национальных ценностей, “народ”, охваченный страхом перед предательством элит, бросился к демагогам. Возрождались “нейтивизм”<sup>38</sup> и ксенофобия, готовность преследовать все, что не является “американским” в Америке, все, что походит на космополитизм; почти естественными жертвами этой травли оказались интеллектуалы: социальная среда бытования коммунизма и “прогрессизма” в Соединенных Штатах направляла именно против них ненависть к интеллигенции, являющуюся составной частью американского политического сознания<sup>39</sup>. Парадоксальный характер этого “страха перед красными” состоял в том, что, превращая внешнего врага во врага внутреннего, он ставил на службу внешней интервенционистской политике изоляционистскую традицию американского сознания.

Перед нами химическая реакция политических страстей, которую мы уже наблюдали на примере революционной традиции, ненависть к которой американские правые не устают провозглашать. Французская революция оправдывала террор (хотя бы отчасти<sup>40</sup>) необходимостью борьбы против опасности извне. У советской революции была мания заговоров и “империалистической” агрессии; двадцать лет спустя после Октября, во время московских про-

\* Американского образа жизни (англ.). — Прим. пер.

цессов, Сталин устроил грандиозный театральный спектакль на тему политических заговоров и продолжил свою режиссерскую деятельность после войны в Будапеште и Праге. Сенатор Маккарти пользовался теми же приемами, но в условиях демократического общества: его тирания имела временный характер. Он манипулировал действительными народными страстями, подогреваемыми дурными вестями из-за рубежа: блокадой Берлина в 1948 году, "потерей Китая"<sup>41</sup> в 1949, войной в Корее в 1950. Среди американских граждан, вопивших о предательстве, многие были националистами во внутренних делах, многие были настроены враждебно или неодобрительно по отношению к вступлению Соединенных Штатов в войну в 1940—1941 годах. Но международная ситуация навязывала им свою логику и превращала их в сторонников мировой роли Америки как сверхдержавы; здесь они оказывались в одних рядах с либералами, более просвещенными, современными, информированными, но столь же возмущенными тем, как Сталин прибрал к рукам восточную и центральную Европу, столь же обеспокоенными войной на Дальнем Востоке и поддерживавшими скорее антикоммунизм холодной войны, чем антикоммунизм "Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности"<sup>42</sup>. В таком единстве противоположностей складывалось новое представление о мировой миссии Америки, и одновременно — совместная внешняя политика двух партий. Ее наиболее полным воплощением станет Эйзенхауэр, сменивший Трумэна на посту президента: выдающийся военачальник второй мировой войны, он был призван возглавлять политику, которая вполне могла бы привести к третьему мировому конфликту. Ему удалось соединить антифашизм и антикоммунизм, приняв на себя от имени республиканцев наследие рузвельтовской внешней политики, уже преобразованное Трумэном. В изменившейся электоральной ситуации демагогу из штата Висконсин недолго удавалось сохранять влияние<sup>43</sup>: он не мог долее поддерживать истерию подозрительности, при том что своих целей в борьбе против внутреннего коммунизма он все-таки добился.

Этот эпизод, взятый в целом, лишний раз доказывает, насколько американская демократия, сотканная из тех же идей, что и демократия Западной Европы, своеобразно применяет и развивает эти идеи. Неравенство сил, возникшее между европейскими странами и Соединенными Штатами, усиливало различие в ситуациях и устремлениях. В двухполюсном мире европейские нации чувствовали себя не очень уютно: они ощущали свой упадок и не испытывали особого желания приносить человеческие и материальные жертвы, которых требовала обширная военная программа; американское покровительство позволяло им сохранять такую по-

зицию и прикрывало их поползновения возобновить политику вялого пацифизма 30-х годов. Европейское общественное мнение не было расположено принимать идею крестового похода против коммунизма во имя защиты демократии, и не только из-за еще недавней войны, но и потому, что Трумэнская Америка, казалось, подтверждала тезис об империализме как высшей стадии капитализма, неотделимой от фашистской диктатуры.

История не захотела преподнести Коминформу подарок в виде фашистской Америки: вообще, надо было быть очень невежественным в американской истории, чтобы приклеивать к маккартизму подобную этикетку. Однако американская демократия оставалась слишком капиталистической, чтобы не вызывать у европейцев постоянных подозрений в том, что словами о свободе она прикрывает власть чистогана. Американское лидерство, возникшее в силу обстоятельств, пришедших на помощь волевой установке, отрезало демократическую идею от всех возможных коммунистических трансформаций. Но тем самым она превратилась в чистую свободу, в почти религиозное утверждение индивида, отделенное от социальной сферы и уязвимое для критики с точки зрения несоответствия реальным правам формальным. Идеологический крестовый поход, предпринятый Соединенными Штатами, впервые в этом веке столкнул лоб в лоб коммунизм и демократию, но сделал это ценой такого выхолащивания демократической идеи, что Европа перестала узнавать в ней свое детище. В то время, когда американская интеллигенция в массовом порядке примкнула к антикоммунизму, большинство европейских интеллектуалов не могло взять в толк причины такого явления. В условиях, когда защиту свободы против Сталина надо было оплачивать согласием на американский культ свободного предпринимательства, могли ли они легко принять такую альтернативу? Менее накладно было занимать антиамериканскую, чем антисоветскую позицию, а еще лучше — удобно расположиться в роли критика, равно не приемлющего обоих противников. Впрочем, такое неприятие только внешне выглядело беспристрастным: ибо все дурное, что было связано с СССР, объяснялось не советской системой, а обстоятельствами, тогда как применительно к Соединенным Штатам действовала противоположная логика. Филокоммунизм периода холодной войны все менее и менее прикрывался антифашизмом. Но он по-прежнему сохранял алиби антикапитализма, для чего американская сверхдержава предоставляла ему идеальный образ.

В этом можно убедиться на примере такой инициативы, как “Конгресс в защиту свободы культуры”, прошедший во Франции, Ита-

лии и отчасти в Англии: он имел весьма слабый политический резонанс, сопровождавшийся культурным успехом впоследствии. Идея зародилась в Соединенных Штатах, где весной 1949 года, в противовес кампании “в защиту мира”, устроенной в Нью-Йорке коммунистами при участии ряда знаменитостей<sup>44</sup>, собралась группа антикоммунистически настроенных американских интеллигентов. Почти все они были “либералами” и “радикалами”, возмущенными тем, что Коминформ возобновил против Америки “антинацистскую” кампанию. Почти все ненавидели маккартизм как извращение американской демократии.

Для того, чтобы эта нью-йоркская инициатива приобрела международный характер, должны были встретиться организационный гений в лице Ирвинга Брауна и ностальгия по временам агитпропа в лице Кёстлера: вместе они составили нечто вроде покойного Мюнценберга, обратившегося против коммунизма. Речь шла о том, чтобы дать Москве крупномасштабное идейное сражение, наподобие тех мероприятий “в защиту культуры”<sup>45</sup>, которые до войны проводил Мюнценберг: лексика была почти такая же. Впрочем, и коммунисты с тех пор не потеряли форму и с начала холодной войны провели немало подобных мероприятий<sup>46</sup>.

Кёстлер служил под началом Мюнценберга. Он горел желанием повторить пройденный путь, но в противоположном направлении, во имя истины. Богемный и порывистый, он был первоклассным писателем, но слишком литературным человеком, чтобы выступать в роли пророка; тем не менее, именно он задавал тон на первом заседании Берлинского конгресса, собравшегося в западном Берлине, этом анклавном коммунистическом мире, в июне 1950 года, в первые дни Корейской войны. Среди его окружения были люди его поколения, родившиеся в начале века, тоже бывшие коммунисты, отказавшиеся от великой иллюзии и решившие, каждый по-своему, сражаться против нее: Силоне<sup>47</sup> был скорее свидетелем. Боркенау<sup>48</sup> — скорее бойцом. Никто из них не думал отречься от антифашизма, а, наоборот, все они стремились сохранить его дух в борьбе с новым врагом свободы. Вообще, собравшийся в Берлине конгресс был безупречным в этом отношении, включая в себя такие имена, как Дьюи, Кейнс, Расселл, Маритен, Кроче, Ясперс, знаменитые еще до войны. Что касается других участников, то и они принадлежали скорее к левым, чем к правым: они были либо либералами, как Арон или Тревор-Ропер, либо социал-демократами, как Карло Шмидт или Андре Филипп. В еще большей мере это относилось к американским участникам, поскольку американские левые без всяких комплексов объявляли себя враждебными и коммунизму, и маккартизму. Те, кто, подобно Джеймсу Бёрнхему, испытывали слабость к сенатору из Вис-

консина, были редкостью. Некоторые заигрывали с крайне левыми, троцкистского либо синдикалистского толка, как, например, пылкий деятель американского профсоюзного движения Ирвинг Браун, представлявший в Европе Американскую федерацию труда<sup>49</sup>. Короче, на берлинской конференции собрались все, кто испытывал особую ненависть к коммунизму, чтобы образовать боевой союз под эгидой Соединенных Штатов<sup>50</sup>.

“Конгресс в защиту свободы культуры” будет на протяжении лет пользоваться поддержкой интеллектуальных кругов в западной Европе: об этом свидетельствует деятельность таких жугов, как “Дер Монат” в Германии, “Энкаунтер” в Англии, “Прёв” в Париже. Но боевого воодушевления, которое пытались в него вдохнуть застрельщики, хватило только на время первого берлинского собрания. Ни либералы, ни социалисты не созданы для крестовых походов; лица, приглашенные Ирвингом Брауном, всегда сохраняли такую свободу действий, какой не было у сподвижников Мюнценберга. Многие из них, прежде всего Тревор-Ропер и Расселл, но также и Силоне, с недоверием относились к кёстлеровскому манихеизму. Ему не способствовал интеллектуальный климат западной Европы, а во Франции и Италии антикоммунизм прямо подозревали в профашистских устремлениях. Маккартистская Америка показала свое неприглядное лицо. Конгресс, избравший своим местом пребывания Париж и прошедший там в 1952 году блестящий музыкальный и художественный фестиваль, оказался во враждебном окружении. Ближайшим результатом его деятельности оказалось не преодоление, а углубление пропасти между Парижем и Нью-Йорком.

И все-таки главный интеллектуальный вклад в анализ коммунизма пришел в эти годы из Соединенных Штатов, но косвенным путем, — как продолжение антитоталитарного течения немецкой мысли 30-х годов, вписавшейся в послевоенный контекст: в 1951 году Ханна Арендт опубликовала свою пространную книгу о “тоталитаризме”. Немецкая еврейка, изгнанная из Германии в 1933 году, она нашла убежище во Франции, а с 1941 года — в США, где получила американское гражданство. Намеренно “современная”, порвавшая с традициями, она не считала себя ни немкой, ни еврейкой, но всеми страстями души была той и другой<sup>51</sup>. В ее натуре не было ничего более глубокого, чем ее нежные и страстные взаимоотношения с Культурой, сохраненные ею со студенческих лет, когда она изучала философию с Хайдеггером и Ясперсом<sup>52</sup>. На всю жизнь сохранит она привитое ей учителями презрение к французскому “литератору”, блестящему, талантливому, сыплющему идеями, но бездушному и равнодушному к истине. Интере-

совалась она также сионизмом, из неприязни к психологии ассимилировавшегося еврея, жаждущего приобщиться к антисемитскому обществу. Гитлер осудил ее на еврейскую судьбу: быть либо выскочкой, либо партией. Первый путь ей был отвратителен, и она избрала второй, который привел ее в богомную среду немецких эмигрантов в Париже и Нью-Йорке. Там она встретила человека своей судьбы, Генриха Блюхера, тоже парию, но пришедшего от большевизма: он был “вторым я” Брандлера, являвшегося великим побежденным немецкого Октября 1923 года.

Среди господствовавшего тогда равнодушия к несчастью евреев она выделялась страстным стремлением разделить и понять его, бороться с ним. Никогда и ни в чем она не будет умеренной. В Париже перед войной никто не хотел слушать немецких евреев из страха, как бы они не втянули Францию в войну. Ханна Арендт стала работать на сионистские организации. Но из своей первой поездки в Палестину в 1935 году она вернулась с чувством неуверенности в значении сионистского движения: она восхищалась мужеством поселенцев, но пришла в ужас от социального конформизма, царившего в киббуцах; для нее еврейский национализм оказался в том же ряду, что и ненавидимые ею национальные государства. В начале войны, в Нью-Йорке, она ратовала за создание еврейской армии, которая сражалась бы против Гитлера. При этом она проявила преданность неосуществимым идеям, которая навсегда останется ее характерной чертой: она хотела, чтобы эта армия была независима от партий и от заправил сионизма, в то время как американские евреи не могли принять этот проект без согласия американских властей, не говоря уже о враждебности, с которой такая инициатива была бы воспринята англичанами. Во всяком случае, она была одной из первых, кто поднял голос уже в начале 1943 года, чтобы привлечь внимание общественности к трагедии европейских евреев. Лучше, чем кто-либо, она понимала ужасающие, небывалые масштабы того, что происходило в Германии, чей язык и поэзия все еще жили в ее сознании: как будто апокалиптическое бедствие евреев, истребляемых народом, к которому она тоже принадлежала частью своего существа, побуждало ее стать прорицательницей судеб этого народа. Ей казалось, что она покинула Германию навсегда. Но она была ее дочерью<sup>31</sup> и осталась ее свидетельницей. И эта экзистенциальная привязанность всегда была фоном ее бурных отношений с сионизмом.

Идея книги, которая станет “Истоками тоталитаризма”, родилась именно в 1943 году как попытка осмыслить *бесполезность* истребления евреев. Сначала Арендт отнеслась с недоверием к ужасным известиям, приходившим из Европы, и только в начале 1943 года должна была признать очевидность фактов. Почему воз-

никло ее недоверие? Потому что в обычных войнах сталкиваются враги, а “это [истребление евреев] было явлением иного порядка. Это было, как будто земля разверзлась”<sup>54</sup>. Талант Арендт состоит в умении совместить текущую реальность и философию, увидеть современные события взглядом более глубоким, чем взгляд журналиста. Не ограничиваясь констатацией того факта, что гитлеровский режим ужасен и отвратителен, она поставила вопрос о его небывалом характере. Тайна нацизма связана с тем, что у него нет precedентов ни в самой истории, ни в политической типологии известных авторов. Как же его осмыслить?<sup>55</sup>

Какие бы “причины” мы ни придумали, ни одна из них не может его объяснить по определению: это значило бы свести тоталитаризм к тому, что ему предшествовало. Речь идет скорее о том, чтобы определить его “истоки”, почву, на которой развились его различные элементы. Арендт называет первого из главных виновников: национальное государство, созданное европейской историей и превращенное в фетиш начиная с XVI века. Апогей его развития во второй половине XIX века совпал с началом его патологического перерождения. Арендт нравится в американской истории то, что федеральное государство там не связано с идеей нации: во всяком случае, сама национальная идея, в том упрощенном виде, в каком она там существует, — при отсутствии настоящего национального государства и национальной традиции такого рода — позволяет осуществляться республиканской свободе. В Европе же, наоборот, с конца XIX века государства-нации сталкиваются с неразрешимыми для них проблемами: антисемитизмом, шовинистической реакцией на “еврейский вопрос” (несмотря на ассимиляцию евреев), с империализмом — националистической формой универсализации мира. Нацистское государство явилось ответом, одновременно преступным и безумным, на эти вызовы, возникшие в 80-х годах прошлого века.

Отсюда, между 1944 и 1946 годами, возникают у Ханны Арендт различные планы ее исследования, включающие в себя следующие разделы: распад национального государства — антисемитизм — империализм — расистский империализм (нацизм). Она опирается, не всегда об этом говоря, на работы других авторов, немецких эмигрантов, выступивших в качестве первых историков нацистского государства: Франка Боркенау и, в еще большей степени, Франца Неймана, книга которого “Бегемот”<sup>56</sup> появилась в 1942 году. Термин “расистский империализм” (*race-imperialism*) для определения нацизма был предложен им: его книга и до настоящего времени продолжает оставаться классическим документальным исследованием структур нацистского государства. То новое, что внесла книга Арендт в разработку предмета, связано с появлением

слова “тоталитаризм”; в последнем варианте плана, относящемся к началу 1947 года, значится: антисемитизм — империализм — тоталитаризм. Вместе со словом появляется и сопоставление, характерное для 30-х годов, но ставшее почти запретным с 1945 года, — сопоставление двух тоталитарных режимов века: нацистской Германии и Советского Союза.

Этим объясняется несвязность толстой книги, появившейся в 1951 году<sup>37</sup>. Первые две части трактуют об антисемитизме и империализме. Они были написаны — и частично опубликованы в виде статей — между 1944 и 1946 годами, в тот период, когда автор задумывала проследить истоки нацизма. Речь шла не только о немецкой истории, но в целом о Европе, где подземные сдвиги, невидимые, но мощные, привели к кризису государства-нации, создав тот фон, на котором и разразилась немецкая катастрофа. Например, современный антисемитизм, неотделимый, по мнению Арендт, от предварительной ассимиляции евреев в рамках выше-названного государства-нации, проявился прежде всего в Германии и Франции XIX века. Империализм, связанный с алчным стремлением буржуазии к экспансии и ведущий к откровенному господству человека над человеком, при отсутствии сколько-нибудь определенного политического статуса, — это в первую очередь европейский феномен. Возникающий в результате этого политический союз “черни (mob) и капитала”, скрепленный расистской идеологией, Арендт отмечает и во Франции во времена дела Дрейфуса, и в викторианской Англии, где идея расового превосходства колонизаторов распространяется по всей британской империи, и, наконец, в континентальной Европе — в движениях пангерманизма и панславизма. В этом последнем случае кризис государства-нации достигает крайнего предела, поскольку его отдельные партии, и даже его собственная легитимность ставятся под вопрос во имя расовой идеи, в предательстве которой его начинают обвинять. При этом, если связь между пангерманизмом и нацизмом выглядит очевидной и закономерной, то подразумеваемая связь между панславизмом и советским коммунизмом представляется по меньшей мере произвольной.

На самом деле, в книге Арендт заключены две книги. Первая действительно касается истоков “тоталитаризма”, но имеет в виду только нацизм, поскольку рассматривает только современный антисемитизм и идеологии расового превосходства. Вторая книга, состоящая из третьей части, написанной позднее, в 1948—1949 годах<sup>38</sup>, возобновляет традицию, начатую уже в 1934 году Вальдемаром Гурианом, который был другом Ханны Арендт; здесь она проводит систематическое сравнение между гитлеровским и сталинскими режимами. Здесь уже не только другой предмет, но и

другой концептуальный аппарат. В двух первых частях Арендт широко использует марксистскую социал-демократическую традицию, от Гильфердинга до Неймана: отсюда ее стремление вписать антисемитизм в процесс капиталистической универсализации мира. В третьей части, напротив, антилиберальная и антибуржуазная полемика уступает место аналитическому разоблачению “тоталитарных” систем и идеологий, как правых, так и левых. Роль капитала исчезает. Лишенная корней, дегуманизированная “чернь”, в которой Арендт видит противоположность свободной гражданственности, населяет как сталинскую Россию, так и национал-социалистскую Германию, сравнение которых ведется, таким образом, под иным углом зрения<sup>59</sup>.

Время концлагерей не закончилось: такова главная интуитивная догадка, служащая базой для сравнения двух тоталитарных систем. Через эту дверь страдания Ханна Арендт, европейский автор, ранее других прочувствовавшая мученичество евреев, оказалась способной войти в трагедию других народов, и прежде всего — русского. Равнодушие к русскому несчастью было настолько всеобщим в XX веке, что это исключение выделяется особенно ярко. В то время литература о лагерях делала только первые шаги. Арендт прочла книги Давида Русса<sup>60</sup>, “Der SS Staat” (“Государство СС”) Эжена Когона<sup>61</sup>, а также анонимные воспоминания о русских лагерях “The Dark Side of the Moon” (“Темная сторона Луны”)<sup>62</sup> и, несомненно, материалы процесса Кравченко в Париже. По ее мнению, наличие широких масс населения, лишённого корней и прав, отданного на полный произвол властей в качестве материала социального эксперимента, составляет отличительную черту тоталитарных обществ, что и делает последние феноменом, небывалым в истории. Одному Богу известно, сколько в различные исторические эпохи появлялось деспотизмов, тираний, диктатур. Но тоталитаризм является небывалым кошмаром, потому что, созданный человеком, он выходит за пределы человеческого, поскольку отрицает человечность. Его нельзя отождествить ни с одной из страстей, способствовавших его появлению, и он не имел названия в философской или политической традиции.

Его колыбелью была современная демократия, или скорее ее деградировавшая форма, когда общество превращается в скопление изолированных друг от друга индивидов, не объединенных не только гражданскими связями, но даже и классовой солидарностью и подающихся элементарным эмоциям, которые отдают их во власть демагогу. Это патологическое завершение буржуазного индивидуализма, превращающегося в антибуржуазное насилие. Политика здесь сохраняется в своей примитивной форме — как

потребность в единении; из сферы гражданского взаимодействия, из естественной почвы для свободы она становится инструментом беспримерного порабощения и в этом качестве не только принимается, но и восторженно приветствуется. Установившаяся благодаря массам, тоталитарная диктатура делает все, чтобы укрепить свою базу, устраняя из общества все остатки и средства автономии. Гитлер упразднил самоуправление земель, партии, аристократию, независимые ассоциации; а то, что осталось, было подчинено аппарату единственной партии. Сталин, получив в наследство режим, при котором была запрещена частная собственность, смог ликвидировать даже крестьянство, не говоря уже о других классах, партиях и всем остальном: партия большевиков безраздельно царила над плебсом атомизированных индивидов. Оба режима до самого конца пользовались поддержкой этого зачарованного и одновременно запуганного плебса.

Человек в демократии масс отрекается от своей судьбы, передавая ее в руки вождя, и делает это благодаря идеологии<sup>61</sup>. Этот термин обозначает у Арендт не совокупность идей, разделяемых тем или иным обществом, той или иной эпохой, но замкнутую систему истолкования истории, исключая осмысленную и творческую деятельность человека. В тоталитарном обществе порядок более не создается социальными и политическими договоренностями в соответствии с некими естественными или философскими принципами. Закон такого общества неотделим от закона истории и состоит только в том, чтобы следовать за ходом истории, смысл которого выражает партия, а внутри партии — ее вождь. Поэтому террор — это его естественное орудие. Он не является данью обстоятельствам, как при тирании, он эссенциален, тотален, он покрывает все пространство политических и гражданских законов, которых история даже не замечает в своем движении к новому человеку. Его назначение состоит не столько в том, чтобы сокрушать различные оппозиции, быстро прекращающие свое существование, сколько в том, чтобы такие оппозиции изобретать, дабы подтверждать неумолимость избранного курса. Пресекающий всякую попытку к расчленению социального целого, устраняющий малейший зазор частной жизни между индивидами, террор осуществляется во имя всех, всеми и надо всеми, он является единственным законом в этом беззаконном мире. Концентрационные лагеря обнажают сущность тоталитаризма<sup>62</sup>.

Такова эта книга, очень важная, хотя и небрежно написанная, плохо скомпонованная, состоящая из отдельных кусков и растянувшаяся на слишком большое число лет; задуманная как анализ нацизма и законченная как политическая теория, применимая скорее к коммунизму; утверждающая принципиальную новизну

феномена тоталитаризма и посвящающая почти половину своего пространства поискам его корней, ограничиваясь при этом только немецкой стороной; соединяющая, вслед за Нейманом, старую критику массовой демократии с капиталистической генеалогией фашизма и с критикой сущностной бесчеловечности “идеологических” режимов, следуя в этом отношении за Гурианом, но не принимая свойственную этому последнему божественную трансценденцию<sup>65</sup>. Путаная, категоричная, противоречивая, книга Арендт искупает свою растянутость и свои отступления мрачной резкостью стиля, особенно в третьей части. Эта книга — скорбная песнь послевоенных лет, повествующая о немецких преступлениях, об истреблении евреев, о катастрофах, постигших свободу, о советских концлагерях, более долговечных, чем нацистские, песнь, провозглашающая войну войне. Исповедующая антинацизм, антибуржуазность, антисоветизм и даже антиссионизм, Арендт с вызывающей резкостью заявила о себе как о парии. И эпоха позаботилось о том, чтобы лишить ее — во всяком случае, на время — последней опоры: “ее” Американская республика поддалась запугиванию демагога и тоже подпала под власть “черни”.

Лишенную всех корней, Ханну Арендт невозможно причислить к политическим писателям холодной войны, как нельзя ее отнести ни к “правым”, ни к “левым”. Она одобряла американскую внешнюю политику, ненавидя при этом маккартизм; она не поехала в Берлин в июне 1950 года; она считала себя “радикалкой” в американском смысле этого слова, будучи при этом убеждена, что советский коммунизм находится за пределами человеческого. Она стремилась к тому, чтобы осмыслить весь политический опыт XX века. В Соединенных Штатах дискуссия о советском режиме стала непосредственным продолжением критики нацистского режима, уже имевшей солидную историю. Она опиралась на серьезную традицию изучения русской и советской истории в больших университетах<sup>66</sup>. Уже в марте 1953 года, два года спустя после публикации книги Арендт, в Бостоне состоялся университетский коллоквиум, посвященный “тоталитаризму”, за которым последовал ряд других. Проходивший под председательством Карла Фридриха<sup>67</sup>, симпозиум не включал в себя интеллектуалов правой ориентации, но скорее “левых”, и сознательно держался на расстоянии от истерического антисоветизма, который свирепствовал в тот момент. Ханна Арендт участвовала в симпозиуме и выступала на нем, хотя доклада не представляла. Но третья часть ее книги часто цитировалась и обсуждалась. Все участники были согласны с тем, чтобы распространить термин “тоталитаризм” также на Советский Союз, но ограничивались рассмотрением уже сформировавшихся режимов, не вдаваясь в вопрос об их “истоках”. Фридрих нашел

удачную формулу для того, чтобы оправдать и одновременно ограничить сравнение Гитлер — Сталин: “Тоталитарные общества сопоставимы по сути, но каждое из них исторически уникально; почему они стали тем, чем являются, мы не знаем”<sup>68</sup>. Особые “предпосылки”, ни в коей мере не обладающие качествами неизбежной причинности, действуя через посредство исторических случайностей, привели в конце концов к возникновению сходных обществ. В этом состоит тайна тоталитарной идеи, требующая осмысления и делающая его особенно трудным.

Левые интеллектуальные круги в Европе, если брать их в целом, даже не делали такой попытки<sup>69</sup>. Они против фашизма, но не против тоталитаризма. Формула Оруэлла была более справедлива, чем когда-либо, в момент, когда этот старый непокорный левак опубликовал в 1949 году свой “1984”. Сама история придаст вопросу, поставленному Ханной Арендт, жгучую актуальность — благодаря смерти Сталина и началу борьбы за его наследство.

# *Глава двенадцатая*

## Начало конца

Раймон Абеллио сделал из смерти Сталина событие астрального порядка. “Смерть Сталина, — пишет он в “Вавилонском котловане”, — произошла в марте 1953 года под знаком сопряженных Сатурна и Нептуна. Россия потеряла нечто гораздо большее, чем харизматического вождя, — она потеряла тайную жреческую власть, которой ранее обладала над движущимися народными массами. И подобно тому, как некогда в Индии вдов и служителей сжигали на погребальном костре их повелителя, восточноберлинские рабочие, раздавленные 17 июня советскими танками, озаменовали своей гибелью конец царства и раскол времен”<sup>1</sup>.

Относительно “раскола времен” не будем преувеличивать: Советский Союз пережил Сталина. Но определенная эпоха, безусловно, закончилась. Смерть вождя лишней раз продемонстрировала парадокс системы, якобы воплощающей в себе законы социального развития, но настолько зависящей от одного человека, что с его смертью она утратила нечто из того, что составляло ее сущность. В своего рода коллективной панике, охватившей Москву в день похорон, погибло несколько сот человек; это говорит о смятении людей, потерявших уверенность и в своем прошлом, и в своем будущем. Ибо смерть Сталина не была похожа на смерть Гитлера. Немецкий диктатор, сам создавший себя и свой режим, покончил с собой, потерпев поражение, и не оставил после себя ничего, кроме развалин. Сталин, напротив, был наследником, победителем, основателем империи; в момент смерти он был могуществен, как никогда; всего несколько лет прошло после его семидесятилетия, когда его чествовали как гения всех времен и народов.

Наследник Ленина, он был овеян славой своего предшественника. Он был не единственным претендентом на роль продолжателя, но, завоевав это звание хитростью и силой, он основал на нем свой непререкаемый авторитет, затмив всех соперников чудовишной властью, чтобы затем изгнать или убить их, либо, как в случае с Троцким, сделать и то и другое. Впрочем, его права на наследование имели солидное основание. Единственную партию, большевистскую идеологию, террор, политическую полицию — все это он получил в наследство от Ленина. И все это он соединил в систему “азиатского” правления, увенчав его истреблением крестьянства как “буржуазного” класса: так что он не менее других мог претендовать на исходную идею. А по сравнению с другими у него было особое преимущество: он сумел продлить существование режима, кратковременного по своей природе, сумел даже дать ему новый импульс, сковав общество цепями примитивной, но непререкаемой власти и сохранив при этом иллюзию революционности. Троцкий, в котором литератор перевешивал террориста, почти наверняка потерпел бы поражение. Симпатичный Бухарин растранил бы семейное богатство, затеяв постепенный возврат к капитализму. Сталин же преумножил наследство с помощью своего собственного политического гения, переудушив противников их же руками.

А потом он выиграл войну, превратил Советский Союз в империю и сверхдержаву, придал коммунистической идее небывалые силу и влияние. Своему правлению он придал респектабельность, основанную на победе и силе; его личность стала предметом всеобщего поклонения: его страшились все, даже те, кто ему поклонялся. Советское государство обрело упорядоченность и устойчивость. Дело не в том, будто уменьшились произвол и деспотизм, будто прекратились массовые репрессии — они, напротив, возросли; но на трибуне мавзолея каждый год в очередное празднование Октября появлялись одни и те же руководители, а бюрократический аппарат приобрел “современный” лоск, которого до войны не было у всемогущей партии, руководящий состав которой, тем не менее, подвергался систематическому уничтожению со стороны группы вождей, сплотившихся вокруг непредсказуемого главаря.

Таким образом, после исчезновения Сталина можно было предполагать, что переход власти произойдет менее драматично и конфликтно, чем после смерти Ленина. К тому же, и внешнеполитическое положение СССР обязывало преемников к этому. Сам Сталин не считал нужным об этом позаботиться: в последние годы царствования он ни разу не подумал о том, чтобы организовать преемственность власти. Им владела одна навязчивая идея: сохра-

нить свою власть и свою жизнь, ликвидируя заговоры, которые не уставало порождать его параноидальное воображение. В старости всемогущий владыка сохранил привычки заговорщика и авантюриста, помноженные на абсолютную власть: он жил, окруженный охраной и солдатами, публично почти не выступал<sup>7</sup>, менял резиденции и пути следования, прежде, чем есть, требовал, чтобы его блюда дегустировали другие. Даже люди из ближайшего окружения, политического и семейного, не избегли его подозрений<sup>8</sup>. Молотов, верный из верных, жена которого уже была арестована, выглядел как очередная жертва. Раскрытие заговора еврейских врачей<sup>9</sup> в январе 1953 года иллюстрирует неизменность движущих сил режима: идеологии и террора.

Таким образом, сказать, что Сталин не заботился об организации преемственности, значит сказать слишком мало. Он намеренно действовал так, как будто такая преемственность никогда не должна была состояться, перенося в политику эмоции, свойственные старческому возрасту, или — так, как будто его смерть должна была завершить целую эпоху. Не будучи бессмертными, великие чудовища истории вынуждены ограничиваться тем, что у них не бывает продолжателей. Своей смертью Сталин не мог не оставить в мире огромного зияния: ведь он выиграл войну против Гитлера и он был всемирным вождем коммунизма. Но он еще хотел, чтобы никто не унаследовал его роль и его могущество, поскольку никто, по определению, не был этого достоин. Я подозреваю, что он не оставил, по примеру Ленина, “завешания” не только потому, что, как ближайший участник, знал бесплодность такого рода действий в политике, но главное — потому что считал, что он, он один составлял “целую эпоху”. А это само по себе достаточно ярко характеризует различие между двумя вождями и двумя последовательными периодами большевизма.

Действительно, известие о смерти Сталина вызвало повсюду большое волнение, в котором смешались воспоминания о войне и страх перед будущим; странно то, что даже некоммунистическое общественное мнение пело хвалы не только маршалу-победителю, но также осторожности и умеренности его внешней политики<sup>5</sup>. Настолько в период затянувшейся Корейской войны его исчезновение было чревато тревогой за судьбу мира во всем мире: ведь известное менее тревожно, чем неизвестное, особенно в СССР, где власть не знает границ. Однако правда — начало правды — об “эпохе” Сталина будет сказана не на Западе, а там, где эта эпоха была пережита: разоблачения будут исходить от самого коммунистического мира и от Коммунистической партии Советского Союза в особенности. Именно из внутренних противоречий неосуществимой “преемственности” родится первое определение сталинского периода.

Рассмотрение деталей развернувшейся борьбы не входит в мою задачу, да, впрочем, история еще и не успела их прояснить, это — дело будущего. Меня интересует то, как советский коммунизм сумел убедить и сделать своими приверженцами миллионы людей, чью веру не смогли подорвать ни прекрасные документированные критические работы, ни самые надежные свидетельства. Советская мифология стала первой жертвой борьбы за наследие Сталина.

Одна из приманок тоталитаризма состоит в том, что он являет собой идеальный порядок. Сталинский режим представлял из себя иерархическую пирамиду, где одно находилось в соответствии с другим: плановая социально ориентированная экономика, общество, лишенное классовых антагонизмов, направляемое единственной партией, президиум названной партии, ее генеральный секретарь. Политическое положение отдельного человека растворено в вездесущей идеологической лжи. Однако не успело тело Сталина остыть, как политика возродилась, хотя и в очень узком кругу, в своей примитивной форме: крошечная олигархия наследников немедленно вступила между собой в поспешную борьбу за власть. Это было повторением того, что началось в 1922 году, после первого паралича Ленина, и закончилось между 1927 и 1929 годами победой Сталина над своими соперниками. Но в ту уже далекую эпоху советская система находилась еще в младенчестве и была близка к анархической стихии, ее породившей; неопределенность революционного будущего — иначе говоря, нового общества — составляла естественный фон для политических разногласий соратников Ленина. В 1953 году, поколение спустя, советский мир обрел социальную устойчивость и форму правления, которые были объявлены *urbi et orbi* двумя сторонами единой исторической закономерности. На чем же в таком случае могли столкнуться соратники Сталина?

В их публичных заявлениях сразу же возникли две темы: экономическая политика и, в еще большей степени, террор. Иначе говоря, два вопроса, которые неявным образом затрагивали авторитет только что скончавшегося вождя, которому его наследники угодливо служили. Наследники Ленина, Сталин в том числе, сражались между собой за его наследие, аргументируя свою позицию ссылками на его авторитет, строя предположения о том, как повел бы себя Ленин, если бы был жив. Наследники Сталина, наоборот, повели борьбу между собой под знаком критики своего предшественника. Эта критика сначала была скорее скрытой, чем прямой, по понятным причинам. Фигура Сталина занимала такое место в инкарнации коммунизма как внутри СССР, так и за его пределами, что разрушение его статуи было сопряжено с большим риском; к тому же, и Маленков, и Берия, и Хрущев находились не в

лучшей позиции для выполнения такой задачи, — ведь они были главными исполнителями сталинской политики. Однако же некое опровержение деятельности бывшего всемогущего вождя раздалось тут же, произнесенное на дубовом языке, но внятное для тех, кто умел слушать. Уже в середине марта упор, сделанный Маленковым на “максимальном” удовлетворении потребностей народа, содержал нечто вроде первого признания всеобщей бедности, особенно в деревне. Лозунг “коллективного руководства”, сопровождаемый первым разделением обязанностей<sup>6</sup>, звучал как отход от предшествующей практики. А затем, 4 апреля, раздался удар грома: было опубликовано коммюнике министерства внутренних дел, в котором объявлялось без комментариев, что “заговор врачей”, раскрытый в январе, был провокацией, подстроенной бывшим министерством госбезопасности.

Это краткое коммюнике знаменовало, по моему мнению, поворотную дату, и не только потому, что вытекавшие из него выводы имели явно антисталинский характер, но и потому, что оно свидетельствовало о фундаментальных разногласиях среди наследников Сталина, являвшихся последними представителями старой гвардии, которым — как Молотову или Ворошилову — уже с 1949—1950 года грозила опасность. Другие — такие, как Маленков и Хрущев — выдвинулись во время большого террора второй половины 30-х годов и были кооптированы Сталиным в узкий состав верховного руководства на развалинах бывшей партии большевиков. Однако и они после войны боялись возобновления Большой чистки, предвестия которой ощущались в тяжелой атмосфере подозрений и угроз, сгушавшейся в последние годы жизни Сталина<sup>7</sup>. Наилучшее свидетельство тому будет дано самим Хрущевым немного спустя, в его знаменитом докладе на XX съезде КПСС. В царившем тогда климате многие из них ждали ареста со дня на день, и дело врачей выглядело как начало того, чего они страшлись. Отсюда та поспешность, с которой они объявили о его прекращении, — как знак того, что они не хотят больше бояться. Но тем самым они открыли путь не только для надежд, но и для пересмотра прошлого: если кремлевские врачи оказались невиновными, то как быть с миллионами политзаключенных, которые предшествовали им?

*Mutatis mutandis\**, наследники Сталина оказались в “термидорианской” ситуации. Им не хватило, в отличие от их французских предшественников, силы или воли, чтобы убить тирана — неизмеримо более старого, мощного, кровавого, легитимного и национального, чем несчастный Робеспьер. У них не было идеологиче-

\* С учетом различий (лат.). — Прим. пер.

ской независимости по отношению к нему, даже после его смерти. Но два момента сближали их с французской ситуацией лета 1794 года: они хотели отменить террор, хотя бы в своем кругу; они хотели сохранить власть. Сочетать обе задачи было не так-то просто, поскольку, исключая террор как средство борьбы за власть, было нелегко, с одной стороны, помешать его ретроспективному осуждению в ущерб идеологии, а с другой, — сохранить его применение по отношению к обществу со стороны одной партии. Так что разрешение такого рода ситуации зависит от размаха и ритма разрыва с тем, что ей предшествовало.

Французские революционеры в 1794 году в течение нескольких месяцев приняли, под давлением общественного мнения<sup>4</sup>, логику переворота 9 термидора: они отменили террористические законы, восстановили свободу, пожертвовали теми из своей среды, кто наиболее скомпрометировал себя сотрудничеством с Робеспьером, и удовлетворились тем, что удержали власть посредством сфальсифицированных выборов. Но преемники Сталина были большевиками, пусть во втором поколении, но все же большевиками, всосавшими с молоком матери ненависть к Термидору. Французский прецедент 1794 года был кошмаром Октября 1917: ибо советская революция не переставала отвергать идею о своем возможном окончании, — разве что вместе с концом истории. Призрак Термидора преследовал ее непрерывно, и в момент кронштадского восстания, и при начале нэпа, и во время аппаратных сражений после паралича, а затем и смерти Ленина. Сталин победил своего последнего соперника Бухарина с помощью все того же неотразимого аргумента, единосущного революции: коллективизация сельского хозяйства и форсированная индустриализация должны были сохранить завоевания революции. Наследники Сталина, пережившие великий страх за свою жизнь, хотели отказаться от его тирании, но сохранить режим. Упор, сделанный на “коллективном руководстве”, выражал деликатную дозировку этих двух аспектов в управлении полученным наследием. Он выражал также временное согласие олигархии относительно анонимного характера правления: было важно, чтобы никто не мог поставить себе в личную заслугу прекращение террора, что дало бы ему, быть может, решающее преимущество в борьбе за власть. “Заговор” против Робеспьера в 1794 году тоже подчинялся, даже после победы, тому же требованию анонимности и по тем же причинам.

Существует, однако, одно кажущееся исключение из этого правила: ликвидация Бери. В действительности это последнее убийство внутри правящей группы подтверждает решение покончить со взаимными убийствами. Причины его остаются непроясненными, ввиду недостатка свидетельств и документов, во всяком

случае, на сегодняшний день. Берия был главным начальником НКВД с 1939 года: это одновременно и вселяло страх в его соратников, и могло способствовать его особой популярности среди населения, поскольку по своему положению он представлялся естественным инициатором снятия обвинений с кремлевских врачей, что выглядело как сигнал к ослаблению террора. В самом деле, до того прошла подготовленная им амнистия, по которой получили свободу около миллиона заключенных, а затем последовали решения, имевшие целью расширить права нерусского населения в союзных республиках и тоже принятые при его участии. Наконец, если верить последним исследованиям, “либеральные” намерения Берии захватывали и внешнюю политику: он якобы первым предложил провести тайную встречу с Тито и подготовил не менее секретный документ о возобновлении частного предпринимательства в Германской Демократической Республике, с тем чтобы создать условия для переговоров о воссоединении Германии. Арестованный в июне 1953 года, он был убит при неизвестных обстоятельствах, после чего, согласно обычаям, был вычеркнут не только из списка партийных руководителей, но и из советской истории.

Таким образом, последнее политическое убийство в типично сталинском духе устранило, несомненно, самого активного из десталинизаторов. А поскольку Берия был одним из самых близких сподвижников вождя и самым свирепым среди исполнителей его воли, то операция по его устранению легко прошла под видом ликвидации последнего сталинца. Во всяком случае, она возвращала органы госбезопасности под контроль партии, что должно было успокоить временных сообщников из коллективного руководства. Но главное, она обозначила узкие границы фарватера, по которому Маленков, Хрушев и некоторые другие стремились провести баржу с наследием большевизма: члены коллективного руководства терпели друг друга только вследствие слабости каждого из них в отдельности и общих воспоминаний об участии в преступлениях, смыть которые одной лишь кровью Берии было невозможно. Все они еще были детьми Сталина в тот момент, когда пытались дистанцироваться от него со всякого рода экклезиастическими предосторожностями; они просто не могли себе представить политическую вселенную, по-настоящему отличную от сталинской, и были приговорены шагать вместе под страхом потерять все, — а ведь каждый из них мечтал приобрести все для себя.

Однако логика десталинизации, вместе с логикой наследования, будет толкать их вперед. Это — их общая граница, и чтобы ее определить, они будут всячески утверждать, что основой их режима является легитимность, присущая ему как по существу, так и по формам функционирования; эта легитимность будет подчерки-

ваться тем более настойчиво, что они собираются критиковать отдельные ее стороны. Вторая передача власти большевиками (первой была ее передача от Ленина к Сталину) осуществлялась, как и первая, в атмосфере преклонения перед Лениным, но — в отличие от первой — под знаком *возврата* к отцу-основателю. Допускалась мысль, что партия, под водительством ее второго исторического вождя, могла ошибаться, отклоняться от законов истории. В какой мере? как? почему? — эти вопросы задавались теперь не Троцким и не Тито. Неизбежные и вместе с тем ошеломляющие, они возникали и обсуждались теперь в святая святых, внутри кремлевских стен.

Однажды возникнув, они проникали повсюду, разъедая, подобно трещинам, здание тоталитаризма: это была расплата за ту роль, которую играла в нем идеология. Критику Сталина, скрыто присутствовавшую в мероприятиях марта-апреля, не могли не подхватить в форме тревожного вопроса сотни тысяч узников ГУЛага, освобожденных в течение лета. А реабилитация “убийц в белых халатах” могла ли не повлечь за собой реабилитацию множества бывших “врагов народа”, ранее незаконно осужденных и казненных? Могли ли миллионы зеков в концлагерях оставаться пассивными после того, как перед ними блеснул луч свободы?<sup>10</sup> Развенчание мертвого Сталина, так быстро последовавшее за его прижизненным обожанием, придало процессу смягчения режима характер оползня. Лица, начавшие этот процесс, были поставлены перед неудобной альтернативой: либо отступление назад, либо бегство вперед.

Так же обстояло дело и во внешней политике. В противоположность тому, что предсказывали многие пророки западного мира в первые дни после смерти Сталина, его исчезновение положило конец наиболее острому периоду холодной войны, продемонстрировав тем самым истинную роль, которую он в ней играл. Но если послесталинский СССР смог довольно быстро подписать перемирие в Корее, поскольку с самого начала прекращение конфликта зависело от него, то внутренние потрясения режима, вызванные мерами весны 1953 года, затронули международный коммунизм, начиная с европейских сателлитов советской империи.

События 1953 года внутри коммунистического мира довольно точно предвещали, хотя и в меньшем масштабе, сценарий будущего развала коммунизма, тридцать шесть лет спустя. В центре системы, в Москве, политический генеральный штаб решил реформировать режим, созданный Сталиным: исключить из него террор внутри партии и сократить военные расходы в пользу потребления. Эту программу осуществить было трудно, а в случае, если бы начались перегибы, — почти невозможно. Во всяком случае, все

происходило на вершине, внутри аппарата, в соответствии с духом режима. В странах-сателлитах, напротив, коммунистические олигархии установились еще недавно, их господство насчитывало всего пять или шесть лет; тем не менее, находясь под жестким контролем Москвы, возглавляемые ветеранами Коминтерна, эти режимы обладали достаточным сроком давности, чтобы идущая с востока критика сталинизма ударила и по ним, вызвав против них возмущение и бунты. Задний ход великим лозунгам ускоренной индустриализации и сельской коллективизации любой ценой! Пора отказываться от подражания сталинским методам и переучиваться в школе Маленкова — Хрущева: замедлять ритм, больше уделять потреблению, умерить страх, освободить или реабилитировать жертв террора. В центральной и восточной Европе ни сталинские олигархии, ни сама коммунистическая идея не могли легко пережить такую перемену курса.

Первые признаки кризиса проявились в Чехословакии уже в июне — в виде неустойчивого смещения антикоммунистических настроений, которые станут отныне доминирующей чертой общественного сознания в этой части Европы; их выражением стали забастовки, направленные против низких зарплат, против национального ущемления, вызванного русским господством и оккупацией, выступления либерального и демократического характера против однопартийной системы. Именно в июне, 16 и 17 числа, поднялась первая после Кронштадта большая антикоммунистическая волна народного возмущения: в восточном Берлине рабочие выступили против увеличения производственных норм, потребовали свободных выборов и освистали трио Ульбрихт — Пик — Гротеволь. 18-го с помощью советских танков возмущение было подавлено; на следующий день девятнадцать “зачинщиков” были приговорены к смерти советскими военными трибуналами и тут же казнены. Парадоксальность всего этого дела состояла в том, что наследники Сталина в Москве, соперничавшие между собой в критике покойного вождя, вынуждены были поддерживать в Берлине Ульбрихта, сталинского ставленника. Ликвидировав Берию, они устранили главного персонажа, на которого рассчитывали противники генерального секретаря внутри СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии): раздавив танками демонстрантов, они отдали полную власть самому сталинскому из членов германского политбюро. В 1933 году в Берлине был положен конец коммунизму “третьего периода”. Двадцать лет спустя, и снова в Берлине, сторонники нового курса потерпели первое поражение. Стало ясно, в каких узких границах действовала их реформаторская воля.

Между тем, сверхцентрализованный характер системы вместе со всемогущей ролью, которую играла в ней идеология, не могли не привести к тому, что сигналы “десталинизации”, шедшие из Москвы, поставили под угрозу коммунизм в целом, — и прежде всего в республиках-сателлитах, где он господствовал сравнительно недавно и где общество, несмотря на террор 1948—1952 годов, было еще недостаточно “советизировано”, чтобы пассивно принимать изменения, спускаемые сверху. В соответствии с традицией, новые московские руководители захотели повсюду поставить своих людей. В Будапеште они уволили Ракоши и заменили его Имре Надем; немного позже они вернули в Польшу освобожденного из тюрьмы Гомулку. Но поступая таким образом, они подвергались двойной опасности. Они заранее компрометировали задуманный поворот, придавая ему форму приказа из Москвы. А открывая дверь критике “ошибок прошлого”, они ослабляли одновременно и диктатуру братских партий в соответствующих странах, и свое собственное господство над ними.

Таким образом, прекращение террора потрясло всю международную коммунистическую систему. И не потому, что ей грозила опасность извне: наоборот, Запад ни одной минуты не пытался извлечь пользу из сложившихся обстоятельств. Опасность грозила коммунизму потому, что были затронуты два основополагающих для него чувства: страх и вера. Ослабление страха вело к тому, что начинали критиковать обоснованность веры, поскольку последняя подавляет мышление и побуждает возвращаться к террору. И все же Хрущев решил двигаться вперед по зыбкой почве, надеясь таким образом устранить соперников прежде, чем придет время платить по счетам. Он добился в феврале 1955 года замены “либерала” Маленкова Булганиным на посту председателя Совета Министров; с другой стороны, он унизил Молотова, старого сподвижника Сталина, отправившись в мае лично приносить публичные извинения Тито за разрыв 1948 года. Но и это еще не все. Его настоящий приход к власти совершился на XX съезде КПСС, в феврале 1956 года.

“Секретный” доклад Хрущева на XX съезде является для историка коммунистической идеи, вероятно, самым значительным текстом из всех, какие появились на протяжении нашего века. Однако по существу он далеко не самый глубокий, не самый полный и не самый новый: несмотря на завесу секретности и стену лжи, которые окружали мифологию СССР, его история стала предметом значительного количества превосходных книг. Лучшие из них, как, например, “Сталин” Суварина, были написаны бывшими коммунистами, которые знали систему изнутри и в то же время имели

возможность анализировать ее со стороны. “Со стороны” — это надо понимать в двух смыслах, моральном и материальном: возможность адекватного анализа предмета была достигнута авторами только в результате разрыва с коммунизмом, а возможность публикации была связана с жизнью за пределами СССР. Однако этим старым коммунистам, превратившимся в свидетелей обвинения против того дела, которому они некогда служили, пришлось заплатить высокую цену за свое превращение: можно ли было относиться с доверием к их свидетельствам, коль скоро раньше они придерживались противоположных убеждений? Как было не подумать, что эти люди заблуждались в обоих случаях и что их суждения, и тогда и сейчас, были затуманены их пристрастиями? К этим подозрениям интеллектуального свойства добавлялись моральные обвинения, адресованные им как людям, перебежавшим из одного лагеря в другой. — обвинения крайне тяжелые в век, когда политические страсти часто приводили к гражданской войне. Поэтому литература экс-коммунистов о Советском Союзе никогда не пользовалась особым доверием. Что же касается других работ, писавшихся в университетах, то они только начинали создаваться в 50-е годы, сначала в Соединенных Штатах, вызванные к жизни послевоенной международной ситуацией<sup>11</sup>.

Но вот “секретный доклад” в феврале 1956 года, едва получив известность, сразу перевернул статус коммунистической идеи в мире. Голос, разоблачавший преступления Сталина, прозвучал не с Запада, а из Москвы, из святой святых — из Кремля. Он принадлежал не коммунисту-перебежчику, но самому главному в коммунистическом мире, хозяину Коммунистической партии Советского Союза, облеченному высшим авторитетом, каким система наделяет своего вождя. То, что он говорит, обладает универсальной силой убеждения и для коммунистов, и для не-коммунистов. Первые обладали давней привычкой верить своим руководителям на слово; к тому же критика Сталина преподносилась им в малых дозах, начиная с марта 1953 года. У вторых не было никаких причин подвергать сомнению “разоблачения” первого секретаря Центрального Комитета. Если они были враждебны коммунизму, они получили подтверждение своему мнению или тому, что они уже знали. Если они опасались антикоммунизма, то все равно, как могли они отвергнуть свидетельство человека, который прошел сквозь эпоху рядом со Сталиным и добровольно решился бросить тень на дело, которому служил? Особая сила воздействия “секретного доклада” на умы была связана с тем, что у него не было оппонентов. В течение нескольких недель спор шел только о его подлинности, настолько новость оказалась удивительной и смущающей<sup>12</sup>. Но как только сомнения отпали, содержание текста стало частью истории комму-

низма, объединив вокруг себя, впервые после 1917 года, противников и сторонников советского режима.

Почему Хрушев рискнул привлечь к критике Сталина всеобщее внимание? Почему пошел на опасность подрыва единства коммунистического лагеря? Как он мог недооценить ущерб, связанный с разоблачением преступлений Сталина, для движения, в котором идеология была смыслом существования, а культ Сталина — объединяющей религией? Позднее, в своих “Воспоминаниях”<sup>13</sup>, он сам дал на эти вопросы ответ, который не кажется неубедительным. Политическая атмосфера в президиуме партии, как ее рисует Хрушев, была вполне посттермидорианской. Ликвидации Берии было недостаточно, чтобы прогнать призрак Сталина, продолжавший преследовать его наследников: Тито слегка посмеялся над ними, когда в 1955 году они попытались возложить вину за советско-югославский разрыв 1948 года на одного только бывшего шефа тайной полиции. Они этим сказали слишком много или слишком мало. Что касается Хрушева, то он хотел пойти дальше, несмотря на сопротивление представителей старой гвардии — Ворошилова, Молотова, Кагановича — и уклончивость Маленкова<sup>14</sup>. Микоян был не против. В конце концов, решили создать следственную комиссию во главе с Пospelовым, одним из “теоретиков” партии, директором Института Маркса—Энгельса—Ленина в 1949—1952 годах. Но когда досье на мертвого тирана было готово, встал вопрос, что с ним делать? Как его использовать, и вообще — надо ли использовать?

Это был главный вопрос XX съезда, но обсуждали его за кулисами. Внешне все шло по классическому ритуалу: обширный доклад, коллективное руководство, единодушное голосование. Но Хрушев хотел пойти дальше и довести до товарищей содержание досье, составленного комиссией Пospelова. Его решимость отчасти определялась политическими задачами борьбы за власть: выступая перед партией в качестве одной из главных жертв чисток 1936—1939 годов, первый секретарь оказывался на острие борьбы за “десталинизацию” и рассчитывал таким образом укрепить свои позиции против старой гвардии и одновременно против Маленкова, своего главного соперника, которого он уже успел потеснить. Он опирался на очень сильный и неотразимый аргумент: преступления Сталина при всех условиях не удастся скрыть, потому что сотни тысяч узников, освобожденных из ГУЛага, все равно расскажут о том, что им пришлось пережить. Несмотря на возражения Молотова, Ворошилова, Кагановича, президиум должен был уступить логике процесса, начавшегося в 1953 году. Освободить заключенных — это только начало, надо подготовиться их выслушать и им ответить.

В процессе передачи советской власти из рук в руки Хрущев оказался между двумя поколениями руководителей<sup>15</sup>. Он был слишком молод, чтобы служить при Сталине во время гражданской войны, как Каганович или Молотов, но слишком стар, чтобы быть чистым продуктом сталинизма, как Брежнев. Кроме того, он сделал главную часть своей карьеры не в Москве, в центральном партийном аппарате, как его сверстник Маленков, а на периферии, на Украине. Эти черты его биографии не могут сделать достоверными его утверждения, содержащиеся в “Воспоминаниях”, будто он знать не знал об убийствах, совершаемых Сталиным. Но они могут объяснить, почему он чувствовал себя менее виновным, чем Молотов или Маленков, и был менее циничным, чем Брежнев. Вступив в партию большевиков несколько месяцев спустя после Октября 1917, приняв участие в гражданской войне в качестве простого солдата, он пришел в политику в героическую пору большевизма как ученик Ленина. Теперь, тридцать пять лет спустя, этот был, кажется, в нем еще не угас, несмотря на все вызванные им катастрофы, а почти вынужденный лозунг “возврата к ленинским нормам” был в его сознании чем-то большим, чем тактическим отступлением политика: он явился действительным выражением надежды. Господствующей страстью сталинского большевизма в России был страх. Но даже в эту позднюю эпоху он не заглушил в идеологии то, что опиралось на веру. Хрущев верил в то, что говорил. Именно это позволило ему с такой силой воплотить новые воображаемые ориентации на возобновление строительства коммунизма. Отсюда же и привлекательные стороны его образа, которые он сохранил, несмотря на постигшую его неудачу.

Что же он сказал в своем знаменитом докладе? Что произошло в эту ночь с 24 на 25 февраля в Большом Кремлевском дворце? Когда первый секретарь поднялся на трибуну, он не мог не иметь в руках письменного текста речи: большевистские вожди не привыкли импровизировать, а данный предмет был настолько деликатным, что импровизация была возможна менее, чем когда-либо. Хрущев рассказывает в “Воспоминаниях”, что Пospelову было поручено задним числом обработать его выступление, чтобы придать ему форму доклада; однако окончательный текст должен был быть результатом коллективной доводки в узком кругу, так что до сегодняшнего дня мы не можем точно определить вклад самого оратора, хотя, как мне кажется, этот вклад был значительным. Вся сложность операции состояла в том, чтобы возможно точнее определить ту часть истины, которую возможно было огласить, не ставя под удар ни наследников Сталина, ни партию, ни режим. Порвать и в то же время продолжить, раскрыть и одновременно утаить; секрет “закрытого доклада” состоял в этой тонкой

дозировке, которую должен был соблюсти докладчик, склонный, однако же, к эффектам.

Сталин был мишенью доклада<sup>16</sup>. Маленков был упомянут один или два раза как исполнитель, но походя. Коллектив членов президиума был оставлен в стороне, так как было сказано, что они были не в состоянии оказывать влияние на принимаемые решения. Берия расплатился за всех, он снова фигурировал в окружении Сталина как воплощение злого начала; впрочем, ему также был приклеен ярлык “агента иностранной разведки”, — свидетельство того, что привычки терроризма сохранялись у тех, кто их разоблачал. В сущности, посмертный процесс Сталина велся весьма выборочно. Он опирался на знаменитое завешание Ленина, которое вновь занимало свое место в истории большевизма, но при этом узаконивалось устранение Троцкого и Бухарина. Бывший генеральный секретарь обвинялся в бесчисленных незаконных репрессиях, но при этом ни слова не говорилось о злодеяниях, сопровождавших коллективизацию. Это объяснялось двумя установками. Во-первых, возврат к Ленину не предполагал осуждения “построения социализма в одной стране”: ведь все руководители XX съезда были детьми этого курса. Речь шла скорее о возврате к ленинскому духу внутри режима, созданного Сталиным: двойственность такой формулы довольно хорошо передает противоречивость затеянного преобразования. Вторая установка, вытекающая из первой, состояла в том, чтобы через посредство делегатов съезда обратиться к партии, но не к обществу. Трудно поверить, что Хрущев действительно думал, что его доклад удастся сохранить в тайне; впрочем, его содержание, а то и полный текст были очень скоро сообщены различным советским дипломатическим учреждениям и братским партиям. Но все-таки он был задуман как внутрипартийный документ. Сталин обвинялся не в том, что он развязал террор против народов СССР, а в том, что он терроризировал, пытал и убивал своих товарищей по партии, начиная с Кирова.

Сообщив окаменевшей аудитории огромное количество ужасающих вещей, Хрущев во второй части своего доклада перешел к критике роли Сталина во время войны. Не удовлетворившись тем, что развалил статую генерального секретаря, Хрущев теперь ополчился против маршала, затронув авторитет Сталина уже не только как руководителя партийной олигархии, но и как вождя народа. Он отказал ему в самой славной странице, вписанной режимом в историю России. Трусость, некомпетентность, хвастовство — таковы, по мнению Хрущева, главные “достоинства” его предшественника, столько прославлявшего себя в качестве великого полководца, отодвигая в сторону всех, кто мог затмить его славу. Более того: Сталин воспользовался условиями войны, чтобы усилить

свою тиранию. Он провел массовую депортацию малых народов, чего совершенно не требовала военная ситуация. Хрущев не проронил ни слова об истреблении украинских крестьян в годы коллективизации, зато говорил о произведенном в 1943—1944 годах переселении калмыков, чеченцев и балкарцев; украинцы, добавил он полушутливо-полутрагически, избегли подобной участи только по причине своей многочисленности. Хрущев был последним, кто мог бы говорить о тоталитарной власти. Но он вызвал ее призрак, как бы для того, чтобы вырвать память о Сталине из самого славного периода его царствования: даже Великую Отечественную войну тиран использовал для того, чтобы сковать новые цепи для народов СССР.

Главный интерес секретного доклада состоит как раз в этом расширении первоначального сюжета. Как и французские термидорианцы. Хрущев хотел пожертвовать частью для спасения целого: торжественно отказаться от террора, признав некоторую часть злодеяний. Но он сделал эту часть слишком большой, так что ему не удалось закрыть вопросы, которые им же были открыты: термидорианцы оказались перед такой же трудностью. История, быть может, когда-нибудь скажет, остался ли докладчик в рамках своего первоначального текста или же эти рамки расширил. Как бы то ни было, но в день, когда секретный доклад был опубликован, коммунизм скорее потерял лицо, чем вступил в новый этап.

Хрущев окрестил разоблаченное им зло “культом личности”. Но эта чисто описательная формула ничего не объясняет в возникновении небывалого зла в партии, члены которой считались борцами за дело, бесконечно превосходящее их личные возможности. У исторических законов могут быть сторонники или противники, но не узурпаторы. Выступая в своей несколько примитивной манере, первый секретарь попал пальцем в главное противоречие большевизма, проявившееся уже при Ленине, ставшее вопиющим при Сталине: место, отводимое политической воле, не соответствовало роли, приписываемой законам общественного развития; свойственная большевизму гипертрофия политической воли и была той колыбелью, в которой вырос “культ личности”. Но, не имея возможности представить этот вопрос иначе, как в обличье марксистско-ленинской терминологии, Хрущев так и оставил его в сыром и нерешенном виде; слушателям предоставлялось собственными силами решать загадку: как совместить “социалистическое” общество с абсолютной властью одного человека, основанной на полиции и терроре?

С таким противоречием, конечно, можно было бы продолжать жить, если бы оно оставалось скрытым. Но секретный доклад извлек его на свет, придав ему характер радикального отрицания.

Ибо он разоблачал как раз то, что раньше расхваливалось и превозносилось на весь мир. Он уличал в убийствах, произволе и некомпетентности человека, которого еще вчера возвеличивали как мирового гения те самые сподвижники, которые ругали его сегодня. Сами факты приобретали противоположный смысл, и надо было принимать их в новом значении без удовлетворительного объяснения со стороны тех, кто еще недавно давали им совершенно иное толкование. Старая сталинская техника манипулирования историей наткнулась здесь на свои пределы, когда ее захотели использовать в противоположном направлении. Начав распутывать клубок лжи, где следовало остановиться? Как убедить мир, что человек, которому вчера поклонялись как гению, был параноиком? Сталин занимал центральное место в коммунистическом движении, и его нельзя было просто так выбросить за борт. Его наследники, сподвижники или неверные дети не могли его умертвить, сами при этом не поранившись.

Таким образом, XX съезд КПСС и закрытый доклад Хрущева явились ярким подтверждением того, что уже стало вырисовываться, начиная с 1953 года: вопрос о “десталинизации”, по тогдашнему выражению, оказался в Москве центром борьбы за политическое наследство. Само слово предполагало отказ, хотя бы частичный, от террора, и наследники поклялись над трупом Берии в том, что больше не будут друг друга убивать; одновременно они начали выпускать на свободу сотни тысяч зеков. Но “десталинизация” включала также “новый экономический курс”, более благоприятный для производства потребительских товаров. Наконец, и это главное, она требовала пересмотра длительного периода в истории Советского Союза и мирового коммунистического движения. За четверть века Сталин не только создал определенное общество и определенный режим, но и придумал для них генеалогию и каноническую доктрину. Лишенный законности по определению, коммунизм сохранял благодаря фигуре своего вождя необыкновенно высокую степень легитимности; в сущности, в этом и состояла главная тайна сталинской России: ей удалось в рамках определенной территории и определенного государства сохранить могущественное, но кратковременное очарование революционной идеи, воплотив ее в фигуре одного человека.

Задним числом нападая на этого человека, как было не разрушить это очарование? Вопрос внушал тем большее беспокойство, чем более обширным и разнообразным было коммунистическое движение. Оно всегда было международным; но до войны помимо Советского Союза оно включало лишь партии, руководство которыми осуществляли кадры, тщательно отобранные по принципу

их верности “центру”, наперекор всем превратностям политики и идеологии. После 1945 года в коммунистический лагерь стали входить также государства, в чьих правительствах коммунисты играли решающую роль. Советско-югославский раскол 1948 года показал, что эти правительства могут поддаться соблазну национальной независимости. Но даже и независимо от себя они должны были считаться с общественным мнением своих стран, где еще была жива память о недолгом празднике обретения свободы в конце войны. Народы СССР, привыкшие к русскому господству и не имевшие либеральных традиций, превратились в застарелых наркоманов деспотизма, и сталинизму было нетрудно утвердиться там надолго. Поляки, чехи, венгры имели не столь восточное историческое наследие, у них за плечами в момент смерти Сталина было всего пять или шесть лет порабощения.

Таким образом, пространство для маневра у кремлевских руководителей сокращалась, в то время как их мощь росла. Десталинизация, ставшая необходимой составной частью процесса передачи власти, наносила ущерб их легитимности, равно как и легитимности всей коммунистической системы. Зайдя в этом направлении слишком далеко, они рисковали подвергнуть опасности единство коммунистического движения, все еще организованного как армия, вооруженная идеологией, а вслед за ним — и советскую империю. Разрыв с Тито был отнесен в 1955 году на счет болезненной подозрительности Сталина; однако хор обличителей Тито после 1948 года был столь мощным и единодушным, что примирение с ним скорее увеличило напряжение, чем восстановило единство. Точно так же резкое, по старой моде, навязывание новой политической линии Кремля вызвало в коммунистических партиях внутренние разногласия, особенно опасные там, где эти партии находились у власти.

Международный аппарат привык к переменам курса, он еще и не такое видел. Но последний поворот был особого рода: он ставил под вопрос не тактику или стратегию движения, но ложь, на которой все базировалось; в нем звучали отголоски речей Троцкого или Суварина; он проводился новым руководством, раскол в рядах которого нетрудно было угадать. Вместо того чтобы принять на себя часть ответственности за сталинский террор, наследники Сталина предпочитали пережить опасность, надеясь что тяжелые для них политические времена минуют сами собой. Они ожидали, что Молотов окажет сопротивление Маленкову, а Ворошилов уравнивает Хрущева. Да и сам секретный доклад, распространенный высшим коммунистическим руководством из Москвы, был рассчитан на то, чтобы побудить сторонников Сталина к упорядоченному отступлению, а не к полемике или контратаке.

Впрочем, в странах центральной и восточной Европы, где коммунистические партии были у власти с 1947—1948 года, либерализация, обещанная из Москвы с весны 1953 года, вызвала у общественности необоснованные ожидания и надежды. Это проявилось незамедлительно в восточной Германии, где рабочие вышли на демонстрации, чтобы протестовать против повышения плановых норм, но также против Ульбрихта и за свободные выборы. Почти повсюду в годы, отделявшие XX съезд от смерти Сталина, “новый курс” привел к выдвижению новых руководителей, потеснивших старых; но он вызвал также такие общественные движения, которые ставили под вопрос уже не те или иные модальности коммунистического режима, но самые его основы: крестьяне выступали против кооперативов, рабочие — против низких зарплат, интеллигенты — против цензуры.

Быть может, именно такое положение, связанное с неуверенностью и неустойчивостью, побудило Хрущева к решительным действиям в феврале 1956 года: после секретного доклада никто уже не сможет сохранять верность Сталину. Однако было незаметно, чтобы первый секретарь мог в тот момент опасаться активного противодействия со стороны поклонников покойного диктатора. Скорее всего, он действительно, как он сам говорил об этом в своих “Воспоминаниях”, учитывал в первую очередь внутреннее положение в Советском Союзе: узники концлагерей все равно вернуться и расскажут. Вырвать культ Сталина из русской истории — задача более трудная, чем критиковать его роль в мировом коммунистическом движении. Для этого нужны были более радикальные средства. Однако именно в странах, где господство Сталина было косвенным и продолжалось всего несколько лет, разоблачение его преступлений внутри СССР вызовет самую прямую реакцию.

Здесь, от Польши до Венгрии, народы узнали на собственном опыте, хотя и в уменьшенных пропорциях, что такое произвол и террор, неотделимые от “культа личности”. Они тоже видели повсюду портреты Сталина. Но их общества еще не были “советизированы”, и политическую самостоятельность человека здесь еще не успели до конца погасить. Крестьянство еще существовало, несмотря на насильственно насаждаемую коллективизацию. Рабочие еще не успели забыть традицию коллективных действий. Прежние господствующие классы скрывались или приспосабливались, но не были уничтожены, как в ленинской России. Прежний мир был еще близок, а довоенная жизнь казалась еще более привлекательной по сравнению с послевоенной. Поляки гордились тем, что удерживают границы католической Европы против русских. Венг-

ры — тем, что были давними союзниками австрийцев и немцев против славян. Чехи пережили период своего расцвета в Европе после версальского мира. Все они помнили о том, как были независимыми и как боролись за эту независимость. Русское господство на время сплотило их общими чувствами.

Вот почему “десталинизация” приобрела на этих окраинах советской империи более драматический характер, чем в самом СССР. Она очень быстро вышла здесь за внутренние рамки коммунистического движения и привела к постановке вопроса о режиме и о судьбе нации. Хрушев, выступая перед делегатами XX съезда, без особого труда провел различие между построением социалистического общества и террором, то есть между полезными и вредными действиями Сталина. Но в Варшаве? Но в Будапеште? То, чего не мог взять в толк старый украинский аппаратчик, — это, в общем, то же самое, чего не мог понять его далекий последователь Горбачев более тридцати лет спустя: сила общественного мнения. Служители режима, где общественное мнение как таковое не существует, они не могли оценить его силу в другом месте, тем более, если это “другое место” находилось в сфере их господства. В 1956 году, как и в 1989, все происходило так, как будто двое великих, двое единственных реформаторов в советской истории, добившись победы во внутрипартийной борьбе, вдруг обнаружили у своих границ, хотя и в пределах своей империи, совершенно иной пейзаж: то, что им удалось тихо и гладко осушить в Москве, грозило, если позволить событиям идти своим логическим путем, привести в Варшаве, Берлине или Праге к взрывоопасным последствиям. Чем более недавним и европейским является режим советского типа, тем его труднее реформировать. Имперская структура на своих западных окраинах показала свою неспособность к эволюции.

Хрушев на всякий случай принял заранее меры предосторожности в отношении территориального наследия: в мае 1955 года так называемый Варшавский пакт закрепил политическое и военное единство советского блока, вплоть до допущения, в случае необходимости, взаимной “братской” помощи. Но секретный доклад Хрушева работал в противоположном направлении. Югославская компартия, горячо поддержав доклад, истолковала его в смысле децентрализации, так что Хрушев, хотя и приступил к роспуску Коминформа в апреле 1956 года, должен был немного спустя подтвердить руководящую роль КПСС<sup>17</sup>. После всех этих аппаратных игр в качестве прелюдии наступили главные испытания для хрушевского курса: сначала польский мятеж, затем венгерская революция. И здесь тоже начиналось с аппаратного конфликта, которому вмешательство народа придало историческое значение.

Действительно, в основе разыгравшихся событий лежал внутренний кризис коммунистических партий, вызванный мерами Москвы: разоблачением незаконных арестов, массовым освобождением заключенных, началом реабилитации. Каждая из республик-сателлитов в свое время познакомилась, пусть на короткий срок и в миниатюре, с политическим террором либо в открытой, либо секретной форме. Так что каждой пришлось теперь, по примеру СССР, объясняться в связи со сделанным, реабилитировать погибших и отпустить тех, кто был арестован по ошибке, причем некоторые из числа последних оказывались готовыми претендентами на власть. В Польше не было больших публичных процессов, типа процесса Райка или Сланского. Но генеральный секретарь партии Гомулка был отстранен в 1948 году, исключен из партии в 1949, затем арестован за правонационалистический уклон в 1951; в 1954 году его вынуждены были освободить, после чего он превратился в символ коммунизма одновременно либерального и национального. За неимением многопартийной системы давление общества осуществлялось изнутри коммунистической партии. Уже на этом этапе “новый курс” привел к тому, что стали всплывать ранее запрещенные вопросы, начиная от истребления руководителей польской компартии в 1938 году<sup>18</sup> и кончая пытками, которые органы госбезопасности применяли к политзаключенным. *Mutatis mutandis*, так же обстояло дело и в Венгрии, где с 1953 года Ракоши, сталинский ставленник и главный организатор процесса Райка, должен был делить власть со своим соперником Имре Надем, противником политики форсированной индустриализации. Москва принудила их к компромиссу: Ракоши удалось остаться руководителем партии, а Надь сделался главой правительства. Таким образом, внутри венгерской компартии образовалось две политические линии. Отличие от Польши состояло в том, что Ракоши сумел после 1955 года вернуть себе всю полноту власти и отсрочить надвигавшуюся расплату.

Когда историк рассматривает краткий период, отделяющий смерть Сталина от секретного доклада Хрущева — менее трех лет, — он испытывает двойственное чувство. С одной стороны, все шло как прежде: все политические решения и все кадровые назначения следовали из Москвы. Но поскольку в Москве все изменилось, коммунистический мир в целом пребывал в неуверенности относительно будущего. Смерть Сталина подтвердила то, что было ясно при его жизни: он был красугольным камнем созданного им мира. Только он мог, опираясь на страх и поклонение, нести тяжелый груз лжи и террора, который он завещал своим наследникам. А они не хотели ни принять на себя тяжесть и риск такого наследия, ни отказаться от него полностью, ни разделить его

между собой. Поэтому вопрос о процессах, чистках, терроре стал главным на протяжении этих лет, когда была поставлена под сомнение сама сущность коммунизма. Причем под сомнение она была поставлена не врагами, что было бы безопасно, но изнутри, соратниками Сталина, что сообщало критике небывалую силу: ведь жертвами сталинской паранойи оказались также и сами коммунисты.

На XX съезде самый смелый и умный из наследников Сталина вскрыл нарыв. Он хотел пожертвовать частью во имя целого, отделить в наследстве то, что принималось, от того, что отвергалось. Эта акция, совершавшаяся понемногу с 1953 года, шла не слишком гладко; теперь, когда ей был придан большой исторический масштаб, ее стабилизирующее воздействие оказалось ничуть не лучшим.

Секретный доклад не блещет политическим анализом: за это его будут упрекать многие, и в особенности марксисты. Но он обладал иными качествами, которые исчезли бы, будь он более философским по тону: его отличали искреннее возмущение и ясность языка, делавшие его единственным в своем роде документом во всей коммунистической литературе. Ему как будто чудом удалось избежать дубового языка и царящей в коммунистическом мире лживости; в силу этого он производил огромное впечатление повсюду и сохранил значение, выходящее далеко за пределы породивших его обстоятельств, что подтвердили последующие события.

Вторая половина 1956 года была в истории коммунизма отмечена выступлениями поляков и венгров. Именно они ознаменовали едва ли не для всей Европы конечный этап великой эпохи советской мифологии. Я не стану подробно излагать события, которые уже описаны в целом ряде хороших книг<sup>19</sup>. Новизна этих двух параллельных историй в том, что они показали, как велико значение вмешательства общественности и народа в национальную политику, даже там, где политика оставалась монополизированной партией. В обоих этих странах сразу после смерти Сталина стали проявляться недовольство и скрытое возбуждение. С 1955 года интеллигенты — журналисты, писатели, профессора, студенты — создавали очаги сопротивления, часто используя для этого официальные институты, созданные режимом для надзора за ними: Союз писателей, литературные журналы, газеты, школы, студенческие ассоциации. Вскоре появилось множество клубов, которые заставляли вспомнить славные часы 1848 года. В Будапеште кружок Петефи<sup>20</sup> объявил войну Ракоши. В Варшаве оппозиционная молодежь группировалась вокруг еженедельника “По просту”, а затем ей удалось создать, в апреле 1956 года, национальную федерацию клубов.

В этой увеличивающейся толпе молодых поборников свободы многие, причем из самых активных, еще вчера были сторонниками диктатуры пролетариата. Если вчера они осуждали демократию как буржуазную иллюзию, то сегодня они требовали демократизации режима. В конце войны они видели в победоносном большевизме залог национального возрождения и социального освобождения; но несколько лет спустя, когда большевизм утвердился у власти, они увидели свои страны оккупированными Красной Армией, а общество — поставленным под контроль НКВД. Начатая в Москве десталинизация давала им еще одну возможность бороться за свою веру и за будущее своих стран: для этого надо было разоблачить и вывести из игры людей и учреждения, запятнавших себя сотрудничеством с агентами Сталина. Для них революция не произошла ни в 1945, ни в 1947 году, — она происходит сейчас, в 1956, в блеске национальных надежд.

Мы наблюдаем возрождение — и гибкость — определенного рода революционного оптимизма, отказавшегося от зачарованности силой, превращавшего его в сырье для марксизма-ленинизма. Бунтовщики лета 1956 года выросли в атмосфере принудительной или добровольной лжи. Ее исчезновение освободило и тех, кто на эту ложь соглашался, и — в еще большей степени — тех, кто в нее поверил; привычка к борьбе завершила дело, а все вместе придало событиям особую радость — радость вновь обретенной правдивой речи. Выступая против советского господства во имя своих обманутых надежд и попранных свобод, эта молодежь не собиралась возвращаться к прошлому или восстанавливать что бы то ни было. Она хотела спасти социалистическую идею от крушения, связанного с историей СССР, обновить дух Октября, освободив его от тирании, порожденной Октябрем. Чтобы заклеить молодых, правящая бюрократия извлекла на свет старый жупел, издавна служивший для отлучения от марксистского социализма, — жупел “ревизионизма”.

Термин “ревизионизм” родился на рубеже XIX и XX веков в полемике между Бернштейном и Каутским с целью осудить тезисы Бернштейна как противоречащие марксизму. Это слово более мягкое, чем “рenegат”, которое Ленин будет употреблять немного позже против Каутского: за короткий срок полемика перешла в брань. Но и в первоначальной форме обвинение означало, что некто дает одновременно новую и ложную интерпретацию учения Маркса. “Ревизионист” — это еретик, проникший в лоно ортодоксальной веры и пытающийся дать ей новое истолкование, отличное от мнения ее авторитетных носителей. Однако в 1956 году слово потеряло свой ясный смысл, вытекавший из аналогии с религией. Теперь оно обозначало совокупность политических идей,

принадлежавших в большей или меньшей степени к социалистической традиции, но которые было бы трудно объединить общим авторством или даже общим духом. Бунтарские и свободолюбивые устремления являлись как бы посмертным торжеством Розы Люксембург над Лениным, но призыв к национальным чувствам не принадлежал ни той, ни другому. Процесс против сталинизма привел к тому, что в умах произошел отказ от идеи “диктатуры пролетариата”, чреватой диктатурой партии; но одновременно вновь возникли дилеммы демократического плюрализма, которые Лениным были скорее затушеваны, чем разрешены. Надо ли их решать на путях реформизма, как это делали западные социал-демократы, или же на путях революции, обновляющей будущее?

И здесь снова появляется идея “советов”. Умершая было после Кронштадта, она воскресла на обломках большевизма в Польше и Венгрии, наполняя ужасом его русских последователей. Она появилась сначала на нескольких варшавских заводах весной, затем была подхвачена осенью в Будапеште. Ее возрождение не столь удивительно, как может показаться, поскольку она, в конце концов, обращалась к двум единственным городским классам, которых режим не то чтобы поддерживал, но которым позволил сохранить сознание собственного существования, — к рабочим и к интеллигенции. Сложилась весьма странная ситуация, когда две активные общественные силы, которые, как считалось, поддерживали коммунизм, выступили против коммунистической диктатуры, позаимствовав при этом ее основополагающий лозунг. На самом деле, “рабочие советы” 1956 года очень мало походили на петербургские Советы 1917 года. Как и их предшественники, они боролись за хлеб и справедливость, но в Польше — также и за свободу католической церкви, и в обеих странах — за национальную свободу. Патриотические гимны там звучали чаще, чем “Интернационал”. Профессора и студенты приветствовали заводских рабочих не как авангард классовой борьбы, но как солдат свободы и национального возрождения.

В обеих странах Советский Союз подавил возмущение почти в одно время, в конце октября — начале ноября, но сделал это разными способами. В Польше коммунистическая партия, потерявшая своего сталинского лидера, волею судьбы умершего в Москве как раз после XX съезда, сохранила кое-какой контакт с либеральными элементами и с демократическим и национальным движением. Она имела в резерве Гомулку, который оказался подходящей фигурой в самый острый момент кризиса: в достопамятные дни 19 и 20 октября 1956 года прибывшие в Варшаву Хрущев, Микоян, Молотов, Каганович, сопровождаемые маршалом Коневым

и синклитом генералов, согласились в конце концов, в обмен на дипломатические и военные гарантии, принять Гомулку как меньшее из зол, дабы ввести в рамки революционное движение. Уже в следующем году выяснилось, что риск, на который они пошли, себя оправдал.

В Будапеште русские не избежали вооруженного вмешательства. Здесь коммунистическая партия, возглавляемая Ракоши, самым ненавистным из сталинских сатрапов, была полностью изолирована от общества. У этой страны, в отличие от Польши, не было исторических причин идти на компромисс с Россией из страха перед Германией. В июле советское руководство не нашло для замены Ракоши никого другого, кроме его сподвижника Эрне Гере. Такое назначение только усилило возбуждение. Ситуация вышла из-под контроля с начала октября, когда весь Будапешт устроил Райку национальные похороны. Положение усугубилось во второй половине месяца, когда члены рабочих советов, студенты, члены всевозможных клубов и организаций, выросших, как грибы после дождя, вышли на улицы: толпа разрушала памятники Сталину, заняла радиостанцию, убивала агентов политической полиции. Было слишком поздно даже для вмешательства Имре Надя, венгерского Гомулки: революция нарастала и перешла от лозунга национального демократизированного коммунизма к требованию вывода советских войск, ликвидации монополии одной партии и восстановления демократического плюрализма, в то время как Надь, не обладавший какой-либо реальной силой, вел мучительные переговоры с советской стороной, стремясь расширить границы того, что ему было бы позволено сделать. Лишенный возможности влиять на восставших, он не имел веса для русских. В конце концов, 4 ноября в дело вмешались советские танки, раздавившие народную революцию, якобы в ответ на просьбу генерального секретаря партии Кадара, заменившего на этом посту Гере 24 октября. Кадар сначала шел в одной связке с Надем, но затем, как раз утром 4 ноября, резко сменил позицию и тайно вылетел в СССР, чтобы сформировать там новое «рабоче-крестьянское» правительство. Финал этой истории мог бы быть придуман самим Сталиным: когда «порядок» в Венгрии был восстановлен с помощью методичных репрессий<sup>21</sup>, советские власти заманили Надя в ловушку; арестованный, он был вывезен на Восток, где его судили закрытым судом и расстреляли вместе с тремя товарищами в июне 1958 года<sup>22</sup>.

Таким образом, с подавлением венгерской революции, казалось, вернулись самые мрачные дни сталинизма. Для довершения сходства, вся операция была облечена в чисто оруэлловскую фразеологию: речь, мол, идет о братской помощи венгерскому рабо-

чему классу, борющемуся против контрреволюции. Однако внешний контраст между “либеральным” решением польского кризиса и катастрофическим исходом венгерского восстания был обманчивым. И не только потому, что в обоих случаях восторжествовала советская геополитика и границы “социалистического лагеря” оказались неприкосновенными. Но главным образом потому, что оба коммунистических режима, порожденные событиями осени 1956 года, вскоре стали настолько сходными между собой, что этого никак нельзя было бы предположить, исходя из условий их возникновения: Гомулка оказался меньшим либералом, а Кадар — меньшим сталинистом, чем думали те, кто поставил их у власти. И тот и другой были старыми партийцами, прошедшими тяжелую школу безусловной верности СССР; оба были подвергнуты аресту (а Кадар — еще и пыткам) той самой тоталитарной властью, установлению которой они способствовали, каждый в своей стране; оба, после смерти Сталина, вышли из перенесенных испытаний с прежними убеждениями, хотя и с желанием, чтобы их дети жили при менее зверской форме “диктатуры пролетариата”. Они станут воплощением новой разновидности этой диктатуры, авторитарной, полицейской, мрачной, но все-таки пригодной для жизни в самом элементарном смысле: обществу была предоставлена минимальная автономия по отношению к государству. При условии, что общество не будет выказывать открытой враждебности партии, ему было позволено не верить тому, что она говорит, и не аплодировать тому, что она делает. Развязав самый большой кризис в истории коммунизма, десталинизация показала, в деяниях своих прозаических победителей, ограниченность своих замыслов, соответствовавших ограниченности ее возможностей.

Доклад Хрущева привел к возникновению множества вопросов не столько своим текстом, чисто описательным и ретроспективным, сколько своими последствиями. Присовокупив к коммунистическому словарю выражение “культ личности”, он ввел новую графу в список уклонов, заклеив этот уклон в соответствии с принятыми правилами. Но в данном случае такой номинализм оказался недостаточным, чтобы нейтрализовать сделанные разоблачения. В докладе не сходились концы с концами, объяснения не соответствовали обнародованным фактам: Сталин сыграл слишком большую роль в истории коммунизма, он был слишком прославлен как воплощение всеобщих законов истории, чтобы остаться в революционном поминальнике таким, каким при жизни его рисовали только злейшие враги.

Ибо культ личности, по Хрущеву, связан только с особой формой паранойи, которой страдал тот, кто присвоил себе всю полно-

ту неограниченной власти. Хрущев перенес на одного человека, на его психологию, вину за бесчеловечность всего режима. Разоблачая сталинизм в терминах сталинизма, Хрущев избегал трудностей анализа и неприятных признаний. В свое время Клод Лефор очень хорошо сказал об этом: "...Новое руководство, клеймя культ личности, даже не задается вопросом, как он мог развиться; обычно культ существует благодаря тем, кто его поддерживает, но нам представляют культ Сталина как дело его собственных рук... Совершенно очевидно, что такого рода объяснениями современные руководители не освободились от достопамятного культа, а лишь перешли, так сказать, от культа позитивного к культу негативно-му..."<sup>23</sup> Такой подход не только избавлял от необходимости объяснения, но делал невозможным именно марксистский анализ. Доклад Хрущева, подтвердив устами самого высокого представителя коммунистической власти множество ранее замалчиваемых или отрицаемых жесточайших деяний этой власти, не сказал ничего, что позволило бы по-новому осмыслить прошлое и будущее коммунистического движения. Того, что было сказано относительно прошлого, вполне хватило, чтобы скомпрометировать всех коммунистов и сторонников коммунизма во всем мире, не дав им никаких возможностей для объяснения, каким образом СССР, объявлявшийся отечеством рабочего класса и страной, где получили научное воплощение законы истории, мог почти случайно оказаться во власти кровожадного тирана. Что касается будущего, то призывы вернуться к Ленину или к ленинским нормам были лишены смысла и звучали просто как заклинания; к тому же, они уже были использованы Сталиным. Они не определяли никакой политики.

В действительности, судьба XX съезда и секретного доклада зависела не от отношения к наследию Ленина, а от возможности управлять тем, что было получено из рук Сталина. Ни один текст Ленина, по понятным причинам, не мог служить руководством для управления советской империей. Ибо, вопреки видимости, эта империя была создана Сталиным и управлялась им в соответствии с более поздней, чем ленинизм, и чуждой ему логикой построения "социализма в одной стране". Советская империя была задумана и организована как защитный вал вокруг Советского Союза, вал, состоящий из стран с режимами, идентичными советскому, и жестко подчиненными контролю Москвы во всем, в том числе и во внутренней политике. Крайняя централизация коммунистического движения никогда не была более беспощадной, чем в послевоенные годы, когда "социализм" распространился на несколько стран, оставаясь повсюду копией советской модели и продолжением ее военной мощи. СССР представлял одновременно и как осаж-

денная крепость, и как мировая сверхдержава, более, чем когда-либо, делая ставку и на слабость, и на силу.

Эффектная самокритика Хрущева в Белграде в мае 1955 года с последующим секретным докладом (где Тито был еще раз “реабилитирован”), роспуск Коминформа и советско-югославская декларация от июня 1956 года<sup>24</sup> продемонстрировали решимость покончить с политикой зависимости иностранных компартий от Москвы. Так что Тольятти, как мы видели выше, даже заговорил о “полицентризме” в интервью, опубликованном в тот же день, что и текст, подписанный в Москве Тито и Хрущевым. Но неделю спустя, безусловно, под давлением неприятных известий из Польши<sup>25</sup>, был дан задний ход: “Правда” выступила с критикой Тольятти и напомнила о “руководящей роли” СССР в коммунистическом движении.

Этот эпизод характерен для неуверенности и колебаний, с которыми проводилась десталинизация в организационной системе международного коммунизма. И здесь тоже выступление Хрущева на XX съезде привело скорее к развалу, чем к перестройке. С одной стороны, Тольятти, опираясь на примирение между Москвой и Белградом, пытался создать полюс, относительно независимый от Москвы. С другой, — наиболее колеблющиеся руководители компартий, во главе с Торезом и Ульбрихтом, опасались, что секретный доклад приведет к ослаблению или распаду коммунистического мира, и оказывали давление на Хрущева, чтобы он не слишком упустил доставшиеся ему от Сталина международные прерогативы. Парадоксально, но именно десталинизация, которая им не нравилась, придавала особый вес их мнению. Ослабив централизацию международного коммунистического движения, она позволила тем, кто испытывал ностальгию по великой эпохе, оказывать большее влияние в ходе внутренних собраний и совещаний. Когда они высказывали сожаление по поводу исчезновения дисциплины, царившей во времена Коминтерна и Коминформа, они пользовались преимуществами, которые им давало как раз ослабление дисциплины.

Наконец, китайская компартия заняла чрезвычайно значительное место в международном раскладе коммунистических сил. Этим местом она была обязана одновременно и международному весу Китая, и самостоятельной победе в революции 1949 года, и личному влиянию Мао Цзэдуна. В свое время Сталин забрал в свои руки все рычаги управления движением. Однако китайская компартия не была в восторге от осуждения культа личности на XX съезде. Ведь Мао в сталинскую эпоху тоже был в своей стране предметом поклонения, как все национальные вожди. А после смерти Сталина он мог надеяться получить первую роль. Кто бы

мог ее оспорить у руководителя “Великого похода”? С окончанием Корейской войны, с 1954 года, уменьшилась зависимость Китая от Советского Союза. И вожди китайской компартии, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай, стали пользоваться особым влиянием при принятии решений в международном коммунистическом движении. Хрущев отправился на встречу с ними уже осенью 1954 года. Они поддержали польскую автономию и назначение Гомулки, но также — ввод советских танков в Будапешт (впрочем, то же сделали чешская, румынская, болгарская и восточногерманская партии). В конце года китайские руководители опубликовали в газете “Жэньминь жибао” от 29 декабря амбициозный “теоретический” текст под широковещательным заголовком “Новые соображения об историческом опыте диктатуры пролетариата”. Он давал отпор речи Тито, произнесенной 11 ноября, в которой югославский лидер, соглашаясь с печальной необходимостью советской интервенции в Венгрии, выражал сожаление, что Кадар не сумел опереться на “советы рабочих”. На что китайская газета отвечает, что “империализм” был главным виновником венгерского восстания; затем она пытается ввести критику Сталина в умеренные рамки. Если с его стороны и имела место тенденция к “великодержавному шовинизму”, то есть к господству над соседями и даже друзьями, то все равно, “если уж надо обязательно говорить о сталинизме, то следует сказать, что сталинизм — это прежде всего коммунизм, то есть марксизм-ленинизм”<sup>26</sup>.

Таким образом, советское вторжение в Венгрию вызвало комментариим, которые доходили до того, что более или менее явно ставили под вопрос то, что сказал Хрущев на XX съезде. В этом не было ничего удивительного, поскольку венгерское восстание в конце концов поставило перед коммунистическим движением, включая и сталинистов, и антисталинистов, вопрос жизни или смерти. Процесс вышел за рамки, которые были ему первоначально предписаны на XX съезде: обновление коммунизма. Предполагалось, что этот обновленный коммунизм останется в сфере советского господства, но Надь кончил тем, что потребовал для своей страны статуса нейтральности. Предполагалось, что власть сохранится в руках одной лишь коммунистической партии с союзниками, но Надь кончил тем, что ввел политический плюрализм. Первый раз после 1917 года в Венгрии появился призрак возвращения от социализма к капитализму<sup>27</sup>. Тито в 1948 году, даже изгнанный из социалистического лагеря, ни на минуту не помышлял о том чтобы отказаться от монополии партии. А Надь создал прецедент коммунизма, более опасного, чем национальный: коммунизма самоубийственного.

Итак, события 1956 года подтвердили неспособность Хрущева и его друзей предложить в своем собственном лагере новую политику, которая вытекала бы из разоблачений, сделанных на XX съезде. Оказалось, что “десталинизация” — это и не философия, и не стратегия, и не идея, и не программа. Слово обладало только разрушительной силой, оно сеяло один лишь беспорядок. Заявленная как пересмотр прошлого, десталинизация поставила под вопрос две движущие силы советского режима: идеологию и террор. Гневу общественного мнения — тому, что от него еще осталось, — были отданы главные деятели системы, прошедшие долгую и трудную школу, в то время как их жертвам была предоставлена некоторая свобода. Возникла ситуация, гораздо более сложная, чем если бы авторитарный режим пытался либерализоваться; потому что данный режим делал совсем другое: он отказывался от своего прошлого и предоставлял слово своим жертвам, при том, однако, условии, что они снова согласятся оставить власть в руках партии, которая их ранее преследовала. Такое условие, предполагавшее сохранение некоего минимума террора, не позволило критикам Сталина обновить репертуар коммунистического движения. Будапештское восстание показало, что они зашли в тупик и что их возможности сузились. Выступление Мао Цзэдуна окончательно это подтвердило.

Этот год, важнейший в истории коммунизма, подвел двойной итог: начался распад блока и пришел конец мифу о единстве, служившему ему знаменем.

Хрущев стремился к расширению. Посредством примирения с Тито он надеялся установить между коммунистическими партиями более равные и истинные взаимоотношения; и даже привлечь в “лагерь мира и социализма” — помимо Югославии, ставшей дружественной, но сохранившей подозрительность, — политически туманные страны третьего мира, чьи пристрастия к социализму имели мало общего с ортодоксальным учением. Поскольку десталинизация должна была усилить моральный авторитет Советского Союза, предполагалось, что мирное сосуществование приведет к тому, что число стран, находящихся под ярмом империализма, будет сокращаться, как шагреневая кожа. Такое предположение оказалось вдвойне иллюзорным, потому что обвинения против Сталина распространились на его обвинителей, а ослабление военной угрозы лишало оснований требование централизации.

В конце 1956 года все эти процессы привели к логическому завершению. Коммунистический мир оказался разорванным между наиболее последовательными сторонниками десталинизации и ее противниками. Первые кончили тем, что поставили в Венгрии под вопрос сами основы коммунистического режима. Вторые своим

сопротивлением новому курсу Москвы подрывали ту самую традицию крайней централизации, о которой в тайне сожалели. Оба лагеря общими силами прокладывали путь “полицентризму”.

На общее ослабление авторитета Москвы наложилось растущее влияние революционного Китая и личности Мао — единственного коммуниста, который, наряду с Тито, но в гораздо большем масштабе, впервые после Ленина пришел к власти собственными силами. Другие республики-сателлиты получили ее с помощью Красной Армии. Только Тито захватил власть самостоятельно сразу после разгрома нацизма и помимо Сталина<sup>28</sup>. Мао на протяжении всей своей деятельности руководил китайской компартией независимо от Москвы; размеры Китая делали эту независимость огромной потенциальной угрозой раскола. Наследники Сталина это понимали, но, не желая отказываться от своих прерогатив в международном рабочем движении, очень долго не могли найти иного средства от этой угрозы. Мао поддержал их во время венгерских событий, но при этом напомнил о некоторых моментах марксистского учения, что исподволь придало его поддержке условный характер. Китай сам по себе был слишком велик, его население слишком многочисленно, геополитическое положение слишком центрально, чтобы он мог стать в мировой политике покорным партнером СССР. Хрущевская десталинизация предоставит ему идеологическое пространство для утверждения своей государственной независимости.

Таким образом, это был конец “социализма в одной стране”. Система оставалась такой же, несмотря на югославский раскол и поглощение национальных государств центральной и восточной Европы империей, почти столь же централизованной, как и Советский Союз. Но смерть Сталина и последовавшая “десталинизация” освободила центробежные силы благодаря ослаблению террора и допущению некоторых расхождений внутри идеологии. Движение, начавшееся, что вполне естественно, на европейской периферии империи, удалось обуздать, но не прекратить: восстания 1953—1956 годов оставили в этой части коммунистического мира, в том числе и в самих компартиях, такие воспоминания, которые невозможно было забыть. Национальные чувства, требования демократии, желание жить лучше будут почти повсюду, хотя и в различной мере, питать центробежные устремления, которые СССР сможет сдерживать, но не погасить; при этом он будет более терпим к лидерам националистического толка, как Чаушеску, чем к “либералам”, вроде Дубчека. Наконец, открытые разногласия с Китаем, который в Европе был представлен маленькой Албанией, уже в 1960 году показали, что даже общей враждебности к

“империализму” было недостаточно, чтобы поддержать единство лагеря, который клялся не только общим учением, но и общим, ленинским, истолкованием этого учения.

Так, в новой ситуации, рассыпался советский миф марксизма-ленинизма, подвергавшийся атакам с двух сторон: китайцами и югославами, албанцами и итальянцами; так отступала коммунистическая идея под натиском плюрализма. В свое время Троцкому не удалось вдохнуть политическую жизнь в левый антисталинизм. После Польши и Венгрии, и уже после смерти Сталина, Тито и Мао, объединенные хотя бы общим предметом критики, сумели придать реальность антисоветскому коммунизму. Коммунистическая идея еще сохраняет силу в мире, но ее территориальное воплощение уже не бесспорно. Москва перестала быть Римом.

Наступил час “ревизионизма”: это слово лучше всего выражало происходившее потрясение основ. Для советского коммунизма оно означало начало конца, но в нем не содержалось указания на возможную замену; в отличие от первоначального смысла, направленного на то, чтобы выбросить несогласного за пределы ортодоксии, теперь оно было у всех на устах и употреблялось обеими сторонами в ряду других обвинений, так что размывалось само представление о неизменном образце. Хрущев избегал слова “ревизионизм”, предпочитая опасной идее “пересмотра” успокаивающий лозунг возврата к ленинизму, как если бы теперь единственной путеводной нитью для революции оставалась ее традиция. Нелогичность такой позиции была связана с тем, что Хрущев, независимо от себя, был скорее продолжателем, чем обновителем. Ему досталось гигантское наследие, куда входили: разрушенное сельское хозяйство, бюрократическая индустриализация, новое общество, советская империя вплоть до Праги, гонка вооружений, окаменевшее в рабстве коммунистическое движение. Возврат к Ленину зависел от него так же мало, как от Людовика XVIII — возврат к “старому режиму” в 1814 году. Нападая на Сталина, он в действительности, сам того не ведая и не желая, открывал путь к “ревизии”.

Первой на этот путь вступила Югославия — в 1948 году, и примирительный визит 1955 года признал за ней это право, которым, впрочем, югославы пользовались умеренно, поскольку и Джилас<sup>29</sup>, и после него Кардель<sup>30</sup> были осуждены Тито за то, что критиковали политическую монополию партии. Год спустя польские и, в еще большей степени, венгерские события показали недостаточность простого “исправления” ошибок прошлого. Помимо вопроса о терроре, были поставлены вопросы о нищете рабочих, отсутствии политической демократии, национальном угнетении. В обоих случаях размах движения был остановлен только геопולי-

тическими императивами и интересами Советского государства. В результате идея социализма, восстановившего союз с демократией и нацией, пережила свое поражение и сохранила силу, тем более, что ее открыто поддержали интеллигенты и рабочие. Она продолжала свою работу в обществах центральной и восточной Европы и даже внутри коммунистических партий.

С противоположной стороны, Мао и китайские коммунисты, на протяжении последующих лет, изо всех сил старались бороться против этой опасности, отныне постоянно угрожавшей идеологии движения; сначала, в 1956—1957 годах, они помогали советским товарищам заделывать брешь, затем стали требовать для себя монополии в отстаивании ортодоксии. Единству грозили теперь не решения XX съезда, введенные в жесткие рамки, а критика, которой стали подвергаться деятели XX съезда. И вот уже сам Хрушев превратился в образцового “ревизиониста” в самом классическом смысле этого слова: могильщика коммунизма. Запуск спутника не сможет загладить это начало идеологического распада, в котором обнаружилась даже своя фарсовая сторона в виде выступления Албании в качестве европейской блюстительницы марксистской “ортодоксии”. Коммунистическая идея ненадолго пережила целостность коммунистической империи и смерть ее основателя.

Разлагающий эффект секретного доклада можно наблюдать, наконец, и в западном коммунизме на примере двух самых крупных партий, итальянской и французской. Между ними никогда не было особой близости; но с конца войны они, в общем и целом, шли параллельными курсами и вели сходную политику, поскольку подчинялись общему центру и, в качестве братских партий, волей-неволей вместе вели борьбу в тылах противника.

Однако смерть Сталина создала новую ситуацию<sup>11</sup>. Торез и в еще большей степени Тольятти были ветеранами Коминтерна, вождями, чей авторитет был велик не только в их странах, но и в Москве. Преданные сподвижники Сталина, они не желали, хотя и по разным причинам, склонить голову перед Маленковым или Хрущевым. Они были достаточно хорошими знатоками дубового языка, чтобы понять, какое блюдо готовилось в Москве, начиная с 1953 года, под вывеской “коллективного руководства” и мирного сосуществования. Секретный доклад в феврале 1956 года показал, кто вышел победителем, во всяком случае, в данный момент, и какую цену надо заплатить, чтобы оказаться в его лагере: надо было присоединиться к разоблачению культа Сталина. Коммунистическое движение децентрализовалось *de facto* в тот момент, когда предоставило своим владельцам баронам самый сложный в их жизни выбор: самостоятельно определить, кем же они являются сами по себе.

Торез и Тольятти очень рано узнали о содержании секретного доклада, еще во время своего пребывания в Москве. Партии, которые они возглавляли, были слишком мощными, слишком прочно обосновавшимися в своих странах, чтобы даже такая масштабная “ревизия” могла угрожать их существованию, как это произошло с американской компартией<sup>27</sup>. Но как маневрировать, чтобы минимизировать ущерб, как дистанцироваться от этого самого “культа личности”, которому они служили и подражали, благами которого пользовались? Как показал в своей книге Марк Лазар, оба лидера весной 1956 года прибегли к одинаковой тактике: они заранее старались пожертвовать частью для спасения целого и, пользуясь тем, что полный текст секретного доклада еще не был известен, указывали на ошибки Сталина, но при этом напоминали также о его заслугах в построении советского социализма и в одержанных им победах. Они с одинаковым презрением относились к непрофессионализму Хрущева, подвергнутому неоправданному риску коммунистическое движение и их лично. Однако, начиная с июня, когда “разоблачения” советского первого секретаря были опубликованы *in extenso*\* и стали известны широкой публике, два руководителя избрали разные пути. Тольятти дал свое знаменитое интервью в “Нуови Аргументи”, которое сразу поставило его в ряды “ревизионистов” бок о бок с Тито; он наметил менее узкое, чем хрущевское, истолкование “культа личности”, указав на бюрократическое перерождение советского режима, и поддержал идею “полицентризма” коммунистического движения<sup>28</sup>. Что же касается Тореза, то он продолжал говорить о докладе, “приписываемом товарищу Хрущеву”, и старался закрыть едва открытое досье Сталина. Он опирался на негативную реакцию советского руководства на интервью Тольятти. Делегация французской компартии, отправившаяся за разъяснениями в Москву, вернулась оттуда с резолюцией советского ЦК от 30 июня, где, по сравнению с секретным докладом, уже делался шаг назад в разоблачении “ошибок” Сталина и в противовес Тольятти подчеркивалась руководящая роль СССР в международном коммунизме.

Обе партии, и итальянская, и французская, поддержали в ноябре ввод русских танков в Будапешт, первая — с сожалением, вторая — с облегчением. Венгерское восстание ФКП расценивала исключительно как заговор империалистов, а ИКП говорила также об ошибках венгерских коммунистов. Обе знали о фрондировании своей интеллигенции, но ИКП делала упор на публичную дискуссию, а ФКП — на авторитарное давление и исключение из пар-

\* Полностью (лат.). — Прим. пер.

тии. По существу их позиции не так уж и расходились, поскольку Тольятти не менее твердо, чем Горез, отвергал идею “буржуазных” свобод и отстаивал “демократический централизм” внутри партии. Но когда речь идет об ортодоксии, малейшие нюансы приобретают значимый характер. Достаточно было Тольятти на VIII съезде ИКП вспомнить старую песню об “итальянском пути к социализму”, чтобы французские товарищи устами Роже Гароди тут же указали ему на опасность оппортунистического уклона<sup>4</sup>. Менее года спустя после секретного доклада также и на Западе все происходило так, как будто наиболее отчетливым результатом десталинизации был не более правдивый взгляд на прошлое, а новая расстановка сил. За время, прошедшее после смерти Сталина, коммунизм освободился не столько от взращенной им лжи, сколько от его железной хватки, которая удерживала вместе различные его течения.

Тем самым проявилась характерная черта коммунизма, которой предстояло полностью раскрыться тридцать с лишним лет спустя, во времена Горбачева: его неспособность к реформированию. Он допускает кое-какие маневры внутри идеологической системы с целью уступок национальным различиям. Но роль, которую продолжает играть “ортодоксальность” учения, затрудняет такие маневры и одновременно придает нелепую значительность малейшим отклонениям; коммунистический мир утрачивает свою целостность, не переставая базироваться на всеобщей лжи. В результате возникли русский коммунизм и коммунизм китайский, коммунизм восточногерманский и коммунизм югославский, коммунизм итальянский и коммунизм французский, и т.д. Все они принадлежали к одной семье, но каждый стремился присвоить наследство себе, и объединяло их, пожалуй, только то, что их разделяло; после смерти Сталина “ревизионисты” были повсюду, а это значило, что их не было нигде. Все это в совокупности ослабляло и разрушало основополагающий миф.

Когда началось это бесконечное латание дыр, занимавшее западных левых вплоть до исчезновения коммунистических режимов, появился советский писатель, который взял на себя миссию произнести надгробное слово. Мы уже упоминали его имя: речь идет о Василии Гроссмане. В то время его еще не знал никто на Западе, где его книги не переводились. В Советском Союзе никто не подозревал о глубоком моральном кризисе, который писатель пережил между 1952 и 1960 годом и который отделил его от коммунизма и даже от России. Ибо книга, которую он написал в эти годы и в которой отразилась его внутренняя драма, будет опубликована много лет спустя и сначала на Западе, в 1980 году. Таким

образом, Гроссман не оказал на своих современников, как в России, так и на Западе, никакого влияния, ни интеллектуального, ни политического. Для меня его значение связано не столько с посмертным признанием его таланта, сколько со стремительным превращением советского писателя в писателя антисоветского: это был первый случай такого рода в послевоенные годы, Солженицын пришел немного позже, но зато вызвал громкий резонанс.

Василий Гроссман был русским евреем, родившимся в 1905 году в Бердичеве, самом центре еврейской черты оседлости Российской империи. Получив техническое образование в Киеве, затем в Москве, он несколько лет проработал инженером, прежде чем, получив одобрение Горького, уступить своему литературному призванию. В 1935 году он опубликовал свой первый сборник рассказов, куда вошел и напечатанный годом раньше рассказ “В городе Бердичеве”<sup>35</sup>. Заглавие рассказа заставляло ожидать еврейской истории, на самом деле речь в нем шла о другом. В один из центров хасидизма, словно наперекор духу этих мест, писатель поместил свою героиню-большевичку, военного комиссара Вавилову. Действие рассказа происходит в 1920 году, когда контрнаступление польских войск грозило захватить западную Украину. Вавилова беременна, и в перерыве между боями она рождает мальчика Алешу; с этого момента ее разрывает внутренняя борьба между материнской любовью и страстным желанием вновь принять участие в сражениях. Евреи присутствуют в рассказе лишь для создания местного колорита: ссоры женщин, нерешительность мужчин, не знающих, на чью сторону встать, узость семейных нравов. Рассказ соответствует духу и установкам советского режима: Гроссман здесь выступает не как русско-еврейский писатель, но как писатель советский.

Такая позиция вполне удобна, стоит лишь пожертвовать своей независимостью. Она обеспечивает члену Союза писателей общественное положение и относительное материальное благополучие. Впрочем, цинизм Гроссману был не свойствен: он добросовестно разрабатывал партийные темы, верил в то, что проповедовал, и стремился облагородить свои сюжеты хорошей литературной техникой с опорой на толстовскую традицию. Гражданская война, интервенция, русско-японская война, производственная тематика, колхозы, революция, военные и гражданские подвиги большевиков, — и по содержанию, и по форме Гроссман был хорошим тружеником на ниве социалистического реализма<sup>36</sup>. В отличие от Солженицына, он не вступил в литературу как бунтарь. Он нашел в ней свое теплое место, и дух возмущения овладевал им постепенно.

Война должна была бы закрепить принадлежность к советской литературе этого еврейского уроженца польско-украинской окраины. На самом деле она начала разворачивать его в другую сторо-

ну. В течение четырех лет Гроссман следовал за Красной Армией в качестве корреспондента главной военной газеты “Красная звезда”. Он был одним из тех, кто лучше всего узнал апокалиптическую фронттовую реальность, ужасное отступление советских войск, Сталинград, сокрушительные контрудары Красной Армии, за два года приведшие ее к Берлину. Он получил полное представление и о русском патриотизме, и о масштабе нацистских преступлений на оккупированной территории. В одном из своих военных очерков он пытался изобразить “ад Трелинки”<sup>37</sup>. Писатель прибыл с советской армией на место, где был лагерь, в начале сентября 1944 года, то есть почти год спустя после того, как немцы “закрыли” лагерь и попытались уничтожить его следы. Но Гроссман осматрелся, заподозрил неладное, навел справки и догадался об индустриальных масштабах творившихся здесь преступлений. Его статья, опубликованная в журнале “Знамя”, стала одним из первых значительных свидетельств о лагерях уничтожения в восточной Польше — Трелинке, Собиборе, Бельзееке, Биркенау<sup>38</sup>. Ни один профессиональный журналист не сказал лучше Гроссмана о том, что решалось в ходе антинацистской войны, ни у кого не хватило воображения и мужества, чтобы так представить себе трагедию евреев и так о ней написать.

О том же свидетельствует другой текст, несколько более ранний. Это рассказ<sup>39</sup>, опубликованный в 1943 году; его действие происходит в июне 1942 года в украинском городке, похожем на родной город Гроссмана, в момент, когда туда приходят немецкие войска и устанавливают оккупационный режим. Повествуется об уничтожении местных евреев, которых сгоняют к ближайшему оврагу и там расстреливают; герой рассказа, старый учитель, мудрый, как раввин, объясняет обреченным на смерть соотечественникам, “что происходит в мире: “Фашисты создали всевропейскую всеобщую каторгу и, чтобы держать каторжан в повиновении, построили огромную лестницу угнетения. Голландцам живется хуже, чем датчанам, французам хуже, чем голландцам, чехам хуже, чем французам, еще хуже приходится грекам, сербам, потом полякам, еще ниже — украинцы, русские. Это все ступени каторжной лестницы. Чем ниже, тем больше крови, рабства, пота. Ну, а в самом низу этой огромной каторжной многоэтажной тюрьмы находится пропасть, на которую фашисты обрекли евреев. Их судьба должна страшить всю великую европейскую каторгу, чтобы самый страшный удел казался счастьем по сравнению с уделом евреев. Ну вот, мне кажется, страдания русских и украинцев настолько велики, что подоспела пора показать, что есть судьба еще страшней, еще ужасней. Они скажут: “Не ропщите, будьте счастливы, горды, рады, что вы не евреи!”<sup>40</sup>

Аргументы старого учителя значат не более того, что они значат. Но они, во всяком случае, показывают, что Гроссман был одним из самых первых писателей своего времени, который задался вопросом о геноциде евреев, кто постарался передать не только жестокость палачей, но и отчаяние жертв. “Ну что ж, — сказал Мендель-печник, — это судьба. Соседка сказала моему Яшке: “Яшка, ты совсем не похож на еврея, беги в деревню”. Мой Яшка сказал ей: “Я хочу быть похожим на еврея; куда поведут моего отца, туда пойду и я”. Гроссман как этот ребенок: он хочет быть “похожим на еврея”, несмотря на советскую ортодоксию<sup>41</sup>.

Однако он не стал еврейско-русским писателем, как Бабель. Он пожелал быть русским писателем, как Чехов, как Толстой, служившие ему образцами. И главной темой его жизни оставалось величие русского народа, проявленное среди величайших исторических испытаний. Гроссман был вместе с Красной Армией в Сталинграде, там у него и родился замысел произведения, которому он посвятит всю оставшуюся жизнь. Это была книга, задуманная по образцу “Войны и мира”, роман-река с сотней персонажей и перекрещивающимися сюжетными линиями, изображающий народ на войне, но в центре должна была находиться одна семья. Сталинградская битва оказывается высшей проверкой для всех; этот город-мученик должен был дать свое имя роману, но по требованию властей название было заменено на более тусклое и более “советское” — “За правое дело”. Такой заменой власти хотели в послевоенный период поставить на место автора, начавшего вызывать подозрения. Объемистая рукопись испытала цензурные трудности в период между 1945 и 1952 годами. Сначала, еще до своего завершения, роман публиковался фрагментами, а затем был остановлен, потому что в нем слишком мало говорилось о Сталине и слишком много — о евреях<sup>42</sup>. Наконец, он вышел в 1952 году последовательными частями, был хорошо принят читателями, но подвергся разгрому в прессе, как это принято в Советском Союзе, по указанию свыше. Обо всем этом подробно рассказано в двух книгах С. Маркиша и С. Липкина, на которые я опираюсь.

Была ли для писателя спасением смерть Сталина, последовавшая вскоре? И да, и нет. Да, если считать, что она позволила ему избежать ГУЛага. Нет, если думать, будто с публикацией его книги отдельным изданием в 1954 году она вернула его в ряды советской литературы. Ибо он уже сделал свой выбор и двигался в противоположном направлении. Оказавшись в изоляции, он усугубил свое одиночество. Когда, в период “коллективного руководства”, вышел его роман “За правое дело”, он уже начал переписывать свое произведение. Под предлогом создания второго тома, посвященного самой Сталинградской битве<sup>43</sup>, он писал новую версию:

сюжет, персонажи, да и замысел остались прежними, но теперь были отброшены осторожность и половинчатость, а заглавие было и в самом деле толстовским — “Жизнь и судьба”. “Как учит нас русская традиция, — сказал Гроссман одному другу, — эти два существенные должны соединяться союзом *и*”<sup>44</sup>.

Что же отделило Гроссмана, написавшего “За правое дело”, от Гроссмана — автора “Жизни и судьбы”? Гроссмана послевоенных лет, взятого на подозрение, но все-таки еще советского писателя, ходящего из журнала в журнал, чтобы опубликовать свою книгу, и идущего на компромиссы с цензурой, — от Гроссмана послесталинской поры, как будто бы выигравшего игру, но в действительности ушедшего во внутреннее изгнание, пишущего новую книгу, из советского писателя ставшего писателем русским? “За правое дело” появилось, хоть и отдельными выпусками, еще при Сталине. Рукопись “Жизни и судьбы” была арестована уже при Хрущеве, в феврале 1961<sup>45</sup>. Красноречивый контраст, говорящий и о проделанном Гроссманом пути к свободе, и о противоречиях хрущевизма.

В действительности, сам роман достаточно ярко показывает истоки разочарования автора: оно было связано с войной, с ее жертвами и надеждами. Мобилизовав мужество и стойкость русского народа на защиту родины, война сделала его также защитником свободы, поскольку врагом была гитлеровская Германия<sup>46</sup>. Война была не только антинацистским крестовым походом, но также демократическим искуплением прошлого советского режима и надеждой на грядущее возрождение свободы. Надежды Пастернака и Гроссмана не очень отличались от иллюзий Рузвельта в отношении Сталина: все трое думали, что антигитлеровская война должна следовать неукоснительной логике. Но события развивались иначе, и сталинский режим вышел из войны неизменным. “Неизменным” — это еще слабо сказано: к списку жертв своей ненависти и преследований он добавил теперь евреев, тех, которые еще остались в живых после гитлеровского геноцида. Советский антисемитизм никогда не был таким сильным и не имел такой государственной поддержки, как в послевоенные годы; своей кульминации он достиг между 1949 и 1952 годами, во время широкой “антисионистской” кампании. Как же можно было позволить Гроссману, русскому еврею, упрямому летописцу еврейских несчастий, присвоить себе Сталинград, славный памятник сталинского режима?

Таким образом, война ухудшила положение нации. Выигранная за счет доблести и наивности народа, поверившего Сталину, она привела к усилению тоталитарного режима, сравнимого с тем, который был ею повержен. Русские люди, и русские евреи в их

числе, напрасно отказались от ненависти к своим вождям. Война была напрасной жертвой! Таков дух отчаяния, пронизывающий “Жизнь и судьбу”, одну из самых скорбных книг нашего века.

Действительно, в ней показано, как война в одних случаях помогала избавиться от рабства, а в других — укрепляла его, как, вызвав достойный восхищения повседневный героизм русского народа, она в результате завела в исторический тупик, ибо победу в ней мог одержать только один из двух равно отвратительных персонажей: либо Гитлер, либо Сталин. Дилемма Гроссмана более неразрешима, чем дилемма Штауфенберга<sup>47</sup>. Молодому немецкому аристократу надо было сделать выбор между поражением своей родины, которое, однако, принесло бы ей свободу, и победой, которая окончательно закрепила бы ее рабство, вместе с рабством всей Европы, под пятой нацистского авантюриста; это был драматический выбор, но все-таки возможный: путь к свободе и к победе добра проходит через национальную голгофу, но он существует. Для автора “Жизни и судьбы” рабство ожидает русский народ в обоих случаях — и при Гитлере, и при Сталине. Что же делать? О том, чтобы стать на сторону Гитлера, не может быть и речи. Гроссман понимает, что двигало Власовым, но не одобряет его. Зверства нацистских войск в России и на Украине сделали еще более непреложным естественный долг защищать родину. Но защищая свою землю, русский народ затягивал петлю на собственной шее: он отдавал все свои силы укреплению диктатуры и ее последующей экспансии в Европе... Здесь не было благополучного исхода, был только выбор между злом и еще худшим злом, и даже самое высокое мужество здесь было бессильно. Перед нами несчастный народ, избранный, чтобы нести на своих плечах несчастье эпохи, самими своими достоинствами лишь отягощающий давящее его иго.

Это несчастье образует как бы фон романа, оно непрерывно звучит глухим ропотом из уст персонажей — и солдат, и гражданских. Все они уже так давно свыклись с этим порядком, что война, по крайней мере, дает некий смысл их страданиям. Так, например, случилось со старой украинской крестьянкой Христей Чуняк, давшей в своей избе приют умирающему шоферу Семенову из эшелона пленных, которых немцы гнали из-под Сталинграда. Он был обречен врагами на голодную смерть. Она же помнила, как в свое время ее обрекли на голодную смерть ее соотечественники. Двенадцать лет назад умер от голода ее муж. “Тихий протяжный стон стоял над селом, живые скелетики, дети, ползали по полу, чуть слышно скулили; мужики с налитыми водой ногами бродили по дворам, обессиленные голодной одышкой. Женщины выискивали варево для еды — все было съедено, сваре-

но — крапива, желуди, липовый лист, валявшиеся за хатами копыта, кости, рога, невыделанные овчинные шкуры... А ребята, приехавшие из города, ходили по дворам, мимо мертвых и полумертвых, открывали подвалы, копали ямы в сараях, тыкали железными палками в землю, искали, выколачивали кулацкое зерно.

В душный летний день Василий Чуняк затих, перестал дышать. В этот час в хату вновь зашли приехавшие из города хлопцы, и голубоглазый человек, по-казапски “акая”, совсем так же, как “акал” Семенов, проговорил, подходя к умершему:

— Уперлось кулачье, жизни своей не жалеет”<sup>48</sup>.

Другим черным годом, вершиной предвоенного террора, был 1937, когда шли повальные и совершенно непредвидимые аресты среди членов партии большевиков, уничтожение руководящих кадров страны. В романе “За правое дело” большое место уделялось большевикам, но только не проклятой стороне их жизни. В “Жизни и судьбе” мы встречаемся с теми же персонажами, но теперь их существование отягощено трагедией. Наиболее сложен из них Крымов, секретарь райкома в Сталинграде, ветеран Коминтерна, усвоивший его дубовый язык, но в 1937—1938 годах едва избежавший ареста. Одинокий, оставленный женой, он вновь обретает свою роль в Сталинграде, хотя и чувствует себя не в своей тарелке, ибо здесь возрождается народ: “Хороши были в Сталинграде отношения людей. Равенство и достоинство жили на этом политом кровью глинистом откосе”<sup>49</sup>. Абстрактный интернационалист, Крымов потерял способность изъясняться на том языке, на котором говорит народ. В конце концов, ему так и не удастся избежать ареста в самый разгар войны, — знак того, что в партии продолжает царить закон доносительства и что сталинская бюрократия сохраняет абсолютную власть. Именно она, облаченная в тогу национализма, и присвоит себе победу, вместо настоящих победителей.

Потому-то антисемитизм, после войны подвергшийся повсюду моральному запрету, в сталинском Советском Союзе продолжал существовать и даже процветать при поддержке государства. Русского патриота Гроссмана преследовала навязчивая идея о массовых убийствах евреев нацистами, — явление довольно редкое, даже исключительное для страны, где официальная точка зрения не делала различия между жертвами нацизма, а те немногие, кто еще составлял “русскую” оппозицию советской власти, были склонны ставить в вину евреям их участие в коммунистическом движении. Гроссман же считал геноцид евреев отличительным событием первой половины века, которую он характеризует как “эпоху поголовного истребления огромных слоев еврейского населения, основанного на социальных и расовых теориях”<sup>50</sup>, и добавляет: “Со-

временность с понятной скромностью молчит об этом”. Замечание, находящее себе подтверждение почти повсюду, но особенно в СССР, где антисемитизм после войны достиг апогея, причем в такой же государственной форме, что и ранее в Германии: “В тоталитарных странах, где общество отсутствует, антисемитизм может быть лишь государственным. Государственный антисемитизм — свидетельство того, что государство пытается опереться на дураков, реакционеров, неудачников, тьму суеверных и злобу голодных. Такой антисемитизм бывает на первой стадии дискриминации — государство ограничивает евреев в выборе местожительства, профессии, праве занимать высшие должности, в праве поступать в высшие учебные заведения и получать научные звания, степени и т.д.

Затем государственный антисемитизм становится истребительным”<sup>51</sup>.

Таким образом, вся книга Гроссмана построена как сопоставление двух тоталитаризмов, воюющих между собой и не оставляющих места для победы русского народа, ибо в этом столкновении нет лагеря, который защищал бы свободу. Сражаясь против коммунизма, Гитлер нес с собой такое же рабство, может быть, даже худшее. Сражаясь против нацизма, Сталин стремился расширить свою абсолютную власть. И оба старались разрушить самое ценное в человеке — его инстинктивное влечение к свободе. Они осуждали человека на судьбу раба, в то время как смысл человеческой жизни — быть свободным, как были свободны солдаты, защищавшие Сталинград.

Отсюда важность темы лагерей как учреждений, общих для обоих режимов; тем самым, Гроссман в художественной форме подхватывает тему Ханны Арендт (которую он, судя по всему, не читал). Повествование романа то и дело переносится из немецких концлагерей в советские и обратно; из мира зеков в сибирской тайге мы попадаем в мир военнопленных, русских и нерусских, окруженный немецкими смотровыми вышками. Однажды, в 1943 году, в одном из немецких лагерей, в блоке для старых большевиков, вызывающих особый интерес гестапо, советский командир, захваченный в плен под Сталинградом, пытается объяснить причины войны и не находит для нее иной причины, кроме ненависти фашистов к коммунизму. Он повторяет своим товарищам аргументы Сталина: “Верно наш отец сказал: мы радоваться должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь? А ты подумай — попасть к своим в лагерь, свои к своим. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие, еще дадим немцу жизни”<sup>52</sup>.

Немного далее в книге Гроссман придаст этой же мысли несколько иную форму: в том же лагере сравнение Гитлера и Стали-

на прозвучит из уст нацистского офицера. Оберштурмбанфюрер Лисс, высокопоставленный эсэсовец, приказывает привести в свой кабинет старого большевика Мостовского, в свое время сидевшего при царизме, одного из руководящих работников Коминтерна, беззаветно преданного делу, но отстраненного перед войной за то, что был близок к Бухарину. Лисс говорит ему о взаимозаменяемости их ролей: “Нужно двадцать летних часов, и вы сидите в кресле в советском городе Магадане, в своем кабинете. У нас — вы у себя дома, но вам не повезло... Когда мы смотрим в глаза друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. В этом трагедия эпохи. Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Разве для вас мир не есть ваша воля, разве вас можно поколебать, остановить?”<sup>33</sup> Таким образом, война, которую ведут нацисты, не имеет никакого интеллектуального или морального смысла, несмотря на свою идеологическую сверхнагрузку. Она питается с обеих сторон только национальной ненавистью, в то время как сталкиваются в ней “две формы единой сущности — партийного государства”. Если Германия Гитлера одержит победу, то останется одна перед лицом народов, не имея никого, кто разделит бы с ней их ненависть. Если же она будет разбита, то нацизм продолжит свое существование в триумфе коммунизма: даже ненависть к евреям Сталин сможет использовать в своих интересах.

Сбитый с толку Мостовской в какой-то момент испытывает головокружение от аргументации врага. Он начинает понимать, что для того, чтобы опровергнуть доводы эсэсовца, ему придется реабилитировать идеи и людей, которых он привык ненавидеть, вернуть философское достоинство морали и религии, согласиться с христианами и толстовцами, даже с меньшевиками, — короче, дезавуировать Ленина и Сталина. Но мимолетное замешательство проходит, он вспоминает о том, в какой ситуации находится, вновь обретает политическую веру, а вместе с ней психологическую и моральную устойчивость. Мостовской думает о том, что история на его стороне. Но его самая верная опора — это отношения друг/враг, возвращающая ему ненависть к противнику.

Я не думаю, что эту сцену романа следует истолковывать как некое установление равенства во зле двух режимов, столкнувшихся под Сталинградом. Тезис об их идентичности вложен автором в уста офицера СС, который высказывается с провокационной целью, а также, возможно, с намерением прощупать моральное состояние противника<sup>34</sup>. Сам Гроссман отнюдь не считал, что под Сталинградом столкнулись два равно ненавистных противника; напротив, русские солдаты сражались, чтобы защитить родную

землю, помочь родине, отстоять свободу: даже коммунисты, поскольку они управляют страной, участвуют в этой борьбе на стороне правого дела, хотя бы временно. Героизм Красной Армии служит морали и праву, спасая большевиков от последствий их же учения. Так объясняется кажущийся парадокс, состоящий в том, что русский писатель, одержимый идеей об истреблении европейских евреев между 1941 и 1945 годами, с таким постоянством возвращается к параллели между нацизмом и коммунизмом. Тема мученичества евреев постоянно присутствует в “Жизни и судьбе”, начиная с изображения гетто и газовых камер, именно потому, что она подчеркивает небывалый характер нацистских преступлений и, тем самым, высокий смысл подвига русского народа. Но особый характер нацистского геноцида против евреев не отменяет того общего в философии власти и отрицании свободы, что объединяет оба тоталитарных режима. Справедливая война русского народа ни в коей мере не отменяет большевистского нигилизма, скрывающегося под маской ненависти к нацизму. Победа русского народа будет означать для него окончательное рабство. Разглагольствования Лисса содержат в себе также и авторские пророчества, сделанные *post factum*<sup>55</sup>.

Гроссман отчасти предвещает Солженицына. Та же любовь к русскому народу и сочувствие его незаслуженным страданиям, та же горечь в связи со злоупотреблением его добротой, та же бескомпромиссное осуждение советского режима и большевистской идеологии, то же религиозное чувство, лишенное конкретности у одного, христианское у другого. И Солженицын был арестован за несколько месяцев до окончания войны, когда на нем была военная форма, как если бы он подтверждал своей жизнью абсолютный пессимизм автора “Жизни и судьбы”. Более того: по прибытию в ГУЛаг он и его товарищи по заключению были встречены криками: “Фашистов привезли!”<sup>56</sup>. Это был крик радости, потому что уголовникам предстояло освобождение по сталинской амнистии в честь окончания войны. “Всегда ненавидевшие нас или брезговавшие нами, бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. И те самые пленники, которые в немецком плену узнали, что нет на свете нации более презренной всеми, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская, — теперь, прыгивая из красных вагонов и из грузовиков на русскую землю, узнавали, что и среди этого отверженного народа они — самое горькое лихое колено”<sup>57</sup>. Так Солженицын пишет нечто вроде продолжения “Жизни и судьбы”. Герои Гроссмана, ставшие зекками Архипелага, опозорены тем самым правительством, которое они спасли, заклеены именем врагов, которых они победили. Это доказывает, что, вопреки очевидности, Сталину был нужен

фашизм после фашизма, поскольку антифашизм стал формой лжи, необходимой его режиму. Одна из самых глубоких мыслей “Жизни и судьбы” состоит в тонком раскрытии тайного общности между нацизмом и коммунизмом, даже в войне, которую они вели между собой.

Гроссман ненадолго пережил конфискацию рукописи своего романа. Он умер в 1964 году, нищий и отчаявшийся, уверенный, что его книга погибла<sup>38</sup>. Из шести категорий похорон, на которые могли претендовать советские писатели, он едва-едва получил пятую, и то благодаря хлопотам его друга Семена Липкина и тем произведениям, которые он написал ранее “Жизни и судьбы”. Эти посмертные почести были весьма скромными и в то же время чрезмерными, — ведь Гроссман уже не был советским писателем. Двадцать лет спустя мир откроет в его лице выдающегося русского писателя еврейского происхождения и одного из самых глубоких свидетелей нынешнего века. Благодаря ему русский роман в период после XX съезда восстановил свою традицию.

## Эпилог

Была доля случайности в разоблачении Сталина его преемником. Хрущев сделал это с такой страстью, что в его секретном докладе чувствуется нечто большее, чем политический расчет: в нем слышен голос человека, разрушающего табу, увлеченного скандальностью того, о чем он говорит, теряющего ощущение возможных последствий. На этот вечер Хрущев пренебрег правилами дубового языка.

Однако его речь вписалась в определенную логическую последовательность, или, если угодно, в логику наследования. В истории не было примеров, чтобы режим, тесно связанный с личностью одного человека, сохранился бы в неприкосновенности после смерти того, кто олицетворял высшую власть. Случай Сталина не является исключением. Его власть была слишком непомерной, чтобы кто-нибудь из его предполагаемых наследников мог принять ее на свои плечи. Отсюда до объявления этой власти нелегитимной был только один шаг, который сделать было тем легче, что лозунг “коллективного руководства” был более созвучен традициям марксизма, чем преданность одному вождю. Если марксистское учение не очень помогало в осмыслении прошлого, то оно было по-прежнему необходимо для овладения настоящим и будущим.

Партитура послесталинской эпохи была в значительной степени написана заранее, с использованием классических мотивов: перемены и преемственности. Хрущев внес в нее то, чего меньше всего можно было бы ожидать от аппаратчика, прошедшего школу молчания и страха: склонность к драматизации и чувство риска. Но тем самым он придал этому первому кризису наследования предощущение конца. Он разоблачил террор, в проведении кото-

рого сам же участвовал. Он унизил Сталина, которому поклонялся. Он слишком грубо ударил по прошлому режима, чтобы не затронуть тем самым и его легенду. Десталинизация была ему нужна, чтобы обеспечить переход власти в собственные руки. Но решив осуществить такой переход в форме разрыва, он поставил под вопрос идеологическую основу советской власти. По указанию высшего руководства движением коммунисты в СССР и за его пределами были лишены важнейшей части своего прошлого, но при этом они оставались детьми этого прошлого. Ничто теперь не будет так, как было раньше.

Дело не в том, будто в Советском Союзе были потрясены основы власти. Соперничество вождей ни в малейшей степени не затронуло диктатуру партии над страной. Проведенная втихомолку ликвидация Берии вызвала столь же слабую реакцию, как ликвидация Зиновьева или Бухарина в эпоху больших процессов; устранение Молотова, Маленкова, Кагановича из Центрального Комитета в июне 1957 года или маршала Жукова — в октябре столь же мало взволновали нарождающееся “общественное мнение”. А с марта 1958 года Хрущев, как раньше Сталин, сосредоточил в одном лице два ключевых поста — премьер-министра и первого секретаря партии. Он стал обладателем абсолютной власти в партии и через нее — в стране, и вскоре стал превозноситься как государственный деятель необыкновенной мудрости, какими бы ни были его инициативы или причуды.

Новизна его царствования состояла, таким образом, не в изменении политических институтов режима: партия коммунистов оставалась единственной и всемогущей, КГБ не допускал никакой оппозиции. Также не было экономических реформ: обобществление всего производства и обмена в руках государства и бюрократическое управление экономикой оставались краеугольным камнем общества, что было подтверждено провалом широких сельскохозяйственных проектов первого секретаря. Наконец, внешняя политика была прямым продолжением сталинской: усиливать социалистический лагерь, расширять его по мере возможности, тесня империализм, за счет огромных усилий в области военной техники, либо, если такие усилия не дают результатов, — ценой отдельных жестоких политических акций: берлинская стена, возведенная в 1961 году, кажется анахронизмом, принадлежащим к другому веку в истории человечества. Хрущев заявлял повсюду, что он более, чем когда-либо, верен цели всякого настоящего большевика: похоронить капитализм.

Что же придало его деятельности тот иконоборческий стиль, который навсегда останется связанным с его историческим обликом? Да попросту то, что он положил конец политическим убий-

ствам и массовому террору. Он победил своих соперников, но не ликвидировал их, а они отплатят ему той же монетой, взяв реванш в 1964 году. Он ничего не сделал, чтобы ограничить произвол государственной полиции, и даже сам устроил в 1957 году охоту на “паразитов”, указав таким образом цель для доносов и предлог для активности КГБ. Но страна больше не испытает репрессий, сравнимых с мученичеством украинского крестьянства, террором 1936—1938 годов и массовой депортацией малых народов. Впрочем, разве в секретном докладе говорилось о чем-либо другом? Хрущев не делал в нем никаких либеральных заявлений; он не предлагал никаких новых политических идей; не выдумывал никакого нового социализма; в лице Сталина он атаковал не систему, даже не методы, а всего лишь ужасные крайности террора, его универсальность и почти безумный характер.

Советский Союз при Хрущеве перешел от тоталитарной стадии к стадии полицейской. Я употребляю эти прилагательные не столько для того, чтобы с точностью (которая была бы иллюзорной) определить два состояния данного политического общества, сколько с целью подобрать какие-то термины для обозначения его эволюции. Совершенно ясно, что при Хрущеве, а также и после него, СССР сохранял тоталитарные черты: например, стремление контролировать мысль посредством языка, регламентированного сверху. Но если такое стремление сохраняется, поскольку оно неотделимо от диктатуры партии, опирающейся сегодня, как и вчера, на марксизм-ленинизм, повинуются ему уже не все. Стали раздаваться, причем даже публично, голоса, казалось, навсегда замолкнувшие. Партия потеряла способность безукоризненно управлять тем хором самовосхвалений, который звучал в СССР на протяжении более чем четверти века. Стали слышны иные голоса, рассказывавшие другую историю.

Чтобы превратить СССР в абсолютно замкнутое пространство, откуда ничего не могло бы возникнуть и куда ничего не могло бы проникнуть, кроме того, что было допущено полицией, Сталин прилагал особые усилия к тому, чтобы приручить интеллигенцию, либо уничтожить ее: он завербовал Горького и уничтожил Мандельштама<sup>1</sup>. Хрущев, напротив, нуждался в поддержке интеллигенции. Он позволил ей не то чтобы возродиться, но всплыть на поверхность во время десталинизации. Он предоставил ей небольшое пространство в общественной жизни. Горбачев сделает то же самое в иных обстоятельствах, тридцать лет спустя, движимый, вероятно, сходными намерениями и такими же расчетами. Ни у того, ни у другого не было особого разнообразия в выборе, в условиях общества, потерявшего внутренние опоры. Впрочем, среди

оппонентов Горбачева будет много людей — и прежде всего Сахаров, — вышедших из оппозиции Хрущеву. Они дали русскому обществу возможность вновь обрести хотя бы слабый голос и указали путь к моральному и политическому возрождению.

У них еще не было настоящей свободы высказывания и в еще меньшей степени — возможности публиковаться. Первые же попытки Сахарова в конце 1950-х годов предостеречь Хрущева от экспериментов с водородной бомбой вызвали резкую отповедь и поставили ученого в положение человека, взятого властями под подозрение. В этот же период разразилось “дело” Пастернака. Законченный в 1955 году, “Доктор Живаго” был напечатан в 1957 году, но в Италии<sup>2</sup>. Союз писателей, верный проводник воли власти, воспротивился публикации романа в Москве. Но спустя год последовала Нобелевская премия. Признание романа на Западе вызвало в СССР поток оскорблений в адрес писателя, которого обвиняли в предательстве родины именно в тот момент, когда он возвращал ей ее историю; организованная партией и партийной прессой кампания была столь мощной, что бедный Пастернак был вынужден отказаться от премии и заявить о своей покорности на страницах “Правды”<sup>3</sup>.

Но мрачные стороны советской действительности, раскрывшиеся благодаря “делу Пастернака”, не должны заслонять те сдвиги к новому, которые это дело предвещало. Прежде всего, Пастернак остался жив, в то время как на двадцать лет раньше он был бы арестован, сослан и в конце концов убит; во-вторых, его книга была опубликована, в то время как раньше рукопись была бы изъята и уничтожена; наконец, его история стала достоянием гласности, в то время как раньше она осталась бы глухо похороненной. Поток грязи, который обрушился на него усилиями партии, состоял из низменных, но сильных страстей: эгалитаризма, национализма. Но в ответ последовали смелые заявления и призывы к свободе, которые часто принадлежали недавно освобожденным узникам ГУЛага и были первыми, еще слабыми проявлениями либерального движения. Таким образом, хотя дело Пастернака закончилось печально, изоляцией писателя в его собственной стране<sup>4</sup>, оно знаменовало начало нового периода во взаимоотношениях режима и общества. Преследование, если оно перестало убивать, лишь подчеркивает значение преследуемого. Если оно не уничтожает оппозиционную литературу, то заставляет ее читать. К тому же, такая литература в известной мере была Хрущеву нужна, что придавало политическое значение даже романам или поэзии. Разоблачение культа личности поставило интеллигенцию в положение привилегированного свидетеля, и с этой ролью она уже не расстанется.

Отсюда и важнейшая, хотя и постепенная, перемена в отношениях западных интеллектуалов к образу СССР. До сих пор они имели дело только с теми писателями из СССР, которые были на стороне режима и часто выполняли на Западе его задания. Жид находился в переписке с Горьким, прежде чем отправиться к нему с визитом. Мальро, в те времена, когда он был выдающейся фигурой коминтерновского антифашизма, пользовался особым вниманием Кольцова и Эренбурга. Мало сказать, что идеи советского писателя, если он был настроен антисоветски, игнорировались на Западе; существование таких идей там вообще едва ли могли себе представить. Дело Виктора Сержа, после того как оно было урегулировано, ни у кого не вызвало беспокойства. Уничтожение верхнего слоя советской интеллигенции в 30-е годы прошло почти незамеченным в Западной Европе. Правые не стали об этом говорить, поскольку были не заинтересованы, левые — поскольку были слепы.

Ситуация изменилась, когда начали преследовать Пастернака, Сахарова, Солженицына и всех тех, кто шел с ними или за ними. Советский интеллигент перестал быть защитником социализма, он стал писателем-диссидентом. В такой перемене сыграли свою роль смерть Сталина, конец его мифа, ослабление диктатуры и вновь раздавшиеся индивидуальные голоса. В соответствии со старой печальной традицией, именно в тот момент, когда советских интеллигентов перестали истреблять, они обрели право на жалость. Но стоило им вернуть себе достоинство мыслителей и писателей, как они получили то широкое влияние, которое в эпоху террора было у них отнято в пользу трубадуров режима. На Западе складывается новый образ советского интеллигента — писателя и ученого, преследуемого за идеи, борца за свободу и демократию; такой образ соответствовал привычным западным образцам, его формированию способствовало начавшееся разложение сталинского мифа, и сам он ускорял этот процесс, так что критика московского режима захватывала все общественное мнение, включая и левые круги. Кравченко был всего лишь чиновником, бежавшим из своей страны. Пастернак — это писатель, подвергшийся запрету, которому правительство помешало поехать и получить Нобелевскую премию. Запрещенный в Москве, “Доктор Живаго” был опубликован в Италии, а затем по всей Европе, крайне левым издательством. Правым антикоммунистическим кругам уже незачем было завязывать сражение вокруг этой книги. Их опередили левые прокоммунистической ориентации.

Конечно, не нужно ничего преувеличивать. Речь в данном случае идет об итальянском коммунизме, наиболее склонном к “поли-

центризму”, да и сама издательская инициатива не требовала санкции партии. Приветствуемый почти повсюду как свидетельство возрождения великой русской литературы, роман-река Пастернака вызвал также скрежет зубный у коммунистов, привыкших к типовым советским текстам и не склонных восхищаться независимостью автора, которого превозносят классовые враги. Конечно, писатель не скрыл, что его мало привлекает обвал, произошедший в октябре 1917 года. Однако роль, сыгранная романом в пересмотре взглядов на СССР на Западе, во многом определялась тем, что он явился неожиданным подтверждением секретного доклада. Удивительная сложилась ситуация: западное общественное мнение стало оценивать судьбу Пастернака в свете тех обвинений, которые Хрущев выдвинул против сталинского деспотизма. Именно потому, что десталинизация позволила поэту вернуться на литературную сцену, новые преследования против него выглядели особенно скандально. Небольшие послабления оказались достаточными для того, чтобы стало очевидным то, что тоталитаризму удавалось скрывать: дистанцию, отделявшую советский режим от свободы. Вместо того, чтобы рассеять подозрения, разоблачение Сталина сделало их всеобщими; оно лишило СССР его иммунитета лжи и воскресило свидетелей. Если Сталин совершил столько преступлений, то как поверить его наследникам, которые были также его соучастниками? Во времена диктатора известие о гибели целого ряда писателей — Пильняка, Бабеля, Мандельштама — пришло на Запад, как письмо до востребования. При его приемниках запрещение романа — правда, получившего Нобелевскую премию, — стало мировым скандалом.

Очевидность нового преследования была тем более поразительна, что Хрущев в своем секретном докладе как будто провозгласил конец репрессиям и сам нуждался хотя бы в минимальной поддержке общества в противовес своим соперникам из старой большевистской гвардии. Таким образом, в течение нескольких лет логика, которая толкала его к продолжению широких разоблачений Сталина, давала благоприятный эффект для интеллигентов, которые пользовались либерализацией и принимали в ней активное участие; если бы Хрущев перестал двигаться в этом направлении, он должен был бы уступить своим соперникам. В деле Пастернака он пошел на уступки, но это не означало, что тем самым он собирался прекратить “десталинизацию”, ставшую его главным козырем в управлении партией и страной, а одновременно — и стимулом морального и литературного возрождения общества. Отсюда эта зигзагообразная политика, чередующая уступки и репрессии в зависимости от настроения нового хозяина политического положения. В течение нескольких лет, которые предшествовали

XXII съезду КПСС (1961) и следовали за ним, зародились “самиздат”, лагерная литература, поэзия протеста, борьба за гражданские права, свободное осмысление советского опыта — произведения Василия Гроссмана, Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Владимира Буковского, Александра Солженицына, Андрея Сахарова. В эти же годы происходили аресты, заключения в психбольницы, выносились сверхжесткие приговоры. В короткой перспективе эта борьба между кучкой людей и советским режимом казалась в высшей степени неравной. Но разоблачением Сталина власть сама поставила под вопрос законность осуществляемых ею репрессий. Лишенные идеологического обоснования, репрессии ослабевали, хотя власть продолжала в них нуждаться.

Лучшим свидетельством об этих годах является свидетельство Солженицына; в своих мемуарах<sup>5</sup> писатель рассказал, как он воспользовался предоставившимися ему возможностями. В 1958 году ему было сорок лет, он был уже достаточно пожилым для человека, побывавшего в ГУЛаге. Его “засекли” и арестовали в феврале 1945 года, когда война еще не кончилась и он носил военную форму; ему “дали” восемь лет за антисоветские настроения. Благодаря НКВД он получил свой важнейший жизненный опыт: страсть к писательству соединилась у него с осознанием своей миссии. Он был освобожден в 1953 году, получил разрешение вернуться на прежнее место жительства в 1956<sup>6</sup> и был реабилитирован в 1957; случайности десталинизации позволили раскрыться его литературному гению. Он уже написал тайно свои первые книги, чувствуя себя Толстым ГУЛага, когда стали возвращаться узники лагерей и их судьба перестала быть запретной темой.

Так он смог войти в литературу и получить официальное признание, что придаст его антисоветской проповеди такой резонанс, о котором невозможно было мечтать. Выдающийся писатель, нестигаемый борец, человек пророческого склада, он в любых обстоятельствах заявил бы о себе. Но то, что его мощный голос смог прозвучать при временной поддержке режима, в результате гигантского недоразумения, можно считать подарком обстоятельств. В тот момент, когда Солженицын предложил “Один день Ивана Денисовича” для публикации в “Новом мире”, Хрущев, столкнувшись с интригами своих противников, раскручивал новый тур антисталинской кампании в преддверии XXII съезда, осенью 1961 года. За несколько лет до того он поддержал своим авторитетом преследование Пастернака, безусловно, не столько из-за содержания “Доктора Живаго”, сколько из-за того, что роман был опубликован на Западе, да еще получил Нобелевскую премию, что было недопустимым вторжением в тщательно охраняемую резер-

вацию советской литературы. На этот же раз он самолично дает указание “Новому миру” впустить персонаж зека в вышеназванную литературу!

Конечно, он хотел избежать повторения “дела” Пастернака в момент, когда ему была особенно нужна поддержка интеллигенции. Но он не понял, с каким человеком и каким произведением он имел дело на этот раз. Пастернак был одним из осколков прекрасного прошлого; своим “Доктором Живаго” поэт подхватил факел романной традиции; он не стал скрывать своего отрицательного отношения к Октябрьской революции, но, тем не менее, предпочел не касаться в романе самых трагических страниц национальной истории. Этот сын “старого режима” еще обладал способностью изящного “умолчания” и уместной осторожностью. Солженицыну была известна только одна форма социальной жизни: связанная с “построением социализма”. Она вскормила его бунтарский темперамент, который отнюдь не смягчился с приходом писателя к христианской вере. Ища себе союзника, первый секретарь попал на самого непримиримого в мире антисоветчика. Желая заручиться поддержкой литературы, он внезапно сделал политического ссыльного ее главным и едва ли не единственным “положительным героем”. На место “нового человека” из папьемаше, которого прославляли в 30-е и 40-е годы на всех “антифашистских” писательских конгрессах, он совершенно неожиданно выдвинул настоящего героя, старого, как мир, но поставленного нашим веком в новые условия существования: это был преследуемый, узник, ссыльный, — короче, зек. Русские читатели с восторгом приняли “Один день Ивана Денисовича”. В один день Солженицын стал знаменит в России, чтобы затем стать знаменитым на Западе; такая последовательность придала его славе неоспоримый характер: никак нельзя было заподозрить, что она явилась плодом антисоветской интриги. Книга бывшего зека была отмечена таким же знаком подлинности, как и секретный доклад первого секретаря четыре года назад: на Западе не могли отклонить показания этого свидетеля, коль скоро их принимали и приветствовали в Москве. Но если Хрущев, обличая Сталина, постарался ограничить последствия критики, отделив принцип своей власти от преступлений предшественника, то Солженицын выступил против самого принципа.

Но не меньшая опасность угрожала режиму со стороны одного из самых привилегированных его любимцев. Сахаров был в числе самых блестящих физиков, лелеемых режимом за их полезность: один из создателей водородной бомбы, он стал академиком в 1953 году, в возрасте тридцати шести лет. Но и он, начиная с 1957 года, стал по-своему втягиваться в десталинизацию: как и его

западные и американские коллеги на десять или пятнадцать лет ранее, он осознал опасность, нависшую над человечеством в связи с созданием водородной бомбы. С этого момента он начал посылать в правительство конфиденциальные письма-предостережения, получая в ответ лишь грубые окрики, что и привело его постепенно ко все более открытой оппозиции. Впоследствии он писал, что “атомный вопрос” всегда был наполовину научным, наполовину политическим. Он тянул за собой политические вопросы. Главное было отказаться от конформизма по той или иной проблеме. После первого шага все уже шло само собой<sup>7</sup>. Сама власть своими преследованиями способствовала такой эволюции, приобщая физика к кружкам интеллектуальной оппозиции. Она придаст ему значение морального символа, несколько иного, чем преследуемый писатель-пророк Солженицын, но не менее почитаемого и признанного во всем цивилизованном мире: он станет воплощением ученого, борющегося за мир и свободу во имя науки и прогресса.

Когда осенью 1964 года Хрущева отстранили от власти, которой он пользовался слишком неосторожно, никто из его преемников уже не мог вернуться к тем временам, когда Советский Союз представлял из себя герметически закрытое пространство, откуда доносился только голос власти, повторяемый эхом миллионов и миллионов верноподданных. Теперь СССР представлял собой государство, для определения которого не было слова ни в одном языке, государство, которое, за неимением лучшего термина, можно было бы назвать, исходя из хронологии, “посттоталитарным”; оно было достаточно репрессивным, чтобы наполнить инакомыслящими тюрьмы и психушки, но уже не способным внушать всеобщий страх, который был необходимым условием общего молчания. То, что сохранялось в нем от сталинского деспотизма, наталкивалось на то, что оставалось от разоблачений Сталина. Остатки государственного террора уже не имели той таинственной поддержки, которую именуют “духом времени”. У убийц уже не было веры, они стали циниками. У жертв уже не было страха, они стали носителями протеста.

Эпоха Брежнева, начиная с середины 60-х годов, в материальном отношении была наименее несчастной в истории советской России. Но она была также наименее легитимной. Советский Союз захватил Чехословакию, вторгся в Афганистан. Шли высылки, аресты, депортация диссидентов. Государство оказалось в руках бюрократии, возглавлявшейся коррумпированными стариками. Близилась к окончательному разрыву брачные узы между революционной идеей и страной, где она одержала победу, — узы, которые сохранялись в течение полувека.

На Западе начались похороны коммунистической идеи, которые растянутся на тридцать лет. В них примут участие толпы людей, и будет пролито много слез. Даже молодые поколения примкнут к траурному шествию, пытаясь кое-где придать ему вид возрождения. Я бы хотел последовать за этим кортежем и проследить его путь шаг за шагом, если бы это не вывело размер книги за все разумные пределы. Ограничусь перечислением этапов.

В час, когда Советский Союз перестал быть предметом поклонения, до такой степени, что даже европейские левые начали прислушиваться к речам диссидентов (прислушиваться еще не значит одобрять!), — в этот час у коммунистической идеи оказался целый ряд запасных территорий. Внутри старой идеократической сталинской империи появились очаги автономии, порожденные не столько смертью деспота, сколько разоблачением его преступлений: одни, как Китай, добивались некоторой независимости от Москвы путем защиты Сталина, другие — используя хрущевскую либерализацию, как Гомулка в начале или Кадар в конце своей карьеры. Секретный доклад 1956 года неизбежно открывал два пути, которые, в свою очередь, могли разветвляться. На пути идеологической ереси труден только первый шаг, и он был сделан Хрущевым. Следом зазвучали разнообразные голоса советских диссидентов, в их числе и те, которые призывали к коммунизму, отличному от советского образца.

Утратив единство, коммунистическая идея выиграла в широте распространения. Благодаря борьбе за независимость в третьем мире, она захватила регионы, находившиеся за пределами сталинского наследия. Французским левым интеллектуалам в какой-то момент почудилось ее присутствие в алжирском Фронте национального освобождения: они даже решили применить ленинский тезис о “революционном пораженчестве” к войне алжирского национализма против французской “буржуазии”. В более широком плане, движения и войны за освобождение колониальных народов вернули актуальность тезисам об “империализме как высшей стадии капитализма”, распространив их действие на новые регионы, еще более удаленные от Европы, чем была Россия в 1917 году. В те, уже отдаленные, времена дистанция скрадывалась благодаря общим обстоятельствам войны и идее социалистической революции. Полвека спустя такому же эффекту способствовали другие факторы: быстрая универсализация мира благодаря техническому прогрессу, трибуна ООН, чувство вины белого человека, упрощение в расстановке политических сил в биполярном мире. Теория империализма указывала и на главное звено в капиталистической системе, на главного и вездесущего врага освобождения народов —

на Соединенные Штаты Америки. Государство, возникшее в результате антиколониального восстания, но также государство-наследник европейской цивилизации, США именно во втором качестве воплощали обобщенный образ врага для позднего ленинизма.

Ненависть к Соединенным Штатам становится универсальной формой ненависти к капиталу. Но у нее уже нет надежной точки опоры в виде поклонения и подражания Советскому Союзу. Она питает различные движения и режимы, более или менее направляемые советской дипломатией, часто с внедренными в них советскими агентами, пользующиеся материальной помощью СССР, но уже не обязанные копировать свой образ правления и язык с московского образца. Хрущев пытался придать новые очертания “социалистическому лагерю” на этом расширенном основании, за счет выхолащивания идеологии, к чему он уже сделал первый шаг на XX съезде. Советский Союз выиграл таким образом дополнительное политическое пространство в третьем мире, однако с риском оставить революционные лозунги в руках своих противников. Китай, как мы видели, первый воспользовался такой возможностью. Хрущев кое-как вернул Тито в лоно семьи, но зато потерял Мао Цзэдуна.

Тем самым, китайский вождь перехватил влияние, которым ранее пользовался Сталин. Обстоятельства изменились, и китайский лидер уже не мог использовать великую волну антифашизма. История Китая, даже недавняя, даже в те моменты, когда она — как в годы второй мировой войны — как будто перекрещивалась с историей Запада, оставалась загадкой для западного демократического сознания, которое никогда не будет испытывать страстного интереса к тому, что происходит так далеко и что так трудно понять. С другой стороны, коммунистические партии проявляли отрицательность. В отличие от сталинизма, влияние маоизма будет ограничено маленькими группами студентов и интеллектуалов, не способных даже сформировать партии. Он сможет лишь в очень небольших масштабах реанимировать идеологическую страсть, утратившую силу после XX съезда КПСС.

Маоистский Китай, как мы видели, быстро отмежевался от “десталинизации”. В борьбе за влияние с Советским Союзом китайская сторона воспользовалась старым универсальным языком марксизма-ленинизма, который был осквернен Хрущевым и в результате остался без хозяина. Сироты сталинизма заговорили на нем с китайским акцентом. Против кремлевских “ревизионистов” Мао вооружился верностью традиции; Троцкий обвинял Сталина в предательстве Ленина, Мао обвинил Хрущева в предательстве Сталина. К тому же у китайского лидера хватало заслуг, чтобы претен-

довать на роль наследника. Он захотел, как Сталин, произвести революцию в революции: его “большой скачок” можно сравнить с форсированным маршем первых пятилеток, а его “культурную революцию” — с “построением социализма в одной стране”. Оба желали разрушить партию, главой которой они оставались: Сталин — с помощью полиции, Мао — с помощью хунвэйбинов. Оба создали свою версию марксистско-ленинского катехизиса, состоящего из простых и сакраментальных формул: “Вопросы ленинизма” и “Красная книжечка” стали двумя мировыми бестселлерами.

Смещение революционной страсти от Сталина к Мао Цзэдуну было затушено противостоянием между СССР и народным Китаем, которое наполнило шумом полемики 60-е и 70-е годы: резкая враждебность между китайской коммунистической партией и СССР маскировала то, что сближало обоих заклятых друзей, — общность языка, страстей, власти, основанной на терроре. Маоизм являет собой странный феномен: это антисоветский сталинизм, для которого борьба с Хрущевым была поводом, а не сутью. Мао боролся против Советского Союза, пуская в ход язык, который был изобретен на родине Октября и который китайский вождь дискредитировал, утверждая, будто владеет им лучше: ведь если “империализм” имеет теперь опору в лице московского “ревизионизма”, то какой смысл вообще сохраняют идеологические термины? Их сила была еще достаточно велика, коль скоро они продолжали возбуждать на Западе, среди членов студенческих кружков, революционный фанатизм минувших времен, на этот раз во имя веры в Мао Цзэдуна. Но в своей иступленности этот фанатизм больше походил на милленаристскую ересь, чем на религию истории. Он означал сумерки марксизма-ленинизма, а не его возрождение. Он стремился пойти дальше сталинизма, как бы надстраивая иллюзию над иллюзией. Дитя, явившееся слишком поздно в лавку идеологий века, копирующее советизм в антисоветском духе, он не был рожден для долгой жизни.

В это же время, “кастризм” стал на Западе другим воплощением революционной идеи. С маоизмом его сближает наличие харизматического вождя — интеллектуала, избранного историей и ведущего к победе народную армию. У Кастро тоже был свой “большой поход”, менее длинный, но более недавний: он завоевал власть во главе своих герильерос в конце 1958 года. Он был слишком молод, слишком экзотичен и, в начале, слишком нов, чтобы участвовать в тяжбе, которая раскалывала коммунистический мир. Ему не пришлось, как Мао, сносить удары от Хрущева, или, как Хрущеву — от Мао. И его марксизм обладал очарованием тропиков в противоположность суровости евроазиатских равнин. Идеологиче-

ское паломничество на Кубу можно было вписывать в программу туристических агентств<sup>8</sup>.

Итак, образ Фиделя Кастро, помноженный на образ Че Гевары, добавил разнообразия в революционный калейдоскоп, пришедший на смену сталинскому монолиту. Как и в отношении Мао, европейские левые создали отдельный маленький культ бородатого диктатора, менее загадочный, более соответствующий размерам кубинского театра и мягкости западного образа жизни. Если культ Мао был последней вспышкой коммунистического мессианизма в его чистой и жесткой форме, то поклонение Кастро допускало развлечения менее пуританского и менее авторитарного толка. Маоистский Китай воплощал для учеников Альтюссера утопию бедного, сурового и справедливого мира. Куба Кастро олицетворяла для калифорнийских студентов латинский рай теплого человеческого общежития. Как все это далеко от 30-х годов и от восхищения советскими пятилетками! Идея экономического роста теперь в грош не ставилась по сравнению с идеями равенства и человеческого единства. Запад становился все богаче и богаче, здесь царили экономическое процветание и общество потребления. В противоположность единодушным прогнозам периода между двумя войнами, западный капитализм не только не был похоронен, но переживал свои самые лучшие дни. Коммунистическая утопия отступила на позиции идеализации бедности, но этим она могла увлечь только сынков богачей.

Подобное социальное смещение было характерно для этой эпохи. Его можно было наблюдать с особой очевидностью в странах Запада — таких, как Франция, Италия, — где коммунисты еще пользовались поддержкой среди части рабочих, но почти не оказывали влияния на студенческие движения, которые, отвернувшись от СССР, искали вдохновения в другом месте. Действительно, у студентов, если только они не были приверженцами марксистской политической традиции, не было никаких оснований, критикуя гнет современной бюрократии, обходить Советский Союз. И даже если в своей борьбе против капитализма они решали использовать марксизм, то искали для него новые одеяния, далекие от обветшавшего московского гардероба. Даже марксизм на Западе стремился к эмансипации. Он больше не хотел идти на риск превращения в государственную философию, предпочитая ограничиваться критикой буржуазного общества и ориентируясь больше на Маркузе или Грамши, чем на Жданова или Казанову<sup>9</sup>. Кризис марксизма-ленинизма позволил просто марксизму обрести нечто вроде второго дыхания, однако ценой эклектического подхода; результатом стало либо возобновление революционного радикализма, либо, более часто, утверждение антибуржуазного ин-

дивидуализма. Студенческие волнения конца 60-х годов продемонстрировали все эти разновидности марксизма сразу, словно на семейной фотографии перессорившихся родных, потерявших общий семейный очаг. Студенческое движение протеста вдохновлялось чем-то гораздо более смутным, чем классовое чувство или международная стратегия; оно знаменовало собой новую политическую эпоху: рабочий класс утратил свою мессианскую роль, а Советский Союз лишился своего мифа. Пришло время интеллектуальной богемы, раздираемой между ненавистью к себе и поклонением себе же и более склонной к инвективам против существующего строя, чем к предвосхищению образцового общества. Эпизодические попытки студентов установить связь с рабочими на заводах представляли собой не более чем пережитки прошлого и натолкнулись на закрытую дверь. Действительно, критика капитализма и буржуазной демократии изменилась: тональность, ссылки, действующие лица — все стало другим.

Все на Западе складывалось таким образом, чтобы ослабить миф Советского Союза. Европейские общества вступили в период быстрой трансформации под воздействием той самой капиталистической экономики, которую они приговорили к смерти за четверть века до того. При этом рабочие интегрировались в общество лучше, чем студенты: классовая солидарность ослабевала, а индивидуальные ожидания и фрустрации усиливались. От уходящей эпохи в политическом репертуаре сохранилась коммунистическая идея, но угасла ее завораживающая сила, — и тогда, когда ее пытались использовать старые упрямые партии коминтерновского типа, и тогда, когда волей случая она попадала в руки маленьких групп, трансформируясь по троцкистскому образцу. Но при множественности коммунистических моделей и порождаемых ими политических течений их всех сближало отталкивание от советского опыта. СССР все еще оставался военной сверхдержавой, но свою утопическую функцию он почти утратил.

Среди образов-замен не было такого, который мог бы занять в воображении людей место, принадлежавшее после октября 1917 года Советскому Союзу. Маоистский активизм сможет вдохновить лишь маленькие террористические группы, не имеющие подлинного влияния на общественное мнение. Кастро состарится гораздо быстрее, чем Октябрь 1917: за несколько лет молодой герой-революционер превратится в тирана сталинского типа. Те остатки привлекательности, которые еще сохранял коммунизм в Европе, были связаны с его просоветским прошлым: это было наследие, которым партии бывшего Коминтерна управляли не без таланта и с учетом новых обстоятельств. Теперь речь шла не о том,

чтобы восторженно прославлять СССР, но о том, чтобы поддерживать его имидж ценой неизбежных уступок. Отечество социализма уже не рассматривается как идеальный режим, где процветают одновременно материальный и моральный прогресс, свобода и равенство. Это страна, пострадавшая от “культы личности”, не все последствия которого уже преодолены. Такая фигура умолчания позволяла распространить на Брежнева благодный ореол, который должен был окружать Октябрьскую революцию, даже если ее наследники совершали ошибки. Благодаря ей коммунистические партии получали минимальную возможность выражать свое несогласие, что было необходимо для поддержания главного тезиса, согласно которому Советский Союз выражает смысл истории, то есть превосходство социализма над капитализмом.

Такое пространство для маневра помогало сохранить главное, придавая коммунистической идее менее авторитарный вид, обеспечивая большую гибкость в управлении экономикой в сочетании с большей свободой в политических дебатах и при передаче власти. Таким образом, создавалось нечто вроде эрзац-утопии, отказавшейся от своей чистой формы, дабы отсрочить свой закат, — некое производное от советского образца, но с поправкой на индивидуальные свободы<sup>10</sup>. Эта философская квадратура круга, состоявшая в попытке примирить марксизм с идеей “прав человека”, была столь же неразрешима и исторически, поскольку диктатура одной партии была общим орудием всех существующих коммунистических режимов. Однако она была фоном, позволявшим питать надежды в связи с относительной умеренностью правительства Кадара в Венгрии, а затем мотивировала энтузиазм Запада по поводу “Пражской весны”. Западное общественное мнение было довольно не столько тем, что Прага получила некоторую независимость от Москвы, сколько тем, что возник, пусть и запоздало, образ “либерального” коммунизма: один из секретов популярности Дубчека среди европейских левых в 1968 году состоял в том, что он воплощал собой свободу, возникшую внутри единственной партии, которой таким образом не пришлось уступать часть политического пространства новым “буржуазным” партиям. Чешский эпизод наглядно показывает, в сколь узких границах может действовать даже самый либеральный “ревизионизм”. Советское военное вмешательство не изменило, впрочем, его природы, поскольку непродолжительная попытка “еврокоммунизма” в 70-х годах по-прежнему ориентировалась на “мягкую” модель советского коммунизма. Мягкий, миролюбивый, одним словом, — западный, еврокоммунизм все-таки принадлежал к той же семье, был ответвлением от того же октябрьского ствола.

В таком вот виде коммунистическая идея клонилась к закату на горизонте истории, пытаясь обрести новую жизнь и одновременно сохранить верность своим истокам. Освободившись из сталинского прокрустова ложа, она потеряла в силе, но выиграла в гибкости. Она точно отделила ту часть, которой надо было пожертвовать для спасения целого; ей удалось собрать вокруг себя тех, кто был верен старым воспоминаниям, и тех, кто стремился придать ей новую молодость. Тех и других сближала хотя бы их общая ненависть к тем, кто хотел обесценить прошлое или помешать возрождению. Потому-то, если коммунизм и стал кое-где менее фанатичным, антикоммунизм продолжал оставаться самой ненавистной ересью.

Проклятие, наложенное на антикоммунизм, было самым надежным щитом для коммунистической идеи, защищавшим ее от критики, подобно тому как антифашизм во времена Коминтерна делал советский опыт совершенно неуязвимым, поскольку его защита не зависела от реальных фактов и наблюдений. Такая традиция имеет давнее происхождение: начиная с 1917 года, всякая критика Октябрьской революции объявлялась враждебной делу освобождения рабочего класса и противоречащей ходу истории. Мало сказать, что это обвинение служило постоянным оружием коммунистическому агитпропу: от Ленина до Брежнева оно вдалбливалось в головы верующих; забыть о нем значило подвергнуться отлучению. Сейчас, когда эта угроза исчезла, даже трудно понять, как и почему она до такой степени парализовала разум и мужество людей. Впрочем, мы можем составить об этом представление, если вспомним, какое завораживающее воздействие оказывало на умы в нашем веке божество по имени История. Коммунисты от имени "рабочего класса" сумели присвоить ее чудодейственную силу. Отсюда и власть их запретов.

Интересно, что эта власть продолжала существовать и после их ослабления и даже черпала в таком ослаблении дополнительные силы и мотивы. Хрушев разрушил миф Сталина, но он продолжал непоколебимо верить в ход истории. Он нанес ущерб имиджу Советского Союза, но зато расширил имидж социализма. Общество, которое неизбежно должно придти на смену капитализму, теперь могло обладать несколькими разновидностями, причем некоторые еще предстояло открыть. Студенты Парижа, Берлина и Рима, которые в 1968 году критиковали советскую бюрократию, думали об иных версиях социализма. Даже эти дети капиталистического процветания собирались отправить капитализм на свалку истории, совсем как тридцать пять лет тому назад поколение Великой депрессии. Мировой кризис внушал дедам чувство восхищения Советским Союзом; у внуков в условиях процветания не было такого стимула. Но поскольку они сохраняли, по различным причи-

нам, ту же ненависть к рыночной экономике, идея социализма, даже подпорченная Советским Союзом, все еще продолжала служить их возмущению и желанию избавиться от дурных пастырей. Во множестве своих разновидностей — китайской, кубинской, албанской, итальянской, чешской, советской, камбоджийской, сандинистской — коммунизм сохранял историческую привилегию быть могильщиком капитализма.

Вот почему красный свет, зажженный перед антикоммунизмом, продолжал оказывать прежнее действие. Отталкивание от антикоммунизма помогало удержаться некоей минимальной ортодоксии, включавшей в себя смутные идеи и политические мечтания. Коммунистические партии, естественно, оказывали этому всяческое содействие как продолжению рабочей традиции; сократившиеся численно, постаревшие, они продолжали держаться на своем тонущем корабле, все еще получая неплохие дивиденды от капитала своей мифологии<sup>11</sup>. Они оставались достаточно сильными, чтобы рассчитывать со временем вернуть в свою орбиту заблудших еретиков от маоизма или кастризма, но стали достаточно слабыми, чтобы не придирается к мелочам.

Не столько благодаря усилиям непреклонных революционеров, сколько в результате студенческих волнений за несколько лет образовался обширный средний класс, ориентированный влево, — порождение демократизации университетского образования и идей 1968 года. Наиболее массовым результатом “событий”, имевших место в Сорбонне, в берлинском Свободном университете, в Эколь Нормаль Сюперьер, в Пизе или Оксфорде, было не образование эфемерных маоистских или кастро-геваристских групп, но возникновение нового буржуазного прогрессизма, отличавшегося большей широтой и новым духом. Бывшие участники студенческих бунтов быстро заключили мир с рынком, рекламой, обществом потребления, — во всем этом они плавают, как рыба в воде, как если бы они разоблачали пороки общества только для того, чтобы получше к ним приспособиться. Они хотели сохранить интеллектуальные преимущества революционной идеи среди социального комфорта. У их любимых авторов — Маркузе, Фуко, Альтюссера — понятие тоталитаризм применяется только к буржуазному порядку. Напрасно мы стали бы искать у них критический анализ “реального социализма” XX века.

Правда, “новые философы” во Франции положили конец такому иммунитету и дали, наконец, права гражданства понятию тоталитаризма в применении к истории Советского Союза<sup>12</sup>. Но, с одной стороны, этот случай явился исключением для Запада и во многом объяснялся чрезвычайным успехом во Франции “Архипе-

лага Гулаг”<sup>13</sup>. С другой стороны, запоздалый антисталинизм не помешал авторам, в порядке компенсации, удариться в “ревизионизм” с намерением оживить в очищенном виде марксистско-ленинскую традицию. В те же самые годы, когда французское издание Солженицына пользовалось бешеным успехом, левое крыло социалистов решило поправить свои дела, заключив союз с самой старой сталинской партией Запада на общей платформе “разрыва с капитализмом”. Этот анахроничный союз оказался плодотворным, поскольку привел на президентский пост Франсуа Миттерана, связавшего на какое-то время свою судьбу с последней неолевобольшевистской программой в мировой истории. Советский миф приказал долго жить в мнении интеллектуалов, но еще сохранялся в широкой публике, хотя и в деградированном состоянии, благодаря ревизионистским идеям<sup>14</sup>, а также, в негативном плане, благодаря отрицанию антикоммунизма.

Этот последний феномен, типичный для поколений после 60-х годов, особенно наглядно проявился в рассматриваемый период в американских университетах. В Соединенных Штатах, начиная с послевоенных лет, антикоммунизм был широко распространенным чувством, которое разделяли и интеллектуальные круги. Студенческие волнения 60-х годов, которые были здесь более масштабными и длительными, чем в Европе, разбили это единодушие, порожденное холодной войной. У молодых чувство собственной неустраивенности в обществе потребления соединилось с протестом против войны во Вьетнаме. Их возмущение, во всяком случае, на какое-то время, обратилось на их собственную страну: это было нечто, напоминающее ленинское поражение. Но расстановка сил поменялась: учащиеся университетов, дети из привилегированных семей, оказались на стороне революции, а рабочие профсоюзы — на стороне порядка. Идеи и страсти, владевшие студентами, были настолько более сложными, чем классовая ненависть, которую основатель большевизма, вслед за Марксом, считал движущей силой революционного действия, что я сейчас даже не буду пытаться их перечислять. Для моей темы важно, что на почве демонстративного сочувствия Вьетнаму вновь расцвели иллюзии относительно коммунистического мира. Эта волна общественных настроений была более широкой, чем раньше, и она была качественно иной.

В результате XX съезда пошло ко дну то, что еще оставалось от американской компартии после маккартистских преследований. То, что возродилось в результате студенческого революционного активизма, уже не имело отношения к советскому влиянию. Как и в Париже, Риме или Берлине, здесь ориентировались на другие авторитеты: Мао, Хо Ши Мин, Кастро, Гевара и даже, немного позже, Ортега, предводитель “сандинистов” из Никарагуа. Но эти

вспышки экзотического фанатизма затрагивали ничтожное меньшинство и быстро угасали. Более устойчивая часть студенческого движения была, напротив, связана с изобретением некой “радикальной” политической культуры, согласно которой Америка совсем не так демократична, как она утверждает, а Советский Союз более демократичен, чем считают его недруги. Вашингтонские фарисеи хотят представить дело так, будто эти два типа общества четко различны, как свобода — и рабство, добро — и зло. В ответ на это “радикалы”, когда пришло их время подняться на университетские кафедры, стали говорить последующим поколениям об ответственности Соединенных Штатов за холодную войну и о том, что у Советского Союза, если взглянуть на дело в свете новых данных, были свои смягчающие обстоятельства.

Это было время увлечения социальными науками, которые придавали видимость объективности попыткам *social scientist* обнаружить реальные причины социальных процессов под бесконечными объяснениями, которые каждое общество давало относительно себя самого. При таком подходе идеологический характер советского общества утрачивал свое значение, поскольку был свойствен не ему одному. Советский Союз — это “плюралистическое” общество, как все сложные общества. Прилагательное “тоталитарный”, ставшее классическим после Ханны Арендт, выходит из употребления не только по отношению к брежневскому СССР, но и по отношению к сталинской эпохе. Его рассматривают как бессодержательное, поскольку теперь речь идет скорее об изучении социальных действующих лиц, чем о государстве. Так как социальные науки стали теперь не только “научными”, но и демократичными, они соединяют изучение “инфраструктуры” с особым вниманием к “маленькому человеку”; они стараются охватить социальную материю снизу доверху. Благодаря их усилиям СССР становится обычным обществом, как все другие.

В нашем описании читатель, конечно, узнал характерные черты новомодной советологии, которая занимала университетские кафедры в Соединенных Штатах и Западной Европе на протяжении последних двадцати лет существования советского режима. Как и во всех историографических школах, в ней содержится и хорошее и дурное, — в зависимости от тем и авторов<sup>15</sup>. Я не ставлю себе целью дать их критическую библиографию, но стремлюсь определить их общий дух, часто связанный с утверждением солидарности поколения, особенно в Соединенных Штатах, где социальный и моральный кризис 60-х годов был более глубоким. Старшие — Фейнсод, Шапиро, Пайпс, Улам, Малиа, Безансон, Конквест<sup>16</sup> — заподозрены в том, что писали социологию, вдохновленную холод-

ной войной. Молодые, склонные возлагать ответственность на свою собственную страну, готовы впасть в противоположную крайность. Они стремятся доказать, что сталинизм — это не только отдельный, но и чужеродный период в истории большевизма, отличный от того, что было до и после него; что да, были ужасные моменты в истории, открытой Октябрем, но они не могут служить основанием для осуждения этой истории в целом, ибо они не были ее необходимым следствием. Такова наукообразная форма идеи, весьма популярной в то время, согласно которой коммунизм, включая Брежнева, не несет ответственности за преступления, свершенные Сталиным; или — если выразить ее в более обобщенной форме, — что режим, основанный осенью 1917 года, хорош, несмотря на вызванные им бедствия, а капитализм плох, несмотря на порожденное им богатство.

По странному контрасту, американские профессора возненавидели понятие тоталитаризма после того, как сами же его создали, а французские интеллектуалы стали его изучать, хотя ранее его игнорировали. Но именно американские университеты выражали дух времени, проявлявшийся также в Италии, Англии или Германии: в последние два десятилетия своего существования Советский Союз, хотя и потерял странную привилегию быть всеобщим примером для подражания, почти повсюду был защищен остатками надежд, которые были связаны с ним еще в период его рождения. Признанная всеми неудача Октября, не сумевшего осуществить свои обещания, не смогла окончательно погасить коммунистическую идею, которая нашла себе временное убежище в других странах. Даже в Советском Союзе она сохраняла влияние: ее трагические последствия приписывали скорее обстоятельствам истории, чем Ленину или Сталину. Впрочем, и современное общество, созданное во имя ее, считалось способным к исправлению, если только, выбравшись из бедности, оно вновь обратится к путеводной звезде, сиявшей над его колыбелью. Таким образом, родина марксизма-ленинизма тоже оказалась под защитой “ревизионистской” идеи.

В этот период образ коммунизма претерпел на Западе противоречивую эволюцию: закату советской мифологии в ее жесткой форме соответствовало распространение ее мягкой формы. Послевоенные времена канули в прошлое, а вместе с ними и образ СССР как универсальной модели, прославляемой по всему миру коммунистическими партиями. Его сторонники стали менее требовательными и удовлетворялись “в целом позитивным” итогом, сопровождаемым надеждой на блестящее будущее. Поэтому получалось, что, рассматриваемый в качестве несовершенной ма-

трицы лучшего социального строя, советский режим оказывался менее уязвимым для недоброжелателей, которых обвиняли в том, что они принадлежат к миру отгремевших политических страстей. Каким бы изношенным ни казался Советский Союз, он по-прежнему мог служить подспорьем для антикапиталистических и антиимпериалистических настроений. Если теперь никто, даже коммунисты, не были обязаны оправдывать или благословлять каждое его действие, то тем самым идея, служившая ему знаменем, оказывалась более универсальной и общедоступной. Перестав быть непогрешимой, Октябрьская революция приобрела более стертый, но и более молодой облик.

Такой возврат к первоначальным обещаниям происходил тем легче, что он совпадал с политическими склонностями молодых студенческих поколений, столь влиятельных в формировании общественных настроений. Эти поколения вернули права человека на авансцену общественной жизни, вместо классовой борьбы. Поступая так, они предвосхищали конец СССР, поскольку судили режим, порожденный Октябрем, на основе принципов, которые Маркс и Ленин объявили буржуазной ложью. Правда, сами студенты об этом не знали. Они стремились к другому, — к тому, чтобы придать новую остроту столкновению идеологий общего и частного, усиливая значение демократических абстракций. В этой игре коммунисты оказывались в невыгодной позиции, так как они вступили в противоречие со своим собственным учением и так как даже сейчас, на склоне века, итог их деятельности в отношении прав человека выглядел ужасающе. Однако в сфере моральных целей, образуемой универсальными правами человека, они еще могли заявлять о своих благих намерениях; они защищались от собственной истории, прикрываясь общностью идеалов, которые сближали их с либеральной и демократической утопией. Советский Союз до самого конца укрывал свой образ с помощью тех ценностей, которые хотел разрушить. Накануне развала советского режима антикоммунизм на Западе подвергался такому же всеобщему осуждению, как и в лучшие времена победоносного антифашизма.

Реформированный коммунизм, социализм “с человеческим лицом”, оказался самой универсальной формой политического осуществления идеи, историю которой я попытался написать, — подтверждением чему стал последний эпизод советской истории. Горбачев завершил череду коммунистических вождей, которых приветствовал Запад.

То, как распался Советский Союз, а вслед за ним и его империя, остается загадкой. Очень трудно определить, какую роль во всем этом сыграли волевые решения. Роль объективных факторов

установить легче. Все возрастающая цена, которую приходилось платить за положение сверхдержавы и особенно за гонку вооружений, в конце концов подорвали советскую экономику; требовалось поддержать ее тонус. Быть может, историки когда-нибудь скажут, что политика Рейгана оказалась в этом отношении более успешной, чем было принято писать в международной прессе. Как бы то ни было, к концу брежневского периода внутренний развал Советского Союза достиг такой степени, что под вопрос оказались не только мощь страны, но и ее физическое и моральное здоровье, снабжение продовольствием, среда обитания, больницы, — короче, способность властей обеспечивать элементарные социальные нужды населения. Так что одним из первых наблюдателей, кто, вслед за Амальриком<sup>17</sup>, предсказал общий кризис советского режима, был молодой демограф Эмманюэль Тод<sup>18</sup>, обнаруживший в 70-х годах повышение процента детской смертности в СССР.

Действительно, советские люди могли жить немного лучше, чем раньше (это еще не значит, что они жили хорошо), но выдохся режим, партия была заражена коррупцией, цинизмом, пьянством и бездельем. Дала о себе знать уязвимость системы, основанной на безраздельном господстве над обществом одной единственной партии: распад партии вел к всеобщему распаду. Однако этот сумеречный большевизм мог бы, конечно, просуществовать еще какое-то время, возможно, до конца века. Хотя у него уже не было настоящей веры, зато была многочисленная полиция, следившая за тем, чтобы все говорили на мертвом языке идеологии. Сахаров находился в Горьком под надежной охраной. Психиатрические лечебницы заботились о диссидентах.

Но преемники Брежнева — особенно Андропов, еще до Горбачева<sup>19</sup>, — должны были отмежеваться от предшественника, подобно тому как это сделал в свое время Хрущев: такова рискованная форма перехода власти в партии и ахиллесова пята партийной диктатуры со времени смерти Ленина. Имелся ли в данном случае разработанный план реформ, служивший основой негласной договоренности между Андроповым, а затем Горбачевым, и большинством ЦК, нам не известно. Историю этого периода еще предстоит написать, а сначала узнать, так как даже накануне своего распада Советский Союз продолжал быть окутанным тайной. Несомненно, по крайней мере, одно: все началось, как обычно, с кризиса перехода власти; новый глава партии должен был в обязательном порядке взять власть над аппаратом. Андропов или Черненко слишком недолго исполняли свои функции, чтобы преемники могли направить против них критические стрелы; на всех должностях продолжали оставаться люди Брежнева, которых пред-

стояло подчинить или убрать, чтобы стать хозяином. Поэтому Горбачев поступил так же, как Хрушев после Сталина, а Брежнев после Хрущева: он сосредоточил в своих руках максимум власти.

Но сделал он это небывалым ранее способом. До него партия была единственным источником силы. Генеральный секретарь мог при случае поднять руку на партию, сломать ей хребет, как это сделал Сталин в 30-х годах; но никто не мог стать хозяином Советского Союза, не обеспечив себе абсолютную власть в партийном аппарате. Когда Хрушев в 1964 году потерял эту власть, он пал. Однако Горбачев, желая утвердиться, пошел другим путем. Он не удовлетворился реформированием высших эшелонов партийного руководства; он постарался опереться на элементы, стоявшие вне партии. Освобождение Сахарова в 1986 году показало, что он изменил ранее принятые правила режима.

Эта тактика, в сущности, мало отличалась от тактики Мао Цзэдуна, бросившего хунвейбинов против аппарата партии: речь шла о том, чтобы одновременно и оживить коммунистический энтузиазм, и ослабить коммунистических руководителей, своих открытых или потенциальных противников в Политбюро. Однако дела повернулись иначе. Команды перестали проходить. Осторожные послабления обществу и относительное прекращение полицейского террора привели не к усилению коммунизма, а к проявлению смутного влечения к демократии, на которое Горбачев и стал ориентироваться, отчасти вследствие сознательного выбора, отчасти в силу обстоятельств. Хрушев никогда не ставил под вопрос политическую монополию партии. Его далекий преемник нарушил это фундаментальное правило<sup>21</sup>; почувствовав, что ему, как в свое время Хрущеву, грозит остаться в меньшинстве в Центральном Комитете, Горбачев реанимировал парламент и должен был опираться на осколки общественного мнения, такие, как интеллигенция. Но, ослабляя таким образом своих противников, он ослаблял и себя, так как уничтожил источник своей легитимности, открыл новые возможности для неожиданных соперников и отменил, вместе со страхом перед гласностью, принцип повиновения. Растущий беспорядок в области экономики имел те же причины, поскольку он был неотделим от анархии в государстве. «Отменив террор, — сказал мне в то время один из членов советского парламента, — Горбачев отменил также и доверие». Жестокое, но глубокое высказывание, точно характеризующее хрупкую и двусмысленную фигуру первого и последнего «президента Советского Союза», который был слишком коммунистом для допущенной им же свободы.

Наверное, еще не пришло время доподлинно узнать, чего же он, собственно, хотел. Единственное, что можно ответить с уверенностью: он не хотел сделать то, что сделал. Потому что нет ника-

ких оснований предполагать, что Горбачев, до и после своего прихода к власти, был замаскированным антикоммунистом или просто плохим коммунистом. Все побуждает нас верить на слово этому человеку, воспитанному в замкнутом мире советизма, когда он на протяжении стольких лет не переставал провозглашать возрождение коммунизма посредством реформ. Если он открыл путь к ликвидации восточноевропейских коммунистических режимов, то сделал это не по убеждению, а от нежелания проливать кровь. На родине большевизма он сохранял верность первоначальной идее, которую он хотел омолодить, обновить, а вовсе не предать. Даже отказ от политической монополии партии, несомненно, вписывался в некую стратегию: сплотить вокруг себя, вместе с основной частью коммунистов, большую президентскую партию, которая имела бы справа и слева лишь слабые маргинальные группировки. Что-нибудь вроде мексиканской Революционно-институциональной партии, верного стража революционной легитимности, потерянной в прошлом. То, что этот проект очень быстро оказался несостоятельным, еще не говорит о том, что его не было.

Самое замечательное в истории Горбачева состоит даже не в том, что он захотел придать новое дыхание коммунизму, а в том, что Запад поверил ему на слово и проникся к нему энтузиазмом. В популярности последнего советского лидера на Западе многое, конечно, надо отнести на счет осторожности западных правительств: ведь никакая власть не любит резких перемен, а СССР так давно стал составной частью международной обстановки, что никто, даже его постоянные враги, не желал его исчезновения<sup>21</sup>. Горбачев, к тому же, довел разрядку до сокращения вооружений: финансовая помощь Запада, которая всегда оказывалась СССР, стала особенно мощной теперь, когда речь шла о том, чтобы помешать его распаду<sup>22</sup>.

Если стремление помочь было столь сильным у капиталистических государств, то что говорить об общественном мнении! Оно ликовало по поводу непонятных, но многообещающих слов *гласность* и *перестройка*, видя в них залог того, что Советский Союз, наконец-то, будет уважать “права человека” — требование, ставшее господствующей идеей конца века, — и станет не только раем для трудящихся (каковым он желал казаться в период между двумя войнами, когда была еще жива идея исторической миссии рабочего класса), но обществом индивидов, одновременно свободных и защищенных от неравенства. Горбачевский Советский Союз все еще сохранял от Октябрьской революции ореол страны, порвавшей с капитализмом, а теперь он еще и приобщился к “правам человека”. То, что было названо в Праге весной 1968 года “социализмом с человеческим лицом”, теперь получило воплощение

в стране, считавшейся родиной коммунизма и вернувшейся к осуществлению замыслов, которые были убиты в зародыше Красной Армией двадцать лет тому назад.

Так доживала свой век советская мифология, пытавшаяся осуществить невозможный синтез между принципами большевизма и либерально-демократическим плюрализмом. Ибо большевизм совместим с национализмом, как это демонстрировал Сталин на всем протяжении своего правления, и даже с ограниченным существованием рынка, как то показал Ленин, придумавший нэп, — правда, в качестве временной меры. Но большевизм совершенно не обладает гибкостью в идеологической и политической области; он может удерживать власть только с помощью лжи и страха. Даже Хрущев должен был убить Надя. Брежнев терпел Чаушеску и Кадара, но не Дубчека. А Горбачев стал разыгрывать партитуры Надя и Дубчека, но в более широком масштабе и в самом центре империи: речь шла о возрождении-реформировании большевизма в сочетании с принципами, которые большевизм стремился разрушить в октябре 1917 года. Горбачев претендовал на обновление коммунистического режима, но у него не было других идей, кроме тех, которые он заимствовал из западной традиции, не было других средств, кроме тех, которые он выпрашивал у крупных капиталистических стран с демократическим строем. То, что он делал, противоречило провозглашенным им намерениям. Его ориентация на Запад постепенно привела к тому, что он стал разделять мысли Сахарова: в какой-то момент произошло совпадение между номенклатурой и интеллектуальной оппозицией, и в этот момент от коммунистической идеи осталось только то, что было ею разрушено. Общество было разрушено вплоть до ресурсов его перестройки по западному образцу, тогда как никаких иных возможностей у него не было.

Народы центральной и восточной Европы это сразу поняли; они разорвали узы, связывавшие их с Москвой, чтобы как можно скорее вернуться к собственным историческим истокам. В самой России Горбачева сначала ненавидели как коммунистического лидера, а затем стали ненавидеть как политика, продавшего Запад. Он вел себя так, как будто все еще управлял своей страной, но верило ему только западное общественное мнение, привыкшее доверять всему, что исходило от Советского Союза. Русские почувствовали, что он ведет страну к общему развалу, как будто для того, чтобы опровергнуть последний тезис марксизма, согласно которому ни одно общество не погибает, пока внутри него не созреют предпосылки нового общественного строя, который придет ему на смену. В данном случае не происходило ничего подобного. Советский коммунизм умирал от внутреннего разложения; Горба-

чев только ускорил этот процесс, а его соперник Ельцин выступил в качестве ликвидатора. Родившийся благодаря революции, советский режим погибал в процессе инволюции. Но его последний руководитель, которого терпеть не могли в России, продолжал быть предметом обожания на Западе, где никак не хотели смириться с его падением, поскольку оно неизбежно означало конец иллюзии, заполнившей своим присутствием нынешний век. Советский Союз покинул историческую сцену, не успев исчерпать терпение своих сторонников за пределами своих границ. После него в мире осталось много сирот.

Крах режима, порожденного Октябрем 1917 года, и, быть может, в еще большей степени — крайние формы, которые этот крах принял, лишили коммунистическую идею не только земли обетованной, но и возможности найти опору где-либо в другом месте: смерть горбачевского Советского Союза у нас на глазах увлекла за собой все разновидности коммунизма, революционные принципы Октября и его историю, вплоть до надежды когда-нибудь возродить эти принципы в более благоприятных условиях. Как будто закрылся величайший путь к социальному счастью, когда-либо представлявшийся воображению современного человека. Коммунизм никогда не признавал иного суда, кроме суда истории, и вот он был осужден этим судом окончательно и бесповоротно. Он мог бы проиграть холодную войну и выстоять как режим. Или породить соперничающие государства и выжить как принцип. Или дать начало различным обществам, которые сохранили бы его как первоначальную точку отсчета. Можно придумать и другие варианты, при которых коммунизм, отходя в прошлое, сохранился бы как совокупность идей. Но судьба уготовила ему кончину, после которой не осталось ничего. За несколько месяцев коммунистические режимы должны были уступить место идеям и установлениям, которые Октябрьская революция, казалось, разрушила и заменила: частной собственности, рынку, правам человека, “формальному” конституционному строю, разделению властей, — полному набору либеральной демократии. В этом смысле поражение было абсолютным, поскольку оно начисто уничтожило первоначальные амбиции.

Но оно затронуло не только коммунистов и симпатизирующих коммунизму. Через них оно заставило переосмыслить убеждения, столь же старые, как западные левые движения, и даже столь же старые, как демократия. Начиная хотя бы со знаменитого “смысла истории”, посредством которого марксизм-ленинизм намеревался подтвердить демократический оптимизм гарантиями науки. Если капитализм стал будущим социализма, если буржуазный миропорядок следует за порядком, установленным “пролетарской ре-

волюцией”, то чего стоят эти гарантии? Инверсия канонических приоритетов разрушила сцепление эпох на пути прогресса. История снова стала темным туннелем, куда человек углубляется, не зная, к чему приведут его действия, не уверенный в своем будущем и в научной обоснованности того, что он делает. Лишившийся Бога, демократический индивид увидел с тоской, как в конце века зашаталось на своем пьедестале божество истории: эту тоску ему еще предстоит заковать.

Страх перед неуверенностью соединяется в его сознании с возмущением по поводу того, что будущее закрыто. Он привык возлагать на общество безграничные надежды, поскольку оно заверяло его, что он свободен, как все, и равен всем. К тому же эти качества должны были осуществиться во всей полноте, преодолеть горизонт капитализма и привести к созданию мира, где не будет различия между богатыми и бедными. Однако конец коммунизма вернул антиномии, присущие буржуазной демократии. Снова, как и вчера, возникли противоречивые и взаимодополняющие члены либерального уравнения: права человека и рынок; тем самым оказалась скомпрометированной сама основа, на которую в течение двух столетий опирался революционный мессианизм. Идея другого общества стала почти невысказанной, и никто в современном мире не может предложить на эту тему ничего нового. И вот мы осуждены жить в мире, в котором мы живем.

Эта ситуация слишком сурова и слишком противна духу современных обществ, чтобы она могла долго продолжаться. Демократия просто в силу своего существования создает потребность в мире, идущем на смену буржуазии и капиталу, где могла бы расцвести подлинная человеческая общность. Как мы могли убедиться в этой книге на примере Советского Союза, на всех этапах его существования идея коммунизма не переставала защищать его реальное историческое бытие, вплоть до того момента, когда Советский Союз попросту прекратил свое существование, увлекши в своем падении и идею, воплощением которой он так долго служил. Но конец советского мира ничего не изменил в демократическом стремлении к иному обществу. Поэтому можно побиться об заклад, что в западном общественном мнении эта неудача будет и впредь находить смягчающие обстоятельства и, быть может, сумеет вернуть себе былое восхищение. Вряд ли коммунистическая идея сможет возродиться в той же форме, в какой она умерла: пролетарская революция, марксистско-ленинская наука, идеологическая избранность одной партии, страны и империи — все это приказало долго жить вместе с Советским Союзом. Тем самым завершилась определенная эпоха, но не исчерпали себя возможности демократии.

# Примечания

## Предисловие

1. Этот тезис нуждается в нюансировке применительно к разным странам. Например, по отношению к Польше он менее верен, чем по отношению к Венгрии. Я здесь имею в виду положение в СССР, от которого в конечном счете все зависело: ведь именно из Москвы пошла волна распада Советской империи.

## Глава первая

1. Я имею в виду прежде всего “Рассуждение о начале и основании неравенства среди людей”.
2. *Ortega-y-Gasset, Jose. La Révolte des masses. Paris, 1961* (книга начала выходить в Испании в 1926 года в виде статей; отдельным изданием вышла в 1930 году).
3. *Arendt, Hannah. Le Système totalitaire (3 partie des origines du totalitarisme), éd. américaine, 1951. Trad.: Le Seuil, 1972.*

## Глава вторая

1. См.: *Joly, James. The origins of the First World War. Longman, 1984.*
2. *Constant, Benjamin. De l'esprit de la conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne. 1814. — In: De la liberté chez les modernes, textes choisis et annotés par Marcel Gauchet, coll. Hachette, 1980, p. 118—119.*

Работа была написана в Цюрихе весной 1916 года.

4. *Mann T. Betrachtungen eines Unpolitischen; trad. française: Considérations d'un apolitique. Grasset, 1975.*
5. *Ibid.*, p. 35.
6. Лучший анализ новизны войны 1914—1918 годов содержится в книге: *Aron, Raymond. Les Guerres en chaînes. Gallimard, 1951, chap. 1, "La surprise technique"*.
7. *Alain. Correspondances avec Elie et Florence Halévy. Gallimard, 1957.*
8. Ср. с высказыванием Алена в письме от 17 октября 1917 года относительно только что вышедшего "Огня" Барбюса: "Огонь" кажется мне скучным. Он написан с точки зрения офицера. Самое ошутимое зло войны — это рабство" (*ibid.*, p. 255).
9. См. письмо от 15 марта 1915 года: "К сожалению, нами управляют, в нынешние-то времена, честные люди; какой-нибудь циничный суверен давно бы уже заключил мир" (*ibid.*, p. 193).
10. Небольшая часть этой корреспонденции была опубликована вместе с письмами Алена к Эли и Флоранс Алеви. С неопубликованной частью я смог ознакомиться в бумагах Алеви благодаря любезности г-жи Ги-Лоэ, которой я приношу здесь мою благодарность.
11. Эли Алеви посвятил две свои главные работы английской истории: "Образование философского радикализма" (3 тома, Париж, 1901—1904) и "История английского народа в XIX веке" (4 тома, Париж, 1912—1932, переиздано в 5 томах в 1973—1975).
12. Письмо к Ксавье Леону от 17 ноября 1915 года. Не издано.
13. Неизданное письмо к Ксавье Леону от 3 июля 1915 года. Ту же идею мы встречаем немного более двух лет спустя в письме от 17 сентября 1917 года к тому же адресату: "...Война и социализм. Военное государство прямо способствует государственному социализму и, как реакция, социализму революционному и анархическому".
14. Неизданное письмо к Ксавье Леону от 29 ноября 1815 года. "Когда многие пролетарии желают мира любой ценой и без лишней болтовни, я понимаю прямолинейные желания этих малокультурных людей. Но вот политическое легкомыслие людей школы Шалэ не перестает меня удивлять..."
15. Неизданное письмо к Ксавье Леону от 21 октября 1914 года.
16. Неизданное письмо к Ксавье Леону от 26 ноября 1914 года.
17. Неизданное письмо к Ксавье Леону от 27 октября 1915 года.
18. Неизданное письмо к Ксавье Леону от 24 марта 1916 года: "Я возвращаюсь к своему тезису. В день, когда был убит Жорес и вспыхнул пожар в Европе, началась новая эра в истории Европы. Глупо думать, что через шесть месяцев это прекратится..."

19. Токвиль пишет (“Демократия в Америке”, ч. 2, кн. 3, гл. 32): “Война не всегда подчиняет демократические народы военному правительству, но она не может не способствовать увеличению полномочий гражданского правительства; она почти неизбежно вызывает концентрацию в его руках всего руководства людьми и вещами. Если она и не приводит к деспотизму сразу с помощью насилия, она приводит к нему постепенно с помощью привычки”.
20. *Alain*. *Op. cit.*, p. 217.
21. *Ibid.*, p. 252.
22. *Ibid.*, p. 363 (письма к Ксавье Леону от 17 и 28 марта 1917 года).
23. *Ibid.*, p. 363 (письмо к Ксавье Леону от 28 марта 1917 года).
24. В начале 1917 года Карл I Австрийский возложил на своего шурина принца Сикста де Бурбон-Парм, служившего на стороне союзников, миротворческую миссию. В феврале благодаря своим контактам с Жюлем Жамбоном принц был принят Раймоном Пуанкаре. Но попытка начать переговоры наталкивается на двойное сопротивление со стороны Германии и Франции, связанных со своими союзниками, соответственно — румынами и сербами. В начале июня новая миссия принца Сикста терпит провал. (Фактически ошибка автора — румыны в первой мировой войне воевали на стороне Атланты. — *Прим. ред.*).
25. *Aron, Raymond*. *Op. cit.*, p. 33.
26. Идеи, развитые Генри Киссинджером. См. в: *Diplomacy*, Simon and Schuster, New York, 1994, p. 218—245.
27. См.: *Bainville, Jacques*. *Les Conséquences politiques de la paix*. Librairie A. Fayard, 1920; rééd. 1941.
28. См.: *Keynes, John K.* *Les Conséquences économiques de la paix*. Gallimard, 1920; et *Essays in Biography*. New York, 1951. Первый из этих очерков (“Совет четырех”) рисует портреты четырех участников версальских переговоров, где Кейнс был одним из членов английской делегации. Вот что он пишет о Клемансо: “К Франции он относился, как Перикл к Афинам, — только она обладает величием, все остальное не имеет значения; но политику он понимал так же, как Бисмарк. Франция была его единственным обольщением, а его разочарование распространялось на все человечество, включая и французов, не говоря уже о трех его коллегах по переговорам”.
29. Император Вильгельм отрекся от престола 9 ноября 1918 года. В ночь с 9 на 10 социалист Фридрих Эберт заключил тайное соглашение с руководителями рейхсвера против угрозы революции большевистского типа, которая казалась возможной в обстановке царившего хаоса (забастовки, демонстрации, советы

рабочих и солдатских депутатов). Активисты “Лиги Спартака” 29 декабря 1918 — 1 января 1919 года создали немецкую Коммунистическую партию и готовились захватить власть. После того как власти сместили берлинского префекта, создавшего нечто вроде революционной полиции, начались бои. Генерал Носке получил чрезвычайные полномочия и безжалостно подавил коммунистическое восстание. Роза Люксембург и Карл Либкнехт были убиты офицерами 15 января.

В Венгрии социал-демократическое правительство Михая Каройи (организованное в октябре 1918 года) вступило в марте 1919 года в союз с венгерской Коммунистической партией, созданной в Москве Белой Куном. Была создана Республика советов, Бела Кун начал проводить программу по образцу большевистской: национализация предприятий и банков, конфискация больших земельных владений в пользу кооперативов, создание политической полиции. Не получив поддержки населения, этот опыт после 33 дней существования был ликвидирован 1 августа 1919 года в результате интервенции румынских войск.

В Баварии социалист Курт Эйсер руководил правительством начиная с 8 ноября 1918 года. 21 февраля он был убит. В апреле анархистами и социал-демократами была провозглашена Советская Республика. 1 мая ей положили конец войска, посланные берлинским правительством.

## Глава третья

1. См.: *Bulletin des droits de l'homme*. 10 année, № 3, 1 février 1919, № 5—6 1—15 mars 1919. “Enquête sur la situation en Russie”. Эти материалы поступили в распоряжение историков благодаря книге: *Jelen, Christian. L'Aveuglement, les socialistes et la naissance du mythe soviétique*. Flammarion, 1984.
2. “Революция — это единое целое”, — фраза, произнесенная Клемансо 29 января 1891 года в парламенте во время дебатов, последовавших за запрещением пьесы Викторьена Сарду “Термидор”.
3. Фернан Гренар (Fernand Grenard) является автором книги “*La Révolution russe*”. Armand Colin, 1933.
4. *Bulletin des droits de l'homme*. Op. cit., p. 148.
5. На протяжении этих двух дней Конвент под давлением парижских секций исключил из своих рядов жирондистов.
6. См.: *Aulard, Alphonse. Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la démocratie et de la République*. Armand Colin, 1901 (rééd. 1926).

7. *Ibid.*, p. 46.
8. *Ibid.*, p. 47—48
9. Первый значительный текст Ленина, “Детская болезнь “левизны” в коммунизме”, был опубликован на французском языке накануне Турского конгресса.
10. Свидетельство тому две статьи, опубликованные им в начале 1920 года, одна из которых посвящена сравнению между большевизмом и якобинством, а вторая — между Лениным и Робеспьером. Первая, более значительная, подхватывает тему, уже затронутую автором в ноябре 1917 года в одной газете Франш-Конте, и показывает, что автор находится на позициях, близких к Олару. Большевизм и якобинство, читаем мы в ней, “являются двумя диктатурами, родившимися в условиях гражданской войны и войны с иностранными армиями; обе являются диктатурами классовыми, они пользуются одинаковыми средствами, такими как террор, реквизиции и налоги на богачей, и преследуют в конечном счете сходную цель — преобразование общества, не только русского или французского, но общества универсального”. Как это обычно бывает, компаративистский жанр приводит историка к неточностям. Так, большевистская диктатура, осуществляемая от имени класса, уже давно была записана в ленинской программе и была не следствием гражданской войны и интервенции, а скорее их причиной. Что же касается диктатуры II года, то она в гораздо большей степени зависела от обстоятельств и устанавливалась постепенно во имя общественного спасения в обстановке гражданской и внешней войны и под ее воздействием.
11. Цит. по: *Mathiez, Albert...*, op. cit. p. 165. Статья появилась в *Le progrès civique*, 11 et 18 septembre 1920.
12. *Shlapentokh, Dmitry*. The Images of the French Revolution in the February and Bolchevik Revolution. — *Russian History*, 16, № 1, 1989.
13. *Kondratieva, Tamara*. Bolchevik et jacobins, Bibliothèque Payot. Payot, 1989.
14. Ее статья 1904 года первоначально называлась “Проблема организации в русской социал-демократии”; она была переиздана по-английски под названием “Ленинизм или марксизм” с предисловием Б. Вольфа Мичиганским университетом в 1961 году.
15. Ее письма из тюрьмы о русской революции будут опубликованы в конце 1921 года Полем Леви в момент разрыва последнего с Лениным. Первый французский перевод был сделан в 1922 году Александром Брак-Деруссо. — “La Révolution russe”, dans *Œuvres II*, petite collection Maspero, 1969.

16. Я имею в виду опровержение Бернштейна, которое Каутский опубликовал в 1899 году в *Neue Zeit*, равно как и выпущенную в том же году его работу по аграрному вопросу. См.: *Gay, Peter. The Dilemma of Democratic Socialism. Eduard Bernstein's Challenge to Marx.* New York, Columbia University Press, 1952. В 1899 году Эдуард Бернштейн, душеприказчик Маркса, опубликовал "Предпосылки социализма и задачи социал-демократии" (*Le Seuil*, 1974), книгу, в которой он ставит под вопрос канонические идеи марксизма относительно эволюции капитализма и необходимости революции как предварительного условия установления социализма. Каутский отвечает "ревизионисту" Бернштейну публикацией книги *Bernstein und das sozialistische Programm, 1899* (*Marxisme et son critique Bernstein*, Stock, 1900). Анализы Бернштейна будут отвергнуты большинством социал-демократов.
17. *Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Anton Pinnekoek. Socialisme, la voie occidentale.* (Подготовка текстов и аннотации Анри Вебера, перевод Алена Бросса, изд. P.U.F., 1983.)
18. *Kautsky, Karl. Le Chemin du pouvoir.* Girard et Briere, 1910.
19. *Kautsky, Karl. La Dictature du prolétariat.* Vienne, 1918; *Terrorisme et communisme. Contribution a l'histoire des révolutions,* 1919. J. Polozky et Cie, 1921.
20. Вот эта цитата: "Между капиталистическим и социалистическим обществами лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата" (*Karl Marx. Critique de la programme de Gotha dans Œuvres: Économie I.* Gallimard, la Pléiade, 1977, p. 1429. (*Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.*, т. 19, с. 27. — Прим. пер.)
21. См.: *Constant, Benjamin. De la force du gouvernement et de la nécessité de s'y rallier,* 1796; *Des effets de la Terreur,* 1797.
22. *Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский,* 1918.
23. Борис Суварин уточняет в своей книжке "Autour du Congrès de Tours" (*Champ libre*, 1981), что условия были видоизменены с учетом французской специфики.
24. См.: *Kriegel, Annie. Aux origines du communisme français,* 2 vol. Paris-La Haye, Mouton et Cie, 1964.
25. *Sadoul, Jacques, préface à Souvarine, Boris. La Troisième Internationale,* édition Clarté, 1919.
26. *Panné, Jean-Louis. Boris Souvarine, le premier désenchanté du communisme.* Robert Laffont, 1993, p. 136.
27. *Sorel, Georges. Réflexion sur la violence.* Le Seuil, 1990, appendice III, "pour Lénine", p. 296.

28. *Heller, Michel et Nekrich, Alexander. L'Utopie au pouvoir. L'histoire de l'URSS de 1917 à nos jours. Calmann-Lévy, 1982, p. 109. См. также о первых годах русской революции: Pipes, Richard. The Russian Revolution. Alfred A. Knopf, New-York, 1990.*
29. Я заимствую у Мишле это выражение, которым он описывает состояние умов французов в 1792 году. См.: *Michelet, Jules. Histoire de la Révolution française. Robert Laffont, Bouquins, 1989.*
30. См.: *Russell, Bertrand. The Practice and Theory of Bolchevism. Londres, G. Allen & Unwin, 1921.*
31. Он так это объясняет в своей автобиографии (*The Autobiography of Bertrand Russell, 1944—1969. New-York, Simon and Schuster, p. 10*): “В эту эпоху (в 1948) я был *persona grata* для английского правительства, потому что, выступая против ядерной войны, я был в то же время и антикоммунистом. Позднее, после смерти Сталина в 1953 году и атомного испытания на Бикини в 1954, я стал более благоприятно относиться к коммунизму; я стал считать, что ядерная опасность все более исходит от Запада, от Соединенных Штатов Америки, и все менее — от России. На эволюции моих взглядов сказались и события внутренней американской политики, такие как маккартизм и посягательства на права граждан”.

## Глава четвертая

1. См.: *Besançon, Alain. “La Russie et la Révolution française”. — In: The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, vol. 3 (éd. François Furet et Mona Ozouf). Pergamon Press, Oxford, 1989, p. 575—584.*
2. См.: *Lewin, Moshe. Le Dernier Combat de Lénine. Édition de Minuit, 1967.*
3. Термин “ленинизм” возник сразу же после смерти Ленина (см. *Souvarine, Boris. Staline, op. cit., p. 307—309*). В начале апреля 1924 года Иосиф Сталин в университете им. Свердлова прочел лекцию под названием “Основы ленинизма”. В 1925 году Григорий Зиновьев написал книгу “Ленинизм” (франц. изд. 1926). С середины 30-х годов термин “марксизм-ленинизм” входит в идеологический арсенал ФКП (“Факты подтверждают марксистско-ленинскую теорию нашей партии”, — Начальная школа ФКП, урок 5, 1937). Употребление этого термина становится обиходным и обязательным после появления брошюры Сталина “О диалектическом и историческом материализме” (1938).

4. См.: *Pascal, Pierre. Mon journal de Russie, 1916—1918, t. I, préface de J. Laloy, L'Âge d'homme, 1975; En Communisme. Mon journal de Russie, 1918—1921, t. II, 1977; Mon état d'âme. Mon journal de Russie, 1922—1926, t. III, 1982; Mon journal de Russie, t. IV, 1982.*
5. См.: *Pascal, Pierre. Avvakum et les débuts du raskol. La crise religieuse au XVII siècle en Russie. Paris, librairie Honoré Champion, 1938; La Vie de l'archiprêtre Avvakum écrite par lui-même..., trad., introd. et notes de Pierre Pascal. Gallimard, 1960.*
6. См.: *Boutang, Yann Moulier. Louis Altusser. Une biographie. Grasset, 1992.*
7. Жак Садуль стремится стать единоличным руководителем группы французских коммунистов. Чтобы устранить соперников, он доносит Ленину на Паскаля как на симпатизирующего меньшевикам. Начинается расследование, и Паскаль вынужден оправдываться перед ЧК. Садуль вновь доносит на Паскаля, теперь как на католика. См.: *Pascal, Pierre. Journal de Russie, t. II, p. 111—114.*
8. *Филип Жозеф Бенжамен Бюше (Buche) (1796—1865) — автор, вместе с Проспером Шарлем Ру (Roux), монументальной “Парламентской истории Французской революции” в сорока томах, вышедшей между 1834 и 1838 годами. Бывший карбонарий и сен-симонист, Бюше дает революции одновременно католическую и социалистическую интерпретацию. Исходя из этих позиций, он прославляет коллективистский мессианизм якобинцев, который он противопоставляет буржуазному индивидуализму 1789 года.*
9. *Pascal, Pierre. Journal, t. II, p. 16.*
10. *Serge, Victor. Souvenir d'un révolutionnaire. Le Seuil, 1951, p. 153—154. О Викторе Серже см. ниже.*
11. Материалы “Дневника” долго оставались неизданными. Паскаль выкроил из них небольшую пропагандистскую книжечку, опубликованную в конце 1920 года, накануне Турского конгресса, под названием: *En Russie rouge. Lettres d'un communiste français. Petrograd, Éditions de l'International communiste, 1920; Paris, Éditions de la Librairie de l'Humanité, 1921.*
12. Возникшая в 1919 году, “рабочая оппозиция” во главе с Александром Шляпниковым и Александрой Коллонтай защищала свои идеи на X съезде партии, проходившем одновременно с Кронштадским восстанием. Рабочая оппозиция считала себя выразителем “передовой части рабочих масс, организованных в профсоюзы...”. Ее тезисы о роли профсоюзов были отвергнуты участниками съезда, которые проголосовали за запрет любых оппозиционных групп внутри партии. См.: *Kollontai, Alexandra. L'Opposition ouvrière. Le Seuil, 1974.*

13. Синдикалист-революционер и основатель “Ла Ви Увриер” (1909), Пьер Монат (1881—1960) одним из первых в рядах ВКТ поддержал большевистскую революцию и продолжал ее поддерживать вплоть до раскола в 1921 году. Он стал членом редакции “Юманите” в марте 1922-го, но в компартию вступил только в мае 1923 года. Подал в отставку в знак протеста против “большевизации”, затем основал новый журнал “Ла Революсьон пролетарьен”.
14. *Pascal, Pierre. Journal*, t. IV, p. 190, 4 septembre 1927.
15. В 1933 году, едва вернувшись из советской России, Пьер Паскаль солидаризируется с Борисом Сувариним в защите Виктора Сержа, который в очередной раз был арестован. В 1936 году он пишет предисловие к брошюре М. Ивона (“Что случилось с русской революцией”); название предисловия “Те, кому следует верить” ясно указывает на высокую оценку Паскалем свидетельства старого рабочего, прожившего одиннадцать лет в СССР. В 1952 году он опубликовал в “Прёв” статью “Русская революция и ее причины”, в которой противопоставлял “самую благородную из революций” и “отвратительную систему, бесстыдно предавшую все надежды 1917 года”. В 1967 году он повторил это противопоставление между революцией и режимом в журнале “Ла Революсьон пролетарьен” (“Октябрь и февраль — единая революция”, апрель 1967), а также принял участие в дебатах, организованных журналом “Табль ронд” (№ 237—238, octobre-novembre 1967) с Жаном Брюа, Станиславом Фюме и Пьером Сорленом, на тему “Октябрь 1917, русская революция и ее судьба”.
16. Фигуре Бориса Суварина посвящена выдающаяся биография (*Panné, Jean-Louis. Boris Souvarine, le premier désenchanté du communisme. Robert Laffont, 1993*), которой многим обязан автор нижеследующих страниц.
17. См. об этом: *Souvarine, Boris. Autour du Congrès de Tours. Champ libre, Paris, 1981*.
18. См. ее письмо, написанное в 1929 году Амеде Дюнуа, цитируемое Жан-Луи Панне (op. cit., p. 220). См. также: *Balabanova, Angelica. My Life as a Rebel. Harper and Brothers, New York, 1938*.
19. См.: *Humbert-Droz, Jules. L’Œil de Moscou à Paris, 1922—1924. Coll. Archives, Julliard, 1964*.
20. Альбер Трен (1889—1971) закончил войну в чине капитана. Примкнул к большевизму, стал членом левого крыла Коммунистической партии. С 1923 года секретарь партии и член президиума Коминтерна. Связанный с Зиновьевым, он поддерживает его политику и противопоставляет себя другим руководителям французской компартии во время ее “большевизации”. После

- отстранения Зиновьева он, в свою очередь, перейдет в оппозицию, чтобы затем уйти в SFIO.
21. См.: *Souvarine, Boris. Pierre Pascal et le sphinx. Mélanges Pierre Pascal. — Revue des études slaves, t. LIV, 1982.*
  22. Уроженец Бельгии, Николая Лазаревич (1895—1975) приехал в Россию в 1919 году, но был вынужден уехать в Румынию летом того же года. В Милане он участвовал в захвате рабочими фабрик в 1920 году. Вернувшись в Россию, он работает сначала рабочим на заводе, затем переводчиком при Коминтерне. Уже в этот период он критикует советский режим. В 1924 году его арестовывают за организацию группы рабочих для борьбы за настоящие профсоюзы и в сентябре 1926 высылают из страны. Во Франции он завязывает контакты с изгнанными русскими анархистами, и власти высылают его в Бельгию, где он продолжает активно заниматься политической работой. В 1936 году он приезжает в Испанию и внимательно следит за разворачивающимися там событиями. В том же году возвращается во Францию, работает корректором. После войны, оставаясь по-прежнему другом Пьера Паскаля и Суварина, сотрудничает с Альбером Камю.
  23. *Panné Jean-Louis. Op. cit., p. 166.*
  24. Из интервью Г. Лукача, опубликованного в “New Left Review” (juillet-août 1971). Appendice à Georg Lukács, Record of a Life, par Istran Eörsi. Verso Editions, 1983, p. 181.
  25. *Bellow, Saul. To Jerusalem and Back. New York, Avon, 1977, p. 162.*
  26. *Kadarkay, Arpad. Georg Lukács. Life, Thought and Politics. Basil, Blackwell, 1991, p. 11.*
  27. Макс Вебер писал в ноябре 1918 года: “Мы избежали худшего — русского кнута... Мировое господство Америки стало столь же неизбежным, как мировое господство древнего Рима после Пунических войн. Будем надеяться, что она не пойдёт на раздел [мира] с Россией... ибо русской опасности нам удалось избежать только сегодня, а не навсегда”. Цит. по: *Kadarkay, Arpad. Georg Lukács., op. cit., p. 188.*
  28. *Kadarkay, Arpad. Georg Lukács., op. cit., p. 203.*
  29. Франц. перевод 1960, Éditions de Minuit. Англ. перевод с предисловием Родни Ливингстона, The M.I.T. Press, 1968.
  30. *Serge, Victor. Mémoires d'un révolutionnaire. Le Seuil, 1951, p. 198.* Серж относит эту встречу к 1928 или 1929 году, но в действительности она состоялась позднее, так как Лукач обосновался со своей женой в Москве только весной 1930 года. Лукач сам указал на эту ошибку в своих заметках для автобиографии, сделанных в последние годы жизни (см.: *Gelebtes Denken Notes toward an Autobiographie. — In: Georg Lukács. Record of a Life. Op. cit., p. 143.*

31. См.: *Arato Andrew, Brein Paul. The Young Lukács and the Origins of Western Marxism.* New York, Seabury Press, 1979.
32. О соблазнах деспотизма у Лукача см.: *Congdon Lee. The Young Lukács.* Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1983.
33. Я имею в виду его “Разрушение разума” (1954) и вообще манихизм его эстетических сочинений.
34. *Kolakowski, Leszek. Main Currents of Marxism. Vol. III, The Breakdown,* Clarendon Press, 1978, p. 253—307.
35. См.: *Kadarkay, Arpad. Georg Lukács, op. cit., p. 434—438.*

## Глава пятая

1. Я заимствую это выражение из названия брошюры Иды Метт (Mett): *La Commune de Kronstadt, crêpuscule sanglant des Soviets.*
2. Уже в 1919 году националистически настроенный журналист Вольфганг Капп заручился поддержкой военных кругов, чтобы организовать путч против Веймарской республики. При поддержке генерала фон Лютвица, командующего войсками в Берлине, и военизированных отрядов Эрхарда он переходит к активным действиям 13 марта 1920 года. Через четыре дня его попытка заканчивается провалом. Во время этих событий немецкая компартия оставалась нейтральной.
3. 9 сентября 1917 года генерал Корнилов, главнокомандующий русской армией, был смещен Керенским. Отказавшись подчиниться, Корнилов двинулся на Петроград. Чтобы нанести ему поражение, Временное правительство обратилось к большевикам, находившимся в подполье после июльских дней. После этого большевики приобрели такое влияние, на которое не смели надеяться, а генерал Корнилов был оставлен своими войсками.
4. Знаменитый декрет о земле, принятый сразу вслед за Октябрем 1917, не вводил общественной собственности на землю. Он перераспределял между крестьянами земельную собственность крупных землевладельцев через посредство местных крестьянских Советов. Он был целиком заимствован из программы эсеров, чтобы укрепить союз крестьян и рабочего класса.
5. Этот текст затем неоднократно переиздавался по-русски и на всех других языках. Обычно его помещали в начале книги под названием “Вопросы ленинизма”, куда добавлены более поздние речи Сталина.
6. Мало найдется книг, так ярко освещающих политические нравы Коминтерна, как это делает, при всей своей предвзятости и ошибках, книга Рут Фишер (*Fischer Ruth. Stalin and German*

- Communism, a Study in the origins of the State Party. Harvard University Press, 1948).
7. Ленин противопоставил Троцкому свою концепцию “революционной диктатуры пролетариата и крестьянства”. Но после Октября оба сошлись на том, что успех пролетарской революции в России зависит если не от мировой, то хотя бы от европейской революции.
  8. См.: *Fischer, Ruth*. Op. cit., 1948, p. 641.
  9. *Ibid.*, p. 237—239.
  10. См.: *Istrati, Panaït*. Vers l'autre flamme I. Après seize mois dans l'URSS. Rieder, 1929; [Victor Serge] Vers l'autre flamme II. Soviets 1929; [Boris Souvarine] Vers l'autre flamme III. La Russie nue. Первый том трилогии был переиздан в 1987 (Gallimard, Folio essais).
  11. Сын русского народника, укrywшегося в Бельгии, Виктор Серж (1890—1947) был замешан в дело “банды Бонно”. После пяти лет тюрьмы он был выслан и перебрался в Испанию, где участвовал в революционном движении. Добравшись до России, он примкнул к большевикам и работал в аппарате Коминтерна. С 1925 года он, видя эволюцию режима, отдаляется от него и примыкает к левой оппозиции. Арестованный первый раз в 1928 году, он сослан в Ораниенбург в 1933 с женой и сыном. Международная кампания протеста помогает ему в 1936 году покинуть СССР. Впоследствии он опубликует несколько работ о советском режиме. В 1940 году он уезжает из Марселя на Антильские острова, а оттуда в Мексику. В последних своих работах он обличает “новый русский империализм”. [Victor Serge], *Soviets* 1929, op. cit., p. 132.
  12. Симпатизировавший большевикам до Октябрьской революции, Максим Горький (1868—1936) после революции не переставал их обличать в своей газете “Новая жизнь”, которая была окончательно запрещена Лениным в июле 1918 года (см. “Несвоевременные мысли”, франц. пер., Pluriel, 1977). В 1921 году он эмигрировал сначала в Берлин, а затем в Италию, где и пробыл до мая 1928 года. В 1924 году в статье “Ленин и русский крестьянин” он отдал долг уважения основателю советского государства, чем ознаменовал первый этап примирения с ним. В 1928 году советские власти организовали его триумфальное возвращение на родину, приуроченное к его шестидесятилетию. Горький начинает свою новую карьеру официального писателя, он председательствует в Союзе советских писателей и ставит свое перо на службу режиму, прославляя его “победы” и одобряя его репрессивную политику. Он проповедует перевоспитание принудительным трудом и публикует восторженные

репортажи о лагере на Соловках (1929) или о постройке Беломоро-Балтийского канала, которая стоила жизни десяткам тысяч заключенных. Он выезжал за рубеж до 1933 года, затем в такой возможности ему было отказано.

Избалованный успехом, он находится под постоянным наблюдением “органов” и играет важнейшую роль в присоединении французских интеллектуалов, прежде всего Ромена Роллана, к поддержке советского режима. После убийства Кирова (декабрь 1934) он призывает к “безжалостному уничтожению врагов”, освящая таким образом своим авторитетом кровавые расправы. О последних годах Максима Горького см. книгу Виталия Шенталинского (*Chentalinski V. Parole resuscitée. Dans les archives littéraires du K.G.V. Robert Laffont, 1993*).

14. Николай Устрялов — профессор права, член партии кадетов во время Февральской революции, затем враг Октября и член правительства Колчака, вынужденный бежать в Китай. В 1920—1921 годах он переходит к поддержке советской России во имя русского патриотизма. Он создает внутри страны и за ее пределами движение “национал-большевизма”, поддерживая идею “советского Термидора”. См.: *Kondratieva, Tamara. Bolcheviks et Jacobins*, p. 90—109.
15. Главным исследованием о голоде на Украине является написанная по свежим следам события книга прибалтийского немца Эдвальда Амменде (*Edwald Ammende*), возглавлявшего по поручению кардинала города Вены межконфессиональную организацию помощи: *Muss Rusland hungern? Menschen und Volkerschicksale in der Sovietunion, Viennt, 1935*. Существует также: *La Famine en Russie. Rapport adressé au gouvernement allemand par le Dr Otto Schiller, 1933*. (Отто Шиллер работал экспертом по аграрным вопросам при посольстве Германии в Москве.) Среди литературных свидетельств и воспоминаний: *Muggeridge, Malcolm. Winter in Moscow. Boston, 1934*; *Chronicles of Wasted Times, t. I. New York, 1973*. *Kravchenko, Victor. J'ai choisi la liberté! La vie publique et privée d'un haut fonctionnaire soviétique. Self, 1947*; *Barka, Vassil. Le Prince jaune. Gallimard, 1981*; *Dolot, Miron. Execution by Hunger. The Hidden Holocaust. New York, W. W. Norton, 1985*; trad.: *Les Affamés. Holocauste masqué, Ukraine 1929—1933. Ramsay, 1986*. Среди исторических исследований: *Hryshko W. The Ukrainian Holocaust of 1933. Toronto, 1983*; *Conquest, Robert. Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror of Famine. New York, Oxford University Press, 1986*.
16. См.: *Conquest, Robert. La Grande Terreur. Les Purges staliniennes des années trente. Stock, 1970*.

17. *Ibid.*, chap. I, p. 38—51.
18. *Ibid.*, p. 36—37.
19. См.: Panné, Jean-Louis. Boris Souvarine, p. 199.
20. Kautsky K. Le Bolchevisme dans l'impasse, trad. par Brack, Paris, Alcan, 1931, rééd., P.U.F., 1982.
21. См.: Beçançon, Alain. Court Traité de soviétologie à l'usage des autorités civiles, militaires et religieuses. Paris, Hachette, 1976, chap. 2, p. 61—88.
22. Kupferman, Fred. Au pays des Soviets, le voyage français en Union soviétique, 1917—1939. Gallimard-Julliard, 1979, p. 87—90.
23. Panné, Jean-Louis. Boris Souvarine, p. 200—202.
24. См.: Winock, Michel. Histoire politique de la revue "Esprit". Le Seuil, 1975.
25. В 1930 году Марсель Деа (Deat) (1894—1955) публикует "Социалистические перспективы", книгу, в которой проповедует союз рабочего класса со средними классами для построения социалистического общества под эгидой государства. Его тезисы были отвергнуты SFIO, и Деа основал в 1933 году Французскую социалистическую партию объединения им. Жана Жореса. В 1935 он публикует разработанный под его руководством "Французский план". Выступив сторонником Мюнхенского соглашения, Деа затем, уже в годы оккупации, создает коллаборационистскую партию "Национальное народное объединение", из которой стремится сделать единственную партию страны для поддержки нацизма. См. о нем: Burrin, Philippe. La Dérive fasciste. Doriot, Déat, Bergery. Le Seuil, 1986; Déat, Marcel. Mémoires politiques, Denoël, 1989.
26. Aron, Robert et Dandieu, Arnaud. La Révolution nécessaire. Grasset, 1933. В предисловии (на с. XIII) можно прочесть: "Грядущая революция, неполными и несовершенными предвестниками которой являются события в России, Италии и Германии, свершится во Франции".
27. Выпускник Политехнической школы, администратор "Банк де Пари э де Пэи-Ба", председатель Французской нефтяной компании и "Юньон д'электрисите", Эрнест Мерсье был также, вплоть до 1935 года, одним из сторонников полковника де Ла Рока и основателем движения, которое именовалось в то время "Французским возрождением". Автор книги: U.R.S.S. Réflexions par Ernest Mercier, janvier 1936. Éditions du Centre polytechnicien d'études économiques, février 1936.
28. См.: Beaurepaire, Charle. M. Ernest Mercier fait l'éloge de Staline. — Masses, № 5—6, 25 février 1936.
29. См.: Warren F. A. Liberals and Communism. The "Red Decade" revisited, Indiana University Press, 1966.

30. Основанное в 1884 году Сиднеем и Беатрисой Вебб, Фабианское общество получило свое название от имени Фабиуса Кунктатора (“Медлителя”), командовавшего римскими войсками во время II Пунической войны. Члены общества противостояли марксизму и проповедовали постепенное продвижение к социализму путем реформ. Их взгляды получили известность в 1889 году благодаря публикации “Фабианских очерков” Джорджа Бернарда Шоу. Фабианцы рассчитывали оказать влияние на Лейбористскую партию и на профсоюзы. В начале 30-х годов они испытывали влечение к советской России. Д. Б. Шоу, съездив туда в 1931 году, заявил по возвращении, что “установленная там система — это фабианская система”. Беатриса и Сидней Вебб после путешествия в 1932 году (Сидней съездил еще раз в 1934 году), выступили с хвалебными описаниями Советского Союза: *Soviet Communism: A New Civilization?* Longmans, Green and Co, Londres, 1935, 2 vol.
31. См.: *Wells, Herbert G. Russia in the Shadows*, 1920; trad. *La Russie telle que je viens de la voir*. Éditions du Progrès civique, 1921.
32. *Wells, Herbert G. La Russie...*, chap. 6, p. 150: “В Ленине я видел подтверждение того, что коммунизм может, вопреки всему и наперекор Марксу, обрести огромную созидательную силу”.
33. “Stalin-Wells Talk. The Verbatim Record and a discussion by G. Berard Shaw, H. G. Wells, J. M. Keynes, Ernst Toller”. — *The New Statesman and Nation*, december 1934. Беседа Уэллс — Сталин от 23 июля 1934 года воспроизведена в “Собрании сочинений” Иосифа Сталина, франц. изд.: vol. XIV, 1934—1940, Nouveau Bureau d’éditions, 1977.
34. По возвращении в одном из выступлений Уэллс заявил, что в СССР нет интеллектуальной свободы, — за что и получил упрек от немецкого коммуниста Эрнста Толлера, находившегося тогда в эмиграции в Лондоне. См. “Stalin-Wells Talk”, *op. cit.*, p. 27—28.
35. Цит. Дейвидом Данном (Dunn): *A Good Fabian fallen among the Stalinists*. — *Survey*, hiver 1989, p. 15—37.
36. Правительство Макдональда должно было подать в отставку в 1931 году, продемонстрировав неспособность лейбористов справиться с экономическим и социальным кризисом.
37. Бернард Шоу провел шесть дней в СССР в конце июля 1931 года вместе с лордом и леди Астор по приглашению Союза писателей. Ему был оказан пышный прием как одной из интеллектуальных знаменитостей Запада.
38. “Stalin-Wells Talk...”, p. 22.
39. *Ibid.*, p. 26.
40. *Keynes J. M.* — In: “Staline-Wells Talk...”, p. 35.

41. Отметим, что сам Кейнс совершил путешествие в Советский Союз в 1925 году по случаю 200-летия Санкт-Петербургской (теперь — Ленинградской) Академии Наук. Он привез оттуда короткое и очень критическое исследование, опубликованное усилиями его друзей из “Блумсбери Групп”. См.: *Keynes, John M. A Short View of Russia*. The Hogarth Press, 1925.
42. См.: *Webb, Sidney and Beatrice. Soviet Communism: a New Civilisation?* Longmans, Green and Co, Londres, 1935, 2 vol. Во втором издании, появившемся в 1937 году, авторы убрали из названия вопросительный знак.
43. *Ibid.* (последняя глава “Является ли партия диктатором?”), p. 431.

## Глава шестая

1. Элементы такой истории можно найти в книгах: *Schapiro, Leonard. Totalitarianism*. Pall Mall, London, 1932; *Bracher, Karl Dietrich. The Disputed Concept of Totalitarianism, Experience and Actuality*, in *Totalitarianism reconsidered. Ernest A. Kenze (éd.)*, Kennikat Press, London, 1981; *Guy Hermet (éd.)*. *Totalitarismes. Coll. Politique comparée, Economica*, 1984.
2. Из чего не следует, будто Токвиль размышлял о “тоталитаризме”. Но у него уже появляется интуитивное ощущение, что в современных обществах, характеризующихся автономией и равенством индивидов, порабощение людей властью может принимать крайние и никогда ранее не встречавшиеся формы.
3. *Mussolini. Opera*, XXI, p. 362. Ср.: *Schapiro, Leonard. Totalitarianism*, p. 13.
4. См.: *Jünger, Ernst. Die Total Mobilmachung*. — In: *Krieg und Krieger*. 1930.
5. См.: *Schmitt, Karl. Der Hüter der Verfassung*. Tübingen, Mohr, 1931, p. 79. Ср.: *Fraenkel, Ernst. The Dual State. A Contribution to the Theory of Dictatorship*. Англ. пер. Oxford University Press, 1941, p. 60.
6. Опубликовано в: *Halévy, Élie. L'ère des tyrannies*. — *Études sur le socialisme et la guerre*. Gallimard, 1938, p. 213—249.
7. *Kautsky, Karl. Marxism and Bolchevism. Democracy and Dictatorship*. — In: *J. Chaplen and D. Shub (ed.)*. *Socialism, Fascism, Communism*. New York, 1934, p. 213.
8. Цит. по: *Weber, Henri. La Théorie du Stalinisme dans l'œuvre de Kautsky*. — In: *Éveline Pisier (éd.)*. *Les Interprétations du stalinisme*, P.U.F., 1983, p. 63.

9. Основанный в Вене в феврале 1921 года социалистическими партиями, покинувшими II Интернационал, но не желавшими примкнуть к III Интернационалу, “Интернационал 2,5”, состоявший в основном из австрийцев, в конце концов распался и слился с II Интернационалом.
10. См.: Historikerstrief, München, 1987; франц. пер. *Devant l'histoire. Les documents de la controverse sur la singularité de l'extermination des Juifs par le régime nazi*. Éd du Cerf, coll. Passages, 1988.

Вот уже двадцать лет, и особенно после дискуссии 1987 года, мысли Эрнста Нольте подвергаются в Германии и вообще на Западе столь огульному осуждению, что они заслуживают отдельного комментария.

Одна из его заслуг состоит в том, что он очень рано переступил запрет на параллельное рассмотрение коммунизма и нацизма. Уже в 1963 году в книге *Der Faschismus in seiner Epoche* (“Фашизм в контексте своей эпохи”. Франц. пер. *Le Fascisme en son époque*, 3 vol. Julliard, 1970) Нольте изложил в основных чертах свою историко-философскую концепцию XX века, следующую в русле гегелевских и хайдеггеровских идей. Либеральная система, по причине своей противоречивости и бесконечной открытости в будущее, послужила матрицей для двух больших идеологий — коммунистической и фашистской. Первая, начало которой положил Маркс, доводит до крайнего предела “трансценденцию” современного общества: автор имеет в виду абстракцию демократического универсализма, которая выталкивает мысль и деятельность людей за пределы природы и традиции. Действуя в противоположном направлении, фашизм стремится избавить людей от тоски, порождаемой свободой и недетерминированностью. В своих далеких истоках пафос Нольте восходит к Ницше, к его стремлению защитить “жизнь” и “культуру” от “трансценденции”.

Откуда следует, что обе идеологии нельзя изучать порознь: вместе они доводят до предела противоречия либерализма, заполняя наш век своей дополнительностью-враждой. Но их взаимодействие подчиняется также хронологической последовательности: победа Ленина предшествовала победе Муссолини, не говоря уже о Гитлере. И не только предшествовала, но предопределяла успехи двух последних. Нольте продолжал развивать и углублять эту мысль в своих последующих книгах: *Die Faschistischen Bevengungen*, 1966, (“Фашистские движения”. Франц. пер. *Les Mouvements fascistes*. Calmann-Lévy, 1969); *Deutschland und der Kalte Krieg*, 1974, (“Германия и холодная война”) и, в особенности, *Der Europäische Bürger Krieg, 1917—1945*. 1987, (“Европейская гражданская война, 1917—1945”), до-

казывая, что в идеологическом плане универсалистский экстремизм большевизма вызывал партикуляристский экстремизм нацизма. В политическом же плане истребление буржуазии, предпринятое Лениным во имя абстракции бесклассового общества, вызвало социальную панику в той части Европы, которая была наиболее уязвима для коммунистической угрозы; отсюда победа Гитлера и нацистский контртеррор.

Однако и Гитлер в своей борьбе обречен на поражение, потому что и он вовлечен в универсальное развитие “техники” и использует те же методы, что и его противник. Как и Сталин, он дал зеленый свет индустриализации. Он утверждает, что хочет уничтожить иудо-большевизм, эту двуглавую гидру социальной “трансценденции”, но сам стремится унифицировать человечество под господством германской “расы”. Таким образом, нацизм в своем движении предаёт логику своего первотолчка. Именно этим Нольте объясняет и оправдывает короткий профашистский период в деятельности Хайдеггера, ставшего впоследствии его учителем (см. одну из последних работ Нольте: *Martin Heidegger. Politik und Geschichte im Leben und Denken*, 1992): философ имел основания как для того, чтобы увлечься нацизмом, так и для того, чтобы разочароваться в нем.

Можно понять, почему книги Нольте шокировали послевоенные поколения, страдавшие от чувства вины и боявшиеся, что желание понять фашизм может ослабить ненависть к нему, либо просто находившиеся под властью конформизма тех лет. Первые две причины благородны, и историк обязан их уважать. Но он не имеет права надевать такие же шоры, иначе он никогда не поймет, каким образом советский террор был одним из важнейших факторов, обеспечивших популярность фашизму и нацизму в 20-х и 30-х годах. Он не поймет, как приход Гитлера был связан с предшествующей ему победой большевиков и ленинским примером насилия, возведенного в государственный принцип. Он не поймет роли коминтерновской навязчивой идеи перенесения пролетарской революции в Германию. Запрещать подобные подходы означало бы отказываться от написания истории фашизма и становиться в позицию, аналогичную позиции советской историографии, которая запрещает критику коммунизма под тем предлогом, что это может повредить единству антифашистского движения. Одна из заслуг Нольте состоит в том, что он нарушил это табу.

Беда в том, что он утрировал свои положения и тем ослабил свои позиции в споре с немецкими историками: он попытался сделать евреев организованными противниками Гитлера и союзниками его врагов. Нольте не принадлежит к тем, кто

отрицает преступления нацизма по отношению к евреям. Он много раз выражал ужас перед этими преступлениями, перед организованным геноцидом еврейской нации. И он подчеркивал, что, уничтожая буржуазию как класс, большевики первыми указали путь, что ГУЛаг предшествовал Освенциму. Геноцид евреев, вписавшийся в тенденцию эпохи, был тем ужаснее в глазах Нольте, что был не средством достижения победы, но самоцелью. И все же в своих последних сочинениях, анализируя параноидальный антисемитизм Гитлера, Нольте, как представляется, пытается найти для него “рациональные” обоснования в заявлении Хаима Вейцмана от имени Всемирного еврейского конгресса в сентябре 1939 года (см. *Devant l’Histoire*, op. cit., p. 15), где содержался призыв ко всем евреям сражаться на стороне Англии. Этот аргумент одновременно морально неприемлем и фактически ошибочен. Он, несомненно, связан с подвергшимся унижению фоновым немецким национализмом, в котором вот уже двадцать лет упрекают Нольте его оппоненты и который является одним из экзистенциальных двигателей его книг. Но даже если этот упрек частично справедлив, он не может обесценить труды и подходы одного из самых глубоких исследователей последнего полувека.

См.: *Kraus, Hans Christoph. L’historiographie philosophique d’Ernst Nolte. — In: La Pensée politique, Hautes-Études-Le Seuil-Gallimard, 1994, p. 59—87; Renaut, Alain préface à Ernst Nolte: les mouvements fascistes, op. cit., p. 6—24.*

11. Фердинанд Лассаль (Ferdinand Lassalle, 1825—1864), один из основателей немецкого социализма, личность блестящая и склонная к богемному образу жизни. Сначала был связан с Марксом и Энгельсом во время Рейнской революции 1849 года, затем стал их соперником. Сторонник скорее гегелевской, чем марксистской системы, он видел в государстве инструмент достижения общественного единения, в завоевании государства рабочим классом — условие освобождения человечества. В 1863 году, за год до смерти (он был убит на дуэли), Лассаль основал Всеобщий германский рабочий союз. В ряду тактических задач он выдвигал на первое место борьбу против либеральной буржуазии, допуская ради этого союз рабочих партий с долиберальными и антилиберальными силами — аристократией, армией, монархией и прусской бюрократией. Отсюда его знаменитые встречи с Бисмарком.
12. *L’Action française, 15 novembre 1900. Цит. по: Sternhell, Zeev. La Droite révolutionnaire 1885—1914. Les origines françaises du fascisme. Le Seuil, coll. L’univers historique, 1978, p. 359.*

13. *Maurras, Charles*. Dictionnaire politique et critique, t. V, p. 213. Цит. по: *Sternhell, Zeev*. Op. cit., p. 359.
14. Сравнение Муссолини — Ленин было развито самим Муссолини в длинном интервью 1932 года. См.: *Ludwig, Emil*. Entretiens avec Mussolini. Albin Michel, 1932, p. 164—168.
15. См.: *Brissaud, André*. Mussolini. Librairie académique Perrin, 1975, t. I, p. 85.
16. *Рисорджименто* (то есть “возрождение”, “обновление”) — литературное, философское и политическое движение, которое в середине XIX века сопровождало и поддерживало борьбу за национальное освобождение и объединение Италии.
17. Об интеллектуальных предтечах фашизма, в том числе и муссолиниевского, особенно во Франции, см. классический труд Зеева Штернхелла: *Sternhell, Zeev*. La Droite révolutionnaire, 1885—1914. Les origines du fascisme.
18. Это слова из его статьи в “Аванти” от 18 октября 1914, где он определил свою новую ориентацию.
19. Джузеппе Мадзини (1805—1872), одна из героических фигур Европы романтической поры, писатель и основатель современной Италии. Сначала был участником тайного общества карбонариев, пытавшегося поднять Италию на борьбу за национальное освобождение, а после его неудачи создал в 1934 году движение “Молодая Европа”, политическое и интеллектуальное одновременно. Борьбе за освобождение угнетенных наций он придавал характер религиозного служения: он принадлежал к той же интеллектуальной семье, что Мишле и Мицкевич. Был вынужден бежать в Швейцарию, затем в Лондон, участвовал в революции 1848 года в Италии, какое-то время сражался в революционных войсках Гарибальди. Позже он приветствовал национальное объединение Италии, хотя и сожалел, что оно было достигнуто под эгидой королевской власти. Последние годы его жизни были омрачены сознанием, что история не поддержала его идеи: борьба за равноправие наций уступила место национализму, а религия человечности — социализму Маркса и Бакунина.
20. В своей книге 1844 года “*La Speranza d’Italia*” (“Надежда Италии”) граф Бальбо излагает консервативную программу единства Италии (без нарушения европейского равновесия) в противовес революционной программе Мадзини (объединение Италии как составная часть европейской революции наций, предполагающей падение Габсбургов). См.: *Chabod, Frederico*. A History of Italian Fascism. Weidenfeld, 1963. Итал. изд.: Einaudi, 1961, part. I, chap. I.
21. См.: *Ostenc, Michel*. Intellectuels italiens et fascisme. 1915—1929. Paris, Payot, 1983, p. 30—92.

22. Мой последующий анализ во многом опирается на работы самого выдающегося историка итальянского фашизма Ренцо де Феличе (Renzo De Felice), прежде всего на его монументальную биографию Муссолини, а также на книги: *Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici*, éd. Laterza, Bari, Roma, 1974; *Fascism. An Informal Introduction to its Theory and Practice*. An Interview with Michael Ledeen, Transaction books, New Brunswick, 1976 (1-е изд. *Intervista sul fascismo*, Laterza, 1975).  
На французском языке имеется: *Le Fascisme, un totalitarisme à l'italienne?* Presses de la Fondation des sciences politiques, Paris, 1988 (на основе четырехтомной биографии Муссолини).
23. *Lebon, Gustave*. *La Psychologie des foules*. Paris, P.U.F., 1900. В одной статье, более поздней, чем его знаменитая книга, Лебон комментирует родство Ленина и Муссолини: см. “Эволюция Европы к различным формам диктатуры”, *Annales politiques et littéraires*, 1924.
24. См.: *Sorel, Georges*. *Réflexions sur la violence*, Éd. Marcel Rivière, rééd. 1972, préface de Claude Polin. См. в конце (с. 375—389) текст, написанный Сорелем в сентябре 1919 в поддержку Ленина: “За Ленина”. Сравнение между Лениным и Муссолини см. в: *Propos de Georges Sorel recueillis par Jean Variot*. Gallimard, 1935, p. 66 et 86.
25. См.: *Sorel, Georges*. *Réflexions sur la violence*, p. 380—384.
26. *Propos de Georges Sorel*, p. 86.
27. См.: *Ostenc, Michel*. *Intellectuels italiens et fascisme. 1915—1939*. *Op. cit.*, p. 97—207.
28. См.: *De Felice, Renzo*. *Mussolini, t. I, Mussolini il rivoluzionario*, 1965. См. также того же автора: *An interview with Michael Ledeen*, p. 43—46.
29. *Ledeen, Michael*. *Universal Fascism. The Theory and Practice of the Fascist International, 1928—1936*. New York, Howard Fertig, 1972.
30. На эту тему, помимо уже упомянутых работ Р. де Феличе, на французском языке существует книга Анджело Таски (*Angelo Tasca*). *Naissance du fascisme, l'Italie de l'armistice à la marche sur Rome*. Paris, Gallimard, 1938 (rééd. 1967).
31. См.: *Chabod, Federico*. *A History of Italian Fascism*. *Op. cit.*
32. Этот контраст был отмечен по горячим следам Карлом Лёви-том, когда он был в Италии в 1934—1936 годах. См.: *Löwith, Karl*. *Ma vie en Allemagne avant et après 1933*. Hachette, 1986, p. 108—109.
33. “Пополо д’Италия” — газета Муссолини.
34. *Pascal, Pierre*. *Mon journal de Russie, t. IV*, p. 28—29.
35. В этом пункте я следую за работами Р. де Феличе, цитированными выше. Та же мысль проводится Карлом Дитрихом Брахе-

- ром (*Karl Dietrich Bracher. Die Deutsche Dictatur. Verlag Kiepenheuer und Witsch. Köln, 1969, 1980; La Dictature allemande, франц. пер. Frank Straschitz, Privat, 1986, p. 18—20*) и Ханной Арендт, (*L'Impérialisme, p. 222—225*). Эрнст Нольте (*Les Mouvements fascistes, p. 93—96*), напротив, относит итальянский фашизм к тоталитарным режимам, поскольку государство было целиком подчинено Муссолини и его партии.
36. По этому вопросу, помимо процитированных выше работ, см.: *Michaelis, Meir. Mussolini and the Jews. The Clarendon Press, Oxford, 1978*. Муссолини долгое время оставался противником гитлеровского расизма, против которого высказывался много раз достаточно резко. Он решился включить идею расизма в фашистскую доктрину только в июле 1938, по дипломатическим соображениям. Да и принятые в 1938—1939 годах в Италии антисемитские законы будут слабо проводиться в жизнь. Катастрофа итальянского еврейства (пятая часть из сорока тысяч итальянских евреев погибла, и только шести тысячам удалось эмигрировать) произошла после падения Муссолини, в июле 1943 года. Фактически вина за нее падает на немцев, ставших тогда хозяевами северной Италии.
  37. См.: *Ledeer, Michael. Universal Fascism. Op. cit.*
  38. См.: *Bullock, Alan. Hitler and Staline. Parallel Lives. A. Knoff, New York, 1992; франц. пер.: Hitler et Staline. Vie parallèles. Albin Michel-Robert Laffont, 1994, 2 vol.*
  39. 9 мая 1923 года французский военный суд приговорил к смертной казни лейтенанта Шлягетера, начальника боевого отряда по борьбе с французской оккупацией. Приведение приговора в исполнение 26 мая вызвало волну возмущения в Германии.
  40. *Hitler, Adolf. Mein Kampf. München, Franz Eher, 1925; франц. пер. Nouvelles Éditions latines, 1934; rééd. 1979, vol. II, chap. 9, p. 514.*
  41. Лучшим общим введением в эту тему может служить книга: *Bracher, Karl Dietrich. The Age of Ideologies. A History of Political Thought in XXth Century, trad. Ewald Osers, New York, St Martin's Press, 1984 (Zeit der Ideologien, Stuttgart, 1982).*
  42. Этим объясняется тот факт, что немецкие писатели и философы, занимавшие правореволюционные позиции, следовали за победами нацизма, но сами не участвовали в них своим творчеством. Так было с Карлом Шмитом, Шпенглером, Юнгером. Но самый знаменитый пример — это Хайдеггер. Публикацией “Бытия и времени” он произвел нечто вроде философского государственного переворота против традиции: благодаря ему современная ненависть к “цивилизации” приняла радикальную форму отрицания всей западной метафизики, соединившись уже не с ностальгией по “органическому” обществу, но с волей

создать новое существование, героическое, вырвавшееся из-под власти неподлинности. В своей “Ректорской речи” Хайдеггер сам подтвердил те политические аналогии, которые его философия могла вызывать в сознании современников.

43. См.: *Spengler, Oswald. Preussentum und Sozialismus*. München, C. H. Beck Verlag, 1921.
44. К Гитлеру, автору “Моей борьбы” и публичных речей, надо добавить Гитлера, каким он раскрывался в частных разговорах. См.: *Rauschning, Hermann. Hitler m'a dit. Confidences du Führer sur son plan de conquête du monde*. Coopération, 1939, rééd. Pluriel, Le Livre de poche, 1979; *La Révolution du nihilisme*. Gallimard, 1939, rééd. 1980. Его же, *Hitler's Table Talks: 1941—1944, his Private Conversations*; введение Н. Trevor-Roper, London, Weidenfeld & Nicholson, 1973. См. также: *The Testament of Adolf Hitler — The Hitler-Bormann Documents*, février-avril 1945, London, 1961.
45. См.: *Taguieff, Pierre-André. La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles*. Gallimard, 1990.
46. Идея естественного перерождения либерализма в большевизм — это общее место немецкой мысли того времени. См., например: *Spengler, Oswald. Années décisives. L'Allemagne et le développement historique du monde*, франц. пер. R. Hadekel, Mercure de France, 1934, p. 158—202.
47. Для Гитлера Еврей в лице св. Павла является основоположником “демократического” христианства, оставаясь одновременно виновником смерти Христа. Он должен, таким образом, нести ответственность и за смерть Мессии, и за распространение его учения. Он враг и христиан, и их противников. См.: *Hitler's Secret Conversations*, p. 62—65.
48. Например: *Stern, Fritz. The Politics of Cultural Despair. A Study in the Rise of the German Ideology*. Berkeley U.P., 1974; франц. пер.: *Politique et désespoir: les Ressentiments contre la modernité dans l'Allemagne préhitlerienne*. Armand Colin, 1990.
49. Я здесь попросту резюмирую соответствующие разделы “Майн Кампф”, а именно главу 11 первого тома, носящую заглавие “Народ и раса”, и главу 13 второго тома — “Германская политика и послевоенные альянсы”, показывающие центральное место еврейского вопроса в планетарной концепции Гитлера.
50. *Arendt, Hannah. Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal*. Gallimard, 1966.
51. *Meinecke, Friedrich. Die Deutsche Katastrophe. Betrachtung und Erinnerungen*, E. Brockhaus, 1947; англ. пер.: *The German Catastrophe*. Harvard University Press, 1950, p. 52.
52. Иногда Гитлер даже не скрывает, что национал-социализм ко-

- пирует методы большевиков: “У марксистов интересны и поучительны для меня их методы... Весь национал-социализм содержится в них... Рабочие спортивные общества, партячейки на предприятиях, массовые шествия, пропагандистские брошюры, приспособленные к пониманию масс, — все эти новые средства политической борьбы были изобретены марксистами. Мне только надо было всем этим воспользоваться и развить, — и мы получили тот инструмент, который был нам нужен”. См.: *Rauschning Hermann*. Hitler m’a dit, p. 211.
53. *Rauschning, Hermann*. Hitler m’a dit (глава 21 “Россия, друг или враг?”).
54. Договор, подписанный в Рапалло (1922), был одним из первых больших успехов молодой советской дипломатии. Он устанавливал отношения особой близости между советской Россией и веймарской Германией, двумя странами-париями послевоенного порядка, регламентированного Версальским договором. Рапалльский договор превращал Германию в самого главного коммерческого партнера СССР; он также положил начало подпольному военному сотрудничеству между двумя странами, благодаря которому Германия начала обходить запреты на вооружение, записанные в Версальском договоре.
55. *Dupeux, Louis*. National-Bolchevisme dans l’Allemagne de Weimar 1919—1933, Librairie H.Champion, 1979. О Мёллере ван ден Брюке см. третью часть книги: *Stern F*. Politique et désespoir, p. 52.
56. Карл Радек перевозносил Шлягетера на III пленуме Исполкома Коминтерна (июнь 1923): “Судьбу этого мученика немецкого национализма нельзя замалчивать или недооценивать. (...) Этот смелый солдат контрреволюции заслуживает того, чтобы ему отдали честь мы, солдаты революции... Мы сделаем все для того, чтобы такие люди, как Шлягетер, готовые умереть ради великого дела, шли бы не в небытие, а к лучшему будущему всего человечества...” См.: *Bulletin communiste*, № 30, 26 juillet 1923, p. 420—421.
57. Основанная в декабре 1919 года, Коммунистическая партия Германии (КПГ) объединилась в декабре 1920 с независимыми социалистами и образовала Объединенную Коммунистическую партию Германии, насчитывавшую сто тысяч членов. После отстранения Пауля Леви, выразившего несогласие с курсом на восстание в марте 1921 года, партию возглавляли Х. Брандлер и А. Тальхаймер, которые после поражения восстания в октябре 1923 года уступили руководство Р. Фишер и А. Маслову. Произошла “большевизация” партии и ее подчинение Москве. Но Фишер и Маслов отстранены в 1925 году как “зиновьевцы”.

Под руководством Тельмана КПГ проводит линию “класс против класса”, что приводит коммунистов к тому, что они ставят на одну доску национал-социализм и социал-демократию. Начиная с 1932 года Хайнц Нейман, первоначально без всякой задней мысли защищавший эту линию, пытается ей противодействовать, но в 1932 году его отстраняют, затем вызывают в Москву, где несколько лет спустя он будет ликвидирован. КПГ будет продолжать свою политику даже после взятия власти Гитлером.

Придя к руководству КПГ в 1923 году, Эрнст Тельман (1886—1944) становится членом Президиума Коминтерна в 1924. В том же году он становится кандидатом в президенты. Замешанный в дело нарушившего партийный долг коммуниста Витторфа, но сохраненный на своем посту Сталиным, Тельман проводит линию “класс против класса”, направленную против социал-демократов как против главных врагов. Арестованный в 1933-м, он оставался в тюрьме вплоть до 18 августа 1944 года, когда был казнен.

58. SA (*Sturm Abteilung, штурмовые бригады*) были созданы в 1921 году для защиты активистов немецкой Национал-социалистической партии. Поставленные под начало бывших военных, СА стали настоящей политической армией (в начале 1933 года они насчитывали триста тысяч человек); ею с 1931 года командовал Эрнст Рэм. Запрещенные в апреле 1932 года, они были снова разрешены фон Папеном в июне. После “ночи длинных ножей” (30 июня 1934) СА будут ликвидированы, их место займут СС. Бывший офицер, Эрнст Рэм (1887—1934) участвовал в действиях правых бригад и в мюнхенском путче (ноябрь 1923). В 1925 году, вследствие разногласий с Гитлером, он уехал в Боливию, откуда вернулся в 1930 году, призванный Гитлером. После января 1933 года он призывал к “второй революции”, которая, будучи направлена против буржуазии, позволила бы перейти от национальной революции к революции национал-социалистической.
59. *Goebbels, Joseph. Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. München, 1937.*
60. Член парламента от Католического центра, Франц фон Папен (1879—1969) поддержал в 1925 году кандидатуру Гинденбурга против кандидата собственной партии. Став канцлером 1 июня 1932 года, он снял запрет с СА, стараясь добиться поддержки от национал-социалистов. После того, как он был замещен фон Шляйхером на посту канцлера, фон Папен служил посредником между Гинденбургом и Гитлером и выступал гарантом последнего, чтобы убедить престарелого маршала доверить власть вождю Немецкой национал-социалистической рабочей партии.

Курт фон Шляйхер (1882—1934) в ноябре 1918 года осуществлял связь между армией и правительством. Позже он занимался подпольным воссозданием рейхсвера и вел переговоры с советской стороной о том, чтобы немецкие воинские части проходили подготовку в СССР. Назначенный руководителем политотдела армии, он в качестве ее представителя вел летом 1932 года безуспешные переговоры с Гитлером, пытаясь его нейтрализовать. Став канцлером 1 декабря 1932 года, он старался ослабить нацистскую партию, вызвав в ней раскол. Лишившись поддержки военных, он должен был подать в отставку 29 января 1933 года. Был убит 30 июня 1934 года.

Вопрос о финансовой поддержке, оказанной Гитлеру немецкими промышленниками в период до 1933 года, был предметом многих исследований (особенно в связи с марксистским тезисом о нацизме как диктатуре финансового капитала). Самая недавняя и наиболее тщательная из этих работ показывает, что такая поддержка была незначительной. См.: *Turner, Henry Asby. German Big Business and Rise of Hitler. New York, Oxford University Press, 1985.*

61. *Spengler, Oswald. Années décisives. L'Allemagne et le développement historique du monde, предисловие.*
62. *Carr, Edward H. German-Soviet Relations between The Two World Wars. Baltimore, The John Hopkins Press, 1951; Hilger, Gustav, and Meyer, Alfred G. The Incompatible Allies: A Memoir History of German-Soviet Relations, 1918—1941. New York, MacMillan, 1953.*
63. См.: *Dupeux, Louis. National-Bolchevisme dans l'Allemagne de Weimar, p. 388—427.*
64. В этом плане Никич выступает как предшественник книги Эрнста Юнгера “Трудящийся”: *Jünger, Ernst. Der Arbeiter, Hamburg Hanseatische Verlaganstalt. 1932; франц. пер.: Le Travailleur, C. Bourgois, 1989.* Юнгера этих лет можно рассматривать как стоящего на позициях национал-большевизма, но в то же время примыкающего в самому обыкновенному нацизму, от которого он, впрочем, отойдет после 1933 года.
65. *Dupeux, Louis. National-Bolchevisme dans l'Allemagne de Weimar, p. 405.*
64. Необходимость освободить “технику” от подчинения капитализму, чтобы поставить ее на службу “народному” (“völkisch”) государству, — это общее место правых того времени. Такое освобождение не может опираться на марксистскую философию, ответвление либерализма; его проводником, по мнению национал-большевиков, является Сталин, именно в той мере, в какой он освободился от либерального наследия. Но в полном

объеме эту задачу сможет выполнить только нацистское государство. См.: *Jeffrey, Herf. Reactionary Modernism. Technology, Culture and Politics in Weimar and The Third Reich. Cambridge University Press, 1984.*

67. В 1928 году VI Конгресс Коминтерна определил начавшийся период как период потенциальной революции и призвал коммунистические партии способствовать ее осуществлению. КПГ следовала этой политической линии, указавшей на социал-демократию как на главное препятствие на пути революции и как на пособницу нацистов (Э.Тельман заявил на XI пленуме Исполкома Коминтерна: “В Германии сейчас сложилась такая ситуация, при которой социал-демократия развивает максимальную активность для установления фашистской диктатуры”). Провозглашенная Коминтерном политическая линия проводилась группой полностью подчинявшихся ему руководителей и была отменена только весной 1934 года.

КПГ неуклонно проводила предписанную Москвой “линию”: например, в августе 1931 года, в ходе референдума о роспуске прусского ландтага, коммунисты выступили вместе с нацистами против социал-демократов. 3 ноября 1932 года берлинские рабочие-транспортники объявили забастовку под руководством КПГ и вопреки решению своих профсоюзных лидеров, а нацисты эту забастовку поддержали. Три дня спустя, когда прошли выборы в рейхстаг, нацисты призвали к прекращению забастовки. В Берлине КПГ вышла на первое место по числу голосов, опередив национал-социалистов и социал-демократов. А нацисты, благодаря своему участию в забастовке, минимизировали свои электоральные потери.

68. Марлис Штайнер (*Hitler. Fayard, 1991*) цитирует полицейские донесения того времени, в которых говорится о широком одобрении.
69. См.: *Muller, Jerry Z. The Other God that failed. Hans Freyer and the Deradicalisation of German Conservatism. Princeton University Press, 1987.* Наилучшее свидетельство о состоянии умов немецкой профессуры содержится в написанной по свежим следам, в 1940 году, книге Карла Лёвита: *Löwith, Karl. Ma Vie en Allemagne avant et apres 1933.*
70. См., например: *Gurian, Waldemar. The Future of Bolshevism, 1936 (Bolshevismus als Welgefhar. Lucerne, 1935).*
71. *Mann, Thomas. Journal 1918—1921, 1933—1939,* французская версия под редакцией и с примечаниями К. Шверена (С. Schverin), пер. с немецкого Р. Симона (Gallimard, 1985, p. 214).
72. *Ibid., 7 septembre 1933, p. 285.* Этот пассаж заслуживает того, чтобы процитировать его полностью: “После антидемократиче-

ских переворотов в России и в Италии, стран незначительных в духовном и интеллектуальном отношении, Германия сделала то же самое, будучи уже третьей по порядку: власть в ней оказалась в руках самого низкого, в духовном и интеллектуальном отношении, слоя населения, в руках мелких буржуа, впадших в нищету и озлобившихся. Что же нового принесла Германия сравнительно с предшественниками? Должен ли мир исцелиться от мистики, ею оскверненной, от философии жизни, ею изуродованной, поскольку они были использованы для оправдания движения (нацистского. — Прим. пер.)? Происходящие преобразования в области техники и политического управления приобретают форму кроваваждного поклонения войне и убийству, причем на столь низменном моральном и интеллектуальном уровне, какого еще не знала история. Озлобление и мания величия в совокупности представляют такую угрозу для всего мира, по сравнению с которой довоенный империализм кажется самой невинностью”.

73. Сравнение между большевизмом и нацизмом часто повторяется в “Дневнике” Томаса Манна. Например, 1 октября 1933 года, с. 301—302: “Посты СА перед Фельдхерренхалле, неподвижные, как статуи, беззастенчиво копируют русских часовых перед мавзолеем Ленина. Они копируют своих заклятых “философских” врагов — как в кино — без зазрения совести и, может быть, бессознательно. Они принадлежат одному *стилю времени*, и это имеет гораздо большее и определяющее значение, чем рациональная вражда в философской сфере”.

Или вот еще, по поводу процесса над Димитровым, 24 ноября 1933 года, с. 322: “Я склонен видеть бессознательный смысл процесса в демонстрации разительной близости, родства и даже тождества национал-социализма и коммунизма. Его “результатом” будет доведение *ad absurdum* взаимной ненависти и разрушительной ярости, в чем ни та, ни другая сторона на самом деле не нуждаются. Оба феномена в действительности являются по-братски сходным выражением одной и той же исторической реальности, одной и той же политики, они так же неразрывны, как капитализм и марксизм; чувствуется, что такие символические действия, как пожар рейхстага, являются, хоть это и не очевидно, их общим делом”.

74. *Ibid.*, 11 septembre 1939, p. 580.

75. Письмо Марселя Мосса, в котором он присоединяется к позиции Эли Алевии во время дебатов в Обществе (“Вы совершенно правы, выводя две тирании, итальянскую и немецкую, из большевизма”), процитировано в виде приложения в *Bulletin de la Société de philosophie*, op. cit., p. 234—235. Марсель Мосс

(Mauss) — давний и пронизательный критик большевизма. См. его “Appréciation sociologique du bolchevisme”. — *Revue de métaphisique et de morale*, janvier-mars 1924.

## Глава седьмая

1. Даже после прихода Гитлера к власти и событий, последовавших за поджогом рейхстага, коммунисты продолжали видеть в победе нацистов предвестие пролетарской революции. “Юманите”, например, цитирует в своем номере от 1 апреля 1933 года такой пассаж из резолюции Исполкома Коминтерна конца марта месяца: “...Установление открытой фашистской диктатуры, рассеяв демократические иллюзии масс и освободив их от влияния социал-демократии, ускоряет движение Германии к пролетарской революции”.
2. Эта мысль высказана в книге: *Bullock, Alan. Hitler et Staline. Vies parallèles*, t. I, p. 574.
3. См.: *Hilger, Gustav, et Meyer, Alfred. The Incompatible Allies. A History of German-Soviet Relations 1918—1941*. New York, MacMillan, 1953, p. 262.
4. См. также: *Grunewald J. L'évolution des relations germano-soviétiques de 1933 à 1936*. — In: *Les Relations germano-soviétiques de 1933 à 1939*. J.-B. Duroselle (éd.), Armand Colin, 1954.
5. *Сталин И. В.*, Собр. соч., т. 13. М., 1951, с. 302 (прим. пер.).
6. Итальянская агрессия против Абиссинии произошла осенью 1935 года.
7. Я следую здесь интерпретации договора 1935 года, данной Адамом Б. Уламом: *Ulam, Adam B. Expansion and Coexistence. Soviet Foreign Policy 1917-73*. 2 éd., Praeger Publishers, chap. 5.
8. См.: *Besançon, Alain. Court Traité de soviétologie...*, chap. 2.
9. Открытие архивов Коминтерна позволило установить, что ФКП полностью контролировалась из Москвы через аппарат Коминтерна и все директивы подлежали утверждению лично Сталиным (см.: *Bourgeois, Guillaume. Comment Staline dirigeait P.C.F.* — *Le Nouvel Observateur*, 5—11 août 1993).

Двумя ключевыми фигурами Коминтерна в Париже были Фрид и Тольятти. Венгерский еврей из Словакии, Эуген Фрид (1900—1943) стал членом оргбюро Коминтерна в 20-е годы. Посланный во Францию осенью 1930 года, он контролирует деятельность “коллегиального руководства” ФКП, следит за правильностью политической линии и подбором кадров. Начиная с 1932 года он образует тандем с Морисом Торезом и покровительствует ему. В 1934 году он поддерживает его против Дорио

и выступает инициатором “поворота” к политике Народного фронта.

Член Центрального комитета Итальянской компартии, Пальмиро Тольятти (1893—1964) приезжает в Москву в 1924 году и становится членом президиума Коминтерна под псевдонимом Эрколи. Поддержав Сталина, он становится секретарем Коминтерна в 1937 году и играет важную роль в испанских событиях. В 1934 году был послан в Париж со специальным заданием проконтролировать совместную деятельность Фрида и Тореза. После войны он станет лидером итальянских коммунистов.

10. Французская коммунистическая партия — это второе имя для французской секции Коммунистического Интернационала.
11. См.: *Koestler, Arthur. Hiéroglyphes*, франц. пер. D. Van Moppès, Calmann-Lévy, 1955 (глава 17 “Игра в жмурки”); *Sperber, Manès. Les Visages de L’histoire*. Éd. Odile Jacobe, 1990, p. 85—97.
12. Это длинное письмо от 14 июля 1937 года опубликовано в *Communiste*, № 38, 1994, p. 171—180 (“Коминтерновцы I. Досье Вилли Мюнценберга”).
13. Арестованный во время разгрома французских войск в мае-июне 1940 года, Мюнценберг был помещен в расположенный под Лионом французский лагерь Шамбаран для интернированных иностранцев, откуда бежал вместе с двумя другими заключенными, вероятно, надеясь перебраться в Швейцарию. Его тело со следами смерти от удушения было найдено несколько месяцев спустя. Его подруга Бабетта Гросс пришла к заключению, что он был убит агентами Сталина. См.: *Gross, Babette. Münzenberg, Willi. Eine politische Biographie*. Stuttgart, 1967; *Willi Münzenberg, 1889—1940. Un homme contre. Colloque international d’Aix-en-Provence. Actes, 26—29 mars 1992; Koch, Stephen. Double Lives — Spies and Writers in the Secret Soviet War of Ideas against the West*. The Free Press, New York, 1994.
14. *L’Humanité*, 15 janvier 1933.
15. Поджог рейхстага 28 февраля 1933 года стал для нацистов сигналом к травле коммунистов и к принятию чрезвычайных законов, отменивших все конституционные гарантии прав личности. Среди недавних работ на эту тему см.: *Mommsen, Hans. The Reichstag Fire and its Political Consequences*. MacMillan, 1985. *Baches Uwe, Janssen Karl-Heinz, Mommsen Hans, Thobias Friz* [et alii]. *Reichstagbrand: Aufklärung einer historischen Legende*, München, Piper, 1986.
16. *Koestler, Arthur. Hiéroglyphes* (глава 17 “Игра в жмурки”), p. 231.
17. Самое знаменитое из изданий Мюнценберга на эту тему — анонимная “Коричневая книга о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре”, опубликованная специально для этого созданным издательством *Эдиссон дю Каррефур*. Эта книга, по

- словам Кёстлера, “несомненно, оказала самое сильное политическое влияние, вслед за “Здравым смыслом” Томаса Пейна”.
18. *Koestler, Arthur*. Op. cit., p. 232.
  19. Рут Фишер утверждает, что освобождение Димитрова было предметом переговоров между Берлином и Москвой (см.: *Stalin and German Communism*, op. cit., p. 308—309). Сходное мнение высказывает Маргарет Бубер-Нёйман (см.: *Le Conspirateur sans mystère*. — *Preuves*, № 74, avril 1957).
  20. См.: *Carr, Edward H. The Twilight of Comintern 1930—1935*. London, MacMillan, 1982.
  21. Принятый в Коминтерне термин для обозначения социал-демократии.
  22. События развивались в связи с делом Ставиского. 6 февраля ФКП присоединилась к демонстрации против нового председателя совета министров Даладьё. Но коммунисты шли отдельной колонной. 9-го они выступили, также отдельно, одновременно и против фашизма, и против правительства. Против демонстрации были применены жесткие репрессии. 12 февраля, в день всеобщей забастовки по решению ВКТ, две отдельные демонстрации, коммунистов и социалистов, спонтанно объединились. Но ФКП еще несколько месяцев будет сохранять враждебную позицию в отношении единства действий между двумя партиями (об этом см. ниже).
  23. См.: *Robrieux, Robert. Histoire intérieure du Parti communiste français*. Fayard, 1980, t. I, chap. 7, p. 457.
  24. Секретарь партии и глава Ленинградского региона, Сергей Киров (1888—1934) выступал за известную умеренность по отношению к оппозиционерам. Он возражал Сталину во время дела о “платформе Рютина”. На XVII съезде ВКП(б) (26 января — 10 февраля 1934) бывшие оппозиционеры были вновь приняты в партию, а съезд устроил Кирову овацию. Триста делегатов проголосовали против Сталина во время выборов в Центральный Комитет. Киров был убит 1 декабря 1934 года. Сталин использовал его смерть, чтобы начать первые массовые репрессии внутри партии.
  25. Об этом до сих пор остается классической книга: *Conquest, Robert. La Grande Terreur. Les purges stalinienne des années 30*, Stock, 1970; *The Great Terror*, MacMillan, London, 1968.
  26. Такую гипотезу высказывает Карр в цитированной выше книге “*The Twilight of Comintern, 1930—1935*”.
  27. При условии, конечно, что они сами сохранили ему верность после августа 1939 года.
  28. Надо принять во внимание устранение Дорио в 1934 и уход Вассара и Життона в 1939 году. По проблемам внутренней истории

- ФКП лучшим руководством остается: *Robrieux, Philippe*. *Histoire intérieure du Parti communiste français* (глава 6, с. 311—406).
29. Этот момент уже не оспаривается в историографии. Одно из самых полезных свидетельств, исходящих изнутри французской компартии, принадлежит Силли Вассар, жене одного из тогдашних руководителей, использовавшей записи, оставшиеся после мужа. Альбер Вассар был секретарем партии до апреля 1934 года, когда он стал представителем ФКП в Москве (до него это место до декабря 1933 года занимал Марти); он имел возможность из первых рядов наблюдать за делом Дорио — Тореза, а затем за антифашистским поворотом ФКП. См.: *Vassart, Cilly*. *Le Front paupulaire en France*. Paris, 1962 (неизданные воспоминания).
  30. См.: *Robrieux, Philippe*. *Op. cit.*, p. 456—457; *Vassart Cilly*. *Op. cit.*, p. 34.
  31. *Santamaria, Yves*. *Le Parti communiste dans la lutte pour la paix*, *op. cit.*; *Wolton, Thierry*. *Le Grand Recrutement*. Paris, Grasset, 1993.
  32. Международное движение интеллигенции, основанное Анри Барбюсом в 1919 году.
  33. Очерк истории этой организации можно найти в книге: *Jelen, Christian*. *Hitler ou Staline. Le prix de la paix*. Flammarion, 1988.
  34. *Ibid.*, p. 79.
  35. См.: *Courtois, Stéphane*. *Le système communiste international et la lutte pour la paix, 1917—1939*. — *Relations internationales*, № 53, 1988, p. 5—22.
  36. См.: *Santamaria, Yves*. *Op. cit.*, t. I, p. 159—199. Фоном для утверждений Интернационала служили: международный экономический кризис, японская агрессия против Китая, напряженность в Европе в связи с немецкими “репарациями”. В декларациях Коминтерна, как обычно, были перемешаны глубокие анализы растущих противоречий между ведущими державами и бредовые домыслы относительно “неизбежности” нападения “империалистов” на СССР.
  37. В речах 1934, 1935 и 1936 годов Гитлер не переставал заявлять о своем стремлении к миру.
  38. Дорио, например, писал в статье “Франция не будет страной рабов” (*Œuvres françaises*, 1936): “Сталин хочет, чтобы мы послужили громоотводом для той гигантской грозы, которую Гитлер устроил в собственной стране; чтобы этот тайфун пошел к нашим берегам. Вот в чем цель Сталина... Союз с Советами — это война. Те, кто этого не понимает, ничего не понимают в сложившейся ситуации”.
  39. Выражение взято из книги: *Burrin, Philippe*. *La Dérive fasciste*. Doriot, Déat, Bergery, 1933—1945. Paris, Le Seuil, 1986. См. так-

- же на эту тему: *Winock, Michel*. Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France. Le Seuil, Point-Histoire, 1982, p. 248—292; *Prost, Antoine*. Les Anciens Combattants et la société française, 1914—1939. Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 3 vol., 1977.
40. Ligue des droits de l'homme. Le Congrès national de 1927. Compte rendu sténographique, 15—17 juillet 1927, éd. de la Ligue des droits de l'homme.
  41. В результате первого московского процесса (19—23 августа 1936 года) шестнадцать обвиняемых (в их числе Г. Зиновьев и Л. Каменев) были приговорены к смертной казни и расстреляны двадцать четыре часа спустя. На втором процессе (23—30 января 1937 года) пятнадцать из семнадцати обвиняемых (в том числе Г. Пятаков и К. Радек) были приговорены к смерти и расстреляны немедленно. На третьем процессе (2—13 марта 1938 года) другие “старые большевики” (самый известный среди них — Н. Бухарин) были ликвидированы вместе с Ягодой, бывшим главой политической полиции, организовавшим предыдущие процессы. Все три процесса объединяет то, что самые нелепые обвинения были основаны только на признаниях, вырванных у обвиняемых.
  42. *Bruhat J.* Op. cit., p. 56.
  43. См.: *Burrin, Philippe*. Op. cit. (глава 7 “Двойственность фронтизма”).
  44. См.: *Jelen, Christian*. L'Aveuglement, préface de Jean-François Revel. Flammarion, 1984; Hitler ou Staline, op. cit.
  45. В мае 1924 года избирательный альянс радикалов и социалистов, Картель левых сил, выиграл выборы. Эдуард Эррио предложил социалистам войти в его правительство или поддержать его программу из десяти пунктов. Желая сохранить верность доктрине, Леон Блюм выбрал “поддержку без участия”. В 1932 году Союз левых сил после победы на выборах оказался в аналогичном положении; социалисты раскололись по вопросу об участии в правительстве, Эррио стал искать опору в центре, но встретил сопротивление со стороны левого крыла своей партии, не пожелавшего идти на разрыв с социалистами.
  46. Различие между “взятием власти” и “управлением” выдвигалось Леоном Блюмом для того, чтобы оправдать существование социалистического правительства после выборов 1936 года.
  47. Созданный в 1900 году Сунь Ятсеном, распущенный в 1913 году, Гоминьдан (Национальная народная партия) вновь начал возрождаться, начиная с 1923 года, благодаря помощи советских эмиссаров. Китайские коммунисты, очень немногочисленные, вошли в него. С 1926 года, когда началось наступление Гоминь-

- дана на северный Китай, соперничество между националистическим крылом, возглавляемым Чан Кайши, и коммунистами усилилось. В некоторых районах коммунисты установили свою собственную власть. В 1927 году Гоминьдан разгромил коммунистов сначала в Шанхае (апрель), а затем в Ухане (ноябрь). В декабре восстание коммунистов в Кантоне также было жестоко подавлено. В России левая оппозиция возложила на Сталина вину за поражения китайского коммунизма.
48. На выборах в апреле-мае 1936 года Коммунистическая партия получила 72 мандата, выиграв дополнительно 60 мест; социалистическая партия — 146 мест (прирост — 62); радикалы — 115 мест (потеря — 43). Преимущество ФКП проявилось еще более явно в количестве поданных голосов: она почти удвоила свой электорат, в то время как социалисты остались на прежнем уровне, а радикалы отступили.
  49. См.: *Weil, Simone. La Condition ouvrière, Œuvres complètes, t. 2. Gallimard, 1991.*
  50. *Ibid.*, p. 126.
  51. Чтобы положить конец занятию рабочими заводов, правительство Леона Блюма, выступая в качестве арбитра, организовало переговоры между ВКТ и предпринимателями. Подписанные 8 июня 1936 года «Матиньонские соглашения» предусматривали заключение коллективных договоров, повышение зарплат и избрание рабочих делегатов на предприятиях.
  52. *Weil, Simone. Op. cit.*, p. 158.
  53. *Ibid.*, p. 158—159.
  54. 2 июня 1908 года полиция открыла стрельбу в кафе, где собрались бастующие рабочие каменоломен, в результате восемь человек были убиты. ВКТ призвала провести 30 июля всеобщую забастовку; в этот день во время манифестации в Вильнёв-Сен-Жорж произошли новые столкновения (четверо были убиты, сотни ранены). В 1911 году было установлено, что полиция внедрила своих агентов-provokаторов в число агитаторов ВКТ.
  55. Здесь я использую классическую работу Д. Бренана (*G. Brenan*) *The Spanish Labyrinth. Cambridge University Press, 1943.* Франц. пер. Ed. Champ libre, 1984).
  56. Адвокат Хосе Антонио Примо де Ривера (1903—1936) был сыном Мигеля Примо де Риверы, который установил в Испании военный режим между 1923 и 1925 годами. Хосе Антонио создал испанскую Фалангу в октябре 1933 года. Избранный депутатом в том же году, он стал неутомимым борцом против республики. Арестованный в марте 1936 года, он был казнен республиканцами в ноябре. Фаланга проповедовала «национал-

- радикализм”, предполагавший сочетание частной и семейной собственности с собственностью профсоюзной, национализацию кредита, земельную реформу, а также создание авторитарного государства, способного бороться против местного сепаратизма. В апреле 1937 года Фаланга стала единственной партией националистической Испании.
57. Например: *Bolloten, Burnett. The Grand Camouflage (The Spanish Civil War and Revolution, 1936—1939)*. 1-re éd., 1961, Londres, Hollis and Carter; 2-me éd., 1968. Франц. пер. *La Révolution espagnole. La gauche et la lutte pour le pouvoir*. Éd. Rudo Iberico, 1977. Последняя книга того же автора опубликована посмертно в 1991 году: *The Spanish Civil War. Revolution and Counter-Revolution*. Chapel Hill, University of North Carolina Press. Самая классическая работа на эту тему: *Thomas, Hugh. La Guerre d'Espagne, juillet 1936 — mars 1939*. Robert Laffont, coll. Bouquins, 1985. См. также совсем недавнее исследование: *Broué, Pierre. Staline et la Révolution. Le cas espagnol 1936—1939*. Fayard, 1993.
58. ПОУМ возникла в результате слияния “Коммунистической левой” Андреса Нина и “Рабоче-крестьянского блока” Хоакина Морина. Большинство членов было исключено в 1929 году из каталонской секции испанской коммунистической партии, когда последняя проводила по указанию Коминтерна ультралевую линию. Хоакин Морин (шурин Суварина) стал главой ПОУМ, но весь период гражданской войны он провел в тюрьме. Андрес Нин был троцкистом, но порвал с Троцким за пять лет до описываемых событий, одновременно с другим лидером ПОУМ, Андраде. Таким образом, ПОУМ никак нельзя рассматривать как “троцкистскую” организацию в собственном смысле слова. Но именно в этом ее обвиняли сторонники Сталина, и кое-что от этих обвинений осталось. В действительности, не будучи троцкистской, ПОУМ была резко враждебна сталинизму, который она разоблачала как бюрократический и “термидорианский” режим.
59. Большевик с 1917 года, Александр Орлов (1895—1973) с 1921 года работает в спецслужбах. Прибыв в Испанию в 1931 году по поручению ГПУ, он станет организатором убийства Андреса Нина в 1937 году. Вызванный в Москву в июле 1938, он становится невозвращенцем и предупреждает Троцкого о том, что в окружении его сына, Льва Седова, имеется агент НКВД. См. о нем: *Costello, John & Tsarev, Oleg. Deadly Illusions. The KGB Orlov Dossier Reveals Stalin's Master Spy*. New York, Crown Publishers, 1993. До того как стать советским резидентом в Испании, Орлов в 1934 году в Англии создал знаменитую Кембриджскую шпионскую сеть (Филби, Маклин, Берджес, Блант).

- Он перейдет на Запад в 1938 году, боясь, что Сталин ликвидирует его, как многих других “испанцев”.
60. *Orwell G. Homage to Catalonia*. London, Martin Secker et Warburg, 1938; франц. изд. Gallimard, 1955 (под названием “*La Catalogne libre*”).
  61. Названная в честь знаменитого революционера Буэнавентуры Дуррути (1896—1936), эта организация объединяла внутри Федерации иберийских анархистов наиболее радикально настроенных членов, для которых все сводилось к альтернативе: “социальная революция или фашизм”.
  62. Ср. декларацию генерального секретаря ИКП Хосе Диаса в марте 1937 года: “Мы сражаемся за демократическую республику, за демократическую и парламентскую республику нового типа и более глубокого социального содержания. Идущее в Испании сражение не имеет целью установление такой демократической республики, как во Франции или любой другой капиталистической стране. Нет. Демократическая республика, за которую мы сражаемся, другая. Мы сражаемся, чтобы разрушить материальные основы реакции и фашизма, ибо без их уничтожения никакая настоящая политическая демократия не может существовать...” (Цит. по: *Bolloten B.* Op. cit., p. 232).
  63. *Thomas, Hugh*. Op. cit., p. 517, livre 4: *Война двух контрреволюций*. Ту же мысль мы встречаем в книге бывшего руководителя КПИ Фернандо Клаудина (*Claudin*) “*La Crise du mouvement communiste*”, Maspéro, 1970: он считает, что задолго до того, как фашистские войска взяли Барселону и Мадрид, контрреволюция одержала бесшумную победу внутри республиканской Испании.
  64. Азанья был президентом Республики, Негрин — главой правительства.
  65. Цит. по: *Bolloten B.* Op. cit., livre IX, p. 630.
  66. Относительно ценности мемуаров Кривицкого (в: *Stalin Secret-Service*. Harper and Brothers, New York, 1939) см.: *Bolloten B.*, livre I, p. 105—106, а также примечания с 46 по 53, с. 780—782.
  67. См.: *Bolloten B.* Op. cit., livre II, chap. 20, p. 266.
  68. *Thomas, Hugh*. Op. cit., livre 2, chap. 20, p. 266. Ту же мысль мы встречаем у Хесуса Эрнандеса, бывшего министра-коммуниста в правительстве Негрина, который пишет в своих “Мемуарах”: “Для величайшего лжеца социалистического мира испанская проблема была предельно ясна: принося в жертву испанский народ, я толкаю Гитлера на Запад, подальше от моих границ. Французское и английское правительства из трусости будут плясать под дудку СССР. С другой стороны, поскольку напряжение между англо-французским альянсом и нацистско-фа-

- шистским блоком нарастает, я толкну их на войну между собой, что позволит СССР стать хозяином ситуации". (*Hernandes, Jesus. Yo fui un ministro de Stalin. Mexico, 1952; франц. пер. La Grande Trahison, Fasquelle, 1953.*)
69. 26 января 1939 года националисты взяли Барселону. Правительство Негрина, по-прежнему поддерживаемое коммунистами, укрылось в Валенсии. 5 марта генерал Мьяха сверг это правительство и сломил сопротивление коммунистов. Военная хунта готова обсуждать условия сдачи Мадрида, который занят без боя 28 марта. Это — конец гражданской войны. В феврале правительство генерала Франко признано Францией и Англией.
  70. На вершине мастерства, но не влияния: в Москве у него возникают все новые трудности, особенно после ареста в сентябре 1936 года его друга и покровителя Радека.
  71. *New English Weekly*. 29 juillet 1937: "Spilling the Spanish Beans", цит. по: *Thomas H. Op. cit.*, p. 885, note 46.
  72. См.: *Trilling, Lionel. George Orwell and the Politics of Truth.* — In: *Trilling, Lionel. The Opposing Self*, Harcourt Brace Jovanovich. New York, 1978, p. 132—151.
  73. Письмо главному редактору *Time and Tide*, 5 fevrier 1938. Цит. по: *Thomas H. Op. cit.*, livre 4, chap. 45, p. 626—627.
  74. Я не говорю здесь о других, поскольку они не обладали интеллектуальной свободой, чтобы написать правду.
  75. *Regler, Gustave. La Glaive et le fourreau.* Plon, 1960. См. chap. 11 et 12, p. 261—330.
  76. *Malraux, André. L'Espoir.* Gallimard, 1937; rééd. coll. Folio, p. 249—250.
  77. *Ibid.*, p. 325.

## Глава восьмая

1. Этот вопрос уже исследован во многих работах. Например: *Drabovitch W. Les Intellectuels français et le bolchevisme. La Ligue des droits de l'homme. Le néo-marxisme universitaire*, Paris, Les Libertés françaises, 1937; *Caute, David. Le Communisme et les intellectuels français*, 1914—1966. Gallimard, 1967 (оригинальное название: *Communism and the French intellectuals*, 1964); он же. *Les Compagnons de route 1917—1968*, Robert Laffont, 1979.
2. См.: *Wood, Neal. Communism and British Intellectuals.* Columbia University Press, New York, 1959.
3. См.: *Spender, Stephen. World within World.* London, Harold Matson C°, 1951.

4. Spender, Stephen. *Forward from Liberalism*. London, Victor Gollancz, 1937, p. 202.
5. В одном из более поздних текстов С. Спендер рассказал о том, как вскоре после вступления в английскую компартию у него открылись глаза на то, что из себя представляет на самом деле международный коммунизм, и как от идеи тождества между “либерализмом” и коммунизмом он перешел к идее их несовместимости. Большую роль в его идейном повороте сыграли наблюдения над войной в Испании. См. текст С. Спендера в книге “Бог мрака” (*Le Dieu des ténèbres*. Calmann-Lévy, 1950, p. 247–286).
6. См. по этому поводу: *Modine, Youri I. Mes camarades de Cambridge*, Robert Laffont, 1994; *Philby, Philip Knightley. The Life and Views of the KGB Masterspy*. André Deutsch, 1988; *Trevor-Roper, Hugh. The Philby Affair*. William Kimber, 1968.
7. Пятый член группы, Джон Кернкрос, принадлежал к другой среде.
8. *Boyle, Andrew. The Fourth Man. The Definitive Account of Kim Philby, Guy Burgess and Donald MacLean and Who Recruited them to spy for Russia*. The Dial Press, 1979, chap. 9, p. 283.
9. См.: *Lyons, Eugene. The Red Decade*. Arlington House, New York, 1970; *Aaron, Daniel. Writers on the Left: Episodes in American Literary Communism*, 1960; *Hook, Sidney. Out of Step. An Unquiet Life in the XXth Century*. Carrol and Graf Publishers, New York, 1988; *Koch, Stephen. Double Lives*. Free Press, New York, 1994; *Draper, Theodore. American Communism Revisited. — A Present of Things Past*. Hill and Wang, 1990, p. 117–153; *American Communism and Soviet Russia*, New York, 1960.
10. Я имею в виду Джея Лавстоуна, Сидни Хука, Ирвина Хау, Эдмунда Уилсона, Джеймса Бёрнхема, Дуайта Макдональда и т.д., а также контрпроцесс, в противовес московским, организованный в 1938 году этой маленькой группкой при поддержке знаменитого Джона Дьюи. В западной Европе не было ничего равноценного издававшемуся в 30-е годы “*Partisan Review*”.
11. *Hook, Sidney. Out of Step*, op. cit.
12. См.: *Kupferman, Fred. Au pays des Soviets. Le voyage français en Union soviétique 1917–1939*, op. cit.
13. *Rolland, Romain. Voyage à Moscou. Juin-juillet 1935. Introduction et notes de Bernard Duchatelet*. A. Michel, 1992, p. 48.
14. *Ibid.*, p. 45–47.
15. *Istrati, Panait. Vers l'autre flemme. Après seize mois dans l'URSS*.
16. Именно в это время (летом 1929 года) он встретил “княгиню” Марию Кудашеву, с которой давно уже был в переписке. Мария Кудашева, примкнувшая к большевикам в начале 20-х годов, станет его женой.

17. Жид прямо об этом заявил, открывая антифашистский митинг, организованный “Ассоциацией революционных писателей и артистов” 21 марта 1933 года: “Как и почему случилось, что я оправдываю здесь то, что осуждаю там? Дело в том, что в немецком терроре я вижу повторение и возрождение самого убогого, самого отвратительного прошлого, а в созидании советского общества — безграничную надежду на будущее” (*Gide A. Littérature engagée. Gallimard, 1950, p. 24*). Ромен Роллан думал точно так же.
18. Официальный текст беседы Сталина с Роменом Ролланом, утвержденный обоими участниками, содержится в виде приложения в кн.: *Voyage à Moscou, op. cit., p. 237—247*.
19. Ромен Роллан заступился за него перед Ягодой и Сталиным. Серж будет выслан из Советского Союза в апреле 1936 года.
20. См.: *Rolland, Romain. Op. cit., p. 229—232*.
21. В особом положении, как мы видели, находился Кембридж. Но во Франции массовое проникновение марксизма в университеты начнется только после 1945 года. В период между двумя войнами он был распространен более среди писателей, чем среди профессоров.
22. Этот момент проанализирован Давидом Котом, см.: *Le Communisme et les intellectuels français, 1914—1966, op. cit., II-e partie, chap. 2, p. 127*.
23. См.: *Panné J.-L. Boris Souvarine, p. 224*.
24. Самую проницательную часть из того, что было написано Троцким в изгнании, составляет его критика немецкой политики Коминтерна между 1930 и 1933 годами. Троцкий ясно понимал, к какой катастрофе ведет разоблачение социал-демократов в качестве “социал-фашистов”, равно как и тактические уступки нацизму. См.: *Trotsky, Léon. Comment vaincre le fascisme. Ecrits sur l'Allemagne. 1930—1931. Пер. с русск. Editions de la Passion, 1993*.
25. *Souvarine, Boris. Staline. Aperçu historique du bolchevisme. Plon, 1935; переизд. в 1937 и 1940 гг. (с добавлением в качестве постскриптума главы “Контрреволюция”); та же работа: Stalin. A Critical Survey of Bolshevism (trad. C.R.L. James). London, Seker and Warburg, 1939; Amsterdam, Querido, 1940. Повторение издания 1940, Champ libre, 1977 et 1985 (с добавлением предисловия и послесловия); rééd, Ivrea, 1993*.
26. См.: *Panné J.-L. L'affaire Victor Serge. — Communisme, № 5, 1984, p. 89—104; Serge V. Mémoires d'un révolutionnaire, 1901—1941. Op. cit.*
27. Заявление Газetano Сальвемини воспроизведено в седьмом номере (за июль 1935 года) журнала *Les Humbles* (p. 5—9) под за-

- головком: “За свободу духа”.
28. В 1932 году Андре Жид опубликовал в “Нувель Ревю Франсез” свои “Страницы из дневника (1929—1932)”. В них он признается в симпатии к Советскому Союзу (запись от 27 июля 1931 года). Его энтузиазм иногда умеряется информацией, которую он получает от Пьера Навиля, но с течением времени его солидарность с коммунизмом усиливается — вследствие отталкивания от капиталистического мира. Затем он открыто выражает свою солидарность с ФКП, публикуя “Подземелья Ватикана” на страницах “Юманите”, участвуя в кампаниях в защиту Димитрова и Тельмана. Его антифашизм является важнейшей составной частью его прокоммунистической ориентации, достигающей своей высшей точки на Конгрессе писателей в защиту культуры, где он произносит речь в защиту Советского Союза от обвинений в казарменном режиме и ущемлении прав человека.
  29. См.: *Koupferman F.* Au pays des Soviets. Op. cit., chap. 3, p. 103; *Lacouture, Jean.* André Malraux. Une vie dans le siècle. Le Seuil, 1973, chap. 21, p. 170—174.
  30. *Daix, Pierre.* Les Voyages à Moscou. Un demi-siècle d'illusion. — *Le Figaro*, lundi 15 juin 1992.
  31. См.: *Herbart, Pierre.* En URSS 1936. Gallimard, 1937. По возвращении из Китая и Индокитая, куда он ездил в качестве репортера от газеты Барбюса “Монд”, Пьер Эрбар (1904—1974) вступает в Коммунистическую партию. Он начинает работать в “Юманите”, затем, в ноябре 1935 года отправляется в Москву, чтобы руководить французским изданием журнала “Интернациональная литература”. Знакомство с советским обществом, совместное путешествие с Жидом приводят его к переоценке своей политической ориентации, но война в Испании удерживает его от открытого выступления против советского коммунизма. В 1958 году он вернулся к своему пребыванию в Москве в книге “Линия принуждения” (*La Ligne de force*. Gallimard, Folio, 1980), содержащей свидетельства чрезвычайной силы.
  32. *Gide A.* Retour de l'URSS. Gallimard, 1936, p. 67.
  33. *Ciliga, Ante.* Au pays du grand mensonge. Gallimard, 1938; rééd. Champ libre, 1977. Родившийся в Истрии, Анте Цилига (1898—1992) активно участвовал в хорватском националистическом движении. После войны он вступил в югославскую Коммунистическую партию, затем продолжал образование в Праге, Вене и Загребе. В 1922 году он стал секретарем компартии Хорватии, был выдвинут в члены политбюро, но в этот момент был арестован и выслан из страны. В Вене он работает в балканском бюро Коминтерна, осенью 1926 года его посылают в Москву.

Прожив три года в Москве и год в Ленинграде, он начинает критиковать режим. Арестованный, он отбывает три года тюрьмы в Верхнеуральске, потом два года в сибирской ссылке; в декабре 1935 года он добивается права покинуть СССР, аргументируя своей якобы итальянской национальностью. Основавшись в Париже, он пишет и публикует свою главную книгу — “В стране большой лжи”. С 1941 года он путешествует по восточной Европе, попадает в руки усташей и проводит шесть месяцев в концлагере Ясеновач. Освободившись, он уезжает в Берлин, где становится свидетелем краха Третьего Рейха. После войны живет во Франции, затем в Италии, где создает журнал, посвященный югославским проблемам.

34. По данным Фреда Купфермана (op. cit., p. 182), “Возвращение из СССР” с 30 октября 1936 по 9 сентября 1937 вышло девятью тиражами, составившими в совокупности 146 300 экземпляров. “Добавления к моему Возвращению из СССР” вышли в 1937 году всего двумя тиражами в количестве 48 500 экземпляров. Обе книги вскоре перестали продаваться.
35. См.: *Citrine, Walter. I Search for Truth in URSS*. Франц. пер. A la recherche de la vérité en Russie. Berger-Levrault, 1937.
36. *Yvon M. Ce qu'est devenue la révolution russe*. 1937, Cannes, les brochures de La Révolution prolétarienne. Ивон публикует в следующем году, у Галлимара, с предисловием Жида “СССР, такой как он есть”.
37. Барбюс умер в Москве 30 августа 1935 года.
38. *Gide A. Retouches a mon Retour de l'URSS*. Gallimard, 1937, p. 66.
39. *Gide A. Journal III, 1889—1939*. La Pléiade, Gallimard, 1939, p. 1268. Cité in: *D. Caute*, op. cit., p. 292.
40. Первоначальное его название — “Комитет антифашистского действия и бдительности”. См.: *Furlaud-Racine, Nicole. Le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes*. — In: *La France sous le gouvernevent Daladier d'avril 1938 à septembre 1939, Colloque de la Fondation nationale des sciences politiques*, 4—6 décembre 1975.
41. В 1935 году Ален опубликовал свою книгу “Марс, или Суд над войной”. До этого, с 1921 по 1935 год, он публиковал свои “Свободные речи” почти без перерыва, благодаря помощи своих друзей Мишеля и Жанны Александр, а с 1935 года продолжал их публикацию в журнале “Feuilles libres de la quinzaine”.
42. Такие дебаты действительно имели место в Комитете бдительности в 1937 году; обсуждался вопрос, какую роль может сыграть подобная реституция в умиротворении нацистской агрессивности.

43. Serge V. Seize fusilles à Moscou. Paris, Spartacus, 1936. Rééd. 1972, p. 93.
44. См.: *Jelen, Christian*. Hitler ou Staline. Le prix de la paix, op. cit.
45. См.: Congrès national de la Ligue des droits de l'homme, 17—19 juillet 1937. — *Les procès de Moscou*, intervention de Victor Basch, p. 169.
46. Les Cahiers des droits de l'homme, № 31, 15 novembre 1936 — *Les procès de Moscou*, rapport présenté au nom de la commission par M-e Raymond Rosenmark, p. 743—750.
47. *Les Cahiers des droits de l'homme*, p. 748.
48. *Ibid.*, p. 750.
49. О Викторе Баше см.: *Basch, Françoise*. Victor Basch. De l'affaire Dreyfus au crime de la milice. Plon, 1994.
50. Такой же тип реакции мы наблюдаем, например, у Жюльена Бендэ. В малоизвестной публикации, появившейся в недолговечном антифашистском и антимюнхенском издании *Les Volontaires* (№ 1, декабрь 1938), Бенда соглашается с определением "тоталитарный" для характеристики коммунизма в противоположность демократии, но придает этому определению положительный смысл, когда речь заходит об отличии коммунизма от фашизма. Фашизм и коммунизм представляют в его глазах два разных типа тоталитаризма: схожие в том, что оба полностью подчиняют индивида государству и отменяют гражданские свободы, они различаются тем, что коммунизм, и только он, ставит задачи социального преобразования. Таким образом, получается, что есть хороший и плохой тоталитаризм. См. также статью Жюльена Бендэ "Демократия и коммунизм" в *Les Volontaires* № 5, апрель 1939, специальный номер "Фашизм против духа".
51. При голосовании доклад Розенмарк собрал 1088 голосов против 258, поданных за резолюцию Шаллэ.
52. *Basch V*. Mise au point. — *Les Cahiers des droits de l'homme*, № 21, 1 novembre 1937.
53. Летом 1938 года, в разгар судетского кризиса, Фелисьен Шаллэ по приглашению "Немецкого трудового фронта" совершил путешествие в гитлеровскую Германию, организованное по образцу путешествий в СССР. Он привез оттуда столь же благожелательные впечатления от нацистского режима, как коммунистические попутчики — от советского. Бывший дрейфусар, бывший сотрудник "Кайе де ла Кензен", старый жоресист, бывший попутчик ФКП привез из своего путешествия подтверждение того, в чем был убежден заранее: гитлеровская Германия не хочет войны.
54. *Popolo d'Italia*. 18 octobre 1926. Цит. по: *Hamilton, Alastair*.

- L'illusion fasciste, les intellectuels et le fascisme 1919—1945. Gallimard, 1971.
55. См.: *Andreu, Pierre et Grover, Frédéric J.* Pierre Drieu La Rochelle, 1979. Rééd. La Table Ronde, 1989; *Grover, Frédéric J.* Drieu La Rochelle (1893—1945). Gallimard, 1979, coll. Idées.
56. *La Grande Revue*, mars 1934. Цит. по: *Hamilton A.* Op. cit., p. 235—236.
57. *Drieu La Rochelle P.* Socialisme fasciste. Gallimard, 1934.
58. *Ibid.*, p. 149.
59. Успех книги Малапарте “Техника государственного переворота”, французский перевод которой появился в 1931 году, может служить убедительным подтверждением такого наваждения.
60. *Drieu La Rochelle P.* Op. cit., p. 163.
61. *Drieu La Rochelle P.* Journal 1939—1945, coll. Temoins. Gallimard, 1992, p. 386.
62. См.: *Lidenberg, Daniel.* Les Années souterraines 1937—1947. La Découverte, 1991, chap. 5, p. 165—245.
63. Цит. по: *Lindenberg D.* Op. cit., chap. 5, p. 209.
64. *Descombes, Vincent.* Philosophie par gros temps. Paris, éd. de Minuit, 1985.
65. Я заимствую это выражение из прекрасной книги Андре Тириона (Thirion) “Révolutionnaires sana révolution.” Paris, Robert Laffont, 1972.
66. Из сочинения Марселя Мокса “Essai sur le don”, 1926 (rééd. dans *Sociologie et Anthropologie*, P.U.F., 1983, coll. Quadrige) Батай почерпнул идею обмена, не связанного с экономической пользой, и идею социальной связи, основанной на чистых “затратах”.
67. См.: *Descombes V.* Op. cit., chap. 4, “La crise française des lumières”, p. 69—95.
68. См.: “Проблема Государства” в “Ля Критик сосьяль”, сентябрь 1933, № 9. “Ля Критик сосьяль” — журнал, выходивший раз в два месяца и основанный Борисом Сувариним в марте 1931 года; вокруг Суварина и его тогдашней подруги Колеетт Пеньо группировались члены Кружка демократического коммунизма и сочувствовавшие им. Направление журнала определялось марксистской, но не догматической, критикой текущих политических и литературных событий. Симона Вейль sporadически участвовала в работе журнала и кружка, начиная с 1932 года. То же можно сказать и о Жорже Батайе, занимавшем еще более неортодоксальную (или менее марксистскую) позицию. Он опубликовал в 1933 году в журнале Суварина три статьи, представляющиеся мне наиболее интересными из всего, что он писал на политические темы: “Понятие траты” в январе, “Проблема Государства” в сентябре и “Психологическая структура фашизма” в ноябре. “Ля Критик сосьяль” прекратил свое су-

- ществование в связи с банкротством издательства Марселя Ривьера в 1934 году. Вышедшие номера были переизданы издательством “Ля дифферанс” в 1983. См. также: *Panné J.-L.* Op. cit., chap. 15, “Un cercle sans quadrature”, p. 196—219; *Ronsac C.* Trois noms pour une vie. Robert Laffont, 1988.
69. *Bataille, Georges.* Le problème de l'Etat. — *La Critique sociale*, № 9, septembre 1933, rééd., p. 105.
70. La structure psychologique du fascisme. — *La Critique sociale*, № 11, mars 1934, p. 211.
71. *Ibid.*, p. 211.
72. Это была декларация группы “Контратака”, не просуществовавшей и года. В манифесте делается попытка дать революции новое определение, которое не ограничивалось бы обобщительным средств производства и не замыкалось бы в национальных рамках. Оно содержит в скрытом виде тройную критику советской модели в виде требования “непримиримой диктатуры вооруженного народа”, призыва к мировой революции и главное — упора на необходимость разрушения “надстройки”, в чем нетрудно узнать мысли Батайя. См.: *Thirion A.* Op. cit., p. 430—431. Текст призыва воспроизведен в: *Tracts surréalistes et déclarations collectives (1923—1939)*. E. Losfeld éd., 1980, p. 281—284.
73. *Hollier, Denis.* Le Collège de sociologie. Gallimard, coll. Idées, 1979, p. 24.
74. См.: *Sirinelli, Jean-François.* Génération intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres, P.U.F., coll. Quadrige, 1994, chap. 13, “Les élèves d'Alain”, p. 484—494.
75. См.: *Beverez, Nicolas.* Raymond Aron. Flammarion, 1993; *Aron, Raymond.* Mémoires, Julliard, 1983, chap. 3, “Découverte de l'Allemagne”, p. 50—80.
76. См.: *Aron Raymond.* Mémoires, chap. 5, p. 105—106.
77. *Ibid.*, p. 143—145. См. также: *Raymond Aron 1905—1983.* Histoire et politique. — *Commentaires*, février 1985, p. 311—326.
78. Текст будет опубликован только весной 1946 в “Bulletin de la Société française de philosophie”. См.: *Bulletin de la S.F.P.*, 40-е année, № 2, avril-mai 1946, p. 41—92; *Aron, Raymond.* Etats démocratiques et Etats totalitaires. Repris dans “Machiavel et les tyrannies modernes”. Editions de Fallois, 1993, p. 165—183.
79. *Aron Raymond.* Machiavel et les tyrannies modernes, p. 166.

## Глава девятая

1. Поэтому лучше говорить о германо-советских пактах, во множественном числе, как это предложил Стефан Куртуа.

2. После подписания пакта Риббентроп — Молотов (23 августа 1939 года) французские коммунисты приняли резолюцию патриотического звучания (“Если Гитлер, несмотря ни на что, развяжет войну, пусть перед ним окажется весь народ Франции с коммунистами в первых рядах...”), затем они проголосовали за военные кредиты и всеобщую мобилизацию. 19 сентября в письме Леону Блюму Марсель Кашен от имени парламентариев подтвердил эту позицию. Но одновременно другие коммунисты выступили с иной политической линией, обвиняя демократии в гитлеровской агрессии против Польши. Наконец, именно разоблачение англо-французских “империалистических поджигателей войны” становится доминирующей нотой начиная с 1 октября (ФКП была распущена 26 сентября), когда депутаты А. Рамет и Ф. Бонт обратились с письмом к Эдуарду Эррио, предупреждая его, что со стороны СССР, который 17-го захватил восточную Польшу, вскоре последуют мирные предложения. Но единственные “мирные предложения” последовали со стороны Гитлера: он призвал демократии сложить оружие.
3. Было предусмотрено, что польские немцы, оказавшиеся на территориях, занятых Советским Союзом, перейдут в немецкую часть Польши, а украинцы и белорусы переместятся из немецкой зоны в советскую.
4. *Courtois, Stéphane. Le P.C.F. dans la guerre. Ramsay, 1980, chap. 2, p. 50.*
5. Во время переговоров между СССР, с одной стороны, и Францией и Великобританией, с другой, начиная с мая 1939 года, советская сторона связывала подписание политического соглашения с заключением военного соглашения. С начала переговоров по военным вопросам (12 августа) советская сторона высказывала пожелание, чтобы французы и англичане добились от Польши (и Румынии) согласия на прохождение советских войск через их территорию. Маршал Ворошилов выдвигал это как предварительное условие, а англо-французская сторона, уважая государственный суверенитет соответствующих стран, предлагала ждать их согласия, а пока продолжать переговоры. 17-го Советский Союз и Германия подписывают экономическое соглашение, которое предвещает пакт 23 августа. В тот же день поляки отказываются согласиться с советскими требованиями.
6. Относительно реакции ФКП на германо-советский пакт и неоднократные призывы к национальному единству против Гитлера, повторявшиеся на протяжении последней недели августа и первой половины сентября, см.: *Courtois S. Op. cit., chap. 2.*
7. См.: *Narinski, Mikhail. Le Komintern et le Parti communiste français, 1939—1942. — Communisme, № 32—34, 1993, p. 12.*

8. *Ibid.*, p. 13.
9. *Courtois S.* Le P.C.F. dans la guerre. De Gaulle, la Résistance, Staline..., op. cit., chap. 3, p. 100—101, notes 8 et 9.
10. Тем не менее, кое-где новая линия, провозглашенная Сталиным 7 сентября, вызвала появление лозунгов в духе “революционного поражения”: например, в ФКП так выступил Андре Марти, большой специалист в данном вопросе. См.: *Buton, Philippe.* Le parti, la guerre et la révolution, 1939—1940. — *Communisme*, № 32—33, p. 44.
11. Цит. по: *Courtois S.* Op. cit., chap. 3, p. 88. Полный текст этой речи был опубликован по-французски в подпольном номере журнала “Кайе дю большевизм” от января 1940 г. См.: *Les Cahiers du bolchevisme pendant la campagne 1939—1940, Molotov — Dimitrov — Thorez — Marty, avant-propos de A. Rossi.* Ed. Dominique Wapler, Paris, 1951. (Обратный пер. с франц. — *Прим. пер.*)
12. Так называлась знаменитая статья Марселя Деа в его газете “Эвр” от 4 мая 1939 года.
13. В январе 1936 года Торез выдвинул лозунг “Объединение французской нации”, протянув руку католикам и активистам “Огненных крестов”. 25 августа того же года, во время митинга на велодроме в Буффало он призвал к “Французскому фронту” для борьбы за соблюдение социальных законов, усиления антифашистской борьбы внутри страны посредством объединения трудящихся и республиканцев вокруг Народного фронта, за подлинную политику мира, включая помощь Испанской республике. Затем, в октябре 1937 года, ФКП защищала лозунг “Франция для французов” (см.: *Robrieux, Philippe.* Maurice Thorez. Vie secrète et vie publique. Fayard, 1975, p. 216). На заседании Центрального Комитета 21 ноября Торез подтвердил лозунг “Объединения французской нации” и одновременно призвал к образованию “Фронта французов”, понимаемого как расширение Народного фронта, впрочем, уже переживавшего свой закат. Но во время утверждения в парламенте мюнхенских соглашений ФКП была единственной партией, проголосовавшей против их ратификации.
14. Известно, что на первом этапе ФКП, поддержав германо-советский пакт, одновременно подтвердила свою антигитлеровскую позицию. 2 сентября депутаты-коммунисты проголосовали за военные кредиты. 6-го все военнообязанные коммунисты, во главе с Морисом Торезом, явились в свои воинские части. Но затем, во второй половине сентября, партия, следуя новым директивам Коминтерна, меняет свою политическую линию как раз в тот момент, когда правительство объяв-

ляет о ее запрете (26 сентября). Этот переломный момент вызовет появление многочисленных текстов между октябрём и декабрём, а также самокритику руководства партии в январе 1940 года. Ему посвящены многочисленные работы, из которых мне были особенно полезны: Rossi A. *Les Communistes français pendant la drôle de guerre 1939—1940*. Paris, 1951, rééd. Albatros, 1972; *Les Cahiers du bolchevisme pendant la campagne 1939—1940, avant-propos de A. Rossi*. Ed. Dominique Wapler, Paris, 1951; Courtois S. *Le P.C.F. dans la guerre*, op. cit.; Azema J.-P., Prost A., Rioux J.-P., éd., *Le Parti communiste français des années sombres (1938—1941)*. Paris, Le Seuil, 1986, et *Les Communistes français de Munich à Châteaubriant (1938—1941)*. Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987; Buton Ph. *Le parti, la guerre et la révolution, 1939—1940. — Communisme*, № 32—33, 1993.

15. Нацистские власти в оккупированной Польше заявили о катынском убийстве в апреле 1943 года, сразу после обнаружения захоронений; это чудовищное преступление стало основным мотивом антисоветской пропаганды вплоть до конца войны. Три следственные комиссии, одна международная (организованная по инициативе доктора Конти, возглавлявшего немецкую службу здравоохранения), другая польская (созданная немецкими властями в Польше, но под прикрытием Красного Креста поддерживавшая связи с Соппротивлением), третья, наконец, чисто немецкая, провели весной расследование, каждая комиссия самостоятельно, и пришли к одному и тому же заключению: жертвы были убиты тремя годами раньше, в апреле или мае 1940 года, что исключало возможность возложить вину на нацистов. Советское расследование, проведенное в январе 1944 года под руководством НКВД, пришло к противоположным выводам.

Еще до обнаружения катынских захоронений и до заключения комиссий польское правительство в Лондоне, стремясь возродить польскую армию в июле 1941 года, производило розыски польских граждан на советской территории и вынуждено было констатировать, что пятнадцать тысяч офицеров пропали без вести. Между 1941 и 1943 годами советское правительство давало на запросы польской стороны уклончивые ответы. 14 ноября 1941 года Сталин в разговоре с польским послом высказал предположение, что исчезнувшие офицеры “наверное, бежали за границу”. Разоблачение катынских убийств в апреле 1943 года дало мрачный ответ на недоумения поляков, во всяком случае, в том, что касалось пяти тысяч офицеров. Это еще больше осложнило советско-польские отношения.

На Нюрнбергском процессе советский прокурор Руденко пытался списать Катынь на счет немецко-фашистских преступлений, но ему это не удалось, несмотря на то, что трибунал всячески отклонял свидетелей из рядов польской армии Андерса и Берлинга и из числа участников Сопротивления. Из обвинительного заключения, оглашенного 30 сентября 1946 года, пункт о Катыни был исключен.

В 1948 году была опубликована с предисловием генерала Андерса польская “Белая книга” о катынских убийствах, где были повторены все обвинения против СССР. Эта книга существует в английском переводе: *The Crime of Katyn. Facts and Documents*. Polisc Cutural Foundation, London, 1965.

14 октября 1992 года президент Ельцин обнародовал текст решения Политбюро ВКП(б) за подписью Сталина от 5 марта 1940 года, содержавшего приказ расстрелять 26 000 поляков, интернированных в СССР после советской агрессии против Польши в сентябре 1939. См.: *Le Monde*, 16 octobre 1992.

О катынском деле в целом см.: *Kwiatkowska-Viatteau, Alexandra*. *Katyn, l’armée polonaise assassinée*. Ed. Complexe, coll. *La mémoire du siècle*, 1982.

16. В ответ на отклонение финнами предъявленного им ультиматума Сталин напал на Финляндию в конце ноября 1939 года. Его план, о котором говорит создание марионеточного правительства, состоял в том, чтобы создать Карело-финскую республику, включив туда Финляндию, которая таким образом присоединялась к советской Карелии. Для Красной Армии война оказалась тяжелой и кровопролитной, так как финны оказали ей яростное и умелое сопротивление на линии Маннергейма. В марте 1940 года Финляндия добилась мира, понесла территориальные потери, но сохранив независимость. Открытая агрессия Сталина против Финляндии вызвала на Западе новую вспышку антисоветизма. СССР был исключен из Лиги Наций в декабре 1939 года — последний привет уходящей эпохе “коллективной безопасности”.
17. Жан Катала, директор Французского института в Таллинне (Эстония), описал вступление советских войск в Таллинн в июне 1940 года и последующее включение прибалтийских стран в СССР в результате фальсифицированных выборов в июле. Он говорит о гигантских арестах, проведенных НКВД в июне (около миллиона человек в трех странах). См.: *Cathala, Jean*. *Sans fleur ni fusil*. Albin Michel, 1981. О том, как советские власти устанавливали свой контроль, автор пишет: “Чтобы найти аналог феномену советизации... надо вернуться к давним историческим временам. Речь идет не только о перемене или отмене суверенитета. Это было включе-

ние в совершенно другую вселенную, где учреждения и практика, духовное и повседневное, учение и государственность, родина и партия у власти — все было перемешано и должно было приниматься целиком” (р. 79—80). И немного далее: “Сегодня я не уверен в точности сравнения [действий НКВД] с эсэсовцами: эсэсовцы не смогли бы действовать так успешно. Фашизму не хватало географического пространства, необходимого для создания крупномасштабной системы концлагерей, не хватало структурированного государства, в котором гражданское общество, политический режим, экономика и репрессии полностью бы перекрывали друг друга, и главное — не хватало опоры на такое состояние умов и нравов, корни которого уходили бы в глубину времен. У национал-социализма здесь был разрыв, заполнить который можно было только жестокостью” (р. 97).

18. См.: *Buber-Neumann, Margarete*. Under Two Dictators, trad. par Fizgerald (éd.), New-York; Déportée en Sibirie, Le Seuil, 1949 (rééd. 1986); Déportée a Ravensbrück. — Ibid., 1988.
19. Аналогия, отмеченная Аланом Буллоком: *Bullock, Alan*. Hitler, a Study in Tyranny. Penguin Books, 1990 (1-ге éd. Odhams, 1952), p. 597, note 1.
20. Гитлер также полагал, что распад СССР усилит позиции Японии на Дальнем Востоке, что заставит американцев сосредоточиться на этом регионе и удержит США от помощи Англии в Европе. См.: *General Halder's Diary*, en date du 31 juillet 1940, cité par A. Bullock. Hitler and Staline, p. 682.
21. Относительно этого эпизода и текста упомянутого документа см.: *Narinski M.*, art. cité. — *Communisme*, № 32—34, 1993, p. 22. См. также в том же номере статью: *Courtois S.* Un été 1940. Les négociations entre P.C.F. et l'occupant allemand à la lumière des archives de l'International communiste, p. 85—110.
22. *Narinski M.*, art. cité. — *Communisme*, № 32—34, 1993, p. 25.
23. Новый торговый германо-советский договор был подписан в январе 1941 года.
24. См.: *Souvorov, Victor*. Le Brise-Glace. Olivier Orban, 1989, trad. du russe par Madeleine et Vladimir Berelovitch.
25. Впрочем, таким же был аргумент, выдвигавшийся Гитлером для “оправдания” своевременности плана “Барбаросса”.
26. См.: *Communisme*, № 35—37, 1994. Письма Рене Эрмита в журнал (р. 287—290).
27. О неизменности французского пацифизма после 3 сентября 1939 года и его антисоветской направленности во время “странной войны” см. недавнюю работу: *Crémieux-Brilhac, Louis*. Les Français de l'an 40. 2 vol., Gallimard, 1990, tome 1, “La Guerre oui ou non?”, chap. 2.

28. Даже с лета 1940 года, когда эта литература стала если и не откровенно антинемецкой, то, во всяком случае, нацеленной на завоевание национальной независимости, речь идет о призывах объединиться против иностранных оккупантов. Вплоть до июня 1941 года речь не идет о борьбе против нацизма или фашизма или о защите демократии. См.: *Narinski M.*, art. cit. — *Communisme*, № 32—34, 1993, p. 26.
29. *Hitler's Table Talk, 1941—1944*, op. cit.
30. *Ibid.*, p. 68—69, 17 octobre 1941.
31. *Bullock, Alan*. Hitler et Staline. Vies parallèles (livre III, chap. 11, p. 641 — специальная директива от 13 марта 1941 года по поводу войны против СССР).
32. Отчет генерала Хадлера, начальника генерального штаба армии, процитирован в: *Fest, Joachim*. Hitler, t. II. Paris, Gallimard, 1973, livre VII, chap. 2, p. 329—330 (éd. allemande, Verlag Ullstein GmbH, 1973).
33. Хотя в другие моменты Гитлер был склонен верить, что Сталин ликвидировал еврейское влияние в большевизме. См.: *Rauschnig, Hermann*. La Revolution du nihilisme. Gallimard, 1980, p. 328: “Весной 1937 года, перед расстрелом некоторых командиров русской армии, несколько провинциальных немецких газет посвятили странные статьи событиям в России. В них утверждалось, что большевистское государство взяло курс на некий новый национализм, что из правительства вычищаются евреи и сторонники революционных доктрин. Много говорилось об антисемитизме Сталина, и всячески подчеркивалась идея возникновения нового царизма и нового национализма”.
34. См.: *Hilberg, Raul*. La Destruction des Juifs d'Europe. Fayard, 1988 (*The Destruction of the European Jews*, New-York, Holmes and Meier, 1985), chap. 6, p. 138—235.
35. “Главное правительство” — так называлась территория, находившаяся к востоку от польских земель, непосредственно включенных в состав Германии. Эта территория представляла собой треугольник, вершина которого находилась в районе Варшавы, а нижняя сторона проходила южнее Кракова и южнее Львова.
36. *Fest J.* Hitler, t. VII, chap. 2, p. 329. См. также: *Hilbert R.* Op. cit., chap. VII, p. 243; *Fleming G.* Hitler et la solution finale. Paris, Julliard, 1988, chap. 3, p. 65 (éd. allemande, Hitler und Endlosung, 1982; éd. anglaise, Hitler and the Final Solution, 1985). См. также *Browning, Christopher R.* Ordinary Men. Harper Collins, 1992 (*Des hommes ordinaires*, preface de Pierre Vidal-Naquet, Les Belles Lettres, 1994).
37. См.: *Heller M., Nekrich A.* Op. cit., chap. 8, p. 335.

38. *Conquest R.* Op. cit., épilogue, p. 458.
39. *Soljenitsyne, Alexandre.* L'Erreur de l'Occident. Grasset, 1980, trad. du russe par Nikita Struve, Geneviève et José Johannot, p. 84.
40. См.: *Leonhardt, Wolfgang.* Child of the Revolution. Chicago, 1958 (éd. allemande, 1955). Trad.: Un enfant perdu de la révolution, éditions France-Empire, 1983.
41. Проблема польских границ была одной из головоломок для союзников, одержавших победу в первой мировой войне: они хотели восстановить независимость Польши, но колебались в отношении ее границ, принимая во внимание наличие в ее западных районах значительного процента немецкого населения, а в восточных — украинского и белорусского. Так называемая “линия Керзона” (по имени тогдашнего английского министра иностранных дел) была определена в Версале в 1919 году по согласованию с французами и американцами, но без каких-либо консультаций с российской стороной. Она устанавливала восточную границу Польши по реке Буг, но почти сейчас же стала фикцией в результате польско-советской войны 1920 года. Победа Пилсудского после разгрома Красной Армии на Висле позволила полякам отодвинуть границу дальше на восток, подчинив себе местности, населенные украинцами и белорусами.  
Но “линия Керзона” снова всплыла в августе-сентябре 1939 года: с небольшими изменениями она легла в основу соглашения между Гитлером и Сталиным и последующего раздела Польши. На протяжении войны, начиная с 1941 года, она будет в центре споров между польским эмигрантским правительством и Советским Союзом. Сталин будет упорно настаивать на границе 1939 года. В Ялте Черчилль и Рузвельт, предлагавшие, чтобы к Польше отошли город Львов и некоторые нефтеносные районы, лежащие восточнее “линии Керзона”, получили от Сталина такой многозначительный ответ: “От нас хотят, чтобы мы были менее русскими, чем Керзон или Клемансо!”
42. Глава польского эмигрантского правительства в Лондоне.
43. *Grossman V.* Vie et Destin. Julliard-L'Age d'homme, 1983, p. 618. (Цит. по: *Гроссман, Василий.* Жизнь и судьба. — Кишинев, Литература Артистикэ, 1989, с. 589. — *Прим. пер.*)
44. Ср.: *Kennan, George.* La Russie soviétique et l'Occident. Quarante années d'histoire, trad. par C. E. Romain, Calmann-Lévy, 1962, p. 333—334 (Russia and the West under Lenin and Stalin, Little Brown and C<sup>o</sup>, Boston, 1960).
45. В январе 1941 года союзники впервые сделали заявление о военных преступлениях. В октябре 1942 года англо-американцы предложили советской стороне образовать международную Ко-

- миссию по расследованию военных преступлений. 30 октября в Москве состоялось заседание, на котором акт о создании трибунала был подписан. Идея международного процесса была предложена на конференции в Потсдаме (в июле — августе 1945 года) президентом Гарри Трумэном и судьей Робертом Джексонном: международный трибунал должен был судить военные преступления, преступления против мира и человечества. Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 и завершился 1 октября 1946 года. См.: *Taylor, Telford. The Anatomy of the Nuremberg Trials. A Personal Memoir*, Little Brown, 1992.
46. См.: *Wieviorka, Anette. Déportation et Génocide. Entre la mémoire et l'oubli*. Plon, 1992.
47. Шесть миллионов было изгнано из Силезии, Померании, Восточной Пруссии, от двух до трех — из Чехословакии, около двух — из Польши и СССР, от двух до трех — из Венгрии, Югославии и Румынии.

## Глава десятая

1. См.: *Adler L. K. et Paterson T. G. Red Fascism: the Merger of Nazi Germany and Soviet Russia in the Image of Totalitarianism, 1930's—1950's. — American Historical Review*, vol. LXXV, 4, avril 1970.
2. См.: *Dallek R. (ed.) The Roosevelt Diplomacy and World War II*. Rinehard and Winston, New York, 1970. Самую убедительную критику американского невежества в области отношений с СССР можно прочесть в первом томе “Мемуаров” Джорджа Кеннана, опубликованном в 1967 году. Между 1944 и 1946 годами Кеннан находился в Москве, уже во второй раз, в ранге советника посольства Соединенных Штатов, где выступал в качестве сторонника политики сдерживания. Он приложил к этому тому воспоминаний свою знаменитую “телеграфную диссертацию” — длинную телеграмму от 22 февраля 1946 года о природе советской внешней политики (см.: *Kennan G. Memoirs, 1925—1950*, Little Brown and C<sup>o</sup>, Boston, 1967). Что касается отношения Рузвельта к Сталину во время войны, то оно в различных своих составляющих хорошо проанализировано Генри Киссинджером в его последней книге. Американскому президенту было трудно побудить свою страну вступить в войну с Германией во имя демократии, что в дальнейшем стеснило его свободу и не позволило дать достаточно нюансированное определение антинацистской коалиции. С другой стороны, он разделял со своим предшественником Вильсоном стремление вернуть американских солдат на родину сразу же после окончания

войны, а также нежелание считаться с традиционным для европейской дипломатии расчетом на равновесие сил. По его мнению, война должна была завершиться миром, гарантами которого должны были выступить четыре державы-победительницы: Соединенные Штаты, СССР, Великобритания и Китай. Наконец, Рузвельт переоценивал силу Англии, ослаблению которой сам же способствовал, а Францию хотел удержать на второстепенных ролях. Поэтому осуществление его концепции, состоявшей из смешения вильсоновского идеализма и черчиллевского реализма, в значительной степени зависело от советского сотрудничества. См.: *Kissinger, Henry. Diplomacy, chap. 16, p. 394—397.*

3. Например, Герберт Маркузе в 1967 году продолжал утверждать: “Преобразование либерального государства в “тотально-авторитарное” происходит на основе неизменного социального порядка. По отношению к этой неизменной экономической базе мы можем говорить, что либерализм производит тотально-авторитарное государство в качестве своего завершения на наиболее развитой стадии своего развития. Тотально-авторитарное государство приносит с собой организацию и теорию общества, соответствующие монополистическому периоду капитализма” (*Kultur und Gesellschaft. Frankfurt, 1967, vol. I, p. 73.*)
4. Еще один знак общности их судьбы и относительного одиночества: оба и почти одновременно вынуждены уйти от руководства своими странами сразу после победы над фашизмом.
5. Вопрос о сотрудничестве советских военных с нацистами мало изучен. Для историографии режима это был самый запрещенный сюжет. Идея такого сотрудничества встречала с немецкой стороны лишь очень неустойчивую и слабую поддержку. Поддержку ей оказывали либо антинацистские элементы вермахта, либо, среди нацистов, сторонники национального дробления СССР, такие, как Розенберг, либо, наконец, такие, как Геббельс, политики-реалисты, стремившиеся ослабить противника. Как бы то ни было, но зверства, совершенные на советской территории немецкой армией во имя антиславянского расизма, не давали такой политике особых шансов на успех.

Первые военные формирования из советских людей, одетых в немецкую форму, создавались начиная с лета 1941 года, из числа сотен тысяч пленных, захваченных в первые месяцы войны. Они постепенно становились более многочисленными, что объяснялось, по-видимому, многими причинами, начиная от ненависти к сталинскому режиму и кончая простым желанием выжить, так как условия содержания для солдат Красной Армии в немецких лагерях были ужасны. Эти формирования сна-

чала использовались на месте для борьбы с партизанами, действовавшими в немецком тылу, а затем, перегруппированные по национальному принципу, были переброшены на Запад, в частности во Францию, для использования против внутреннего сопротивления.

Наиболее серьезные усилия по объединению “советских” военных формирований на службе Германии были предприняты в сентябре 1942 года генералом Власовым, захваченным в плен в июле того же года; он создал в Смоленске “Русский национальный комитет”, но ему долго не удавалось обрести авторитет под этим призрачным национально-русским лозунгом, находившимся в противоречии с рельефо зависимость положением Власова, да к тому же и не очень привлекавшим советских военных других национальностей. Он так и не получил разрешения отправиться со своей армией на Восточный фронт. Жестко подчиненные вермахту, его формирования использовались главным образом для проведения репрессий на Западе.

Нацистские политики стали придавать несколько большее значение миссии Власова только осенью 1944 года, когда уже обрисовались контуры окончательного разгрома. Гиммлер согласился предоставить русскому генералу несколько большую свободу действий, и Власов создал в Праге 14 ноября “Комитет за освобождение народов России”: длинный “Манифест”, обнародованный по этому поводу, являет собой странную антибольшевистскую “либеральную” программу под нацистским патронажем! Как бы там ни было, но Власову удалось, используя широкий поток населения, хлынувший на запад под напором наступления Красной Армии, создать две армии, общей численностью в пятьдесят тысяч человек. Одна из них прославилась тем, что в первые дни мая 1945 года, придя на помощь чешским повстанцам, освободила Прагу от войск СС.

В конце войны на пять миллионов “перемещенных лиц” советского происхождения приходилось примерно пятьсот тысяч советских граждан разных национальностей, служивших в вермахте; к ним следует добавить еще пятьдесят тысяч, которые насчитывались в армиях Власова в конце 1944 года. Основная же масса состояла из военнопленных, депортированных на принудительные работы, просто депортированных и, наконец, тех, кто по тем или иным причинам бежал на Запад, когда советские армии перешли в контрнаступление. Из этих пяти миллионов, половина которых находилась на территории, занятой Красной Армией, три миллиона двести тысяч будут репатрированы летом 1945 года. Остальные, то есть около двух миллионов, будут взяты под контроль союзными державами и почти

- полностью отправлены в СССР, добровольно или принудительно, между 1945 и 1947 годами. См.: *Fischer, George*. Soviet Opposition to Stalin. A Case Study in World War II. Harvard University Press, 1952; *Bethell, Nicolas*. Le Dernier Secret, 1945: Comment les Alliés livrèrent deux millions de Russes à Staline. Le Seuil, 1975.
6. См.: *Soljenitsyne A.* L'Archipel de Goulag, 1918—1956, Essai d'investigation littéraire, 3 vol. Le Seuil, 1974—1976. См.: V-e partie, chap. 1 (vol. 3, p. 27—31).
  7. *Tolstoi N.* Victims of Yalta. London, Hodder and Stoughton, 1977, trad: Les Victimes de Yalta, France-Empire, 1980.
  8. *Heller M.* et *Nekrich A.* Op. cit., chap. 9, p. 375.
  9. См.: *Nettl J. P.* The Eastern Zone and Soviet Policy in Germany, 1940—1950. Oxford University Press, 1951, chap. 2, p. 43—45; *Bark, Dennis L.* et *Gress, David R.* Histoire de l'Allemagne depuis 1945. Robert Laffont, coll. Bouquins, 1992 (англ. изд.: Basil Blackwell, 1989), I, 1-re partie, p. 3—87.
  10. В действительности политическое значение этих экономических и социальных сил было сломлено Гитлером. О “демократизации” немецкого общества нацизмом см.: *Schoenbaum, David*. La Révolution brune, la société allemande sous la Troisième Reich. Robert Laffont, 1979.
  11. Польский коммунизм имеет бурную и печальную историю. И его взаимоотношения с Кремлем составляют самые трагические страницы. Созданная в 1918 году, партия сначала, согласно установкам Розы Люксембург, отрицательно относилась к независимости Польши и стремилась к присоединению к молодой Советской Республике: такая политика достигла своего пароксизма в 1920 году, когда партия поддержала наступление Красной Армии на Варшаву. Жертва своих собственных антинационалистических перегибов, раздираемая внутренними раздорами, руководимая евреями-интернационалистами, она пользуется крайне незначительным влиянием в Польше и вызывает в 1924 году ненависть Сталина из-за своей склонности к троцкизму: именно в этом году происходит первая чистка ее руководства в Москве. Что не мешает новому руководству два года спустя получить новый нагоняй от Сталина за поддержку военного переворота Пилсудского, свержшего парламентский режим: эта тактическая ошибка в течение тридцати лет будет служить поводом для Москвы обвинять польскую компартию в том, что она заражена проникшими в нее “фашистскими” агентами.

Однако вплоть до прихода Гитлера к власти она служила Коминтерну лишь вспомогательным орудием его немецкой по-

литики; например, она была вынуждена, вопреки национальным интересам, поддерживать требование пересмотра установленных Версальским договором германских границ в верхней Силезии и в районе Данцига. Она продолжала оставаться под жестким контролем Москвы и подвергаться периодическим чисткам от троцкистов (так был исключен Исаак Дойчер в 1932 году).

Даже поворот 1934—1935 годов не дал польской компартии ни пространства для маневра, ни минимального уважения со стороны Москвы. Хотя она и прекратила свою нелепую пропаганду в пользу немецкого ревизионизма, ее слишком очевидная зависимость от Москвы и слишком большая слабость (от пяти до десяти тысяч членов) мешала ей убедить Социалистическую партию и Бунд в своем новом патриотизме и действенности своей поддержки. Впрочем, и Сталин скорее опасается ее неуправляемых действий, чем ожидает от нее реальной помощи, и потому с 1934 года приступает к ликвидации многих ее руководителей, находящихся в Москве. В 1937—1938 годах происходит большая чистка: все польские коммунисты, находящиеся в России, сосланы или расстреляны, начиная с членов Центрального Комитета партии. Сама партия распущена Коминтерном в 1938 году (точная дата неизвестна). Небольшое количество оставшихся в живых польских коммунистов обязаны своим спасением более ранним арестам полиции в их собственной стране: тюрьмы Пилсудского послужили им убежищем.

Чем руководствовалась советская сторона в такой ликвидации, так и осталось до конца не выясненным. Польская компартия всегда находилась в Москве под подозрением и как слишком еврейская, и как склонная к троцкизму и идеологическому диссидентству, и, наконец, как слишком польская (ее польская ориентация усилилась в условиях антифашистского движения середины 30-х годов). В любом случае, географическая близость Польши к СССР побуждает Сталина рассчитывать больше на штыки Красной Армии, чем на маленькую, лишенную влияния партию, подверженную националистическим увлечениям. Наконец, не исключено, что в 1938 году он уже подумывает о заключении союза с Гитлером. В этом случае польскую компартию можно было бы рассматривать как первую жертву германо-советского пакта.

По этому вопросу см.: *Bethell N. Le Communisme polonais 1918—1971. Gomoulka et sa succession. Préface et postface de G. Mond, trad. de l'anglais par G. Mond. Le Seuil, 1969; Dzievanovski M. K. The Communist Party of Poland, an Outline of History, Hoover Institution Press, 1978.* Наконец, о несчастных

взаимоотношениях между польскими интеллигентами и коммунизмом рассказывает замечательная автобиография Александра Вата (Wat, Alexandre): *Mon siècle, confession d'un intellectuel européen*, préface de Czeslaw Milosz. Ed. de Fallois — L'Age d'Homme, 1989.

12. Начиная с 30-х годов в Польше, которой управлял маршал Пилсудский (ум. 12 мая 1935 года), все ключевые государственные посты занимали полковники; так, на посту министра иностранных дел находился Йозеф Бек.
13. Я делаю это заключение на основании многочисленных бесед с польскими друзьями, которые были свидетелями или участниками названных событий.
14. См.: *Kersten, Krystyna*. Establishment of Communist Rule in Poland, 1943—1948. Амер. перевод: University of California Press, 1991.
15. *Kersten K.* Op. cit., chap. 6, p. 245.
16. Чрезвычайно интересны две книги Чеслава Милоша, проливающие яркий свет на сложности послевоенных советско-польских отношений и подчинение Польши: *La Prise du pouvoir*. Trad. française, Gallimard, 1953; *La Pensée captive*. Trad. française, Gallimard, 1953.
17. Я не забываю, что и Венгрия, и Румыния были союзниками Германии, последняя — вплоть до государственного переворота 23 августа 1944 года. Но и в этих странах идея национального возрождения под руководством местных компартий не была простым следствием оккупации советскими войсками (см.: *Fejtő, François*. Histoire des démocraties populaires. Le Seuil, coll. Points, 1972, 1-re partie, chap. 5: "Le sort des trois satellites de l'Allemagne").
18. См.: *Marrus M.* The Holocaust in History. University Press of New England, 1987. См. также: *Wasserstein B.* Britain and the Jews of Europe, 1939—1945. Oxford University Press, 1979; *Laqueur W.* The Terrible Secret: An Investigation into the Suppression of Information about Hitler's "Final Solution". Weidenfeld P. Nicholson, 1980; trad.: *Le Terrifiant Secret*. La "solution finale" et l'information étouffée. Gallimard, coll. Témoins, 1981; *Wyman D. S.* The Abandonment of the Jews: America and the Holocaust, 1941—1945, Pantheon Books, 1984; trad.: *L'Abandon des Juifs*. Les Américains et la Solution finale. Flammarion, 1987.
19. См.: *Marrus M.* Op. cit., chap. 8, p. 172—176. См. того же автора: *The Unwanted: European Refugees in the XXth century*. Oxford University Press, 1985, p. 194—200, 241—252.
20. В послевоенной Польше еще происходили еврейские погромы. Например, в Кракове в августе 1945, в Кельце в июле 1946. См.: *Kersten K.* Op. cit., II-e partie, chap. 5, p. 214—220.

21. *Orwell G. The Prevention of Literature. Shooting an Elephant and other Essays, New York, Harcourt, Brace and Company, 1950; trad.: OÙ meurt la littérature. Essais choisis, Gallimard, 1950, p. 207.* (Далее цитирую в собственном переводе. — Ф. Ф.)
22. Джордж Оруэлл задумал “1984” в феврале 1943 года, но сначала написал “Скотный двор”, опубликованный 17 августа 1945 года. Смерть жены и работа над другими сочинениями явились причиной того, что роман был закончен только в 1948 году и опубликован в июне 1949. Оруэлл умер 21 января 1950 года.
23. *Orwell G. OÙ meurt la littérature, p. 207.*
24. *Ibid., p. 209.*
25. Обратите внимание на описанный Раймоном Ароном контраст между 11 ноября 1918 и 8 мая 1945 года: “Ноябрь 1918... Что представлял собой Париж в день подписания перемирия и на следующий день, представить себе невозможно, — это надо было видеть. Люди обнимались на улицах, все, — буржуа, рабочие, служащие, молодые, старые; это было какое-то всеобщее безумие, но безумие радостное... А в мае 1945, наоборот, Париж был смертельно печален. Таким я его увидел. Я вспоминаю об одном своем разговоре с Жюлем Руа, как раз в этот день. Он, как и я, был поражен царящим унынием, отсутствием надежды. Это была скорее победа союзников, но не Франции. Не было ничего похожего на восторг ноябрьских дней 1918 года” (*Aron, Raymond. Le Spectateur engagé, Julliard, 1981, p. 110*).  
О своего рода вызывающей печали, которой был отмечен Париж в это время, см. французские воспоминания английского писателя Малькольма Магриджа: *Muggeridge, Malcolm. Chronicles of Wasted Time. London, Collins, 1973, t. II, chap. 4, “The Victor’s Camp”*.
26. См.: *Bouton, Philippe. Les Lendemain qui déchantent. Le Parti communiste français à la Libération. Presses de la Fondation des sciences politiques, 1993.*
27. *Kriegel, Annie. Les Communistes français dans leur premier demi-siècle, 1920—1970. Le Seuil, 1985.*
28. Чтение программы Национального совета Сопротивления от 15 марта 1944 года ретроспективно показывает, до какой степени революционная риторика движения Сопротивления черпала весь свой запас идей из коммунистического источника. Во втором разделе этого документа, где перечисляются меры, которые необходимо принять на освобождаемых территориях, мы не находим ничего, кроме классических абстракций антифашизма, сопровождаемых требованием огосударствления экономики и социальной сферы. Там ничего не сказано о новой организации

- общественных учреждений, о чем было столько споров в начале 30-х годов и из-за чего произошел разрыв с де Голлем.
29. См.: *Judt, Tony. Past Imperfect. Franch Intellectuals 1944—1956.* University of California Press, 1992, p. 39—41. Trad.: *Le Passé imparfait. Les intellectuels de France 1944—1956.* Fayard, 1992.
  30. Лучшим комментарием к этой французской политической пустыне могут служить статьи Альбера Камю в “Комба” в 1944—1947 годах, вновь опубликованные в кн.: *Camus, Albert. Actuelles, Chroniques 1944—1948.* Gallimard, 1950.
  31. По мнению Филиппа Бютона (см.: *Buton, Philippe. Les Lendemain qui déchantent*, p. 251—256), заявления Мориса Тореза в 1946 году (“Успехи демократии во всем мире... позволяют рассматривать иные пути к социализму, чем те, которыми шли русские коммунисты.. Мы всегда думали... что народ Франции... сам найдет свой путь к более высокому уровню демократии, прогресса и социальной справедливости...”) ни в чем не изменили стратегическую цель коммунистов, то есть установление “народной демократии”.

## Глава одиннадцатая

1. 5 июня 1947 года генерал Джордж Маршалл, американский госсекретарь, предложил европейским странам, включая и Советский Союз, воспользоваться планом реконструкции и восстановления Европы. После Парижской конференции СССР отверг 12 июля это предложение, опасаясь американского контроля над экономикой подчиненных ему стран, что поставило бы под вопрос всю его стратегию в центральной и восточной Европе. Под советским нажимом Чехословакия и Польша, готовые принять план Маршалла, вынуждены были от него отказаться.
2. На конференции в Ялте (февраль 1945 года) СССР согласился с принципом “свободных и беспрепятственных выборов”, одновременно арестовав шестнадцать лидеров польского Сопротивления. 19 января 1947 года сфальсифицированные выборы обеспечили большинство коалиции, где господствовали коммунисты.
3. В Чехословакии коммунисты, контролировавшие профсоюзы и внедрившие своих агентов во все другие партии, с начала 1947 года приступили к систематическому подчинению себе аппарата полиции. 13 февраля 1948 года назначение восьми коммунистов на главные полицейские должности вызвало кризис внутри коалиционного правительства. После того как либе-

ральные министры, находившиеся в меньшинстве, подали в отставку, коммунисты провели митинги по всей стране с требованием чистки. 22 февраля словацкая компартия захватила власть в Братиславе. 23 февраля весьма своевременное раскрытие так называемого заговора социалистов-националистов позволило коммунистам захватить полный контроль над Национальным фронтом. На следующий день редакции газет и помещения либеральных партий были заняты полицией. 25 февраля президент Бенеш принял отставку либеральных министров и подчинился требованиям коммунистов, получивших отныне в свои руки неограниченную власть.

4. Роспуск Коминтерна в мае 1943 года не означал, что связь между компартиями и советской властью была прервана. Считая необходимым реорганизовать свою систему управления в Европе, советское руководство решает создать Бюро информации и связи, или Коминформ, что и было осуществлено во время международной конференции европейских компартий в Польше (22—27 сентября 1947 года). О создании Коминформа было объявлено 5 октября 1947 года.
5. Вехой на этом пути стала знаменитая речь Черчилля в Фултоне от 5 марта 1946 года, в которой было сказано о “железном занавесе”, разделившем Европу. Создание Коминформа и определение двух лагерей — империализма и социализма — относится к сентябрю 1947 года.
6. Этот вопрос подвергся пространному обсуждению в американской историографии начиная с середины 60-х годов, когда группа историков-“ревизионистов”, в контексте войны во Вьетнаме, выступила с переоценкой роли Соединенных Штатов в развязывании холодной войны. Эта роль, по их мнению, была одновременно объективной, связанной с экономической необходимостью, толкавшей к экспансии капитализм, которому не хватало рынков сбыта, — и субъективной, связанной с тем, что смерть Рузвельта открыла путь политическим группам, менее склонным идти на компромисс во имя поддержания сложившегося во время войны сотрудничества. Например, решение сбросить атомную бомбу на Хиросиму может интерпретироваться двояко: как средство поскорее закончить войну с Японией, или как, в первую очередь, предупреждение Сталину. Однако ущербность такой историографии состоит в том, что, одержимая желанием ревизовать старую точку зрения, она, например, забывает (в числе прочего!) об особом характере советского режима и его единственной в своем роде дипломатии. Разностороннюю информацию об обеих точках зрения см.: *Bernstein B. J. American Foreign Policy and the Origins of the Cold*

War; *Schlesinger Jr. A. Origins of the Cold War. — Bernstein B. J. and Matuson A. J. Twentieth Century America, Recent Interpretations. Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972, p. 344—394 et p. 409—435. См. также: Gassis J. L. The Tragedy of Cold War History, Reflections on Revisionism. — Foreign Affairs, janvier-fevrier 1994.*

7. В своей речи 12 марта 1947 года на заседании Конгресса, где должны были утверждаться военные займы Греции и Турции, американский президент выдвинул “доктрину” о необходимости помощи правительствам и народам, которые борются против коммунизма за сохранение своих “свободных институтов”. У этой доктрины было две стороны: одна — обращенная вовне, главным образом к Европе, другая — для внутреннего употребления.
8. Франция получила по договору в Потсдаме одну из оккупационных зон. Французская военная администрация отличалась от американцев и англичан тем, что проявляла особое нежелание способствовать возрождению немецких политических органов управления.
9. Что касается “забывчивости” восточногерманской компартии в отношении еврейского геноцида, то весьма характерна судьба, постигшая одного из ее руководителей, Пауля Меркера, немного позже, в 1951 году. Меркер был старым коминтерновцем, прошел через изгнание во Франции, через лагерь в Верне, чтобы оказаться наконец в Мехико в 1942 году. В Берлине в 1946 году он стал одним из двух лидеров восточногерманской компартии, которые не находились в СССР во время войны (вторым был Франц Дален). Не будучи евреем, он в то же время был единственным, кто подчеркивал центральное место, занимаемое антисемитизмом в нацизме (ересь, с точки зрения классового подхода), а также особо зверский характер истребления евреев, — тогда как официальная пропаганда выдвигала на первое место “рабочий класс” в качестве главной жертвы нацизма. В 1948 году Меркер написал статью, в которой приветствовал создание государства Израиль. В августе 1950 года он был исключен из центрального комитета Коммунистической партии Германии по подозрению в контактах с “американским агентом” Ноэлем Филдом: такое обвинение затем станет одним из основных на процессе Сланского в Праге в ноябре 1952 года. И действительно, Меркер был арестован сразу же вслед за этим процессом как сообщник американского империализма и международного сионизма. Закрытым судом он был осужден на восемь лет тюремного заключения. Освобожденный в январе 1956 года, он будет тщетно добиваться реабилитации

- вплоть до своей смерти в 1969 году. См.: *Herf, Jeffrey*. East German Communists and the Jewish Question. — *Journal of Contemporary History*, vol. 29, № 4, octobre 1994. См. также о еврейском вопросе в Польше: *Szurek, Jean-Charles*. Le camp-musée d'Auschwitz. A l'Est la mémoire retrouvée. La Découverte, 1990.
10. В конце 1945 года четыре партии получили от военных властей разрешение на деятельность в четырех оккупационных зонах: коммунисты, социалисты, плюс две “буржуазные” партии — Христианско-демократический союз и Либерально-демократическая партия. Две последние были чрезвычайно слабы в советской зоне, где доминировали две “рабочие” партии. См.: *Nettl J. P.* The Eastern Zone and Soviet Policy in Germany 1945—1950. Oxford University Press, 1951.
  11. См.: *Hirschman, Albert O.* Exit, Voice and the Fate of the German Democratic Republic: An Essay in Conceptual History. — *World Politics*, vol. XLV, janvier 1993.
  12. См.: *Nettl J. P.* Op. cit., chap. 4, p. 107.
  13. Секретарь Центрального Комитета Андрей Жданов (1896—1948) стал преемником С. Кирова в Ленинграде. Выдвинутый на роль теоретика социалистического реализма, он выступил с докладом на Съезде советских писателей (август 1934), утверждая необходимость мобилизовать литературу и искусство на обслуживание режима. Непримирымый сталинист, он стал членом Политбюро в 1939 году. Во время войны руководил обороной Ленинграда. В марте 1946 стал третьим секретарем партии и возглавил развернутую кампанию за проведение “идеологической линии” партии в области литературы и искусства, устроив травлю Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Дмитрия Шостаковича в качестве подготовки к новой волне репрессий. В сентябре 1947 года Сталин направил его в Польшу для руководства созданием Коминформа.
  14. См.: *Real, Eugenio*. Avec Jacques Duclos au banc des accusés, à la réunion constitutive du Kominform à Szklarska Porba (22—27 septembre 1947). Trad. de l'italien par Pierre Bonuzzi. Plon, 1958. Эужению Реаль был одним из двух руководителей итальянской компартии, присутствовавших на учредительном собрании Коминформа. В следующем, 1948, году он вышел из руководства ИКП, в 1952 — из ее центрального комитета; враждебный Толлятти и линии на подчинение партии Советскому Союзу, он был исключен из нее 31 декабря 1956 года.
  15. Я говорю здесь о двух или трех годах, последовавших сразу за осуждением.
  16. *Fejtő F.* Histoire des démocraties populaires, t. I, p. 265. Министр иностранных дел Венгрии, ранее бывший, вплоть до осени

- 1948 года, министром внутренних дел, Райк был арестован в мае 1949 года; в сентябре его судили, приговорили к смертной казни и расстреляли. См.: *Fejtő F. L'affaire Rajk quarante ans plus tard. — Vingtième Siècle, janvier-mars 1990; Stéphane, Roger. Rue Laszlo-Rajk: une tragédie hongroise. Odile Jacobe, 1991.*
17. См.: *Getty, Arceh Rittersporn, Gabor T. et Zemskov, Victor N. Les victimes de la répression pénale dans l'URSS d'avant-guerre. Revue d'études slaves, tome 65, fascicule 4, p. 631—670; Werth, Nicolas. Goulag: les chiffres? — L'Histoire, septembre 1993.*
  18. Взятие власти коммунистами в центральной и восточной Европе происходило по более или менее одинаковой схеме: опираясь на силу Красной Армии, коммунисты создавали коалиции, из которых одного за другим устраняли своих противников. В октябре 1944 года Красная Армия вступила на территорию Югославии; 11 ноября 1945 года к власти пришел Национальный фронт, а 29 ноября следующего года была провозглашена республика. В Болгарии коалиционное правительство было заменено правительством “Отечественного фронта” под председательством коминтерновца Георгия Димитрова; 15 сентября 1946 года была провозглашена Народная республика. В Румынии 27 февраля 1945 года Андрей Вышинский навязал стране правительство, сформированное из партий Национально-демократического фронта, который получил поддержку на выборах 19 ноября 1946 года; король Михай отрекся 30 декабря 1947 года. В Венгрии Объединение левых сил выиграло выборы в августе 1947 года (60% поданных голосов), затем в 1949 году (95,6%!). 20 августа 1949 в стране была провозглашена Народная республика.
  19. Я имею в виду, например, исключение Гомулки из ЦК польской компартии и его тюремное заключение в 1949—1950 годах; или дело Клементиса, чехословацкого министра иностранных дел, которого постигла в те же годы аналогичная судьба; или процесс Сланского в Праге в ноябре 1952 года; или устранение Анны Паукер в Румынии в тот же период.
  20. Также особняком стоит дело болгарина Костова, старого коминтерновца; судимый за “измену” в декабре 1949 года в Софии, он отказался на суде от своих показаний и отверг выдвинутые против него обвинения.
  21. Процесс Сланского происходил в Праге с 20 по 27 ноября 1952 года. Рудольф Сланский, бывший генеральный секретарь чешской компартии, арестованный годом раньше, был предан суду как главарь антигосударственного заговора. Из четырнадцати обвиняемых одиннадцать были евреями и именно как таковые фигурировали в обвинительном заключении, где заговор

- “международного сионизма” играл центральную роль. Сланский был приговорен к смерти и повешен вместе с десятью обвиняемыми. Трое остальных были приговорены к пожизненному заключению. Двое из них написали историю процесса: *London, Artur. L'Aveu. Dans l'engrenage du procès de Prague.* Gallimard, coll. Témoins, 1968; *Loebl, Eugen. Stalinism in Prague. The Loebl Story.* New York, Grove Presse, 1969; et *Le Procès de l' Aveu. Prague 1952,* Paris, Editions France-Empire, 1977.
22. Момент, когда Черчилль понял, что Сталин обыграл его в польском вопросе, можно отнести к периоду между его встречей с советским вождем в Москве в начале октября 1944 и совещанием в Ялте в феврале 1945 года. См.: *Douglas R. From War to Cold War.* St. Martin's Press, New York, 1981, chap. 4—7, p. 37—82.
23. Результаты английских парламентских выборов, состоявшихся 5 июля 1945 года, стали известны только три недели спустя, когда Черчилль уже находился на конференции в Потсдаме.
24. *Blum, Leon. A l'échelle humaine.* Gallimard, 1945 (citation p. 105); rééd. coll. Idées.
25. После того как на заводах Рено была развязана стачка троцкистскими активистами, министры-коммунисты решили потребовать прекращения блокирования зарплат и цен. 2 мая 1947 года Поль Рамадье поставил перед Национальным собранием вопрос о доверии правительству. 4 мая Национальное собрание утвердило повестку дня, отвечавшую пожеланиям правительства, но коммунисты проголосовали против. Чтобы избежать коллективной отставки правительства, Рамадье в тот же вечер попросил министров-коммунистов подать в отставку.
26. См.: *Verdès-Leroux, Jeannine. Au service du Parti. Le Parti communiste, les intellectuels et la culture (1944—1956).* Fayard-Minuit, 1983; *Caute, David. The Fellow-Travelers.* London, Weidenfeld & Nicolson, 1973; trad.: *Les Compagnons de route, 1917—1968,* Robert Laffont, 1979; *Rigoulot, Pierre. Les Paupières lourdes. Les Français face au Goulag: aveuglements et indignations, préface de Jean-François Revel, Editions universitaires, 1991; Judt, Tony. Past Imperfect, Franch Intellectuals, 1944—1956.* University of California Press, 1992; trad.: *Le Passé imparfait, op. cit.; Dioujeva, Natacha et George, Francois. Staline à Paris.* Ramsay, 1982.  
Из всех работ на эту тему, книга Р. Арона “L'Opium des intellectuels” (Calmann-Lévy, 1955) остается наиболее фундаментальной.
27. См.: *Aron, Raymond. Mémoires,* p. 182—188. В 1943 году Р. Арон опубликовал в “Ля Франс либр” статью, озаглавленную “Тень Бонапартов”, в которой предостерегал против возрождения

- “народного цезаризма”, способного соблазнить генерала де Голля. Раймон Арон прокомментировал смысл этой статьи в своих “Мемуарах” (р. 184—186). См. также: *Raymond Aron. 1905—1983, Histoire et politique. — Commentaire, Julliard, 1985, p. 359—368.*
28. См.: *Lacouture, Jean. André Malraux. Une vie dans le siècle, chap. 38, p. 320—326.* В августе 1945 года Мальро встретил генерала де Голля и примкнул к руководителю Свободной Франции. В 1947 он стал уполномоченным по пропаганде французского Национального собрания.
  29. *Paraioannou K. L'Idéologie froide. J.-J. Pauvert éditeur, coll. Libertés, 1967.*
  30. Я, конечно, имею в виду знаменитый процесс, выигранный Виктором Кравченко у “Леттр франсез” (с 24 января по 4 апреля 1949 года). См.: *Malaurie, Guillaume. L’Affaire Kravchenko. Paris, 1949, le Goulag au correctionnelle. Robert Laffont, 1982.*
  31. *Judt, Tony. The Past is Another Country: Myth and Memory in Post-War Europe. — Daedalus, vol. CXXI, № 4, automne 1992.*
  32. См.: *Adler L. K. and Paterson T. G. Red Fascism: the Merger of Nazi Germany and Soviet Russia in the American Image of Totalitarianism, 1930’s—1950’s. — American Historical Review, art. cite, p. 1046—1049.*
  33. Письмо Ж. Дюкло появилось ежемесячном журнале ФКП “Кайе дю коммюнизм” в апреле 1945 года.
  34. Я занимаюсь здесь аргументацию из работы: *Howe I., Coser L. The American Communist Party. A Critical History. Frederick A. Praeger, New York, 1962, p. 442.* Аналогичное объяснение раннего перехода американской компартии на позиции холодной войны см.: *Schlesinger Jr., Arthur. Origins of the Cold War, p. 426—427.*
  35. *Macdonald, Dwight. Memories of a Revolutinist. Essays in Political Criticism. Farrar, Straus and Cudaly, New York, 1957, p. 202: “Что такое тоталитарный либерализм?”* (повторная публикация статьи, первоначально опубликованной в августе 1945 в журнале Д. Макдональда *Politics*).
  36. Ему принадлежит следующее высказывание, сделанное накануне путешествия по азиатской части Советского Союза, предпринятого им в качестве вице-президента весной 1944 года: “Я испытываю огромную надежду, отправляясь для ознакомления с сибирским опытом... Более сорока миллионов человек живут там теперь, вместо семи миллионов — в основном ссыльных, — влачивших там жалкое существование при царизме. Так что недоброжелатели России должны умолкнуть, глядя на сегодняшнюю советскую Сибирь... Я собираюсь посетить города.

- Я почувствую величие, неотделимое от разумного воздействия человека на природу”. Цит. по: *Macdonald D. Henry Wallace. The Man and the Myth. The Vanguard Press, New York, 1948, p. 103.*
37. См.: *Gaute D. The Great Fear — The Anti-Communist Purge under Truman and Eisenhower. Simon and Shuster, New York, 1978; Fried R. M. Nightmare in Red. The McCarthy Era in Perspective. Oxford University Press, 1990.*
  38. Одним из наиболее знаменитых эпизодов американского “нейтивизма” (от англ. *native* — “родной”, а также “уроженец”, “местный житель”. — *Прим. пер.*) явилось в 1820 — 1830-х годах широкое движение общественного мнения, вдохновителем которого были “евангелические” общества; это движение было направлено против иммиграции католиков, его стержневой идеей была идея угрозы папизма, якобы ставившего своей целью подчинить себе Соединенные Штаты путем инфильтрации.
  39. *Hofstader, Richard. Anti-Intellectualism in American Life. Knopf, 1963.*
  40. Я ввожу это ограничение постольку, поскольку такое обоснование террора свойственно скорее историкам революции, чем самим революционерам. См.: *Ozouf M. Guerre et Terreur dans le discours révolutionnaire, 1792—1794. — L’Ecole de la France, essais sur la Révolution, l’utopie, l’enseignement. Gallimard, 1984.*
  41. Вопрос “Who lost China?” (“Кто потерял Китай?”) фигурировал в качестве одного из главных обвинений в кампании сенатора Маккарти против “внутренних предателей”.
  42. Специальная комиссия Палаты представителей (“House Committee on unamerican activities”), создание которой относится к 1938 году, но активность которой была особенно высока в годы маккартизма.
  43. Влияние Маккарти на американские политические круги, и даже внутри республиканской партии, стало падать с начала 1954 года. Его методы запугивания были осуждены Сенатом в специальном решении от 2 декабря 1954 года.
  44. Например, Альберта Эйнштейна, Чарли Чаплина, Поля Робсона, Леонарда Бернстайна. См.: *Coleman P. The Liberal Conspiracy. The Congress for Cultural Freedom and the Struggle for the Mind of Post-War Europe. The Free Press, New York, 1989; Shils E. Remembering the Congress for Cultural Freedom. — Encounter, september 1990; Hook S. Out of Step. Harper and Row, New York, 1987, chap. 26 et 27.*
  45. Самым известным из этих мероприятий был первый Международный конгресс писателей в защиту культуры, прошедший в Париже в 1935 году.
  46. В сентябре 1948 года состоялся во Вроцлаве (бывший Бреслау,

- в польской Силезии) многочисленный Конгресс в защиту мира; за ним последовал второй такой же конгресс в Париже, в апреле 1949 года. В промежутке, в марте, произошло вышеупомянутое мероприятие в Нью-Йорке.
47. Секондо Транкуилли (1900—1978), известный под именем Иньяцио Силоне, был секретарем профсоюза сельскохозяйственных рабочих провинции Абруцци и противником войны. В Риме он стал секретарем Союза социалистической молодежи (1919), затем участвовал в создании Итальянской коммунистической партии (1921). Исключенный из компартии в 1931 году, он нашел убежище в Швейцарии, где написал свой первый роман “Фонтамара”, пользовавшийся успехом. В 1938 году он опубликовал “Школу диктаторов”. В 1940 году вступил в итальянскую социалистическую партию. Интернированный в Швейцарии в 1942 году, он в 1944 вернулся в Италию, где стал одним из руководителей ИСП. Он сотрудничал во многих журналах (“Прёв”, “Темуэн”), в 1955 основал “Темпо презенте”; автор различных эссе, в которых обобщил свой политический опыт: “Запасный выход”, “Фашизм”.
48. Франц Боркенау (1900—1957) был коммунистом до 1929 года, затем работал в Институте социальных исследований во Франкфурте. Он эмигрировал в Лондон, затем, после пребывания в Панаме, приехал в Испанию в начале гражданской войны. В 1937 опубликовал “Испанскую арену борьбы” (The Spanish Cockpit. Faber & Faber). Многие его работы имели отношение к коммунизму: *European Communism* (Faber & Faber, 1953), *World Communist, a History of the Communist International*, préfacé par R. Aron (Ann Arbor. The University Michigan Press, 1962).
49. Ирвинг Браун был близок к Джею Лавстоуну, выдающемуся деятелю американского коммунизма 20-х годов, потом он возглавлял группу диссидентов, чтобы превратиться затем в воинствующего антисталиниста.
50. Финансирование Конгресса за свободу культуры производилось ЦРУ через посредство других организаций, — о чем было сообщено в серии статей, опубликованных в “Нью-Йорк Таймс” в апреле 1966 года. Эта запоздалая сенсация, подтвердившая давние обвинения коммунистов, привела к роспуску Конгресса в сентябре 1967 года. Его заменила Международная ассоциация в защиту свободы культуры, которая просуществовала до 1979 года, но так и не смогла возобновить потерянный кредит доверия. См.: *Coleman P. Op. cit.*, chap. 14, 15.
51. Именно так характеризует ее Вальтер Беньямин в своей книге: *Men in Dark Times*. Harcourt, Brace and World, 1968, p. 193—206. Однако эти черты подходят и к нему самому.

52. См.: *Young-Bruehl E., Arendt H. For Love of the World*. Yale University Press, New Haven and London, 1982 (chap. 2 “The Shadows”).
53. Ничто не подтверждает это лучше, чем ее длительная переписка с Ясперсом после войны. См.: *Arendt H. and Jaspers K. Correspondance 1926—1969*. Harvest Book, New York, 1993.
54. Интервью Х. Арендт Гюнтеру Гаусу от 28 октября 1963. Цит. по: *Young-Bruehl E. Op. cit.*, chap. 5, p. 184—185.
55. Как мы видели выше (глава 6), этот вопрос ставился в европейской политической мысли, особенно в Германии и во Франции, уже начиная с 30-х годов. Но ставился он и в американской политологии, еще до войны. Достаточно указать на университетский коллоквиум на тему “Тоталитарное государство”, проводившийся в 1940 году Американским философским обществом. Большинство выступлений было на превосходном уровне, и в них уже были предвосхищены многие идеи, которые затем чаще всего приписывались Францу Нейману и Ханне Арендт, в то время как имена выступавших были забыты потомками. Последнее сообщение вышеназванного коллоквиума принадлежало профессору Колумбийского университета Карлтону Хейесу (J. H. Carlton Heyses) и называлось “О новизне тоталитаризма в истории Запада”. Оно включало в себя рассмотрение гитлеровской Германии и сталинского СССР. В книгах Арендт я нигде не нашел ссылки на эту публикацию, и неизвестно, читала ли она ее. См.: *Proceedings of the American Philosophical Society*, vol. LXXXII, Philadelphie, 1940, p. 1—103, “Symposium on the Totalitarian State”.
- В том же плане идей, см. работу: *Borkenau, Frank. The Totalitarian Enemy*. Faber and Faber, London, 1940. Предисловие к этой книге, датированное 1 декабря 1939 года, отмечает, что сравнение между нацизмом и коммунизмом стало необходимым после германо-советского пакта. Некоторые элементы анализа Боркенау (например, моральный нигилизм обеих систем, роль разрушения социальных классов) мы находим у Арендт. См.: *Stokheim, Robert A. Totalitarianism and American Social Thought*. Holt, Rienhart and Winston, 1971.
56. *Neumann F. Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism, 1933—1944*. Oxford University Press, 1942, rééd. 1944. Франц. пер.: *Behemoth. Structure et pratique du national-socialisme, 1933—1944*. Payot, 1987, coll. “Critique de la politique”.
57. *Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism*. New York, Harcourt, Brace, 1951. За этим изданием последовало несколько других, в 1956, 1966, 1968, 1973 годах, как правило, снабженных новыми предисловиями. Во Франции труд Арендт будет опу-

- ликован с опозданием и по частям: *Le Systeme totalitaire*. Le Seuil, 1972; *Sur l'antisémitisme*. Calmann-Lévy, coll. Diaspora, 1973; *L'Impérialisme*. Fayard, 1982. См. также: *Arendt, Hannah*. *La Nature du totalitarisme*. Payot, Bibliotheque philosophique, 1990.
58. Об этом можно заключить из переписки Ханны Арендт с Карлом Ясперсом, где она часто упоминает о работе над рукописью.
59. См.: *Enegren, André*. *La Pensée politique de Hannah Arendt*. P.U.F., 1984, а также: *Hannah Arendt, 1906—1975, Les Origines du totalitarisme*, 1951. — *Dictionnaire des oeuvres politiques*. Ed. François Chatelet, Olivier Duhamel, Eveline Pisier, P.U.F., 1986.
60. *Roussel D*. *L'Univers concentrationnaire*. Le Pavois, 1946; rééd. U.G.E., 1971; *Les Jours de notre mort*. Le Pavois, 1947, coll. *Le Chemin de la Vie*; rééd. U.G.E., 1974.
61. *Kogon E*. *Der SS Staat, Das System der deutschen Kozentrationlager*. Francfort, 1946. Амер. перевод Фарафа Штрауса, Нью-Йорк, 1950: *The Theory and Practice of Hell; The German Concentration Camps and the System behind them*; франц. пер.: *L'Enfer organisé, La Jeune Parque*, 1947; rééd.: *L'Etat SS*. Le Seuil, 1970.
62. *The Dark Side of the Moon*. Préface de T.S.Elliott, New York, 1947.
63. Хотя эта идея уже содержится в издании 1951 года “Истоков...”, наиболее точный анализ “идеологического” характера тоталитарных режимов был дан Арендт два года спустя в *Review of Politics*, в июльском номере 1953 года, под заглавием: “*Ideology and Terror. A Novel Form of Government*” (“Идеология и террор. Новая форма правления”). Этот текст, первоначально представленный в виде доклада в университете Нотр-Дам, составил тринадцатую и последнюю главу в переиздании “Истоков...” 1958 года. См.: *Young-Bruehl*. *Op. cit.*, chap. 6, p. 251.
64. Первая в Европе углубленная дискуссия по книге Ханны Арендт прошла под председательством Раймона Арона: “Сущность тоталитаризма”, *Critique*, 1954 (исследование в основной своей части было воспроизведено в кн.: *Raymond Aron. Histoire et politique*. — *Commentaire*, p. 416—425). Раймону Арону предстояло вернуться к этому вопросу в своих лекциях в Сорбонне, опубликованных под названием: *Démocratie et Totalitarisme*. Gallimard, 1965. Он допускает сходство двух режимов, гитлеровского и сталинского, но не соглашается с тем, что они едины по своей природе, поскольку различаются по этической направленности.

О том, в чем расходятся Ханна Арендт и Раймон Арон в области эпистемологии исторического знания, см.: *Ferry, Luc*. *Stalinisme et historicisme. La critique du totalitarisme stalinien chez Hannah Arendt et Raymond Aron*. — *Les Interprétations du stalin-*

- isme. Ed. Evelyne Pisier-Kouchner, P.U.F., 1983, p. 226—255. О приеме, оказанном на Западе понятию “тоталитаризм”, см.: *Hassner, Pierre*. Le totalitarisme vu de l'Ouest. — Totalitarismes. Ed. Guy Hermet, Economica, 1984.
65. Для Гуриана, как и для Эрика Фёгелина (Voegelin), другого немецкого философа-эмигранта, тоталитаризм является скорее следствием современного атеизма, чем продуктом общественно-политического процесса. См. дискуссию между Арендт и Фёгелином в журнале Гуриана *The Review of Politics*, 1952, XV. Что касается позиции Гуриана, см. его выступление на коллоквиуме о тоталитаризме, организованном в марте 1953 года в Бостоне, “Тоталитаризм как политическая религия”, в работе: *Friedrich C. J.* (ed.) *Totalitarianism*. Harvard University Press, 1954, p. 119—129.
66. Особенно в Гарварде.
67. *Friedrich C. J.* (ed.), *Totalitarianism. Proceedings of a Conference Held at American Academy of Art and Sciences, mars 1953*. Harvard University Press, 1954. Карл Ж. Фридрих (1901—1984) родился в Германии, эмигрировал в Соединенные Штаты в 1922 году, где натурализовался в 1938. Профессор политологии в Гарварде; после войны под его руководством велась исследования о нацистской Германии и о тоталитаризме.
68. *Ibid.*, p. 60.
69. Самое яркое исключение на фоне всеобщего конформизма — это, конечно, Раймон Арон. Философ, задумавшийся над пределами исторического понимания, он был также политическим писателем, обладавшим самым широким аналитическим взглядом на современную эпоху. См.: *Bevezet, Nicolas*. Raymond Aron, op. cit.

## Глава двенадцатая

1. *Abellio, Raymond*. La Fosse de Babel. Gallimard, 1962, p. 15, rééd. coll. L'Imaginaire.
2. В октябре 1952 года на XIX съезде КПСС, первом после 1939 года, он произнес лишь краткое слово.
3. См.: *Alliluyeva, Svetlana*. Twenty Letters to a Friend. London, 1967; франц. пер.: *Vingt lettres à un ami*. Le Seuil-Paris-Match, 1967.
4. *Marie, Jean-Jacques*. Les Derniers Complots de Staline. L'affaire des blouses blanches, Bruxelles, Complexe, 1993. Так называемый заговор “убийц в белых халатах” был сфабрикован министром госбезопасности, и Сталин сам внимательно следил за ходом дела. Девять выдающихся советских врачей — из них шесть евреев, — лечивших самых главных руководителей государства, были арестованы по обвинению в том, что составили заговор с

целью убить тех, кто был вверен их медицинскому попечению. Под пытками они сознались во всем, в том числе и в убийстве Жданова в 1948 году. О раскрытии “заговора” было объявлено 13 января 1953 года, и тут же началась антисемитская кампания, которой Сталин, если бы остался жив, вероятно, намеревался придать широкий размах. Врачи были освобождены и оправданы месяц спустя после его смерти.

5. Руководители демократических стран хвалили покойного диктатора за победу над нацизмом. Так, Эдуард Эррио заявил с трибуны Национального собрания: “Мы не можем забыть о той роли, которую Сталин сыграл в окончании войны и в подготовке победы. Мы отдаем себе в этом отчет, глядя на руины Сталинграда или изучая битву под Москвой [которая на самом деле была выиграна генералом Жуковым. — Ф. Ф.], где военный гений Сталина проявился со всей очевидностью”. Кэ д’Орсэ сделало заявление, приписывавшее Сталину удивительную умеренность во внешней политике: “Если советское правительство и несет ответственность за ряд шагов, представляющих опасность для мира, нельзя упускать из вида, что Сталин, по-видимому, желал ограничить их значение, когда они грозили привести к непоправимым последствиям”.
6. 14 марта Маленков оставил свои обязанности секретаря Центрального Комитета партии, чтобы стать председателем Совета Министров; к Хрущеву перешло руководство секретариатом Центрального Комитета, а в сентябре он официально стал первым секретарем.
7. См.: *Heller M. et Nekrich A. L’Utopie au pouvoir, chap. 9, p. 375—426* (“Сумерки сталинской эры”).
8. См.: *Baczko, Bronislaw. Comment sortir de la Terreur: Thermidor et la Révolution. Flammarion, 1989.*
9. См.: *Knigh, Amy. Beria, Staline’s Ferst Lieutenant. Princeton University Press, 1993; франц. пер.: Beria, premier lieutenant de Staline. Aubier, 1994.*
10. Самым значительным из бунтов, потрясших ГУЛаг, был бунт в лагерях при медных рудниках в Кингире, весной 1954 года. О нем рассказал Солженицын в “Архипелаге Гулаг”, т. III, гл. 12: “Сорок дней Кингира”.
11. Например: *Pipes, Richard. The Formation of the Soviet Russia. Cambridge, Harvard University Press, 1954; Fainsod, Merle. How Russia is Ruled. Cambridge, Harvard University Press, 1953; исправленные и расширенные издания в 1963 и 1979 годах; франц. пер.: Comment l’U.R.S.S. est gouvernée, Editions de Paris, 1957. Smolensk under Soviet Rule. Cambridge, Harvard University Press, 1958; франц. пер.: Smolensk à l’heure de Staline. Fayard,*

- 1967; *Schapiro, Leonard*. The Origins of the Communist Autocracy. Harvard University Press, 1954.
12. В ночь с 24 на 25 февраля 1956 года Никита Хрущев зачитал свой доклад о преступлениях Сталина. Текст документа был передан секретарям иностранных делегаций, присутствовавших на XX съезде. 16 марта “Нью-Йорк Таймс” дала первую информацию по этому поводу. 4 июня текст доклада был опубликован американским госдепартаментом, получившим его из Польши, где коммунисты распространяли его очень широко. 6 июня американская компартия подтвердила подлинность доклада. Тольятти, наоборот, назвал его (в частном разговоре) “пустой болтовней”; Торез и ФКП придерживались формулировки “доклад, приписываемый товарищу Хрущеву”, и защищали “дело Сталина”. Существование доклада было, однако, косвенно подтверждено самим отчетом о XX съезде КПСС, где упоминалось о закрытом заседании в достопамятную февральскую ночь. В коммунистических странах первыми решились его полностью опубликовать польские коммунисты (в газете “Политика”, 27 июля 1953). См.: *Lazitch, Branko*. Le Rapport Khrouchtchev et son histoire. Le Seuil, 1976.
  13. *Krouchtchev N.* Souvenirs. Introd., commentaires et notes de E. Crankshaw. Rodert Laffont, 1970.
  14. Я следую здесь за “Воспоминаниями” Хрущева, гл. 9.
  15. Я заимствую это наблюдение из книги: *Malia, Martin*. The Soviet Tragedy. The Free Press, 1994, chap. 9, p. 319—320.
  16. *Krouchtchev N.* Rapport... — In: Rossi A. Autopsie du stalinisme. Postface de Denis de Rougemont, éd. P. Horay, 1957, p. 128.
  17. В ответ на интервью Тольятти, помещенное в итальянском журнале “Нуови Аргументи” 20 июня 1956 года и выдвигавшее идею “полицентрализма” в коммунистическом движении, был опубликован (в “Правде” от 30 июня) призыв к тому, чтобы, наоборот, усилить идеологическое единство мирового коммунизма. В этой же статье Тольятти упрекался за то, что указал на “вырождение советского общества” как на одну из причин “культы личности”.
  18. Они будут “реабилитированы” в коммюнике от 19 февраля 1956 года, опубликованном одновременно в Москве и Варшаве.
  19. По поводу событий 1956 года в Польше и Венгрии можно обратиться к следующим изданиям: Varsovie-Budapest. La deuxième révolution d’Octobre (sous la direction de Pierre Kende et de Krzysztof Pomian). Le Seuil, 1978; *Broué Pierre, Marie Jean-Jacques, Nagy Bela*. Pologne-Hongrie 1956. E.D.I., 1966; rééd. 1980. О Венгрии: *Fejtő, François*. 1956, Budapest, l’insurrection.

- Bruxelles, Complexe, 1981; *Molnar, Miklos*. Victoire d'une défaite, Budapest, 1956. Fayard, 1968; La Révolte de la Hongrie d'après les émissions des radios hongroise octobre-novembre 1956. P. Horay, 1957; La Révolution hongroise. Histoire du soulèvement d'Octobre (précédée de "Une révolution antitotalitaire" par R. Aron). Plon, 1957; La révolte de Hongrie. — *Les Temps modernes*, janvier 1957. О Польше: Babeau, Andre. Les Conseils ouvriers en Pologne. Armand Colin, 1960; Le socialisme polonais. — *Les Temps modernes*, février-mars 1957; *Pomian, Krzysztof*. Pologne: défi à l'impossible? Editions ouvrières, 1982; *Toranska, Terera*. Oni. Des Staliniens polonais s'expliquent. Flammarion, 1986.
20. Кружок Петефи (названный так в честь Шандора Петефи (1823—1849), поэта, который в 1848 году призывал венгерскую молодежь к борьбе за независимость) объединял писателей и журналистов. Он сыграл большую роль в недели перед восстанием 23 октября в Будапеште, произошедшим под влиянием польских событий.
21. Начавшаяся 2 октября 1956 года, венгерская революция достигла кульминации 22 октября, когда манифестанты потребовали, чтобы было создано правительство во главе с Имре Надем, каковое и было сформировано на следующий день. С 25-го начались столкновения между советскими войсками и "борцами за свободу" — спонтанно сформированными отрядами национальной гвардии. 28-го правительство объявило о прекращении огня, а советские войска были отведены за пределы Будапешта. 30-го Президиум КПСС принял резолюцию о вооруженном подавлении восстания. 1 ноября три тысячи советских танков вторглись в Венгрию. Надь пытался вести переговоры, но 3-го командующий венгерскими силами генерал Малетер был похищен. 4-го Будапешт был подвергнут артиллерийскому обстрелу. Сопrotивление было сломлено за три дня, но в провинции оно продолжалось до 14 ноября. В результате репрессий тысячи людей были убиты, тысячи арестованы; двести тысяч венгров эмигрировали.
22. Укрывшийся в югославском посольстве 4 ноября вместе с несколькими товарищами, в числе которых был Лукач, Надь согласился выйти из своего убежища в обмен на данную ему Кадаром гарантию безопасности. Его машина была перехвачена советскими офицерами.
23. *Lefort C*. Le totalitarisme sans Staline. — *Socialisme ou Barbarie*, № 14, juillet-septembre 1956. Эта статья была повторно опубликована в: *Eléments d'une critique de la bureaucratie*. Gallimard, coll. Tel, 1979, p. 155—235. Цитата на с. 168. Отметим, по контрасту с этими строками Лефора, почти клерикальную осто-

рожность Сартра, так комментировавшего доклад Хрущева на следующий день после венгерской катастрофы: “Да, надо было понять, чего хочешь, как далеко готов зайти в проведении реформ, не трубить об этом заранее, но осуществлять их постепенно. С этой точки зрения, самой грубой ошибкой был, по всей вероятности, доклад Хрущева, ибо, по моему мнению, публичное и торжественное разоблачение, с подробным перечислением всех преступлений, священного персонажа, так долго воплощавшего собой режим, является безумием, если подобная откровенность не подготовлена предварительным и значительным повышением уровня жизни населения [...]. В результате истина была раскрыта перед массами, которые были не готовы ее воспринять. Когда мы видим, насколько здесь, во Франции, доклад потряс коммунистов, интеллектуалов и рабочих, мы можем себе представить, насколько неподготовленны были, например, венгры к тому, чтобы понять этот ужасный рассказ о преступлениях и ошибках, сделанный без объяснения, без исторического анализа, без необходимых предосторожностей...” — *L'Express*, 9 novembre 1956 (cité par Lazitch, Branko. *Le Rapport Khrouchtchev et son histoire*. Le Seuil, 1976).

24. В декларации, подписанной совместно Хрущевым и Тито 20 июня 1956 года во время визита югославского руководителя в Москву, говорилось о самостоятельном выборе каждой социалистической страной путей развития и о необходимости соблюдения равенства при обмене мнениями между ними.
25. 28 июня произошли волнения рабочих в Познани, которые польской армии удалось подавить, но в результате требования повышения зарплаты перешли в антисоветские лозунги.
26. *Fejtő F. Op. cit., t. II, chap. 6, p. 143.*
27. Эта идея обсуждалась в книге: *Fejtő F. Histoire des démocraties populaires, t. 2, chap. 5, p. 127.*
28. Тито и его сторонники, руководившие Антифашистским комитетом национального освобождения, избежали уничтожения благодаря капитуляции Италии в сентябре 1943 года. Осенью они получили поддержку от англичан, которые предпочли их монархисту Милановичу и его четникам, занимавшим примирительную позицию по отношению к немцам и итальянцам. В каждой освобожденной коммуне создавался для административных функций народный комитет, а каждый регион управлялся антифашистским советом, контролируемым коммунистами. Эта структура была продублирована политкомиссарами, которые осуществляли связь между освободительной армией и гражданскими властями. Тито стал хозяином страны с приходом Красной Армии, которая помогла партизанам взять Белград 20

- октября 1944 года. Война продолжалась вплоть до мая 1945, причем освободительная армия устроила резню в Словении, где укрылись усташаи.
29. Милован Джилас подчеркивал в 1953 году противоречие между идеей самоуправления предприятий и административных единиц — и существованием единственной партии, подчиненной ленинской дисциплине. См.: *Djilas, Milovan. Anatomy of a Moral.* New York, 1959.
  30. Эдуард Кардель, вице-президент Югославии, подчеркивал значение “рабочих советов”, родившихся в ходе венгерской революции, видя в них лучший политический инструмент социалистического общества.
  31. См.: *Lazar, Marc. Maisons rouges. Les partis communistes français et italien de la Libération à nos jours.* Aubier, 1992.
  32. *Shannon, David A. The Decline of American Communism. A History of the C.P. of the United States since 1945.* Harcourt, Brace, 1959.
  33. Первоначально это была советская идея, выдвинутая XX съездом. Но между февралем и июнем 1956 года Хрущев от нее отказался.
  34. *Lazar, Marc. Op. cit., chap. 3, p. 101.*
  35. См.: *Grossman, Vassili. La Route.* Nouvelles. Julliard-L'Age d'homme, 1987, p. 11—26. (См.: *Гроссман Вас.* Повести, рассказы, очерки. — М., Воениздат, 1958, с. 88—104. — *Прим. пер.*).
  36. Его большой довоенный роман “Степан Кольчугин”, трилогия, в которой были написаны первые два тома, рассказывал историю мальчика-сироты, с детских лет ставшего рабочим; с годами он превращается в молодого большевика-подпольщика, которого царские власти ссылают в Сибирь. В последнем, не написанном, томе он должен был стать одним из руководителей Коминтерна. См.: *Markish, Simon. Le Cas Grossman.* Julliard-L'Age d'homme, Paris, 1983, p. 46—47.
  37. Сборник военных очерков Гроссмана, посвященных Сталинградской битве, был опубликован по-французски в 1945 году: *Stalingrad, choses vues, éd. France d'abord.* В это же время появился отдельной брошюрой его очерк “L'Enfer de Treblinka”. *V.Arthaud, 1945.* Недавно новый, более полный сборник был предложен вниманию французской публики под названием “Années de guerre” (ed. *Autrement, 1993*), с послесловием Александра Береловича. К сожалению, из текста были исключены пассажи, которые на сегодняшний взгляд показались слишком “сталинистскими”. Такое посмертное редактирование тем более неоправдано, что Гроссман связывал с антинацистской войной надежды на либерализацию советского режима (см.: *Markish, Simon. Op. cit., p. 54—56.*)

38. Гроссман именно “догадался” об аде Трешлинки, так как сам лагерь был уничтожен немцами после восстания 2 августа 1943 года, когда взбунтовались работники командос, обслуживавшие газовые камеры и кремационные печи. Его статья поражает не документальной точностью, а интуитивным прозрением того, что происходило в этих местах, которым постарались вернуть их “естественный” вид.
39. Рассказ был опубликован по-французски под названием “Старый профессор” в сборнике “La Route”, р. 169—198 и под названием “Старый учитель” в “Années de guerre”, р. 29—66.
40. Grossman V. Le vieux professeur. — “La Route”, р. 169—198.
41. Несколько месяцев спустя после публикации этого рассказа Гроссман вернулся к теме массовых убийств евреев на Украине в очерке от 12 октября 1943 года, озаглавленном “Украина” и опубликованном в “Красной звезде”. Теперь уже писатель говорит от собственного имени. На территориях, освобожденных после сражения на Орловско-Курской дуге, он мог видеть захоронения расстрелянных евреев на левом берегу Днепра, в частности в Бабьем Яре под Киевом. Но он говорит об этом мимоходом, чтобы не подвергнуться цензуре: официальная линия состояла в том, чтобы не говорить отдельно о преступлениях, совершенных против евреев, — якобы для того, чтобы не поддерживать среди населения СССР идею, будто война против немцев велась для защиты евреев. Зато систематическая информация о геноциде евреев будет публиковаться в газете “Einikeit” (“Единство”), органе Еврейского антифашистского комитета, выходившем на идиш и распространявшемся в Англии и Соединенных Штатах. Гроссман опубликует там в ноябре-декабре 1943 года очерк “Украина без евреев”.
42. См.: Lipkine, *Sémion*. Le Destin de Vassili Grossman. L'Age d'homme, Lausanne, 1989, р. 28.
43. Действие романа “За правое дело” происходило между июнем и сентябрем 1942 года.
44. Lipkine S. Op. cit., р. 44—45.
45. Гроссман доверил свою рукопись нескольким журналам. Оттуда она попала в руки Сулова, который, после того как КГБ произвел обыск у Гроссмана, советовал автору “забыть” о романе и добавил: “Может быть, его издадут через двести или триста лет”.
46. Это чувство очень тонко выразил Пастернак в одном из репортажей с фронта, из только что освобожденного Орла; писатель показал, как произошло переворачивание традиционного отношения Россия — Германия. Этот репортаж был подвергнут цензуре в номере профсоюзной газеты “Труд” в ноябре 1943 года.

Вот один из выброшенных цензурой отрывков: “В гитлеризме поразительна утеря Германией политической первичности. Ее достоинство принесено в жертву производной роли. Стране навязано значение реакционной сноски к русской истории. Если революционная Россия нуждалась в кривом зеркале, которое исказило бы ее черты гримасой ненависти и непонимания, то вот оно: Германия пошла на его изготовление”. См.: *Pasternak B. A Journey to the Army*, in *Novy Mir, A Selection 1925—1967*. Ed. Michael Glenn, London, 1972, p. 247. (Цит. по: *Пастернак Б. “Поездка в армию”*. — Избранное в двух томах. Т. 2. М., “Художественная литература”, 1985, с. 299. — *Прим. пер.*)

47. Главный деятель заговора против Гитлера 20 июля 1944 года.
  48. *Vie et Destin*, p. 530. (*Гроссман Вас. Жизнь и судьба*. Цит. изд., с. 507. — *Прим. пер.*)
  49. *Ibid.*, p. 213.
  50. *Ibid.*, p. 197.
  51. *Ibid.*, p. 459.
  52. *Ibid.*, p. 40.
  53. *Ibid.*, p. 371.
  54. *Ibid.*, p. 444: Лиссом руководила “всего лишь потребность про-верить кое-какие мысли да вот желание написать работу “Идеология врага и ее лидеры”.
  55. Эту мысль развивает Симон Маркиш, p. 111—112.
  56. *Soljenitsyne, Alexandre. L'Archipel du Goulag, 1918—1956, essai de l'investigation littéraire*. Paris, 1974, t. II, p. 142. (Цит. по: *Солженицын, Александр. Архипелаг Гулаг, 1918—1956. Опыт художественного исследования*, ч. III—IV. М., “Книга”, 1990, с. 171. — *Прим. пер.*)
  57. *Ibid.*, p. 143.
  58. Однако же он нашел время, чтобы написать “Добро вам!”, путевые очерки об Армении, которые он закончил в 1963 году, и замечательный рассказ “Все течет”, также законченный им незадолго до смерти. Французские издания итих работ: *La paix soit avec vous, notes de voyage en Armenie. Préface de Simon Markish*. Paris, Ed. de Fallois-L'Age d'homme, 1989; *Tout passe*. Paris, Julliard-L'Age d'homme, 1984.
- Что касается “Жизни и судьбы”, то один экземпляр романа, перепечатанный на машинке, уцелел от обысков КГБ и оказался за рубежом благодаря Андрею Сахарову, который снял с него микрофильм и переправил на Запад Ефиму Эткинду. Полный текст был опубликован по-русски и по-французски только в 1980 году.

## Эпилог

1. *Mandelstam, Nadejda. Contre tout espoir.* Paris, Gallimard, 3 vol., 1972—1975; *Chentalinski, Vitali. La parole ressuscitée.* Dans les archives littéraires du K.G.B., op. cit.
2. В издательстве Фельтринелли. О деле Пастернака см.: *Le Dossier de l'affaire Pasternak. Archives du Comité central et du Politburo, trad. du russe par Sophie Benech.* Gallimard, 1994.
3. В номерах от 1 и 16 ноября 1958 года. О характере этих текстов, в которых вынужденные уступки (писатель боялся быть изгнанным из СССР) сочетались с подтверждением верности своим идеям, см.: *Fleishman, Lazar. Boris Pasternak. The Man and his Politics.* Harvard University Press, Cambridge, 1990, chap. 12, p. 296—300.
4. Впрочем, вскоре после этого Пастернак умер, 30 мая 1960 года.
5. *Soljenitsyne, Alexandre. Le Chêne et le veau. Esquisse de la vie littéraire.* Paris, Le Seuil, 1975.
6. После восьми лет, проведенных в лагерях, Солженицын должен был отбыть еще три года ссылки в южном Казахстане.
7. *Sakharov, Andrei D. How I came to dissent.* — *New York Review of Books*, 21 mars 1974, p. 11—17; *Memoires.* Le Seuil, 1990.
8. См.: *Verdès-Leroux, Jeannine. La Lune et le caudillo. Le rêve des intellectuels et le régime cubain (1959—1971).* Gallimard, 1989, coll. L'Arpenteur; *Hollander, Paul. Political Pilgrims, Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba.* New York, Harper Colophon Books, 1981.
9. Лоран Казанова в первые послевоенные годы ведал в руководстве ФКП работой с интеллигентами.
10. “Разрядка”, обманчивым символом которой стали Хельсинские соглашения, способствовала созданию образа Советского Союза, ставшего на путь свободы. Заключительный акт Хельсинского совещания за безопасность и сотрудничество в Европе, подписанный 1 августа 1975 года тридцатью тремя европейскими государствами, Соединенными Штатами и Канадой, провозгласил, наряду с незыблемостью существующих границ и развитием экономических связей, свободу распространения идей и перемещения лиц. Он дал оружие советским диссидентам в их борьбе за права человека, но ни в малой степени не смягчил безжалостные репрессии, направленные против них. Большое количество случаев, когда людей бросали в психиатрические больницы за политические убеждения, относится именно к этим годам, которые западное общественное мнение рассматривало как время либерализации режима. См.: *Boukovski, Vladimir, Plaidoyer pour une autre détente.* — *Politique internationale*, automne 1985.

11. Тому, кто захочет составить себе представление, как иделизировалось во Франции, от первых послевоенных лет и вплоть до недавнего времени, прошлое и настоящее Советского Союза, достаточно будет обратиться к школьным учебникам по истории и географии, выпущенным в этот период. Следует отметить, и это неудивительно, что энтузиазм авторов учебников по отношению к Советскому Союзу явно отставал от событий и от эволюции интеллектуальной жизни. Он был особенно велик в десятилетия, следовавшие за смертью Сталина. См. сообщение Жака Дюпакье (Dupâquier) на коллоквиуме в Сенате, посвященном “восприятию СССР во французских учебниках (1987). Цит. по: *Revel, Jean-François. La Connaissance inutile. Pluriel, 1989, p. 437—438.*
12. *Glucksman, André. La Cuisiniere et le mangeur d'hommes. Essai sur l'Etat, le marxisme, les camps de concentration. Le Seuil, 1975; Lévy, Bernard-Henri. La Barbarie à visage humain. Grasset, 1977. См.: Rigoulot, Pierre. Les Paupières lourdes, chap. 15, p. 131—150.*
13. В издательстве Сэй книга вышла тиражом около миллиона экземпляров.
14. Чтобы представить себе, в каком политическом пространстве происходила в эту пору абстрактная большевизация французской социалистической партии, лучше всего обратиться к документу, подписанному в мае 1976 года делегациями французских социалистов во главе с Миттераном и Венгерской социалистической рабочей партии. Удивителен даже не обмен любезностями, традиционный для встреч такого рода, а их фразеология: “На делегацию французской социалистической партии произвели благоприятное впечатление успехи в построении социализма, достигнутые венгерским народом под руководством рабочего класса и его партии”.
15. Самым характерным — но не самым лучшим — образчиком этой “школы” (если только в данном случае можно говорить о “школе”) является книга: *Hough J. The Soviet Union and Social Science Theory. Harvard University Press, 1977.* В таком же духе написаны, например: *Lewin, Moshe. The Making of the Soviet System. New York, Pantheon Books, 1985 (франц. пер.: La Formation au système soviétique. Paris, Gallimard, 1987); Haimson, Leon. The Politics of Rural Russia (1905—1914). Bloomington, 1979; Cohen, Stephen. Rethinking the Soviet Experience. Oxford University Press, 1985.*
16. Среди книг, задававших тон в этой советологии: *Fainsod, Merle. How Russia is Ruled. Cambridge, Harvard University Press, 1953; Smolensk under Soviet Rule (id. 1958), франц. пер.: Smolensk a l'heure de Staline, Fayard; Friedrich, Karl and*

*Brzezinski, Zbigniew*. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Harvard University Press, 1956; *Schapiro, Leonard*. The Origins of the Communist Autocracy. Harvard University Press, 1954; *De Lénine à Staline: histoire du parti communiste de l'Union Soviétique*. Gallimard, 1967; *Ulam A.* Les Bolcheviks. Fayard, 1973; *Conquest, Robert*. The Great Terror. MacMillan, 1968, франц. пер.: *La Grande Terreur: les purges stalinienne des années 1930*. Paris, Stock, 1970; *Besançon, Alain*. Les Origines intellectuelles du léninisme. Calmann-Lévy, 1977.

Поднятая волной “горбачевизма”, который, казалось, подтверждал тезис о “плюралистическом” Советском Союзе, идущем по пути реформ, ревизионистская школа вынуждена была бить отбой после того, как режим начал разваливаться. См.: *The Strange Death of Soviet Communism*. — *The National Interest*, № 31, printemp 1993, II-e partie: Sins of the Scholars, by Richard Pipes, *Martin Malia, Robert Conquest, William Odom, Peter Rutland*.

17. *Amalrik, Andrei*. L'Union soviétique survivra-t-elle en 1984? Paris, Fayard, 1970, rééd. le Livre de poche — Pluriel.
18. См.: *Todd, Emmanuel*. La Chute finale. Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Robert Laffont, 1976. Те же аргументы мы встречаем в двух сообщениях, сделанных американским демографом Мюрреем Фешбеком (Feshback) в апреле 1976 года (*Population and Manpower Trends in the URSS*) и в июле 1983 года (*Soviet Population, Labor Force and Health*). Эти сообщения процитированы и прокомментированы в кн.: *Lipset, Seymour Martin and Gyorgy, Vence*. Anticipations of the Failure of Communism — доклад на конгрессе Американской ассоциации социологии в Питтсбурге, август 1992.
19. Умерший 10 ноября 1982 года Брежнев был замещен на посту генерального секретаря партии Андроповым, человеком из КГБ, имевшим репутацию “модернизатора”. Но Андропов умер 9 февраля 1984, и ему наследовал старый аппаратчик брежневского типа, Черненко, который, в свою очередь, умер 10 марта 1985 года.
20. Освобождение Сахарова в 1986 году было первым шагом в этом направлении; проголосованное Центральным Комитетом в феврале 1990 решение, положившее конец политической монополии партии, — последним.
21. Яцек Куронь, один из выдающихся польских диссидентов, ставший министром, скажет позднее: “Я замечаю у некоторых из них (западных политиков) ностальгию по старому мировому порядку и по Советскому Союзу. Некоторые даже были бы готовы восстановить СССР, чтобы снова иметь возможность

формировать правительственные команды” (газета “Политика”, 26 марта 1993; франц. пер. в *Nouvelle Alternative*, № 34, juin 1994).

22. Лучшее описание беспредельного “горбачевизма” западных правительств и западного общественного мнения можно найти в кн.: *Revel, Jean-François. Le Regain démocratique. Fayard, 1992.*

Библиотека Московской школы  
политических исследований

*Франсуа Фюре*

Прошлое  
одной иллюзии

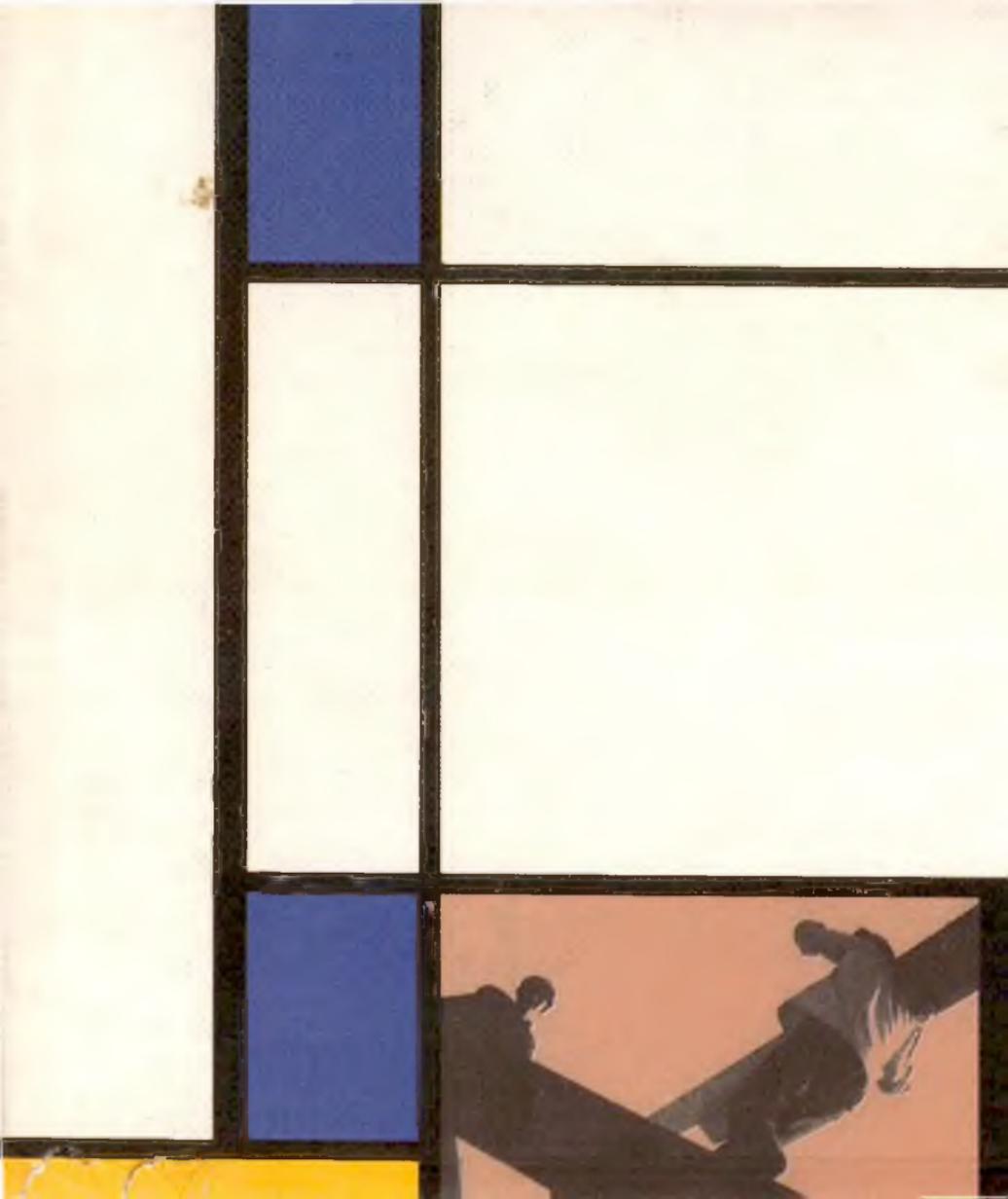
Редактор С.Наджафова  
Художник А.Бондаренко  
Компьютерная верстка И.Иванков

Сдано в набор 15.12.97. Подписано в печать 21.03.98.  
Формат издания 60x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»  
Усл. п.л. 40. Тираж 5000. Заказ № 3332

Издательская фирма "Ad Marginem",  
113184, Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7, тел. 951-93-60

ЛР № 030546 от 11.06.93.

Отпечатано в Московской типографии №2 ВО "Наука",  
121099, Москва, Шубинский пер., 6



*Ad* **M**arginem

